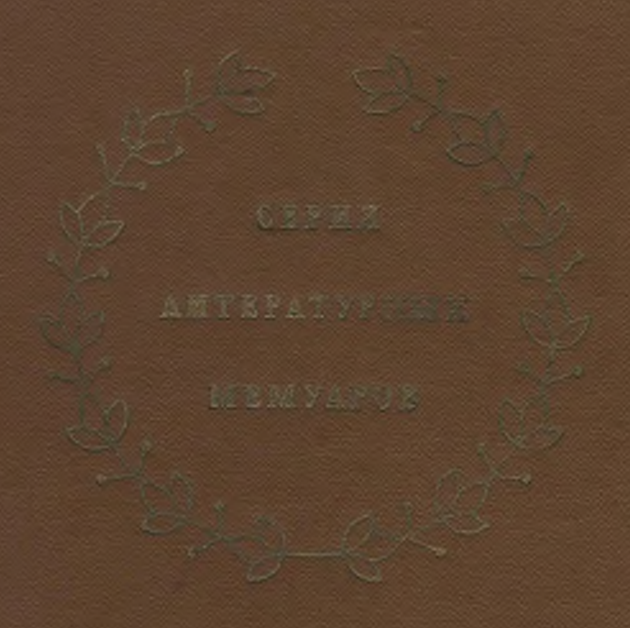
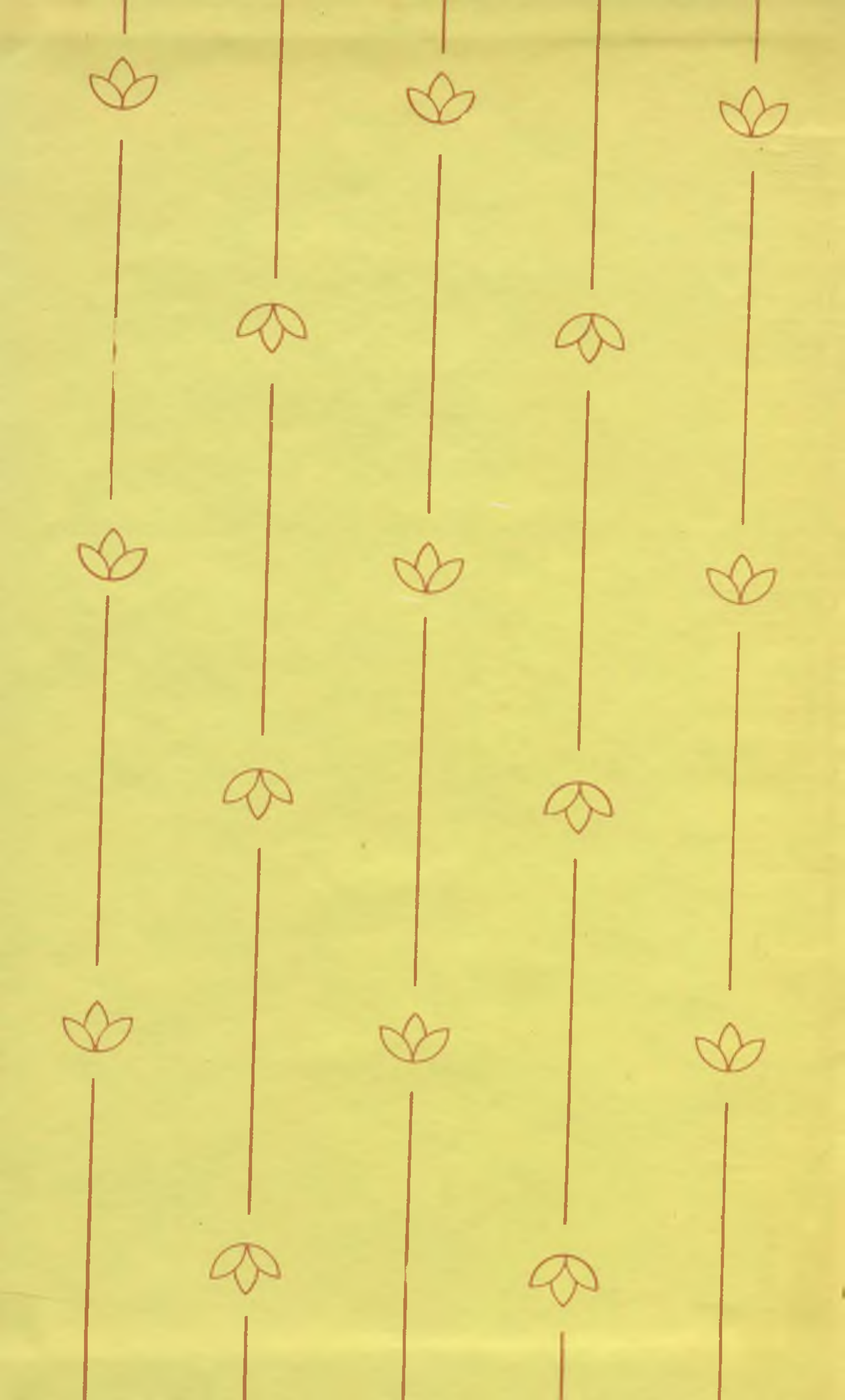
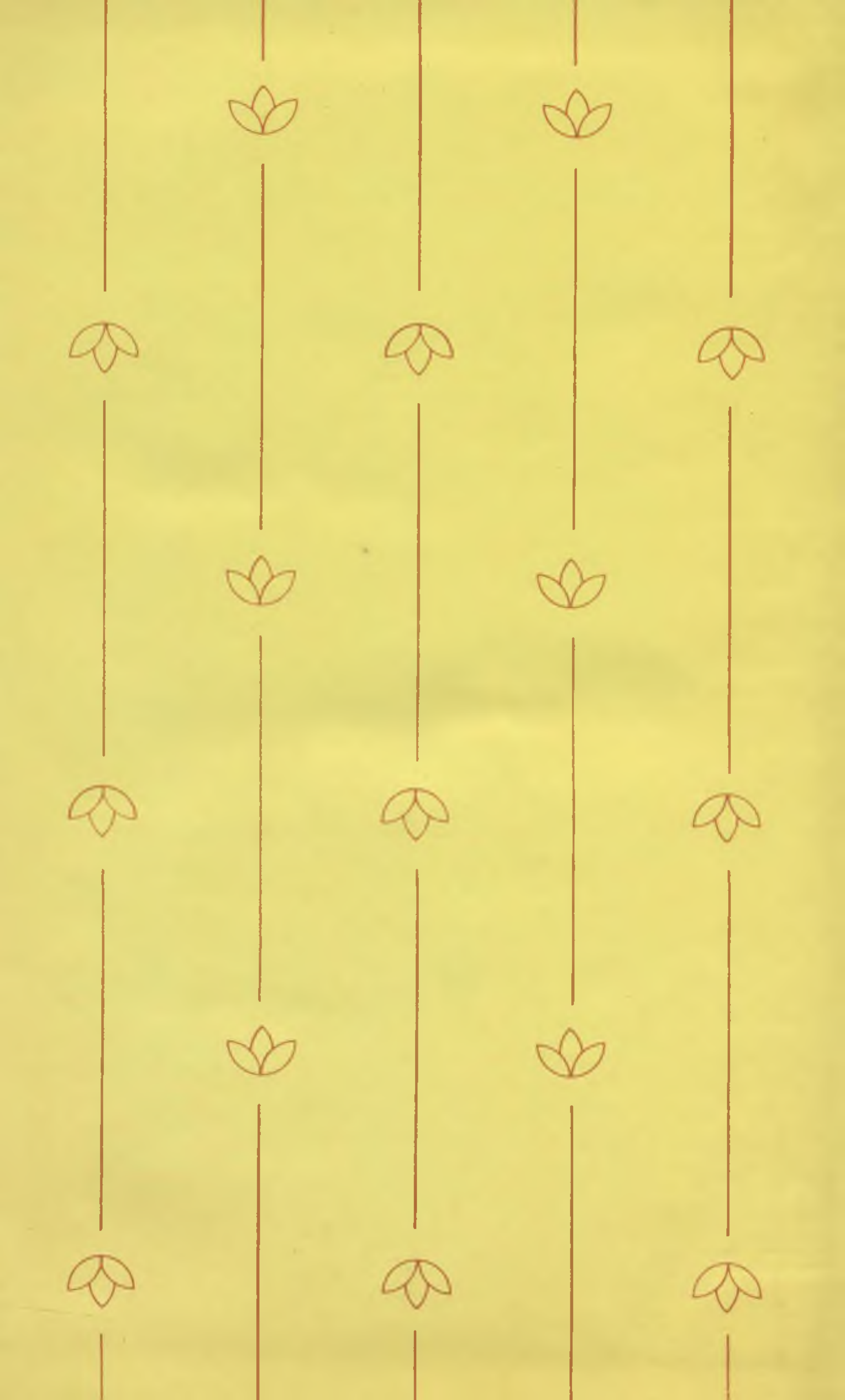
Т. Л. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ









СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

Под общей редакцией

В. Э. ВАЦУРО

Н. К. ГЕЯ

С. А. МАКАШИНА

С. И. МАШИНСКОГО (отв. ред.)

А. С. МЯСНИКОВА

В. Н. ОРЛОВА

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

Т. Л. СУХОТИНА-ТОЛСТАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1976

8Р1
С91

Составление, вступительная статья
и примечания
А. И. ШИФМАНА

Оформление художника
В. МАКСИНА

С $\frac{70202-207}{028(01)-76}$ 29-76



Л. Н. Толстой с дочерью Т. Л. Сухотиной-Толстой. 1910.
Фотография В. Г. Черткова.

ВОСПОМИНАНИЯ ДОЧЕРИ

I

Автор публикуемых воспоминаний — старшая дочь Л. Н. Толстого Татьяна Львовна Толстая, в замужестве Сухотина. Она родилась в Ясной Поляне в 1864 году и на протяжении почти полувека, до самой смерти отца, была одним из самых близких ему людей — близких не только по родственной связи, но и по духу, по глубокому пониманию его творчества, по искреннему сочувствию его взглядам. «За всю мою жизнь, — пишет она, — то особенно сильное чувство любви и благоговения, которое я испытывала к отцу, никогда не ослабевало. И по тому, что я сама помню, и по тому, что мне рассказывали, — и он особенно нежно всегда ко мне относился». Эта близость еще более возросла в последние годы жизни писателя, когда он, переживая тяжелую духовную и семейную драму, особенно нуждался в любви и понимании.

«Умная, любезная и обходительная, веселая и остроумная и ко всем доброжелательная, Татьяна Львовна всегда и везде пользовалась всеобщей любовью, — вспоминал о ней живший в доме Толстого его молодой друг и секретарь В. Ф. Булгаков. — Она одна, с ее тактом, умела одинаково удачно находить душевный подход и к отцу, и к матери, даже в пору их расхождения»[1]. Душевно щедрой, одаренной талантом чуткости и доброты она осталась до конца своей жизни.

Татьяна Львовна прожила в доме родителей тридцать пять лет, и уже одно это придает ее воспоминаниям большой интерес. А ведь она была не сторонней свидетельницей жизни отца, а ее повседневной заинтересованной участницей. Ценность воспомина-

---

[1] Вал. Ф. Булгаков. Лев Толстой, его друзья и близкие. Воспоминания и рассказы. Тула, 1970, с. 151.

ний увеличивает еще и редкая память мемуаристки и ее унаследованный от отца литературный дар.

Свои первые дневниковые записи Татьяна Львовна сделала в четырнадцатилетнем возрасте и продолжала их на протяжении почти сорока лет. В ранние годы их иногда читал Лев Николаевич, который поощрял детей к ведению дневников. Прямое влияние отца сказалось в том, что записи Татьяны Львовны носят предельно откровенный, исповедальный характер. Позднее, после его смерти, она написала ряд очерков, которые по своей искренности, достоверности и психологической тонкости занимают одно из первых мест среди мемуаров о Толстом. Большой интерес представляет и обширная переписка Татьяны Львовны с родными и современниками.

Л. Н. Толстой считал мемуары ценнейшим литературным жанром и в конце жизни сам обратился к нему («Воспоминания», 1903). Напомнив пушкинское «Воспоминание» («Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток»), он провозгласил высшим законом мемуаров — честность и правдивость, решительный отказ от «смешения правды с выдумкой». «Я думаю, — писал он, — что самое важное и полезное людям, что может написать человек, это то, чтобы рассказать правдиво пережитое, передуманное, перечувствованное им». Этому требованию полностью отвечают мемуары Т. Л. Толстой. Никто из членов семьи писателя, кроме, пожалуй, С. Л. Толстого («Очерки былого»), не достиг в своих воспоминаниях той степени правдивости, глубины, исторической объективности, какие мы видим в ее мемуарах. Чуждая личных пристрастий, озабоченная единственно стремлением восстановить истину, старшая дочь Толстого повествует о прошлом, о пережитом и передуманном, с чувством большой ответственности перед отцом, перед эпохой, перед историей. И это придает ее мемуарам особенный интерес и значение.

II

Мемуары Татьяны Львовны посвящены преимущественно Л. Н. Толстому, и в этом их основная ценность. Они воспроизводят атмосферу яснополянского дома в 1860—1870-х годах и рассказывают о том периоде, когда необходимость отдать подросших детей в гимназию заставила семью писателя в 1880-х годах переехать в Москву.

О двадцати годах жизни Толстого в Москве мы многое знаем по его письмам, дневникам и записным книжкам, — мемуары Татьяны Львовны дополняют их новыми ценными сведениями.

Таковы, например, ее рассказы о переезде семьи в Москву, о быте хамовнического дома, о друзьях и гостях писателя, о его творческой и общественной деятельности, наконец, об исподволь нараставшем отчуждении между родителями, об отказе Толстого от собственности, о трагедии последних лет... Наблюдения эти, сделанные человеком чутким, любящим, искренним, чрезвычайно ценны для характеристики этого столь важного времени в жизни писателя.

Особенный интерес в мемуарах Татьяны Львовны представляют для нас страницы, на которых рассказано об отце, о его образе жизни, о Толстом в повседневном быту, за работой, в общении с родными, друзьями, с народом. В отличие от многих мемуаристов, Татьяна Львовна изображает отца не отрешенным от жизни схимником, а человеком земным, деятельным, веселым, любящим жизнь. Толстой, в рассказах дочери, не только глубокий мыслитель и гениальный писатель, но при случае умеет придумать шуточную игру, сочинить веселую песенку, протанцевать мазурку. Ничто человеческое ему не чуждо. В обыденной жизни Толстой доступен, душевен, обходителен, создает вокруг себя обстановку теплоты и дружелюбия.

Рисуя отца в кругу семьи, в отношениях с женой, детьми и близкими, Татьяна Львовна, однако, не забывает о всей сложности этой необычайно даровитой, но и противоречивой натуры. «Вот каким он был, — пишет она, — постоянно в борьбе со своими страстями, погруженный в самоанализ, судящий себя с беспощадной строгостью, требовательный и к себе и к другим. В то же время неисправимый оптимист, никогда не жалующийся, находящий выход из всякого трудного положения, ищущий решения для каждой проблемы, утешения для всякого несчастья или неприятности».

Татьяна Львовна рано узнала о литературных занятиях отца и с благоговением относилась к его творчеству. В свою очередь, и он, отвечая на искренний интерес дочери, постепенно приближал ее к своему делу, делясь с ней планами, рассказывая о новых замыслах, поручая ей переписывать рукописи и отвечать на письма. Так Татьяна Львовна с юных лет оказалась сопричастной к писательской деятельности отца и помогала ему до самой его кончины.

На страницах публикуемых очерков мы находим множество интересных рассказов о творческой работе Толстого. На глазах Татьяны Львовны рождались и осуществлялись замыслы «Власти тьмы», «Крейцеровой сонаты», «Писем о голоде», «Воскресения», «Отца Сергия», «Хаджи-Мурата» и других произведений. Неко-

торые из рукописей этих произведений она переписывала по многу раз, и это давало ей возможность убедиться, сколь отец требователен к себе, сколь он строг и взыскателен к каждому слову.

По мере своего взросления Татьяна Львовна становится своеобразным поверенным отца в его творческих делах. По ее записям можно узнать, как шла работа над тем или иным произведением, какие трудности вставали перед Толстым. Из других записей мы узнаем, как глубоко он любил природу, музыку, живопись, как легко он чувствовал себя среди простого деревенского народа, с каким наслаждением он работал в поле, шагая за сохой или кося сено для бедной яснополянской вдовы. Все эти записи, запечатлевшие Толстого в обыденной жизни, озарены светом любви дочери к отцу, исполнены благоговения перед ним.

III

Большой интерес представляет и личность самой мемуаристки, даровитая индивидуальность которой ярко отражена в ее воспоминаниях.

В одном из писем 1872 года, характеризуя своих детей, Толстой отметил в восьмилетней Тане незаурядные способности, черты душевной доброты и самоотвержения. У нее, писал он, «механизм головы хороший. Она будет женщина прекрасная»[1]. Это предсказание впоследствии полностью сбылось. Татьяна Львовна унаследовала от отца редкую нравственную чистоту, душевную взыскательность в соединении с большим художественным талантом.

Как и все дети Толстого, Татьяна Львовна росла под неустанным духовным влиянием отца, и это — одна из важнейших тем ее воспоминаний. Как она сама писала в старости, ее записи интересны тем, как под влиянием отца из обыкновенной девушки «вышло существо мыслящее и стремящееся к добру»[2]. Действительно, по дневнику и воспоминаниям Т. Л. Толстой можно проследить становление и развитие ее незаурядной личности, ту нравственную атмосферу, которая царила в доме Толстых.

Влияние Толстого на детей проявлялось отнюдь не в скучных нотациях или в строгих наказаниях. Толстому достаточно было

---

[1] Л. Н. Толстой Полн. собр. соч. в 90-та томах, т. 61. М., Гослитиздат, 1953, с. 334. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте с указанием лишь тома и страницы.

[2] ГМТ.

пристально взглянуть на дочь, как она уже сердцем знала, поступила она хорошо или дурно. Отцу нельзя было сказать неправды, от его зорких глаз нельзя было ничего утаить — это чувствовали все дети Толстого, и уже одно это воспитывало в юной Тане черты правдивости, доброты, душевной открытости.

Взаимоотношения Татьяны Львовны с отцом в годы ее отрочества и юности составляют увлекательный «роман», описанный в ее дневнике с большой искренностью и теплотой. Душевно тяготея к отцу, чувствуя, как ей нужна его доброта и ласка, юная Татьяна иногда отчуждалась от него, сама глубоко страдая и заставляя его страдать. Причиной этому бывали неожиданные вспышки детского самолюбия, упрямства, а то и просто свойственная переходному возрасту замкнутость. Толстой чутко улавливал колебания настроений у своих детей и делал все возможное, чтобы восстановить душевный контакт с ними. И тогда в сердце дочери возникало ощущение вины перед ним, чувство стыда и раскаяния, что тоже доставляло ей немалые огорчения. «Папá — единственное утешение и поддержка в моей жизни, и я часто мучаюсь тем, что мало доставляю ему радости», — записывает она.

С возрастом ее отношения с отцом усложняются. Дочь радует, что отец высокого мнения о ней и возлагает на нее большие надежды. Но иногда ей кажется, что он обманулся в ней, и это становится предметом ее горестных переживаний. «Я всю жизнь чувствовала, что он во мне обманывается, считает меня лучше, чем я есть, и боялась и желала, чтобы у него открылись глаза. И вот теперь я жалею и радуюсь тому, что это произошло. Но сейчас плáчу, пиша это».

Так, в душевных борениях — с кратковременными периодами отчуждений и радостными периодами сердечной близости — проходил этот «роман» дочери с отцом, столь талантливо воспроизведенный в ее воспоминаниях.

По дневнику дочери писателя можно проследить, как рано проснулись в ней высокие моральные требования к себе, ощущение несправедливости существующего уклада жизни. «Как это гадко и противно, что за мной... должна ходить тридцатипятилетняя женщина и исполнять все мои капризы за то, что ей платят деньги, на которые тоже я никакого права не имею», — записывает Таня, чуткая к словам и мыслям отца. «Недавно папá вечером говорил... о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим». «Все, что во мне хорошего, — это все он». «Он мне всегда напоминает, чтó хорошо и чтó дурно».

Толстой поощрял свою дочь в ее стремлении к моральному совершенствованию, в желании держать себя «в струне». А когда

случалось, что, несмотря на все старания, в ее жизни, под влиянием окружающей среды, кратковременно брали верх эгоистические начала, Толстой своим отеческим словом возвращал ее на правильный путь. Так, в частности, было, когда, переехав с семьей в Москву, восемнадцатилетняя Таня, подобно молодежи ее аристократического круга, пережила период увлечения светскими удовольствиями. Однако вскоре в душе умной, пытливой девушки взяли верх серьезные духовные интересы, и это стало для Толстого большой радостью. «Ай да Таня! Спасибо, милая, за письмо, — писал он ей 18 октября 1885 года. — ...Ты в первый раз высказалась ясно, что твой взгляд на вещи переменился. Это моя *единственная* мечта и возможная радость, на которую я не смею надеяться» (63, 292).

По мере приближения к нравственным требованиям отца Татьяна Львовна все чаще убеждалась и в правоте его социальных воззрений. Об этом свидетельствуют воспроизведенные в дневнике ее первые, еще наивные разговоры с ним о том, почему в деревне царит нищета: «почему так много голых, когда так много наготовленных... товаров», «почему у помещиков хлеб преет в амбарах, дожидаясь цен, и столько голодных».

Толстой терпеливо отвечал на вопросы дочери, исподволь подводя ее к пониманию сложных, наболевших проблем. Эти серьезные разговоры, доверие к уму и сердцу дочери окрыляли ее, делали еще более восприимчивой к его воззрениям, а также лечили ее душу от ранней неудовлетворенности и хандры. «Если я не унываю, если я стараюсь быть нравственной и честной, то главным образом благодаря ему. Если бы не его любовь, я впала бы в беспросветное отчаяние и, конечно, было бы в тысячу раз хуже, чем теперь».

Благодаря возросшей близости с отцом Татьяна Львовна стала серьезно интересоваться общественными проблемами. В эти и последующие годы Толстой все чаще делится с ней своими мыслями о происходящем в России, о растущем народном недовольстве, о назревающих тревожных, но благотворных переменах. Юная Таня вдумчиво воспринимает слова отца. По ее дневникам и письмам этих лет можно проследить, как расширяется ее кругозор, как ее молодая, деятельная натура ищет применения своим силам, с какой искренностью и душевной отдачей она становится единомышленницей и соратницей своего отца.

Писательская работа Толстого была всегда неотъемлемой от его многообразной общественной деятельности. В мемуарах и дневниках Татьяны Львовны много рассказано об участии Толстого в работе издательства «Посредник», выпускавшего популярную литературу для народа. Толстой привлекал к этой ра-

боте крупнейших писателей и художников — Салтыкова-Щедрина, Глеба Успенского, Чехова, Короленко, Крамского, Репина — и всячески поощрял участие дочери в нелегком, но важном деле.

Интересным начинанием «Посредника» было издание — в квалифицированных переводах и переработках — лучших произведений мировой литературы. Сам Толстой «пересказал» для массового читателя мысли Сократа, Платона, Амиеля, произведения Руссо, Гюго, Анатоля Франса, Мопассана — и нуждался в способных помощниках. «Почему ты не возьмешься за какую-нибудь работу для печати народных изданий? — писал он Татьяне Львовне в 1885 году. — Я читаю теперь понемножечку «Bleak House» [1] — очень хорошо, и я думал об «Oliver Twist» [2] (63, 293).

Двадцатилетняя Татьяна Львовна не решилась сразу взяться за сложную литературную работу, но она охотно начала более доступное ей, молодой художнице, дело — создание иллюстраций к выпускаемым книжкам, издание для народа дешевых репродукций картин русских художников. Она выпустила в «Посреднике» иллюстрированное издание рассказа Толстого «Чем люди живы», альбом репродукций картин Н. Н. Ге и другие аналогичные издания, к подготовке которых привлекла своих учителей и друзей по Школе живописи, ваяния и зодчества. «Как это хорошо, — писал ей И. Е. Репин, — что вы взяли вести художественную часть «Посредника»... Я верю в ваш личный вкус и радуюсь, что вы взялись за это дело» [3].

Позднее Татьяна Львовна участвовала в деятельности «Посредника» и как автор и как редактор. Ее перу принадлежит интересная книга об итальянском педагоге Марии Монтессори. До этого ею были составлены альбом картин французских художников, сборники «Восточная мудрость», «250 мыслей философов, поэтов и ученых». Под ее редакцией вышли в свет новые переводы романов Мопассана «Жизнь» и «Монт-Ориоль».

Повседневная помощь отцу, совместная с ним работа для «Посредника» были первым проявлением общественной зрелости молодой Татьяны Львовны. Но с особенной силой ее недюжинные способности проявились в 1891—1892 годах во время ее двухлетнего пребывания с отцом в деревнях на голоде. Эти годы, проведенные среди крестьян, сыграли большую роль в формировании личности и духовного облика дочери Толстого.

---

[1] «Холодный дом» (*англ.*), роман Ч. Диккенса.

[2] «Оливер Твист» (*англ.*), роман Ч. Диккенса.

[3] «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей», М. — Л., 1949, с. 83.

Всенародное бедствие — голод, охвативший в начале 1890-х годов ряд губерний, участие Толстого в помощи потерпевшим — одна из знаменательных страниц биографии писателя. Много нового об этом периоде мы узнаем из дневника Татьяны Львовны. Ужаснувшись размерам бедствия, Толстой ринулся в гущу голодающих крестьян, чтобы спасти людей от смерти. Не раздумывая, пошла за ним в этот период вся его семья — жена Софья Андреевна, сыновья Сергей и Лев, взрослые дочери, и первая среди них — Татьяна Львовна.

Записи Татьяны Львовны этого периода — один из ярких документов эпохи. В работе на голоде раскрылись лучшие черты ее характера, еще более укрепилась ее душевная связь с отцом. Эти записи полны дельных рассуждений о том, где и как открывать столовые, как купить дешевую шерсть, чтобы занять женские руки, как печь хлебы из картофельных и свекольных отходов, как варить дешевый и сытный овсяный кисель... И наряду с этим дневник полон тонких наблюдений над жизнью народа, глубоких раздумий о путях изживания его беды. Вместе с горем и страданиями крестьян дочь Толстого уловила и зреющие в голодающих деревнях «нетерпение, озлобление и ропот на правительство». «Как бы нынешний год не повернул дела круто, — читаем мы в ее дневнике. — Меня пугает то, что эта бедность и голод есть способ для очень многих поработить себе людей, и кончится это тем, что или опять будут рабы хуже крепостных, или будет восстание, что, помоему, по духу времени, вероятно».

Как известно, эти наблюдения, схожие с наблюдениями Толстого, оказались весьма верными. Голод 1891—1893 годов, а затем и недород 1899 года в немалой мере содействовали вызреванию в русской деревне тех бунтарских настроений, которые вскоре, в 1905—1907 годах, обернулись первой революционной грозой.

Характерно, что с этого времени дочь Толстого попадает под «недреманное око» царской охранки. Как явствует из хранящегося в Музее Л. Н. Толстого объемистого «Дела департамента полиции о графине Татьяне Львовне Толстой» за № 1594, она начиная с 19 ноября 1891 года, то есть с первых дней ее пребывания в Рязанской губернии, была взята под тайный и строгий полицейский надзор. Ее корреспонденция вскрывается, прочитывается, а наиболее «крамольные» места из писем заносятся в ее «дело». В сводной справке, составленной о ней департаментом полиции, мы читаем: «По сведениям, полученным из секретных источников, Татьяна Толстая вполне разделяет политические и религиозные заблуждения своего отца и служит ему посредницей по сноше-

ниям с единомышленниками и по распространению его недозволенных сочинений»[1].

В «деле» Татьяны Львовны зафиксированы ее многочисленные связи с лицами, распространявшими запрещенные сочинения Толстого, с людьми, отказавшимися от военной службы, и другими «неблагонадежными элементами». Особенно много места уделено знаменитому «делу» Марии Холевинской — тульского врача, к которой Татьяна Львовна направила в 1896 году крестьянина И. П. Новикова за запрещенными произведениями своего отца. Перехватив письмо Татьяны Львовны, полиция устроила у Холевинской обыск и нашла у нее сочинения Толстого, в которых, по утверждению охранки, «автор высказывает идеи, направленные к колебанию основ существующего государственного порядка»[2]. По указанию свыше тульское жандармское управление арестовало Холевинскую, предало ее суду и намеревалось учинить также расправу над Львом Толстым, как автором, и над Татьяной Львовной, как распространительницей крамольных сочинений. Однако министерство юстиции, «руководствуясь дважды выраженными по означенному предмету высочайшими воззрениями в бозе почившего государя императора», разъяснило, что «ввиду особого занимаемого графом Толстым положения в качестве знаменитого отечественного писателя, возбуждение против него преследования может повлечь за собой крайне нежелательные последствия»[3]. Так, спасовав перед Толстым, царское правительство не решилось тронуть его дочь. Однако оба они остались под строгим надзором полиции.

IV

Воспоминания Татьяны Львовны вводят нас в круг молодых художников, с которыми она училась живописи, рисуют дом Толстого как место притяжения видных деятелей искусства.

Из очерка «Отрочество Тани Толстой» мы узнаем, что толчком к пробуждению художественного таланта Татьяны Львовны был приезд в Ясную Поляну в 1873 году И. Н. Крамского, его интересные беседы с Толстым, его работа над ставшими знаменитыми

---

[1] «Дело департамента полиции о графине Татьяне Львовне Толстой», № 1594, л. 1.

[2] Там же, л. 5.

[3] Там же.

портретами Л. Н. Толстого. Девятилетняя дочь писателя внимательно следила за работой великого художника и как чудо воспринимала то, что на ее глазах возникало на холсте. «Вот и глаза папá — серые, серьезные и внимательные, как настоящие его глаза. Какое чудо!» Отец, заметивший интерес дочери к живописи, сам привез ей из Тулы учителя рисования, а когда семья переехала в Москву, отвел ее в Школу живописи, ваяния и зодчества.

Среди учителей, а затем и друзей Татьяны Львовны оказались такие выдающиеся мастера, как И. Е. Репин, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, Н. А. Касаткин, И. М. Прянишников, Л. О. Пастернак и другие. Все они, общаясь с Толстым, заинтересованно следили за успехами его дочери и помогали ей овладевать мастерством.

И. Е. Репин был в большой дружбе с Татьяной Львовной, поощрял ее к вдумчивому, кропотливому труду. «Не бросайте живописи, — писал он ей в ответ на жалобу о трудностях и неудачах. — Голова Марии Львовны и другие этюды Ваши представляют такое уже большое умение, которому позавидуют многие из профессиональных художников» [1].

Н. Н. Ге писал Татьяне Львовне: «Я надеюсь, что и я послужу вам и многое смогу вам передать в деле, с которым я сжился, занимаясь им целую жизнь. Я рад, что вы хотите заняться искусством, способности у вас большие, и знайте, что способности без любви к делу ничего не сделают» [2]. Ободряющие письма писали ей также И. М. Прянишников, В. А. Серов, М. П. Ярошенко, Н. А. Касаткин, И. Я. Гинцбург, Л. О. Пастернак и другие художники. Все они возлагали на нее большие надежды.

Еще более заинтересованно следил за ростом своей дочери сам Л. Н. Толстой. Исподволь передавая ей свои взгляды на искусство, поощряя ее скромность, он одновременно призывал ее учиться мастерству, укреплял в ней веру в ее силы. «Пиши, пиши хорошенько, и хоть не совсем, но немножко верь тому, что тебе говорил Пастернак», — писал он ей в 1893 году (66, 404).

Молодая художница сделала в живописи заметные успехи. Этому содействовала и вся обстановка отцовского дома. «В Ясной Поляне, — рассказывает скульптор И. Я. Гинцбург, — всегда царила любовь к искусству, уважение к художникам и их работе...

---

[1] «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей», с. 95.

[2] Письмо от 6 ноября 1892 г. — «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». М. —Л., 1930, с. 153.

Душою художников, их постоянным покровителем была Татьяна Львовна; она сама серьезно и успешно занималась живописью как ученица и большая поклонница Репина»[1].

Из воспоминаний Татьяны Львовны мы узнаем, что первыми сюжетами ее рисунков, подсказанными отцом, были любимые яснополянские места — деревня, ее окрестности, леса, поля, река Воронка, — она рисовала их с упоением и любовью. Одновременно она, по предложению отца, создала ряд портретов яснополянских крестьян — своеобразную художественную галерею деревенских типов, столь близких Толстому. Татьяна Львовна с детства дружила с ними, встречалась в поле, в лесу, на деревне, и эта близость к ним отразилась в ее талантливых работах.

На других листах мы находим ее зарисовки родных и близких, друзей и единомышленников Толстого, но особенную ценность представляют созданные ею портреты отца — более тридцати работ, на которых он запечатлен в разные периоды жизни[2]. Толстой никогда не позировал дочери и бывал недоволен, когда она вечерами за столом, с карандашом в руках, устремляла на него свой пристальный взор. Но она все же на лету, незаметно для него, умело схватывала его характерную фигуру, голову, глаза, и эти тонко уловленные черты передают нам внешний облик и внутренний мир писателя. Особенно хорош рисунок Татьяны Львовны, запечатлевший отца за работой. По свидетельству близких, он — наиболее похожий из всех портретов Толстого последнего периода. В восторге от мастерства своей ученицы, И. Е. Репин писал ей об этом рисунке: «Подержите его у себя до будущего сезона выставок... Уверен, куда бы Вы ни послали это произведение, оно везде будет принято»[3]. Однако неуверенная в себе Татьяна Львовна никуда его не послала, как не выставляла и других своих работ.

К сожалению, живопись не стала главным делом жизни молодой художницы. При незаурядном таланте у нее, по-видимому, не хватило упорства, а — еще важнее — веры в свои силы, чтобы вырасти в большого мастера. И все же художественное наследие Татьяны Львовны, около трехсот работ, особенно созданная ею галерея портретов отца, представляет бесспорный интерес.

---

[1] И. Гинцбург. Художники в гостях у Л. Н. Толстого. — «Голос минувшего», 1916, № 11, с. 195.

[2] См. об этом: Л. Щербухина. Лев Толстой в рисунках дочери. — «Художник», 1965, № 7.

[3] «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей», с. 98.

V

Заметное место в мемуарах Т. Л. Сухотиной-Толстой занимают ее воспоминания «Друзья и гости Ясной Поляны» — о встречах с Тургеневым, Ге, Сулержицким и другими выдающимися современниками.

И. С. Тургенева автор мемуаров видела в Ясной Поляне уже тогда, когда, изжив прежнюю неприязнь, оба писателя стремились восстановить былую дружбу. Тургенев в эти годы трижды бывал здесь наездами, недолго, и все же в памяти Татьяны Львовны, тогда еще совсем юной, отложились многие его характерные черты.

Как известно, личные отношения между Тургеневым и Толстым были нелегкими. Едва познакомившись и подружившись, они часто оказывались на противоположных краях глубокого «оврага» (выражение Тургенева), который в течение многих лет, при всем взаимном тяготении, им не всегда удавалось перешагнуть. Причин было много — противоположность натур, несходство характеров и, особенно, различие взглядов, которое с годами становилось все больше и закончилось в 1861 году разрывом.

Дочь Толстого не застала этих острых столкновений. На ее долю выпал счастливый период их примирения, когда Тургенев приезжал в Ясную Поляну с искренним намерением засыпать «овраг» былых расхождений. Тем ценнее ее наблюдения над последней фазой этой многолетней дружбы-вражды. В записях Татьяны Львовны чутко уловлена атмосфера последних встреч Толстого и Тургенева — искренняя теплота и сердечность, глубокое уважение друг к другу и одновременно взаимная неловкость, настороженность, стремление избежать всего, что могло бы вспугнуть или омрачить вновь затеплившуюся дружбу. Тонко подмечены в мемуарах и характерные черты поэтической натуры Тургенева — его жизнелюбие, душевная открытость, тяготение к молодежи, его возвышенное представление о любви, о женщинах, его любовь к природе, тонкая деликатность в обращении с окружающими. Наблюдения Татьяны Львовны дополняют знакомый нам облик позднего Тургенева новыми ценными штрихами.

Еще более ярок в описании Татьяны Львовны портрет Н. Н. Ге — художника и человека, портрет, написанный с большой и искренней любовью. Н. Н. Ге в последние годы жизни находился под большим идейным влиянием Толстого. Именно Толстой поддерживал художника в его тяготении к евангельским темам, к большим философским обобщениям, а порою и сам подсказывал ему сюжеты будущих картин. Трактовка религиозных замыслов

Ге также во многом исходила от Толстого, — к некоторым его картинам он писал пояснительные тексты.

Как мы узнаем из публикуемых мемуаров, Н. Н. Ге был в Ясной Поляне желанным гостем. В большой дружбе с ним находилась и Татьяна Львовна, которой импонировали его щедрый художественный талант, душевная молодость, а главное, необычайная скромность и простота в обыденной жизни. И все же она избежала опасности иконописного изображения художника. Н. Н. Ге вышел из-под ее пера удивительно живым, полнокровным, веселым, озорным и даже чуть-чуть «грешным» человеком. «Надо жить, надо любить, надо обмирать при виде красоты», — вот символ веры старика Ге, мироощущение которого Татьяна Львовна полностью разделяет. В ее мемуарах мы видим художника то сосредоточенно-углубленным в свои замыслы, то негодующим против «сильных мира сего», а то и просто веселым, перепачканным краской мастеровым, который «сидит далеко от своего рисунка, глаза его улыбаются, торчат его седые волосы, и он кричит во всю глотку: «Voilà un tableau!» («Вот это картина!»)

Воспринимая творчество Ге сквозь призму собственных воззрений на искусство, Т. Л. Толстая высказывает и критические суждения о нем. По ее мнению, религиозная символика картин Ге не всегда убедительна, а их формальная незавершенность вредит впечатлению от них. Вместе с тем автор мемуаров восхищен стихийной мощью таланта старого мастера. «Он — один из редких художников, — пишет она, — в произведениях которых видно вдохновение. Форма иногда немного груба и не отделана, но это от того, что он перестал хорошо видеть, а содержание в его вещах всегда удивительно сильно и трогательно». И далее о своем восприятии его картин: «Когда он развесил свои эскизы углем... и рассказывал нам смысл их, то что-то мне подступило к горлу, — мне плакать хотелось от восторга...»

Портрет Н. Н. Ге в воспоминаниях Татьяны Львовны — один из самых ярких и достоверных в литературе об этом художнике.

Многолетняя искренняя дружба связывала Татьяну Львовну с Л. А. Сулержицким — странным, беспокойным, богато одаренным человеком. Ему посвящены лучшие страницы ее воспоминаний.

Соученик Татьяны Львовны по Школе живописи, молодой друг Льва Николаевича Л. А. Сулержицкий оставил заметный след в различных областях русского искусства. С его именем связаны эстетические искания молодых художников начала века, а затем и многие страницы истории МХАТа. В описании Татьяны Львовны

Сулержицкий прежде всего яркий, «солнечный» человек, девиз которого: «Жизнь должна быть прекрасна. Люди должны быть счастливы». Этот свой девиз Сулержицкий пронес через многие тяжкие испытания и остался верен ему до конца. Татьяне Львовне, как и Льву Николаевичу, импонировали разносторонние дарования «Сулера» — его яркий талант художника и актера, феноменальная жизнестойкость, никогда не покидавшие его бодрость и энергия. В свою очередь, и Сулержицкий относился к семье Толстых с большой нежностью и благоговением.

В воспоминаниях Татьяны Львовны упоминаются также В. В. Стасов, Н. Н. Страхов, Д. В. Григорович, А. А. Фет, Н. С. Лесков, А. П. Чехов, А. Ф. Кони и многие другие деятели русской культуры. Не обо всех из них автор рассказывает обстоятельно, некоторые упоминаются лишь мимоходом, но даже и краткие упоминания о них обогащают наши представления о Толстом и его окружении.

VI

Особое место в мемуарах Т. Л. Сухотиной-Толстой занимает очерк «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода». Он выделяется в мемуарной литературе о Толстом своей искренностью, достоверностью и строгой объективностью.

Мотивы ухода Толстого из дома нашли во многих мемуарах неправильное освещение. На первый план в них, — особенно в известной книге В. Г. Черткова «Уход Толстого», — выдвигались религиозные причины, якобы вытекавшие из основ духовного учения Толстого. Некоторые утверждали, будто Толстой к концу жизни «смирился», «раскаялся», искал смерти и т. п. И те и другие делали упор на семейный разлад, виновниками которого одни объявляли Софью Андреевну, другие — В. Г. Черткова.

Объективной оценки трагических событий мы не находим и в воспоминаниях некоторых детей Толстого, особенно в книге Л. Л. Толстого «В Ясной Поляне. Правда о моем отце и его жизни» (Прага, 1923) и в книге А. Л. Толстой. «Отец» (Нью-Йорк, 1953), авторы которых в памятные дни находились во враждующих «лагерях». В отличие от них, Т. Л. Сухотина-Толстая, как и ее старший брат Сергей Львович [1], дает наиболее точную картину яснополянской трагедии, глубоко анализирует ее причины.

Выше отмечалось, с какой любовью и пониманием, с каким проникновением во внутренний мир отца, нарисован в мемуарах

---

[1] См.: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1975.

портрет Льва Николаевича. Столь же ярок и правдив в них и портрет С. А. Толстой. Софья Андреевна справедливо предстает в них как отличная мать, верная жена и заботливая хозяйка большого дома — «стеклянного, открытого для всех приходящих». Старшая дочь пишет о матери с любовью, как о человеке доброго сердца, неутомимой энергии и незаурядных способностей.

Мать тринадцати детей и бабушка двадцати пяти внуков, Софья Андреевна была всегда в тревогах, заботах и хлопотах. Когда дети были маленькими, она не только их растила, но и лечила и учила, следила за их успехами. Подрастая, дети требовали еще большего внимания. А сколько людей проходило через дом Толстого, — их надо было принять, накормить, устроить на ночлег. На плечах Софьи Андреевны лежало и хозяйство Ясной Поляны — имение, земля, лес, поля. И при этом она успевала помогать мужу — переписывать его рукописи, вести дела с издателями, книгопродавцами, отвечать на многочисленные письма.

В Ясную Поляну приезжали со всего мира не только выдающиеся деятели — писатели, художники, ученые, музыканты. Сюда тянулись и тысячи праздных, малоинтересных, пустых, а то и корыстных людей,— «людская пыль»,— вносивших в дом писателя свои никчемные распри. Софья Андреевна по мере сил ограждала мужа от бесконечного потока неприятных посетителей — псевдопоследователей, открытых и скрытых врагов, которые, не считаясь со временем, возрастом и здоровьем Толстого, рвались к нему, требовали внимания, мешали работать, а порой и отравляли ему жизнь.

Современники знали Софью Андреевну и как издательницу сочинений Толстого, и как общественную деятельницу. Когда над головой мужа сгущались тучи, как, например, в 1901 году, во время отлучения его от церкви, Софья Андреевна публично выступила в его защиту, и ее гневные письма в редакции читались всей Россией. Широкий отклик получили и ее публичные обращения к общественному мнению, когда нужно было (как, например, в дни голода 1891—1893 гг.) привлечь внимание людей к важным общественным начинаниям Толстого. В этих случаях Софья Андреевна становилась рядом с мужем и отдавала начатому делу свои силы, средства и недюжинные организаторские способности. Немало ее заслуг и в том, как успешно она боролась за выход в свет запрещенных сочинений мужа, смело отстаивая их в цензуре, в сенате и даже перед самим царем, ограждая их от произвола журналистов и корыстных издателей.

В некоторых мемуарах образ Софьи Андреевны нарисован односторонне. Жена писателя предстает в них сварливой Ксан-

типпой, злым гением своего мужа, губителем его таланта и даже виновницей его смерти. Другие рисуют ее мелким, ограниченным человеком, не способным понять и разделить духовные интересы мужа. Татьяна Львовна решительно опровергает это. Жена Толстого была одаренным человеком, близко причастным к литературе и искусству. Она писала повести, рисовала пейзажи Ясной Поляны, любила музыку, отлично фотографировала. Среди ее друзей были И. С. Тургенев, А. А. Фет и другие писатели и художники. Она искренне стремилась понять и разделить убеждения своего мужа, но не смогла сделать этого. И в этом была ее личная трагедия.

Касаясь семейного конфликта, Татьяна Львовна подчеркивает разность натур своих родителей, различия в их характерах и взглядах. «Странное сочетание этих двух людей! — пишет она. — Редко можно встретить людей таких различных и вместе с тем крепко привязанных друг к другу». И действительно, несмотря на все различия, Толстой любил свою жену — и не только в ранние годы сватовства и женитьбы, но и до самого конца жизни, о чем он искренне писал ей в ночь ухода из Ясной Поляны.

Что же породило разлад в семье писателя? В чем же заключалась семейная драма Толстого? Почему он после сорока восьми лет семейной жизни вынужден был темной октябрьской ночью тайно покинуть свой дом? Татьяна Львовна дает на эти вопросы убедительный ответ. Драма Толстого состояла в том, что его семья не последовала за ним, когда, пережив глубокий идейный перелом, он пришел к необходимости изменить свою жизнь, отказаться от собственности. «Я не могу, — заявлял он, — продолжать жить в роскоши и праздности. Я не могу принимать участие в воспитании детей в условиях, которые считаю губительными для них. Я не могу больше владеть домом и имениями. Каждый жизненный шаг, который я делаю, для меня невыносимая пытка... Или я уйду, или нам надо изменить жизнь: раздать наше имущество и жить трудом наших рук, как живут крестьяне».

Татьяна Львовна с объективностью исследователя прослеживает эту драму с момента ее зарождения и до трагического конца. Она с большим пониманием относится к позиции отца, уважая и одобряя его намерения. Вместе с этим она справедливо подчеркивает, что в отказе Софьи Андреевны пойти за мужем не было ни осознанной корысти, ни тем более злой воли. «Это было больше ее несчастьем, нежели виной». Воспитанная в традициях дворянской морали, не свободная от предрассудков своей среды, она просто не могла перешагнуть через самое себя и отказаться от

привычного уклада жизни. Она считала, что отказ от прав собственности на сочинения мужа только обогатит алчных издателей и лишит ее детей и внуков средств к существованию. К тому же с годами прогрессировало ее нервное расстройство, особенно усилившееся к концу жизни. На предложение Толстого раздать имущество мужикам и перейти в крестьянскую избу, на его угрозу уйти из дому она, по словам Татьяны Львовны, отвечала: «Если ты уйдешь, я убью себя, так как не могу жить без тебя. Что же касается перемены образа жизни, то я на это не способна и на это не соглашусь, и я не понимаю, зачем надо разрушать во имя каких-то химер жизнь, во всех отношениях счастливую». Толстой же, любя жену и близких, не желая причинить им боль, долго не решался уйти из дому, хотя пребывание в семье, с ее барским укладом, доставляло ему тяжкие муки. Так постепенно образовался тот заколдованный круг, из которого, казалось, не было выхода...

В своих воспоминаниях Татьяна Львовна сосредоточивается на семейном аспекте драмы, в меньшей мере акцентируя духовную трагедию, которую в это время переживал Толстой. Эта трагедия, неотъемлемая от его семейной драмы, состояла прежде всего в том, что условия его личной жизни находились в очевидном противоречии с его проповедью опрощения, в чем его упрекали не только враги, но и друзья. Толстой не раз и устно и письменно разъяснял, что он уже давно — с 1892 года — отказался от собственности. Многократно писал он и о том, почему он не уходит из дому, — это было бы трагедией для близких, своеобразным «насилием» над ними, что противоречит его коренному убеждению в недопустимости противления злу насилием. Однако его разъяснения никого не убеждали и вызывали только новые упреки и нападки.

Еще более горестным было увиденное Толстым к концу жизни неустранимое расхождение между его религиозно-нравственным учением, в которое он свято верил, и живой жизнью, которая на каждом шагу опровергала его. Толстой десятилетиями отстаивал идею всеобщей любви и непротивления злу насилием, как единственной основы социального переустройства общества. По его учению, только внутреннее, моральное самосовершенствование человека, а не его «внешняя» борьба за свои права, может привести мир к «царству божьему» — свободе, братству и счастью. А опыт истории, особенно опыт народных масс в первой русской революции, показал, что без жестокой борьбы за освобождение нельзя свергнуть власть богатых, устранить ярмо угнетателей, нельзя получить землю, нельзя приостановить разгул виселицы, топора и плахи...

Толстой был бесстрашным мыслителем, он не отбрасывал одолевавших его сомнений, — они многократно отражены в его дневниках. Но признать неправоту своего учения он не смог, ибо истоки его противоречий заключались не только в его личной мысли, но и в самих условиях русской жизни, особенно жизни крестьянских масс, выразителем идеологии которых он выступал. Это стало под конец жизни все более ощущаемой трагедией. «Главное же, в чем я ошибся, — записал он в дневнике 13 февраля 1909 года, — то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и пр.» (57, 200). И незадолго перед смертью: «Чем определеннее и решительнее решаются вопросы о неизвестном, о душе, о боге, о будущей жизни, тем неопределеннее и нерешительнее отношение к вопросам нравственным, к вопросам жизни» (58, 10).

Так, нарастая и обостряясь, и создалась в конечном счете та невыносимая для Толстого обстановка, когда он на закате жизни оказался одиноким и вынужден был покинуть родной дом. Его намерением было уйти в народ, в обширный крестьянский мир, где он надеялся обрести покой и осуществить свои многочисленные художественные замыслы. Незадолго перед уходом он даже просил знакомого крестьянина М. П. Новикова найти в его деревне «самую маленькую, но отдельную и теплую хату» (82, 211), где он мог бы спокойно жить и работать. Но, увы, и этой его последней мечте не суждено было сбыться. Жестокая простуда в пути, крупозное воспаление легких, неделя между жизнью и смертью, — и, наконец, кончина на затерянном в рязанских степях полустанке Астапово — таков был финал этой большой трагедии.

Правдиво воспроизводя события последних лет в Ясной Поляне, Татьяна Львовна из скромности умолчала о своей роли в этих событиях. А роль эта была очень велика. В обстановке обостренной борьбы, то и дело вспыхивавшей между женой писателя и его другом В. Г. Чертковым, — борьбы, вовлекавшей и других членов семьи, она одна, с ее умом и душевным тактом, умела повсюду вносить успокоение и примирение. Словно на пожар, она много раз мчалась из имения мужа Кочеты в Ясную Поляну, и уже одно ее появление утихомиривало страсти, заставляло людей одуматься. Иногда она забирала отца к себе и этим доставляла ему драгоценные дни покоя и отдохновения.

До сих пор не опубликованы письма Татьяны Львовны к родителям, к братьям и сестре, — из них видно, как велико было ее благотворное влияние на всех участников драмы. Неизменно поддерживая и ободряя отца, считая его желание справедливым

и законным, она умела добром воздействовать на мать, успокаивая ее больную душу и раскрывая ей глаза на происходящее. «Вы страдаете, когда ему еда плоха, — писала она матери в июне 1910 года, — стараетесь его избавить от скучных и трудных посетителей, шьете ему блузы, — одним словом, окружаете его материальную жизнь всевозможной заботой, а то, что ему дороже всего, как-то вами упускается из вида. Как он был бы тронут и как он воздал бы это вам сторицей, если бы вы так же заботливо относились к его внутренней жизни» (*ГМТ*).

Без обиняков, со всей силой гнева, осуждала она братьев Андрея и Льва, игравших в яснополянской трагедии неблаговидную роль противников отца. «Это неслыханно, — писала она Андрею,— окружить восьмидесятидвухлетнего старика атмосферой ненависти, злобы, лжи, шпионства и даже препятствовать тому, чтобы он уехал отдохнуть от всего этого. Чего еще нужно от него? Он в имущественном отношении дал нам гораздо больше того, что сам получил. Все, что он имел, он отдал семье. И теперь ты не стесняешься обращаться к нему, ненавидимому тобою, еще с разговорами о завещании» (*ГМТ*).

Такие же резкие, откровенные письма писала она и В. Г. Черткову, осуждая его за властность, самоуверенность, деспотичность, за грубое отношение к Софье Андреевне. Однако с отъездами Татьяны Львовны временно утихавшие страсти разгорались с новой силой. «Я убежден, — пишет В. Ф. Булгаков, — что если бы в 1910 году Татьяна Львовна жила постоянно в Ясной Поляне, то она нашла бы способы предотвратить тяжелую семейную драму, стóившую жизни Толстому» [1]. К сожалению, дочь Толстого, обремененная своей семьей, не могла постоянно находиться в доме родителей...

В трагические дни конца октября 1910 года, когда Толстой ушел из Ясной Поляны, Татьяна Львовна была одним из немногих членов семьи, кто отнесся к его решению с полным пониманием, чем доставила ему большую радость. Она находилась в Астапове при отце до его последнего вздоха, а после его кончины первой выполнила его волю: отказалась от собственности, передала свою землю крестьянам.

Воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой об уходе и смерти отца — одно из самых правдивых и объективных свидетельств во всей мемуарной литературе о Толстом.

---

[1] Вал. Ф. Булгаков. Лев Толстой, его друзья и близкие, с. 151.

VII

Вся дальнейшая жизнь Татьяны Львовны была посвящена отцу, пропаганде его творчества. Вскоре после его смерти она потеряла мужа и осталась с восьмилетней дочерью — Татьяной. (Лев Николаевич очень любил свою внучку и ласково называл ее «Татьяной Татьяновной».) Скучая по родному дому, Татьяна Львовна вскоре вернулась из имения мужа в Ясную Поляну.

После Октябрьской революции она, вместе с Софьей Андреевной, целиком посвятила себя сохранению литературного наследия отца, а также его дома и усадьбы — этих бесценных памятников русской культуры. В 1920 году Т. Л. Толстая переехала в Москву, где организовала детскую художественную школу. Одновременно она активно включилась в работу Толстовского музея, а с 1923 года стала его директором. В этот период еще более раскрылись незаурядные способности Татьяны Львовны. К этому времени относится ее близкое знакомство с А. В. Луначарским, К. С. Станиславским, В. И. Немировичем-Данченко, В. И. Качаловым, М. В. Нестеровым, И. Э. Грабарем и другими деятелями советской культуры, помогавшими ей в музейной работе.

Справедливо возмущенная участившимися устными и печатными выступлениями бывших последователей ее отца, искажавших события 1910 года, Татьяна Львовна прочитала в Москве ряд публичных лекций, в которых восстановила правду о яснополянской трагедии. С намерением широко пропагандировать литературное наследие отца Т. Л. Толстая в 1925 году выехала с дочерью за границу и провела несколько лет в странах Западной Европы, где выступала с лекциями о Толстом. Ее выступления пользовались большим успехом.

Оказавшись вдали от родины, она не раз с теплым чувством вспоминала свой родной «дом на Кропоткинской». «Ни одного часа в дне не проходит, чтобы я не думала о вас всех и о моем милом музее», — писала она из Парижа 20 июня 1925 года (*ГМТ*). Об этом же писала и ее юная дочь Татьяна Михайловна, до этого также работавшая в музее: «У нас сейчас мрачно. На меня напала такая тоска по Москве, вроде как в первые дни... Мы с большой любовью говорим об улице Кропоткина» *(ГМТ)*.

Живя за рубежом, Татьяна Львовна общалась со многими деятелями русской и мировой культуры, видевшими в ней продолжательницу дела отца. Среди них были И. Репин, И. Бунин, Ф. Шаляпин, А. Куприн, М. Цветаева, Л. Пастернак, К. Сомов, Р. Роллан, М. Ганди, А. Моруа и многие другие. В Музее Л. Н. Толстого

хранятся письма к ней, из которых видно, как велико было всеобщее уважение к дочери писателя.

В 1928 году Татьяна Львовна возглавила за рубежом празднование столетия со дня рождения Л. Н. Толстого. По этому поводу, а также в связи с выходом в свет ее книги об уходе и смерти отца она получила много писем из России и от своих соотечественников за границей. Ф. И. Шаляпин писал ей: «Как ярко оживают в памяти моей Хамовники! Какое великое наслаждение испытал я петь Льву Николаевичу! Как горжусь я этой великой для меня минутой в моей жизни!» (*ГМТ*). М. И. Цветаева прислала ей книгу своих стихов «в знак внимания и симпатии» (*ГМТ*). С большой теплотой многократно писал Татьяне Львовне и И. А. Бунин: «Целую Ваши ручки с большой любовью и родственностью: ведь вы, Толстые, истинно как родные были мне всю жизнь» (*ГМТ*).

Последующие годы Татьяна Львовна провела в Риме, где поселилась ее единственная дочь Татьяна Михайловна, вышедшая в 1930 году замуж за известного римского юриста и общественного деятеля Леонарда Альбертини. Привязанная к дочери и внукам, Т. Л. Толстая осталась в Италии, но всеми силами души тянулась в Россию, в родную Ясную Поляну. В одном из писем к брату, Сергею Львовичу, она в 1935 году с грустью писала:

«Я часто думаю, как странно, что я никогда уже Ясной не увижу. А как бы вдруг я себя почувствовала *дома*, легко, тепло, спокойно в своей комнате над девичьей или с корзинкой в Абрамовской посадке за подберезовиками. Иногда попадался бы толстый белый гриб с седой шапочкой; земляника запоздалая на жидких стеблях в тени берез, серые крутобокие сыроежки... Видно, «где родился, там и сгодился» (*ГМТ*).

Но и на чужбине Татьяна Львовна помнила о своем долге перед родиной, перед отцом. Она написала биографию молодого Толстого, издала со своими комментариями сборник писем отца, антологию его малоизвестных публицистических выступлений, а также подготовила отдельные сборники его художественных произведений. Одновременно она продолжала писать воспоминания о своем детстве и отрочестве в Ясной Поляне.

Нашей горячей благодарности заслуживает и собирательская деятельность Татьяны Львовны. Она кропотливо собирала материалы и документы, относящиеся к жизни Толстого. Вскоре в ее доме образовался маленький музей, который она непрерывно пополняла новыми приобретениями. Эти ценнейшие материалы она сумела сохранить и при фашистской диктатуре Муссолини, а затем, в годы второй мировой войны, некоторые из них завещала Славянскому институту в Париже. Выполняя волю матери, дочь

Татьяны Львовны — Татьяна Михайловна Альбертини передала в дар Музею Л. Н. Толстого в Москве весь зарубежный архив Татьяны Львовны — ее дневники, переписку с родными, друзьями, а также с деятелями русской и мировой культуры.

Т. Л. Сухотина-Толстая умерла в 1950 году в Риме. Ее дочь и внуки свято берегут память о Толстом, о России, являются искренними друзьями нашей страны.

* * *

Мир Льва Толстого безграничен — мир глубоких раздумий, страстных поисков правды, вдохновенного творчества. Дочь писателя, естественно, не объяла жизнь отца во всей ее широте, глубине и сложности. Не всегда ее суждения совпадают с нашими представлениями о его взглядах, бытии и творчестве. Будучи единомышленницей отца, Т. Л. Толстая разделяет и его религиозно-нравственное учение, его философские взгляды со всеми их слабостями и противоречиями. Но мы благодарны ей за то, что она проникновенно и правдиво, с горячей любовью к отцу раскрыла нам некоторые стороны многогранной личности Толстого.

А. И. Шифман

ДЕТСТВО ТАНИ ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

С большой любовью вспоминаю я свое детство.

И с чувством горячей благодарности думаю о тех, кто окружал меня в эту счастливую пору моей жизни.

Я выросла среди людей, любящих друг друга и меня.

Мне казалось, что такое отношение естественно и свойственно человеческой природе.

Я так думаю и теперь.

И хотя я за свою длинную жизнь иногда видела злобу и ненависть между людьми,— я знаю, что такое отношение так же неестественно, как болезнь. И, так же, как болезнь, происходит от нарушения самых первоначальных законов человеческой жизни.

Так же естественны были и внешние условия нашей жизни.

После женитьбы[1] отец прожил с своей семьей безвыездно в Ясной Поляне восемнадцать лет, только изредка выезжая в город по делам.

Жизнь в деревне дала мне любовь к уединению, к спокойствию и дала привычку наблюдать и любить природу.

Трем людям я особенно благодарна за свое детство:

Отцу, руководившему нашей жизнью и поставившему нас в те условия, в которых мы выросли.

Матери, в этих условиях украсившей нам жизнь всеми теми способами, которые были ей доступны, и —

Ханне, нашей английской воспитательнице, прожившей в нашей семье шесть лет и давшей нам столько любви, заботы и твердых нравственных основ.

Среди этих трех людей, занимавших главное место в моей памяти, прошло мое детство.

Ханна уехала из нашего дома, когда мне пошел девятый год. И с ее отъездом кончилось мое детство и кончилось то безоблачное счастье, которым я жила до тех пор.

Началось мое отрочество. О нем я расскажу в другой книге.

I

Родилась я в Ясной Поляне 4 октября 1864 года. За несколько дней до моего рождения с моим отцом на охоте произошел несчастный случай.

В молодости отец очень любил охоту, и особенно осеннюю охоту с борзыми собаками на зайцев и лисиц.

26 сентября 1864 года он взял свою свору борзых собак, сел на свою резвую, молодую лошадь Машку и поехал на охоту. Недалеко от дома в поле выскочил русак. Отец спустил борзых. «Ату его!» — закричал он и поскакал за русаком. Машка, непривычная еще к охоте и очень горячая, пустилась вскачь во весь дух за зайцем и собаками.

На пути попалась глубокая рытвина. Машка не сумела ее перепрыгнуть, споткнулась и упала на оба колена. Не справившись, она всей своей тяжестью упала на бок. Отец упал вместе с лошадью. Рука его попала под лошадь, которая придавила ее всей своей тяжестью. Не успел отец опомниться, как Машка вскочила и, оставив своего седока в рытвине, ускакала домой. С невыносимой болью в руке, почти в бессознательном состоянии, выкарабкался отец на гладкое место.

Что делать? Идти он был не в силах. До шоссе, где он мог бы найти помощь, было около версты.

Наконец он собрался с силами и поплелся.

Он рассказывал потом, что в это время он был почти без памяти: ему казалось, что все было очень, очень давно. Казалось, что когда-то, очень давно, он ехал верхом, когда-то травил зайца и когда-то упал с лошади. Все это было давно, давно...

С трудом прошел он версту, пока не дошел до шоссе. Там силы его покинули, он почувствовал себя плохо и лег на землю у дороги.

Так он лежал, поджидая, пока кто-нибудь пройдет или проедет.

Проехали на телегах мужики. Отец собрал последние силы и стал кричать им:

— Стойте! Помогите!

Мужики или не слыхали, или не захотели остановиться и проехали мимо.

Отец продолжал лежать у дороги. Наконец прошел какой-то пешеход, который его узнал.

— Батюшки родимые, да это наш яснополянский граф! — сказал он.— Что же это такое с ним случилось?

Он остановил первую проезжавшую телегу, уложил в нее отца с помощью ехавшего в телеге мужика и направил его в Ясную Поляну.

Отец страдал ужасно.

— Дядя,— сказал он мужику,— ты свези меня не в барский дом, а свези в избу на деревне.

Он думал, что если без всякого предупреждения приедет домой искалеченный, он слишком сильно напугает мою мать.

В яснополянском доме в то время был уже подан обед, и моя молоденькая двадцатилетняя мать вместе с своим деверем графом Сергеем Николаевичем Толстым и своей матерью Любовью Александровной Берс поджидала к обеду своего мужа и его сестру графиню Марию Николаевну Толстую.

Они всё не шли, а суп остывал.

— Вечно эти Толстые опаздывают к обеду,— ворчала мать.

А в душе у нее шевелилась тревога. Она начинала уже бояться, что что-нибудь недоброе случилось с ее мужем.

Вдруг вошла Марья Николаевна и, подойдя к Любови Александровне, стала как-то странно с ней переглядываться и перешептываться.

Потом обе вышли в соседнюю комнату.

Выйдя оттуда, Любовь Александровна начала каким-то странным, неестественным голосом, ни к кому особенно не обращаясь:

— Вот как не надо никогда беспокоиться. Во всех случаях жизни надо быть рассудительным и никогда не надо пугаться...

Но мать не дала ей докончить своей речи. Она поняла, что что-то случилось с ее мужем.

— Что с Левой?.. Говорите скорее... Он умер? — неистово закричала она.

Узнав от двух старших женщин всю правду, она немедленно оделась и побежала на деревню.

Там она нашла своего мужа, сидящего на скамейке в ужасных страданиях. Мужик, хозяин избы, держал его,

голую до плеча, руку, а деревенская «бабка» ее растирала. Тут находились уже Агафья Михайловна, старая бывшая крепостная девушка Толстых, и тетенька моего отца Татьяна Александровна Ёргольская. Дети в избе кричали, было темно, тесно и душно.

— Немедленно за доктором в Тулу! — распорядилась моя мать. Отца перевезли в дом.

Приехавший из Тулы доктор стал пытаться вправить руку. Восемь раз он тщетно принимался крутить и вертеть руку отца. Измучивши его до последней степени и ничего не сделав, доктор уехал. Отец провел ужасную ночь. Мать ни на минуту не отошла от него. На другое утро послали в Тулу за другим доктором, молодым хирургом. Отца захлороформировали и наконец вправили руку [2]. Лихорадка все же продолжалась, и боль не утихала.

Отец еще не поправился после своего падения, как я появилась на свет.

У моих родителей был уже один сын, полутора лет, Сережа, и они очень рады были дочери. Крестил меня друг моего отца Дмитрий Алексеевич Дьяков, а крестной матерью моей была моя бабушка Любовь Александровна Берс.

Отцу хотелось назвать меня Татьяной в честь его воспитательницы, любимой тетушки Татьяны Александровны Ёргольской. А у моей матери была любимая младшая сестра Татьяна, и она была рада назвать свою дочь именем любимой сестры.

Я росла здоровой, крепкой девочкой, и с моим первым воспитанием не было никаких хлопот.

Окружающие меня в то время люди были очень озабочены состоянием руки моего отца, которая не переставала болеть. Он не мог свободно двигать ею и боялся остаться калекой на всю жизнь.

Ночи он проводил без сна, и старая преданная Агафья Михайловна ночь за ночью в течение шести недель ходила за ним, иногда только позволяя себе подремать в кресле.

Отец не мог свободно владеть рукой, и тогда родители решили, что ему надо ехать в Москву и там посоветоваться с хорошим хирургом. Наконец стало ясно, что рука срастается неправильно.

Остановился он в Москве у родителей моей матери в Кремле. Мой дед служил придворным доктором и жил с семьей в одном из корпусов Кремля.

По письмам моего отца к матери видно, что он перевидал множество докторов, которые все советовали ему разное.

Многие советовали отцу руки не ломать вновь, а только делать гимнастику и обещали, что от гимнастики рука будет со временем двигаться все более и более правильно. Другие доктора настаивали на том, чтобы руку выломать и вновь правильно вставить.

Сначала отец пробовал следовать совету первых докторов, между которыми был и мой дед Берс, и усердно делал гимнастику.

Но руке становилось все хуже и хуже.

Для здорового, сильного, не старого еще человека, каков был мой отец, казалось очень печальным потерять способность владеть правой рукой. И он наконец решился на операцию.

Под хлороформом выломали ему руку, вновь вправили ее и наложили повязку.

Операция удалась. Отец прожил в Москве еще некоторое время, пока ему делали перевязки.

Он воспользовался этим временем, чтобы заняться в Москве печатанием своего большого романа «Война и мир» [3].

Наконец, в декабре, он вернулся к своей семье в Ясную Поляну.

Мне уже пошел пятый месяц. Мать вся была поглощена своей семьей. Для нее в то время не было других интересов в жизни, как ее муж и дети, и ей очень хотелось, чтобы все эти любимые ею существа любили бы друг друга. Отец же никогда не бывал нежен к очень маленьким детям, а в то время ему было не до них: он только что перенес тяжелую операцию и не был еще вполне уверен в том, что будет опять хорошо владеть рукой. Это его очень заботило.

Кроме того, в то время он был усиленно занят самым крупным своим сочинением, для которого надо было много прочесть, много разузнать и много передумать.

Поэтому ему было не до того — смеется или не смеется его маленькая дочь, выучилась ли она что-нибудь держать в своих маленьких красных руках и узнаёт ли она свою мать и няню.

А мама́ огорчалась.

«На Таню он даже никогда не глядит,— писала она своей сестре Татьяне Андреевне о моем отце.— Мне

и обидно и странно. А она такая милая, хорошенькая, покойная и здоровая девочка. Вот уже ей пять месяцев, скоро зубы, скоро ползать, говорить, ходить. И так она и вырастет незамеченная. Таня, заметь ее, пожалуйста, и люби. Глаза у нее, кажется, черные, но еще трудно разобрать. Только очень светлые, веселые и большие глаза» [4].

Но уже через год мама́ писала своей сестре совсем другое.

«Танюша все кричит «Датуйте» (здравствуйте) и выучилась говорить «Жёжа» (Сережа). Левочка по ней просто с ума сходит» [5].

В другом письме она пишет: «Если бы ты видела, милая Таня, до чего стала смешна Танюша. Говорит, конечно, по-своему, но решительно все. Бегает не иначе, как вприпрыжку, пляшет, как будто ее кто учил, одна ходит по лестнице и в ужасной дружбе с отцом» [6].

II

Когда мы начали подрастать, отцу хотелось, чтобы мы вели насколько возможно скромный образ жизни. Сам он всегда был в своих вкусах и требованиях очень прост.

Мама́ рассказывала, что до женитьбы папа́ спал на кожаной подушке без наволочки и что вся обстановка яснополянского дома была довольно убогая.

Папа́ был против всяких дорогих игрушек, и в первое время нашего детства мама́ сама нам их мастерила. Раз она сделала нам куклу-негра, которого мы очень любили. Он был сделан весь из черного коленкора, белки глаз были из белого полотна, волосы из черной мерлушки, а красные губы из кусочка красной фланели.

Одевался папа́ всегда в серую фланелевую блузу и надевал европейское платье только тогда, когда ездил в Москву. Меня, так же, как и мальчиков, папа́ просил одевать в такую же блузу.

Но мало-помалу мама́ ввела свои порядки. Сначала она упросила папа́ позволить сделать для нас елку. «Я Сереже подарю *только одну* лошадку, — просила она. — А Тане *только одну* куклу».

Потом на елку понемногу стало прибавляться бо́льшее количество подарков, и серая блуза была заменена более

разнообразными и нарядными платьями. И понемногу пошла наша жизнь так, как шла жизнь у всех помещиков нашего круга...

Перед большими праздниками к нам обыкновенно приезжал священник и служил у тетеньки Татьяны Александровны всенощную. Приживалка тетеньки зажигала перед двумя ее киотами свечи. Серебряные ризы образов, вычищенные для праздника, ярко блестели, отражая огни восковых свечей, и старая горничная тетеньки, Аксинья Максимовна, мягкими шагами ходила по комнате, оправляя лампады и свечи и крестясь перед ними. В комнатах было сыро от только что вымытых полов и пахло мятой с квасом, которым всегда после мытья полов курили у нас по коридорам и лестницам.

Делалось это так: в медный таз клали раскаленный красный кирпич и сухую мяту; затем кирпич поливали квасом. Квас шипел и испарялся, испуская очень приятный запах солода и мяты.

В доме жили разные странные люди...

Живал подолгу монах Воейков. Он был брат опекуна моего отца и его братьев и сестры [7]. Ходил Воейков в монашеском платье, что очень не вязалось с его пристрастием к вину.

Жил еще карлик. На его обязанности лежала колка дров, но, кроме того, он всегда играл большую роль в разных забавах и маскарадах Ясной Поляны [8].

Живала старуха странница, Марья Герасимовна, ходившая в мужском платье. Она была крестной матерью моей тетки Марьи Николаевны.

Мне рассказывали, что моя бабка, имея одних только сыновей, после рождения последнего своего сына Льва — моего отца — очень мечтала о дочери. Она дала обещание, что, если у нее родится дочь, позвать к ней в крестные матери первую женщину, которую встретят на большой дороге.

Скоро после этого у нее действительно родилась дочь. Послали на большую дорогу встретить странников; первым человеком, встреченным на большой дороге, оказалась юродивая странница, одетая мальчиком.

Это была Марья Герасимовна. Она и крестила мою тетю Марью Николаевну.

После этого Марья Герасимовна была помещена моей бабкой в тульский монастырь, откуда она часто хаживала в Ясную Поляну.

Раз как-то Марья Герасимовна пришла из Тулы и рассказала, что в Туле прошел слух, что из зефира прилетели какие-то существа, не то звери, не то птицы. Называются они «зефиротами».

Вскоре после этого приехали из-за границы мои двоюродные сестры, две молоденькие девушки, Варя и Лиза Толстые, с своей матерью.

— Вот они самые, зефироты,— сказал о них папа́. И так с тех пор так их в шутку и называли «зефиротами».

На святках в яснополянский дом приходили ряженые со всей дворни и с деревни, и тогда в доме поднимался дым коромыслом. Вот как мама́ описывает эти маскарады в своих письмах к своей сестре.

Январь 1865.

«С утра начали все приготовлять, делать маски, короны, шапочки и проч. Повестили дворне, Арине Фролковой *, — помнишь, какая она веселая, — и явилось вечером пропасть ряженого народа. Наши были вот как одеты: Варенька — французским зуавом: красная куртка, красные панталоны, на голове шапочка красная же с кистями. Все это делали и шили целый день; с нею в паре Сережка **, одетый маркитанткой, потом Лиза с Душкой ***,— Лиза — маркиз, а Душка — маркизой с напудренными волосами, оба зачесанные на руло, в чулках и башмаках и с треугольной шляпой под мышкой, чудо, как хороши. Затем следовали Гриша ****, одетый вроде шута, с горбами, а жена его Анна *****, немочка, тоже шутихой. А впереди всех карлик, которого я наняла, крошечный, с Машкой ****** поваровой. Они были дикими царями, в золотых и серебряных коронах, с золотыми и серебряными браслетами на руках и босых, испачканных сажей, черных ногах, с огромными палками в руках и красных мантиях, сделанных из тетенькиных и Машенькиных шалей. Тетенька для наших маскарадов открыла все свои самые затаенные комоды и сундуки.

---

* Яснополянская крестьянка.

** Сергей Арбузов, впоследствии лакей в нашем доме.

*** Горничная мама́.

**** Сын моего дяди Сергея Николаевича.

***** Жена нашего повара Ник. Мих. Румянцева.

****** Дочь нашего повара Ник. Мих. Румянцева.

Дворовые и крестьянки были наряжены кто как. Но это был такой entrain, такое веселье, что сказать тебе не могу. Сережа *, приехавший к вечеру, никого не узнавал и хохотал до упаду. Что выделывал этот карлик — это просто уморительно. Он жил уже шутом у тетенькиного племянника и действительно настоящий шут. Дворовых поили наливкой, угощали яблоками и пряниками, чаем; все были очень веселы и довольны. А «зефироты» с Гришей были просто на седьмом небе. Варенька приходила в такой азарт, что, когда запели в хороводе «Малина, калина!», она уже не могла стоять на месте, а все подпрыгивала и так сияла, как будто больше блаженства нет на свете.

После, вечером, когда все успокоилось, Сережа вдруг говорит, что это так хорошо, что надо все это повторить. Хотели на другой же день, но я упросила дать спомниться, и решили, что будет великолепный бал и маскарад в крещение, «le jour des Rois» **, с пирогом с бобом, с ряжеными, и Сережа взялся сам одеть своих и привезти. Такая пошла суета, весь дом пошел вверх дном.

Лева и я устраивали трон. На большом столе из столовой поставили два кресла с золотыми двуглавыми орлами, все — и стены, и столы, и ступеньки на стол обтянули зеленым сукном, сверху сделали вроде крыши из белого одеяла с красными цветами, положили короны и ордена. Поставили цветы, лавровые и померанцевые деревья — просто великолепно. Это устроили в гостиной, перед стеклянной дверью. Лишнюю мебель вынесли, сделали просторно. Варю одели пажом, в буклях, черная бархатная шапочка с малиновым пером и золотым околышком, белая куртка, малиновый жилет, белые панталоны и сапожки с малиновыми отворотами. Она была чудо, как хороша. Лиза была одета, как одеваются в Алжире: на ней было столько напутано, что я уже не припомню всего. Душку *** Лева одел старым майором, чудо, как хорошо. Сережку — его женой. Работника — кормилицей, а Ваську-белку **** спеленали и дали ему на руки. Потом устроили лошадей из двух людей, а на лошади Душка.

---

* С. Н. Толстой, брат Льва Николаевича.

** Богоявление (*франц.*).

*** Горничная моей матери.

**** Сын повара.

Уже наши все были одеты — седьмой час, а Сережи нет. Мы уже стали отчаиваться, как вдруг колокольчики, и ввалился Сережа с огромной компанией, сундуком и разными шутками. Их провели в мою спальню, они там одевались, Лева одевал своих в кабинете, Машенька своих — у тетеньки в комнате. Я заботилась об освещении, угощении и, главное, о детях. Потом приехали музыканты, скрипка и тромбон, вроде огромной, очень звучной круглой гитары. Гриша с медными тарелками, одетый арлекином, весь в бубенчиках, потом два мальчика Пьерро — два Брандта бабуринские *, потом его горничная и кучерова жена — барин с барыней, потом мальчик — пастушкой. Все это — с бубнами, шумом, хлопушками и тарелками, а сзади всех огромный, почти до потолка, великан, отлично сделанный. Под великаном был Келлер **, который и заставлял его плясать. Эффект был такой, что и сказать тебе не могу. Пришло пропасть дворовых, Арина, одетая немцем; начали есть пирог. Боб попался Брандту, и он выбрал Вареньку, их посадили на трон, и потом уж пошел такой хаос, что и описать нельзя. Песни, пляски, игры, драки пузырями, хлопушки, жгуты, хороводы, угощение и, наконец, бенгальский огонь, от которого у всех ночью и на другой день была головная боль и рвота.

Я все больше сидела внизу с детьми...

На другой день все остались у нас, мы ездили на двух тройках кататься, все перегоняли друг друга, тоже с большим азартом. Вечером дети играли в разные игры и потом, на третий день, собрались все домой... Мы поехали провожать, Лева, я и Сережа-маленький. Но только выехали в поле, поднялся ветер, все вернулись к нам, обедали, Сережа уехал только поздно, а Машенька с девочками в Пирогово» [9].

Во всех этих маскарадах мы, дети, конечно, не участвовали, и я помнить их не могу.

Много того, что мною до сих пор написано, я узнала от моих родителей, от других близких мне людей, а также из разных писем.

---

* Брандт — помещик, живущий в соседнем имении Бабурине.

** Немец, учитель Гриши Толстого.

III

Себя я начала помнить очень рано. Но часто то, что я помню о себе в самом раннем моем детстве, путается в моем сознании с рассказами окружающих обо мне, а также и с чужими воспоминаниями.

Мой отец в своих «Первых воспоминаниях» пишет о том, что он помнит себя спеленутым и помнит, как мучительно он хочет выдрать свои руки из пеленок и как страдает от того беспомощного состояния, в котором он находится [10].

Читая это место, мне всегда кажется, что и я помню то же состояние,— помню себя туго спеленутой, негнущейся куклой, которую берут, поддерживая рукой под голову, так как единственное место, которое еще может перегибаться,— это шея, и кладут на что-то жесткое.

Но возможно, что я помню это не о себе, а впечатление это у меня осталось от того, что я много нянчила своих многочисленных младших братьев и сестер и часто пеленала их и брала на руки.

Самое первое, что я помню ясно и что я помню наверное про себя,— это мою няню Марью Афанасьевну Арбузову. Помню ее доброе, круглое, сморщенное лицо, черный шелковый шлык на гладко причесанных волосах, белую косынку на шее и уродливый указательный палец с отрубленным суставом.

Вечером, перед сном, мы сидим с ней в углу детской перед квадратным желтым березовым столом. Я сижу у нее на коленях, и она с ложки кормит меня вкусной душистой гречневой кашей с молоком.

Каша и молоко много душистее и вкуснее, чем они мне кажутся теперь,— точно это были другая каша и другое молоко. А когда няня на кухне не находит гречневой каши, то она крошит в молоко ржаной хлеб и кормит нас этой незатейливой похлебкой. И это так же вкусно, если еще не вкуснее каши. Вероятно, со мной ели кашу и мои два брата [11], которые воспитывались вместе со мной, но я их при этом не помню.

С детской чуткостью я понимаю, что няня кормит нас без приказания родителей, а сама это выдумала, находя, что мы недостаточно сыты.

Следующее мое воспоминание — поездка в Москву к умирающему деду [12].

Эта поездка — первый выезд нас, детей, из Ясной Поляны.

До Серпухова мы едем на лошадях, так как в то время железная дорога шла только от Серпухова до Москвы. Из Ясной Поляны до Серпухова около ста верст, которые нам приходится ехать в возке и санях.

Мы, дети, с няней едем в душном возке, а родители — в санях.

Сережа, тогда лет трех с половиной, сидит со мной в возке и беспокоится о своем друге, деревенском мальчике Николке. Он был в Ясной Поляне товарищем его игр. И Сережа требует, чтобы «Копка», как он его зовет, ехал с нами. Чтобы его успокоить, ему говорят, что Копка сзади в санях. Сережа успокаивается и изредка, как будто желая уверить самого себя в том, что это правда, с улыбкой повторяет: «Копка сзади в санях... Копка сзади в санях...»

Смутно помню я остановку на постоялом дворе в Серпухове. Попавши после долгого сидения в возке на свободу, я пускаюсь так неистово бегать по коридору, что меня не могут поймать и заставить остановиться. Спать нас укладывают на пол, и это мне очень весело.

В Москве помню своего разбитого параличом деда Андрея Евстафьевича Берса.

Помню себя испуганной и смущенной, когда меня вводят в его кабинет в Кремле.

В конце длинной узкой комнаты на кровати лежит дед, крупный старик с седой бородой и светло-голубыми глазами. Он хочет показать мне, что он не владеет левой рукой. Он поднимает ее правой. Левая рука лежит мертвая, беспомощная. Мне любопытно, но и жутко.

Тут же стоит бабушка: красивая высокая женщина, с спокойными, благородными движениями. Она моя крестная мать, и я с чувством особенной любви отношусь к ней.

IV

Жизнь в Москве и обратная дорога совсем не сохранились в моей памяти. Воспоминания мои опять всплывают в Ясной Поляне.

Нас воспитывает уже не няня Марья Афанасьевна, а англичанка Hanna Tarsey. Мой отец выписал Ханну прямо из Англии для нас троих. старших детей. Он находил,

что самая лучшая литература, особенно детская, — это английская. Он хотел, чтобы мы выучились по-английски, чтобы читать эти книги в оригинале.

Ханну привезла в Ясную ее сестра Дженни, жившая гувернанткой у наших знакомых князей Львовых. Обе сестры приехали, когда папа́ был в Москве, и мама́, почти не зная по-английски, была очень смущена этим неожиданным приездом.

«Вообрази, — пишет она отцу 12 ноября 1866 года, — нынче перед обедом вдруг является длинная англичанка Львовых с своей сестрой — нашей англичанкой. Меня даже всю в жар бросило, и теперь еще все мысли перепутались и даже от волнения голова болит. Ну как тебе все это передать? Она такая, какою я ее и ожидала. Очень молода, довольно мила, приятное лицо, даже хорошенькая очень, но наше обоюдное незнание языков — ужасно. Нынче сестра ее у нас ночует, покуда она переводит нам, но что будет потом — бог знает. Я даже совсем теряюсь, особенно без тебя, мой милый друг...» [13]

Первое время мы оставались еще с нашей старой няней в детской, а Ханна спала одна и только днем брала нас к себе.

По рассказам мама́, я не скоро привязалась к Ханне. Я не могла отвыкнуть от своей старой няни, хотя старалась понравиться и Ханне.

Мама́ пишет отцу: «Дети обошлись, Таня сидела у нее на руках, глядела картинки, сама ей что-то рассказывала...» [14] Но потом вечером я ушла в детскую к няне, и там я коварно передразнивала Ханну и представляла, как говорит «енгличанка», как я ее называла. Марья Афанасьевна хохотала, и я видела, что ей нравилось мое скоморошество.

«Танюша не хочет так скоро и легко отдаться в руки чужой,— пишет мама́ отцу через два дня после приезда Ханны.— Она все с ней ссорится, и как только я уйду, слышу, Таня плачет и придет жаловаться: «Енгличанка меня обижает...»[15]

На самом деле добрая Ханна и не думала меня обижать. Я уставала от сделанного усилия, чтобы ее понимать. Мне делалось с ней тяжело и тоскливо. Я считала ее виноватой в своей усталости и жаловалась на нее. Няня тоже очень тосковала по нас.

«Если бы ты знал,— пишет мама́ в том же письме,— как няня старая горюет, мне ее жаль и так трогательно,

что детей от нее взяли... Она говорит: «Точно я что потеряла, такая скука» [16].

Но понемногу мы стали привыкать, и я, с свойственным мне желанием всегда всем понравиться, сначала старалась угодить новой «енгличанке», а потом сердечно привязалась к ней.

В одном письме к отцу мать описывает, как я старательно целый день повторяла за Ханной английские слова и как Ханна была довольна мной. Я до того втянулась все повторять, что потом даже за мама́ стала повторять русские слова. Но к вечеру мне это надоело, и я опять стала от себя прогонять «енгличанку».

Моя мать очень старалась забавить Ханну и украсить ей жизнь в Ясной Поляне. Это ей удалось вполне.

Уже через несколько дней после приезда Ханны мама́ повезла ее и нас, детей, кататься в санях и описывает это катание отцу:

«Было тепло... Ханна была до того счастлива, что прыгала в санях и говорила все: «so nice» *, то есть, верно, это значило, что хорошо. И тут же в санях объяснила нам, что очень любит меня и детей, что «country» ** хороша и что она «very happy» *** [17].

V

Ханна и ее сестра Дженни, которая привезла ее в Ясную Поляну, были дочери садовника Виндзорского дворца в Лондоне. Они были хорошие, честные девушки, знали хорошо свой язык, грамотно на нем говорили и писали, были трудолюбивы и не только не боялись и не стыдились всякой работы, но считали, что работа — необходимое условие для счастья...

Когда Ханна выехала со своей родины в далекую, чужую для нее Россию, ей было девятнадцать лет. Она ни слова не говорила по-русски. Мы ни слова не говорили по-английски. Я и на своем-то языке едва умела говорить... Пришлось объясняться иными способами. Улыбка, ласка, поцелуй, жест, слезы — не нуждаются ни в каком

---

* хорошо (*англ.*).
** страна (*англ.*).
*** очень счастлива (*англ.*).

языке и у всех народностей значат то же самое. И вот в первое время мы ограничивались этим способом общения.

И любовь, выросшая в наших душах друг к другу и оставшаяся там навсегда, была ни английская и ни русская, а общечеловеческая и на всю жизнь связала нас с ней.

Приехавши в нашу семью, Ханна сразу стала жить так, как будто для нее все ее прошлое оставалось навсегда позади, а все интересы ее жизни переносились в нашу семью.

Помню ее всегда веселой, всегда бодрой, с работой в руках, — зиму и лето в чистом светлом ситцевом платье и фартуке.

Мне тогда не приходило в голову, что этой молоденькой, хорошенькой девушке, может быть, иногда хотелось веселья, мечталось об обществе таких же молодых существ, той же народности, какой была она сама; что жизнь круглый год в русской деревне могла иногда быть ей и тяжела... Я была слишком мала, чтобы это сообразить, а она была слишком горда, чтобы это показать, если такие минуты у нее и бывали...

Никогда не видали мы ее скучающей, никогда не слышали от нее жалоб на чуждые ей условия жизни. Она всегда старалась извлечь из них как можно больше пользы и удовольствия.

Первое, что она завела у нас,— это ежедневные ванны для всех детей. Для этого она выписала ванну из Англии, которая и до сих пор жива в Ясной Поляне. Потом она обратила внимание на чистоту полов, находя, что у нас их не умеют чисто мыть. Она выписала такие специальные щетки для мытья полов из Англии и сама мыла ими пол в нашей детской.

Из Англии же она выписала нам коньки, на которых выучила нас кататься. Коньки в то время были деревянные, и только самое лезвие и винт, который ввинчивался в каблук сапога, были стальные. Сквозь деревянный станок конька пропускались ремни, которые в двух местах стягивали ногу.

Все мы, дети, скоро вполне подчинились ее влиянию и без всякого сомнения поверили в то, что все, что она нам приказывает,— хорошо для нас же и доставит нам счастье.

Так и было.

За всю жизнь с Ханной я не помню ни одной истории, ни одного каприза или упрямства. Бывали случаи нашего непослушания, так как Илья и я были очень шаловливы и иногда приходили в такой азарт, что нас трудно бывало удержать.

Случалось со мной иногда несколько отступать от истины, и это Ханну очень огорчало. Она сама была необыкновенно правдива, и Сережа, мой старший брат, тоже был исключительно правдивым ребенком. О себе же, к стыду своему, я того же не могу сказать, и хотя я и старалась никогда не говорить неправды, но я была так жива, шаловлива и легкомысленна, что иногда нечаянно, с разбега говорила то, чего не сказала бы, если бы подумала вперед. Кроме того, мое живое воображение часто уносило меня в область фантазии, и я рассказывала свои выдумки, как истинные происшествия.

Я помню, как Ханна раз заплакала, когда убедилась в том, что я ей солгала. И эти слезы так поразили меня и так сильно на меня подействовали, как не подействовало бы ни одно наказание. Мне теперь за шестьдесят лет, и я этого не забыла...

Веря Ханне и сама чувствуя радость от того усилия, которое я делала, чтобы быть правдивой, я понемногу отвыкла от этой дурной привычки, которая свойственна детям и мало развитым людям.

Я старалась быть правдивой, а иногда мне не верили. Это меня очень огорчало и обижало.

Раз был такой случай: мы учились с мама́. В известный час ей понадобилось принять лекарство, и она послала меня за ним в свою спальню.

— Поди, Таня,— сказала она,— и принеси мне маленький пузырек с коричневыми каплями. Он у меня стоит на туалете.

Я побежала в спальню к мама́, но ни на туалете, ни на ночном столике я пузырька не нашла. Пришлось прийти назад и сказать, что я лекарства не нашла.

— Никогда ты ничего найти не умеешь,— сказала мама́ и сама пошла в спальню.

Эти слова меня обидели, и я ждала возвращения ее с обидой в сердце и со слезами на глазах.

Мама́ вернулась с каплями, которые она нашла у себя в шифоньерке.

— А это ты откусила и бросила у меня на туалете винную ягоду? — спросила она.

— Нет, не я, я даже никаких винных ягод на туалете не видела.

— Откуда же попала откусанная половинка рядом с мешком с винными ягодами?

Я молчала.

— Подойди сюда. Открой рот. Если ты откусила винную ягоду, то у тебя должны быть семечки во рту.

Красная от возмущения и обиды, сдерживая слезы негодования, я подошла к мама́ и открыла рот.

Конечно, никаких зернышек от винной ягоды у меня во рту не оказалось, так как я ее не ела.

Я злобно торжествовала.

«Сто́ит ли говорить правду, — думала я, — если тебе все равно не верят».

Но внутренний голос ответил мне, что правду говорю я не для мама́, и не для Ханны, и не для того, чтобы мне верили, а потому, что, раз полюбивши правду, отступать от нее и лгать самой тяжело и стыдно.

VI

Может показаться странным, что я, вспоминая свое детство, говорю сначала о своих воспитательницах и мало говорю о своих родителях. Но это происходит потому, что папа́ и мама́ я помню как что-то всегда с нами неразделыно существующее, чего я почти не замечаю. Человек не замечает того воздуха, которым он дышит и который необходим для его существования, так и я не замечала своих родителей.

Особенно мама́ сливается со всей моей жизнью и редко вырисовывается в отдельные картины.

Помню ее всегда занятой. Или она возится с кем-нибудь из нас, детей, или учит нас, или бегает по хозяйству, или с быстротой молнии строчит что-нибудь для нас или для папа́ на своей ножной швейной машине, или отвешивает лекарство какой-нибудь больной бабе...

Вечером, когда все дела кончены, иногда папа́ с мама́ садятся играть в четыре руки. Но чаще я помню мама́ за ее маленьким письменным столом в углу гостиной.

Обыкновенно начинается с того, что является няня Марья Афанасьевна. Она стоит перед мама́ с сложенными на животе руками и, склонив немного голову на один бок, выслушивает приказания относительно завтрашнего

обеда. После приезда Ханны она исполняет должность экономки. Затем мама́ с ней совещается о покупке яиц, кур и цыплят на деревне. Иногда они решают наутро послать в Тулу, и няня приносит тульские заборные книжки. Мама́ записывает провизию в книжку колониального магазина и мясной лавки.

— Свечей, Софья Андреевна, калецких нужно бы фунтов пять,— говорит няня.

(Я только много позднее узнала, что такое «калецкие» свечи. Был Калетовский завод, на котором выделывали стеариновые свечи, и по имени этого завода няня называла стеариновые свечи в отличие от сальных.)

— И сальных купить не мешает,— после перерыва продолжает Марья Афанасьевна.— А то в девичьей зажечь нечего, да и не ровен час кто из детей горлом заболеет, а я последний огарок вчера отдала.

Я слушаю эти слова с ужасом. Я без тошноты не могу подумать о том лечении, которое предпринимается, когда у кого-нибудь из нас болит горло или делается кашель. Няня тогда растапливает сальную свечку на серебряной столовой ложке, вынимает фитиль и дает нам пить это растопленное сало. Другую ложку она растапливает для растирки груди, горла и подошв. После растирки больное горло повязывается шерстяным чулком непременно с левой ноги.

Отпустив няню с заборными книжками, мама́ принимается за переписку для папа́. Долго ли это занятие продолжается, мы не знаем, так как, простившись с ней и с папа́, мы уходим спать. Но по сосредоточенному лицу, наклоненному над исписанными отцом листочками бумаги, видно, что для нее начинается самая важная работа всего ее занятого дня.

Не успеваем мы с ней проститься, как она уже опять наклонила над рукописью свою красивую голову с гладко причесанными черными волосами и начинает опять своими близорукими глазами разбирать перечеркнутые и иногда вдоль и поперек исписанные страницы отцовской рукописи.

К утру у отца на письменном столе лежат чисто и разборчиво списанные листочки, которые он опять поправляет и к которым добавляет еще целые страницы, написанные его крупным неразборчивым почерком, а переписанные накануне матерью листки иногда целыми страницами одним штрихом уничтожены.

Вечером мама́ опять все приводит в порядок, а на следующее утро папа́ опять перечеркнул и поправил написанное. И еще прибавил вновь исписанные листы...

Много, много дней, месяцев, а иногда и лет, работал он над каким-нибудь своим сочинением, не жалея трудов для того, чтобы наилучшим образом написать то, что он задумал. Всю жизнь, пока я не выросла и не заменила ее, моя мать, за редкими исключениями, переписывала отцу его сочинения. Потом работу эту делала я, потом сестра Маша, а после Маши — до конца жизни делала ее младшая сестра Саша.

Иногда я вижу, как папа́ подходит к мама́ и через ее плечо смотрит на ее писание. А она при этом возьмет его большую сильную руку и с любовью и благоговением поцелует ее. Он с нежностью погладит ее гладкие черные волосы и поцелует ее в голову.

И в моем детском сердце поднимается при этом такая любовь к ним обоим, что хочется плакать и благодарить их за то, что они любят друг друга, любят нас и окутали всю нашу жизнь любовью.

Мой второй брат, Илья, в своих воспоминаниях так описывает свои отношения к матери:

«Главный человек в доме — мама́. От нее зависит все. Она заказывает Николаю-повару обед, она отпускает нас гулять, она всегда кормит грудью какого-нибудь маленького, и она целый день торопливыми шагами бегает по дому. С ней можно капризничать, хотя иногда она бывает сердита и наказывает.

Она все знает лучше всех людей.

Знает, что надо каждый день умываться, за обедом надо есть суп, надо говорить по-французски, учиться надо, не ползать на коленках, не класть локти на стол, и если она сказала, что нельзя идти гулять, потому что сейчас пойдет дождь, то это уж наверное так будет и надо ее слушаться. Когда я кашляю, она дает мне лакрицу или капли «Датского короля», и я поэтому очень люблю кашлять. Когда мама́ уложит меня в постель и уйдет наверх играть с папа́ в четыре руки, я долго-долго не могу заснуть, и мне делается обидно, что меня оставили одного, и я начинаю кашлять и не успокоюсь до тех пор, пока няня не сходит за мама́, и я сержусь, что она долго не идет.

И я ни за что не засну, пока она не прибежит и пока не накапает в рюмку ровно десять капель и не даст их мне» [18].

VII

Отцовское влияние в доме было сильнее материнского. Это сознавали все.

Мы видели отца реже матери, но встреча с ним или его приход в детскую всегда было для нас событием.

Я помню его еще молодым. Борода у него была карая, почти рыжая, волосы черные, немного кудрявые, глаза светло-голубые.

Глаза эти иногда бывали мягкими и ласковыми, иногда веселыми, а иногда строгими и пытливыми. Сам он был большой, широкий, мускулистый. Движения его были быстрые и ловкие.

В то время он не был еще сед, и на его лице не было еще следов тех страданий и жгучих слез, которые позднее избороздили его черты, когда он одиноко и напряженно искал смысл жизни.

К старости он поседел, согнулся, стал меньше ростом, и светлые глаза его стали более ласковыми и часто грустными.

И в детстве и позднее мы редко слышали от него замечания, — но если папá нам что-нибудь сказал, то это не забывалось и исполнялось беспрекословно.

В свободное от занятий время папá был самым веселым человеком, какого я когда-либо знала. С ним всегда бывало весело: казалось — стоило ему показаться, как сейчас же начиналось что-нибудь очень интересное и забавное. Казалось, что приливала какая-то новая волна жизненной энергии.

Меня он звал «Чуркой», и это прозвище очень мне нравилось, потому что он употреблял его тогда, когда бывал весел и когда хотел меня приласкать или пошутить со мной.

За всю мою жизнь то особенно сильное чувство любви и благоговения, которое я испытывала к отцу, никогда не ослабевало. И по тому, что я сама помню, и по тому, что мне рассказывали, — и он особенно нежно всегда ко мне относился.

Помню я, как я иногда забиралась к нему на колени и принималась щекотать его под мышками и за воротом. Он боялся щекотки и начинал хохотать, кричать и отбиваться.

А мне было весело, что вот такой сильный, важный человек, который *все* может,— в моей власти.

Мне было только два года, когда он раз на довольно долгий срок уехал от нас в Москву. И я тогда уже тосковала по нем. Мама́ ему пишет в Москву:

«Таня сейчас ко мне подошла и говорит: «Сымите со стенки папашу — я его погляжу...» [19]

И через два дня опять пишет:

«Они часто о тебе спрашивают, и Таня вдруг, юродствуя, стала глядеть под скамейку и кликать тебя: «Папаша! папаша!» [20]

А в 1869 году, когда мне шел пятый год, папа́ уехал в Пензу смотреть имение, которое он думал купить. И я очень о нем скучала.

«Как Таня маленькая о тебе много спрашивает и говорит при каждом удобном случае — это бы тебя радовало, если б ты слышал», — пишет ему мама́ [21].

«Целый день только о тебе и речь. «Что-то наш папаша теперь делает в Пензе» или «я думаю, что на этой машине наш папаша едет» *. или «теперь он, может быть, приехал в Тулу». Вчера играли, и она лошадь приставила к креслу и говорит: «Ну, теперь я за папашей в Пензу поеду, а то он долго не едет». И после дети все кончили играть,— и она, задумавшись, все сидела, лошадь погоняла и говорит: «А мне еще далеко до Пензы ехать, я папашу привезу...» [22]

И вот папаша приезжал, и мы опять были счастливы и довольны.

Была одна игра, в которую папа́ с нами играл и которую мы очень любили. Это была придуманная им игра.

Вот в чем она состояла: безо всякого предупреждения папа́ вдруг делал испуганное лицо, начинал озираться во все стороны, хватал двоих из нас за руки и, вскакивая с места, на цыпочках, высоко поднимая ноги и стараясь не шуметь, бежал и прятался куда-нибудь в угол, таща за руку тех из нас, кто ему попадались.

«Идет... идет...» — испуганным шепотом говорил он.

Тот из нас троих, которого он не успел захватить с собой, стремглав бросался к нему и цеплялся за его блузу. Все мы, вчетвером, с испугом забиваемся в угол и с бьющимися сердцами ждем, чтобы «он» прошел. Папа́ сидит с нами на полу на корточках и делает вид, что он напряженно следит за кем-то воображаемым, который

---

* Из окон яснополянского дома видна железная дорога.

и есть самый «он». Папа́ провожает его глазами, а мы сидим молча, испуганно прижавшись друг к другу, боясь, как бы «он» нас не увидал.

Сердца наши так стучат, что мне кажется, что «он» может услыхать это биение и по нем найти нас.

Наконец, после нескольких минут напряженного молчания, у папа́ лицо делается спокойным и веселым.

— Ушел! — говорит он нам о «нем».

Мы весело вскакиваем и идем с папа́ по комнатам, как вдруг... брови у папа́ поднимаются, глаза таращатся, он делает страшное лицо и останавливается: оказывается, что «он» опять откуда-то появился.

— Идет! Идет! — шепчем мы все вместе и начинаем метаться из стороны в сторону, ища укромного места, чтобы спрятаться от «него». Опять мы забиваемся куда-нибудь в угол и опять с волнением ждем, пока папа́ проводит «его» глазами. Наконец, «он» опять уходит, не открыв нас, мы опять вскакиваем, и все начинается сначала, пока папа́ не надоедает с нами играть и он не отсылает нас к Ханне.

Нам же эта игра, казалось, никогда не могла бы надоесть.

Также любили мы один незатейливый рассказ папа́, которому он умел придать большое разнообразие интонациями и повышением и понижением голоса.

Это был рассказ «про семь огурцов».

Он столько раз в своей жизни рассказал его мне и всем мне другим детям, что я помню его наизусть. Вот он:

— Пошел мальчик в огород. Видит, лежит огурец. Вот такой огурец (пальцами показывается размер огурца). Он его взял — хап! и съел! (Это рассказывается спокойным голосом, на довольно высоких тонах.)

— Потом идет мальчик дальше — видит, лежит второй огурец, вот такой огурец! Он его хап! и съел. (Тут голос немного усиливается.)

— Идет дальше — видит, лежит третий огурец: вот тако-о-й огурец... (и папа́ пальцами показывает расстояние приблизительно в пол-аршина) — он его хап — и съел. Потом видит, лежит четвертый огурец — вот такоо-о-о-й огурец! Он его ха-а-п! и съел.

И так до седьмого огурца. Голос у папа́ делается все громче и громче, гуще и гуще...

— Идет мальчик дальше и видит, лежит седьмо-о-о-й огурец. Вот тако-о-о-ой огурец! (И папа́ растягивает

в обе стороны руки, насколько они могут достать.) Мальчик его взял: ха-а-а-ап! ха-а-а-ап! и съел.

Когда папá показывает, как мальчик ест седьмой огурец, то его беззубый рот открывается до таких огромных размеров, что страшно на него смотреть, и руками он делает вид, что с трудом в него засовывает седьмой огурец...

И мы все трое, следя за ним, невольно так же, как и он, разеваем рты и так и сидим с разинутыми ртами, не спуская с него глаз.

Еще с папá бывало веселое занятие — это по утрам, когда он одевается, приходить к нему в кабинет делать гимнастику. У него была комната, теперь не существующая, с двумя колоннами, между которыми была вделана железная рейка. Каждое утро он и мы упражнялись на ней.

Делали мы и шведскую гимнастику, причем папá командовал:

— Раз, два, три, четыре, пять. — И мы, напрягая наши маленькие мускулы, выкидывали за ним руки: вперед, вбок, кверху, книзу, кзаду.

Папá был замечательно силен и ловок и всем нам, детям, передал исключительную физическую силу *.

После гимнастики папá уходил «заниматься», и в это время никому не разрешалось ходить к нему и беспокоить его. Говорили мне, что я одна пользовалась этим правом и одной мне папá позволял приходить к себе во время занятий. Но я этого не помню, а помню, что я до конца его дней боялась помешать работе его мысли, которую я всегда уважала и считала нужной и важной.

В детстве я бессознательно чувствовала, что такой человек, как мой отец, не может заниматься пустяками. А в зрелые годы, участвуя в его работе, я поняла и признала все ее значение.

«Папá умнее всех людей на свете. Он тоже все знает, но с ним капризничать нельзя», — пишет брат Илья о своем отношении к отцу в своих воспоминаниях.

---

* Я редко в своей жизни встречала женщину, которая могла равняться со мной силой, да и многие мужчины, я думаю, мне уступили бы в силе. Мне это давало много удовольствия в жизни: работая, правя лошадью верхом или в экипаже, катаясь на коньках, — я всегда с наслаждением чувствовала тот избыток сил, который делал, что всякое физическое усилие мне бывало не трудно, а, напротив, легко и приятно.

«А когда он сидит в своем кабинете и «занимается», не надо шуметь, и входить к нему никак нельзя. Чтó он делает, когда «занимается», мы не знаем. Позднее, когда я уже умел читать, я узнал, что папá «писатель».

Это было так: мне как-то понравились какие-то стихи. Я спросил у мамá: «Кто написал эти стихи?» Она мне сказала, что их написал Пушкин и что Пушкин был великий писатель. Мне стало обидно, что мой отец не такой. Тогда мне мамá сказала, что и мой отец известный писатель, и я был этому очень рад.

За обедом папá сидит против мамá, и у него своя круглая серебряная ложка. Когда старушка Наталья Петровна, которая жила при Татьяне Александровне внизу, нальет себе в стакан квас, он берет его и выпивает сразу, а потом скажет: «Извините, Наталья Петровна, я нечаянно»,— и мы все очень довольны и смеемся, и нам странно, что папá совсем не боится Натальи Петровны. А когда бывает «пирожное» кисель, то папá говорит, что из него хорошо клеить коробочки, и мы бежим за бумагой, и папá делает из нее коробочки.

Мамá за это сердится, а он ее тоже не боится.

Иногда с ним бывает очень весело.

Он лучше всех ездит верхом, бегает скорее всех, и сильнее его никого нет.

Он почти никогда нас не наказывает, а когда он смотрит в глаза, то он знает все, что я думаю, и мне делается страшно.

Я могу солгать перед мамá, а перед папá не могу, потому что он все равно сразу узнает. И ему никто никогда не лжет» [23].

Я тоже, как Илья, не сомневаюсь в том, что папá самый умный, справедливый и добрый человек на свете и что ошибиться он никогда не может.

Помню, как только раз у меня на минутку закралось сомнение в его непогрешимости, но я тотчас же ответила себе, что у него должны быть какие-нибудь неизвестные мне причины, чтобы поступать именно так, как он поступил. Это было так.

Раз я увидала его, идущего из Чепыжа к дому. (Чепыж — это ближний к дому старый дубовый лес.) На нем высокие болотные сапоги, ружье через одно плечо и ягдташ через другое.

Я бегу к нему навстречу, хватаю его своей маленькой рукой за указательный палец и подпрыгиваю возле него.

Но он озабочен и выпрастывает свой палец от моей руки.

— Погоди, Чурка, погоди,— говорит он и останавливается. Я слежу за тем, что он хочет делать, и вижу, что он вынимает из ягдташа подстреленного и не совсем еще убитого вальдшнепа. Вальдшнеп трепещет у него в руке. Папа выдергивает из него перо и втыкает ему где-то около головы это перо. Вальдшнеп перестает шевелиться, и папá его кладет назад в ягдташ.

Мне это страшно и противно... Я с ужасом взглядываю на папá. Как мог он это сделать?

Папá не замечает моего взгляда и ласково обращается ко мне. Я остаюсь с своим недоумением.

«Но если он это сделал,— думаю я,— так, вероятно, это ничего...» *

VIII

Иногда к папá езжали гости. Большей частью это бывали умные люди, с которыми папá говорил о серьезных вопросах, нам недоступных.

Между ними были: П. Ф. Самарин, А. А. Фет-Шеншин, князь С. С. Урусов, граф А. П. Бобринский и другие.

Они мало обращали на нас, детей, внимания. Мы же любили наблюдать за ними и каждого по-своему судили.

К П. Ф. Самарину мы были довольно равнодушны. Папá говорил с ним всегда о серьезных предметах, а иногда спорил с ним о вопросах, для нас чуждых и непонятных. Мы называли такие разговоры «высшей степени слова»... и знали, что понять эти разговоры мы не в состоянии.

Раз только мы приняли очень живое участие в споре папá с Самариным. Это было по поводу резвости скаковых лошадей. Папá утверждал, что степные лошади не менее резвы, чем английские. Самарин же с презрением отрицал это.

Тогда папá предложил Самарину побиться об заклад. Папá должен был пустить скакать свою степную лошадь, а Самарин свою английскую.

---

* Впоследствии отец не только совсем бросил охоту, но удивлялся на то, как он мог убивать птиц и зверей и как мог он не видать всей жестокости этой забавы.

Мы, разумеется, всей душой стояли на стороне папа́, но, к большому нашему огорчению, самаринский англичанин блестяще обскакал нашего башкирского степняка...

Фета мы не особенно любили. Нам не нравилась его наружность: маленькие, резкие черные глаза без ресниц, с красными веками, большой крючковатый сизый нос, крошечные, точно игрушечные, выхоленные белые ручки с длинными ногтями, такие же крошечные ножки, обутые в маленькие, точно женские, прюнелевые ботинки; большой живот, лысая голова — все это было непривлекательно.

Кроме того, Фет имел привычку, разговаривая, очень тянуть слова и между словами мычать. Иногда он начинал рассказывать что-нибудь, что должно было быть смешным, и так долго тянул, так часто прерывал свою речь мычанием, что терпения недоставало дослушать его, и в конце концов рассказ выходил совсем не смешным.

Мои родители очень любили его. Было время, когда папа́ находил его самым умным изо всех его знакомых и говаривал, что, кроме Фета, у него никого нет, кто так понимал бы его и кто указывал бы ему *дурное* в его писаниях.

«От этого-то мы и любим друг друга, — писал отец Фету 27 июня 1867 года, — что одинаково думаем *умом сердца*, как вы называете»[24].

«Иногда душит неудовлетворенная потребность в родственной натуре, как ваша,— пишет он в другом письме, от 30 августа 1869 года, — чтобы высказать все накопившееся»[25].

В письме от 29 апреля 1876 года отец пишет Фету, что когда он соберется «туда», то есть в другую жизнь, то он позовет его. «Мне никого в эту минуту так не нужно бы было, как вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее... Мне вдруг из разных незаметных данных ясна стала ваша глубоко родственная мне натура-душа (особенно по отношению к смерти), что я вдруг оценил наши отношения и стал гораздо больше, чем прежде, дорожить ими»[26].

Мы с Ильей недоумевали перед оценкой папа́ и даже раз дружно посмеялись над почтенным Афанасьем Афанасьевичем.

Как-то вечером мы, дети, сидели в зале за отдельным столиком и что-то клеили, а «большие» пили чай и разговаривали.

До нас доносились слова Фета, рассказывающего своим тягучим голосом о том, какие у него скромные вкусы и как легко он может довольствоваться очень малым.

— Дайте мне хороших щей и горшок гречневой каши... мммммм... и больше ничего... Дайте мне хороший кусок мяса... ммммм... и больше ничего... Дайте мне... ммммм... хорошую постель... и больше ничего.

И долго, мыча в промежутках между своей речью, Фет перечислял все необходимые для его благополучия предметы, а мы с Ильей, сидя за своим отдельным столиком, подталкивали друг друга под локоть и, сдерживая душивший нас смех, шепотом добавляли от себя еще разные необходимые потребности.

— И дайте мне по коробке конфет в день — и больше ничего,— шептал Илья, захлебываясь от смеха.

— И дайте мне хорошей зернистой икры и бутылку шампанского — и больше ничего,— подхватывала я тоже шепотом.

С Фетом приезжала его жена — милая, добрая Марья Петровна. Ее мы любили гораздо больше, чем ее знаменитого мужа. Она всегда со всеми была ласкова, и от нее так и веяло скромностью, снисходительностью и добротой.

С обоими супругами мы сохранили дружеские отношения до конца их жизни, а выросши, я полюбила истинное поэтическое дарование Афанасья Афанасьевича и научилась ценить его широкий ум.

С своим гостем А. П. Бобринским папа́ всегда особенно горячо спорил о религиозных вопросах.

Помню, как раз, сидя на скамейке под деревьями перед нашим домом, папа́ так ожесточенно с ним спорил о религии, что мне страшно стало. Я, конечно, стояла на стороне папа́, я сочувствовала ему не потому, чтобы я понимала и одобряла то, что он говорит, а просто потому, что считала, что он ошибиться не может. Но мне жалко было, что папа́ так ожесточенно нападает на Бобринского. Только что перед этим Бобринский говорил мне, что у него есть дочка Мисси, приблизительно моих лет, с которой он хотел меня познакомить. Я об этом очень мечтала и боялась, что после спора с папа́ Бобринский раздумает ее привезти.

Но не все гости папа́ были умные и спорили с ним о высоких, непонятных нам, предметах. К нему езжал еще наш сосед Н. В. Арсеньев, с которым разговоры были всегда более простые и нам доступные. За это ли или за то, что Николенька Арсеньев обращал на меня внимание, я его очень любила. Он был молодой, красивый и веселый. Когда он приезжал к нам из своего имения Судакова, я всегда, когда могла, сидела в гостиной с «большими», и слушала Николеньку, и смотрела на него.

Помню, как раз он приехал, когда папа́ собирался идти сажать березовую посадку. Он позвал Николеньку с собой. К моей радости, Николенька попросил позволения взять с собой и нас, детей, и мы все пошли вместе с ним и с папа́ сажать березки.

Теперь уже эта посадка — старый березовый, так называемый Абрамовский лес, и когда мне теперь приходится проезжать мимо него или гулять по нему, я всегда вспоминаю, как я старательно, под руководством папа́ и Николеньки Арсеньева, сажала маленькие душистые, с блестящими липкими листьями, молоденькие березки.

— Вот вырастешь — будешь здесь грибы собирать, — сказал мне при этом папа́.

Раз как-то Николенька был у нас в гостях и мы все вместе сидели в гостиной. Был вечер, и в назначенный для нашего спанья час Ханна увела меня в детскую. Мне было очень горько расставаться с Николенькой, но делать было нечего, Ханны ослушаться нельзя было.

Вымывши в ванне Сережу, Ханна по старшинству посадила после него меня. Намыливши мне голову, Ханна на минутку отошла от меня, чтобы достать кувшин чистой воды для окатывания. Вдруг мне мелькнула смелая мысль. Я воспользовалась тем, что Ханна отвернулась от меня, и с быстротой молнии выскочила из ванны. Стремглав, как была, помчалась я в гостиную, оставляя после себя на полу следы мокрых ступней.

В гостиной я остановилась посреди комнаты перед Николенькой и, торжественно разведя руками, проговорила:

— Вот она, Таня!

Не знаю, что́ он подумал, увидя перед собой голенькую фигуру, с стекавшей с нее водой и с мылом, торчащим в виде битых сливок на голове, но я знаю, что мама́ пришла в ужас и отчаяние и, схватив меня в охапку,

снесла к Ханне. Ханна уже хватилась меня и по мокрому следу бежала за мной...

— Боже мой! Что выйдет из этой девочки? — в ужасе говорит мама́.

IX

Жили мы с Ханной в нижней комнате яснополянского дома. Прежде, еще во времена детства моего отца, дом этот был одним из флигелей, стоявших по двум сторонам большого дома, в котором родился папа́. В те старинные времена комната со сводами не была жилой комнатой, а кладовой для хранения всякого рода провизии.

В потолке этой комнаты вделаны большие железные кольца, существующие и теперь. В прежние времена к этим кольцам подвешивались окорока, сушеные травы, сухие грибы и фрукты и другие деревенские запасы.

Большой дом, в котором родилась моя бабушка Толстая и родился и провел свое детство и свою молодость отец, был продан на снос еще до женитьбы отца. Его перевезли верст за двадцать пять от Ясной Поляны и поставили в том же виде, в каком он стоял в Ясной Поляне.

В 1913 году имение, в которое он был поставлен, было продано крестьянам. Они разобрали большой толстовский дом, поделили его между собой и из материала построили себе избы.

Когда отец в молодости продал большой дом, он с своей воспитательницей тетенькой Татьяной Александровной и с другими жителями Ясной Поляны перешли жить в один из каменных флигелей.

В этот же флигель после своей женитьбы отец привез свою молодую жену.

И в этом доме я и многие мои братья и сестры родились и провели почти всю свою жизнь.

К нашему флигелю на моей памяти папа́ пристроил переднюю и кабинет, а над ними большую залу.

А много лет спустя мама́ велела сломать низенькую деревянную пристройку, которая ютилась на противоположной стороне дома, и поставила на этом месте пристройку такого же размера, как выстроенную отцом залу.

Все детство нас троих, старших детей, прошло в комнате нижнего этажа нашего яснополянского дома.

Комната эта разделена каменным сводом на две части: меньшую и большую. В меньшей жила Ханна, а в большей — мы трое: Сережа, Таня и Илюша.

Старший из нас был Сережа. Это был тихий, серьезный мальчик, доверчивый и правдивый. Он был добрый и сердечный. Почему-то он всегда стыдился всякого проявления нежного чувства, точно это было преступление, и всегда избегал высказывать всякие чувства.

Как товарищ в играх он не был так интересен и весел, как Илья. У него не было столько воображения, и он не умел сразу понять игры и вступить в нее, как это бывало со мной и Ильей. Чуть я что затевала — Илья не только понял, но и дополнил игру. Так же и я с ним — чуть он придумает, я сейчас же подхватываю.

Сережа больше играл один. У него была кукла с блестящими черными фарфоровыми волосами и нарисованными голубыми глазами. Он назвал ее Женей в честь Ханниной сестры, которую он очень любил. С этой Женей Сережа играл всегда один, и мы с Ильей иногда заставали его тихонько разговаривающего со своей Женей.

— Илья, поди послушай, что он говорит, — подзадоривала я.

— Заметит, — говорил Илья. И действительно, как только Сережа замечал, что за ним наблюдали, он конфузился, замолкал и, отложив Женю в сторону, делал вид, что он даже никакого внимания на нее не обращает.

После Сережи иду я.

Мне трудно себя описывать. По рассказам людей, знающих меня ребенком, я была очень живая, шаловливая и веселая девочка, большая затейница, а иногда и притворщица.

Когда я была еще совсем крошечным ребенком, мои двоюродные сестры забавлялись тем, что легонько стукали меня головой об стену, и я, сгибая голову набок и прикладывая руку к глазам, притворялась, что мне больно и что я плачу.

— А-а-а! — пищала я.

Сестер это забавляло, и они продолжали меня стукать, пока, наконец, раз так меня стукнули, что я начала плакать по-настоящему.

Мне рассказывали, как, играя в прятки с Сережей, я притворялась, что не могу найти его, тогда как он совершенно откровенно сидел под фортепиано и наивно

смотрел, как я, заложив руки за спину и сбоку поглядывая на него, ходила по комнате и лукаво повторяла:

— Нету, нету! Нету, нету!

За мной идет Илья. Он на полтора года моложе меня. В детстве это был цветущего здоровья богатырь-ребенок. Он был веселый, горячий и вспыльчивый. Но лень и некоторая слабость характера делали то, что он не всегда умел принудить себя сделать то, что нужно было, или удержаться от того, что было недозволено...

В прогулках он всегда от нас отставал, и часто мы, старшие, увлекшись, забывали о шедшем сзади нас нашем младшем толстом Илье. Вдруг слышим, сзади раздается вой. Это Илья.

— Вы меня не подожда-а-а-ли! — ревет он.

Мы бежим назад, берем его за руку, некоторое время ведем за собой, но потом опять увлекаемся ягодами, грибами или еще чем-нибудь и опять Илья отстает.

— Вы меня не подожда-а-а-ли! — с отчаянием опять ревет он.

После Ильи через три года родился Лева, а потом и Маша. Эти двое последних жили наверху с няней, назывались «little ones» * и мало участвовали в жизни нас троих, старших детей.

X

Во время нашей жизни с Ханной внизу под сводами произошел со мной один очень странный случай, который так живо врезался в мою память, что я сейчас могла бы нарисовать все подробности этого происшествия.

Раз ночью, когда все уже лежали в постелях и все, кроме меня, спали, я увидала, как в противоположном от моей кровати конце комнаты отворилась дверь и вошел... волк.

Он шел на задних лапах, очень низко присев к земле. Помнится мне, что на нем были панталоны и, может быть, куртка, но она была сильно распахнута, так как я видела лохматую грудь волка. Я широко раскрыла глаза, обезумев от страха и боясь позвать кого-нибудь из братьев или Ханну, чтобы не обратить на себя внимание

* малыши (*англ.*).

волка... А вместе с тем я всеми силами души надеялась, что кто-нибудь из них проснется... Но все они спали, и я слышала их мерное и спокойное дыхание.

Наша темная, длинная комната, с каменными сводчатыми потолками и вделанными в них тяжелыми железными кольцами, полумрак, мерное дыхание спящих в ней людей и бесшумно приближающийся ко мне волк, все это наполнило мою душу ужасом...

«А может быть, он не ко мне и не за мной?» — подумала я. Но что-то в моем сознании говорило, что он идет именно ко мне и именно за мной.

Точно скользя по полу, волк все ближе и ближе подходил к моей кровати. Я замерла и зажмурилась и вдруг... о ужас, я чувствую, что он вынимает меня из постели и, всю окоченевшую от страха, берет на руки...

Так же бесшумно, как он пришел, он поворачивается назад к двери и несет меня назад мимо спящих Ильи, Сережи и Ханны.

Я хочу, но не могу сказать ни слова, не могу испустить ни звука, чтобы разбудить кого-нибудь.

Но мысленно, в душе, я напрягаю все свои силы, чтобы умолить его оставить меня в покое или снести обратно в кроватку.

«Ну, милый, ну, хороший, — молю я его мысленно. — Ну, пожалуйста, ну, поверни назад, ну...»

Мы скользим все вперед, подходим уже к двери, когда... о счастье!.. волк вдруг поворачивает назад... И опять мимо спящих Ханны, мимо Сережи, мимо Ильи волк несет меня к моей кроватке и кладет в нее обратно.

Что было после — как он ушел, как я заснула — я этого ничего не помню...

Разумеется, волка не было. Разумеется, все это или мне приснилось, или представилось. Но видение было так ясно, что я до сих пор вижу все подробности этой картины перед глазами, как будто все это действительно случилось...

Виденный мною волк был похож на волка из иллюстраций Каульбаха к гетевскому «Рейнеке-Лису» [27]. У папá в библиотеке было хорошее издание этой книги, и я очень любила смотреть на эти картинки. Может быть, этот образ потому так и врезался мне в память.

Но в то время этот случай казался мне не сном и не видением, а самой настоящей действительностью.

XI

Там же, в нашей комнате под сводами, случилось, что мы все трое заболели скарлатиной.

О заразе, из-за которой теперь люди делают не только бессмысленные, но иногда и жестокие поступки, в то время мало думали.

Мы заразились скарлатиной от крестьянских детей, которые были позваны к нам на елку. В ту зиму в деревне была сильная эпидемия скарлатины, и многие дети пришли на елку не вполне выздоровевшими. У некоторых детей кожа, как перчатка, отставала от тела, и мы трое забавлялись тем, что у ребят сдирали эту отстававшую кожу от рук.

Не мудрено, что мы все заразились, и произошло это так скоро, что не успели мы поесть всех сластей, полученных с елки, и наиграться подаренными нам игрушками, как уже все трое свалились.

Илья был легко болен. Сережа сильнее, а я чуть не умерла. Мама́ рассказывала, что я несколько дней была в бессознательном состоянии и все боялись, что я не вынесу болезни.

Около моей постели поставили два питья — воду с белым вином и воду с вареньем, и я, вскакивая на своей кроватке, быстро и коротко говорила: «Белого» или «Красного». И много дней, кроме этого питья, я ничего в рот не брала.

В то время градусников для измерения температуры тела еще не было и о каких-либо исследованиях никто и не слыхивал. И докторов было меньше, и поэтому реже их звали. Ждали, чтобы болезнь прошла, вытирали тело теплым прованским маслом, давали питье — а в остальном полагались на волю бога.

Помню, как стало мне полегче.

Я лежу в своей кроватке и испытываю чувство блаженства.

Рядом с моей кроватью стоит кровать Ильи, а дальше — кровать Сережи. Они тоже оба в постели. Приходит папа́ и садится около меня.

— Ну что, Чурка? Все притворяешься, что больна? — говорит он. Он смотрит на меня с нежностью, и я чувствую, что сейчас можно просить у него все, что угодно. Но мне просить нечего. Я беру его большую сильную сухую руку в свою и снимаю с его безымянного пальца его

обручальное кольцо. Он мне этого не запрещает, а продолжает смотреть на меня с нежной улыбкой. Я играю с кольцом, пока оно не выскальзывает у меня из руки и не закатывается так далеко, что никто не может его найти. А папа́ меня за это не упрекает и терпеливо ждет, пока Агафья Михайловна находит кольцо в какой-то щелке.

Когда нам стало получше, нам вручили наши елочные сладости и игрушки. И вот мы, прыгая с одной кровати на другую, играли то в гостях у Илюши, то у Сережи, то у меня. Тут же была милая Ханна, ухаживающая за нами, часто заходила мама́, иногда приходил сам папа́. И мы были очень счастливы.

XII

Во время нашей скарлатины ухаживало за нами еще одно лицо, о котором я должна рассказать, так как оно не только имело большое значение для нас, детей, но и занимало довольно заметное место и в жизни нашей семьи.

Это лицо — старуха Агафья Михайловна, бывшая горничная моей прабабки графини Пелагеи Николаевны Толстой, а потом «собачья гувернантка», как ее называли.

Это была худая, высокая старуха, с остатками большой красоты в благородных чертах гордого и строгого лица.

Она осталась девушкой, вероятно, не желая подчинить своей жизни другому человеку. Будучи молодой крепостной, ей волей-неволей приходилось подчиняться своей госпоже, и она добросовестно исполняла свои обязанности. Когда хозяином Ясной Поляны стал отец, то он дал ей помещение на дворне, назначил ей пенсию и, вероятно, щадя ее гордую душу, не возложил на нее никаких обязанностей, а дал ей возможность заниматься тем, чем ей хотелось.

Агафья Михайловна любила рассказывать о том, что, когда она была крепостной папа́, кто-то хотел ее у него купить и предлагал за нее смычок гончих собак, но что папа́ ее не отдал.

— А собаки были важные, — говорила она с сознанием того, что она знает толк в собаках.

Когда Агафья Михайловна перешла на дворню, она сначала занялась овцами, а потом перешла на псарку, где

и прожила до конца своей жизни, ухаживая за собаками.

Агафья Михайловна любила не одних собак — для нее всякое живое существо было достойно любви и сострадания. Даже таких противных насекомых, как тараканов и блох, она не уничтожала и сердилась, когда другие это делали при ней. Она их не только не убивала, но прикармливала. Баранины же, с тех пор как она ухаживала за овнами,— она в рот взять не могла.

«У нее была мышь,— пишет о ней в своих воспоминаниях мой брат Илья,— которая приходила к ней, когда она пила чай, и подбирала со стола хлебные крошки.

Раз мы, дети, сами набрали земляники, собрали в складчину 16 копеек на фунт сахару и сварили Агафье Михайловне баночку варенья. Она была очень довольна и благодарила нас.

— Вдруг,— рассказывает она,— хочу я пить чай, берусь за варенье, а в банке мышь. Я его вынула, вымыла теплой водой, насилу отмыла, и пустила опять на стол.

— А варенье?

— Варенье выкинула, ведь мышь поганый, я после него есть не стану» [28].

Бывало, когда вся наша семья уезжала на зиму в Москву, а папа́ один оставался в Ясной Поляне или когда он приезжал туда из Москвы, чтобы отдохнуть от тяжелых для него городских условий, Агафья Михайловна всегда приходила с дворни в дом, и они вместе сиживали за самоваром и разговаривали о всякой всячине.

Много, много раз он упоминает о ней в своих письмах к мама́, и всегда с хорошим чувством.

«Сейчас Агафья Михайловна повеселила меня рассказами о тебе, — пишет он в одном письме от 2 марта 1882 года... — Это было хорошо. Рассказы ее о собаках и котах смешны, но как заговорит о людях — грустно. Тот побирается, тот в падучей, тот в чахотке, тот скорчен лежит... тот детей бросил...» [29]

В других письмах он пишет:

«Чай готов, и Агафья Михайловна сидит».

«Пришла Агафья Михайловна, болтала и сейчас ушла».

«Дома Агафья Михайловна хорошо рассказывала про старину,— про меня то, что я забыл, какой я был противный барчук...»

«Опять обедал один, опять Агафья Михайловна toujours avec un nouveau plaisir» *.

«Вечер весь шил башмаки Агафье Михайловне... Был Д. Ф. ** и Агафья Михайловна и читали вслух «Жития святых».

«Теперь вечер, шесть часов. Агафья Михайловна сидит».

«Нынче встал в восемь, разобрался вещами, сходил к Агафье Михайловне».

В последний раз папá упоминает о ней в письме к мамá в ноябре 1890 года. «Сейчас девять часов, я ходил погулять,— тихо, теплый снег,— и зашел к Агафье Михайловне...» [30]

Девочкой и я часто забегала к Агафье Михайловне, чтобы поболтать с ней и проведать собак, которых я любила. Агафья Михайловна рассказывала мне про старину, про мою прабабку, про то, как она служила у ней «фрейлиной». Так она называла свою должность.

— Вы на меня не смотрите, что я теперь страшная такая стала. Я смолоду красавицей была,— рассказывала она.— Бывало, сидит графиня с гостями в большом доме на балконе. Понадобится ей носовой платок — она и позовет меня: «Фамбр-де шамбр, аппорте мушуар де пош» ***. А я ей: «Тутсит, мадам ля контесс» ****. А господа на меня так и смотрят, так и смотрят...

Сидим мы с Агафьей Михайловной за беседой, а тут же в комнате ходят собаки, и почти всегда в углу на свежей соломе лежала какая-нибудь собака, которая особенно нуждалась в уходе и попечении Агафьи Михайловны.

Расспрашивала я ее и про мою бабку Марью Николаевну, мать моего отца. Но она мало могла мне о ней рассказать, так как она была крепостной Толстых, а моя бабушка была урожденная княжна Волконская. Агафья Михайловна рассказывала мне о ней только то, что она была «заучена» и что она не умела ругаться.

Я старалась как можно больше узнать о ней, так как отец относился к ее памяти всегда с любовью и благого-

---

* как всегда с удовольствием (*франц.*).

** Дмитрий Федорович — яснополянский школьный учитель.

*** Принесите мне носовой платок (*искаж. франц.*).

**** Сейчас, графиня (*искаж. франц.*).

вением. Агафья Михайловна говорила, что наружностью я была похожа на нее, и это меня всегда очень радовало, несмотря на то, что, по рассказам, она была дурна собой. Проверить этого нельзя, так как после нее не осталось ни одного ее портрета, кроме маленького черного силуэта.

«Папа́ не помнил своей маменьки,— пишет брат Илья в своих воспоминаниях.— Она умерла, когда отцу было только два года, и он знал о ней только по рассказам своих родных.

Говорят, что она была небольшого роста, некрасива, но необычайно добра и талантлива, с большими ясными и лучистыми глазами.

Сохранилось предание, что она умела рассказывать сказки, как никто, и папа́ говорил, что от нее его старший брат Николай унаследовал свою талантливость.

Ни о ком папа́ не говорил с такой любовью и почтением, как о своей «маменьке». В нем пробуждалось какое-то особенное настроение, мягкое и нежное. В его словах слышалось такое уважение к ее памяти, что она казалась нам святой» [31].

Отца своего папа́ помнил хорошо, потому что он умер, когда папа́ было девять лет. Его папа́ тоже любил, говорил о нем всегда с почтением, но чувствовалось, что память маменьки, которой он не знал, для него дороже и что он ее любил гораздо больше отца.

Но вернусь к Агафье Михайловне.

Помню, раз прихожу к ней и вижу, что в углу лежит любимая папашина черно-пегая борзая Милка. Она почти вся покрыта новым стеганым халатом Агафьи Михайловны, который мама́ незадолго до этого сама выстегала для нее. Милка, точно понимая, что она удостоена слишком большой чести, вытягивает ко мне свою длинную узкую морду и смотрит на меня с несколько сконфуженным выражением в прекрасных черных глазах. В том месте под халатом, где должен находиться хвост, новый халат колышется. От этого движения он с нее немного соскальзывает, и я вижу под Милкой множество слепых толстеньких щенят. Некоторые из них ее сосут, некоторые спят, а некоторые, тыкаясь слепыми мордочками в солому, копошатся около нее. Милка поворачивает к ним морду и озабоченно оглядывает свое семейство.

Мне жалко трудов мама́. Я видела, как она часами, нагибаясь над столом и вглядываясь своими близорукими

глазами в работу, стегала халат. И вдруг он теперь на собаке! Но мама́ к этому привыкла. Это случается не в первый раз. Сколько юбок, кофт, халатов было пожертвовано собакам. А сама Агафья Михайловна одета в такую рваную кофту, с таким изношенным верхом, что от него почти ничего не осталось и видна только стеганая вата, торчащая всюду клоками. Грудь и шея у Агафьи Михайловны открыты. Шея длинная, жилистая. Грудь темная, как пергамент, и засыпана табачным порошком, который она нюхает. Густые седые волосы растрепаны, и из-под нависших седых бровей смотрят умные, проницательные глаза.

— Да что вы, графинюшка,— говорит она мне на выраженное мною сожаление о халате.— Что же, халат дороже живого божьего создания, что ли?

Я не могу с ней не согласиться и не возражаю. Но я решаю скрыть от мама́ судьбу ее работы.

Агафья Михайловна ходила не за одними собаками. Она прекрасно умела ходить за больными, и когда у нас в доме кто-нибудь захварывал, то обыкновенно посылали за Агафьей Михайловной. Спокойно и терпеливо она целые ночи просиживала у кровати больного, ловко и охотно ухаживая за ним. Между прочими больными она ухаживала за нашим управляющим Алексеем Степановичем, бывшим камердинером папа́, когда он умирал в яснополянском флигеле. Много дней и недель подряд просидела она у его изголовья. Она очень любила его и часто говорила с ним о самых задушевных вопросах.

У простых людей не стесняются прямо говорить о смерти. И Агафья Михайловна как-то заговорила с своим умирающим другом об этом неизбежном для всех нас конце. Гадали они о том — тяжел ли этот переход в другую жизнь или нет, и Алексей Степанович обещал ей сказать об этом перед самым концом. И вот, когда стало ясно, что конец близок, Агафья Михайловна напомнила ему о бывшем у них разговоре и спросила — хорошо ли ему.

— Уж как хорошо!.. — без колебанья ответил Алексей Степанович.

После его смерти Агафья Михайловна очень тосковала о нем.

«Вчера Агафья Михайловна долго сидела и плакала,— пишет отец моей матери,— и горевала, как всегда странно, но искренно: «Лев Николаевич, батюшка, скажи, что ж

мне делать? Я боюсь, с ума сойду. Приду к Шумихе*, обниму ее и заплачу: «Нет, Шумиха, нашего голубчика», и т. д. И сама плачет»[32].

С тех пор как я помню Агафью Михайловну, она постоянно жаловалась на то, что у нее внутри растет береза. Когда я спрашивала о ее здоровье, она всегда отвечала, поморщившись и покачав головой:

— Береза, графинюшка, все растет... Дышать от нее трудно...

Я не знала и сейчас не знаю, верила ли она в то, что действительно в ней береза растет, но я в детстве верила этому и мысленно прикидывала, что если береза будет все продолжать расти, то, наконец, она выйдет наружу. И с смешанным чувством любопытства и страха ждала этого появления березы.

В длинные осенние и зимние ночи эта одинокая старуха, ворочаясь с боку на бок от мучавшей ее березы, думала свои своеобразные думы.

— Вот лежу я раз одна, — рассказывала она, — тихо, только часы на стенке тикают: кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Кто ты, что ты? Вот я и задумалась: и подлинно, думаю: «Кто я? Что я?» Так всю ночь об этом и продумала.

Об этом ее рассказе любил вспоминать мой отец, так же как о другом случае из жизни этой странной старухи.

Раз заболела гостившая у нас моя тетя Татьяна Андреевна Берс, младшая сестра матери. Как водилось, послали за Агафьей Михайловной.

— Я только что пришла из бани,— рассказывала Агафья Михайловна,— напилась чая и легла на печку. Вдруг слышу, кто-то в окно стучит. «Чего тебе?» — кричу. «За вами Татьяна Андреевна прислали — заболели, так просят вас прийти походить за ними». А я только что на печке угрелась, не хочется слезать, одеваться да по холоду в дом идти. Я и ответила: «Скажи, не может, мол, Агафья Михайловна прийти, только что из бани». Ушел посланный, а я лежу и думаю: «Ох, не хорошо это я делаю, себя жалею, а больного человека не жалею». Спустила я ноги с печки, стала обуваться. Вдруг слышу, опять в окно стучатся. «Ну, спрашиваю, чего еще?» — «Татьяна Андреевна прислали вам сказать, чтобы вы беспременно

---

* Гончая собака.

приходили,— они вам на платье купят».— «А! а-а, говорю, на платье купит... Передай, что сказала, что не приду, и не приду». Скинула я с себя валенки, влезла опять на печь и долго уснуть не могла. Не за платья я больных жалею... Любила я Татьяну Андреевну, а как обидела она меня...

Многих наших гостей Агафья Михайловна знала и любила, но самым большим любимцем ее был М. А. Стахович. Надо сказать, что и он, с своей стороны, всегда показывал ей столько ласки и внимания, что не мудрено, что он этим тронул ее старое сердце. Никогда не приходил он к ней с пустыми руками, и, что было еще дороже гордой старухе — он всегда относился к ней с таким же уважением и с такой же вежливостью, как если бы она была самой важной светской дамой. Бывало, придет он к ней, а она его чаем потчует. В комнатах стоит сильный запах псины. Тараканы бегают по стенам и по столу. От собак пропасть блох. Сама Агафья Михайловна грязна, и чайная ее посуда такая же.

Но Михаил Александрович мужественно наливает свой чай на блюдце и прихлебывает его, откусывая от подозрительного куска сахара. Вид у сахара такой, как будто до него кто-нибудь им уже пользовался.

Помню, раз Агафья Михайловна предложила Михаилу Александровичу понюхать у нее табаку, и он, нисколько не смутившись, взял из ее берестовой табакерки щепотку, насыпал ее на большой ноготь левой руки и потянул носом.

5 февраля Агафья Михайловна бывала именинницей, и все мы помнили этот день и присылали ей поздравления.

Только раз как-то в Москве, увлекшись разными удовольствиями, мы забыли поздравить ее. А папá, живший в то время в Ясной, не успел кончить башмаки, которые он шил для нее. В письме к мамá он пишет: «Дети таки забыли про именины Агафьи Михайловны. И мои башмаки ей не поспеют» [33].

Но не забыл этого дня Стахович. 5 февраля, по морозу, при сильной вьюге, пришел посланный с Козловой-Засеки и принес Агафье Михайловне телеграмму от Стаховича, поздравлявшего ее с ангелом.

«Вечером пришла Агафья Михайловна и телеграмма ей. Она очень довольна», — пишет отец мамá 5 февраля 1884 года [34].

Агафья Михайловна сияла от радости и всем хвастала этой телеграммой. Когда она показала ее папа́, он посмеялся и сказал:

— А не стыдно тебе, что человек по такой вьюге с этой телеграммой пёр от станции три с лишним версты?

Агафья Михайловна огорчилась и обиделась:

— Пёр-пёр... Вы говорите, пёр. Его ангел нёс, а вы говорите, пёр... пёр. — И расходившаяся старуха долго не могла успокоиться.

Когда весной мы приехали в Ясную, первое, что рассказала нам Агафья Михайловна, было о том, что Стахович прислал ей телеграмму и что папа́ сказал, что посланный с нею «пёр» со станции...

— Пёр... Вам принесет депешу, так это не пёр. А мне, так пёр... Его ангел нёс...— повторяла она. И она была права. Я думаю, что редко поздравительная телеграмма доставляла получившему ее столько радости, какую доставила эта, присланная на псарку, телеграмма.

Умерла Агафья Михайловна, когда никого из нас в Ясной Поляне не было. Умерла она спокойно, без ропота и страха.

Перед смертью она поручила передать всей нашей семье благодарность за нашу любовь.

Рассказывали, что когда ее понесли на погост, то все собаки с псарки с воем проводили ее далеко за деревню по дороге на кладбище. Скучнее стало в Ясной без Агафьи Михайловны.

XIII

Еще в Ясной Поляне жила с нами воспитавшая отца и его братьев и сестру тетенька Татьяна Александровна Ёргольская со своей приживалкой Натальей Петровной и старой горничной Аксиньей Максимовной.

Родство Татьяны Александровны с нами было очень дальнее. Папа́ звал ее тетенькой «по привычке», как он пишет в своих «Первых воспоминаниях», «так как родство наше было так далеко, что я никогда не мог запомнить его, но она, по праву любви к нам, как Будда с раненым лебедем, заняла в нашем воспитании первое место. И мы чувствовали это.

И у меня бывали вспышки восторженно умиленной любви к ней,— пишет он дальше.— Помню, как раз на

диване в гостиной, мне было лет пять,— я завалился за нее, она, лаская, тронула меня рукой. Я ухватил эту руку и стал целовать ее и плакать от умиленной любви к ней».

Я думаю, что до его женитьбы, у папá не было человека, которого бы он любил и уважал так, как он любил и уважал эту тихую, кроткую, благородную старушку.

«...Тетенька Татьяна Александровна, — пишет он дальше в своих воспоминаниях,— имела самое большое влияние на мою жизнь. Влияние это было, во-первых, в том, что еще в детстве она научила меня духовному наслаждению любви. Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви. Это первое.

Второе то, что она научила меня прелести неторопливой, одинокой жизни».

Татьяна Александровна посвятила всю свою жизнь своим маленьким воспитанникам, вполне отказавшись от своего личного счастья.

«В ее бумагах,— пишет отец в «Первых воспоминаниях»,— в бисерном портфельчике, лежит следующая, написанная в 1836 году — шесть лет после смерти моей матери — записка:

«16 Août 1836. Nicolas m'a fait aujourd'hui une étrange proposition — celle de l'épouser, de servir de mère á ses enfants et de ne jamais les quitter. J'ai refusé la première proposition, j'ai promis de remplir l'autre — tant que je vivrai» *.

«Так она записала,— пишет мой отец,— но никогда ни нам, никому не говорила об этом» [35].

С этих пор жизнь детей Толстых — стала ее жизнью.

Мне кажется, что особенно она любила моего отца.

Во всяком случае, она осталась жить у него, когда единственная сестра отца вышла замуж [36], когда два брата его умерли [37] и когда его брат Сергей переехал жить в доставшееся ему после раздела имение Пирогово. Оставшись без отца и без матери одиноким юношей, он отдал ей всю ту любовь, которую он имел бы к родителям.

---

* «16 августа 1836. Николай ** сделал мне сегодня странное предложение: выйти за него замуж, служить матерью его детям и никогда их не покидать. Я отказалась от первого предложения, второе я обещала исполнить, пока я буду жива» (*франц.*).

** Николай — мой дед Н. И. Толстой, отец папá.

Он постоянно помнил, что в полупустом яснополянском доме живет человек, любящий его душу, боящийся за его страстную, увлекающуюся природу и с волнением ожидающий от него известий.

Думаю я, что не раз это сознание останавливало его в его страстных порывах.

Он пишет ей:

«Если я стараюсь быть лучше и т. д.» [38].

Когда бы отец ни уезжал, он всегда писал своей тетушке Татьяне Александровне и с нетерпением ждал писем от нее. Без них он жить не мог, и если долго их не получал, то беспокоился, огорчался и упрекал ее за то, что она не пишет ему.

«Ваши письма доставляют мне не удовольствие,— пишет он к ней в 1855 году из Симферополя, как всегда по-французски,— они для меня величайшее благо, я становлюсь совсем другим, становлюсь лучше, когда получаю одно из Ваших писем, которые перечитываю раз 100; я так счастлив, получив их, что мне не сидится на месте, мне хочется прочесть их всем; и если я перед тем дал увлечь себя чем-нибудь дурным — я останавливаюсь и снова строю планы — как бы стать лучше» [39].

Она же натолкнула моего отца на писательскую деятельность, двадцатитрехлетним юношей он пишет ей из Тифлиса; как всегда по-французски:

«Помните, дорогая тетенька, совет, который Вы мне раз дали,— писать романы. Так вот, я следую Вашему совету, и занятия, о которых я Вам писал, состоят в литературе. Я еще не знаю — появится ли когда-нибудь в свет то, что я пишу, но эта работа меня занимает, и в ней я уже слишком далеко зашел, чтобы ее оставить» [40].

То, что он тогда писал, было — «История моего детства», появившаяся в сентябре 1852 года в журнале «Современник» [41].

В 1852 году он пишет ей со станции Моздок, «на полдороге к Тифлису», как он ставит в заголовке своего письма, о своих мечтах будущего счастья по возвращении с Кавказа, когда он будет жить опять в Ясной Поляне с Татьяной Александровной, а может быть, и женится, и Татьяна Александровна будет жить с ним и его семьей и все будут любить друг друга.

«Если бы меня сделали русским императором, если бы мне дали Перу, — одним словом, если бы волшебница пришла ко мне с своей палочкой и спросила меня, чего я

желаю, я, положа руку на сердце, ответил бы, что желаю, чтобы эти мечты могли бы стать действительностью... Опять я плачу. Почему я плачу, думая о Вас? Это слезы радости; я счастлив от сознания моей любви к Вам. Какие бы несчастия ни случились, я не сочту себя вполне несчастным, пока Вы живы.

Помните ли Вы нашу разлуку у Иверской часовни, когда мы уезжали в Казань? Когда как бы по вдохновению в самую минуту разлуки я понял, кем Вы были для меня, и, хотя еще ребенком, слезами и несколькими отрывочными словами я сумел дать Вам понять, что я чувствовал...» [42]

Живя в 1852 году на Кавказе, в Пятигорске, он постоянно думает о том, как он опять встретится с ней.

«Через несколько месяцев, — пишет он ей, — если бог не расстроит моих планов, я буду у Вас и своими заботами и любовью смогу доказать Вам, что я хоть немного заслужил все то, что Вы для меня сделали. Память о Вас так жива во мне, что, написав это, я несколько минут просидел над письмом, стараясь представить себе ту счастливую минуту, когда снова увижу Вас, когда Вы заплачете от радости при виде меня и когда я тоже расплачусь, как ребенок, целуя Вашу руку...» [43]

Любя ее так сильно, папá всегда мечтал о том, чтобы кто-нибудь из его семьи повторил бы в своем лице ее образ.

Он назвал меня Татьяной и говорил и раз написал мне, что он мечтал о том, чтобы я повторила ее жизнь. Увы! Я и моя жизнь вышли совсем не похожими на нее и ее жизнь.

В тот день, когда родился мой единственный ребенок, моя дочь Таня [44], которой я теперь посвящаю эту книгу, папá пришел ко мне растроганный и умиленный и сказал мне, что он видел сегодня ночью во сне тетеньку Татьяну Александровну. Он сказал, что ему хотелось бы, чтобы моя дочь была названа Татьяной. А мы с мужем, разумеется, без колебания исполнили его желание.

Тане было пять лет, когда ее дед умер, и он поэтому не мог судить о том, достойна ли она носить имя его любимой тетки.

Когда папá женился, Татьяна Александровна с большой любовью встретила мамá. И мамá, поняв ее прекрасную душу, всегда относилась к ней с уважением и заботой.

С тех пор как я стала помнить тетеньку Татьяну Александровну, она, Наталья Петровна и Аксинья Максимовна жили в маленькой деревянной пристройке внизу, куда они перешли по настоянию самой Татьяны Александровны.

Когда в нашей семье стало прибавляться все больше и больше детей, она настояла на том, чтобы папа́ перевел ее вниз, а ее комнату взял бы для детей.

Вот как мой отец в своих воспоминаниях рассказывает об этом: «Уже когда я был женат и она начала слабеть, она раз, выждав время, когда мы оба с женой были в ее комнате, она, отвернувшись (я видел, что она готова заплакать), сказала: «Вот что, mes chers amis *, комната моя очень хорошая и вам понадобится. А если я умру в ней,— сказала она дрожащим голосом,— вам будет неприятно воспоминание, так вы меня переведите, чтобы я умерла не здесь» [45].

Папа́ был глубоко тронут этим новым проявлением ее самоотверженности и подчинился ее решению.

С тех пор и до самой ее смерти Татьяна Александровна прожила в маленькой комнатке на северо-запад с окнами во двор.

У нее была совсем отдельная жизнь от всего остального дома. В углу ее комнаты висел огромный образ Спасителя в темной серебряной ризе. Самое лицо Спасителя было такое темное, что трудно было на нем различать черты. Рядом висел еще киот с образами. В комнате ее пахло деревянным маслом и кипарисовым деревом. Сама она была маленькая, тоненькая, с маленькими белыми руками. Когда мы к ней приходили, она этими маленькими ручками отпирала свою шифоньерку и давала нам коричневые имбирные пряничкн.

С этими пряничками в моей памяти связано постыдное для меня воспоминание. Раз мы, трое старших детей, были позваны к Татьяне Александровне. Мы, почему-то, были в очень игривом и шаловливом настроении. Обыкновенно тетенькина комната внушала нам уважение, и, входя в нее, мы — сами того не замечая — всегда притихали. В этот раз было не то. Как только Татьяна Александровна отперла шифоньерку, чтобы достать нам коричневых пряничков, мы с Ильей бросились к комоду и через тетенькины руки стали хватать прянички и набивать ими

* мои дорогие друзья (*франц.*).

рты и карманы. Татьяна Александровна начала нас уговаривать и останавливать, но не тут-то было,— мы расшалились, и удержу нам не было. Видя наше настроение, Татьяна Александровна почувствовала свою беспомощность, отошла от комода, села и с изумлением и ужасом посмотрела на нас. Этого взгляда я никогда не забуду.

Мне вдруг стало так стыдно, что я бросила те пряники, которые у меня были зажаты в кулаке, как-то неестественно захихикала, стараясь этим показать, что все это только забавная шутка, и убежала.

Но на душе было гадко, и я никогда не простила себе этой грубой выходки с утонченной, деликатной старушкой, с которой даже сам папа́ говорил всегда особенно вежливо.

XIV

Есть еще лицо, которое часто вспоминается мне в моем детстве. Это моя двоюродная сестра Варя, дочь моей тетки графини Марьи Николаевны Толстой.

Она часто живала в Ясной Поляне. Помню ее молодой девушкой. Она была прислана своей матерью в Ясную Поляну, чтобы забыть человека, которого она любила и за которого хотела выйти замуж. Не раз я видала ее в слезах и как сейчас помню свое чувство любви и участия к ее горю, когда я сиживала на ее коленках и головой прижималась к ее груди.

Она прекрасно рассказывала сказки, и никогда потом никакие сказки мне так не нравились, как те, которые она рассказывала, сидя с нами по вечерам в полутьме на большом диване.

Иногда наша Ханна уезжала к сестре или в Тулу к знакомым англичанам, которых отыскал для ее развлечения папа́, и тогда Варя ночевала с нами в комнате со сводами и кольцами.

Уезжая, Ханна давала Варе наставления о том, как с нами обходиться, что позволять и что запрещать.

Одно время Ханна давала нам на ночь по маленькому кусочку лакрицы. Мы это очень любили. И вот Варе была дана толстая палка лакрицы, чтобы вечером каждому из нас отколоть по кусочку.

Мне теперь стыдно признаться в том, что моя жадность была так велика, что даже теперь, через пятьдесят с лишним лет, я помню то удовольствие, которое я испы-

тала, получивши от Вари на ночь огромный кусочек лакрицы, который, наверное, Ханна поделила бы между нами на пять, шесть вечеров.

Но мое удовольствие продолжалось недолго. Я никак не могла дососать своей лакрицы, и она под конец так мне опротивела и так мне захотелось спать, что я вынула ее изо рта и потихоньку спустила за свою кровать на пол.

Варя была очень рассеянна, и в нашей семье много ходило анекдотов по этому поводу. Мы очень любили их рассказывать. Варя при этом сконфуженно улыбалась, моргала, кивала головой и говорила:

— Да, да, представь себе — это, правда, так и было.

А иногда она протестовала.

— Нет, это уж на меня клевета.

Когда она выходила замуж, папá подарил ей банковый билет в десять тысяч рублей. Это было часть платы, полученной им за его роман «Война и мир», которой он поделился с детьми своей сестры.

Варя очень благодарила своего дядю и положила банковый билет на стол.

Вечером случилось, что в Вариной комнате разбилось оконное стекло. На дворе было холодно, она почувствовала сквозняк и решила залепить окно бумагой, тем более что у нее случайно оказался на столе гуммиарабик.

Она взяла первую попавшуюся бумажку, очень искусно залепила окно и легла спать, довольная своей изобретательностью.

Утром кто-то напомнил Варе о полученных деньгах.

Варечка о них уже забыла, так как для нее мирские блага имели мало значения. Но тем не менее она принялась искать банковый билет. Пропал! Ищет она, ищут другие — нет билета.

Наконец, кто-то случайно заглянул в окно — и увидал, что десятитысячный билет прилеплен на отбитом верешке окна.

Варя заморгала, заахала сама на себя, стала ужасаться и удивляться тому, как могло с ней случиться такое необыкновенное происшествие, но не исправилась.

Да и слава богу, что не исправилась и что не могла придавать большой важности материальным благам в продолжение всей своей жизни.

Когда она была уже замужем,— муж ее с большим добродушием рассказывал о ней разные случаи.

— Представьте себе, рассказывал он, я на днях поехал со своими приятелями на охоту и просил Варечку приготовить нам ужин. Приезжаем вечером домой —голодные как волки. «Варечка, что ж, ужин готов?» Вижу, Варечка сконфужена. «Представь себе, Коля,— говорит она,— я думала, думала, что бы вам приготовить,— так ничего не придумала». Ну, пришлось нам идти ужинать в ресторан, прибавил он, снисходительно улыбаясь.

В другой раз Варя с мужем и с другими друзьями и родственниками взяли ложу в театр. Во время антракта пошли в фойе походить. Когда все вернулись в ложу, Вареньки не досчитались. Просидели целый акт — Вари все нет. Муж стал беспокоиться. Наконец, он догадался пойти в партер и осмотреть оттуда все ложи.

В пустой ложе, на один ярус выше той, в которой они сидели, он увидал одинокую Варю. Она сидела, с видимым беспокойством озираясь во все стороны и более, чем когда-либо, моргая глазами от смущения.

— Представь себе,— как всегда начала она,— я думала — как это странно, что вы все вдруг куда-то пропали, точно исчезли...

Раз в воскресенье она пошла с своим старшим сыном Волей к обедне. По дороге у мальчика с пальто оторвалась перламутровая пуговица. Варя ее аккуратно спрятала в карман. А в кармане был приготовлен двугривенный для церкви.

И вот, когда пошли по церкви с тарелочками собирать деньги, Варя ощупала в своем кармане то, что она приняла за двугривенный, положила на тарелочку, взяв два пятака сдачи, чтобы положить их в следующие тарелочки. Только что сделавши все это, она, к ужасу своему, увидала, что вместо двугривенного она положила на тарелочку пуговицу от Волиного пальто. Поправить дело было поздно, и так церковный староста прошел, унося на тарелочке драгоценную пуговицу. А Варя так растерялась, что забыла положить в следующие тарелочки незаконно забранные ею пятаки.

И так оказалось, что она не только не обогатила, но обокрала церковь.

Прибавлю здесь о Варе то, что она, несмотря на желание ее родных расстроить ее свадьбу, все же вышла замуж за Н. М. Нагорного. Он оказался хорошим и любящим мужем, и она никогда не раскаивалась в своем выборе.

XV

Семья наша все прибавлялась. Когда Илье исполнилось три года, родился у мама́ еще сын Лев [46]. Я очень была огорчена тем, что у меня опять брат. Мальчики мне надоели, и мне страстно хотелось иметь сестру. Я мечтала о том, как я буду играть с сестрою в куклы и как жизнь с ней будет совсем иная, чем с братьями.

Безо всякого поощрения со стороны кого бы то ни было я к своей утренней и вечерней молитве прибавила еще английскую фразу: «Please God send me a little sister» («Пожалуйста, бог, пошли мне сестрицу»).

И вот 12 февраля 1870 года [47] у мама́ родилась дочь.

Я была уверена в том, что это случилось благодаря моим молитвам, и с нетерпением ждала, когда я увижу свою сестрицу. Наконец нас позвали к мама́ в спальню. В полутьме лежала мама́, спокойная, красивая и слабая. На кровати возле нее лежало крошечное красное, сморщенное существо, от которого пахло фланелью и «детской присыпкой». Маленькое это создание чуть копошилось и тихо и жалобно попискивало.

«Так вот мой жданный и желанный товарищ для игры в куклы, для выслушивания всех моих девичьих мыслей и чувств, которых не в состоянии понять мальчики. Долго, долго придется ждать, пока из этого несчастного, беспомощного существа вырастет девочка!» — подумала я.

В этот раз нас у мама́ продержали очень недолго: я осторожно наклонилась над своей маленькой сестрицей и поцеловала ее; я испытывала к ней материнское чувство жалости и нежности, а не чувство сестры к сестре. Потом поцеловала мама́ и ушла из спальни растроганная, но не удовлетворенная.

Скоро мы узнали, что мама́ серьезно больна и что новая сестрица родилась очень слабенькая.

Потянулись грустные длинные дни. Мама́ мы не видали.

Папа́ иногда заходил к нам, но всегда был озабочен и торопился уходить. Когда я заходила к Маше — так звали новую сестру — няня Марья Афанасьевна встречала меня не ласково: Маша почти всегда плакала, и няня ее то укачивала, то перепеленывала, и я чувствовала, что няне я мешаю, а удовольствий я от своих посещений не получала.

Наконец, после очень длинной и тяжелой болезни, мама́ выздоровела.

Маша же все хворала. Кроме других недугов — у нее сделалась сильная золотуха. Помню ее головку, всю покрытую мокрой гнойной коркой. Няня лечила ее по-своему, намазывая ей голову сливками. Сливки прокисали у нее на голове, и от нее всегда пахло чем-то кислым и неприятным.

Я, так страстно желавшая иметь себе товарку, была разочарована и вернулась к обществу братьев и Ханны.

Не скоро Маша поправилась. Прошла у нее золотуха, но она осталась слабенькой и хрупкой, какой и была в продолжение всей своей жизни.

XVI

Мы, трое старших, жили в детстве совсем отдельно от младших. Я любила ходить к ним в детскую, забавляться ими, но настоящая жизнь была с Сережей и Ильей.

И они чувствовали то же самое.

«С тех пор, как я себя помню,— пишет Илья в своих воспоминаниях,— наша детская компания разделялась на две группы — больших и маленьких — big ones и little ones.

Большие были: Сережа, Таня и я. Маленькие — брат Леля и сестра little Маша.

Мы, старшие, держались всегда отдельно и никогда не принимали в свою компанию младших, которые ничего не понимали и только мешали нашим играм.

Из-за маленьких надо было раньше уходить домой, маленькие могут простудиться, маленькие мешают нам шуметь, потому что они днем спят, а когда кто-нибудь из маленьких из-за нас заплачет и пойдет к мама́ жаловаться, большие всегда оказываются виноваты, и нас из-за них бранят и наказывают.

Ближе всего и по возрасту и по духу я сходился с сестрой Таней. Она на полтора года старше меня, черноглазая, бойкая и выдумчивая. С ней всегда весело, и мы понимаем друг друга с полуслова.

Мы знаем с ней такие вещи, которых, кроме нас, никто понять не может.

Мы любили бегать по зале вокруг обеденного стола.

Ударишь ее по плечу и бежишь от нее изо всех сил в другую сторону.

— Я последний, я последний.

Она догоняет, шлепает меня и убегает опять.

— Я последняя, я последняя.

Раз я ее догнал, только размахнулся, чтобы стукнуть,— она остановилась сразу лицом ко мне, замахала ручонками перед собой, стала подпрыгивать на одном месте и приговаривать: «А это сова, а это сова».

Я, конечно, понял, что если «это сова», то ее трогать уж нельзя, с тех пор это так и осталось навсегда. Когда говорят: «А это сова», — значит, трогать нельзя.

Сережа, конечно, этого не мог бы понять. Он начал бы долго расспрашивать и рассуждать, почему нельзя трогать сову, и решил бы, что это совсем не остроумно. А я понял сразу, что это даже очень умно, и Таня знала, что я ее пойму. Поэтому только она так и сделала» [48].

Жили мы и зиму и лето в Ясной Поляне и никогда не скучали.

Мой отец, зная прелесть и пользу «неторопливой, одинокой жизни» [49], которой, по его словам, научила его тетка, Татьяна Александровна, поставил свою семью в те же условия.

За эту жизнь я всегда благодарна ему. При нашем деревенском воспитании мы не успели пресытиться искусственными удовольствиями, а научились любить и ценить жизнь в природе и привыкли находить развлечения в ней и в самих себе.

Вряд ли какой-либо городской ребенок поймет то наслаждение, которое я испытывала, найдя после длинной холодной зимы в оттаявшем вокруг березы черном круге земли — первую душистую зеленую травку.

Я делилась своей радостью с Ханной, которая всегда мне сочувствовала, и учила имена трав и других растений по-английски.

Так как игрушек у нас в детстве бывало немного, то мы иногда сами мастерили их. Одна из самых любимых наших игр — было представление прочитанных рассказов и повестей бумажными куклами, вырезанными и раскрашенными самими нами. Часами, лежа на животах на полу, мы трое говорили за наших бумажных героев, живя их жизнью и волнуясь их волнениями.

Еще ранней весной мы играли очень любимыми нами жаворонками из ржаной муки, которые делал нам

к 9 марта[50] сын нашего тогдашнего повара — теперешний яснополянский повар — Сеня Румянцев.

Жаворонки эти представляли из себя целое семейство.

У главного жаворонка — у матки — была большая плоская спина, на которой сидела целая куча его детенышей. Иногда тут же было и гнездо с яйцами.

Я украшала шеи всех маленьких жаворонков разноцветными шерстинками, а на шею матки всегда старалась достать красивую ленту. Этого разукрашенного жаворонка я возила на веревочке за собой на прогулке. Помню, как жаворонок тащился по таявшему от весеннего солнца снегу и как он от этого размокал.

Когда он делался уже совершенно мягким и дряблым от воды — и начинал ломаться, то мне ничего не оставалось делать, как съесть свою игрушку. Она пахла мокрым снегом и конским навозом, но тем не менее казалась мне очень вкусной.

Самые лучшие мои куклы были подарены мне моим крестным отцом Дмитрием Алексеевичем Дьяковым. Я любила его так сильно, что находила, что он и папа́ самые красивые мужчины на свете. А между тем оба они отличались всякими иными качествами, но только не красотой. Особенно Дмитрий Алексеевич был далеко не красив.

У него была рыжая бородка, огромный живот, крошечные, заплывшие жиром серые глаза.

Но глаза эти были всегда добрые, хитрые и веселые, и когда он приезжал, он так всех смешил, что во время всего обеда все покатывались со смеха. Наш человек Егор не мог служить за столом, и раз, прыснув от смеха на всю комнату, он сконфузился, бросил блюдо на запасной стол и убежал в буфет.

Почти каждый год мой крестный отец дарил мне куклу. Она всегда называлась Машей, в честь его дочери, и была всегда так красива, что мне страшно было с ней играть: волосы у нее были настоящие, глаза открывались и закрывались, она коротко и гнусаво могла говорить: «мама, папа», когда ее дергали за веревочки с синей и зеленой бисеринкой на конце.

Руки у нее были такие же фарфоровые, как и голова, с розовыми ямочками на сгибах пальцев и на локтях.

Как я ни берегла Машу, но мало-помалу пальцы ее отламывались, волосы редели и, наконец, и голова ее разбивалась.

Я помню, как раз, играя вместе с Ильей одной из Маш, мы ее уронили и ее хорошенькая головка разбилась на бесконечное количество кусочков. Ничего не говоря, мы с Ильей только посмотрели друг на друга и оба громко и протяжно разревелись, уткнувшись головами в пол. Ханна пришла нас утешать, но долго мы не могли примириться с потерей нашей товарки. Мы привыкли к ней и успели ее полюбить.

Было у меня еще семь маленьких раздетых фарфоровых кукол. Я получила их следующим образом.

Я раз заболела и лежала в постели. Папá куда-то уезжал. Приехавши, он пришел меня навестить. Приход папá в мою комнату был для меня всегда с того времени, как я себя помню, и до конца его жизни событием, которое приносило мне радость и оставляло после себя особенное, удовлетворенное, мягкое и счастливое настроение.

Он пришел и сел на кровать возле меня. Как обыкновенно, когда я бывала больна, он начал с того, что спросил меня:

— Скоро ты перестанешь притворяться больной?

Потом вдруг вздрогнул, поднеся руку к шее, как будто его что-то укусило.

— Посмотри-ка, Чурка,— сказал он,— что это меня там на шее кусает.

Я запустила руку ему под воротник и вытащила оттуда крошечную фарфоровую куколку. Не успела я подивиться тому, как она туда попала, как вдруг папá притворился, что его что-то укусило под обшлагом его блузы. Я посмотрела туда — там оказалась куколка чуть побольше той, которая была спрятана за воротом. Потом третья кукла, побольше, нашлась в башмаке, четвертая — в другом, и так я в разных местах отыскала семь куколок, из которых последняя, седьмая, была самая большая. Потом к ним отыскалась и ванночка. Эти куколки были единственной игрушкой, которую мне когда-либо подарил папá. Я их очень любила, и они долго жили у меня.

Я помню, что в детстве я часто болела. Бывало, встану утром с головной болью, сонная, и иду в комнату рядом со спальней родителей, где на полу лежит шкура большого черного медведя, и ложусь на него, положа голову на голову медведя.

Этот медведь особенный. У него сделана голова, как у живого. Карие стеклянные глаза смотрят, точно

настоящие, через рот видны все зубы, даже язык сделан, как настоящий. А главное, мы знаем о нем то, что этот самый медведь грыз папа́, и у папа́ от этого на лбу на всю жизнь остался полукруглый шрам от его укуса.

Часто мы рассказывали эту историю нашим знакомым детям, и иногда папа́ не мог понять, почему дети так пристально его рассматривали. Но когда догадывался, то всегда охотно давал разглядеть свой шрам. И часто он рассказывал о том, как это случилось. Давно уже, в Смоленской губернии, он подстрелил этого медведя, но не убил его до смерти. Медведь, разъярившись, набросился на него, повалил его и стал кусать, забирая его под себя. Папа́ рассказывал, как он чувствовал на своем лице горячее дыхание медведя и как его товарищ, мужик, охотник, спас его, отогнав медведя рогатиной [51].

Лежу я на жесткой шкуре медведя, ковыряя пальцем зубы медведя, думаю о том, какой опасности подвергалась жизнь папа́, благодаря этому зверю, и тихонько засыпаю, пока папа́, в халате, с всклокоченными волосами и сбитой на сторону бородой, не выйдет из спальни, чтобы идти в кабинет одеваться, не разбудит меня и не велит лечь в постель.

XVII

Болезни у нас приходили и проходили без всяких видимых причин. Когда, казалось, можно было ждать болезни от разного нашего озорства — она не приходила.

Например, я, по примеру Sophie из книги Segur «Les malheurs de Sophie»[52], становилась под водосточную трубу во время сильного ливня и промокала до костей. А однажды так вымокла в снегу, играя с братьями в снежки или строя снежного человека, что была вся обледенелая с ног до головы.

Раз весной, в самую полую воду, мы пошли после завтрака гулять с Ханной.

Был один из тех опьяняющих мартовских дней, когда солнце светит изо всех сил, жаворонки так и звенят, далеко уносясь к ясному синему небу, снег наполовину уже сошел, а оставшийся сделался мокрым и рыхлым; когда только что открывшаяся из-под снега и пригретая солнцем земля тает и пахнет своим особенным здоровым и сильным запахом, когда тоненькие побеги новой зеле-

ненькой травки торопятся протянуть свои стебельки к солнцу, а на открытых к самому припеку бугорках появляются первые лохматые желтенькие цветочки.

В такие дни и голоса людей, и лай собак, и пенье птиц, и журчанье воды громче, оживленнее и звонче раздаются в весеннем воздухе.

Мы с Ильей отличались тем, что в нас всегда было много той жизненной силы, которую англичане называют animal spirits* и которая иногда так нами овладевала, что мы совершенно пьянели и теряли власть над собой.

Так было и в этот весенний день. Мы не слушались Ханны и носились, как выпущенные на волю жеребята, куда попало, не разбирая, где сухо, где мокро.

Наконец, мы попали на Ясенку. Это не то ручей, не то речка, которая протекает под нашим парком и которая летом почти совсем пересыхает. Теперь Ясенка вздулась, как настоящий поток, унося в своих грязных желтых волнах большие глыбы льда и снега.

Мы с Ильей побежали в Ясенки по мокрому снегу, под которым насыщенная водой земля хлюпала и щелкала от наших шагов. Подбежав к руслу реки, мы минутку подумали, а потом, ни слова не говоря, шагнули прямо в воду. Хотя на мне, так же как и на моих братьях, надеты были высокие смазные болотные сапоги, но тем не менее вода их залила. Ни капельки не смутившись, мы с Ильей пошли по руслу реки против ее течения.

До сих пор помню чувство наслаждения, которое я тогда испытала. Идя по руслу ручья, я часто оступалась в яму или водомоину. И тогда вода доходила почти до лица. Перегнувшись вперед, я шла против течения, чувствуя, как сильно вода толкала меня.

Встречавшиеся льдины ударялись мне в грудь, но я не чувствовала ни боли, ни усталости и шла вперед, как победительница.

Вылезая из воды, я почувствовала, как тяжела и холодна на мне моя одежда. Вода в сапогах хлюпала и при каждом шаге выливалась из голенищ.

Страшно и стыдно было показаться Ханне и родителям после такого преступления. Но удовольствие мое было так велико, что не находила в себе раскаяния от того, что я ослушалась своей любимой воспитательницы.

---

* звериной живостью (*англ.*).

Мы не простудились и терпеливо вынесли наложенное нам за наше дурное поведение наказание. Три дня нам запрещено было ходить гулять. Мы сидели дома, но с наслаждением вспоминали свою прогулку.

XVIII

Зимой 1870/71 года папа́ весь с головой ушел в изучение греческого языка. С утра до ночи он читал и переводил классиков.

Как всегда, он много говорил о своем увлечении, и мы постоянно слышали его восхищение перед греческим языком.

Когда приезжал кто-нибудь из друзей папа́, он заставлял себя экзаменовать в переводе греческого и на греческий язык.

Помню его нагнутую над книгой фигуру, напряженно-внимательное лицо и поднятые брови, когда он не мог сразу вспомнить какого-нибудь слова.

В декабре 1870 года он пишет Фету, что он с утра до ночи учится по-гречески. «Я ничего не пишу, а только учусь».

Но Фет не верил в то, что папа́ может один одолеть такой трудный язык, и говорил своим друзьям, что обещает отдать свою кожу на пергамент для диплома греческого языка Толстому, если он выучится ему.

«...Ваша кожа, отдаваемая на пергамент для моего диплома греческого,— находится в опасности,— пишет он Фету.— Невероятно и ни на что не похоже, но я прочел Ксенофонта и теперь à livre ouvert * читаю его... Как я счастлив, что на меня бог наслал эту дурь. Во-первых, я наслаждаюсь, во-вторых, убедился, что из всего истинно прекрасного и простого прекрасного, что произвело слово человеческое, я до сих пор ничего не знал, как и все (исключая профессоров, которые, хоть и знают, не понимают), в-третьих, тому, что я не пишу и писать дребедени многословной вроде Войны я больше никогда не стану... Ради бога, объясните мне, почему никто не знает басен Эзопа, ни даже прелестного Ксенофонта, не говорю уже о Платоне, Гомере, которые мне предстоят» [53].

---

* с листа (*франц.*).

«Дурь» эта обошлась отцу очень дорого. Он надорвал свои силы напряженными занятиями и захворал какой-то неопределенной болезнью [54]. Мама́ очень беспокоилась и посылала его к докторам в Москву.

Папа́ подчинился и поехал к своему хорошему знакомому, знаменитому в то время доктору Захарьину.

9 июня 1871 года он пишет Фету:

«Не писал Вам давно и не был у Вас оттого, что был и есть болен, сам не знаю чем, но похоже что-то на дурное или хорошее — смотря по тому, как называть конец.

Упадок сил, и ничего не нужно и не хочется, кроме спокойствия, которого нет...» [55]

Захарьин принял горячее участие в состоянии отца и посоветовал ему уехать в Самарские степи, пожить там несколько недель вполне праздно, пить кумыс и отдыхать.

Папа́ взял с собой своего деверя — дядю Степу Берса и уехал в степи.

Летом 1871 года Тургенев писал Фету о папа́:

«...Я очень боюсь за него; недаром у него два брата умерли чахоткой,— и я очень рад, что он едет на кумыс, в действительность и пользу которого я верю. Л. Толстой, эта единственная надежда нашей осиротевшей литературы, не может и не должен так же скоро исчезнуть с лица земли, как его предшественники: Пушкин, Лермонтов и Гоголь. И дался же ему вдруг греческий язык» [56].

Папа́ пробыл в степях шесть недель. С каждой неделей здоровье его все улучшалось.

Товарищи его по литературе очень были озабочены его состоянием, и Фет постоянно сообщает о нем Тургеневу.

«Спасибо за сообщенные известия, — пишет Тургенев Фету 6 августа 1871 года. — Я очень рад, что Толстому лучше и что он греческий язык так одолел — это делает ему великую честь и приносит ему великую пользу» [57].

В следующем письме он пишет: «Меня порадовали известия, сообщенные Вами о Толстом. Я очень рад, что его здоровье исправилось и что он работает [58]. Что́ бы он ни делал, будет хорошо...» [59]

Для нас, детей, это лето началось очень грустно. Папа́ не было. Мама́ скучала и беспокоилась о папа́. Ханна стала прихварывать, ее состояние тревожило и огорчало моих родителей.

Мама́ писала о ней отцу в Самару. Он отвечал:

«Многих бы я привез сюда. Тебя, Сережу, Ганну. Как меня мучает ее болезнь. Избави бог, как она разболится...» [60]

У нас в то время для помощи мама́ жила моя бабушка Л. А. Берс, моя крестная мать, которая учила нас и часто, вместо Ханны, гуляла с нами.

Мама́ была целый день занята всеми нами и особенно маленькой слабенькой Машей. Она пишет папа́, что к своей маленькой Маше стала особенно болезненно привязываться. «Я теперь,— пишет она,— без особенно грустного чувства не могу слышать ее жалкого крика и видеть ее болезненную фигурку. Все вожусь с ней и так хочется ее получше вы́ходить» [61].

С папа́ и мы переписывались. В июне я получила от него из Самары следующее письмо:

«Таня!

Тут есть мальчик. Ему 4 года, и его зовут Азис, и он толстый, круглый, и пьет кумыс, и все смеется. Степа его очень любит и дает ему карамельки. Азис этот ходит голый. А с нами живет один барин, и он очень голоден, потому что ему есть нечего, только баранина. И барин этот говорит: «Хорошо бы съесть Азиса,— он такой жирный». Напиши, сколько у тебя в поведенье. Целую тебя» [62].

Я писала папа́ сама, а Илья не умел. Мама́ пишет отцу:

«Письма твои к ним ‹детям› прочту им завтра... Верно, они сейчас же тебе напишут. Илюша меня уж просил, чтоб за него написать тебе, и просил таким умильным голосом, что он сам не умеет,— что я удивилась» [63].

К июлю лето несколько оживилось.

По дороге в Самару папа́ купил в Москве для нас «гигантские шаги», написал подробное наставление о том, как их поставить. Позвали плотников, выбрали место среди луга перед домом. Срезали хороший прямой дуб, и через несколько дней мы все начали учиться бегать.

«Вчера в первый раз все — и большие и маленькие,— пишет мама́ отцу, — бегали с азартом на pas de géant*. Детям тоже ужасно понравилось, они были в восторге, спать не шли, чай пить не хотели и так и рвались на луг» [64].

---

* гигантские шаги (*франц.*).

Скоро мы с Сережей хорошо выучились бегать. Только толстый Илья все падал. Повиснет, бывало, на петле, не сумеет опять на ноги встать и так и кружится, пока не сядет на землю.

К концу лета Ханна очень поправилась, о чем моя мать с радостью сообщает отцу:

«Ханна тоже теперь здорова и весела, и, как всегда, мне с ней хорошо и легко; такой она, право, верный мне друг и помощница» [65].

А вскоре вернулись папá со Степой, и тогда мы почувствовали себя совершенно счастливыми.

Без папá всегда казалось, что жизнь не полна, недоставало чего-то очень нужного для нашего существования,— точно жизнь шла только пока, и начиналась настоящая жизнь только тогда, когда папá опять возвращался.

Когда он приехал, мы посвятили его в наше главное в то время увлечение — «гигантские шаги», и он очень скоро выучился на них бегать и часто бегал со всеми нами.

Как-то раз за обедом пятилетний толстяк Илья начал объяснять папá, какое он придумал приспособление к «гигантским шагам».

— Знаешь, папá, чтó я придумал? — начал он. — Это будет очень весело... Надо сделать палочку, на палочку надо приделать дощечку, потом надо сделать еще палочку и на палочку дощечку...

Сережа и я расхохотались.

— И на палочку дощечку и на дощечку палочку...— стал повторять Сережа, передразнивая Илью.

Я тоже подхватила:

— И на палочку дощечку и на дощечку палочку... Ха, ха, ха... И на палочку дощечку... Так, Илья?

Илья не выдержал наших насмешек и громко и протяжно заревел.

— Ну, не плачь, Илья,— сказал папá, зная, что Илья способен к разным изобретениям и что, вероятно, в его выдумке есть смысл. Расскажи мне, что ты придумал, и мы постараемся это устроить.

Когда Илья успокоился и был в состоянии объяснить свое изобретение, то оно оказалось совсем не тупым и было исполнено яснополянским плотником. Вот в чем оно состояло: на кругу возле «гигантских шагов» вбивался в землю небольшой столбик. Затем отдельно делалась дощечка с ручкой и с дырочкой в краю. Бегающий на

«гигантских шагах» брал эту дощечку в руку и на бегу должен был стараться надеть дощечку на вбитый в землю столб. На этом столбе, недалеко от его верхнего конца, была приделана дощечка, чтобы та, которую надевал на столб бегающий, не проскальзывала до земли.

Илья был в восторге, оказалось, что «на палочку дощечку, и на дощечку палочку, и на палочку дощечку, и на дощечку палочку» не только не было глупо, но что сам папа́ заказал это приспособление и даже, бегая на «гигантских шагах», иногда им забавлялся.

XIX

Папа́ приехал из Самары здоровым и бодрым [66]. Жизнь наша опять потекла счастливо. Все мы были заняты: дети учились, а папа́ принялся за составление детских книг для чтения [67], в чем ему много помогала и мама́. Я помню, что и я помогала в рисунках к буквам и старательно рисовала «арбуз» к букве «А» и «бочку» к «Б».

В Ясной всегда гостил кто-нибудь из родных. В эту осень жил один из братьев мама́ — Володя, а позднее на всю зиму приехал ее дядя — К. А. Иславин, дядя Костя, как его называли все, даже прислуга. Оба они тоже помогали в работе над книжками для чтения.

Мама́ часто пишет в это время своей сестре Т. А. Кузминской в Кутаис о том, что делается в Ясной Поляне.

«Мы теперь занялись опять детскими книгами, — пишет она 20 сентября 1871 года, — Левочка пишет, а я с Варей переписываем — идет очень хорошо. Вот если бы напечатали скоро, то первую книжечку послала бы Даше. Да и во всяком случае пошлю. Ты будешь рада, что мы написали эти книжечки, когда будешь учить детей» [68].

В то время не было того множества детских книг, как теперь, и те, которые существовали, — были или скучны, или непонятны, особенно для крестьянских детей, для которых главным образом писал папа́.

Папа́ никогда не мог делать кое-как то, что он делал, и он положил много времени и труда для составления этих четырех «Книг для чтения» и «Азбуки» [69].

Чтобы найти что-нибудь поучительное и интересное для своих книг, он то читал астрономию, то физику, то книгу пословиц, то просматривал басни Эзопа, то читал английские и американские детские сборники.

Отовсюду, как пчела с разных цветов носит мед в свой улей, так и он носил в свои книги то, что он находил для них хорошего...

Было время, когда он хотел написать несколько статей об астрономии в этих книжках, и тогда он не только прочел все, что мог, по астрономии, но и проводил целые ночи до утра, разглядывая звезды, и по звездным картам изучал их [70].

«Я так занята помоганием Левочке писать книжечки, — пишет мама́ своей сестре 28 ноября 1871 года, — что еле успеваю переделать в день все необходимые дела. Но все еще не скоро будут готовы эти книжечки, ты знаешь, как Левочка всегда все отделывает и переделывает, даже мелочи...» [71]

И уже под самое рождество того же года, 22 декабря, она опять пишет своей сестре: «Мы все это время с дядей Костей писали и переписывали детские книжечки и спешили кончить к праздникам. И действительно кончили, и Левочка повез первую часть в Москву» [72].

12 января отец пишет своей родственнице и другу графине Александре Андреевне Толстой:

«Пишу я эти последние года Азбуку и теперь печатаю. Рассказать, что такое для меня этот труд многих лет — Азбука, очень трудно... Гордые мечты мои об этой Азбуке вот какие: по этой Азбуке только будут учиться два поколения русских *всех* детей от царских до мужицких и первые впечатления поэтические получат из нее, и что, написав эту Азбуку, мне можно будет спокойно умереть» [73].

По мере того как отец печатал Азбуку, он ее исправлял и добавлял.

«Азбука моя печатается с одного конца, а с другого все пишется и прибавляется,— пишет он опять Александре Андреевне.— Эта Азбука одна может дать работы на 100 лет. Для нее нужно знание греческой, индийской, арабской литератур, нужны все естественные науки, астрономия, физика, и работа над языком ужасная — надо, чтоб все было красиво, коротко, просто и, главное, ясно» [74].

XX

Дом наш становился слишком тесным для нашей семьи. Как-то папа́ призвал из Тулы архитектора и заказал ему пристроить к дому большую залу. Она должна была быть готовой к рождеству 1871 года.

Помню, с какой торжественностью ее закладывали. Когда было приготовлено место для фундамента, папá дал мне серебряный рубль и велел туда бросить. Все стояли вокруг, потом перекрестились, и начались работы. Каменщики, столяры, плотники, штукатуры усиленно работали до самого сочельника.

За несколько дней до рождества, пока папá был в Москве [75], мамá с дядей Костей занялись устройством новой залы. Дядя Костя, который очень любил красивое убранство,— занялся вешаньем картин, зеркал, ламп, стор и проч. А мамá с рабочими таскала из флигеля, где все это хранилось в старой кладовой,— тюфяки, подушки, старинные канделябры, блюда, мебель и прочие вещи.

Никогда, кажется, не бывало столько приготовлений к рождественским праздникам, как в этот год.

Ожидалось много гостей, и, чтобы им не было скучно, готовились елка, маскарад, катанье с гор и на коньках и прочие удовольствия...

За несколько дней уже поденные бабы, подоткнув паневы, лили целые потоки воды по всем полам. Другие, стоя босыми ногами на подоконниках, мыли стекла окон. Дворник, с коробкой толченого кирпича, суконкой чистил все медные замки, отдушины на печах и проч.

Мы, дети, с Ханной тоже были очень заняты приготовлением огромного плум-пудинга * и украшений на елку.

По вечерам мы все собирались вокруг круглого стола под лампой и принимались за работу. После напряженного учения всей осени и первой части зимы для нас всякое новое занятие было отдохновением. А после одиночества многих месяцев приезд гостей сулил нам много удовольствия.

Мамá приносила большой мешок с грецкими орехами, распущенный в какой-нибудь посудине вишневый клей, который еще задолго до этого собирался нами со стволов старых вишневых деревьев, растущих у нас в грунтовом сарае, и каждому из нас давалось по кисточке и по тетрадочке с тоненькими, трепетавшими от всякого движения воздуха, золотыми и серебряными листочками.

Кисточками мы обмазывали грецкий орех, потом клали его на золотую бумажку и осторожно, едва касаясь ее пальцами, прилепляли бумажку к ореху. Готовые орехи клались на блюдо и потом, когда они высыхали, к ним

---

* сливовый пудинг (*англ.*).

булавкой прикалывалась розовая ленточка в виде петли так, чтобы за эту петлю вешать орех на елку. Это была самая трудная работа: надо было найти в орехе то место, в которое свободно входила бы булавка, и надо было ее всю всунуть в орех. Часто булавка гнулась, не войдя в орех до головки, часто кололись пальцы, иногда плохо захватывалась ленточка и, не выдерживая тяжести ореха, выщипывалась и обрывалась.

Кончивши орехи, мы принимались за картонажи. Заранее была куплена бумага, пестрая, золотая и серебряная. Были и каемки золотые, и звездочки для украшения склеенных нами коробочек. Каждый из нас старался придумать что-нибудь новое, интересное и красивое. Клеились корзиночки, кружечки, кастрюлечки, бочонки, коробочки с крышками и без них, украшенные картиночками, звездочками и разными фигурами.

Потом одевались «скелетцы». Теперь этих кукол давно уже не делают. А в мое детство ни одна елка не обходилась без «скелетцев».

Это были неодетые деревянные куклы, которые гнулись только в бедрах. Головка с крашеными черными волосами и очень розовыми щеками была сделана заодно с туловищем.

Ноги были вделаны в круглую деревянную дощечку, так, чтобы кукла могла стоять.

Этих «скелетцев» мама́ покупала целый ящик, штук в сто. Они стоили по 5 коп. и раздавались уже одетыми каждому приходящему на елку ребенку.

Вместе с ящиком «скелетцев» мама́ приносила огромный узел с разноцветными лоскутами. Все мы запасались иголками, нитками, ножницами и начинали мастерить платья для голых скелетцев. Одевали мы их девочками, и мальчиками, и ангелами, и царями, и царицами, и наряжали в разные национальные костюмы: тут были и русские крестьянки, шотландцы, и итальянцы, и итальянки. И чего, чего мы с мама́ и Ханной не придумывали...

Наконец в сочельник все было готово...

— Сергей[76], — распорядился папа́, — вечером вели запрячь трое саней.

Мы насторожились.

— Папа́, ты куда?

— На станцию, за гостями.

— А нам можно ехать? — спросила я.

— Нет, куда вам, мы вернемся ночью. И мама́ не поедет.— Это нас успокоило.

Нас послали спать, но перед сном мы пошли посмотреть новую пристройку. Она поспела как раз к рождеству.

Зала была поразительно великолепна: вновь натертый паркет блестел, как зеркало; на стенах висели старинные портреты толстовских предков, в простенках повешаны зеркала, против них две керосиновые лампы, и посередине комнаты покрытый белой скатертью длинный стол с посудой и холодным ужином для ожидаемых гостей...

В разных других комнатах были постланы для гостей кровати.

Мы их пересчитали, и их было семь. Значит, ждут семерых.

В большом волнении мы пошли спать, ожидая много радости и удовольствия от завтрашнего дня и от всех последующих.

На другой день мы встали рано и все утро протомились, ожидая появления наших гостей. После дороги и позднего ужина они проспали дольше обыкновенного.

Но вот наконец они появились... Вот мой милый толстый, добрый крестный отец, Дмитрий Алексеевич Дьяков, которого мы сокращенно зовем Микликсеичем и которому, несмотря на то, что он старше папа́, мы все говорим «ты».

Он всегда шутит и всегда весел, и потому мы, дети, встречая его и бросаясь ему на шею, уже заранее смеемся.

— Ну, Таня, покажись,— говорит он мне.— Что, у тебя талия все такая же, как яйцо,— в середине толще, чем кверху и книзу?

Я смеюсь шутке своего крестного отца, но несколько ею уколота. И немедленно я придумываю ему ядовитый ответ.

— А ты знаешь, Микликсеич,— бойко говорю я,— у меня недавно был нарыв на большом пальце, и мне положили припарку и завязали палец тряпкой, и он вышел такой толстый, что мы его прозвали Микликсеичем.

Потом приходит дочь Дмитрия Алексеевича — высокая, красивая белокурая Маша.

Она вся тонкая, гибкая, нежная... Я ее страстно люблю и, главное, любуюсь ею. С нею ее компаньонка, коротенькая добродушная Софеша.

И с ними же приехала наша двоюродная сестра, милая, рассеянная и восторженная Варенька.

Днем приезжает из Тулы другая двоюродная сестра — Лиза с своим мужем Леонидом Оболенским и братом Николенькой Толстым. Леонид и Николенька тоже наши

большие друзья, Леонид — веселый, добрый и, кроме того, очень мягкий человек, так что всегда исполняет все наши просьбы.

— Леонид! — кричим мы.— Идем на коньках кататься.

— Да что вы! Что вы! Я сам расшибусь и вам лед проломлю,— говорит грузный Леонид.

Но мы ему не даем покоя.

— Нет, пойдем. И Лизанька пойдет, Варя, и Маша, и Софеша, и Николенька...

И в конце концов Леонид соглашается, и мы все идем на пруд, где у нас расчищен каток и выстроена большая деревянная гора, с которой мы катаемся на санках. Много веселых падений, неловких, смешных движений и кувыркания в снегу... Мы, дети, стараемся поразить больших нашим искусством кататься на коньках.

Веселые, разрумяненные от движения на морозе, мы отправляемся домой. Нас не пускают в залу. Там мама́ с гостями устраивает елку и расстанавливает по столам подарки...

Чувствуется приятный смолистый запах елки...

Мы обедаем в новом кабинете папа́ внизу.

Уже во время нашего обеда в передней слышится возня собравшихся с дворни и с деревни ребят... Они топчутся, шушукаются, толкают друг друга, и в этих звуках мы слышим признаки того же нетерпения, которым горим и мы.

Праздничный обед тянется бесконечно долго. Наконец одолели жареную индюшку, и человек несет на блюде пылающий плум-пудинг. Он облит ромом и зажжен. Несущий его человек отклоняет от него лицо, чтобы не обжечься. А я смотрю на пламя и надеюсь на то, что оно не погаснет, пока плум-пудинг не донесут до меня.

Мы гордимся тем, что этот плум-пудинг — произведение наших рук. Мы накануне под руководством Ханны успели вычистить для него изюм, снять кожу с миндаля и истолочь его.

Наконец обед кончен, и мы идем наверх. Проходя через переднюю, мы сочувственно переглядываемся с знакомыми нам ребятами.

Тут сыновья повара: Егор и наш друг Сеня, который каждый год 9 марта делает нам таких удивительных жаворонков, тут прачкина кудрявая, черноглазая, хорошенькая Наташа, которая на пасхе, катая яйца, говорит, что

хочет выкатать «рировенькое ряричко», тут ее сестры Варя и Маша, и много других дворовых и крестьянских детей. От них пахнет морозом и полушубками...

Наверху нас запирают в гостиную, а мама́ с гостями уходит в залу зажигать елку...

Мы совершенно не в силах сидеть на месте и то подбегаем к одной двери, то к другой, то пытаемся смотреть в щелку, то прислушиваемся к звукам голосов в зале.

Наконец слышим стремительный топот вверх по лестнице. Шум такой, точно гонят наверх целый табун лошадей.

Волнение наше доходит до крайних пределов. Мы понимаем, что впустили вперед нас крестьянских ребят и что это они бегут наверх. Мы знаем, что, как только они войдут в залу, так откроют двери и нам.

Так и выходит. Когда шум немного стихает, слышим приближающиеся из залы шаги мама́ к гостиной двери. Вслед за этим дверь отворяется на обе половинки, и нам позволено войти...

В первую минуту мы стоим в оцепенении перед огромной елкой. Она доходит почти до самого потолка, и вся залита огнями от множества восковых свечей, и сверкает бесчисленным количеством всяких висящих на ней ярких безделушек.

Вокруг елки стоят Дьяковы, Варя, Лиза, Леонид, Ханна... Мама́ поощряет нас подойти ближе и рассмотреть свои подарки... Они разложены на столах под елкой.

Я все разглядываю, всем любуюсь. Смотрю свои подарки, потом подарки братьев. Потом хожу вокруг елки и разглядываю висящие на елке игрушки и сладости. Встречаю одетых мною скелетцев и склеенные мною картонажи.

Но как много и новых вещей!

Вот пряники в виде львов, рыб, кошек... Вот огромные конфеты в блестящих бумажках, с приклеенными к ним фигурами лебедей, бабочек и других животных, сидящих в гнезде пышной кисеи... Вот очень забавные флакончики в виде козлят, поросят и гусей, с красными, желтыми и зелеными духами. У поросят и козлят пробки воткнуты в морды, а у гусей в хвосты.

Дворовые и деревенские дети тоже издали разглядывают все висящее на елке и указывают друг другу на то, что им больше нравится...

А папа́? Где папа́? Я ищу его глазами, так как мне не может быть вполне весело без его участия.

Мое бессознательное семилетнее сердце смутно чувствует, что то удовольствие, которое я сейчас испытываю, не может найти большого сочувствия в папа́. Но я все же его отыскиваю. Он стоит где-нибудь поодаль в своей неизменной серой блузе, с засунутыми на ремень руками. Я с улыбкой взглядываю на него. И он отвечает мне тоже улыбкой, доброй и снисходительной... Я угадываю в ней следующее невысказанное им чувство:

«Мне было бы приятнее, если бы ты не радовалась этим пустякам и если бы тебя не соблазняли ими. Но что же делать,— я один не имею сил бороться против всех. Все-таки я рад, что тебе весело, потому что ты мне мила и близка и я тебя люблю...»

И я хватаю его за его большую любимую руку и, хотя он и не сочувствует, но я веду его к своему столу и показываю ему свои подарки.

Тут лежит в футляре золотой медальон от Лизы, Дьяковы в этом году сочли меня слишком взрослой для куклы, и вместо обычной Маши я получила от них настоящую медную кухонную посуду. В ней можно готовить все, что угодно. Они же подарили мне круглый кожаный рабочий ящик, в котором положено все нужное для работы. Тут и ленточки, и куски ситца, и иголки, и нитки, и тесемки, и крючки, и булавки, и ножницы, и наперсток, и всякие другие принадлежности для шитья. Ящик этот мне очень нравится. Я всю жизнь берегла его, и он до сегодняшнего дня цел у меня, хотя ни Дмитрия Алексеевича, ни Маши, ни Софеши давно уже нет...

Когда все нагляделись на елку и на свои подарки,— мама́ с помощью Ханны и своих гостей раздает с елки всем детям «скелетцев», пряники, крымские яблоки, золоченые орехи и конфеты, и все, нагруженные своими подарками и сладостями, расходятся по домам.

Мы несем свои подарки в детскую и раскладываем по шкапам.

Илья получил между другими подарками чашку, которая очень ему нравится. Он бережно носит ее от одного к другому и предлагает каждому любоваться ею.

Потом он, держа ее в двух руках и не спуская с нее глаз, несет ее к себе в детскую.

Но, проходя из залы в гостиную, он спотыкается на пороге, к которому он еще не успел привыкнуть, и с чашкой в руках растягивается во весь рост среди гостиной.

Хорошенькая фарфоровая чашка разлетается вдребезги! Илья громко и протяжно ревет.

— Это... это...— старается он выговорить между рыданьями, — не я виноват... Это... архитектор... виноват.

Он как-то слышал, что старшие осуждали архитектора за сделанный порог, и, разбив чашку и ушибившись, ему кажется, что ему станет легче, если он в своих горестях обвинит другого человека.

Его поднимает и принимается утешать мама́. Она говорит, что не архитектор, а сам он виноват в своем несчастье, так как он мог быть осторожнее.

Папа́, как всегда, внимательно наблюдавший за нами, подмечает в Илье желание обвинить другого человека вместо себя в своем промахе и добродушно посмеивается над ним. Илье делается еще обиднее, и он в слезах, с горем в душе, уходит спать.

С тех пор поговорка: «архитектор виноват» — осталась у нас в семье, и каждый раз, как мы в своих ошибках виним другого человека или случайность, — то кто-нибудь из нас непременно с хитрой улыбочкой напомнит, что, вероятно, «архитектор виноват».

XXI

На другой день после елки у нас назначен маскарад.

Костюмы готовы. Тотчас после обеда все разбегаются по своим комнатам, чтобы переодеться.

Все торопятся, боясь опоздать. Мама́ бегает из одной комнаты в другую, помогая всем. В последнюю минуту и она быстро снимает свое европейское платье и одевается бабой.

Потом она бежит к дяде Косте, просит его сесть за фортепиано и играть марш.

Мы все толпой стоим в дверях залы и ждем разрешения войти. Мама́ строит нас парами.

Наконец раздаются первые аккорды марша, и мы попарно входим в залу.

Впереди всех Илья с маленькой приехавшей к нам в гости англичанкой Кэти.

Илья одет девочкой в красной юбочке, а Кэти клоуном. За ними иду я с Сережей. Я одета маркизом: на мне голубые кафтан и панталоны, белые чулки и башмаки. Голова напудрена. Сережа — моя дама. Он одет маркизой.

Лиза одета мужиком, Маша Дьякова — бабой, Варя — вторым клоуном, и мама́ — второй бабой.

Сзади всех идет маленький пресмешной горбатый старичок в маске. На спине у него огромный горб, волосы и борода длинные и седые, в руках палка и на крошечных ножках надеты туфли. Это Софеша.

В первые минуты мы все друг друга разглядываем и стараемся узнавать тех, кто в масках, а потом все пускаются в пляс.

Мы никаких танцев не знаем и поэтому толчемся без толку, кто во что горазд. Но это весело. Может быть, даже веселее, чем если бы мы умели танцевать и выделывали бы правильные па.

За фортепиано сменяются все те, кто умеет хоть что-нибудь играть. А пляска все продолжается.

Вдруг я замечаю, что как-то скучнее стало. Я оглядываюсь: нет папа́ и Микликсеича. И дяди Кости тоже нет. Да и Николенька исчез. Нам совсем скучно...

Но что это за толкотня в дверях? Я оглядываюсь: сквозь толпу стоящей у двери прислуги проталкиваются: вожак, два медведя и коза *.

Я сразу вижу, что медведи не настоящие, а одетые в вывернутые шубы люди. Но они все-таки страшные, и когда кто-нибудь из них ко мне подходит, я с визгом убегаю. Оба медведя тихонько рычат, а поводырь их успокаивает. Очень смешна коза. Она очень высокая. Вся закутана в какой-то мешок. Шея у нее сделана из палки, а на конце этой палки вместо головы приделаны две дощечки. Дощечки эти изображают рот, и они открываются и закрываются от того, что к ним приделаны веревочки, которые человек, изображающий козу, дергает. Почему такой наряд назывался «козой» — никто не мог объяснить, но каждый мальчишка в то время без ошибки знал, что это «коза». Она тоже очень страшная, особенно когда щелкает дощечками.

Поводырь заставляет своих животных проделать всякие смешные штучки. Они показывают, как ребята горох воруют, как красавица в зеркало смотрится и прихорашивается, как старая баба на барщину идет и прихрамывает.

---

* В то время бывал обычай водить по деревням и усадьбам ручных медведей, которых обучали разным штукам. Впоследствии этот способ заработка был запрещен, так как некоторые поводыри мучили животных.

При этом поводырь приговаривает такие уморительные прибаутки, что за каждой следует взрыв хохота всей залы.

Но вот музыка играет бодрее и веселее, и коза, и медведи, и поводырь — все принимаются плясать. Очень смешно пляшет коза, щелкая дощечками.

Мы, дети, не участвуем, а только смотрим и стараемся узнать наряженных. Поводыря узнать не трудно: у кого может быть такой толстый живот и кто может придумать такие смешные прибаутки, как не Микликсенч?

— Микликсенч,— кричим мы.— Это Микликсенч!

— А это папа́,— говорим мы, подходя к козе, это папа́ так смешно плясал, щелкая дощечками. В двух медведях мы узнаем дядю Костю и Николеньку.

Скоро им делается жарко, и они уходят и переодеваются опять в свои обычные платья, кроме Николеньки, который разохотился плясать и наряжается старухой. Он приделывает себе горб, надевает женское платье, чепчик и очень смешную и страшную маску с крючковатым носом и торчащим сбоку рта огромным зубом. В таком виде он влетает в залу и приглашает Софешу плясать с ним трепака. Софеша в виде крошечного старичка с маленькими ножками в туфлях принимает приглашение, и вот они вдвоем выделывают такую пляску, что все хохочут до изнеможения.

Наконец, нас, детей, посылают спать. Мы сидим потные, усталые, но спать идти очень не хочется... Еще бы попрыгать и поплясать... А тут еще мы слышим, что после ужина все «большие» собираются на двух тройках на станцию провожать Дьяковых. Они уезжают сегодня ночью. Я смотрю в окно. Прекрасная лунная морозная ночь... Неподвижно стоят старые березы, убранные сверкающим инеем. Ах, когда я буду большая и буду делать все, что мне захочется?

Но Ханна решительно приказывает идти спать, и мы прощаемся.

Машу Дьякову я целую особенно нежно. Она берет меня на колени и ласкает. Когда-то я опять ее увижу. Так хотелось бы еще с ней посидеть... Уже готовы появиться слезы, но тут Микликсенч отвлекает меня какой-то шуткой, и я с Ханной, Сережей и Ильей иду вниз в комнату со сводами с кольцами на потолке, чувствуя, что хочется и смеяться и плакать.

На другой день уезжают Оболенские, а за ними через несколько дней уезжают и Варя с Николенькой.

XXII

После святок нужно опять приниматься за уроки.

Как-то, придя с нами здороваться, мама́ заметила на моем лице сыпь. Она встревожилась, приложилась губами к моему лбу, чтобы почувствовать, нет ли у меня жара, спросила меня — не болит ли у меня голова, и велела показать язык.

Голова у меня немного болела, и хотя мама́ усомнилась в том, что у меня жар, она все же велела мне лечь в постель.

Вскоре и у Сережи и у Ильи оказалась сыпь на лице и на руках. Нас всех положили в постель.

Мама́ и Ханна ходили за нами, но мы были мало похожи на больных. Моя головная боль вскоре совсем прошла, и хотя сыпь высыпала не только на лице, но и на руках, все же никто из нас больным себя не чувствовал.

Очень было приятно вместо обычного молока получать чай с малиновым вареньем, приятно было быть избавленной от уроков, но все же лежать в постели, когда хотелось бегать и кататься на коньках,— было тяжело. И мы прыгали по постелям и шалили так, что Ханна иногда теряла терпение.

— Какие же это больные? — говорила она мама́.— Они все совершенно здоровы.

— Да почему же у них сыпь? — недоумевала мама́.— На деревне корь, и они, наверное, заразились опять от деревенских детей.

— Тогда был бы у них жар,— возражала Ханна.

— Да ведь вы знаете, Ханна, — говорила мама́, — что корь иногда проходит очень легко. Вероятно, дети болеют очень легкой формой.

Чтобы прекратить всякие сомнения, решили послать в Тулу за нашим старым доктором, милым Николаем Андреевичем Кнерцером.

Приехал Кнерцер, поздоровался с нами и сел около моей кровати. Он посмотрел на высыпавшую на лице и на руках сыпь, поискал ее на других частях тела, пощупал мой лоб, посчитал пульс и велел показать язык.

Потом он посмотрел на меня сначала через очки, потом сверх очков, и мне показалось, что в его глазах мелькнул насмешливый игривый огонек.

То же самое Кнерцер проделал у постели моих братьев.

— Ну, что же? — спросила мама́.

— У детей не корь,— сказал он наконец.— Жара у них нет, и сыпь сосредоточилась только на лице и руках. Не попало ли к ним на лицо что-нибудь такое, что могло произвести это высыпание?

— Не знаю, — сказала мама́. Потом обратилась к нам: — Не мазали ли вы лица и рук чем-нибудь?

Меня вдруг осенила мысль.

Это духи из стеклянных поросят, козлят и гусей, которыми мы душили руки и лицо.

Я быстро перекувыркнулась лицом в подушку и неудержимо начала хохотать, болтая ногами под одеялом.

— Что с тобой? — спросила мама́.

— Это гуси! — закричала я.— И козлята. И поросята.

Мальчики поняли меня и тоже начали кричать:

— Это гуси! Поросята! Цыплята! Козлята!

Кнерцер оглядывал нас по очереди, думая, что мы рехнулись.

Когда Кнерцеру объяснили, в чем дело, он велел духи все вылить в помойное ведро. Нам позволил встать и одеться.

Валяться нам уже надоело, и мы охотно подчинились его приказанию.

Изо ртов поросят и козлят и из хвостов гусей мы повылили яркие и ядовитые духи и без огорчения оделись и принялись за свою обычную жизнь.

XXIII

Кроме уроков, с января прибавилось у нас еще очень интересное занятие.

Написав четыре «Книги для чтения» и «Азбуку», папа́ захотел проверить их на деле, и опять он принялся за одно из самых любимых дел своей жизни — за обучение крестьянских детей *.

---

* Еще до своей женитьбы отец занимался обучением крестьянских ребят. Он занял под школу целый двухэтажный флигель, пригласил учителей, издавал педагогический журнал «Ясная Поляна». В мае 1865 года он пишет Фету: «Надеюсь еще изо всего этого составить книги, с тем заключением, которое вышло для меня из моего трехлетнего страстного увлечения этим делом».

Сережа и я умели читать и хотя и не вполне правильно, но уже порядочно писали. Илья же, которому было тогда шесть лет, едва читал, а писал совсем плохо. Но тем не менее и он заявил, что будет «учить» ребят. Папа́ согласился, и вот начались уроки.

Для школы было назначено всего два часа с небольшим. Начинались занятия тотчас после нашего обеда, то есть в шестом часу вечера, и продолжались до того времени, как нам пора было идти спать. Папа́ учил старших мальчиков в своем кабинете. Мама́ взяла себе девочек и учила их в другой комнате, а мы трое учили совершенно безграмотных детей буквам в передней. На стене был повешен большой картонный лист с азбукой, и около этого листа маленький толстый Илья с палочкой обучал таких же малышей, как и он сам. Он был очень строг, и я помню, как я подслушала такой разговор.

Илья спрашивает какого-то мальчика, показывая палкой на «А»:

— Это какая буква?

Мальчик отвечает:

— Не знаю.

— Не знаешь! Так пошел вон!

Потом призывает другого:

— Это какая буква?

— Не знаю.

— И ты не знаешь! Пошел вон!

И так он проэкзаменовал всех начинающих и решил, что ему дали самых глупых учеников.

Со временем у нас образовался класс «гуляющих». Это были те, которые не могли или не хотели учиться: они имели право ходить по всем классам и везде слушать уроки, с условием никому не мешать. Эти «гуляющие» часто выучивались буквам не хуже учеников, сидящих по классам.

Мы свели большую дружбу с ребятами. Они приносили нам иногда свои самодельные игрушки, иногда домашние лепешки и другие лакомства.

Всем было очень весело учить детей, потому что дети учились бойко и охотно.

2 февраля этого года (1872) мама́ пишет своей сестре Кузминской в Кутаис:

«Мы вздумали после праздников устроить школу, и теперь каждое послеобеда приходит человек 35 детей и мы их учим. Учат и Сережа, и Таня, и дядя Костя,

и Левочка, и я. Это очень трудно учить человек 10 вместе, но зато довольно весело и приятно. Мы учеников разделили: я взяла себе восемь девочек и двух мальчиков. Таня и Сережа учат довольно порядочно, в неделю все знают уже буквы и склады на слух... Главное то понуждает учить грамоте, что это такая потребность, и с таким удовольствием и охотой они учатся все»[77].

«У нас все продолжается школа,— пишет мамá в марте.— Идет хорошо... Каждый вечер это такая толпа собирается, и шум, чтение вслух, рассказы,— голова иногда кру́гом идет» [78].

В следующем письме, написанном тоже в марте, она пишет: «У нас все продолжается школа. Идет хорошо, ребята детям носят разные деревенские штучки: то деревяшки какие-то правильно нарезанные, то жаворонки, сделанные из черного теста. После классов таскают Таню на руках, иногда шалят, но почти все выучились читать довольно бойко по складам» [79].

Папá в то же время писал Фету:

20 февраля 1872 года: «...Мы всю зиму уж пользуемся новой пристройкой. Еще новость, это, что я опять завел школу, и жена и дети — мы все учим и все довольны...» [80]

К концу зимы чувствуется, что мамá уже немного устала от школы. Она пишет в апреле своей сестре: «Каждое утро своих детей учу, каждое послеобеда школа собирается. Учить трудно, а бросить теперь уж жалко; так хорошо шло ученье, и все читают и пишут, хотя не совсем хорошо, но порядочно. Еще поучить немного, и на всю жизнь не забудут» [81].

Летом школу распустили, и на следующий год она не возобновилась.

XXIV

За эту зиму наша Ханна стала опять хворать. Это очень заботило и огорчало моих родителей. Кроме того, Ханна получала из Англии одно грустное известие за другим.

Еще летом она узнала, что умерла ее любимая старшая сестра, оставив вдовца с двумя маленькими девочками.

Потом зимой написали ей, что ее отец очень болен. Ханна не знала, что делать,— собиралась уезжать в Англию, но все поджидала новых известий.

Мама́ писала об этом несколько раз своей сестре в Кутаис. «Ханна собирается уходить... Болеет, худеет, скучает... Сережа плакал три раза... Боюсь, что дети затоскуют, когда уедет. А я очень тоскую, я в ней теряю не только прекрасную няню детей, но друга себе...» [82]

Вскоре пришло известие, что отец Ханны умер.

Очень она плакала и горевала, и мы разделили ее горе и тоже горько плакали о незнакомом нам, но через его дочь любимом старом виндзорском садовнике.

Потом стали приходить из Англии письма, которые приводили нас в негодование и недоумение. Муж умершей Ханниной сестры просил ее приехать в Англию и выйти за него замуж. Родные Ханны письменно очень уговаривали ее согласиться на это и заменить мать двум маленьким сироткам.

Ханна заколебалась... Любя ее всем сердцем и поэтому чувствуя все то, что происходило в ее душе, я угадывала эти колебания, и они приводили меня в ужас и отчаяние.

Неужели она решится бросить нас? Сделать нам так больно? Нам, которые так ее любим, что не можем представить себе жизни без нее. Неужели эта наша любовь не имеет права ее удержать? И неужели возможно, что она, такая нам дорогая и необходимая, может взять да так безнаказанно, здорово живешь, порвать эти узы любви? И неужели она, которая не только говорила, но и всей своей жизнью доказывала, что любит нас,— неужели она это сделает?

Все это скорее чувствовалось мною, чем думалось.

«Неужели, неужели она это сделает?» — день и ночь спрашивала я себя.

Но она этого не сделала. Она так же, как и мы, почувствовала: наша привязанность имеет права, которые она нарушить не может, и что на всю жизнь, до самой смерти, связана с нами этой любовью.

Она осталась.

Но та внутренняя борьба, которую она перенесла, подкосила ее силы... Ее здоровье становилось все хуже и хуже.

XXV

Мы собирались было в это лето ехать в наше самарское имение в степи, чтобы папа́ и Ханна там попили кумыс для поправления своего здоровья.

Но разные причины этому помешали...

Одна из важных была та, что в самарском имении не было никакого приспособленного жилья для такой большой семьи, как наша.

Решено было на год отложить поездку всей семьи в Самару, и папа́ решил в конце лета ненадолго съездить туда один.

Мама́ написала своей сестре Т. А. Кузминской письмо, в котором она умоляла ее приехать с семьей из Кутаиса на лето в Ясную Поляну.

Тетя Таня согласилась и не побоялась с тремя маленькими детьми предпринять трудное путешествие с Кавказа в Тульскую губернию.

От Тифлиса до Владикавказа приходилось ехать на лошадях. Тетя Таня была молода, энергична и, главное, очень любила Ясную Поляну и всех ее обитателей.

И она пустилась в длинный утомительный путь.

Тетя Таня — младшая сестра моей матери. Всю жизнь они были очень дружны, и тетя Таня в продолжение всей своей жизни живала, когда могла, в Ясной Поляне.

Сперва она приезжала девушкой, а потом, выйдя замуж за своего двоюродного брата А. М. Кузминского, она приезжала с ним и с детьми к нам на лето.

В первое время после своего замужества тетя Таня жила в Туле, так как муж ее там служил. Оттуда ей нетрудно бывало переезжать в Ясную Поляну, и потому каждый год, с наступлением весны, она перевозила свою семью и прислугу в яснополянский флигель, где и проводили целое лето.

Но в 1871 году мой дядя был переведен на службу на Кавказ, в Тифлис, и в это лето Кузминские, боясь везти детей так далеко, не приехали в Ясную, а провели лето на Кавказе.

Это было большим горем для моей матери и для нас, детей.

Но летом 1872 года тетя Таня согласилась приехать. Дети ее подросли, их было не так страшно перевозить, и она знала, что всем нам она доставит огромную радость своим приездом. Мы все с волнением и радостью ждали ее.

Для нас, детей, появление Кузминских всегда означало начало длинного праздника.

Мы не тяготились своей зимней занятой жизнью. Но к весне она начинала уже притомлять нас. И когда с утра светило яркое весеннее солнце, на лугу перед домом зеле-

нела трава, появлялись первые цветы, птицы начинали звонко чирикать и весело щебетать, то бывало трудно усидеть за фортепиано и твердить гаммы или смирно сидеть за столом, спрягать французские глаголы...

Тянуло в любимые яснополянские леса... Здоровое детское тело чувствовало потребность сильных движений, и легкие просили свежего воздуха...

Знаменитый в то время доктор Захарьин, хороший знакомый моего отца, посоветовал моим родителям каждое лето, хоть на короткий срок, вполне освобождать нас от уроков. Следуя этому совету, нам давалось каждое лето, по крайней мере, шесть недель полного отдыха от всякого умственного труда.

В эти шесть недель мы не брали ни одной книги в руки и жили большей частью на дворе, бегая за грибами и ягодами, купаясь в нашей чистой маленькой реке Воронке, катаясь верхом и в экипаже и наблюдая за жизнью птиц, бабочек, жуков и всяких других божьих тварей.

Думаю я, что в эти свободные недели мы узнавали не менее того, чему нас заставляли выучиться из книг.

Когда настал май, моя мать приступила к устройству «кузминского дома», как назывался у нас флигель.

В этот год все с особенным удовольствием ждали Кузминских. В день их приезда в Тулу выслали коляску четверней и многочисленные подводы.

С бьющимися сердцами, не находя себе целый день места, бегали мы поминутно от одного окна к другому, прислушиваясь к звуку колес по дороге.

Наконец послышался мягкий звук рессорного экипажа.

Все мы настораживаемся, заглядываем через окно в березовую аллею...

Да! Едут! Вот между березами мелькнули вороные лошади... Вот и коляска, и в ней вдали виднеется несколько лиц: старых, молодых и детских.

Сережа, Илья и я кубарем скатываемся с лестницы и летим во флигель, куда подъезжает коляска и где находится уже мама́.

Да. Это они. Вот яркая, красивая тетя Таня, улыбающаяся и приветливая. Вот ее старшая дочка Даша, которая стремительно бросается ко мне на шею... Мы впиваемся в щеки друг друга, пока меня не отрывает подоспевшая сзади маленькая Маша, которая на цыпочках тоже хочет со мной обняться.

Потом из коляски выносят маленькую грудную Веру.

И, наконец, вылезает белая, толстая Трифоновна, старая кухарка Кузминских.

В первые минуты все говорят наперерыв. Потом дети начинают раздеваться. И все мы идем раскладываться. Я помогаю Даше разложить ее вещи и рассматриваю их.

В день приезда Кузминские обедают у нас. Но на другой же день Трифоновна во всеоружии готовит обед в кузминской кухне.

Мы, дети, очень любим обедать не дома, и наши родители, во избежание того, чтобы все дети сразу не собирались в одном доме, позволили нам меняться: если Даша обедает у нас, то кто-нибудь из наших обедает у Кузминских.

Только раз в неделю, по воскресеньям, все Кузминские бывали приглашены в «большой» дом обедать.

В это лето я особенно сильно привязалась к своей милой черноглазой двоюродной сестре Даше.

Хоть она и была двумя, тремя годами моложе меня, но это не мешало нашей горячей дружбе.

Лето наше оживилось.

Ханна немного поправилась и повеселела. Ходить за грибами, за ягодами, ездить купаться — все стало веселее с Кузминскими.

Бывало, запрягут нашу длинную линейку, которая у нас называется «катки», и все мы едем купаться в чистую, прохладную Воронку. Там выстроена купальня, в которой сделан ящик для детей. Нас часто сопровождает тети Танина кухарка Трифоновна, которую мы очень любим. Она толстая, белая, чистая, в белом чепчике и белом фартуке.

— Ну, Трифоновна,— кричим мы ей,— полезайте первая воду греть!

И нам кажется, что ее большое белое тело, всегда теплое от кухни,— согреет нам воду...

В июне наша семья прибавилась. Появился на свет крупный здоровый мальчик, которого назвали Петром [83].

Нас стало уже шесть человек детей.

Через месяц после этого папá уехал в Самару...

Он пробыл там недолго. В августе он вернулся, а скоро после этого и Кузминские собрались в обратный путь на Кавказ...

Здоровье Ханны к концу лета пошатнулось... Мои родители не знали, что делать...

Наконец решено было следующее: Ханна должна была уехать на зиму с Кузминскими в Кутаис и попытаться восстановить свое здоровье хорошим климатом.

Ханна ненавидела праздность и считала себя достаточно здоровой, чтобы работать, и поэтому взяла на себя воспитание Даши и Маши Кузминских.

У нас, детей, не спросили нашего согласия.

Не знаю, что ответила бы я, если бы большие это сделали. Как ни невыносимо больно было сознание разлуки с Ханной, а все же я чувствовала, что она уезжает для своего блага, и, может быть, не решилась ее удерживать. Но главным утешением для меня служило то, что она уезжает только на зиму и что летом мы ее опять увидим в Самаре, где мы условились съехаться в будущем мае...

Как мы с Ханной расставались, как прощались — это стерлось с моей памяти...

Помню только, что настали дни тупого отчаяния. Я ничем не могла заняться: все казалось скучным и бессмысленным. В доме точно ветер ходил — такая была пустота... По вечерам я ложилась спать в слезах. Утром не хотелось вставать... Зачем? Все равно — все потеряло всякий смысл и всякую радость...

К папа́, когда он пишет,— нельзя ходить. А за обедом он — молчаливый и серьезный. В эту зиму он особенно мрачен... Я слышу от «больших», что он начал большое сочинение из времен Петра [84] и что оно что-то у него не ладится...* Кроме того, он все еще занимается народным образованием и все об этом говорит...

А мне это теперь не интересно. Я хочу говорить о Ханне...

Пойдешь к мама́ — она кормит маленького Петю, а чуть заговоришь с ней о Ханне или о Кузминских,— так и у нее слезы навертываются на глаза... Лучше уж не говорить...

Зайдешь к тетеньке Татьяне Александровне... У нее тишина, полумрак... Сидит ее приживалка Наталья Петровна и шикает: «Ш... ш... ш... Татьяна Александровна уснули...»

---

* 12 января 1873 года он пишет своему приятелю П. Д. Голохвастову: «Я всю зиму нынешнюю нахожусь в самом тяжелом, ненормальном состоянии. Мучаюсь, волнуюсь, ужасаюсь пред представляющимся, отчаиваюсь, обнадеживаюсь и склоняюсь к тому убеждению, что ничего, кроме муки, не выйдет... Я себе так несносен, что другим должен быть невыносим...» [85]

Я замечаю, что тетенька теперь часто дремлет. Когда она не спит, она все такая же добрая и любящая, но как-то все менее и менее интересуется внешней жизнью, многое не помнит.

Ухожу от тетеньки и иду наверх, в залу. Гляжу в окна: моросит мелкий осенний дождь...

Чем скоротать длинный тоскливый день?

Моя бабушка Любовь Александровна Берс, жившая тогда в Петербурге, издали угадала наше грустное настроение и, пожалев нас, вдруг совершенно неожиданно приехала в Ясную.

Ее приезд очень утешил меня и мама́.

Пока бабушка была в Ясной, я не отходила от нее, спала рядом с ней, а днем училась с ней и ходила с ней гулять.

Природа тоже как будто сжалилась над нами, и конец октября подарил нам такие дивные солнечные дни, что даже цветы ошиблись и подумали, что вновь наступило лето, и во второй раз расцвели...

Мама́ писала тете Тане 28 октября:

«Дни стоят удивительно хорошие: вчера мы набрали большой букет только что распустившихся полевых цветов: кашки, любишь-не-любишь, лиловые васильки и проч. Такого чуда никто не запомнит...» [86]

Бабушка прожила в Ясной недолго. Но она помогла нам перенести самые тяжелые дни.

С отъездом Ханны кончилось мое счастливое детство.

Прошла навсегда та пора беззаботности, доверия к старшим, безоблачной любви ко всем и ко всему окружающему, которой отличается эта пора жизни.

Мне пошел девятый год, и я из ребенка переходила уже в отроческий возраст.

Было у меня в жизни и после детства много хороших и счастливых минут,— но то состояние душевной ясности и сердечного спокойствия, которое я испытала при жизни с Ханной в детской со сводами,— никогда уже не повторилось...

ОТРОЧЕСТВО ТАНИ ТОЛСТОЙ

ГЛАВА I

В 1873 году нас было шестеро детей. Сереже, старшему, было десять лет, мне шел девятый год; а Пете, последнему, летом должен был минуть год.

Вот как папа́ описывает нас, шестерых, своей родственнице графине Александре Андреевне Толстой:

«Старший белокурый,— не дурен. Есть что-то слабое и терпеливое в выражении и очень кроткое. Когда он смеется, он не заражает, но когда он плачет, я с трудом удерживаюсь, чтобы не плакать. Все говорят, что он похож на моего старшего брата [1]. Я боюсь верить. Это слишком бы было хорошо. Главная черта брата была — не эгоизм и не самоотвержение, а строгая середина. Он не жертвовал собой никому, но никогда никому не только не повредил, но не помешал. Он и радовался и страдал в себе одном. Сережа умен — математический ум и чуток к искусству, учится прекрасно, ловок прыгать, гимнастика; но gauche * и рассеян.

...Илья, 3-й. Никогда не был болен. Ширококост, бел, румян, сияющ. Учится дурно. Всегда думает о том, о чем ему не велят думать. Игры выдумывает сам... Горяч и violent **, сейчас драться; но и нежен и чувствителен очень. Чувствен — любит поесть и полежать спокойно. ...Самобытен во всем. И когда плачет, то вместе злится и неприятен, а когда смеется, то и все смеются.

...Летом мы ездили купаться: Сережа верхом, а Илью я сажал себе на седло.

---

* неловок (*франц.*).
** вспыльчив (*франц.*).

Выхожу утром — оба ждут. Илья в шляпе, с простыней, аккуратно сняет. Сережа откуда-то прибежал, запыхавшись, без шляпы. «Найди шляпу, а то я не возьму». Сережа бежит туда, сюда. Нет шляпы. «Нечего делать,— без шляпы я не возьму тебя. Тебе урок, у тебя всегда все потеряно». Он готов плакать. Я уезжаю с Ильей и жду, будет ли от него выражено сожаление. Никакого. Он сияет и рассуждает об лошади.

Жена застает Сережу в слезах. Ищет шляпу — нет. Она догадывается, что ее брат [2], который пошел рано утром ловить рыбу, надел Сережину шляпу. Она пишет мне записку, что Сережа, вероятно, не виноват в пропаже шляпы, и присылает его ко мне в картузе. (Она угадала.) Слышу по мосту купальни стремительные шаги, Сережа вбегает. (Дорóгой он потерял записку.) И начинает рыдать. Тут и Илья тоже, и я немножко.

Таня — 8 лет. Все говорят, что она похожа на Соню, и я верю этому, хотя это также хорошо, но верю потому, что это очевидно. Если бы она была Адамова старшая дочь и не было бы детей меньше ее, она была бы несчастная девочка. Лучшее удовольствие ее — возиться с маленькими. Очевидно, что она находит физическое наслаждение в том, чтобы держать, трогать маленькое тело. Ее мечта теперь сознательная — иметь детей. На днях мы ездили с ней в Тулу снимать ее портрет. Она стала просить меня купить Сереже ножик, тому другое, тому третье. И она знает все, что доставит кому наибольшее наслаждение. Ей я ничего не покупал, и она ни на минуту не подумала о себе.

Мы едем домой. «Таня, спишь?» — «Нет».— «О чем ты думаешь?» — «Я думаю, как мы приедем, я спрошу у мамá, был ли Леля хорош, и как я ему дам, и тому дам, и как Сережа притворится, что он не рад, а будет очень рад».

...4-й Лев. Хорошенький, ловкий, памятливый, грациозный. Всякое платье на нем сидит, как по нем сшито. Всё, что другие делают, то и он, и всё очень ловко и хорошо.

...5-я Маша. 2 года. ...Слабый, болезненный ребенок. Как молоко, белое тело, курчавые белые волосики; большие, странные, голубые глаза; странные по глубокому, серьезному выражению. Очень умна и некрасива. Это будет одна из загадок. Будет страдать, будет искать,

ничего не найдет; но будет вечно искать самое недоступное.

6-й Петр-великан. Огромный, прелестный бэби в чепце, вывертывает локти, куда-то стремится...»[3].

ГЛАВА II

Осенью 1872 года к Сереже и Илье поступил немец-гувернер Федор Федорович Кауфман. Его нам рекомендовал наш друг А. А. Фет, так как он был воспитателем его племянника, и им были довольны родители мальчика.

Сначала Кауфман приехал только для того, чтобы себя показать и на нас посмотреть. Мы друг другу понравились, и в середине октября Федор Федорович обещал совсем приехать в Ясную Поляну.

Папа́ пишет Фету: «Очень благодарен Вам за Федор Федорыча. Он был у меня и обещал приехать совсем 16-го. Он мне очень нравится»[4].

Мы, дети, с большим волнением ждали нашего нового воспитателя. Я должна была учиться с ним по-немецки, и все три мальчика должны были жить с ним в нашей милой бывшей детской со сводами.

Маленького Леву, которому не было еще четырех лет, перевели вниз, к Федору Федоровичу, из детской, где он жил с Машей.

Как сейчас, вижу его маленькую хорошенькую фигурку с золотистыми кудрявыми волосами, стоящую на верху лестницы и упирающуюся, чтобы не сойти вниз. Федор Федорович сошел уже несколько ступенек, обернулся к Леве и с улыбкой зовет его с собой. А мальчик стоит и колеблется.

Потом он поворачивает голову к мама́ и говорит:

— Я лучше не пойду туда... Я там испорчусь...

Я вижу, что мама́ жалко его принуждать. Но делать нечего. Все предполагаемые перемещения спутаются, если он не поместится с мальчиками внизу. Мне тоже его жалко. Я смутно понимаю, что ему хочется подольше сберечь свою душу чистой и нежной и не покидать еще детской, где все дышит лаской, теплотой и невинностью. Но для него колесо жизни не остановилось и не пощадило его детской души. И его заставляют переселиться к большим мальчикам, где он боится «испортиться».

А мне пришлось покинуть ту комнату, в которой я прожила все свое детство с Сережей, Ильей и с милой моей воспитательницей Ханной.

Временно я осталась без товарищей и спала наверху с горничной Дуняшей. Она вставала гораздо раньше меня и уходила убирать комнаты. А я вставала и одевалась одна. После веселых утр с братьями и Ханной я была обречена на полное одиночество.

Я чувствовала себя в это время одинокой и несчастной. Мальчики от меня отошли. Я с ними видалась редко. Они жили внизу с Федором Федоровичем. Скоро они начали сокращенно звать его Фо-Фо и вели с ним разговоры об охоте, ружьях, собаках и лошадях. Меня они в эти разговоры не посвящали, и я не принимала в них участия.

Мама́ я тоже вижу мало: она всегда или за работой, или кормит одного из своих многочисленных детей, или с быстротой молнии строчит что-нибудь на своей ножной швейной машине, или же переписывает какую-нибудь рукопись для папа́. О папа́ и говорить нечего. Он «занимается» по целым дням. А когда он не «занимается», то он усталый и какой-то отсутствующий и нас, детей, мало замечает. Мы, дети, сознавали, что его «занятие» очень важно и значительно, и я понимала, что все мои переживания перед его работой — ничто. Поэтому я никогда не решилась говорить с ним о них. Может быть, если бы я на это решилась и сумела бы рассказать ему про свое душевное состояние, он нашел бы слова, которые успокоили бы и утешили меня. Но я ревниво замкнулась сама в себе и никому не рассказывала о тяжелых переживаниях, которыми полны были года моего отрочества.

Я настолько привыкла скрывать то, что я чувствовала и думала, что это доходило до нелепости. Когда меня о чем-нибудь спрашивали, первым моим движением было — сказать не то, что было на самом деле, а выдумать что-нибудь другое, только бы не дать заглянуть в мою внутреннюю жизнь. Это вошло в привычку.

Вот пример. Раз мама́ диктовала моим двум братьям и мне по-французски. Илья писал медленно. Мне оставалось много свободного времени, и я занялась тем, что после каждой продиктованной фразы я закрывала чернильницу, чтобы таким образом испытать, сколько строк можно написать после каждого обмакивания пера. (Стило тогда не существовали.)

Пока мы писали, вошел папá. Он наклонился над моей диктовкой и следил за тем, как я пишу. Заметивши, что я закрываю чернильницу всякий раз, как я в нее обмакиваю перо, он спросил меня, — зачем я это делаю.

— Чернила испаряются,— ответила я.

— Испаряются? — спросил папá удивленно.

— Да,— продолжала я свою глупую выдумку,— я закрываю чернильницу, чтобы чернила не испарялись и чтобы их меньше выходило.

Папá ничего не сказал. Но в следующий раз, как я привела такое же нелепое и неправдивое объяснение своему поведению, он тихо проговорил:

— Да, чернила испаряются...

Почему я не сказала настоящей правды и не объяснила папá, что я делаю совершенно невинный опыт? Думаю, что это было оттого, что мне не хотелось никого, даже самого любимого и близкого человека, впускать в мой внутренний мир. Я замкнулась в своем одиночестве и не хотела ни с кем делиться даже теми мелочными и ничтожными мыслями и чувствами, которые я переживала...

ГЛАВА III

Как-то осенью я вдруг вообразила себе, что я сумасшедшая. Я делала большие усилия, чтобы управлять ходом своих мыслей, и старалась, думая об одном предмете, не позволять мысли ускользать и заменяться другой... Но как я ни старалась, незаметно забывалось то, о чем я думала, и заменялось мыслью о чем-нибудь другом... Особенно вечером, в постели, перед сном, я вдруг ловила себя на том, что я мысленно произношу совершенно бессмысленные фразы. Я в испуге вскакиваю, вся дрожащая и обливаясь пóтом от ужаса.

«Неужели у всех в головах такая же путаница, как у меня? Или это признак моего сумасшествия?» — думала я.

Мне было страшно спросить об этом у кого-нибудь, чтобы не убедиться в том, что это делается только со мной.

«Как странно, что никак, никакими усилиями,— думала я,— я не могу узнать того, что делается в головах других людей, не могу поймать чужой мысли...»

Я сделалась мрачна, раздражительна и необщительна. Вероятно, мои родители понимали, что я переживаю что-нибудь тяжелое, так как я стала замечать с их стороны бережное и мягкое отношение ко мне.

Это усилило мое убеждение в том, что я сумасшедшая.

«Они жалеют меня,— думала я.— Они говорят со мной, как с больной... Они, конечно, видят, что я говорю безумные вещи, и хотят, чтобы я сама этого не замечала...»

И я стала строго следить за тем, что́ я говорила, и говорила как можно меньше. Часто я сравнивала свои слова и поступки со словами и поступками своих братьев, боясь слишком резко от них отличаться.

Я становилась все более и более угрюмой и замкнутой. Чтобы облегчить свое одиночество, я придумала себе воображаемого «друга». «Друг» этот жил только в моем воображении. Он был невидим и жил в старом сиреневом кусту против дома. Я влезала на куст, садилась на одну из его ветвей и шептала своему «другу» все свои секреты, поверяла ему свои мечты, свои страдания...

Мне становилось после этого легче.

Со временем я так привыкла к этому «другу» и так полюбила его, что начала писать повесть, в которой описывала этого воображаемого «друга».

Но вдруг я испугалась.

«А не признак ли это сумасшествия? — думала я.— Разве, кроме меня, кто-нибудь поймет, что пустое место на сиреневом кусте может быть «другом»?

Я изорвала свою рукопись и перестала лазить на ветки сиреневого куста к своему «другу».

ГЛАВА IV

Ах, если бы только можно было хоть на часок увидать мою милую Ханну! Несмотря на свои десять лет, я влезла бы к ней на колени, прижалась бы головой к ее упругой груди и облегчила бы свою мятущуюся душу горячими слезами. Она поняла бы меня без слов. Я так и слышу ее голос: «Don't grieve, child. Things are not so black as they seen to you» *. И я поверила бы в то, что things

* Не печалься, дитя, все еще не так плохо, как тебе кажется (*англ.*).

are not so black. Но ее нет. Она далеко, на Кавказе.

И я мысленно переношусь на Кавказ, в Кутаис. Туда на зиму уехала семья моей тети Кузминской. С ними уехала и **Ханна**. Я часто завидую своим двоюродным сестрам Даше и Маше. «Как им, наверное, хорошо с ней. Она так умеет устроить уютную, полную содержания, жизнь...»

Между Ясной Поляной и Кутаисом установилась деятельная переписка. Мама́ пишет тете Тане Кузминской:

«Получила я сегодня твое и Ханнино письмо и рада была очень, что... с Ханной тебе хорошо. Я и уверена была, что тебе будет хорошо с ней. А я, получивши ваши письма, вдруг почувствовала себя такой одинокой и горькой, что плакать захотелось... Прочти ей мое письмо, все равно, от нее секретов нет. Я ей, бывало, и радость и горе — все поверяла...» [5]

В следующем письме мама́ пишет:

«Радуюсь, что здоровье Ханны лучше. Попроси ее всегда и побольше писать о ее здоровье. Мы все о ней часто говорим и всегда думаем, особенно я с Таней. Мы сделали Танину фотографию для Даши и Ханны... Мальчики, особенно Сережа, очень полюбили Федора Федоровича. Он очень с ними хорош: клеит коробочки, убирает аккуратно их белье и вещи, и заботится, чтобы пуговицы были пришиты, и очень их скоро подвинул в немецком. А Лёлю он так любит и балует, что тот все к нему вниз бегает...» [6]

«Таня очень желает ехать в Кутаис, — пишет мама́ в одном из своих писем к тете Тане.— Говорит: все мое счастье там — и Ханна и Даша...» [7]

Но вот и радость в моем одиночестве: пришла с Кавказа посылка на мое имя. С Кавказа! С трясущимися от волнения руками я разрезала связывающую ее веревку, распорола парусину и вынула чудесный белый кашемировый капор, совсем такой, какой был у Даши, кавказские красные коты и письмо! Прежде чем примерить свои обновки, я бросилась читать письмо... Ханна описывала свою жизнь на Кавказе с моими двоюродными сестрами. Она с большой любовью описывала семилетнюю Дашу, и также маленькую Машу. Немножко завидно... Но и мне она пишет такие нежные слова, что моя ревность успокаивается.

Я была в восторге и от письма и от подарков.

«Таня нынче,— пишет мама́ тете Тане,— от радости, что получила письмо от Ханны, и капор от Даши, и коты от тебя, час целый прыгала и визжала и всем глядела в глаза — радуются ли все ее радости... О Ханне милой всякий день вспоминаем, и письма ее для меня всегда большая радость...» [8]

ГЛАВА V

Вероятно, мои родители поняли, как мне было одиноко, и решили взять мне гувернантку. Папа́ съездил в Москву и привез фотографию моей будущей воспитательницы, которая должна была вскоре приехать в Ясную. Мне она понравилась, и я с нетерпением ждала ее приезда.

— Одна беда,— сказал папа́.— Ее зовут Дорой.

У папа́ в это время была комнатная легавая собака по имени Дора, и он боялся, как бы новая гувернантка не обиделась тому, что у нее в нашем доме окажется такая тезка. Он написал ей об этом [9] еще до ее приезда в Ясную и получил от нее очень милый ответ. Она писала, что любит животных, особенно собак, и очень рада иметь такую милую тезку.

Это письмо расположило меня к ней, и я встретила ее дружелюбно. Мисс Дора была маленькая, молоденькая и хорошенькая блондинка с длинными белокурыми локонами. Я решила, что она будет мне подругой более, чем гувернанткой.

Мама́ пишет тете Тане 14 ноября: «Таня очень рада приезду Доры. Ей было последнее время очень грустно одной, и она часто по вечерам плакала по Ханне»[10]. В другом письме она пишет: «Ханна у них у всех ⟨то есть у нас, детей⟩ до сих пор считается первым человеком в мире, и, я уверена, никого они так уже любить не будут» [11].

Мама́ своим материнским сердцем верно поняла наше чувство.

Дора спала в одной комнате со мной, и пока она не предъявляла ко мне никаких требований, отношения между нами были хорошие. Она была милая и добрая, но надо мной она не имела никакого авторитета, и я чувствовала, что гораздо скорее могу заставить ее сделать то, что я хочу, чем она заставить меня послушаться ее. Если

Дора что-либо мне приказывала, я или передразнивала ее, или отвечала грубостью. Все, что делалось не так, как при Ханне, мне казалось неправильным, и я вступала с Дорой в длинные пререкания.

Чем дальше, тем больше наши отношения с мисс Дорой портились. Наконец мама́ решила с ней расстаться и попробовать взять другую, более серьезную воспитательницу.

«У нас все еще Дора,— пишет мама́ своей сестре.— Таня испортилась ужасно — груба, манеры дурные... Дору все дети бранят, смеются над ней» [12].

Мне теперь стыдно и странно вспоминать это время и мое отношение к милой, доброй, безобидной Доре. Как могла я не понять, что не из любви ко мне приехала она жить в чужой ей Ясной Поляне, а из-за нужды? И, может быть, отказ от нашего места был для нее тяжелым ударом.

Но в этот период моей жизни я была невменяема и, казалось, все дурные инстинкты владели мною. Был ли кто или было ли что причиной и виной этого настроения — не знаю. Знаю только, что это было одно из самых мрачных времен моей жизни.

За все мое детство, за все время нашей жизни с Ханной в детской под сводами, я не помню ни одного каприза, ни одного крупного непослушания, ни одной так называемой «истории». Ханна никогда не возвышала голоса, говоря с нами. Ей достаточно было выразить свое желание, чтобы мы тотчас же исполнили его. И, что мы особенно ценили, Ханна никогда не «жаловалась» на нас нашим родителям. А бедной Доре ничего другого не оставалось делать, как искать помощи и защиты у мама́.

ГЛАВА VI

Итак, бедная Дора от нас уехала. Мама́ написала в Англию пастору, который прислал нам Ханну, прося его найти для нас воспитательницу, и он ответил ей, что может предложить нам очень милую девушку, по имени Эмили Тэбор. Он писал, что она в дальнем родстве с Ханной.

«Я, наверное, буду любить ее,— думала я.— Хотя она только племянница жены брата Ханны, все же она из той же семьи...»

Я ждала ее с нетерпением. Первое впечатление было не в ее пользу. Эмили была некрасива, молчалива, немного согнута, ходила медленно и редко улыбалась.

После первых мирных недель с ней начались бури. Никак я не могла примириться с тем, чтобы подчиниться кому-либо помимо моих родителей и Ханны. Ханне я подчинялась добровольно, в силу моей большой любви к ней. А «слушаться» этой чужой девушки только потому, что ей дана власть мне «приказывать»,— я не могла. Происходили неприятности, ссоры, слезы, от которых обе мы страдали...

Мама́ пишет своей сестре: «Англичанка наша довольно хороша... только с Таней они не ладят. Таня ее не боится и не привязывается к ней, делает ей все назло, и та все плачет» [13].

Когда Эмили увидала, что ей не привязать меня к себе, она всецело отдалась маленькой слабенькой Маше. И Маша настолько ее полюбила, что проводила с ней все свое время и так хорошо выучилась говорить по-английски, что забыла русскую речь. Когда Маша забывала какое-нибудь русское слово, то она обращалась к Эмили за помощью.

Помню, как раз, за обедом, она нас насмешила. Она хотела попросить яблоко и, как всегда, по привычке, прежде обратилась к Эмили: «Emyly, how is яблоко in russian?» («Эмили, как яблоко по-русски?»)

И только по взрыву хохота Маша поняла, что она сама по-русски сказала то слово, которое она спрашивала у Эмили.

ГЛАВА VII

В то время весь день у нас бывал заполнен уроками. Мы вставали в восемь часов и после утреннего чая садились за уроки. От девяти до двенадцати с перерывом в четверть часа между каждым часом мы занимались с Федором Федоровичем, с англичанкой и играли на фортепиано. В двенадцать мы завтракали и были свободны до двух часов дня. После этого от двух до пяти опять были уроки с мама́ по-французски, по-русски, истории и географии и с папа́ — по арифметике. В пять часов мы обедали и вечером, от семи до девяти, готовили уроки. Два раза в неделю приезжал местный священник учить нас катехизису и священной истории, и два раза в неделю приезжал

специально для меня учитель рисования по фамилии Симоненко.

Самый страшный урок был урок арифметики с папа́. В ежедневной жизни я мало боялась папа́. Я позволяла себе с ним такие шутки, какие мои братья никогда не посмели бы себе позволить. Например, я любила щекотать его под мышками и любила видеть, как он неудержимо хохотал, открывая свой большой беззубый рот.

Но за уроком арифметики он был строгим, нетерпеливым учителем. Я знала, что при первой запинке с моей стороны он рассердится, возвысит голос и приведет меня в состояние полного кретинизма. В начале урока папа́ бывал весел и все шло хорошо. С свежей головой я хорошо соображала и правильно решала задачи. Но я быстро утомлялась, и, какие бы я ни делала усилия, через некоторое время мозг отказывался соображать.

Помню, как трудно мне было понять дроби. Нетерпеливый голос папа́ только ухудшал дело.

— Две пятых и три пятых — сколько будет?

Я молчу.

Папа́ возвышает голос:

— Две булки и три булки — сколько будет?

— Пять булок,— едва слышным голосом говорю я.

— Прекрасно. Ну, а две пятых и три пятых — сколько будет?

Но все напрасно. Я опять молчу. Слезы навертываются на глаза, и я готова разреветься. Я боюсь ответить, что две и три пятых будет пять пятых и что это равно единице. Мне это кажется слишком простым.

Папа́ замечает мое состояние и смягчается.

— Ну, попрыгай!

Я давно знаю эту его систему и потому, ничего не расспрашивая, встаю со стула и, с не высохшими еще слезами на глазах, мрачно прыгаю на одном месте. И правда, мысли мои проясняются, и когда я опять сажусь за занятие, я знаю несомненно, что две пятых и три пятых составляют пять пятых, что равняется одной единице. Но зачем папа́ задает мне такие странные задачи?

По-немецки нас учил Фо-Фо. На замечательно красиво разлинованных тетрадях он учил нас выводить сложные готические буквы.

С мама́ уроки были не сложны: она диктовала нам какой-нибудь отрывок, потом поправляла ошибки, которые

мы должны были переписать. Уроки истории бывали еще проще. Мамá открывала историю Иловайского и задавала нам выучить от такой-то до такой-то страницы.

Эмили учила нас по-английски.

С священником уроки бывали самые легкие. Он прочитывал нам несколько стихов из катехизиса и потом говорил: «Это надо усвоить-с». Так же поступал он и с историей богослужения, описанием церковной утвари и т. д.

— Не двукирием ли называется тот подсвечник, который дьякон выносит во время богослужения? — спрашивал он нас.

— Да, да, батюшка, двукирием,— кричали мы трое хором.

— А не трикирием ли называется другой подсвечник с тремя свечами?

— Да, да, батюшка, трикирием,— кричали три голоса.

— Очень хорошо-с. Это надо усвоить-с.

Получивши свой гонорар, батюшка уезжал до следующего урока.

Первые уроки музыки были нам даны нашей матерью. Но скоро она почувствовала себя недостаточно опытной преподавательницей в этом искусстве, и был приглашен специалист, за которым два раза в неделю посылали лошадь в его имение под Тулой.

Из нас, троих старших детей, только Сережа был способен к музыке. Илья играл так, что, по словам его французского гувернера, который заменил Фо-Фо, «quand Elie mettait à jouer, tous les chiens se sauvaient en hurlant» *. Я же так уставала от многочисленных уроков, что не могла серьезно и энергично заняться еще и этим искусством.

— Что вы мутными глазами тускло бродите по нотам,— говорил наш преподаватель, теряя всякую надежду приохотить меня к игре на фортепиано.

ГЛАВА VIII

Зима 1872/73 года длилась для меня особенно долго и докучно. Я ждала ее окончания с нетерпением. Летом я должна была свидеться с Ханной.

* когда Илья начинал играть, все собаки убегали, рыча (*франц.*).

Весной папа́ чувствовал себя особенно плохо: он постоянно кашлял и жаловался на боль в боку. Доктора боялись чахотки. Вследствие этого решено было летом уехать всей семьей в Самарские степи, где у папа́ было имение. Там он должен был лечиться кумысом. Так как Ханна за последнее время тоже прихварывала, то мои родители пригласили ее на то время, что мы пробудем в Самаре, чтобы тоже попить кумыса.

Папа́ написал управляющему нашего хутора, чтобы он приготовил все, что нужно для жизни нашей большой семьи [14].

Из Ясной в Самару был выслан наш большой дормез, так как наше имение отстояло от Самары в ста двадцати верстах, и это расстояние надо было проехать на лошадях.

Ханне было написано письмо с приглашением приехать и с указаниями сложного путешествия с Кавказа в наше имение.

Наш отъезд был назначен в мае. Я так радовалась будущему свиданию с моей милой Ханной, что я не могла спать от волнения и нетерпения.

Но, видно, что в этом году мне не суждены были радости. В мае стряслось надо мной большое горе.

Как-то папа́ поехал в Тулу по делам. Вернувшись домой вечером, он вошел к мама́ с письмом из Кутаиса в руках. Тетя Таня сообщала в нем ужасную новость — умерла ее старшая дочка, прелестная шестилетняя Даша.

Мне об этом в тот вечер мама́ не хотела сообщить. Папа́ же рассказал мальчикам.

Сережа тотчас же прибежал к мама́.

— Даша-то умерла! — сказал он. Дальше он ничего не мог сказать, закрылся занавеской от окна и стал плакать. Потом спросил: — А что тетя Таня? Я думаю, она очень несчастна.

Но скоро и до меня дошла печальная весть. Я ничего никому не сказала. Но, лежа в своей кроватке, я горько оплакивала свою любимую двоюродную сестру и подругу.

Мама̀ пишет тете Тане:

«Тане я не сказала, на ночь не хотела. Но мальчики, а потом Параша ей сказали. Я прихожу, а у нее слезы блестят в темноте... Она закрывалась одеялом и все плакала» [15].

А вот что писал папа́ тете Тане:

«Любезный друг Таня! Не могу тебе описать впечатление, которое произвело на меня известие о смерти прелестной моей милой (как мне приятно думать теперь), моей любимицы Даши!.. Целый день я не могу подумать о ней и о вас без слез. Я испытываю то чувство, которое, вероятно, теперь мучает вас: забыть, и потом вспомнить, и с ужасом спрашивать себя — неужели это правда?

Долго еще вы будете просыпаться и спрашивать себя, неужели правда, что ее нет?.. И, ради бога, не забывай, не старайся забывать все тяжелые минуты, которые ты пережила, а живи всегда с ними. Смерть для себя ужасна, как ты говорила, я помню, но в смерти близкого существа, особенно такого прелестного существа, как ребенок, и как этот ребенок, есть удивительная, хотя и печальная прелесть. Зачем жить и умирать ребенку? Это страшная загадка. И для меня одно есть объяснение. *Ей лучше.* Как ни обыкновенны эти слова, они всегда новы и глубоки, если их понимать. И нам лучше, и мы должны делаться лучше после этих горестей. Я прошел через это... И ты, вероятно, перенесешь, как до́лжное. Главное, без ропота, а с мыслью, что нам нельзя понять, что́ мы и зачем, и только смиряться надо... Прощай, милый друг, помогай вам бог, тебе и Саше... перенести это страшное, нами еще не испытанное, но висящее над нами горе, главное, без ропота и легкомыслия. И ведь это, собственно, не горе, а только одна из важных ступеней в жизни, через которую должны пройти все люди, живущие хорошей, честной жизнью.

...Я приезжаю из Тулы с письмами. Соня весело встречает меня. А я говорю: «Большое горе, большое, большое горе!» Она говорит: «Ханна умерла». Я говорю: «Из Кутаиса, но не Ханна». Ни минуты не задумавшись, она сказала, как будто прочла письмо, именно эти два слова: *«Даша умерла!»*

Как это? Отчего она могла это знать?

Она ужасно огорчена, так что и не может говорить про это. Сережа пожалел о тебе. А Таня лежала долго в постели и плакала.

Прощайте, милые друзья, помогай вам бог хорошо пройти эту тяжелую ступень в жизни» [16].

Грустно началось для меня лето: я потеряла лучшего своего друга и товарища в играх... Все мы горевали. Одно, что нас утешало,— это мысль о нашем будущем свидании с Ханной в Самаре...

ГЛАВА IX

Весной папа́ уехал в Москву, чтобы закупить все нужное для нас для дороги и для первого времени на хуторе.

11 мая 1873 года папа́ пишет Фету:

«Я был в Москве, купил 43 номера покупок на 450 рублей и уж не ехать после этого в Самару нельзя...» [17]

Папа́ привез мне с Машей дорожные серые накидки и серые шляпы из лучших московских магазинов, всем обувь, дорожные сумочки, чемоданы, погребцы, сундуки и проч.

Мы, дети, занялись укладкой своих сумочек. Я тщательно обдумывала все то, что может пригодиться мне дорогой, и понемногу все это откладывала в сторону, чтобы потом уложить. Но когда я стала все укладывать, я увидала, что все не может уместиться. Пришлось брать только самые нужные вещи. Вот ножичек. Это уж необходимо. Также необходим карандаш и тетрадочка, которую я сшила из листа бумаги. Если в дороге захочется что-нибудь нарисовать или записать — не к мама́ же приставать за такими пустяками! Вот принадлежности для шитья: фланелевая книжечка с воткнутыми в нее булавками и иголками, вокруг которых обмотаны черные и белые нитки, и коробочка с пуговицами и крючками. Как без всего этого быть? Вот веревочка,— хорошо бы ее взять, можно из нее кнут устроить, чтобы играть с мальчиками в лошадки. Даже на вожжи она годится...

Все остальное, что не помещается в сумку, я несу к мама́ с просьбой уложить в ее сундук. Нахожу ее на коленях перед сундуком. Перед ней няня, подающая ей стопы белья, которые мама́ осторожно укладывает в сундук. Выслушав мою просьбу, она, не глядя на меня, берет у меня из рук мой пакет и сует его куда-то между простынями.

Вечером мама́ натирает аккуратными кружочками на белую тарелку разноцветные акварельные краски и принимается за рисование и раскрашивание картинок для забавы детей в путешествии.

Таких книжечек моя мать наготовила на своем веку много десятков для разных детей, своих и чужих, и всегда эти книжки пользовались огромным успехом у детей. И не мудрено! Чего-чего на этих картинках не изображено!

Тут и страшные волки, уносящие детей в лес; тут и собирание грибов, и купание в реке; и пожар, на котором дети отличаются, таская ведра с водой; и зайцы, ворующие капусту и морковь; и елка, украшенная пряниками, яблоками и свечами, и многое другое. Мама́ придумывала и рисовала, не стесняясь законами перспективы, отношений, правдоподобия... И хотя рисунки были примитивны, зато как богато было содержание!

Утром папа́ распорядился о том, какие экипажи приготовить для нашей поездки до Тулы. По старинному обычаю, перед тем как пуститься в дорогу, все отъезжающие, а также и остающиеся, члены семейства и вся прислуга, собрались в залу и затворили двери. Потом все сели. Несколько минут все посидели молча, потом встали, перекрестились и стали спускаться вниз, в переднюю.

Перед крыльцом стояло несколько экипажей. Одевшись, все, по приказанию папа́, разместились в коляске, тарантасе, линейке и телегах. Нас ехало из Ясной Поляны шестнадцать человек: папа́, мама́, шесть человек детей, Эмили, Федор Федорович и прислуга. С нами же поехал один из многочисленных братьев мама́, молодой и веселый дядя Степа.

Я ехала в большой коляске с мама́. На руках она держала маленького Петю, постоянно прикрывая его своим плащом и отворачивая от ветра, боясь, чтобы первое его путешествие не окончилось простудой.

Для меня все было ново и занятно. Я редко бывала в Туле и пятнадцативерстное путешествие на лошадях по шоссе, мимо прекрасной старой Засеки, через мост, под которым протекала чистая светлая Воронка, и через другой мост, перекинутый через железную дорогу,— было уже полно интереса и волнения.

В Туле мы сели на поезд и по железной дороге доехали до Нижнего Новгорода. Братья и я не отходили от окон и отрывались только тогда, когда мама́ звала нас, чтобы дать что-нибудь поесть или попросить помочь ей с младшими детьми.

ГЛАВА X

Самое прекрасное началось от Нижнего Новгорода. Здесь мы пересели на пароход.

Чтобы перенестись в то настроение, которое мы переживали, в первый раз в жизни увидав перед собой огром-

ное пространство воды красавицы Волги, попав на большой роскошный волжский пароход, надо вспомнить, что, кроме Ясной Поляны и изредка Тулы, мы никогда ничего не видали.

После утомительного путешествия в вагоне выйти на свежий воздух, пройти по деревянным мосткам на колышущийся на воде пароход было таким наслаждением, что я до сих пор помню это чувство. Нам отвели большую каюту, в которой поместилась мама́ с маленькими. Мы, трое старших детей, остались на палубе. Заработали колеса, матросы подняли мостки, соединяющие нас с твердой землей, и мы плавно двинулись по Волге.

Еще только начало лета, поэтому река очень полна от весеннего таяния снегов. Местами, как ни напрягаю зрение, я одного берега не вижу. Вижу только воду, воду без конца.

Воздух чист, как только бывает на воде. Мы рады размять ноги и бегаем по всему пароходу, все разглядывая и расспрашивая про то, что нам непонятно. Матросы охотно нам отвечают. В третьем классе мы видим пассажиров разных народностей: татар, башкирцев, персов. Мы с любопытством рассматриваем их пестрые, яркие халаты, чалмы и тюбетейки, слушаем их особенную гортанную речь, и нам странно, что мы ничего из нее не понимаем.

К обеду мы голодны как волки. В уборной, рядом с нашей каютой, мы по очереди моем руки и причесываемся. Потом чинно идем к столу. Подают разнообразную закуску. Между прочими закусками в стеклянной вазе во льду подают свежую икру. Потом приносят золотистую стерляжью уху, за ней бесконечное количество разных блюд, одно вкуснее другого. Капитан, несмотря на то, что мы, не стесняясь, кладем себе на тарелки довольно внушительные порции, нас очень любезно угощает и предлагает всего повторить.

После обеда опять идем на палубу. Подъезжаем к Казани. Папа́ рассказывает нам о том, что он здесь жил с тетушкой Пелагеей Ильиничной и посещал Казанский университет [18]. Так как пароход должен здесь нагрузиться углем, то он простоит довольно долго. Папа́ с двумя мальчиками решает выйти на берег. Мама́, я и младшие дети остаемся на пароходе.

Нагрузившись углем, пароход протяжно загудел, люди засуетились, бегая взад и вперед по мосткам, потом мостки сняли, и пароход двинулся вперед.

Мама́ хватилась мальчиков и папа́. Стала их искать по всему пароходу — нигде их нет. Я тоже бегала во все места, где я думала, что они могли находиться, но все напрасно — их нигде не было.

— Боже мой! — говорила мама́.— Уж не остались ли они в Казани?

Пароход в это время отплыл уже так далеко от казанской пристани, что людей на ней различить нельзя было.

Мама́ бросилась к капитану.

— Мой муж и сыновья остались в Казани,— волнуясь, говорила она.— Ради бога, верните пароход за ними. Что они там будут делать в чужом городе без денег, без теплого платья, без бумаг? Я заплачу за уголь, который будет истрачен для этого...

Капитан молча выслушал мою обезумевшую от беспокойства мать, потом подошел к рубке и четко выговорил. «Задний ход!» Пароход затормозился, закипела вода перед его носом, потом он медленно повернулся и плавно пошел обратно к Казани.

Мама́ и я стояли на палубе и с волнением смотрели по направлению к пристани. Хотя мы и предполагали, что папа́ и мальчики остались в Казани, но уверенности в этом не было. Кто знает? Могло случиться и какое-нибудь несчастье! Я молчала и не делилась с мама́ моими опасениями. Но в голове проносились разные ужасные картины...

«Илья — шалун,— думала я.— Мог как-нибудь попасть в воду. А папа́, а может быть, Сережа, а может быть, и оба вместе могли броситься его спасать... А Волга глубока! В платьях плавать неловко... Какой-нибудь пароход мог на них налететь... Мало ли что могло случиться!..»

Мы молча стояли на палубе, каждая думая про себя свои беспокойные думы и напрягая зрение, чтобы что-нибудь увидать.

— Кажется — это они! — вдруг закричала я, увидав на пристани одну широкую фигуру и двух поменьше по двум ее сторонам. Мама̀ близорука. Но скоро и она узнает своего мужа и сыновей.

— Да, да, это они! — кричу я. — Я узнаю мальчиков по их суровым курточкам. А вот теперь я вижу даже бороду папа́!

Пароход еще не причалил к пристани, как мы услыхали громкий рев Ильи. Когда он был еще совсем маленьким мальчиком, он, бывало, на прогулке все плакал, когда няня уходила от него на несколько шагов вперед, и жаловался, что «вы меня не подожда-а-али!». Каково ему было теперь! Целый пароход его не подожда-а-ал!

Папá казался сконфуженным. Он быстро вошел по мосткам на пароход и прямо обратился к капитану с извинениями и благодарностью, предлагая заплатить за уголь, употребленный для лишнего плавания. Капитан вежливо это предложение отклонил.

Братья мне рассказывали, что, купив на пристани фруктов, они пошли бродить по пригороду возле пристани. Хотя от пристани до Казани несколько верст, отцу все же хотелось хоть издали посмотреть на город, где он в молодости жил и учился. Пока он мальчикам рассказывал о своей жизни в Казани, пароход ушел. Он хватился этого только тогда, когда вместо парохода среди Волги была видна только удалявшаяся точка. Папá стал ахать, стал искать другого парохода, но оказалось, что до следующего дня ни один пароход в Самару не шел. Илья, разумеется, начал реветь. Что было делать? Они стояли на пристани и не могли придумать выхода из создавшегося положения.

Но вот им показалось, что та точка, которая представляла собой уплывший пароход, стала увеличиваться, и вскоре уже не оставалось сомнения в том, что пароход возвращается за зазевавшимися пассажирами.

Проехавши Казань, я вижу необычайное зрелище. Волга расширилась, и на левой ее стороне вóды ее резко разделились на две полосы, текущие рядом, но совершенно разного цвета. Точно положены рядом две ленты разного оттенка — одна голубая, другая желтоватая. Это Кама впадает в этом месте в Волгу, и хотя вóды их ничем друг от друга не отделены, они на большом расстоянии текут рядом, не смешиваясь и резко отделяясь друг от друга по цвету.

После Казани правый берег Волги делается все выше и круче, и, наконец, переходит в настоящие высокие горы. Это Жигули или Жигулевские горы. Все они покрыты лесом, и когда пароход подходит к ним ближе, то видны отдельные старые деревья, густо растущие по их склонам. Вспоминаются рассказы о разбойниках, скрывавшихся

в этих лесах, о народном герое Стеньке Разине, бродившем здесь со своей дружиной...

Когда мы подплываем к Самаре и нам приходится выгружаться, все мы об этом жалеем. Но делать нечего, надо ехать дальше...

ГЛАВА XI

В те времена — это было в 1873 году — не было железной дороги от Самары до Оренбурга, по которой мы могли проехать до нашего хутора. Поэтому нам пришлось это путешествие в сто двадцать верст по степи проехать на лошадях.

В Самаре мы остановились в гостинице, чтобы переночевать и на следующее утро тронуться в путь. Во дворе гостиницы ждали нас присланные за нами лошади и отпряженный огромный дормез, привезенный из Ясной Поляны.

Утром к подъезду был подан этот дормез, запряженный шестериком: четыре лошади подряд и две спереди на постромках. На одной из передних лошадей сидел мальчик — «фолетер», как его называли.

Дормез состоял из кареты и пролетки. Спереди была карета с козлами, а к ней сзади была приделана пролетка с верхом.

В карету сели мама́, няня с маленьким Петей и «little ones», то есть Леля и Маша. Папа́ сел сзади в одну из многочисленных присланных за нами плетушек, запряженных парами бодрых степных лошадок. В другие плетушки разместились мальчики с Фо-Фо, Эмили, горничные, лакеи, повар. Я ехала в пролетке за каретой с дядей Степой, который поместился там, чтобы при нужде помочь мама́.

Путь был утомительным. Жара, пыль, ни одного деревца. На полдороге мы остановились на ночевку в крестьянском постоялом дворе. Мама́ с маленькими детьми устроилась внутри дома, а папа̀ и мы, старшие дети, ночевали на дворе, на сене, в отпряженных плетушках. Мне было ново и любопытно спать под открытым небом. Я долго не могла заснуть. Я смотрела на звездное небо, слушала, как наши лошади мерно жевали брошенное им сено, гремя уздечками, как мыши шуршали по соломе... А под утро ясная заря совсем меня разгуляла. Запели петухи, замычали коровы и телята, заблеяли овцы. Поднялись бабы и, гремя ведрами, сели доить коров. Потом заскрипели ворота, и бабы выгнали скотину в поле. Когда во дворе все опять затихло, я перелезла из своей плетушки

в карету и там, на сиденье. заснула крепким сном до позднего утра. Меня разбудили, чтобы выпить чаю и продолжать путь.

Дорога шла голыми степями. На десятки верст, сколько мог охватить глаз, не было ни одного деревца, ни одной лощины, ни пруда, ни реки... Степь, степь, степь... Солнце жарило невыносимо, а тени нигде не было.

— Стой! — вдруг закричал кучер «фолетеру». Мы остановились. Степа и я вылезли из пролетки, чтобы посмотреть, что случилось. На пыльной дороге, на боку, лежала одна из пристяжных лошадей. Кучер соскочил с козел и стал отстегивать постромки. Бедное животное не вынесло усталости и жары и пало. Пришлось бросить его на дороге. Помню большое неподвижное тело с выдающимся животом, с безжизненными ногами и с помутневшим глазом. Кучер опять влез на козлы, и мы покатили дальше. Мы ехали версты за верстами, не встречая ни человека, ни человеческого жилья. Деревни и села попадались очень редко. Дома в них хорошо построены, крыши покрыты тесом, а не соломой, как у нас, в Тульской губернии; многие дома двухэтажные. Деревни и села всегда очень большие, вроде маленьких городков. У крестьян прекрасные лошади и удобные легкие плетушки. Дороги везде пыльные и гладкие, как скатерть.

В большом селе Землянках мы остановились, чтобы дать лошадям отдохнуть и самим закусить. Землянки — большое торговое село. Здесь бывают базары, на которых не только продают и покупают самые разнообразные произведения человеческого труда, но и нанимают этот труд на летние работы.

Папа́ сказал нам, что отсюда до нашего хутора остается двадцать верст. Мы приободрились и повеселели. Напоивши лошадей, мы тронулись дальше.

— Дядя Степа,— говорю я своему спутнику,— неужели нигде нет леса? И грибов негде будет собирать?

— Нет,— говорит дядя, который с папа́ уже прежде побывал в самарском хуторе,— леса нигде нет. Есть недалеко от хутора большая лощина, в ней растут березы. Но они растут не так, как у нас, а кустами, и не бывают выше человеческого роста.

— Ну, а прудов и рек неужели тоже нет?

— Нет. Ваш папа́ велел вырыть возле дома пруд, но вода там не держится и летом высыхает.

— А рек?

— Река есть верстах в пятнадцати от хутора. Она называется Каралык. Но она не такая, как наши речки. Она не течет руслом, а состоит из маленьких озер, между собой не связанных.

— И везде так плоско, как здесь?

— Нет, подъезжая к хутору, ты увидишь очень странные горки. Они все состоят из раковин и разных окаменелостей. Между ними ты найдешь очень странную окаменелость, которую называют «чертов палец» и которая представляет из себя окаменелого какого-то моллюска. Теперь это камень желто-серого цвета, действительно похожий на палец, но только с более длинным и заостренным концом. Ведь вся эта местность, по которой мы проезжаем, была прежде, в незапамятные времена, огромным морем, и те окаменелости, которые мы теперь находим в степи, были прежде в море.

Это мне понравилось, и я с нетерпением ждала, когда покажутся горы.

Последняя деревня, которую мы проехали, была Гавриловка. От нее до хутора только девять верст.

Степь все такая же гладкая, но вот вдруг на горизонте показалась гора правильной конической формы с закругленной вершиной.

— Дядя Степа,— кричу я.— Что это?

— Это гора Шишка. Она за хутором верстах в двух, трех.

Недалеко от Шишки виднеются еще несколько возвышений, не таких высоких и не такой правильной формы, как она. Дядя Степа объяснил мне, что это — курганы, то есть насыпи, под которыми в давние времена люди хоронили своих покойников.

Вот наконец и наш хутор: маленький серый деревянный дом и около него несколько таких же деревянных хозяйственных построек. Дальше, в степи, стоит войлочная палатка, которую здесь зовут кибиткой.

И вот тут мы должны прожить целое лето!

ГЛАВА XII

В первое время я была занята обозреванием всего, что было на усадьбе и вокруг нее.

Дом осмотреть не долго: четыре комнатки, вокруг которых идет балкон. В доме будут жить папа́, мама́, млад-

ние дети и я. Мальчики с Фо-Фо и Степой будут жить в большом амбаре, стоящем поблизости от дома. В степи, в нескольких саженях от дома, стоит войлочная кибитка, в которой живет старый башкирец Мухаммедшах с семьей. Они будут делать кумыс для лечащихся.

Есть еще кое-какие постройки для работников, лошадей и коров.

Вокруг дома — ни деревца, ни цветка, ни лужи воды... Трава высохшая и колючая.

От палящего солнца можно укрыться лишь в наш огромный дормез, который стоит посреди двора в ожидании нашего возвращения.

Скучно...

От перемениой воды и от жары все с первых же дней стали страдать желудочными болезнями. Мама́ пришла в отчаяние. Посылать за доктором было слишком далеко. Пришлось справляться кое-как с теми лекарствами, которые мама́ осмотрительно привезла с собой.

Очень трудно было с пищей: вода доставалась из колодца и была невкусна и нездорова. Белого хлеба не было, и нельзя было его испечь, так как нельзя было достать дрожжей. Питались черным хлебом и сухарями.

Обедали мы на балконе, но от жары и насекомых трудно бывало есть. После захода солнца дышалось легче. По вечерам мы собирались на балконе пить чай. Но и тут мы не избавлялись от насекомых. Только что зажигались свечи под стеклянными колпаками, как начинали падать на скатерть жесткие черные жучки. Подобрав под себя свои крылья и многочисленные ноги, они, как дробь, сыпались на белую скатерть. Сначала они лежали неподвижно. Потом понемногу оживали и начинали бегать по всему столу.

После чая ляжешь спать и не можешь заснуть от жары и духоты. Ворочаешься с бока на бок, переворачиваешь подушку со стороны на сторону, но не получаешь ни малейшего ощущения прохлады...

Приходит утро, и опять всходит палящее солнце, и опять некуда от него укрыться.

Я не находила себе ни дела, ни развлечения и тоскливо мечтала о Ясной Поляне. Томительный день тянулся бесконечно...

Наконец пришла мне мысль убежать... «Встать тихонько, рано утром, так, чтобы никто не услыхал,— думала я,— и убежать прямо в Ясную».

Все мои мысли были направлены на исполнение этого плана.

«Но на дорогу нужны деньги,— мысленно рассуждала я.— А вот денег-то у меня нет. Как быть?» И я стала соображать, откуда бы мне их достать...

«Продать серьги, которые мне подарила бабушка Любовь Александровна? Они золотые, и кораллы в них настоящие. А кораллы — это драгоценные камни и, наверное, очень дорого стоят... Но где и кому их продать? Если попросить денег у папа́ или мама́, они спросят, для чего они мне нужны, и, если я скажу, то, конечно, не дадут. Попросить у Степы и открыть ему свой план? Но у Степы, вероятно, тоже денег нет, потому что я знаю, что у него есть долги. Я слышала, как мама́ с ним об этом говорила...»

Я решила подождать приезда Ханны. Может быть, она сумеет украсить мою жизнь и сделать ее хоть немножко похожей на жизнь в Ясной, когда она воспитывала Сережу, Илью и меня в комнате под сводами...

А пока ее еще не было, я старалась хоть немного принять участие в жизни мальчиков. Они больше всего говорили об охоте, о ружьях, о собаках. Фо-Фо был страстным охотником. Он мечтал застрелить хоть одну дрофу, которые часто встречались в степи... Дрофы — это большие птицы, напоминающие индюшек. Они очень чутки и осторожны и близко к себе не подпускают человека.

Какими-то хитростями, из-за стада овец, Фо-Фо удалось обмануть бедную дрофу и застрелить ее.

Раз, подходя к дому, я увидела на балконе пригвожденную к какому-то щиту огромную красивую птицу с распростертыми крыльями.

Немец был очень горд своей добычей и хотел, чтобы все ее видели. Сам он сиял от радости.

Мама́ велела взвесить птицу, в ней оказалось восемнадцать фунтов. Потом ее намариновали в уксусе, и мы понемногу съели доверчивую жертву Федора-Федоровичевой уловки.

Кроме дроф, которых по-местному называли «дудаками», в степи водились орлы. Они попадались иногда стаями, а иногда поодиночке.

Раз утром, вышедши после кофе из дома, я увидала десятка полтора-два огромных темных птиц, сидящих по ту сторону высохшего пруда.

Я бросилась в комнаты, чтобы позвать мальчиков, но не успели мы выбежать, как орлы, один за другим, стали распускать свои тяжелые крылья и медленно улетать в степь...

Как-то мальчики открыли мне тайну о том, почему Фо-Фо бывал всегда так гладко причесан.

— Ты знаешь,— сказал мне раз Сережа,— у Фо-Фо не свои волосы, а он носит парик.

— Да,— продолжал Илья.— Я раз проснулся ночью и вижу — у Фо-Фо голова голая, как арбуз, и он бреет затылок. А парик лежит у него на столе. Когда он увидал, что я проснулся, он на меня закричал, чтобы я спал. Я испугался и закрылся с головой...

— Ты рассмотри попристальнее пробор на его волосах,— говорит Сережа,— он прошит ниточкой, и кожи на нем не видно.

На меня это сообщение мальчиков произвело большое впечатление. Я никогда прежде не слыхала о том, чтобы кто-либо носил парик. Я постоянно вглядывалась в волосы бедного немца и пришла к заключению, что мальчики были правы и что у Фо-Фо, несомненно, вместо своих волос надет парик.

ГЛАВА XIII

Папа́ старался всячески развлекать мама́ и нас. Он сознавал, что мы все живем здесь ради него, и потому ему хотелось, чтобы мы как можно меньше скучали. Часто он возил нас кататься по разным окрестным деревням — русским и башкирским.

Чаще всего мы ездили с ним в деревню Гавриловку к знакомому крестьянину Василию Никитичу. Это был умный, степенный старик, с которым папа́ разговаривал о вере и о разных сектах, которых много среди местных крестьян.

Мы, дети, мало что понимали из того, о чем говорили старшие. Мы наслаждались прекрасным чаем с душистым белым медом и вишневыми лепешками, которыми нас угощали гостеприимные хозяева.

— Я в чаю средствие нахожу,— говорил Василий Никитич и со вкусом отхлебывал с блюдца горячий чай.

У Василия Никитича было на одном глазу бельмо; борода у него была рыжая и руки покрыты большими рыжими веснушками.

Он внимательно слушал то, что говорил отец, одобрительно покачивал головой и приговаривал:

— Это двиститульно так... Это двиститульно... [19]

Раз папа́ свез нас в одну башкирскую деревню к тамошнему мулле в гости. Деревня эта называлась Каралык. Папа́ бывал в ней в прежние свои приезды в Самарскую губернию и со многими башкирцами был знаком.

По дороге нам пришлось проехать через лощину, в которой, к величайшей моей радости, я в первый раз за все время пребывания в степи увидала березу — настоящую русскую березу с белым стволом и блестящими душистыми листьями! Но какую карлицу! Она была не выше человеческого роста и вся была скрюченная и согнутая, точно горбатая старушка. Но и этой горбатой старушке я обрадовалась, как родной. Я нарвала ее сучьев и нюхала их, вспоминая троицын день в Ясной Поляне, когда весь дом бывал украшен березовыми сучьями...

В той же лощине мы нарвали необыкновенных красных цветов вроде вербены, но такой яркой окраски, какой мне никогда не приходилось встречать.

Башкирская деревня стояла на речке. Но я никогда не назвала бы рекой те отдельные маленькие круглые озерки, которые находились на некотором расстоянии друг от друга и были разделены твердой землей.

Башкирские дома хорошо выстроены, чисты и опрятны. Мулла, у которого мы остановились, встретил нас гостеприимно и радушно. Вскоре туда пришли и старые знакомые папа́. Между ними был очень веселый старый башкирец, по-русски прозванный Михаил Ивановичем. Он тотчас же предложил папа́ сыграть с ним в шашки. Папа́ согласился, и они тотчас же засели за шашечную доску. Когда ход был трудный, Михаил Иванович почесывал себе лоб и говорил:

— Думить надо. Ба-а-альшой думить надо.

Между тем работник нашего хозяина был послан, чтобы зарезать барана, а до того, как он был приготовлен, нам предложили чаю и кумыса.

Когда баран был сварен, слуга внес большую посудину, наполненную кусками жирной вареной баранины. Я слыхала, что у башкирцев не принято отказываться от предлагаемого угощения, так как это очень обижает хозяина. Мне рассказывали, что если гость отказывается от

предложенной баранины, то хозяин берет кусок и вымазывает ему все лицо этим куском, после чего гость все же принужден этот кусок съесть. И потому, когда башкирец, вынимая руками куски баранины из чашки, дошел до меня, то я поторопилась свой кусок съесть без остатка. Должна прибавить, что это было не трудно, так как после длинной поездки я была голодна, а баранина была очень нежная и вкусная. В то время я не только не была вегетарианкой, но вообще никто у нас никогда о вегетарианстве не говорил и не слыхал.

Папа́ всегда умел найти общий интерес со всяким человеком, с которым встречался. С каждым он легко находил предметы для интересного разговора. С муллой он говорил о религии, с Михаил Ивановичем шутил, с хозяевами говорил о посевах, о лошадях, о погоде... И все доверчиво и простодушно ему отвечали.

После обеда мы пошли пройтись и посмотреть табуны. Мама́ очень похвалила хорошенькую буланую кобылку, сказав, что это ее любимая масть. А папа́ прибавил, что кобылка удивительно ладная.

Проходя мимо одного из круглых озерок, которые составляют речку Каралык, я увидала на воде белые кувшинки. Я пришла в восторг от вида воды и этих красивых цветов. Я попробовала дотянуться до одного из них, но не могла ни одного достать. Тогда, не долго думая, сын муллы, молодой башкирец Нагим, снял свои кожаные галоши, потом мягкие зеленые кожаные сапоги, засучил шаровары и полез в воду. Нарвав целый пук кувшинок, он подал их мне. Я не привыкла к такой учтивости и густо покраснела, принимая цветы и бормоча благодарность.

Под вечер мы распростились с радушными хозяевами и велели подавать свои плетушки. К первой плетушке, в которой приехали папа́ и мама́, была привязана хорошенькая буланая кобылка, которую похвалила мама́. Хозяин ее «подводил» своей гостье. На Востоке существует обычай дарить то, что гость похвалит. Мама́ была совершенно сконфужена и смущена.

— Как мне совестно! — закричала она.— Зачем это? Кабы я знала, я ни за что не похвалила бы вашу лошадку...

Мама́ хотела отвязать и возвратить лошадку хозяину, но папа́ ее остановил, зная, что это обидит того, кто дарил лошадь...

Он сердечно поблагодарил муллу, пожав ему руку, и мы поехали домой. Буланая кобылка весело бежала за плетушкой, а мамá все ахала о том, что она не вспомнила восточного обычая и напрасно похвалила лошадь. При случае папá отдарил башкирца, дав ему несколько золотых монет-червонцев для украшения платья его жены и дочери.

ГЛАВА XIV

У отца в то время были большие косяки (табуны) лошадей. Он задался целью вывести смешанную породу из маленьких степных лошадей с рослой европейской породой. Он надеялся соединить силу, выносливость и горячность первых с красотой, резвостью и ростом вторых. Был приглашен целый штат табунщиков, объездчиков и конюхов.

Я любила лошадей, и потому я постаралась подружиться со всеми, кто занимался конным заводом. Особенным моим другом был табунщик Лутай, которого папá, за его ловкость и умение усмирять самых диких лошадей, назначил нашим вторым кучером.

Бывало, когда нам надо было куда-нибудь ехать и Лутаю было приказано запрягать, он брал в руки аркан и уздечку и шел в степь, к пасущемуся там косяку. Лутай намечал себе нужную ему лошадь и, с арканом в руке, подходил к ней. Полудикие лошади шарахались от него и, храпя, сваливались в кучу, но Лутай ловко накидывал аркан на шею намеченной лошади и перекручивал его так, что лошадь не могла от него освободиться. Она начинала хрипеть, падала на землю, потом вскакивала на колени, опять падала и, наконец, затихала и валилась на бок, как околелая.

Тогда Лутай надевал на лежащую лошадь уздечку, взнуздывал ее — очень строгим лошадям он даже скручивал губу — и понемногу начинал освобождать шею лошади от аркана. Лошадь оживала и вставала на ноги. Тогда Лутай быстро и ловко вскакивал на нее верхом, и тут начинались бешеные усилия лошади сбросить с себя седока. Она становилась на дыбы, била задом и то совсем останавливалась, то бешено скакала по степи. Но Лутай точно прирос к спине лошади, и никакие усилия, чтобы сбить его со своей спины, ей не удавались. После несколь-

ких минут дикой скачки по степи лошадь в конце концов утомлялась и делалась настолько смирной, что Лутай, сидя на ней, мог поймать остальных двух лошадей для тройки.

Он торжественно подъезжал к дому, ведя двух лошадей в поводу, и, с помощью конюхов, начинал запрягать линейку, которая стояла тут, перед домом.

Когда тройка бывала запряжена, Лутай садился на козлы и ставил трех конюхов перед каждой лошадью, чтобы держать ее под уздцы. Лошади не стоят смирно — они бьются от мух, храпят, роют землю копытами. Лутай усаживается на козлы и кричит нам:

— Эй! Танка, садысь! Стопка, садысь! Серошка, садысь! Илюшка, садысь!

Мы все бросаемся на линейку. Лутай кричит конюхам:

— Пускай!

Конюхи быстро отскакивают в сторону. Лутай сначала дает полную волю лошадям. Они, как стрелы, мчатся по гладкой дороге. Линейка летит с невероятной быстротой. Часто не успеваешь сесть как следует, а только падаешь животом на подушку и схватываешься руками за противоположную ее сторону, как лошади рванутся и помчатся диким бегом. И долго приходится так продержаться, пока лошади не притомятся и не пойдут шагом. Тогда, с помощью сидящих на линейке, пересаживаешься как следует.

Лутай разбирает вожжи в руках и правит лошадьми по желанию. Он поворачивает к нам торжествующее лицо и, махнув головой на тройку, говорит:

— Видал? — И его монгольское лицо широко улыбается.

ГЛАВА XV

Наконец 13 июня приехала Ханна с Кавказа. Как я ждала ее! Как забилось сердце, когда я издали услыхала стук подъезжавшей плетушки! С какой радостью бросилась я в ее объятия, в которых столько раз я находила утешение и ласку! Я не могу удержаться от слез. Выбегают мама́ и мальчики. Все рады ей, и она для каждого находит ласковое слово.

Вот знакомые ее вещи! Мы тащим их в приготовленную для нее комнату, которую до сих пор я занимала

одна. Там мы раскладываем ее мешок, развязываем ремни пледа и все раскладываем в шкаф.

Ханна приехала к нам слабая от перенесенной болезни и огорченная смертью своей маленькой воспитанницы — моей двоюродной сестры Даши Кузминской. Ханна уже успела хорошо узнать ее и полюбить всем своим любящим сердцем.

Она рассказывала, что Даша была особенно духовно хороша в последнее время своей жизни.

— Для бога мы ее готовили,— говорила Ханна.

И мы обе тихо плакали, вспоминая ее.

Ханна добросовестно и усиленно начала пить кумыс. Она непременно хотела поправиться, чтобы опять стать полезной тете Тане. О том, чтобы вернуться к нам, не было речи... У нас была другая воспитательница, а Ханне климат Кавказа был полезнее, чем холодный климат Ясной Поляны... Но утешала надежда на то, что каждым летом Ханна будет с Кузминскими приезжать в Ясную Поляну.

«Уроки и другие занятия помогут мне как-нибудь пережить зиму,— думала я.— А пока надо пользоваться ее обществом и не думать о разлуке».

С приездом Ханны вся жизнь моя изменилась. Она умела находить интерес во всем окружающем и вызвать его во мне.

Она указала мне на своеобразную красоту степи.

— Смотри,— говорила она,— эти огромные пасущиеся стада овец напоминают библейскую жизнь. А наш башкирец Мухаммедшах похож на библейского патриарха, с своей седой бородой, длинной цветной одеждой и своими степенными, вежливыми манерами...

Мы стали часто делать с ней длинные прогулки. Добрались мы до Шишки и даже долезли до ее вершины. Это было не легко, так как она была крута и высока, и, приближаясь к верху, нам пришлось карабкаться на четвереньках. Тут мы ощутили легкий ветерок, чего никогда в степи не ощущалось. Вокруг нас видны были бесконечные пространства степи, уходящие в голубую дымчатую даль.

По склонам Шишки мы набрали множество окаменелостей самых причудливых форм. Чаще всего попадались слепки раковин и «чертов палец».

Иногда мы с Ханной ночью выходили в степь и любовались красотой этого бесконечного простора. По ночам

степь представляла из себя особенно величественную картину. Весь небесный свод, с его бесконечными звездами, казался огромным куполом, опрокинутым над землей. Мы, люди, казались такими крохотными, такими незаметными в сравнении с бесконечностью этого неба.

В тех местах степи, где никогда земля не бывала вспахана, росла трава ковыль. Трава эта легкая и белая, как пух. В лунные ночи, когда ее колыхал легкий ветерок, казалось, что вся степь покрыта серебристым налетом. Мы набирали большие букеты из ковыля и украшали ими свои комнаты.

Иногда мы днем ходим на бахчи, где зреют огромные арбузы и дыни. Старик Бабай, стороживший бахчи, выбирает нам по зрелому плоду и подает каждому то, что он просит. Так как ножей с нами нет, то мы разбиваем арбуз, бросая его об землю, и тут же съедаем его, вонзая зубы в сочную, сладкую мякоть. Сок течет по рту и подбородку, семечки попадают в рот вместе с мякотью, и не кончишь съедать один арбуз, как глазами уже ищешь другой.

По ночам старый Бабай, похлопывая в дно старого ржавого ведра, поет старинные заунывные восточные песни.

Кое-где в степи виднеются косяки (табуны) лошадей, пасущиеся без табунщика, а охраняемые аргамаками — жеребцами, приученными сторожить кобыл. Эти аргамаки очень злы и способны загрызть человека, если тот попытается увести какую-нибудь кобылу из табуна.

Тут же в степи тяжелые медлительные волы пережевывают свою жвачку, погромыхивая привязанными к их шее глухими колокольчиками. Пастухи развели костер, и один из них что-то медленно наигрывает на дудочке.

Днем эти волы пашут жирную черную степную землю, запряженные по пяти пар в плуг. Они знают приказание, и когда пахарь покрикивает на них: «Цоб» (направо) и «Цобе» (налево), то они послушно берут то направление, которое пахарь им указывает. Тяжелый плуг выворачивает огромные пласты жирной черной земли, в первый раз на своем веку тронутой земледельческим орудием.

Это пашут под озимую пшеницу. Яровая только что поспела, и в нашем хозяйстве началась жатва пшеницы «белотурки», как ее здесь называли.

Нанятые на лето рабочие разбили в поле свои палатки, в которых многие из них живут с семьями. Пищу они готовят под открытым небом в подвешенных на треугольные козлы котелках.

Вечером, после захода солнца, бывало видно, как все жнецы и жницы возвращаются к своим палаткам, разводят костры и варят себе ужин. Попахивает дымком и похлебкой. Люди чинно рассаживаются вокруг дымящегося котла и молчаливо хлебают деревянными ложками из общей посудины.

Над головами опрокинуто темное небо с мигающими на нем звездами. А вокруг расстилается бесконечная степь с теряющимся в темноте горизонтом.

Поспешно сжав одно поле, жнецы переходят на другое, оставляя на жнивьях большое количество неубранных колосьев.

Ханна не могла видеть этой расточительности. Она всегда восставала против ненужной траты чего бы то ни было.

— Wast * — это большой грех, — говорила она. — Каждая вещь стоит человеческого труда, и уничтожать ее не следует. Сколько человек могло бы прокормиться этими брошенными в поле колосьями, которые погибнут, никому не принеся пользы.

Когда она раз об этом упомянула при папа́, он сказал:

— Вот вам с детьми занятие: наберите, сколько сможете, снопов, и я дам их обмолотить.

Мы обрадовались этой мысли и стали с Ханной усердно собирать колосья.

— Это занятие тоже переносит меня в библейские времена, — говорит Ханна, — когда Руфь ходила «gleaning» (собирать колосья).

Бродя по степи под палящим солнцем и подбирая колосок за колоском, мы набрали несколько снопов и отдали их обмолотить.

Молотьба в Самаре производилась следующим образом: несколько лошадей ставились в круг с привязанными хвостами к уздечке стоящей сзади лошади. Составившийся таким образом сомкнутый круг из лошадей погонялся стоящим в середине его человеком. Под ноги идущих шагом лошадей бросались снопы, из которых таким образом вымолачивалось зерно.

---

* Потеря (*англ.*).

Из набранных нами снопов вымолотилось приблизительно по пуду на каждого из нас. Мы были в восторге от того, что могли так много набрать...

ГЛАВА XVI

Папá, Степа, Ханна и даже маленькая Маша усиленно пили кумыс. С утра они отправлялись в кибитку, где их приветствовал утонченно вежливый и благообразный старый башкирец Мухаммедшах Романович.

Сидя на положенных на пол коврах и подушках, со скрещенными по-турецки ногами, он сначала мешал в кожаной посудине кислый и жидкий кумыс, потом наливал его ковшом из карельской березы в такую же плоскую чашу и с поклоном подносил своему гостю.

Папá, бывало, возьмет чашу с кумысом в обе руки и одним залпом выпивает ее до дна, ни разу не отрывая от нее рта. А чаша большая — вместимостью в целую бутылку, а то и больше.

Мухаммедшах только ждет, когда папá кончит, чтобы опять налить ему вторую чашу. Иногда папá выпивает и вторую и только похваливает...

Я кумыса не пью. Он мне не нравится, и так как я совершенно здорова, то меня к этому не принуждают.

Пока мужчины пьют, я захожу за ситцевую занавеску, где живут жена Мухаммедшаха — Алифа и его внучка — Хадия. Алифа — милая приветливая старушка, такая же степенная и вежливая, как ее муж. Хадия — молодая, очень красивая стройная девушка, с немного выдающимися скулами, прекрасными черными глазами и очаровательной улыбкой.

Женщины не показываются мужчинам, и когда Хадии приходится проходить мимо пьющих в кибитке мужчин, она накидывает на голову свой черный бархатный кафтан и быстро проскальзывает в дверь.

В отделении женщин я помогаю болтать кумыс. В высокие кожаные мешки, сделанные из лошадиных шкур, наливается кобылье молоко, потом оно заквашивается старым кумысом и взбалтывается длинными деревянными болтами. Чем больше кумыс взболтан, тем он считается лучше.

Я становлюсь на цыпочки перед высоким бурдюком,— так называются эти кожаные мешки,— беру в руки болт

и стараюсь болтать его так же, как это делают башкирки. Но у меня не выходит того беспрерывного мягкого звука, какой выходил у них.

Башкирки носят длинные широкие платья из пестрого ситца, подол обшит оборками из другой материи. На груди платья отделаны разноцветными лентами, пришитыми вокруг шейного отверстия, и на них нашиты разные мониcты и монеты — русские и турецкие, с пробитыми в них дырочками. Такие же украшения висят на конце длинных кос башкирских девушек.

С башкирками я ходила доить кобыл. Помню молодую тонкую фигуру Хадии в сапогах, с накинутым на голову бархатным кафтаном. Из-под него виднеется кончик ее длинной, украшенной монистами, черной косы, побрякивающей на ее спине при каждом ее шаге. В руках она несет ведро. Она зорко оглядывает степь, чтобы найти своих кобыл. Они недалеко, так как здесь, в нескольких шагах от кибитки, привязаны их жеребята.

Эти жеребята возбуждали во мне чувство глубокого сострадания. С десяток бедных маленьких животных бывали привязаны, аршинах в двух-трех друг от друга, короткими канатами из конского волоса к низким деревянным колам, вбитым в землю. Головы их притянуты близко к земле для того, чтобы они не могли сосать своих маток, которые пасутся тут же в степи.

Как сейчас, вижу этих несчастных жеребят с притянутыми к земле мордочками, бьющихся от назойливых мух, оводов и других насекомых. Трава под ними вся выбита от постоянных ударов их нетерпеливых маленьких копыт. Солнце безжалостно их печет, и только тогда, когда оно садится, башкирки приходят освобождать своих узников. Их отвязывают и пускают в степь. Надо видеть, с какой радостью скачут эти маленькие животные к своим матерям и как каждый жеребенок без ошибки узнает свою мать и бросается сосать ее.

ГЛАВА XVII

Раз, гуляя с Хаппой по степи, я вдали увидала что-то белое, лежащее в траве. Я побежала посмотреть, что это такое, и увидала крошечного беленького ягненка.

Я пришла в восторг.

— Ханна! Посмотри! Ягненок! Можно нам взять его? Его, наверное, забыли взять с собой какие-нибудь пастухи!

— Я думаю, что можно,— сказала Ханна,— никто, наверное, за ним не вернется. Здесь их такое множество, что потеря одного ягненка не будет замечена. А если найдется его хозяин, то его ведь можно отдать...

Эта мысль мне не очень понравилась. Но я тем не менее подняла на руки ягненка и понесла его домой. Он, видно, был очень утомлен и с трудом стоял на своих маленьких ногах, когда я дома поставила его на пол. Там я попросила какое-нибудь ненужное блюдце, налила ему молока и ждала, чтобы он начал его лакать. Но он был слишком мал, чтобы уметь пить из блюдца.

— Обмакни палец в молоко и дай ему. Он привык сосать и пока еще пить не умеет,— сказала Ханна.

Я поступила так, как сказала Ханна, и, к моей радости, я почувствовала, как крепко ягненок забрал мой палец в рот и как сильно он стал сосать его, беспрерывно мотая своим маленьким хвостиком.

Так мало-помалу выходила я своего Мотьку, — я так назвала его,— пока он не окреп и не вырос. Он выучился пить с блюдца и, когда бывал голоден, подбегал ко мне и толкал меня своим кудрявым лбом в бок. Поила я его не только через два или три часа днем, но и ночью приходилось вставать, чтобы его кормить.

Бывало, ночью я сплю и сквозь сон чувствую, как меня кто-то толкает. Я просыпаюсь и вижу своего беленького Мотьку, который лбом толкает меня в бок. Я встаю, целую его хорошенькую розовую мордочку, наливаю в блюдце приготовленное с вечера молоко и ложусь опять в постель и засыпаю, пока он пьет, мотая своим коротеньким хвостиком.

Днем Мотька бегает за мной повсюду, как собачка. Он знает свою кличку, и когда я позову его: «Мотька»,— он со всех ног бросается ко мне, стуча своими копытцами по деревянному полу.

Я редко любила какое-либо животное так, как я любила Мотьку. И, когда бы я потом ни увидала белого ягненка, я всегда вспоминала своего маленького воспитанника, давшего мне много радости...

В другой раз, гуляя с Ханной по степи, мы встретили странную кучку людей: впереди шел худой оборванный татарин, везя за собой маленькую тележку, в которой

лежал крошечный ребенок. Рядом шла такая же оборванная, вся в пыли, татарка, ведя за руку лохматую, грязную черноволосую девочку. Вся семья имела вид истощенный, унылый и грязный.

Поравнявшись с нами, татарин спросил:

— Что, работка какая найдется у вас? Моя баба тоже может работать.

Я знала, что папá нанимал рабочие руки где только мог, и потому направила татарина к нашему дому.

— Спроси там, чтобы о вас сказали хозяину.

Как я и ожидала, татарин и его жена были наняты на полевые работы. Они все четверо поселились на открытом воздухе, под навесом сарая.

Ханна очень жалела детей.

— Они всегда голодные,— говорила она, и мы с ней стали часто прикармливать их с нашего стола.

Девочка сначала нас боялась, но потом привыкла и перестала прятаться, когда мы приходили. Она была дикая, как зверек. Ни разговора, ни игр с ней невозможно было затеять; главной заботой ее была еда.

Бывало, я сижу у себя в комнате с Ханной, и вдруг под окном раздается голосок:

— Тотка! Тотка! Лепошка давай мене!

Взглянешь — это стоит маленькая татарка, закрыв рукою больные от солнца и пыли глаза.

— Подожди,— говорю я,— я сейчас принесу тебе лепошка!

Пойдешь в столовую и принесешь ей что-нибудь, что там найдется. Она схватит кусок из рук, не поблагодарит, и тут же начинает жадно есть.

Я старалась заинтересовать девочку в своих играх, но это было совершенно напрасно. Я устраивала на дне нашего высохшего пруда маленькие садики из воткнутых в землю растений, прочищала между ними дорожки, выкапывала ямки и наливала в них воду, чтобы изобразить пруды. Вода, конечно, тотчас же просачивалась в землю, и оставалось только темное пятно. Маленькая татарка смотрела на мое занятие, и, когда я приглашала ее участвовать в нем, она начинала дико хохотать и вырывала все посаженные мною деревья. Потом она отыскивала сидящих в земле, в своих норах, посреди сотканной ими паутины, лохматых тарантулов и, показывая их пальцем и тряся головой, говорила что-то на своем непонятном для меня языке. Она, вероятно, предупреждала меня

в том, что эти насекомые ядовиты и что укус их опасен. Но это я знала и без нее, так как папа́ нам уже говорил об этом, и мы всегда со страхом обходили зловещие норки с сидящими среди них пауками.

Татарин и его семья прожили у нас все лето и, когда кончились полевые работы, так же ушли, как и пришли, везя за собой тележку с младшим ребенком и ведя за руку свою дикую лохматую дочку.

ГЛАВА XVIII

В самарских степях пахарям часто случалось находить в земле древнее оружие и серебряные предметы. Их приносили к нам, и папа́ давал за них небольшую плату, но мало интересовался ими. Из всех найденных в Самаре древностей у мама́ осталось только одно маленькое позеленевшее копье. Чаще всего эти предметы находили под курганами, которые в древние времена насыпались над могилами умерших.

Кто-то сообщил нам, что в нескольких верстах от нашего хутора деревенские ребята открыли скифскую могилу, в которой, по всем признакам и по положению скелетов, можно было предполагать, что был похоронен человек во всем вооружении и верхом на лошади.

Мама́ заинтересовалась этим рассказом и раз повезла нас с собой в ту деревню, где были найдены эти древние останки. В разрытой яме мы увидали кости и некоторые части оружия, седла́ и стремян. Но как только рука дотрагивалась до какого-нибудь предмета, он рассыпался и крошился в порошок.

Разочарованные тем, что ничего не могли увезти с собой, мы поторопились уехать. Мама́ в то время кормила Петю, и настал срок для его кормления.

Мы выехали из деревни в легкой плетушке, запряженной парой бодрых лошадок, и помчались по гладкой дороге по направлению к дому. Взглянув на небо, мы увидали, что перед нами с горизонта поднимается зловещая тяжелая черная туча. Вскоре она покрыла собой полнеба; солнце за ней скрылось, стало темно, и туча нависла так низко над землей, что, казалось, мы подъехали под свод какого-нибудь здания. Звук копыт наших лошадей и стук колес гулко раздавались по пыльной дороге.

Нам всем стало жутко, и мы молчали, ожидая, когда разразится гроза. А тут еще наш кучер стал задерживать лошадей и с сомнением оглядываться по сторонам. В этот раз на козлах был не Лутай, а приехавший с нами из Ясной Поляны русский кучер.

— Что ты? — с тревогой в голосе спросила мама́.

— Да чтой-то сумление берет насчет дороги, — смущенно ответил кучер. — Похоже, я не на тот поворот попал. Да кто их тут в степи разберет — какая куда ведет дорога...

Мы остановились. Хотелось поскорее выехать из-под черной, нависшей над нами тучи, а тут кучер повернул в обратную сторону и стал, всматриваясь в даль, искать дорогу.

На душе у меня была тревога, ныло под ложечкой от страха, но я молчала, чтобы не расстраивать мама́, которая и так была в сильном волнении.

— Боже мой! Как же быть? — говорила она.— Бедный мой Петюшка. Он, наверное, теперь кричит от голода! А папа́ как будет беспокоиться! Мы и к обеду опоздаем!

Вдруг я увидала в степи какое-то странное существо, неподвижно стоявшее впереди нас недалеко от дороги. Я указала на него мама̀.

— Смотрите, что это там у дороги стоит?

— Это, верно, какой-нибудь мальчик,— говорит мама́.— Верно, как мы, заблудился в степи.

Как я ни напрягала зрение, я не могла понять, что такое стоит у дороги. Больше всего это было похоже на мальчика в коричневом кафтане, но голова была мала и какой-то странной формы.

Вдруг бока мальчика распахнулись, точно он взмахнул полами огромного коричневого плаща. Махая этим плащом, мальчик медленно поднялся на воздух.

— Орел! Орел! — закричали мы все.

Тяжело махая своими огромными крыльями, орел поднялся над степью, а мы все, подняв головы, следили за тем, как он, выделяясь темным пятном на свинцовом небе, улетал все выше, пока не скрылся из вида.

Кучер наш опять стал посматривать по сторонам, как будто сомневаясь в правильном направлении. На небе начал погромыхивать отдаленный еще, но тем не менее зловещий гром. Небо стало темное, как свинец. Воздух сде-

лался знойным и душным. Вдруг от края до края разодралось небо огненным зигзагом молнии.

Мы все замерли.

Несколько секунд напряженной тишины, и вдруг — тррраах!.. Над самыми нашими головами точно разодралось что-то.

Мы мчались куда-то во весь дух, не зная, приближаемся ли мы или отдаляемся от дома.

Через две-три минуты опять молния разрывает все небо, и за ней опять сильный удар грома. Но теперь он уже более раскатист... Падает несколько тяжелых капель на пыльную дорогу, потом эти капли учащаются, и с неба начинает лить так, как будто на нас опрокинут ушат с водой.

Кучер решается пустить лошадей, не управляя ими, надеясь на то, что они сами привезут нас домой. Он не ошибся. Несколько раз они повернули на боковые дороги, и наконец мы вдали увидали знакомую Шишку.

Как мы ей обрадовались!

Кучер недаром понадеялся на лошадей. Их верный инстинкт не обманул их. Теперь скоро мы будем дома.

Дождь, как начался неожиданно, так же неожиданно и перестал.

Промокшие до костей, голодные, но веселые, мы все бежим по своим комнатам, чтобы поскорее переодеться к обеду. Мама́ на ходу расстегивает платье, чтобы поскорее накормить Петю, который давно уже кричит от голода.

А меня ждет мой Мотька. Как только я вхожу в дом, так он радостно бросается ко мне навстречу, стуча по полу своими копытцами. Он тоже голодный. И я наливаю в блюдце молоко и крошу в него хлеба. Мотька, не дожидаясь конца приготовлений, жадно приникает к тазику, все время помахивая своим коротеньким хвостиком. Удовлетворив Мотьку, я снимаю липнувшие к моему телу мокрые, отяжелевшие башмаки, платье, белье и иду обедать.

ГЛАВА XIX

Кто-то рассказал отцу о том, что под Бузулуком в пещере живет старец-отшельник и что к нему ходит народ и считает его святым.

Отца всегда интересовали люди, живущие религиозными интересами. И так как у него, кроме желания видеть

старца, были еще дела в Бузулуке, он решил туда съездить.

— Папа́, возьми меня с собой,— попросила я.

— Куда тебе? До Бузулука семьдесят верст. Ты устанешь.

— Нет, пожалуйста! Я наверное не устану! Ведь из Самары сюда двести верст, а я совсем не устала...

— Да, но мы по дороге ночевали. Да, впрочем, если мама́ позволит — поедем...

К моей большой радости, мама́ позволила. Не помню, кто еще ездил с нами. Помню, что Илью не взяли, потому что у него болели глаза. И помню, что он очень ревел изза этого. Ханны тоже с нами не было.

Отшельник жил в пещере совсем один и питался тем, что приносили ему местные жители. Время он проводил в молитве и в беседе с приходящими к нему посетителями.

Помню о жутком и благоговейном чувстве, которое я испытала, входя в темную, низкую, сырую пещеру. Старец дал нам по маленькой восковой свече, которой мы освещали себе путь. Он показал нам вырытые им и его предшественниками кельи под землей и показал нам могилы тех, кто здесь умер. О каждом он своим тихим, мягким голосом говорил что-нибудь хорошее, каждого помянул добрым словом. Сам он уже двадцать пять лет жил в этой пещере.

Мимо одной могилы старик прошел молча.

— А здесь кто похоронен? — спросил папа́.

— Это приготовлено место успокоения для следующего, — тихо и спокойно сказал отшельник и с опущенной головой прошел дальше.

Когда мы с папа́ вышли из темной, пахнущей землей, пещеры на солнечный свет, он в первую минуту ослепил меня. Старец вышел нас проводить. Простившись с ним, мы пошли на постоялый двор, где стояли наши лошади.

Мы долго шли молча, потом папа́ спросил меня:

— Ты заметила, как он сказал о «следующем»? Ты поняла, о ком он говорил?

— О себе?

— Да,— ответил папа́.— С каким тактом он это сказал! — И я видела, что папа́ понравился этот ответ.

Окончив свои дела в Бузулуке, папа́ велел запрягать, и мы тронулись в обратный путь.

Хоть я и обещала папа́ не уставать, но на обратном пути меня клонило ко сну, и я была радехонька вернуться домой и отдохнуть.

ГЛАВА XX

Перед своим отъездом в Ясную Поляну папа́ решил позабавить башкирцев и вместе с тем испытать резвость степной лошади. Для этого он задумал устроить скачки [20].

Был назначен день, и было оповещено по всем окрестностям, чтобы все, желающие принять участие в скачках, к известному сроку собирались бы к нам на хутор.

Башкирцам эта затея очень понравилась, и они стали приучать своих лошадей и ребят к скачкам.

Постоянно можно было видеть мальчика лет десяти — одиннадцати, лихо скачущего верхом по степи.

Папа́ приготовил призы для выигравших: первый приз было заграничное ружье; второй — глухие серебряные часы. Следующие призы были: шелковые халаты, такие, какие носят башкирцы, шелковые платки и т. д.

За несколько дней до скачек собрался вокруг нашего дома целый табор башкирских кибиток. Резали и варили баранов, доили кобыл, болтали кумыс. Папа́ отдал на зарез двухлетнюю английскую лошадь, сломавшую себе ногу. Ее ошкурили и положили в котел варить.

Башкирцы собирались в степи и, сидя хороводом на коврах под открытым небом, пили кумыс, играли в шашки, пели, плясали...

Веселый Михаил Иванович приехал со своими тремя женами и многочисленными кобылами. Жены ссорились, и нам с мама́ часто приходилось слышать от них горькие жалобы друг на друга.

Михаил Иванович не унывал. Он играл с папа́ в шашки и в затруднительных случаях тыкал себя пальцем в лоб и повторял свою любимую поговорку:

— Ба-а-альшой думить надо...

Но как он ни думал, чаще выигрывал папа́, а не он.

Странно звучала для нашего европейского уха восточная музыка. Мелодии всегда бывали заунывные, в минорном тоне, с более тонкими интервалами, чем гамма, к которой мы привыкли. Под эту заунывную музыку, исполненную на дудках, на зурнах и на других странных инструментах, башкирцы медленно, плавно плясали...

Некоторые башкирцы играли на горле. Это очень странный и редкий способ производить музыкальные звуки, и мастера этой музыки ценятся у башкирцев очень высоко, так как они очень редки.

На скачки приехал один такой музыкант. Когда он играл, все затихали, слушая его. Башкирец сидит, скрестив ноги, на ковре, лицо у него напряженное, на лбу выступила жила от усилия, и пот каплями течет у него со лба на нос. Все лицо его совершенно неподвижно, губы не шевелятся, и только далеко в горле точно органчик играет. Звуки — чистые, прозрачные и очень мелодичные.

Но вот он кончает. При последнем звуке у него вырывается из груди не то вздох, не то стон. Все молчат под впечатлением слышанной музыки.

— А ну-ка,— говорит папá,— вынь и покажи нам органчик, который у тебя спрятан в горле.

Башкирец устало улыбается и качает головой. Ему подают деревянную чашу, полную пенистого кумыса. Он жадно пьет, потом скрещивает на коленях руки и отдыхает.

Круговая чаша с кумысом все время передается от одного башкирца к другому.

Посреди хоровода борются два башкирца. Способ борьбы их следующий: двое садятся один против другого и упираются подошвами друг в друга. Потом они берут в руки прочную палку и тянутся за нее — кто кого перетянет. В этой борьбе нужно столько же сноровки, сколько и силы. Надо поставить ноги так, чтобы они были немного согнуты в коленках, и при борьбе надо не только тянуть руками, но и стараться распрямить колени. Как только ноги вытянуты, так противник становится стоймя перед победителем.

Папá принимал тоже участие в борьбе, и, к моему большому торжеству, не оказалось ни одного башкирца, который перетянул бы его. Как только он возьмется за палку, так сразу поднимает на ноги сидевшего против него башкирца.

Но вот выходит на круг огромный, толстый русский старшина и предлагает папá потянуться с ним. Папá соглашается. Старшина, покряхтывая, опускается на землю против папá. Потом оба прилаживают свои ноги так, чтобы подошвы одного пришлись бы к подошвам другого. Потом берутся обеими руками за палку и начинают тянуться.

У папа́ краснеет затылок, руки напрягаются до последней степени и дрожат от усилия, но старшина не поддается. Только было папа́ его немного приподнимет, как его огромная фигура перетягивает его и он грузно шлепается на землю, а папа́, в свою очередь, приподнимается.

— Ну, ну, ну,— шепчу я и сама вся напрягаюсь, как будто это может помочь папа́,— ну, еще немножко...

Наконец старшина делает последнее усилие, тянет изо всех сил руками и одновременно расправляет колени. Папа́ встает перед ним на ноги и признает себя побежденным. Он улыбается, но я вижу, он недоволен. А я и Сережа с Илюшей возненавидели старшину всем сердцем. Мы переговариваемся и приходим к заключению, что это только восьмипудовый вес старшины дал ему возможность победить нашего непобедимого отца.

Я засиживаюсь в башкирском хороводе, глядя на их пляску и слушая их музыку. Но когда появляется сосуд с вареной бараниной, я незаметно исчезаю, боясь бараньей жирной губки, которая должна пройтись по моему лицу, если я откажусь от предлагаемого куска.

Я видела раз, как веселый Михаил Иванович вытирал куском баранины одному молодому башкирцу лицо, к его большому конфузу и к общему веселью присутствующих. Мне не хотелось повторения на мне этой шутки...

ГЛАВА XXI

На скачки было приведено более двадцати лошадей.

В степи выбрали непаханое ровное место и плугом пропахали борозду в пять верст в окружности. Лошади должны были пять раз проскакать это пространство, то есть одолеть двадцать пять верст без передышки.

В назначенный день вся степь покрылась народом. Собралось несколько тысяч башкирцев, киргизов, уральских казаков, татар, русских...

Мама́ пожалела башкирских женщин, обреченных на вечное заключение и никогда ничего не видавших, кроме своей кибитки и своих кобыл. Она велела запрячь нашу огромную карету и пригласила нескольких знакомых нам башкирок поместиться в ней. Карета оказалась битком набитой. Одних жен Михаила Ивановича было три, из которых одна была претолстая. Наших башкирок было две, да еще влезло несколько женщин из приезжих. Кутаясь

в свои бархатные кафтаны, скрывавшие их от мужских глаз, башкирки жадно следили за всем тем, что происходило перед их глазами.

Мама́, мальчики и я приехали в плетушке. А на скачки мы смотрели, стоя на крыше кареты. Вокруг расположилась огромная толпа в пестрых шелковых халатах, в черкесках и других национальных одеждах.

Когда все лошади собрались, папа́ подал знак, что скачки начинаются. Все замерли, ожидая отъезда лошадей.

Чтобы одновременно пустить двадцать лошадей, надо было выстроить их в ряд. Это сразу не удавалось. Полудикие степные лошади жались друг к другу, задирали кверху головы, выскакивали вперед, пятились... Сидящие на них мальчишки всячески старались их обуздать...

Наконец папа́ махнул платком и закричал:

— Пошел!

Лошади рванулись и во весь опор помчались по степи.

Мальчики сидели на лошадях без седел. На голове каждого был повязан платок яркого цвета, синего, красного, желтого, пестрого, для того, чтобы можно было отличить одного от другого. Все они сразу загикали, завизжали, закричали, и чем дальше они скакали, тем они азартнее гикали. Когда они проскакивали круг и приближались к тому месту, откуда они начали скачку, приближался с ними и их крик и визг. Толпа заражалась волнением детей и начинала тоже гудеть каждый раз, как мимо нее проскакивали бешеные лошади.

После первых же кругов начали отставать одна лошадь за другой и шагом выезжать из круга.

Из всех скакавших лошадей пришло к финишу меньше половины. Пришедшие лошади проскакали двадцать пять верст в тридцать девять минут.

Возбужденные, радостные мальчики получили призы и тут же передали их своим отцам.

Между скакавшими лошадьми была и одна наша лошадь. Она пришла пятой.

На следующий день начался разъезд. Все благодарили папа́ за доставленное удовольствие. И долго после по всей окрестности поминали веселые скачки на графском хуторе.

За все время гулянья во время скачек не только не было видно, но и речи не было о каких-либо охранителях

порядка. Все прошло чинно, степенно, порядочно и вместе с тем весело. Не произошло ни одного недоразумения, ни одного столкновения... Разве только жены Михаила Ивановича повздорят между собой. Но это начиналось и кончалось в тайне кибитки, на женской половине, за занавеской, и не нарушало общей стройности пира.

ГЛАВА XXII

Большие начали поговаривать об отъезде в Ясную Поляну. У меня на душе встала забота: Мотька.

«Как сделать, чтобы папá и мамá позволили мне взять его с собой? — думала я. — Довезти его до Самары я берусь. Он будет смирно лежать у меня на коленях. Ну, а потом? Как везти его на пароходе? А потом по железной дороге?» И я с грустью говорила себе: «Наверное, не позволят. Если оставить его здесь,— продолжала я свои размышления,— кто будет о нем заботиться и ухаживать за ним, как я ухаживала? И уж, конечно, никто не будет любить его так, как я его люблю». Я не смела даже мысленно представить себе судьбу Мотьки такой же, как судьба тех баранов, которых так много поглощали в степи... Зарезать и съесть Мотьку — да разве это возможно?

Я целовала его розовую мордочку, пахнувшую молоком, и сквозь слезы говорила ему: «Бедный мой Мотька! Как мне быть с тобой?» И слезы капали на его безучастную белую мордочку.

С замиранием сердца и с очень слабой надеждой на успех я попросила своих родителей позволения взять с собой своего любимца. Я удивилась тому, как мало значения они придали моей просьбе. Я несколько дней готовилась к тому, чтобы обратиться к ним за этим разрешением, а они так равнодушно и беспрекословно произнесли свое запрещение.

— Какой вздор,— сказала мамá,— еще баранов отсюда увозить. В Ясной достаточно своих...

Делать было нечего. Тогда я обратилась к кухарке, остававшейся на хуторе.

— Авдотья,— сказала я.— Я подарю тебе Мотьку. Только ты, пожалуйста, ухаживай за ним. И... — я не знала, как выразить свое опасение, — смотри, чтобы никто не сделал ему никакого зла...

Кухарка дала мне слово. Но в ее голосе я не почувствовала достаточной убедительности. И я очень боялась того, что, как только я уеду, она нарушит данное мне слово.

Было и другое горе, еще более тяжелое. Отъезд Ханны.

Это было бы совершенно невозможно пережить, если бы не было надежды на ее возвращение к нам следующим летом вместе с тетей Таней и моими двоюродными сестрами...

Ханне кумыс был очень полезен: она пополнела и перестала кашлять. Она ехала на Кавказ с новыми силами и с намерением помочь тете Тане перенести только недавно испытанное ею тяжелое горе.

Мы простились с ней до следующей весны, до ее предполагаемого приезда в Ясную Поляну с Кузминскими.

Я горько плакала, расставаясь с моей милой воспитательницей. И много ночей я не могла спать от слез и от сознания своего одиночества. Комната моя, где мы спали вместе с Ханной, показалась мне такой пустой, такой мрачной...

«Но она вернется, мы с ней опять увидимся», — шептала я себе в утешение.

ГЛАВА XXIII

Было начало августа. Опять по всем комнатам дома были расставлены сундуки, чемоданы, корзины, и мама́ бегала из одной комнаты в другую, укладывая вещи детей, папа́ и свои.

До Самары мы проехали так же, как и из Самары, в нашем огромном дормезе и в плетушках. Путь этот показался мне в этот раз короче и легче, чем в мае, когда мы ехали на хутор. Но зато путешествие по Волге было менее приятно, чем тогда.

Река за лето обмелела, и нашему пароходу приходилось двигаться с большой осторожностью, чтобы не сесть на мель.

Лоцман поминутно измерял глубину реки и выкрикивал количество саженей от поверхности до дна.

— Пять с половина-а-а-а-й! — слышался его протяжный выкрик. — Четыре с половина-а-а-й!

По ночам мы стояли на месте, так как, на нашу беду, во все время нашего путешествия стоял такой туман, что страшно было плыть вперед. Капитан боялся столкнуться с каким-нибудь встречным судном.

Вместо двух суток, как это полагалось в обыкновенное время, мы проехали от Самары до Нижнего Новгорода четыре.

Всего же наше путешествие продолжалось восемь суток. Наконец мы добрались до Ясной Поляны. Как все были рады!

Мама́ пишет тете Тане 25 августа 1873 года:

«Приехали мы домой ровно в мое рождение — 22-го вечером... Я тебе не описываю нашей жизни в Самаре. Ханна все передаст живее и лучше. Как ты ее находишь? Она пила кумыс до последней минуты, и все ее мысли были, что она будет довольно сильна, чтобы помогать во всем тебе: облегчать твою жизнь, и труды, и горе. Она очень к вам привязалась и часто плакала о Даше и не может помириться с мыслью, что ее нет. Это-то в ней и хорошо, что сердце у нее есть, и теперь мысль о тебе и о том, как бы облегчить твою жизнь, ее не оставляла...» [21]

В тот же день папа́ пишет Фету:

«Несмотря на засуху, убытки, неудобства, мы все, даже жена, довольны поездкой, и еще больше довольны старой рамкой жизни...» [22]

ГЛАВА XXIV

Расставаясь с Ханной в самарских степях, я не подозревала того, что вижу ее в последний раз в жизни...

Вернувшись на Кавказ в семью Кузминских, она принялась за воспитание моих двоюродных сестер — Маши и Веры. Хотя она и говорила, что самое ее любимое пропало со смертью Даши, она тем не менее очень скоро привязалась к двум отданным на ее попечение девочкам.

Она часто писала нам. Мы никакой перемены в тоне ее писем не замечали. Но вот весной 1874 года мы получили от Ханниной сестры Дженни письмо о том, что Ханна выходит замуж за грузинского князя Мачутадзе.

Нас всех это известие поразило. Как? Ханна выходит замуж! Мы никогда такой возможности не могли предвидеть. И мы не знали, радоваться ли нам за Ханну или огорчаться за себя.

Полетели письма на Кавказ и с Кавказа. Ханна писала нам, как случилась ее помолвка, и звала нас в гости к себе в Кутаис.

Мы, разумеется, обещали ей навещать ее и звали ее и ее мужа в Ясную Поляну.

Как мы потом узнали, замужняя жизнь Ханны в первое время была далеко не счастлива. Родители ее мужа были очень недовольны женитьбой их сына на бедной иностранке. Но молодой князь не послушался своих родителей и против их воли женился на ней.

Так как старые князь и княгиня перестали давать своему сыну средства на жизнь, то молодые жили отдельно и в первое время очень бедствовали. Ханна огорчалась тому, что разлучила сына с его родителями.

Примирило их рождение первого ребенка. Когда старики узнали, что у них родился внук, и когда убедились в том, что Ханна была хорошей, любящей и скромной женщиной, они призвали молодых к себе, помирились с ними и пригласили жить вместе с ними.

Старики Мачутадзе жили недалеко от Кутаиса и занимались тем, что делали для продажи овечий сыр. Поселившись с ними, Ханна приняла деятельное участие в их производстве, и оно в ее руках пошло так удачно, что скоро старики передали ей все дело.

Там, в этом имении, близ Кутаиса, Ханна провела весь остаток своей жизни.

В первое время после ее отъезда мы часто с ней переписывались. Она прислала нам карточку своей дочки, очень похожей на нее. Потом наши письма стали реже, но никогда мы вполне не прекращали с ней переписки.

Ханна писала, что она надеется когда-нибудь опять увидать «dear old Jasnaya» — «милую старую Ясную» и привезти к нам свою девочку.

Ничего из этого не сбылось. Никто из нашей семьи, кроме Сережи, никогда больше ее не видал. Сережа один имел эту радость... Уже почти старым человеком он был по делу на Кавказе и заехал навестить нашу старую воспитательницу.

Я завидовала ему и не теряла надежды на то, что и мне когда-нибудь удастся с ней свидеться.

Потом пришло известие, что она серьезно больна. А скоро после этого мы узнали, что Ханны нашей уже нет больше в живых.

Она умерла не старухой. Ей, вероятно, было немного за пятьдесят лет.

ГЛАВА XXV

Вернувшись из Самары, мы засели за осенние занятия. Начался наш учебный год.

Я опять очутилась одна. Но в этот год я не испытывала такой тоски, как в предыдущие годы. Может быть, это произошло потому, что я стала находить интерес в занятиях, а может быть, и потому, что я вспоминала бузулукского отшельника и пример его был для меня наукой, но, как бы то ни было, я чувствовала себя бодрее, чем год тому назад.

Я начала рисовать. Толчком к этому послужил приезд художника Крамского, которому был заказан портрет папá Третьяковым, владельцем картинной галереи в Москве[23]. Мне бывало очень интересно следить за его работой, но так как я была очень застенчива, мне было мучительно входить в комнату и, приседая, с ним здороваться. Я с огромным любопытством следила за его работой. Я никогда прежде не видала работы масляными красками, и меня занимало, как Крамской на палитре мешал краски и потом клал кистью мазки на холст и как вдруг на холсте появлялось лицо, как живое. Вот и глаза папá — серые, серьезные и внимательные, как настоящие его глаза. Какое чудо!

Крамской поселился в пяти верстах от Ясной Поляны с двумя своими товарищами — художниками Савицким и Шишкиным и ежедневно оттуда приезжал к нам на сеанс. Он писал одновременно два портрета с папá, так как мамá просила сделать один и для нее.

Оба портрета вышли очень хороши. Крамской дал мамá выбрать тот, который ей больше понравится. Этот портрет находится и сейчас в Ясной Поляне, а другой висит в Третьяковской галерее.

После пребывания у нас Крамского я стала более старательно рисовать. Я раз скопировала картинку, изображавшую мальчика, сидящего на бревне. Мне самой

понравился мой рисунок, и я показала его родителям. Они похвалили его.

— Тебе надо учиться рисовать,— сказал папа́.

По моему покрасневшему от удовольствия лицу он понял, что мне его предложение понравилось.

Папа́ съездил в Тулу и сговорился с учителем рисования реального училища, чтобы он два раза в неделю приезжал в Ясную Поляну и давал мне уроки. У мальчиков было слишком много уроков, чтобы принять участие еще в моих уроках рисования.

Я с большой охотой начала учиться. Мой преподаватель, маленький горбун Симоненко, любил свой предмет и с охотой его преподавал. Мы рисовали с оригиналов разные головки и букеты цветов. Симоненко привез мне показать свои рисунки. Я пришла в восхищение от чистоты и точности их и думала, что я никогда не достигну такого совершенства. Но, кроме этих двух качеств, Симоненко ничему меня не научил, и я не получила от него настоящего руководства к тому, что́ такое искусство.

После Симоненки стал ездить ко мне другой учитель, Баранов, и мы с ним начали писать масляными красками с натуры. Но и он учил меня только технической стороне живописи.

Когда мы переехали в Москву и отец свез меня — уже восемнадцатилетней девушкой — к директору Училища живописи и ваяния В. Г. Перову, он, проэкзаменовав меня, сказал отцу:

— Если она сумеет забыть все то, чему ее учили, то из нее может выйти толк, так как способности у нее большие.

Бедный Симоненко! Бедный Баранов!

Но забыть первые приемы, преподанные в детстве, очень трудно. И, сколько я ни старалась, так и не могла отделаться от манеры моих первых учителей.

Главный их недостаток состоял в том, что они позволяли мне заниматься мелочами и подробностями, не обращая внимания на правильность общего. Я вырисовывала каждый волосок на бороде натурщика, тогда как глаза его не были на месте и нос заезжал на щеку.

Много пришлось мне впоследствии поработать над тем, чтобы, начиная работу, набросать общее, не занимаясь подробностями.

Увы! Мне никогда это вполне не удалось!

ГЛАВА XXVI

До 1873 года не было ни одной смерти в нашей семье. Начиная с осени этого года и в продолжение следующего смерть начала посещать нас раз за разом.

Осенью 1873 года умер мой маленький брат Петя[24]. Петя был красивый, толстенький мальчик, с огромными черными глазами, круглыми румяными щечками, очень веселый и ласковый.

За несколько дней до его болезни я нашла Петю внизу в проходной с каменным полом около щенка, которого выхаживали от какой-то болезни. Щенку на блюдечке приготовлено было молоко с белым хлебом. Щенок не хотел есть, а Петя непременно хотел заставить его проглотить кусочки вымоченного в молоке хлеба. Он брал их из чашки и совал щенку в мордочку. А когда тот отказывался от них, Петя клал их себе в рот.

Когда я это увидала, то я запретила Пете есть из щенячьей чашки.

Петя жалел щенка и передразнивал, как он кашляет:

— Ама! Кхе! Кхе!

Через несколько дней Петя заболел и слег.

Мама́ пишет тете Тане:

«Что это было — бог знает. Больше всего похоже на круп. Началось хрипотой, которая усиливалась все более и более, и через двое суток и унесло его. Последний час хрипота уменьшилась и, наконец, лежа в постельке, не просыпаясь, не метаясь даже, тихо, как будто заснул, умер этот веселый толстенький мальчик и остался такой же полный, кругленький и улыбающийся, каким был при жизни. Страдал он, кажется, мало, спал очень много во время болезни, и не было ничего страшного — ни судорог, ни мучений. И за то слава богу... Прошло уже десять дней, а я хожу все как потерянная, все жду услыхать, как бегут быстрые ножки и как кличет его голосок меня еще издалека. Ни один ребенок не был ко мне так привязан и ни один не сиял таким весельем и такой добротой. Во все грустные часы, во все минуты отдыха после ученья детей, я брала его к себе и забавлялась им, как никем из других детей не забавлялась прежде...»[25]

Папа́ пишет Фету:

«У нас горе: Петя, меньшой, заболел крупом и в два дня умер 9-го. Это первая смерть за одиннадцать лет в нашей семье, и для жены очень тяжелая. Утешаться

можно, что если бы выбирать одного из нас восьмерых, эта смерть легче всех и для всех; но сердце, и особенно материнское — это удивительное высшее проявление божества на земле — не рассуждает, и жена очень горюет...» [26]

В то же время папá писал тете Тане:

«...Один Петя, крикливый ребенок... и тот, кроме грусти, что нет именно его, оставил такую пустоту в доме, которой я не ожидал...» [27]

Через два дня после его смерти хоронили нашего маленького Петю.

Был солнечный морозный день. В зале на столе стоял маленький гроб, обитый серебристой тканью, блестевшей на солнце.

Я в первый раз в жизни видела мертвеца. И в моей памяти ярко отпечатались все подробности маленькой фигурки моего братца.

Как сейчас, вижу сложенные ручки, точно восковые, с потемневшими ногтями. Помню выпуклые закрытые глаза с темными ресницами, золотистые волосы на висках и на лбу и вытянутое неподвижное тельце в белом платьице.

Вокруг меня осторожная суета: люди ходят, о чем-то вполголоса совещаются, перешептываются, что-то приносят... А я все стою перед тем, что было два дня тому назад веселым, шумным ребенком, и не могу оторваться от него...

Вдруг я слышу, что внизу в передней отворяются двери, кто-то входит, что-то вносят, и слышу несколько голосов, говорящих зараз.

Я выхожу из залы, начинаю спускаться с лестницы и вижу в передней — гостей! Как странно, что в такую минуту приезжают гости! Они раздеваются, слуги вешают их шубы на вешалки, вносят их чемоданы. Потом я вижу, как мамá выходит к ним, бросается их целовать, что-то рассказывает и плачет...

Это мой крестный отец Дмитрий Алексеевич Дьяков с дочерью Машей и ее воспитательницей Софешей, заехавшие к нам по дороге в Москву и ничего не знавшие о нашем горе.

Мамá идет с ними наверх и возбужденно рассказывает им о том, чтó случилось. Глаза у нее воспалены и заплаканы, щеки горят. Я вижу, что ей наши старые друзья не в тягость, а в утешение. Они так хорошо слушают ее, так искренно сочувствуют нам, что и я не боюсь им радоваться и по очереди бросаюсь к каждому из них на шею.

Мне хочется плакать, но я удерживаюсь, и мой крестный отец в этот раз не шутит со мной, как обыкновенно, а ласково треплет меня по щеке.

Не помню, как закрывали гроб и как хоронили Петю. Знаю, что я в церковь не ездила, а ездили мои родители и с ними мой крестный отец.

Мама́ пишет тете Тане:

«В самый день похорон, еще до выноса тела Петюшки, приехали Дьяковы из Черемошни, ничего не зная и совершенно неожиданно. И такими милыми, искренними друзьями они показали себя. Дмитрий Алексеевич вместе с нами поехал в церковь хоронить Петю...» [28]

ГЛАВА XXVII

Тяжело переживала я свои отроческие годы. Много нелепого и мучительного вставало в неустановившемся сознании. После полусознательного детства, когда никакие вопросы не встают в воображении, передо мною вдруг раскрылась необъятная область мысли, до тех пор от меня скрытая. Поднялись вопросы, никогда не приходившие в голову ребенку, каким я была до сих пор. Вопрос жизни и смерти; отношение к религии, к родине, к родителям, к братьям и сестре, к друзьям, к прислуге; вопрос денег, искусства, отношения полов — во всем этом приходилось разобраться. И разобраться самой, одной. Чужой опыт был мне не нужен.

В ранней молодости чувствуешь себя всесильной и в своей гордой самонадеянности не хочешь ничьих советов и указаний, хочешь все решить самостоятельно. Не хочется верить в то, что человеческий разум ограничен, а в конце концов упираешься в непроходимую стену и приходишь в отчаяние, ищешь, не веря в то, чтобы не было ответов на поставленные вопросы... А когда убеждаешься в этом, теряешь всякую охоту продолжать эту нелепую жизнь, смысла которой не видишь. Приходит мысль о самоубийстве, и если не приводишь эту мысль в исполнение, то только из трусости или из смутной надежды, что какое-нибудь разрешение существует и, может быть, мне посчастливится его найти...*

* Статистика говорит, что большое количество бегств из дома, самоубийств и даже убийств падает на юношество в возрасте от тринадцати до шестнадцати лет.

Иногда набегала на меня какая-то неопределенная тревога... Хотелось новых ощущений... Грезилась мужская любовь... И я не совсем понимала, отталкивала ли она меня или привлекала... Вставало нечистое любопытство. Я стыдилась делать кому-либо какие-нибудь вопросы и ждала, что случай мне ответит на мои смутные догадки...

Ребенок во мне умирал. Зрел человек. И, как всякое переходное состояние, — переход этот был мучителен...

Вспоминая это смутное время своего отрочества, я теперь всегда отношусь особенно бережно и нежно к юношам и девушкам этого возраста. Я знаю, как искренне и честно они ищут ответов на все предъявляемые им жизненные вопросы и насколько серьезнее, чем взрослые люди, смотрят они на предстоящую им жизнь — такую сложную, такую полную неразрешимых загадок и всяких соблазнов... Я знаю, как трудно в этом возрасте быть откровенным, и я с уважением отношусь к их замкнутости. Я только стараюсь лаской выразить им свое сочувствие... И я знаю еще, что, если можно помочь им и передать хоть частицу своего опыта, то только при огромной осторожности и бесконечной любви. «Ребенок знает свою душу, он любит ее и бережет ее, как веко бережет глаз. И без ключа любви никого в нее не пускает...» [29]

ИЗ ДНЕВНИКА

1880

11 февраля. Ясная Поляна.

Прошлую неделю очень мало училась, все читала «Войну и мир», нынче только кончила.

7 марта. Пятница.

Вчера получили от Нади письмо. Вечером села ей отвечать. Спросила, уехала ли «она», то есть «первая» (так Наденька с Россой называют Левицкого — офицера, который за Россой ухаживает) [1] в Москву. Пока писала, папá пришел, посмотрел, что я пишу. Я покраснела. Папá, я видела, очень не понравилось, но он только сказал: «Что тебе за дело до всех этих Левицких?»

Нынче утром пришел и говорит мне: «Я, — говорит, — об тебе вчера думал, мне больно и как-то оскорбительно, что ты с Надей офицеров пишешь» [2]. Я знаю, чего бы он желал, — он хотел бы, чтобы я была княжной Марьей [3], чтобы я не думала совсем об веселье, об Дельвигах, об К. К. и, если бы это было возможно, чтобы я не ездила больше в Тулу, но теперь поздно, зачем меня в первый раз возили туда? Но я сама теперь не хочу думать обо всех тульских, я очень рада, что не видала К. К. Я теперь больше не влюблена.

1882

29 мая. Ясная Поляна.

Сегодня приходила погоревшая женщина с шестью мальчиками, из которых старшему тринадцать лет. У нее мужа нет, в солдатах убит, земли нет и последняя изба

сгорела. Такую несчастную я редко видела. Мы детей накормили белым хлебом, молоком и надавали пропасть платья и денег немного. Мне хотелось отдать ей свое «жалованье» за 1 июня, но потом и жалко стало, и такое восхищение самой собой я почувствовала, когда решилась на такую щедрость, что гадко и противно на себя стало. Но зато потом, когда она ушла, мне стало стыдно, что я не отдала, а оставила себе на бантики то, что для нее ведь очень было бы много.

Пожалуй, что правду говорят папá и князь [1], что надо делать так, как хочется, чтобы тогда, когда сделаешь дурно, чувствовать это. А если всегда делать хорошо, то делаешься собой довольна, и это очень противно.

Ах, как это все у меня неясно! Если кто-нибудь когда-нибудь прочтет мой дневник, то не осуждайте меня, что я пишу такой вздор и так несвязно. Я пишу все то, что мне только в голову приходит, и искренне надеюсь, что никто никогда его не прочтет. Было бы гораздо приятнее писать его для себя одной, чем для кого-нибудь. Странно, что всегда подделываешься под тон всякого человека, когда с ним разговариваешь, иногда и других бранишь из угоды к нему. Как это гадко! Надо записать в мою книгу правил...

Папá вчера ночью приехал и привез чудесный план, как пристроить арнаутовский дом [2]. Мне главное, чтобы зала была большая, чтоб танцевать, и чтобы комнаты папá с мамá были бы по их вкусу, а то будут ворчать.

Нынче вечером папá говорил о том, за какого рода человека он бы хотел меня отдать замуж. Говорит, непременно за человека выдающегося чем-нибудь, только не светского. «Как,— говорит,— если мазурку хорошо танцует, значит, никуда не годится». По-моему, тоже. Неужели и нас так судят? А я-то так старалась выучиться лучше всех мазурку плясать, и когда Миша Сухотин говорил мне, что ему совестно со мной танцевать, потому что я так хорошо танцую, а он так гадко, — как я была горда!

Папá мне нынче объяснял, почему я нравлюсь, — это моя деревенская дикость, детская неуклюжесть, наивность, которая нравится, а мамá говорит, что «блажен, кто смолоду был молод, кто вовремя созрел» [3]. Как же мне теперь созревать? Вот вопрос. И папá говорит, что к двадцати пяти годам эта дикость будет смешна. Авось это само сделается, что я вовремя созрею. Папá говорит,

что он уверен, что через год мне свет надоест, потому что мне нечего добиваться,— меня сразу приняли в круг, куда мы с мама́ стремились, баловали ужасно, ухаживали в меру, и ничего больше от света желать нельзя. Но я думаю, что он никогда не надоест, если в меру терять время на выезды.

И я тоже уверена, что, останься мы здесь, я тоже не скучала бы. Моя живопись, спасительная моя, меня всегда может всю поглотить. Конечно, и для этого в Москве лучше: в мою милую Школу ездишь как-то точно по обязанности, а дома хочу рисую, хочу нет, и заставить себя сесть за работу труднее. Зато уж когда замалюю, то все забываю. Что бы я без живописи делала? О чем бы я думала?

5 июня. Суббота.

На днях опять решили не ехать в Москву [4]. Так как маленьким очевидный вред, а Илье очень сомнительную пользу приносит жизнь в Москве, то мама́ и говорит, что все выгоды и приятные стороны московской жизни не перевешивают неприятных сторон. Итак, мне предоставили решить вопрос, так как папа́ говорит, что он поедет для того, чтобы сделать кому-нибудь удовольствие, а мама́ говорит, что она равнодушна. А я не возьму на себя перетащить всех для своего удовольствия. Каково же мне будет видеть, что папа́ скучает, Машу портят на разных детских вечерах, Леля в гимназии забывает и языки и музыку, малыши теряют свою свежесть — и все из-за меня?

Я так и сказала папа́, что мне моей Школы ужасно жалко, на что мне папа́ сказал, что он постарается заманить к нам какого-нибудь художника, и потом света, я думаю, что мне иногда будет жалко и ужасно будет хотеться наряжаться и плясать.

6 июня.

Нынче я не музыканила, потому что папа́ нездоров, и не писала, так, бог знает почему. Доктор сказал, что у Алеши совсем не воспаление легких, а просто лихорадка, так же, как и у папа́ и у мама́.

Я много нынче о мама́ думала, как ей трудно: за Алешей ходить и день и ночь, за папа́ тоже; Алеша выспаться не дает, да еще сама больна. Я воображаю, если бы я была на ее месте, я бы легла в постель и заперлась бы ото всех.

24 июня. Четверг.

Папá в Москве. Арнаутовку покупает. Он уже раз был, но Арнаутов вдруг запросил, и папá вернулся.

28 июня. Понедельник.

Папá приехал из Москвы,— там проболел, но дом арнаутовский купил и велел строить.

...Нынче вечером мамá с папá ходили вдвоем гулять, очень было трогательно; когда пришли, то я предложила папá протанцевать что-нибудь, Сережа сел за фортепиано, и мы с ним прошлись мазуркой.

12 июля. Понедельник.

Папá так расхулил портрет тети Тани [5], что у меня руки отнялись, и тетя Таня говорит, что ей и позировать охота отпала. А я сидеть и писать у нее ужасно люблю. Сидим мы, я пишу, и разговариваем о детях, об их воспитании, о женском вопросе, на котором теперь тетенька помешана, о живописи, о художниках...

Если я умру, то, во-первых, я у всех без исключения прошу простить меня, а особенно мамá, которой от меня горя было больше всех.

Я редко об этом думаю, но когда думаю, то мне делается совестно за то, что я жила и никому пользы от меня не было, приятного тоже мало, а неприятного много. Это не от воспитания — я такая вышла, другая бы больше исполняла то, что папá говорит, но мне все это так трудно, и хотя я всегда согласна с тем, что папá говорит, и иногда я даже все хочу исполнить и с восторгом думаю, как было бы хорошо, и вдруг какие-нибудь бантики и платья разрушают все.

Меня замечательно воспитали хорошо, то есть свободы давали как раз, сколько нужно, и укрощали тоже в меру. Теперь мне совсем предоставлено воспитываться самой, и я часто стараюсь себя сделать лучше, но у меня ужасно мало силы воли, и так часто я, помня, что это гадко, делаю разные ошибки. Больше всего меня мучает, что я на Дуняшу сержусь, но с некоторых пор это стало реже, а именно с тех пор, как я стала стараться представить себя на ее месте. Такая простая вещь мне никогда раньше в голову не приходила. Как это гадко и противно, что за мной, бог знает за что, за семнадцатилетней девчонкой,

должна ходить тридцатипятилетняя женщина и исполнять все мои капризы за то, что ей платят деньги, на которые тоже я никакого права не имею.

29 августа. Понедельник.

Теперь у меня спит big Маша * в комнате. На другой день после отъезда Маши Илюша стал сильно нездоров. Послали за доктором, и он сказал, что у него тиф. Его перевели наверх, в балконную комнату. У меня сделался флюс, и папá меня лечил — делал припарки из уксуса, соли, спирта и отрубей, которые мне очень помогли.

Раз я лежу у Илюши в комнате с ужасной болью; Илья тоже стонет от жара, как вдруг входит папá; спросил — как мы? — и говорит: «Даже смешно». И вдруг мы все трое стали так хохотать, что папá сел и чуть не повалился от хохота на пол, а я не помню, когда я так хохотала во всей своей жизни, и Илья тоже.

На днях папá с мамá ужасно поссорились из-за пустяков [6], и мамá стала упрекать папá, что он ей не помогает и т. д., и кончилось тем, что папá ночевал у себя в кабинете, будто бы для того, чтобы ему не мешала спать мамá, которая поминутно вставала к Илье. Но на другой день последовало примирение.

Леля говорит, что он нечаянно вошел в кабинет и видел, что оба плачут. Теперь они между собой так ласковы и нежны, как уже давно не были. Папá обещал больше входить во все семейные дела и выражать свою волю, чего мамá так и хочет.

31 августа. Среда.

Пила у тетеньки кофе и писала ее. Я начала сначала, и выходит почти что хорошо. Папá не нахвалится и все одобряет.

12 сентября. Воскресение. 5-й час.

Папá как-то мне давно сказал: «Когда ты ссоришься, то попробуй себя во всем обвинить и чувствовать себя кругом виноватой». И я это пробовала и чувствовала себя несравненно счастливее, чем если бы я была права.

Недавно папá вечером спорил с мамá и тетей Таней и очень хорошо говорил о том, как он находит хорошим жить, как богатство мешает быть хорошим,— уж мамá

---

* большая Маша (*англ.*).

нас гнала спать и мы с Маней и тетей Таней уж уходили, но он поймал нас, и мы простояли и говорили почти целый час. Он говорит, что главная часть нашей жизни проходит в том, чтобы стараться быть похожей на Фифи Долгорукую[7], и что мы жертвуем самыми хорошими чувствами для какого-нибудь платья. Я ему сказала, что я со всем этим согласна и что я умом все это понимаю, но что душа моя остается совсем равнодушной ко всему хорошему, а вместе с тем так и запрыгает, когда мне обещают новое платье или новую шляпу. Папá говорит: «Тогда носи платья, какие хочешь, башмаки от Шопенгауера (это он Шумахера[8] так называет), кокетничай с Колей Кислинским и т. д., но принцип, который ты поняла и имеешь в голове, все-таки сделает свое».

Мне многое еще оставалось его спросить, но от слез не могла говорить. И ведь ничего такого плачевного не было, правда? Разве только то, что я такая безнадежная дрянь, что всякое исправление для меня немыслимо.

13 сентября. Понедельник. Около 10-ти часов утра.

Папá правду говорит, что когда девушка видит молодого человека и наоборот, то всегда приходит в голову: «А может быть, это самая *она* или самый *он* и есть».

17 сентября. Около 10-ти часов вечера.

Только что пришла из людской, где справляют именины мамá. Им купили гармонию и угощения, и они там пляшут,— меня их пляс привел в восторг. Арина-скотница чудно пляшет,— пройдет этак плавно, потом остановится, плечами поведет и живо повернется, и опять пойдет плясать. Мне ужасно хотелось тоже пойти, но вышло бы неловко, и они бы это почувствовали. Как ни красивы вальс и мазурка, но это несравненно и лише, и красивее, и идет прямо от души, а главное, оригинальнее,— всякий в своей пляске высказывает свой характер. И хорошо то, что этому учить нельзя, у всякого своя особенная манера.

23 сентября. Четверг. 10 часов вечера.

Приехала с охоты. Мы ездили: папá, Леля и я — с борзыми, ездили далеко, за Ясенки, и затравили двух зайцев. Одного папá подóзрил, и мы все трое приехали и видели, как он лежал. Ужасно весело! Я ни одного не подняла. Двух протравили. Я была в таком восторге от того, что меня взяли, что не могла рот стянуть на место, все он

у меня до ушей расходился от удовольствия. Мы поехали в 12 часов и приехали в 8 вечера. Я совсем не чувствую себя разбитой.

Папа́ приехал в понедельник с Лелькой. Поливанов советовал его оставить в третьем классе, но папа́ предпочел его из гимназии взять и учить дома. Мама́ сначала была очень недовольна, но теперь, кажется, помирилась с этим. Мне было очень приятно папа́ увидать, и он такой милый и трогательный, покупает там в Москве стульчики и кареты. Я была ему рада тоже и потому, что он всегда мне напоминает, что́ хорошо и что́ дурно: то есть не то что напоминает, а при нем я ясно чувствую, о чем сто́ит думать и беспокоиться и о чем нет, что́ важно в жизни и что́ пустяки.

Не помню, чем этот разговор начался, но говорили что-то о смерти, и папа́ говорит, что мир — это как река: люди родятся, родят еще людей, умирают, и что это именно как течение реки, а что по течению идут узоры людей хороших или пустых, добрых, злых, всяких,— и вот наша задача тоже, чтобы оставить узор на этой реке такой, какого мы хотим.

Папа́, должно быть, едет назад в понедельник, а мы в следующий понедельник.

10 октября. Воскресение.

Вот уже три дня как мы в Москве. Последнее время в Ясной было почти что скучно, и хотя я хвалюсь, что мне никогда не бывает скучно, но без красок, без фортепьяно, без книг, с флюсом, делать было нечего, и я очень была противна и не в духе.

Мы приехали в Арнаутовку вечером, подъезд был освещен, зала тоже, обед был накрыт, и на столе фрукты в вазе: вообще первое впечатление было самое великолепное, везде светло, просторно, и во всем видно, что папа́ все обдумал и старался все устроить как можно лучше, чего он вполне достиг. Я была очень тронута его заботами о нас, и это тем более мило, что это на него не похоже. Наш дом чудесный, я не нахожу в нем никаких недостатков, на которые можно бы обратить внимание. А уж моя комната и сад — восхищение!

Я одному рада, это то, что я чувствую, что буду совершенно равнодушна к тому, если я буду хуже других одета, что лошади будут хуже, чем у других, и вообще мне ни за что внешнее не будет стыдно, как бывало в про-

шлом году. И не потому, что в нынешнем году будет лучше, а просто потому, что я почувствовала, что это не важно в жизни и что, как папá говорит, стыдно иметь, а не стыдно не иметь.

2 ноября. Вторник.

Опять я в этом гадком, злом и недовольном духе, который меня так часто мучает и так трудно его побороть. А нынче утром была в таком блаженном духе, в который меня привели рисунки, которые я нынче смотрела. Это рисунки Liezen Meuer's[9] к Фаусту Гёте. Я пришла в такой экстаз, что, ехавши домой, я не могла удержать улыбки удовольствия все время. Там были также рисунки героинь известнейших русских романов, но не так хорошо сделаны,— там была Лиза, Татьяна, Наташа, Вера из «Обрыва», Матрена из «Записок охотника» и Вера из «Героя нашего времени». Эти последние сделаны черным карандашом Андриолли, Фауст же нарисован углем, и как хорошо! Как смело, твердо и вместе с тем как мягко. Вот для чего я хотела бы иметь много денег— хоть бы не самые картины, а фотографии купить.

Наша Школа началась в прошлый понедельник. Мы не нашли места, и Александр Захарович сказал, что если мы найдем натуру, то можно посадить в проход. Тогда папá пошел и в кабаке нашел натурщика довольно интересного, которого-то мы теперь в «купе» и рисуем. Мы все стараемся устроить вечерние классы, но не удается. Суриков было обещал, да отказался, теперь мы хотим пригласить Прянишникова — вот хорошо было бы!

Сегодня мамá получила от Тургенева рассказ для дяди Пети, «Перепелка», которую дядя Петя издает вместе с рассказами папá[10].

17 декабря. Пятница. 2 часа дня.

Нынче мой этюд подвинулся, и Прянишников немножко поправил. Я что-то стала равнодушна к живописи, это меня огорчает — к чему же я не равнодушна более или менее?

29 декабря. Среда. 11 часов вечера.

Нет, я в Москве совсем испортилась,— хотя никогда во мне много хорошего не было, но я чувствую, что это малое теперь совсем исчезло. И какие теперь мои интересы? — Танцы, приемные дни, туалеты, кокетство со все-

ми, кого ни встречу, — и даже мои несчастные кисти и палитра лежат без употребления, хотя мне Прянишников поставил прехорошенькую «Nature morte». Но мне эта лень надоела — завтра я велела себя разбудить пораньше и буду рисовать до приема.

Перед праздником в Школе был экзамен, и я получила второй номер за этюд с девочки, — он вышел хорош и папа́ очень понравился. Если бы я много работала, я уверена, что я бы могла хорошо рисовать и писать,— меня бог способностями не обидел.

На днях мы с мама́ поссорились, и, как почти всегда, из-за детей... Боже мой, какой у меня ужасный характер. И, главное, то трудно, что я одна должна над ним работать, только папа́ помогает, и то мало.

1883

29 апреля. Пятница.

Завтра мы едем в Ясную. Я не рада,— я даже себе этого представить не могу. Я чувствую, что главная причина того, что мне не хочется уезжать, это то, что здесь останутся все знакомые и я целое лето никого не увижу и ничего ни о ком не услышу.

2 мая. Понедельник. Ясная Поляна.

Мы в Ясной; я очень счастлива и довольна. Папа́ и мама́ сегодня вечером на «pas de géants» бегали. Какой еще папа́ сильный! Ни Илья, ни Сережа его не пересилят.

Он за чаем разбирал своих детей и говорил, что все мы глупы, то есть, что ни у кого из нас нет духовного и умственного интереса, которым бы мы жили, и что у Лели все-таки его больше, чем у остальных. Он находит, что, хотя мы глупы, мы все же умом выше среднего уровня.

Сегодня папа́ хвалил «Сумасшедшего» Репина [1], и, по-моему тоже, это замечательная вещь. Как натурально, живо и правдиво! А как написано! Репин — и мастер и художник.

31 июля. Воскресение.

Недавно мы все: то есть папа́, Вера и Маша Кузминские, наша Маша, тетя Таня, Коля Кислинский, Heléne и я — уселись вечером на балконе на пол и рассуждали. Папа́ предложил каждому рассказать самую счастливую

самую несчастную и самую страшную минуту жизни. Некоторые сказали, что не могут вспомнить, а большинство не хотело сказать; я заключила, что, должно быть, тут дело шло о любви, но я никогда не испытывала ни минуты большого счастья, ни минуты истинного несчастья от любви.

Потом рассуждали о любви,— папа́ спросил: «Что приятнее — чтобы ты любила или чтобы тебя любили?» Только он и Вера сказали, что приятнее самому любить, — мы все решили, что приятнее быть любимыми. Много мы в этот вечер философствовали, и очень приятно было.

Вчера папа́ нам рассказал сравнение, которое ему пришло в голову. Он проглотил муху и думает: часть ее пойдет, чтобы питать мое тело, а то, что не нужно, — выбросится; так и мы все, как проглоченная муха, должны принести пользу на земле, — а потом нас выкинут, когда мы умрем, и только то останется, что мы хорошее сделали на земле.

Папа́ приехал из Самары [2] такой здоровый, свежий, веселый и стал опять ближе с нами жить. Мы с ним покос убирали, то есть он косил, а мы растрясали и потом копнили сено. Он целыми днями косил, мы ему обед возили и убрали несколько возов сена. Это для одной вдовы в деревне, у нее муж недавно умер, и ей некому работать было.

Мы раз все шли с купанья, и мы, девочки, и папа́ убежали вперед, спрятались в овраг, и когда мама́, тетенька и Страхов [3] проходили, он стал волком подвывать, чтобы их испугать, но все испортил тем, что слишком громко нам сказал: «Орите все!» Мы закричали, но уж никто не испугался.

Недавно, когда Коля был, мы устроили целый бал и к котильону нашили бантиков. Все танцевали, даже папа́ и мама́ и супруги Кузминские.

3 августа. Понедельник.

Мы ездили в Пирогово. Папа́ правил коляской, кучера не было, и нам было очень весело; папа́ пел разные глупости, вроде:

Посеяли гречиху,
Скосили всю траву,
Се тре коли.
Се тре коли
Коман ву порте ву! *

* Очень мило, очень мило, как ваше здоровье (*франц.*).

4 августа. Четверг.

Папа́ говорит, что каждый человек — дробь; достоинства — это его числитель, а то, что он о себе думает, — знаменатель.

6 августа. Суббота.

Вчера мама́ приехала. Hélène, папа́ и я ходили ее встречать, прогулка была очень веселая, мы с Hélène бросали палку папа́ так, чтобы она несколько раз перевернулась, и хохотали ужасно. Отчего это, когда с папа́, то всегда бывает весело, а вместе с тем у нас с ним никаких прямых отношений нет? Мне очень, очень жалко, что я мало с папа́ говорю, потому что, когда с ним говоришь, все делается ясно, и я так уверена в том, что́ хорошо и что́ дурно, что́ важно и что́ не важно в жизни.

Сегодня вечером у нас был разговор о друзьях. Илья говорит, что его лучший друг — Боянус, не считая папа́,— а для меня первый друг — папа́, потом тетя Таня, потом Вера Толстая.

23 сентября. Пятница.

Завтра в Москву. Я рада. Я набрала чудесный букет цветов. Свезу его Вар. Ив. Масловой. Папа́ еще вчера в Москву уехал, чтобы посмотреть, как идут уроки мальчиков.

Мы последнее время часто с ним разговаривали, и я всегда с ним соглашаюсь. Я удивляюсь, когда с ним спорят. По-моему, все так ясно, что он говорит, и так разумно и логично, что не согласиться с ним невозможно. Все, что во мне хорошего, это — все он, и когда я слышу, что кто-нибудь другой говорит хорошо и умно, мне всегда кажется, что он слышал, что это говорил папа́, и повторяет его слова. До сих пор для меня это — единственный человек, которому я всегда верю, и всегда бы слушалась его, если бы он мне приказывал. Он этого не знает, а то бы он больше помогал мне в жизни. И если я не так живу, как бы он хотел и как бы он одобрил, это потому, что я не могу бороться одна со всеми моими скверными желаниями.

2 июля. Понедельник. Ясная Поляна.

С Москвы не писала своего дневника и очень жалею об этом,— потому что, как ни пуста моя жизнь здесь, все-таки она полнее и менее постыдна, чем в Москве.

Каждый вечер мы собираемся и рассказываем каждый свой день, начиная с папа́ и кончая каждым, кто только ни пожелает присоединиться к нам [1]. У нас, девиц, выходит очень слабо — вроде: встала в 11, одевалась, завтракала, купалась, одевалась к обеду, обедала и т. д. Еще хорошо, коли целый день ни на кого не злилась. Папа́ почти целый день на покосе, и иногда мы помогаем сено трясти и убирать, но это до того трудно с непривычки, что на четверть дня работы четыре дня отдыхаешь.

28 ноября. Москва. Хамовники.

Пришла сверху, где очень был интересный разговор,— спор даже, насчет воспитания детей. Меня всегда очень интересует и волнует этот предмет разговора. Мне всегда кажется, что все слишком легко и поверхностно смотрят на это,— мама́ особенно: были бы дети ее физически хорошо выхожены,— душа их всегда для нее на втором плане. С папа́ в этом случае, как почти всегда во всем, я совершенно согласна. Он говорит, что все зависит от примера человека, которого любишь, и что ничего так не заразительно, как злоба; а когда человек сердится, то говорит не то, что думает, или скорее не то, что хотел бы сказать. И потому никогда влияния не может иметь на ребенка, который теряет уже всякое уважение к своим родителям. M-me Seuron тут очень горячилась и старалась доказать, что, кроме giffles *, способа воспитания не существует.

Папа́ сегодня нездоров, мама́ думает, потому, что сам топит печки и ходит за водой,— может быть.

1886

26 марта. Среда. Москва.

Сегодня вечером я в умилении от папа́. Пошли мы с ним после обеда к Самариным за книгами для переделки в маленькие Чертковские издания [1]. Довел он меня

---

* пощечины (в смысле строгости) (*франц.*).

туда. Я спросила то, что нужно было, посидела с Соней, и минут через десять папа́ воротился за мной. На улице он купил для малышей гипсовую церковь и за купол нес ее. Мы попросили его пойти хоть в переднюю, чтобы сказать, что я останусь провести вечер у Сони, а он как будто сконфузился своей церкви,— так это было мило и умилительно. Я осталась у Сони.

4 апреля. Пятница.

Только что проводили в коляске за Серпуховскую заставу папа́, Колечку и Стаховича, — они пошли пешком в Ясную [2]. Чудная погода. Чуть-чуть дождик накрапывает, но почти жарко, они пошли в легких пальто...

Переписываю «Что же нам делать?» за деньги [3], учу, читаю корректуру [4] и теперь буду заниматься изданием «Чем люди живы» в рисунках [5]. Сейчас за этим иду в типографию Мамонтова.

В прошлое воскресение читали в университете [6] «Смерть Ивана Ильича», но очень гадко прочли. Несмотря на это, дамы плакали. В это воскресение будут читать Легенды, Крестника [7] и т. д.

Вчера провела вечер у дяди Сережи очень приятно — были Лопатины, Сухотин и т. д. Папа́ за мной пришел, и мы пошли домой пешком. Чудная была лунная ночь, и я жалела, что мы так скоро дошли.

6 мая. Вторник.

Папа́ с Фоминой уже в Ясной [8]. Пишет оттуда, что такая бедность и нищета в народе, какой никто не запомнит, — что без исключения все жалуются и что большинство сидит без хлеба и без семян на посев [9]. Пишет, чтобы я не тратила без толку, лошадей бы не брала из манежа, — а я как раз накануне проездила 8 рублей на лошадь и берейтора. Больше не буду.

Колечка Ге приехал, и теперь у мама́ по книжным делам будет меньше дела,— он ее заменит. Главные хлопоты теперь с 12-м томом, которого надо отдельно всей России рассылать [10]. Рассказы для народа, которые в нем помещены, читали в вербное воскресение, и они имели еще больше успеха, чем «Смерть Ивана Ильича».

Я больше всего люблю его «Много ли человеку земли нужно». Это так чудно, я не могу это читать без восторга,— мне плакать хочется от красоты слога, мысли, чувства, с которыми оно написано. И в последнее время столь-

ко о папа́ кричат и пишут, — кажется, больше, чем когда-либо о ком бы то ни было. В каждом номере газет и журналов непременно помещена о нем статья. А он живет себе в Ясной и никого знать не хочет.

На днях к нему две девицы разлетелись — Озмидова и Дидерихс. Он им был совсем не рад, потому что уехал — главное — от посетителей, которые ему надоели страшно. Нет дня, когда он здесь, чтобы человека три-четыре не пришли к нему,— кто с просьбой о деньгах, кто за советом, кто просто, чтобы поговорить и сказать, что видел Л. Н. Толстого. Письмам же нет конца,— тоже бо́льшей частью просят совета и денег. Приходят и пьяные, и нигилисты лохматые, и священники, и купцы богатые, которые спрашивают, что́ бы со своими деньгами делать. Раз пришел какой-то офицер и так рыдал, рассказывая свою историю, что мы в соседней комнате все перепугались. Папа́ всех хорошо принимает, которые действительно нуждаются в его помощи или совете, но на письма почти никогда не отвечает [11],— двух писарей не хватило бы ему на это.

2 июля. Ясная Поляна.

Сегодня дождь, и покоса нет, потому я и свободна. Вот уже с неделю, как я хожу на покос, и очень рада, что это затеяла. Встав в 7, беру с собой (иногда же мне приносят) обед и часов до 8-ми не возвращаюсь. Бабы и мужики у нас славные, веселые: место удивительно красивое,— от Митрофановой избы и вдоль по реке до самой Засеки [12]. Около 50-ти копен уже убрали. Я работаю у Марфы на косу немого [13],— два дня только пропустила по случаю дня рождения Сережи (ему 23 года минуло) и отъезда дяди Саши с Мишей Islavиным, и в эти дни Марфа нанимала на мое место работницу. Вчера мы возили, и я совсем не могла на воз подавать, — это ужасно трудно, и я боялась надорваться.

Сегодня я думала о том, что хорошо бы остаться в Ясной,— мне хочется поучиться языкам, особенно английскому. Теперь miss Martha у нас, и, кажется, она довольно порядочная и образованная девушка,— мы бы читали с ней, и она могла бы помочь мне. Иногда же мне кажется совершенно невозможным провести здесь зиму, боюсь одиночества и тоски, и — хуже одиночества — боюсь всяких незнакомых посетителей, которые так часто посещают папа́ и от которых в Москве легче отделаться,

чем здесь. Очень может быть, что многие из них очень интересные и хорошие люди, но, приходя к нам в дом, они совершенно игнорируют всех, кроме папа́, которого они завоевывают и отнимают у нас целыми вечерами.

Мама́ опять занимается корректурами,— она издает отдельно XIII том и дешевое полное собрание сочинений папа́[14].

4 августа. Понедельник.

Здесь живет дедушка Ге[15], и мы много с ним беседуем. Он добивался у меня, во что я верю, и я убедилась после этих разговоров, что у меня нет никакой религии. Я далеко не православная, я не толстовстка, а думать, как я прежде думала, что довольно знать, что хорошо и что дурно, теперь для меня кажется недостаточным. Например, папа́ говорит, что иметь собственность — это дурно, и он так хорошо это доказывает, что это кажется логичным, а признать это за истину я не могу, иначе я сейчас же должна отказаться от всякой собственности.

Ге говорит, что он знает, что я, например, никогда не сделаю ничего очень дурного, не обманула бы мужа, была бы хорошей матерью и т. д., но что этого мало, что нужно *основание*, из которого бы вытекали мои поступки. Так разве можно выдумывать основание? Стало быть, оно есть, если поступки из него вытекают. Разве нужно непременно дать ему название? Все равно, если бы у меня росли цветы, и я раскопала бы землю, чтобы увидать, какой формы корень, и дать ему название. Это совсем бесполезно, и только любопытство может побудить это сделать. Мне в жизни счастья нужно — для себя и для окружающих, чем больше его — тем лучше. А счастье не дается дурными поступками, и чем лучше я жить буду, тем я буду счастливее.

11 августа. Понедельник.

Странный сон я сегодня видела. Будто мы все и пропасть гостей сидим где-то в поле и пьем чай и что вдруг папа́ приходит совсем здоровый[16], в сюртуке и такой тоненький, каким он никогда, я думаю, и не был. И я так обрадовалась, что он здоров, что бросилась ему руки целовать, и он поцеловал меня в голову. Я будто чувствую, что неприлично при гостях так нежничать, но такой прилив чувства я испытала к нему, не хотела сдерживаться.

Теперь я только желаю, чтобы папа́ поскорее выздоровел. У него рожа на ноге, жар сильный, и он, бедный, очень страдает. Я смотрела сейчас, как ему перевязывали ногу, чтобы так же перевязать ногу Алене Королевне, у которой то же самое. Я убедилась, что смотреть на это гораздо ужаснее, чем самой перевязать, и мне ничего не стоило Аленину грязную ногу мазать и завязывать. Пропасть больных на деревне, которых мы стараемся на ноги поставить, и некоторые выздоравливают — один только Спиридонов мальчик, кажется, умирает. Он весь пухнет, у него диссентерия.

Сейчас папа́ спит, и потому я свободна. Когда он проснется, я буду ему письма писать.

4 сентября. 9 часов утра.

Проснувшись, узнала, что папа́ хуже. Ночью жар у него дошел до 40, и нога ужасно болела, так что он простонал всю ночь. Послали за Рудневым, он говорит, что это новая рожа, и будто если она распространится, то для ноги безнадежно. Это ужасно,— я не могу верить этому!

Вчера Ге уехал, и мы совсем одни,— три женщины и Сережа, от которого помощи и утешения мало может быть. Зачем меня не позвали сегодня ночью? Неужели я всегда должна быть последней, чтобы узнать все, что его касается, так же, как я всегда бываю последней, чтобы прочесть то, что он пишет. Всегда дается сначала посторонним, а я будто «всегда успею прочесть». Впрочем, я, верно, сама в этом виновата.

5 октября. Ясная Поляна.

Папа́ настолько лучше, что он прыгает на одной ноге и с помощью одной из нас переходит из залы в спальню и обратно. Дренаж у него еще не вынут, и спит он очень плохо. Это, впрочем, понятно,— без воздуха и без движения плохо спится.

Сегодня был у нас один немец Otto Spier, который читал папа́ «Ивана Ильича», переведенного им на немецкий язык. Папа́ одобрил.

Был на днях у нас Фет [17], и был в кротком, умиленном состоянии. С папа́ они не спорили, а так хорошо, интересно говорили и, что всегда в разговоре необходи-

мо,— с уважением и вниманием относились к словам друг друга.

Папá стал гораздо мягче это последнее время и охотно подчиняется всякому уходу за ним и лечению. Он говорит, что им так завладели женщины, что он стал носить кофточку (ему мамá сшила) и стал говорить: «я шила, я ела».

Стахович тоже гостит тут и очень понравился Фетам. В пятницу мы все разъехались. Стахович по делам уехал на два дня,— завтра возвратится, Феты уехали на Плющиху, а мы с мамá — в Пирогово. Выехали все вместе до Ясенков. Там нам пришлось ждать, и Фет говорил нам стихи Пушкина «В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать» и так растрогался под конец, что расплакался. Я в первый раз тогда увидала в нем поэта, увидала, как он может чувствовать красоту и умиляться ею[18]. Как это дорого в человеке и как это редко бывает!

Я большей частью видала это в стариках, и не потому, что они стары, а потому, вероятно, что молодежи я не встречала живой,— это все ходячие мертвецы те, которых я знаю. Старости в том нет, кто любил прекрасное, кто вдохновлялся, умилялся, тот так же будет вдохновляться и плакать перед красотой, когда ему будет и сто лет. Как Ге, который, когда рисует: сидит далеко от своего рисунка, глаза его улыбаются, торчат его седые волосы, и он кричит во всю глотку: «Voilà un tableau!» *

Он — один из редких художников, в произведениях которых видно вдохновение. Форма иногда немного груба и не отделана, но это от того, что он перестал хорошо видеть, а содержание в его вещах всегда удивительно сильно и трогательно. Когда он развесил свои эскизы углем (иллюстрации к Евангелию) и рассказывал нам смысл их, то что-то мне подступило к горлу,— мне плакать хотелось от восторга и даже казалось, что слезы — это мало слишком, что есть какое-то высшее выражение своего умиления и восторга, не словами и не слезами. Так же я чувствовала, когда читала «Чем люди живы», когда в университете читали «Много ли человеку земли нужно», когда я целый день провела в Третьяковской галерее перед «Христом в пустыне» Крамского, и каждый раз, как я читаю или вижу что-нибудь прекрасное.

---

* Вот картина! (*франц.*)

6 октября. 6 часов вечера.

Папа́ за обедом все ел с Мишкой с одной тарелки, и после обеда Андрюша и Миша одни свели его в гостиную. Он все плохо по ночам спит,— мама́ ему разогревает суп, и он его ест каждую ночь. Мама́ в хорошем духе, как всегда она бывает, когда у нее какая-нибудь забота на руках. Папа́ совершенно справедливо это заметил, говоря, что, когда все в доме вырастут, ей надо будет заказать гуттаперчевую куклу, у которой был бы вечный понос.

Папа́ сейчас присылал малышей спрашивать у нас, чтобы мы сказали три своих желания. Я немедленно ответила: «Хорошо рисовать, иметь большую комнату и хорошего мужа». Маша ничего не ответила. Но я забыла, что последнее мое желание исключает два первых; хороший муж будет мешать заниматься и займет мою большую комнату. Папа́ сказал, что у него только два желания: чтобы он всех любил и чтобы все его любили.

24 октября.

Бирюков написал папа́, что двое петербургских гусар — один князь Хилков, другой забыла как,— прочтя «Ma Religion» *, так полюбили учение папа́, что отдали всю свою землю мужикам, вышли в отставку и будут жить своим трудом на трех десятинах, которые они себе оставили [19].

25 октября.

Мне плакать хочется. Папа́ играет вальс и, конечно, не подозревая того, что разворотил мою душу воспоминаниями, которые вдруг нахлынули при знакомых звуках вальса.

26 октября. Воскресение.

На днях я сказала папа́, что я задумала комедию, которую, вероятно, никогда не напишу, на что он мне ответил, что он задумал драму [20], и все эти дни пишет ее, и сегодня кончил первое действие. Его вдохновило чтение Стаховича-отца, который отлично читал нам Островского [21]. Папа́ был очень умилен и растроган этим чтением, и оно-то навело его на мысль написать драму, тем более что материал для нее у него давно был, и, как он говорит, ему вся эта история представляется в драматической форме.

* «В чем моя вера» (*франц.*).

Сегодня был разговор у мама́ с Бутурлиным о том, как папа́ осуждают за то, что он, написавши, что отрицает собственность, живет в роскоши. Он получает бесчисленное количество бранных писем за это и вместе с тем писем с требованием денег,— он рассчитывал, что кругом у него просят тысячи полторы каждый день. Мне ужасно бывает за него обидно, тем более что мне кажется ясным то, чем он руководствуется в жизни.

31 октября. Пятница.

Мишка очень мил, и папа́ его ужасно любит. По вечерам папа́ рассказывает двум малышам «The Old Curiosity Shop» *, а днем он все пишет свою драму. Я не читала ее еще.

Вчера был у нас в девичьей экономо-политический разговор на следующую тему: почему так много голых, когда так много наготовленных ситцев и всяких товаров, и почему у помещиков хлеб преет в амбарах, дожидаясь цен, и столько голодных? Мы не могли нашими слабыми умами этого рассудить, и я папа́ за обедом рассказывала про это. Он говорит, что это происходит от того, что нет любви между людьми.

Хотя мне это сначала показалось очень просто, не довольно как-то научно, я потом увидала, что это сущая правда. Доказательством он привел штундистов, которые живут общинами, помогая и поддерживая друг друга, и у них всегда всего вдоволь и никогда бедности нет. Еще маленький пример: у нас на деревне Игнат загораживал свой огород, тогда как рядом с его огородом еще три чужие. Папа́ и говорит, что, если бы они сговорились вместе огородить сразу все четыре огорода, то каждому было бы гораздо легче, чем отдельно огораживать отдельный огород.

Да, вот еще пример: неделенные семьи, живущие согласно, и богаты, и сыты, и одеты, а как разделились, все обеднеют.

21 ноября. Пятница.

Сижу одна в своей комнате внизу. Страшный ветер так и гудит и ударяет в мои окна, но мне совсем не страшно. В доме только папа́ и Маша наверху, а Татьяна и няня внизу. Мама́ и малыши уехали сегодня утром, и,

---

* «Лавка древностей» Ч. Диккенса (*англ.*).

чтобы не было слишком много суеты при переезде для папа́, мы остались на два дня здесь. Мама́ ездила в Ялту проститься с бабушкой, которую застала и которая при ней умерла [22].

Мы все это последнее время были очень заняты, и потому осталось очень приятное воспоминание о проведенной здесь осени.

Папа́ написал драму, и сегодня мы с Машей кончили в четвертый раз ее переписывать. Потом папа́ вздумал издать календарь с пословицами. Он увидал у Маши стенной английский календарь с пословицей на каждый день, и ему пришло в голову таким образом поместить пословицы, которые он собрал, отмечал у Даля и очень любит.

Мы целыми днями,— папа́, Маша и я,— подбирали по две поясняющие друг друга пословицы, а к воскресениям — подходящий евангельский текст, кто святцы выписывал, и дня в четыре написали всё и послали Сытину печатать [23].

У меня, кроме этих работ, была моя художественная работа. Я за это время написала шесть этюдов с здешних баб, которые мне довольно удались.

Боже мой, как я боюсь московской жизни! Хотя мне теперь стало гораздо более безразлично, чем прежде было, где жить, и хотя я думаю, что для мальчиков нужно общение с папа́, все-таки мне очень не хочется ехать в Москву, и я боюсь попасть в старую колею: вставания в 12 часов, поездок на Кузнецкий за покупками и вечером винт или пустая болтовня с пустыми людьми.

Сегодня я ходила гулять одна и все думала о том, как надо жить. И мне представилось, что совсем не так страшно прямо взглянуть на жизнь, как мне это прежде казалось. Прежде я думала, что, придя к известным убеждениям, надо что-то необыкновенное предпринять: все раздать, пойти жить непременно в избу, никогда не дотронуться до копейки денег... А теперь я вижу, что этого совсем не нужно,— нужно видеть, что хорошо и что дурно, и жить там, где меня судьба поставила, как можно лучше и как можно меньше огорчая других и как можно больше делая для них.

Я где-то в своем дневнике спорила сама с собой, что нужно нам или нет делать деревенские работы? Не все ли равно, деревенские или какие-нибудь другие, лишь бы работа моя была нужна другим, или по крайней мере не мешала бы другим, как живопись, музыка и т. п. К чему

я тоже пришла, это то, что никакой системы распределения жизни быть не может, а надо каждую минуту жить так, как лучше, и делать то, что другим от меня нужно.

Я с радостью вижу, что мое воспитание начинает делаться и что мне все легче и радостнее жить на свете. Мое чувство страха к смерти папа́ тоже вылечил немного, сказав мне, что, в сущности, никакой смерти нет. «Если,— говорит,— тебе твоего тела жалко, то наверное каждая частица его пойдет в дело и ни одна не пропадет». Дух тоже не умрет. Всякое слово оставит след в остающихся душах, даже мои личные черты не пропадут,— если не в моих детях, то в племянниках, братьях,— они отразятся, и только разве мое сознание пропадет, то есть сознание моей личности как Таня Толстая.

Папа́ это все нам говорил в один вечер, когда, по случаю болезни и смерти бабушки, на нас всех нашла жуткость и страх перед всеми предстоящими смертями. Еще он нас тем утешал, что говорил, что никакая смерть не может отнять у нас то, что есть самого дорогого на свете,— отношений с людьми и любви к ним. И не любви к отдельным избранным людям, а ко всем без исключения. К этому я тоже становлюсь ближе, но, боже мой, как я еще далека от того, как следует любить всех!

22 ноября. Суббота, 12-й час ночи.

Последний день мы провели в Ясной. Встала поздно, пришла Таня Цветкова, поучилась с Машей. Я в это время убрала свои вещи в сундук. Потом пошли мы на деревню прощаться со всеми. Марфа Кубарева даже расплакалась, прощаясь с нами. Таня воротилась с нами и обедала с нами. Чтоб не заставлять Татьяну-горничную служить Таньке, мы сами служили за обедом и потом сами перемыли посуду. После обеда Маша читала Тане «Брат на брата» [24], папа́ занимался, а я читала про себя. Пили чай здесь, в моей комнате,— Агафья Михайловна, Таня, Татьяна, Васька, Марья Афанасьевна — все напились тоже чаю, кто в нашей комнате, кто рядом в девичьей. Так это все было весело и просто,— одно жалко, это то, что все члены нашего семейства не видят, что, если бы всегда так жить, было бы хорошо, и пошло бы все лучше и лучше, и все больше и больше мы бы освобождались от всех барских пут, которые мешают нам жить.

Все думала о мама́ сегодня, и мне ее ужасно жалко. Она мучается, работает, чтобы доставать деньги, которые

хотя мы и считаем, то есть я. Илья и Маша, ненужными, а все-таки требуем в виде платья и всяких вещей, и ее постоянно раздражает это наше противоречие. Мне ужасно бывает грустно, что она так против всего хорошего, то есть того, что папá считает хорошим и что и есть хорошее, и так раздражается против всех, кто старается изменить свою жизнь к лучшему.

Нет, все это слишком сильно — а что есть, это то, что она не любит идеалов папá, и я чувствую, что ее постоянно сердит то, что есть люди, которые хотят жить хорошо и не так, как она считает хорошим. Впрочем, я пишу чепуху,— я падаю от усталости и чувствую, что выходит похоже на осуждение там, где я чувствую только любовь, нежность и жалость... Завтра утром едем в Москву.

27 ноября. Москва, Хамовники.

Вот пятый день, как мы здесь. И очень здесь гадко. И у меня непрестающее чувство, что я в чем-то провинилась, что что-то стыдно, что надо как-то *устроить* свою жизнь, чтобы все пошло хорошо. Хочу поступить в Школу [25], но папá говорит, что это не нужно, говорит, что это похоже на то, если бы мертвеца стали поддерживать со всех сторон и он бы стоял, только пока его держат,— а как пустили, так он опять падает на пол. И что так же я свою жизнь поддерживаю. Он это сказал хоть и красно, но не справедливо. Я хочу учиться живописи, я люблю это дело и думаю, что лучше выучусь ему в Школе, чем дома.

Ездили сегодня за покупками, больше для Маши, чем для себя,— и ужасно мне было противно, но вместе с тем и приятно было заказывать себе красивые башмаки и платье. Удивительно, как трудно отделаться от этого желания нарядить себя, свою комнату, и как здесь все устроено, чтобы поощрять к этому.

В нынешнем году я не видала ни одного нищего,— даже этот живой упрек отстранен от нас для того, чтобы даже нельзя было вспомнить, что есть люди, которым нечем покрыться и есть нечего.

2 декабря.

Сейчас мы отпили чай, спели с Машей наверху пироговскую «Яблоньку». Папá наслаждался, хвалил нас, и с Сережей и Левой очень складно подлаживали. Погода

стоит все отвратительная — оттепель, снег, и все еще на колесах ездят. Санный путь ни разу двух дней не продержался.

14 декабря. Воскресение.

Мне «дюже гнустно», как говорит Аким[26], все это последнее время. Я ничего не делаю, хотя дела много, и болею печенью. Это знакомое, отвратительное московское чувство тяжести, тошноты, сонливости, которое я так ненавижу, опять охватило меня.

Я себе часто повторяю слова папа́: что от себя никуда не убежишь и что везде жить можно и везде надо жить одинаково хорошо, но я еще слишком слаба, чтобы обстановка на меня не действовала.

Я должна часто казаться фальшивой: я осуждаю в других многое, что сама делаю. Например, я презираю людей, которые заняты отделкой своих комнат, своей особы, а сама это делаю. И я часто говорю одно, а делаю другое и сама бы считала такого человека, как я, пустым, если бы со стороны видела такого.

1887

10 июля. Ясная Поляна.

На покос мы ходили два дня. Очень было хорошо,— папа́ косил, а Вера Толстая, Маша и я убирали. Работала я плохо, хуже прошлогоднего — не знаю почему, но хорошо было, что с папа́.

Папа́ последнее время далек от меня,— это, во-первых, потому, что я живу противно, а во-вторых, потому, что я прожила неделю в Пирогове.

Когда я долго дома не бываю, он всегда встречает меня холодно, и мне надо опять пожить с ним, чтобы сблизиться. Я живу противно тем, что, во-первых, ничего не делаю, во-вторых, что делаю ему неприятно — езжу верхом, болтаю много пустого, одеваюсь очень опрятно, ем страшно,— никогда в жизни столько не ела,— и теперь дала себе слово есть мало, почти никогда — сладкого и *никогда* — вина, чтобы иметь право советовать другим никогда его не пить.

22 октября. Ясная Поляна. Четверг.

Чудная погода! Серенький денек, но до того теплый, что мы с Машей Кузминской выходим в одних платьях

и туфлях. Мы живем здесь втроем: мы две и папа́. Мы спим в комнате с образом. Тут же пьем чай, обедаем и целый день сидим. Спим на тахте и на стульях. Мама́ уехала с остальными в понедельник, а мы едем в субботу.

Папа́ с нами целый день, шьет сапоги [1] Маше, но они оказались ей малы, судя по тому, что мне малы; пишет, и вчера дал мне переписывать вещь, которая начинается с разговора в вагоне, — не знаю, что будет дальше; [2] топит печь и много с нами беседует, особенно с Машей, которая, читая «В чем моя вера», очень этим увлеклась и усомнилась во многом, во что прежде верила. Сейчас папа́ наколол дров, пошел заниматься, я буду сейчас переписывать, а Маша, перемыв чашки, села опять за «В чем моя вера».

1888

20 января. Среда. Москва.

Этот так называемый свет до того опротивел мне, что я его выносить не могу. Я решила как можно старательнее избегать всяких выездов из дому и быть больше с папа́. Я вижу, что он чувствует себя одиноким, смотрит на меня, как на погибшую, и по вечерам разговаривает с Машей,— чему я завидую. Вчера вечером он зашел ко мне в комнату и спросил у Левы, что это у него в руках? Лева должен был сказать, что это браслет, который полтавовцы подносили Заньковецкой [1]. Папа́ с грустью отвернулся и спросил меня, что я читаю.— «Модный журнал»... «А что Вера Толстая сегодня вечером делает?» — «В театре, потом к Шидловским идет». Папа́ постоял, постоял,— мы все сидели, повеся голову,— он повернулся и ушел. Нам всем сделалось страшно стыдно.

17 февраля. Среда.

Мне обидно, что у папа́ сидит всякий народ, а я, которой он больше всех нужен, не смею пойти к нему. Странные у нас отношения: часто я знаю, что он чувствует себя одиноким и был бы рад моей ласке, и какой-то глупый, ложный стыд удерживает меня от того, чтобы пойти к нему. Вот сегодня у меня такой longing for him *, а я

* такая тоска по нему (*англ.*).

знаю, что, если бы он сейчас вошел, я бы стала говорить о том, где была и что делала, и не показала бы ему ни уголка своей души. Еще что меня удерживает — это зависть к Маше. Я часто злюсь на нее и уверяю себя, что она «подлизывается», и потому я еще резче противоречу папа́, чтобы доказать, что я из-за его одобрения не буду поддакивать. Коли я это пишу, то, значит, я сознаю, что я не права, но, на деле, как-то трудно выйти из этого тона.

Об чем я плачу? Это глупо и стыдно. Сейчас приходил Левка, и потому, что он долго не выходил, я пришла в такую ярость, что чуть не бросила в него чернильницей, и разревелась. Хороша я буду жена!

Папа́ говорит, что кто любит как следует, только тогда выйдет замуж или женится, когда уверен, что он сделает счастливым любимого человека. Поэтому мне долго еще нельзя выйти замуж.

Я последнее время запустила себя и потому стала чаще сердиться. Было время, когда я чувствовала, что ничего и никто не в состоянии меня рассердить, а теперь обратное.

17 марта.

Еще потому я ни с кем не близка, что у меня установился презрительный взгляд на людей, которые не разделяют взглядов папа́ на жизнь, а к его последователям я не близка, потому что очень плоха, слаба, и поэтому их высота меня раздражает, озлобляет, и я, чтобы доказать, что я к ним не подлаживаюсь, говорю в их присутствии все, что противно их взглядам. Но все это не главное: надо сделаться всем нужной, и никогда не надо сердиться.

Папа́ правду говорит, что всегда некогда, когда ничего не делаешь, а когда начнешь что-нибудь делать, времени кажется ужасно много.

Я сегодня шила, писала письма, вязала, и еще целый вечер передо мной свободный.

24 декабря.

Папа́ сказал сегодня хорошую вещь (это совсем не кстати, но напишу, чтобы не забыть): что, если бы люди перестали судить и наказывать, то все усилия, которые тратятся теперь на это, употребились бы на то, чтобы нравственно воздействовать на людей, и, наверное, это

было бы успешнее[2]. Разумеется, это справедливо,— разве наказания могут исправить человека? Мне так ясно, что это невозможно, что я удивляюсь тем, которые этого не видят.

1889

15 февраля. Среда. 11 часов утра.

Недавно был у нас Танеев и играл. Я в этот день утром была в тоске и бродила вокруг фортепьяно, тужа, что ни сама, ни кто из домашних не играет. Так мне хотелось музыки, что я стала придумывать, к кому бы пойти, чтобы послушать музыку. Но осталась дома, и вдруг приходит Танеев и, разговаривая с папá об Аренском, предложил сыграть ему несколько вещей, потом сыграл вещицу Чайковского, «Barcaroll'у», Рубинштейна и потом говорит: «Хотите Бетховена?» Мы все заахали от радости, и он сыграл «Appassionat'у».

С первых же нот мы все улетели куда-то, я ничего не видала, забыла себя и все, что до этого было на свете, только чувствовала эту громадную вещь, и лицо мне корчило так, что я не смогла удержать его мускулы на месте и уткнулась лбом в спинку стула. Когда он кончил, папá вышел из своего угла совсем заплаканный, у Леночки было испуганное лицо, и когда мы заговорили, у всех голоса были хриплые и чужие. Я думаю, что Танеев был в этот вечер в ударе и не всегда так играет. Бетховен, наверное, когда писал эту сонату, именно так себе ее воображал, ее лучше или иначе сыграть нельзя, то есть не должно. Говорят, Танеев собирается с Гржимали приехать к папá сыграть Крейцерову сонату. Я видела его вчера, но не спросила об этом.

Маша у Ильи, завтра приезжает. Я ей очень рада, но все-таки есть эгоистическое чувство, что без нее папá со мной ласковее, потому что, сравнивая ее со мной, ему, конечно, бросается в глаза, что она больше живет его жизнью, больше для него делает и более слепо верит в него, чем я.

Сейчас он приходил сюда и спрашивал, что я делаю,— я сказала. Он говорит: «И я тоже дневник пишу,— но это секрет. Я уже три месяца пишу[1], но никому не говорю. Я,— говорит,— даже прячу его». Я спросила, чтó он — так пишет или с какой-нибудь целью,— он говорит: «Так.

Про свою душевную работу. А ты тоже?» Я сказала — да. Он говорит, что его духовная работа состоит в том, чтобы добиться трех целей: чистоты, смирения и любви, и что когда он чувствует, что приближается к этому, то счастлив.

9 часов вечера.

Я очень счастлива тем, что никогда не ропщу на окружающее меня, и если мне дурно, всегда виню одну себя, — но зато, когда хорошо, принимаю это как заслуженное и всегда умею ценить и пользоваться всеми удовольствиями, которые мне посланы. Например, я так ценю, что я родилась именно в этой семье, что папá — мой отец. Нет дня, чтобы я не чувствовала наслаждения и благодарности за то, что вокруг меня столько интересного, столько хороших людей, столько я слышу нового и хорошего, так часто папá мне напоминает, как надо жить, и помогает мне в этом.

Все мне открыто — могу слушать хорошую музыку, видеть хорошие картины, могу знать художников,— могу сама сделаться художницей, потому что мало того, что мне дана возможность видеть и слушать, говорят (по справедливо ли?), что мне даны средства самой творить. Право, я очень счастлива и могла бы быть еще более, если бы была лучше, разумнее, строже к себе и вообще умнее.

18 февраля. Суббота. Масленица.

Сегодня утром у папá был какой-то юнкер [2] поговорить о религии. Папá нам потом рассказывал, что он говорил с ним очень хорошо, и папá особенно осторожно обращался с ним, чтобы не слишком резко осудить то, во что его учили верить. Поднялся вопрос о вине. Юнкер сказал, что не пьет. Папá пригласил его поступить в Общество трезвости, но он ответил, что находит необходимым угощать. Папá спросил — почему? «Да вот, например, когда Скобелеву понадобилось перерезать целое население и солдаты отказались это сделать,— ему необходимо было их напоить, чтобы они пошли на это» [3]. Папá несколько дней не мог забыть этого и всем рассказывал.

5 марта. Воскресение.

Моя живопись тоже меня пугает — что из нее выйдет? Убью много времени, труда, а никогда не дойду до того, чтобы быть в состоянии сказать посредством ее

что-нибудь хорошее людям. Да я и не довольно хороший человек для этого. Папа́ вчера написал маленькую статью об искусстве [4], и по ней я увидала, как мало шансов мне сделаться художником. Не надо мечтать об этом.

19 ноября. Воскресение. Ясная Поляна.

Страшно боюсь тоски. Еще ее нет, но она надо мной висит, и я чувствую, что когда она захватит меня, то будет очень плохо. Главное — это одиночество, которое я гораздо более чувствую здесь, в своей семье, чем с чужими. Все это от разлада, который, как ни старайся его не видеть, лезет наружу каждую минуту.

За обедом мама́ упрекает папа́ в том, что на его корреспонденцию выходит слишком много денег, что пишут (он и Маша) и посылают всё пустяки. Папа́ сидит и молчит. Маша тоже. Маша больна — жар и кашель. Ест одни картошки. Мама́ предлагает ей выписать воды, чтобы пить с горячим молоком, Маша коротко отвечает, что не будет ничего пить. Теперь она лежит одна в своей комнате, мама́, конечно, не идет к ней, потому что все равно Маша не послушается ни одного совета и с досадой будет отвечать ей.

Надо поскорее понужнее де́ла, чтобы всей уйти в него и не заботиться ни о каких отношениях. Это ужасно разрывает душу — быть между людьми, которые ненавидят друг друга.

1890

11 июня. Ясная Поляна.

Ге привез сюда свою картину «Христос перед Пилатом», которая теперь и стоит у нас в зале. Папа́ очень ценит ее и хлопочет о том, чтобы она была послана в Америку и хорошо принята там, и для этого мы с ним пишем многим своим знакомым в разные города Соединенных Штатов [1]. Я ее больше люблю после того, как сжилась с ней. Раз даже, стоя с Ге перед ней и говоря о Христе, мне представилось, что он живой, и я не удивилась этому, а, глядя ему в глаза, поняла его.

Папа́ сегодня говорил, что единственная работа, которую человек должен делать, это, осознав всю свою мерзость, стараться от нее избавиться. Но мерзость свою надо сознать совершенно искренне, сознаваясь не только

в недостатках, которые считаются простительными (некоторые даже похвальными), а всю себя осудить без страха и жалости к себе.

10 августа.

Села за мою новую и очень интересную работу, которую папа́ мне дал. Она состоит в том, чтобы вести дневник всех получаемых писем, интересных газет, журналов и книг и по числам их вписывать в тетрадь [2].

В три часа мы поехали купаться, и на купальне мы встретили Ругина с одним еще «темным» [3]. Вечером пришел еще Пастухов, да еще Рахманов, так что у папа́ собралась целая толпа «темных», что бывает (странное совпадение) всегда, как только мама́ уезжает из дому.

16 сентября.

Сегодня перед обедом Толстые [4] уехали, папа́ поехал верхом на Султане на Козловку, а мы, четыре девочки, пошли к нему навстречу. Он нас поразил своей красотой,— как он хорошо сидит, как лошадь под ним хорошо идет.

Когда мы его встретили, он слез с лошади, отдал нам письма [5] и пошел немного пешком. Потом хотел сесть, но Султан так прыгал, что мы все закричали, чтобы он не садился. Он посмеялся над нами и опять пошел пешком, но когда отстал немного, опять хотел сесть, но кто-то из нас оглянулся, и мы опять подняли крик. Потом мы уже установили очередь, кому оглядываться, и так до саду не дали ему сесть. Было очень смешно, и, главное, было смешно, когда мы садом прошли, то увидали, что папа́ сел-таки на лошадь и домой поехал верхом.

23 сентября.

Сегодня с утра шел снег, но таял, дойдя до земли. Вчера приехал дедушка Ге и сегодня, так как воскресение и у нас с Машей нет уроков, то я просила ее позировать, чтобы написать ее. Мне особенно хотелось писать при Ге, чтобы он давал мне советы.

Общими силами мы одели Машу, поставили, приготовили все, и Ге велел мне начинать контур. Я сделала, он поправил, потом велел все быстро намалевать. Я подмазала фон, платье, волосы, лоб — он пришел посмотреть, все перемалевал и увлекся,— стал сам писать, и только изредка, довольно слабо, предлагал мне продолжать.

Но я отказалась, во-первых, для того чтобы не препятствовать тому, чтобы вышел хороший портрет, и потом потому, что смотреть, как он пишет, так же полезно, как писать самой, даже более, а главное, потому, что по чужому подмалевку писать невозможно. Он понимает, почему он что клал, и что́ он готовится положить сверху, а другому этого угадать нельзя.

13 октября.

Сегодня утром папа́ мне диктовал свою статью по поводу одной американской брошюры — «Диана» [6], в которой он говорит, что то влечение, которое существует между мужчиной и женщиной, совсем не должно удовлетворяться браком, а что оно совершенно удовлетворяется духовным общением.

17 октября.

Нынче весь день были разные разговоры, наводящие на серьезные мысли. Были Зиновьевы, отец и дочь, и Надя много рассказывала про свою жизнь, как ей бывает неприятно и унизительно до слез покупать разные платья и наряды и как многое в их доме ее коробит. Потом вечером, когда уехали гости, говорили о том, кто во что верит. Вера сказала, что она не верит в бога, и Алексей Митрофанович протянул ей руку и объявил, что он тоже атеист. Папа́ на это сказал, что все равно, во что люди верят и что́ они думают о будущей жизни, о божественности Христа, о том, куда пойдет душа после смерти и т. д., а что важно то, чтобы люди знали, что́ хорошо и что́ дурно.

25 октября.

После завтрака мы пошли с Машей и Верой пробежаться и зашли на деревню сказать нашим ученикам, что мы до понедельника не будем учить, так как собирались в Пирогово (впрочем, дождь и приезд Левы помешали нам).

На деревне мы встретили мама́, которая возвращалась с поездки к Сереже и Илье. Мы вернулись и пили с ней чай. Она рассказывала, что Сережа в очень хорошем настроении, живет аккуратно и целомудренно. По этому поводу мама́ рассказывала, что Сережа ей говорил, что почти все его товарищи, а именно: Всеволожский, оба Олсуфьевы, Татаринов, Львов, Орлов и еще кто-то, все — совершенно чистой и целомудренной жизни. Это меня очень удивило и так обрадовало, что я целый день об этом

думаю. Это должно быть так же естественно, как целомудренность девушек, но мы так не привыкли это слышать, что этому радуешься, как счастливому исключению.

У нас последнее время много об этом говорят и читают, потому что с тех пор, как появилась «Крейцерова соната», папа́ получает целые возы книг об этом вопросе. Сегодня почта принесла пропасть брошюр, которые я просмотрела и которые показались мне очень дельными, и журнал «The Alpha» [7] — все это из Вашингтона.

Сегодня приехал формовщик отливать бюст папа́ из гипса, и дедушка очень взволнован, все ходит смотреть, как идет дело [8].

4 ноября. Москва.

Папа́ эти дни так нежен и ласков с нами, девочками, что не могу без восторга говорить и думать о нем. Я часто думаю о его смерти и спрашиваю себя, что произойдет с нами или с ним, чтобы не так чувствовать все отчаяние и тупую безнадежность, когда это случится. Разве что если выйдешь замуж, то отвыкнешь от него, но, во-первых, зачем выходить замуж, когда он тут, а во-вторых, если и выйдешь, то будет страшный страх потерять с ним связь, и будешь стараться более, чем когда живешь с ним, сохранить ту нить, по которой мы чувствуем друг друга.

Я это пишу и думаю, что как часто бывает то, что целыми неделями я живу совершенно без всякого общения с ним и даже пропадает потребность этого общения. Это обыкновенно бывает тогда, когда я сознательно и даже иногда умышленно живу так, как он этого не одобряет, и с особенной храбростью подчеркиваю свой протест. Это обыкновенно бывает, когда кто-нибудь из его последователей окажется несостоятельным и только компрометирует его учение. Тогда мне бывает ужасно досадно, что папа́ их защищает, и тогда я стараюсь доказать, что я к числу этих «темных» не принадлежу. А иногда просто что-нибудь меня затянет в пустую жизнь, и тогда просто из добросовестности ее экзажированно* выставляешь напоказ, и выходит, как будто хвастаешь ею.

Мне стало завидно, что папа́ так нежен и заботлив к Маше (она нездорова), и я почувствовала себя одинокой и нелюбимой, и мне даже захотелось пойти и простудиться, чтобы испытать папашину нежность ко мне.

---

* преувеличенно — от exagérer (*франц.*).

27 ноября. Вторник. Москва.

Послезавтра еду домой и должна сказать, что с радостью заберусь под крыло папá, если только он меня не оттолкнет. Мамá тоже со мной нежна, и я рада буду ее видеть.

15 декабря.

Сейчас 10 часов. Через драпировки сквозит лунный свет, папá лежит у меня на диване и читает газету. Сейчас идем наверх чай пить.

17 декабря.

Вторая серия мыслей вчера была по поводу разговора, который папá имел с мамá третьего дня ночью. Он возник вот почему: Иван Александрович * поймал мужиков в краже посадки, и их присудили к шести неделям в острог. Они приходили просить, чтобы их помиловали, и мамá сказала, что ничего не хочет и не может для них сделать. Папá, после того как узнал об этом, сделался страшно мрачен, и вот третьего дня ночью он с мамá имел крупный разговор, и он опять убеждал мамá все раздать и говорил, что она пожалеет после его смерти, что не сделала этого для счастья их и всех детей [9].

Он говорил, что видит только два выхода для своего спокойствия: один — это уйти из дому, о чем он думал и думает, а другой — отдать всю землю мужикам и право издания его сочинений — в общую собственность. Он говорил мамá, что если бы у нее была вера, она сделала бы это из убеждения, и если бы была любовь к нему, то из-за нее она сделала бы это, и, наконец, если бы было уважение к нему, она постаралась бы оставить все как есть, не делая ему таких неприятностей, как эта. Все это мне вчера мамá рассказывала и очень была всем этим убита.

Я должна сказать, что почти всегда мне ее более жаль, чем папá в этих случаях, хотя страшно больно, жалко их обоих, и недоумеваешь, зачем они вдруг порождают так много горя для себя и для нас всех. Мамá мне более жалка, потому что, во-первых, она ни во что не верит — ни в свое, ни в папашино; во-вторых, она более одинока, потому что, так как она говорит и делает много неразумного, конечно, все дети на стороне папá, и она больно

---

* Ив. Алекс. Бергер, управляющий.

чувствует свое одиночество; и потом она больше любит папа́, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову. Главное ее несчастье в том, что она так нелогична и этим дает так много удобного материала для осуждения ее.

Лева был очень огорчен всей этой историей и говорил, чтобы отдать все к черту и que cela finisse *. Но я, представляя себе, что это бы случилось, все-таки думаю, что никакой разницы не было бы. Лева продолжал бы университет на стипендию, Сережа продолжал бы служить, Илья пошел бы в управляющие, Маша вышла бы замуж за Пошу, детей бы распихали по заведениям, я ушла бы в гувернантки, мама́ завела бы какой-нибудь пансион, папа́ бы, верно, жил с Машей и Пошей. В сущности, из-за внешнего положения, ничего бы не изменилось: все бы мы остались с теми же идеалами и стремлениями, только, пожалуй, в некоторых бы родилось озлобление за то, что их поставили в это положение.

По-моему, вопрос теперь разрешен наилучшим образом[19]. Зла никакого не сделано, у папа́ нет никакой собственности, другим он предоставляет делать, что́ они хотят, говоря свое мнение и показывая настоящий путь. Я понимаю, что ему минутами бывает очень тяжело, и мне особенно жалко, когда он этого не говорит, а я это вижу, особенно когда на него возводят какие-нибудь глупые, жестокие обвинения, вроде рассказов о том, какие бывают у него неприличные маскарады и какой он любезный хозяин при этом,— но ведь как он ни живи, всегда найдутся люди, не понимающие и осуждающие его.

1891

13 июл. 2 часа дня.

Папа́ — единственное утешение и поддержка в моей жизни, и я часто мучаюсь тем, что мало доставляю ему радости. (Вот как хорошо писать свой дневник,— последняя фраза пришла случайно и напомнила мне мою обязанность,— и так часто бывает, что, написавши на бумаге, укрепляешь в себе какую-нибудь мысль.)

Еще меня мучает мысль о его смерти, и я призываю на помощь все, что во мне есть религиозного, весь свой

---

* только бы это кончилось (*франц.*).

ум, логику, чтобы найти этому объяснение и сказать себе, что это не страшно, а если не радостно — то, по крайней мере, естественно. Третье, что и мучает и радует меня,— это то, что папа́ такого высокого мнения обо мне; он думает, что я и петь могу, и писать, и живописать. Он часто говорит, что он не понимает, отчего я не пою, а когда я послала свой рассказ в «Родник» [1] и его не приняли, он рассердился и сказал, что удивительно, какие бездарности стоят во главе редакций. Потом он несколько раз говорил мне, чтобы я готовила картину к будущей выставке. А Мишу Олсуфьева за то, что он не любит меня, он называет «болваном» и удивляется, чего еще ему надо. Мне все это очень приятно, но у меня вечный страх, что вдруг он увидит, как я плоха, и откажется от меня. С ним это может быть, потому что он очень не ровен в своих привязанностях.

22 мая.

Вчера вечером я была на террасе у Кузминских, и у них завязался оживленный разговор о цвете лица. Тетя Таня говорила, что она — профессор по цвету лица и что она советует то-то и то-то. Я хотела сказать им, что с тех пор, как они приехали, они расстроили нам всю жизнь, и что ни спокойной семейной жизни, ни живого разговора, ни чтения вслух при них ни разу не было, и что это очень тяжело, но воздержалась от этого и ушла к себе.

Да, мне очень обидно, главное то, что теперь у нас гораздо меньше общения с папа́. Недавно у него болели глаза, и он позвал меня в кабинет писать ему под диктовку, и он со мной начал новую повесть [2]. Начинается с того, что Марья Александровна, мать огромного семейства, под старость лет осталась одинока и пошла жить при монастыре. Папа́ мне сказал, чтобы я ему написала, как она выходила замуж, но где же мне, я даже не могу себе представить, как я могла бы это сделать. Теперь с приездом Кузминских я стала гораздо реже его видеть и не могу на это не роптать.

По утрам я пишу «Князя Блохина» [3], но без большого увлечения. Выходит средне, но папа́ хвалит и удивляется, как я могу схватить позу, и говорит, что я могу писать жанровые картинки. А я опять начинаю думать: зачем? И какие картины я буду писать? Что я могу сказать другим поучительного и нового? А без этого искусство не имеет смысла...

7 июня.

Вчера я кончила переписывать для папа́ его теперешнюю работу[4], и она произвела на меня совершенно обратное впечатление. Я пришла в восторг от этого сочинения, в такой восторг, что плакать хотелось, и показалось так радостно и желательно изо всех сил стараться жить для бога. Одно, что меня испугало в этом сочинении, это то, что я в нем нашла слишком много утешений и оправданий в своей эгоистической жизни.

Мне очень радостно, что я теперь доросла до того, что я понимаю все то, что пишет папа́, и инстинктом чую его внутреннюю жизнь и слежу за ней. Одно, что приводит меня в недоумение — это почему я так мало (даже совсем не) исполняю того, что я считаю хорошим? Я себя утешаю разными доводами, и один из них следующий: я думаю, что у меня еще не довольно здраво, ясно и гармонично сложилось мое миросозерцание и что пока сознание еще так шатко, жизнь по инерции продолжается по старым рельсам и ждет полной гармонии в сознании, чтобы измениться.

Папа́ сегодня дачным поездом ездил в Тулу на бойню[5] и рассказывал нам про это. Это ужасно, и, я думаю, довольно папашиного рассказа, чтобы перестать есть мясо. Я боюсь сказать, что наверное перестану, но постараюсь. Уж с поста я почти перестала есть мясо, и только когда в гостях или когда очень голодна, то позволяю это себе.

26 октября 1891 г. Ясная Поляна.

Мы накануне нашего отъезда на Дон. Меня не радует наша поездка[6], и у меня никакой нет энергии. Это потому, что я нахожу, что действия папа́ не последовательны и что ему непристойно распоряжаться деньгами, принимать пожертвования и брать деньги у мама́, которой он только что их отдал. Я думаю, что он сам это увидит.

Он говорит и пишет, и я тоже думаю, что все бедствие народа происходит от того, что он ограблен и доведен до этого состояния нами, помещиками, и что все дело состоит в том, чтобы перестать грабить народ. Это, конечно, справедливо, и папа́ сделал то, что он говорит,— он перестал «грабить». По-моему, ему больше и нечего делать. А брать у других эти награбленные деньги и распоряжаться ими,— по-моему, не следует[7]. Тут, мне кажется,

есть бессознательное чувство страха перед тем, что его будут бранить за равнодушие и нежелание сделать что-нибудь для голодных более положительное, чем отречение самому от собственности. Я его нисколько не осуждаю, и возможно, что я переменю свое мнение, но пока мне грустно, потому что я вижу, что он делает то, в чем, мне кажется, он раскается, и я в этом участница. Я понимаю, что он хочет жить среди голодающих, но мне кажется, что его дело было бы только то, которое он и делает,— это увидать и узнать все, что он может, писать и говорить об этом, общаться с народом, насколько можно.

Еще мне грустно то, что мама́ в Москве очень беспокойна и нервна и осталась одна с малышами. Лева в данную минуту здесь и в одно время с нами едет в Самару [8].

Да, еще, что меня огорчает,— папа́ говорит, что если нам нужны будут деньги, то он что-нибудь напишет в журнал и возьмет деньги [9]. Я ему не говорю, что́ я думаю, потому что, может быть, я не права, а если он сам будет это думать, то, во всяком случае, пока он до этого не додумается, он со мной не согласится. Он слишком на виду, все слишком строго его судят, чтобы ему можно было выбирать second best *. Особенно, когда у него уже есть first best **. Если бы я одна действовала, то с какой энергией я взялась бы за second best, не имея first best, а с ним вместе не хочется делать то, что с ним не гармонирует. Я рада, что у меня нет чувства осуждения и неприязни к нему за это, а только недоумение и страх за то, что он ошибается. А может быть, и я? — это гораздо вероятнее.

29 октября. Бегичевка.

Третьего дня приехали мы на станцию Клекотки, и так как была метель, то мы там переночевали на постоялом дворе. Вечером на меня напала ужасная тоска, беспокойство за мама́ и жалость к ней и беспокойство за папа́. Он кашлял, у него был насморк, и от вагонной жары он совсем осовел и тоже был уныл и мрачен. Я написала письмо мама́, пошла на станцию его опускать, и темная ночь, ветер, который распахивал и рвал с плеч шубу, еще более навел на меня тоску. И обстановка угнетательно подействовала на меня — гадкие олеографии на

* второстепенное добро (*англ.*).
** первостепенное добро (*англ.*).

стенах, безобразная мебель и обои, глупые книги. Я думала с замиранием сердца, что есть же на свете Репин, буду же я опять жить так, что всё, что есть нового, интересного — все, папа́ и мы, будем видеть, пользоваться этим и еще тем, что все это будет нам объяснено и как на подносе поднесено папа́.

Утром меня утешило то, что было тепло и тихо, и папа́ приободрился. В девять часов мы выехали: папа́, Иван Иванович [10] и старуха, которую они подвозили в одних санях, а мы четверо: Маша, Вера, я и Марья Кирилловна — на другой, самаринской, тройке. Снегу — чуть-чуть, и тот ветром весь сметен в лощины, лошади наши измучились ужасно, и мы устали от толчков, от жары, потому что мы оделись, как самоеды, так что мы в этот день ничего не сделали.

Вечером пришел Мордвинов, и говорили все вместе о том, что́ делать. Папа́ надоумил меня затеять работы для баб, о чем я сегодня с ними и говорила. У меня была эта мысль давно, без всякого голода, и, может быть, начавши это дело тут, я и в Ясной, и в окрестных деревнях сделаю то же самое. Потом Иван Иванович поручил нам школу. Нынешнюю зиму мужики не в состоянии содержать учителя, поэтому, пока мы тут, мы поучим. Я на это не смотрю серьезно,— если время будет, то я займусь этим — это будет средство ближе сойтись с народом и узнать правду о голоде. Иван Иванович показал нам записи тех столовых или «сиротских призрений», как они тут называются, которые он открыл. По ним видно, что прокормить человека, кормя его два раза в день, стоит от 95 коп. до 1 р. 30 к. в месяц. Ходят в эти столовые от 15-ти до 30-ти человек.

Часам к девяти Мордвинов ушел, и мы пошли раскладывать свои вещи. Нам, девочкам, предложили две комнаты в пристройке, а папа́ приготовили кабинет Ивана Ивановича, из которого он, впрочем, сегодня перебрался, так как не хотел лишать Ивана Ивановича его комнаты, а ему в маленькой удобнее: меньше убирать и дальше от шума. Маша устроилась с Верой, а я с Марьей Кирилловной, но она ушла от меня, отгородила себе уголок в сенях и просила ее там оставить. Это очень жаль, что между нами такая перегородка, и мне трудно ее разрушить; когда я вижу, что она с нами стесняется, то и мне с ней неловко, и я оставляю ее делать, как она хочет. Тут славный старик повар Федот Васильевич, который, против

моих стараний, старается откормить нас как можно лучше.

Мы легли рано и сегодня встали все к восьми часам. Кончивши кофе, мы было пошли с Верой на деревню, но нас задержали школьники, которые пришли нам показаться. Мы с некоторыми прошли в школу — маленькая грязная изба с земляным полом,— я там разобрала книги, поговорила с мальчиком и пошла в «сиротское призрение».

Раскрытая изба. Я вошла — страшный дым и угар, а вместе с тем холодно. Я поговорила с хозяйкой о моей идее покупать им лен, чтобы прясть холсты, которые бы я постаралась сбывать в Москве, и она и старуха, которая в это время пришла обедать, отнеслись очень сочувственно к этому. Мы сделали расчеты (которые еще надо будет проверить) о том, сколько нужно льна на сколько аршин, поговорили о том, где его купить, и я стала расспрашивать их о голоде. Тут еще пришло несколько старух. Потом та, с которой я сперва разговорилась, повела меня в избу, в которой она живет.

Изба большая, каменная, тоже так холодно, что дыхание видно. На столе самовар, чашки, сидит старик, еще свежий, его сын, жена сына, румяная полная баба, и брат его. Я спросила, почему у них так холодно, но они как будто удивились этому вопросу, верно, привыкли к такой температуре. Я спросила, чем топят? Торфом. Но торф плохой, как земля, так что его надо разжигать дровами. Дрова покупают кто побогаче, а то топят картофельной ботвой, собранным навозом, листьями, щепками — коечем. Я спросила, почему они в обеденный час пьют чай. Они ответили, что хлеба нет — есть нечего, так уж чай пьют. Чай фруктовый — маленькая коробка за 5 коп.

Сюда еще пришло несколько баб, и все румяные и здоровые на вид. Хлеба ни у кого нет, и что хуже всего — его негде купить. Соседка рассказывала, что продала намедни последних четырех кур по 20 коп., послала за хлебом, да нигде поблизости не нашли. Предпочитают покупать хлеб печеный, так как торфом трудно растопить печь до нужной для хлебов жары. Другая баба по моей просьбе принесла показать ломоть хлеба с лебедой. Хлеб чёрен, но не очень горек — есть можно. «И много у вас такого хлеба?» — «Последняя краюшка» (сама хохочет).— «А потом как же?» — «Как? — помирать надо». — «Так что же ты смеешься?» Эта баба ничего не ответила,

но, вероятно, у нее та же мысль, которую почти все высказывают: правительство прокормит. Все в этом уверены и поэтому так спокойны. Наташа говорит, что она видела в некоторых уже нетерпение, озлобление и ропот на правительство за то, что оно не оправдывает их ожиданий.

До обеда пошла я в Горки — это деревня в полуверсте отсюда. Там в «сиротском призрении» уже шел обед. Это устроено так же, как и в Бегичевке, у вдовы. Маленькая курная изба, довольно теплая. За столом больше десятка детей, чинно подставляя хлеб под ложку, хлебали свекольник. Дети миленькие, довольно здоровые, но у некоторых взрослое, серьезное выражение лица, которое бывает у детей, много испытавших нужды. Тут же стояли старухи и дожидались своей очереди. Я заговорила о том, как они живут, сделала несколько вопросов. Одна старуха стала отвечать мне, рассказывать, как ей плохо, что нигде не подают, да еще упрекают,— это ей, видно, было очень обидно. Рассказывала, что только и жива этой столовой и что до обеда бывает очень голодно, так как дома ничего нет. «Кабы тут не кормили, то хоть рой яму побольше да ложись в нее все вместе». Старухи, слушавшие ее, все стали плакать, а когда хозяйка нам сказала, что они всё спрашивают, за кого им бога молить, то они все захлипали, заохали, стали креститься и приговаривать. Я посмотрела, чтó еще дали детям: после свекольника (холодного) дали еще щей, и похлебку, и по куску хлеба.

Приехала Маша и рассказала несколько интересных вещей, между прочим, что дети сперва не хотели верить, что хлеб с лебедой — хлеб, говорили, что это земля, кидали его и плакали. Теперь привыкли. Еще одна говорит, что там много изб уже без крыш — их уже протопили, и теперь начинают ломать дворы и ими топить.

Вечером приходила баба, старалась плакать, выпрашивала платья, денег, просила холсты купить, и мне показалось, что она пришла только потому, что слышала, что мы приехали помогать, боится пропустить случай выпросить что-нибудь. Я ничего ей не дала и сказала, что спрошу о ней Ивана Ивановича. Она думала, что я хочу просить принять ее в «сиротское призрение», и с гордостью и хвастовством сказала, что она не пойдет туда есть. Я спросила — почему? «Нет, матушка, что же это, у меня муж есть, как можно!» Видно, это считается стыдом. Тем лучше. Я боялась, что эти столовые будут слишком заманчивы и что будут приходить есть те, которым и не

большая нужда,— а так выходит, что только те, которым уже крайность, придут.

Читаю Robert Elsmere[11] и поймала себя на том, что, когда читаю места, где описывается интересное общество, музыка, литературные кружки и вообще свет, я с удовольствием переношусь мысленно туда и думаю, что не всегда же я буду жить в глуши, что будет время, когда я увижу и хорошие картины, и цивилизованных и культурных людей, и услышу музыку. Пока меня не тянет отсюда, и я рада, что тут; я считаю своей обязанностью принять на свои плечи долю тяжести этого года, и потом, главное, папá тут и многое мне заменяет. Но и весь тот мир заманчив, и если бы навсегда отказаться от него — было бы тяжело и скучно, безнадежно скучно жить.

31 октября. 10 часов утра.

Вчера встала часов в восемь. Немножко переписывала для папá[12], скроила себе бумазейную кофту и пошла с Марьей Кирилловной в Екатериненское. Сперва нам показали дорогу не в то Екатериненское, в которое мы хотели идти, и мы даром слазили на Горки и назад. Погода была прекрасная, солнце светило и морозило. Снегу все нет. Перешли мы опять Дон, вошли в деревню, и я спросила первых попавшихся трех ребят, где «сиротское призрение». «Пойдемте,— говорят,— мы сами туда идем». Двое мальчиков от 10-ти до 12-ти лет и девочка много поменьше, которая, всунувши руки в рукава, бежала около них. Крошечные ножонки в маленьких чунях.

Пока мы шли на тот край деревни, где столовая, дети забежали еще за другими детьми, и, пока мы дошли, уже собралось детей десять. Все одеты очень плохо. Особенно трое детей из двора Соловьевых. На них оборванные казинетовые поддевочки, которые от локтя и от талии в лохмотьях. Старшая девочка ведет четырехлетнего брата за руку. Другую ручонку он засунул за пазуху,— лицо синее и испуганное, тоже рысью поспевает за сестрой.

Пришли мы в «сиротское призрение» — там уже народу пропасть набралось. Эта деревня большая, 76 дворов, и многим отказывают в «сиротское призрение». Тут же на лавке стонет больная, кривая старуха. Она — побирушка, из другой деревни, здесь ее собака повалила, и у нее после этого ноги отнялись. Принесли ее в «призрение», и вот она тут лежит с месяц. На ней прямо на голое тело надета рваная кофта. В избе ужасный смрад от торфяной

топки. Старуха там несколько раз угорала. Зовет смерть и жалуется, что она не приходит. Сидит на нарах, один глаз белый, худая длинная шея вся в морщинах, говорит слабым голосом и немного трясет головой в одну сторону. Хозяйки еще не было, когда мы пришли. Мы не стали ее дожидаться, тем более что Марью Кирилловну стало тошнить от этого запаха и смрада, и мы пошли домой.

По дороге прошли мимо мужика, который веял гречиху, другой с бабой молотил овес. Я с ними поговорила. Они говорят, что это — последнее и что это оставят на семена. Из одной избы вышла баба, как все тут — очень коротко одетая, сарафан чуть-чуть ниже колен, босая. Я с ней поговорила и вошла к ней в избу. Тут сидит ее муж и трехлетняя дочка. Двое детей ушли в «призрение» обедать. Девочка бледная, все время хнычет и показывает пальцем куда-то, точно просит чего-то. Я спросила, обедали ли. «Нет еще».— «А что есть будете?» — «Хлеб».— «Какой, покажите». Хозяйка принесла черный, как земля, хлеб с лебедой. «Ну а девочке что?» — «А девочке картошки есть». Она вынула из печки на блюдце глиняном несколько картошек и очистила одну девочке. Та стала ее есть, но не переставала хныкать. Лицо у нее грустное и взрослое.

Баба говорит, что она была хорошенькая, веселая, ходила уже, и даже рысью бегала, а теперь перестала. Я спросила, больна ли она чем-нибудь. «Нет,— говорит,— помилуй бог,— а так себе, все плачет». Я с бабой поговорила о моем плане насчет холстов, и она так же сочувственно отнеслась к этому, как и другие. От нее пошли мы домой, и только зашли к старосте спросить, где, по его мнению, можно устроить еще «призрение». Тут еще старуха пришла просить ее принять есть.

После обеда Иван Иванович дал нам списки лиц, судьбу которых он поручил нам узнать для того, чтобы о них дать сведения в Красный Крест. Я взяла список Екатерининских бедных и пошла опять туда. Надо было узнать положение трех семей.

Первая мне показалась не особенно жалка. Однодворец с женой, матерью и четырьмя детьми,— один болен. Топить нечем, есть нечего, но в избе тепло и на столе лежит полковриги хлеба с отрубями. Он жил прежде у Ивана Ивановича, но теперь на заводе работы нет, и ему негде достать заработок. Тут я встретила бабу, которую утром видела в столовой. Она повела меня к себе

в избу. Изба крошечная, в одно окно, холодно так, что дыхание видно. «Чем же ты топишь?» — «Катятьями, набрала с осени да теперь по решету и топлю».— «А их-то хоть осталось?» — «Да есть еще на потолке».

Лавок нет, одна скамейка. Пока я у нее сидела, влетела ее дочь с криком и сердитым плачем: «Издохла-а!» Руки у нее были синие, и она, сложивши пальцы, старалась их во рту согреть. Мать сейчас же стала ее обшаривать, так как девочка только что пришла с мельницы, куда ходила просить. За пазухой у нее нашелся кусок пеньки и в кармане другой,— муки никто не дал. Я сообщила бабе, что́ мне Иван Иванович сказал, когда я ему говорила, что надо бы открыть другую столовую в Екатерипенском,— а именно, что не только другую не откроют, но и в этой кормят последний день. Баба совсем оторопела. «Что же, нам помирать теперь?» Я ее утешила, что будут хлеб раздавать на руки и что я похлопочу о том, чтобы и столовую опять бы открыли. Я это и хочу сделать.

От нее пошли мы к старику со старухой. Они двое живут в избе, он на печке лежит — болен. Изба тоже очень мала, темна и холодна. Они — безземельные, так что у них ничего нет...

6 ноября. 11 часов утра.

Если бы я верила в предчувствие, я сказала бы, что предчувствую что-нибудь нехорошее, потому что у меня постоянно какое-то тяжелое, тревожное чувство, которое совершенно беспричинно и которое сильно гнетет меня, особенно по вечерам. Я не даю ему ходу, а то бы оно разрослось до огромных размеров. Мама́ меня беспокоит, Лева в Самаре тоже часто меня тревожит, а за папа́ такой страх, что если он уйдет гулять и долго не идет или если он ест что-нибудь вредное, то я чувствую нытье и боль в сердце и хочется, как страус, спрятать голову в песок и ничего не слышать и не видеть.

Де́ла тут так много, что я начинаю приходить в уныние, — все нуждаются, все несчастны, а помочь невозможно. Чтобы поставить на ноги всех, надо на каждый двор сотни рублей, и то многие от лени и пьянства дойдут до того же. Тут много нужды не от неурожая этого года, а от тяжкой жизни! Дело все в том, как папа́ говорит, что существует такое огромное разделение между мужиками

и господами и что господа держат мужиков в таком рабстве, что им совсем нет простора в их действиях. Я думаю, что такое положение дел, какое теперь, не долго останется таким, и как бы нынешний год не повернул дела круто!..

Тут часто слышится ропот на господ, на земство и даже на «императора», как вчера сказал один мужик, говоря, что ему до нас нет дела, хоть мы все издыхай с голода. Еще известие в этом роде привез вчера Иван Иванович. Ему рассказывали, что несколько мужиков из соседней к Писареву деревни собрали 20 рублей и поехали в Москву жаловаться на него Сергею Александровичу. Говорят, их за это засадили.

А тут еще вышел этот идиотский и жестокий циркуляр министра, который Зиновьев всем рассылает, о том, чтобы земство помогало только тем мужикам, которые этого *заслуживают*, и лишало бы помощи тех, которые откажутся от каких бы ни было предлагаемых работ. Так что если мужика будут нанимать ехать отсюда до Клекоток (30 верст) за двугривенный и он сочтет это невыгодным, то его надо лишить всякой помощи и оставить умереть с голода. Это ужасно, что эти люди, сидя в своих кабинетах, измышляют. И ведь эти меры применяются на мужиках, которые во сто раз умнее всех Зиновьевых и Дурново и с которыми обращаются, как с маленькими детьми, рассуждая, заслуживают ли они карамельки или нет.

Получила в прошлую почту письмо от Репина. Он пишет, что мои письма для него — большая радость [13]. Я бы желала знать, такая же ли, как его письма для меня? Как он ко мне относится и что обо мне думает,— мне это очень интересно.

Мне он очень интересен как художник и мил как человек. Но я чувствую, что, хотя я ему — друг, он мне другом быть не может. Да он, верно, и не хочет. Ему льстит мое участие в нем и дружба к нему, льстит, что я дочь папа́ и что через меня у него отношения с папа́ поддерживаются, и, кажется, он считает меня умной. Я всем этим довольна.

В Ясной под конец его пребывания тетя Таня стала намекать на то, что у него больше, чем простое участие ко мне, и что он уезжает от этого. Зося говорила то же самое, и мне самой минутами казалось, что в наших отношениях было что-то не то. Но теперь через переписку [14]

мы установили те отношения, которые желательны, и я ни за что их не потеряю.

Он пишет мне о своих картинах — как мне интересно, что́ он думает и чувствует, пиша их! Перед отъездом он мне прислал фотографии с целой серии своих картин, и, глядя на них, я недоумевала: откуда все это берется? Сам он такой нерешительный, даже можно подумать, что слабохарактерный, и вдруг такие сильные, смелые и оригинальные вещи. Откуда это берется? Положительно, талант — это какая-то сверхъестественная, стихийная сила; как-то она выливается не только бессознательно, но почти что помимо воли человека.

Сегодня метель, но все-таки придется идти в Екатериненское открывать столовую. Как много жалких людей! Редкий день Маша или Вера не ревут, и меня, хоть я и потверже, иногда пробирает. На днях зашла к мужику в избу — пропасть детей, есть совсем нечего. В этот день с утра не ели. Протопили стену избы, вместо которой мужик подвел мазаную каменную. «Сколько детей у тебя?» — «Шестеро».— «Что же нынче ели?» — «Ничего с утра не ели, пошел мальчик побираться, вот его ждем».— «Как же это? детей-то жалко».— «Об них-то и тоска, касатка». Мужик отвернулся и зарыдал.

7 ноября. 11 часов утра.

Только что приехали от Мордвиновых, где ночевали, так как от метели не могли вернуться. Туда пошли пешком по Дону против ветра по сильной метели, а оттуда уже нельзя было добраться.

Мама́ написала письмо в «Русские ведомости» [15], вследствие которого в один день ей принесли около 400 рублей да еще Страхов дал сто. Кроме того, поспектакльная плата с «Плодов просвещения», которые дают полные сборы каждый день, определена тоже в пользу голодающих. Но самые грандиозные пожертвования придут к нам, вероятно, из Англии, так как папа́ получил письмо, в котором ему предлагают принимать английские пожертвования [16]. Папа́ написал, что он согласен и что те деньги, которые не понадобятся тут, он передаст в земства более нуждающихся губерний. И опять мне не нравится сочетание папа́ с деньгами. Il y a quelque chose qui cloche *. Совет богатой девушке — сжечь 200 ты-

---

* В этом есть что-то зазорное (*франц.*).

сяч — гораздо более гармонирует с его взглядами. А тут есть компромисс, хотя я ясно не могу выразить, в чем он заключается.

Вчера и сегодня я ничего не сделала — это меня мучает. Целых два дня (кому-то) быть голодным из-за того, что мне беспокойно было вчера отпустить папа́ одного к Мордвиновым, а сегодня совестно второй раз велеть закладывать, это не резон, и если только возможно будет, то после обеда я пойду или поеду в Екатериненское открыть столовую.

Метель сильна, так что, пожалуй, меня не отпустят, ну, тогда надо написать то, что я хотела, в газеты, о том, как я намерена употреблять присланные деньги. Я уже получила денежное объявление на 6 р. Тут надо самолюбие и литературу откинуть, а написать попроще и как можно правдивее все, что я вижу, потому что это необходимо нужно. Во-первых, многие, которые говорят, что нет голода, узна́ют, насколько он есть. Во-вторых, на деле испробовав такой способ помощи, как столовые, надо сообщить о нем подробности, и, может быть, другие последуют нашему примеру. А в-третьих, может быть, это вызовет в некоторых жалость и желание помочь, что всегда желательно.

Тут страшно холодно, так что даже писать трудно.

7 часов вечера. Хотя было трудно, но я пошла в Екатериненское после обеда и рада этому. Назначила избу, в которой будет столовая, и сходила к старосте, чтобы сказать ему — назначить очередную подводу за провизией. Видела нескольких мужиков, и сегодня еще новая сторона голодного вопроса открылась мне — это то, что крестьяне все приготовились к тому, что проедят к весне свою землю, поэтому не берегут ни лошадей, ни семян. Положим, что если бы они и хотели, то не могли бы. Что-то будет?

Я часто думаю о том, чем этот год кончится, и не могу себе представить, что́ будет с мужиками. Ведь в их хозяйстве камня на камне не останется. А кулаки, купцы, разные мельники и др., которые теперь за крошечные деньги купили и хлеб и скотину, разживутся на этом и поработят себе мужиков совершенно, если только они это допустят и не восстанут против этого, что очень возможно и вероятно.

Получила письмо от Оболенского,— цензура делает ему какие-то затруднения с его сборником, но он надеется их пересилить [17].

Сейчас приходит мужик и говорит, что два дня не ел. Скоро таких будет много.

Еще признаки нищеты — это то, что вечером в редкой избе виден свет...

8 ноября. 10 ч. вечера.

Поужинали и разошлись уже по своим комнатам. Утром я написала мама́ и читала письма, присланные из Чернова: от мама́, от Апухтина и др.

Мама́ пишет о том, что статью папа́ пропустили [18], она обедала со Страховым у Фета, где читали и очень одобрили эту статью. Апухтин пишет папа́ о том, что для него личное горе то, что папа́ из художника сделался проповедником и что его проповедь умрет с ним, тогда как его художественные вещи будут всегда иметь влияние на жизнь и развитие людей. Письмо очень вежливое и, видно, осторожное и, насколько ему возможно, обдуманно написанное, но видно, что писал его сибарит, которому досадно, что у него хотят отнять все его наслаждения. Он ужасается тому, что папа́ может писать, что «не надо есть вкусное». Для него всякое лишение не есть радость, а нечто возмутительное и несправедливое. Он пишет, что зачем надо делать так, чтобы самому было хуже, а не стараться, чтобы другим было лучше. Как будто, когда отдаешь свою жизнь на то, чтобы другим было лучше, можно иметь свои удобства и наслаждаться разными мирскими удовольствиями [19].

Приехали из Москвы Ваня и Петя Раевские и И. Ал. Бергер. Мама́ пишет с ними, что все четверо детей в жару, но что Филатов говорит, что это инфлуэнца, которая через три дня совершенно пройдет.

Мама́ принесла более 3-х тысяч рублей, и она присылает нам: 1000 от Морозова и 273 за статью папа́ в «Русских ведомостях». Меня опьяняет это количество денег, но и неприятно,— куда мы их все денем, как распределим.

Сегодня приезжали из Екатериненского за запасами, и завтра мое «призрение» откроется, но надо будет открыть там же другое, а то велика деревня — 76 дворов.

11 часов. Спать хочется, а надо бы написать Репину, Соне Мамоновой и кончить письмо к Свечину, которое папа́ поручил мне написать ему, чтобы сообщить о том, что́ у нас делается, и спросить, как употребляется у него

кукуруза. Папа́ ввел в здешнем «призрении» овсяный кисель, который имел большой успех. Он питателен и дешев, так что мы хотим везде его ввести.

Сегодня Иван Иванович нашел купить дров, чему очень рад, а то торфом не умеют топить, а может быть, и нельзя. Иван Иванович выписал пекаря из Епифани и делает разные пробы хлеба с суррогатами. Самый лучший вышел с картофелем — на два пуда муки два пуда картофеля, которого предварительно варят и протирают, и выходит чудесный хлеб. Нам его подают к обеду, и разница с чистым хлебом незаметна. Выгода его в том, что он дешевле и что тогда как картофель нельзя перевозить в мороз, хлеб — можно. Пробовали печь хлеб с свекловичными отбросами, которые на сахарных заводах продаются по две коп. за пуд и которые содержат в себе много питательного, но первая проба не вышла,— хлеб сел и вышел мокрый; а теперь попробуем из них варить борщ. Был поднят вопрос о том, можно ли варить мерзлый картофель и свеклу, сделали пробу, и вышло, что если его не оттаивать, а прямо варить, то разницы нет с немерзлым.

Многому научит нынешний год. Чем только он кончится?..

9 ноября. 2 ч. дня.

Ходила сегодня утром в Екатериненское, и по дороге домой мне пришло в голову попробовать открыть хоть одно «призрение», не делая списков для приходящих едоков, а пускать всех, кто только захочет прийти. Мне пришла эта мысль, потому что я почувствовала, что мне совестно иметь участь этих людей в своих руках и рассуждать du haut de mon lux *, кто более и кто менее голоден. Вообще мне никогда не было так стыдно быть богатой, как это время, когда приходят ко мне старухи и кланяются в ноги из-за двугривенного или куска хлеба. А у меня в столе сотни рублей, от которых зависит их судьба. Нет, не следует иметь деньги, что-то тут не то. Недаром так стыдно всегда иметь дело с деньгами...

Папа́ очень одобрил мой план о том, чтобы пускать в столовую без разбора, а Иван Иванович боится, что будет беспорядок, но тем не менее я это попробую. Выберу

---

* с высоты моей роскоши (*франц.*).

для этого Горки, так как они близко и хоть каждый день можно ходить туда. Папá говорит, что его первоначальная идея такая и была.

Воскресение. 17 ноября. 12 ч. ночи.

У меня жар — 38,4, но состояние довольно приятное. В голове какой-то гул — вуу, вуу, и виски стучат. Днем у меня так сильно болела спина, что я, лежа на постели, плакала от боли, нетерпения и злобы. Папá пришел, попросил Марью Кирилловну растереть меня, после чего я заснула.

Вчера вечером папá, он [20], Богоявленский, Чистяков и я много говорили о том, что ждет Россию, и хотя папá говорит, что, сколько мы ни старайся, а все же впереди крушение, — меня это не приводит в уныние. Слушая других и сама соображая, я не могу с этим не согласиться, а все-таки есть какая-то надежда на то, что если побольше людей будет выбиваться из сил, чтобы сделать что-нибудь, то найдутся еще люди, которые последуют их примеру, и, может быть, крушение минует. Меня пугает то, что эта бедность и голод есть способ для очень многих поработить себе людей, и кончится это тем, что или опять будут рабы хуже крепостных, или будет восстание, что, по-моему, по духу времени, вероятно.

Я вчера разговаривала со всеми этими людьми и подумала, что ведь только очень недавно я стала на положение большой, — что серьезные люди сообщают мне свои мнения и взгляды и спрашивают мои. Положим, я очень недавно стала их иметь сама.

Папá стал часто говорить и пишет в своих письмах, что дело, которое он делает, не то [21], а что это уступка. Я этому рада, — значит, я не ошиблась.

Пожертвования мы продолжаем получать, и меня все это пугает. У нас теперь 17 столовых. На днях я ездила с Чистяковым открывать столовые в двух дальних деревнях — Грязновке и Заборовке. Последняя особенно бедна. Почти все протопили дворы. У некоторых их и не было. В одну такую избу я вошла. Муж, жена, пятеро детей. Земли — на одну душу. Изба не своя — нанимают у брата за 7 руб. в год. Отец с дочерью пасли скотину летом, получили 35 руб., которые прожили. Теперь ничего нет. Когда соседи дадут хлеба взаймы, тогда он и есть. Я им сказала, что открывается «призрение» и чтобы они посы-

лали детей. Они обрадовались и благодарили. Я вспомнила, что мне в другой избе сказали, что у них на семерых — одни лапти, и спросила, в чем они ходить будут? Мужик взял девочку на руки, запахнул полой полушубка и говорит: «А вот так и буду их туда носить».

Со мной была моя шаль, я ее отдала им. Они сперва остолбенели — не поняли, что я ее отдаю им, а потом, как все теперь, которым что-нибудь даешь, заплакали. Мне было приятно отдать эту шаль, и вот это — единственно возможная благотворительность — отдать *свое* — и не свои деньги, а то, что мне нужно и чего я лишаюсь для другого. И это зависти не возбуждает: отдала, что́ есть, — другой шали на мне нет, так и никто не спросит ее и не будет ожидать. Теперь я отдаю шить поддевочки — это совсем будет другое, всякий, кто узнает, что они у меня есть, будет бояться пропустить случай выпросить их у меня, и я не сумею выбрать того, кому они более всего нужны. В Заборовке почти все дети раздеты и разуты, и вот там-то придется мне с этими поддевками распоряжаться.

Рядом с избой, о которой я писала, стоит такая же, но еще меньше и с одним окном. Я зашла и туда — там хозяина нет. Баба больная (по-моему, чахоточная) кормит ребенка. Тут же дети постарше и девка-соседка. Баба рассказала мне, что со вчерашнего дня не ели, дети голодные, муж ушел на мельницу молоть 1 пуд ржи, которую им вчера выдали. Баба плачет, рассказывая это, девка слушает, и у нее слезы тоже так и капают. У старших детей не по годам серьезное и грустное выражение лица — только маленький, грудной улыбается и хватает мать за рот и подбородок, чтобы обратить на себя ее внимание.

Мне дети особенно жалки. Вчера я ходила проведывать троих, которые вторую неделю больны рвотой и поносом. Лежат все рядом на печи такие покорные, жалкие, бедные. Мать — вдова. Сегодня она приходила ко мне,— я ей дала круп, чаю, баранок, лекарства и гривенник на хлеб. При каждой вещи, которой я давала, она принималась все сильнее и сильнее плакать. Жалкий, жалкий народ. Меня удивляет его покорность, но и ей, я думаю, придет конец.

Елена Павловна говорит, что в Москве удивляются, что мы не боимся тут жить, а мы все ходим одни и, кроме

самого ласкового отношения, ничего не видим. Вообще понятие горожан о том, что́ тут делается, совершенно превратно. Мне очень хотелось бы написать в газеты многие свои наблюдения, но не хватает умения. Между прочим, хотелось бы заявить, что вот уже три недели, как я живу тут, и ни одного пьяного не видала.

У меня последние дни пропало то тяжелое чувство — беспокойство, которое было в первые дни приезда сюда. Это было просто беспокойство за мама́. Теперь она спокойна и здорова, и у меня прошло это. Я соскучилась по ней и по детям и съездила бы в Москву,— но мама́ не велит мне оставлять папа́, да и скоро мы все, вероятно, съездим. Я боюсь в Москве увлечься учением живописи и не пожелать вернуться сюда,— но я себя принужу, если это случится.

1893

10 июля. Ясная Поляна.

Сегодня более чем когда-либо я убедилась в том, что талант не может развиваться без врожденной способности и усиленной и напряженной работы. Я не знала ни одного талантливого человека, который бы не работал над формой своего искусства усиленно, напряженно, ежедневно. Ближе всего я видела, как папа́ одну фразу переделывает по несколько раз,— то так, то иначе, то опять так, и так без конца,— и как Репин над своей живописью поступает таким же образом. Поэтому я думаю, что никогда я не добьюсь какой бы то ни было степени совершенства; у меня нет этой способности, нет того, чтобы я придавала форме такого значения. Я часто удивляюсь, что в папа́ это так сильно. Я это объясняю тем, что когда любишь содержание, то хочется его облечь в самую совершенную форму.

6 сентября.

Папа́ говорит, что в живописи, музыке и литературе есть по одному большому «sham» *. В живописи — Рафаэль; в музыке — Вагнер, а в литературе — Шекспир.

* притворщику (*англ.*).

4 декабря.

Папá давно мне говорил и Жепя[1] писал в своем дневнике, что проверить себя всегда можно тем, чтобы представить себе, что последний день живешь на свете,— но я это плохо умею. Никак не умею представить себе, что вдруг я умру, меня не будет?

28 декабря.

Вчера вечером он пришел ко мне в комнату и между прочим рассказывал, что ходил с папá гулять и жаловался ему на то, что скучно жить,— то есть не скучно, а что жизнь не призывает, не захватывает,— как будто ее нет. Папá ему ответил, что иногда так живешь — без борьбы — целый год или года только для одной минуты. Это правда.

1894

24 января. Гриневка[1].

Вчера мы на станции долго сомневались, ехать ли нам, так как сильно мело. Мы оба были в нерешительности и как-то вяло решили ехать.

Но как только мы выехали, на меня напал ужасный страх и тоска. Во-первых, мы забыли валенки папá, он был в одних башмаках и калошах. Как поехали мы: вьюга, темнота, то сугробы, то голая земля, ветер свистит, снег так и крутит,— я ужасно оробела и стала себя упрекать в том, что я, с своими эгоистическими мыслями, совсем о папá не забочусь, забыла его валенки, не настояла, чтобы остаться ночевать, боялась, что придется вылезать из саней, он простудится и заболеет, и думала: «Вот мне наказание за мой эгоизм».

Но все обошлось благополучно. Нам было тепло, вешки были видны, и мы успокоились и разговаривали.

Говорили о предполагаемых гонениях на «Посредник»[2]. Папá говорил, что нам непонятны люди правительственные, так им непонятны и, кроме того, страшны люди, как «посредниковцы», которые почти ничего не потеряют, если их сошлют или заключат. Они ничем не дорожат, ничего у них нельзя отнять: ни удобств никаких, ни вина, ни папирос, ни женщин, поэтому у них нет ничего, из-за чего они пошли бы на компромиссы и чем можно было бы их подкупить.

26 января.

Сейчас говорили долго с папа́. Но не могли говорить всею, потому что меня душили слезы, и я не могла отвечать то, что хотела. Он говорил про свое писание, что он от близости смерти совершенно свободно к нему относится и об одном только думает, чтобы писать то, что́ он знает и чего другие не знают,— и так как ему не мешают ни тщеславие, ни страх, ни что-либо подобное, то ему это легко. И что вообще надо так к жизни относиться. Не помню, как он вызвал меня на то, чтобы я сказала ему про себя, что меня мучает больше всего раздвоение, которое я постоянно испытываю. Например, у меня давно готовится решение к вопросу о собственности, и что совершенно искренне и сознательно я хотела бы и считаю нужным от нее освободиться, а вместе с тем вдруг мелькнет мысль о том, что я буду делать такие портреты, за которые мне будут платить тысячу рублей, и вдруг завидно, что у кого-нибудь хорошие лошади и т. д. И постоянно так. Здесь, глядя на этих детей[3], много думаю о воспитании, и тут опять все мои мысли путаются и двоятся. Папа́ говорит, чтобы об этом не отчаиваться, и что это только значит, что происходит работа.

Потом почему-то (ужасно я тупа сегодня, ничего не помню, а хочется записать, что папа́ говорил) перешли на разговор о любви и замужестве. Я сказала, что в этом вопросе то же самое, как с деньгами, и папа́ спросил: «Что же тверже?» Я сказала, что в любви тверже. Он обрадовался и переспросил и потом сказал, что мы, девушки, недостаточно ценим своей чистоты, что мы представить себе не можем, какое это падение и для мужчины и для женщины это физическое отношение, и что это на всю жизнь дает отпечаток. Я ему сказала, что я это знаю и всегда чувствовала — сначала инстинктивно, а потом более сознательно, и что всегда буду рада, что не вышла замуж. Папа́ говорит: «А сама всегда готова влюбиться». Я сказала, что это правда, но что я себя никогда не допустила до этого.

Папа́ говорит, что ему иногда жалко меня, что я не испытала радостей замужества и материнства особенно, что просто хотелось бы мне дать пососать этот леденец. Но я думаю, что я не могла бы им наслаждаться.

Этот разговор меня успокоил и утешил, точно погладил по головке. Иду спать. Мне жаль, что я очень поглупела за это время. Жизнь одна только, а я ее так бесполезно трачу.

27 января. Четверг.

Папá сегодня говорит мне: «Таня, отчего мне так грустно?» Я ничего не могла сказать ему, но упрекнула себя в том, что это я на него навожу тоску, бессознательно, гипнотически [4].

Папá со мной очень ласков, спрашивает: «Отчего ты худеешь?» Сейчас убеждал меня поесть что-нибудь, выпить молока, велел Соне [5] кормить меня,— «а то она чахнет», и потрепал меня по затылку.

29 января.

Папá вчера велел нам петь. Сейчас Соня придет, и я буду ей аккомпанировать. У нее милый голос, и первые дни она мне душу растерзала.

Папá написал Леве хорошее письмо, которое я списала [6].

На днях мы с ним на дворе встретились и разговорились, и оказалось, что мы думали о том же самом. То есть нас поразило количество рабов, работающих на господ. И здесь это особенно поразило нас, потому что мы оба смотрим на Илью как на ребенка, а в его власти люди серьезные, терпеливые, заморенные, и от него зависит делать с ними, что он хочет. Я подумала, что в Овсянникове моим именем властвует там Иван Александрович [7], и это опять навело на мысли о собственности и о том, что нужно непременно от нее отделаться. Я знаю, что мне было бы гораздо легче и радостнее, сделав это, но почему-то страшно на это решиться [8]. Страшно, главное, от того, что я думаю, что я вдруг перестану думать, как теперь, и мне будет жаль того, что я сделала.

31 января.

Сейчас говорили с папá о его дневниках. Просила его когда-нибудь дать мне которые-нибудь из них прочесть, и он сказал: «да», хотя пишет он так, чтобы никому не читать. Я спросила: «А после смерти?» Он сказал: «Тогда разумеется». Соня говорит: «Только не печатать?» Папá говорит: «Не знаю». Я: «Это завещается мне и Маше?» Папá: «И Черткову». Папá говорит, что никто, как Чертков и Русанов, его не понимают. Русанов с более художественной стороны [9], Чертков — с моральной. И что Чертков даже с излишним уважением всё подбирает, что его касается, но зато ничего не упустит [10].

Потом мы почему-то говорили о моих романах, и папá считал моих женихов,— насчитали десяток. Папá порадо-

вался, что я так благополучно прошла мимо их всех, и пожелал мне того же вперед.

Чувствую, что из меня понемногу выходит все московское утомление, от него я здесь отдыхаю и переживаю дни совсем апатичные, вялые, пустые. Папа́ говорит, что внутренняя работа происходит иногда очень глубоко и не ощутительна, пока она совершается. Велел мне не унывать. Но я не унываю и сказала ему это.

Папа́ написал хорошее письмо К. Бооль об унынии [11], я его и несколько других списала.

С ужасом думаю о Москве. Опять это напряжение нервов с утра до ночи. Рисование, в которое все-таки кладешь все, что есть, внимания и напряжения; дела папа́ — переписка, разные проверки, иногда переводы; и в промежутки — гости, гости без конца. Придешь из Школы, — ни пообедать спокойно, ни прочесть что-нибудь, ни письма написать — ничего не дадут. Только и одиночества, что идешь с Мясницкой домой пешком. Папа́ говорит, что надо видеть и ценить преимущества этой общественной жизни. А мне жалко, что жизнь так проходит пустая, никому не нужная и еще тяжелая.

3 февраля. Ясная Поляна.

Вчера в двенадцатом часу были здесь. Привез нас Родивоныч на паре веселых кобыл. Здесь встретили нас Маша, Мария Александровна и Хохлов с самоваром и овсянкой. Очень было приятно въехать в Ясную. «Прешпект» [12], лошади, дом, комнаты — все так привычно и мило.

Ходила сегодня к колодцу по Заказу [13] и радовалась на жизнь. Встретила мужиков, которые возят теперь в огромном количестве дрова из Засеки [14] — здоровые, румяные, простые,— после Хохлова это успокоительно. Полька Балхина, Константин Ромашкин, Пашка Давыдов — красивые, веселые.

Папа́ говорил на днях, что когда он в своих писаниях подписывается, то следует все переписать, чтобы иметь цельный экземпляр в оконченном виде, а то он иногда начинает, вновь поправляя, путаться, а к прежнему не может вернуться, так как оно уже испачкано и искалечено. Надо это помнить.

5 февраля. Ясная Поляна.

Ходили все — и папа́ — поздравлять Агафью Михайловну с именинами. Я осталась последняя, одна, и все

расспрашивала ее про мать папа́. Она говорит, что она была на меня больше, чем на всех других, похожа, но поменьше ростом. Скорее полная. Постоянно говорит про нее, что она была «заучена». Знала языки, прекрасно играла на фортепьяно. Браниться не умела.

Как это досадно, что такая беспомощность в том, чтобы вызвать то, что было прежде. Со временем будут такие совершенные фотографии, фонографы и т. д., что человека всего восстановить можно будет...

5 февраля. 12 часов ночи.

Да, я в плохом духе. Сегодня опять испытывала ревность к Маше за папа́. Если он войдет к ней, а ко мне не зайдет, то мне неприятно. И мне кажется, что он меня не любит, что я скучна, и хочется для него сделаться забавной, умной и красивой даже. Как глупо! Это чувство ревности для меня совсем новое, и странно, что я чувствую его только к Маше. Неужели мне придется испытать все дурные человеческие чувства?

9 февраля.

Я все ловлю себя на том, что постоянно хочется перестать быть строгой к себе. А тут еще дедушка Ге, который с азартом проповедует то, что он любит слабеньких, и папа́ туда же говорил, что он любит пьяненьких, потому что они смиренны и унижены. Поша, который позволяет себе размякать при Маше, заставляет нас петь романсы в два голоса, не отходит от нее, смотрит ей в глаза и млеет.

Дедушка кричит, что надо жить, надо любить, надо обмирать при виде красоты,— что это бог! то есть красота. И что он ненавидит людей, которые говорят нравоучения, вроде: «Братья, перестаньте есть мясо», которые — совершенства; что этих надо на церковные стены приколачивать вместо образов. Говорит, что для него восторг, когда он видит молодую девушку и рядом человека, который ее любит. Я знаю, что многое он говорил из красноречия и для того, чтобы поразить Марию Александровну, которая ахала и кричала: «Какая мерзость!» — но многое из этого он действительно думает, а в некотором он прав. Именно в том, что говорил папа́, что одни рассуждения без внутреннего влечения ничего не стоят и ни к чему другому не приведут, кроме фальши. Будет вроде этого человека, который взял больного, чтобы ухаживать за ним, делать доброе дело, и доконал его до того, что тот

просил его бросить, дать хоть умереть, но оставить в покое. Из этого не следует то, чтобы не стараться совершенствоваться, распуститься и отдаваться своим инстинктам.

Я постоянно радуюсь на то, что около меня стоит человек, который так беспощадно строг к себе и который меня этим же заражает. Очень люблю его и люблю хорошо, так, как папа́ вчера говорил о своей любви к Леве. Что малейшее изменение его внутренней жизни, взглядов, ему чувствительно, он следит за ними и видит всякое колебание, и ему больно за отступление и радостно за приближение его к истине, но что о его физическом состоянии он совсем не думает и не может заботиться. И говорил о том, что есть другая любовь, которая заботится о том только, чтобы человек был здоров, одет, сыт,— иногда эти два рода любви сходятся, но следовало бы ко всем относиться так, как он к Леве. Потом засмеялся и говорит: «А вот меня огорчает, что у Тани зубы падают».

16 февраля.

В вагоне между Смоленском и Варшавой, по дороге в Париж.

Три дня тому назад и в мыслях не имела ехать в Париж, а вот пришлось...[15] Провожали меня папа́, мама́, Маша, Коля Оболенский и Дунаев. Взяли билет, посадили меня в дамское отделение второго класса, в котором я оказалась совсем одна. Рядом в мужском отделении двое мужчин.

Я все время не робела, но после третьего звонка душа упала. Страшно было оставлять своих стариков, которые оба на ниточке висят, и потом оба они так за меня тревожились, что и меня заразили — не за себя, а за них же. Меня удивило, что папа́ так беспокоился.

17 февраля. Париж.

Что-то делается в Москве? И что Лева?

В Москве жаль было оставлять тоже Ге. Я его люблю... Он привез картину «Распятие», которая производит на всех громадное впечатление. Два креста и не креста, а Т, третьего не видно, так что Христос не в центре картины, а центр находится между ним и разбойником. Представлена та минута, когда Христос умирает. Уже это не живой человек, а вместе с тем голова еще поднята и тело еще не совсем ослабло. Разбойник повернул к нему голову, и, видя, что этот человек — единственный, который когда-либо сказал ему слово любви, умирает, что он

лишается этого друга, которого только что приобрел, он в ужасе, и у него вырывается крик отчаяния.

Это очень сильно и ново. Оба распятые человека стоят на земле. Разбойник не пригвожден, а прикручен веревками. Он очень хорошо написан, но я должна сказать, что на меня это не произвело сильного впечатления. Мне это жаль. Это потеря свежести, душевной впечатлительности. Папа́ расплакался, увидав это, и они с Ге обнимались в прихожей, и оба плакали.

25 февраля.

Из дома получаем ежедневные письма.

Здесь я понимаю более, чем когда-либо, почему со всего света стекается народ к папа́. Нигде нет такого света, как он распространяет, и если где есть звездочки, то они зажглись от него же. Сегодня Лева говорил, что его звали к Золя, но я подумала — зачем к нему идти, что он может сказать нового, интересного и поучительного? И так все знаменитости здешние.

16 марта. Москва.

Читала в «Северном вестнике» отрывок письма Тургенева к Анненкову о «Войне и мире». Тургенев хвалит художественную сторону и порицает психологическую, как и подобает истинному эстету [16].

Папа́ писал мне в Париж, что ему хочется написать изложение христианского учения для детей, но потом об этом замолчал. Вероятно, не напишет. Все водится с Тулоном [17], который ни ему, ни кому другому особенно не нравится. Там очень много хорошего, но мне всегда грустно, когда его тон не дружелюбный и полемический. Как мне хотелось бы, чтобы он написал вещь, вполне чистую от спора и полемики, и вложил бы туда всю любовь, красоту и умиление, которые у него всегда так прекрасно выходят и так трогают, потому что они искренни, и у него этого так много в сердце. Неужели я увижу его? Мне все страшно, что что-нибудь случится, что это ему помешает.

3 апреля.

Приехал Поша от Чертковых, привез известие, что завтра папа́ с Машей приезжают, и письмо мне от папа́ [18]. Письмо длинное, писанное в три приема, по ночам, и ужасно огорченное. Он боится увидать меня и мое душевное состояние, боится, что я буду бороться с собой из-

за любви к нему и страха общего мнения,— и, видно, ему очень, очень больно и обидно. А мне страшно, что с меня так быстро и легко соскочило все мое увлечение.

Мне придется сказать папа́ хуже того, что он предполагает, то есть что опасности для меня нет никакой, а что была игра в любовь. Это было бессознательно, пока это продолжалось; и только изредка бывали минуты, когда я чувствовала, что надо было себя подгипнотизировать чтобы поддерживать это чувство, а теперь, когда мне захотелось, чтобы это прошло, я увидела, что нечему проходить — ничего нет [19].

11 апреля.

Ярошенко приехал писать папа́. Завтра начнет [20].

11 мая. Ясная Поляна.

Последний дневник мой папа́ весь прочел, и я чувствую, что он разочаровался во мне. Он мне сказал, что я перестала ему «импозировать» *, как прежде, но я вижу под этим то, что он перестал меня уважать и стал немного меньше любить. Я всю жизнь чувствовала, что он во мне обманывается, считает меня лучше, чем я есть, и боялась и желала, чтобы у него открылись глаза, и вот теперь я жалею и радуюсь тому, что это произошло. Но сейчас плачу, пиша это. Он увидал, что я глупая и слабая, и хотя хорошо, что его иллюзия кончилась, мне жаль его отношения.

15 мая.

Ге говорит — да и все (я этого не думаю), что папа́ меня гораздо больше Маши любит. В последний раз, как я писала дневник, только что я кончила, он вошел и спросил, что я пишу. Я сказала, что дневник. Он спросил: о чем? Я стала ему говорить и вдруг разрыдалась. Он очень перепугался и смутился и стал утешать меня, что он нисколько не изменился ко мне, что то, что он во мне знает, то любит по-прежнему, и что его радует, что мы его любим, что это очень хорошо и что он никогда этому не верит. Говорил, что, прочтя мой дневник, он увидал, что я перестала ему «импозировать», что я такая самоуверенная всегда и что-то еще. Мама́ услыхала из своей комнаты мой дикий рев и пришла посмотреть, что со мной.

---

* внушать интерес, уважение — от imposer (*франц.*).

3 июня. Ясная Поляна.

На днях с папа́ разговаривали. Он видел, что я скучаю, и утешал меня. Говорил мне, чтобы я не унывала, что я еще нестолько привлекательна, что могу еще не отчаиваться. Говорил, что ничего нет в Евгении Ивановиче, что́ бы я могла любить. Мне совсем не этого от него нужно было,— я всегда от него жду и желаю строгости. Я хочу, чтобы он мне говорил, что совсем мне не нужно любви, что ее, наверное, больше не будет и не должно быть. Я себе это постоянно говорю, но в слабые минуты чувствую себя одинокой и пугаюсь этому.

Вокруг много арестов и обысков. Булыгин сидит в Крапивне на две недели за отказ вести своих лошадей для записывания. Кудрявцев в тюрьме за переписку сочинений папа́, Сопоцько в Петербурге арестован, мы не знаем, за что. Должно быть, и до нас дело дойдет [21]. Я этого жду без страха и даже почти с некоторой долей радости. Но вернее всего, что нас не тронут, а теперь доберутся до посредниковцев, и этого я боюсь.

Я думаю, что для меня хороша была бы такая встрепка, а то я стала изнежена, эгоистична и озабочена собой до бесконечности. Страшнее всего мне за мама́ в этом случае — она очень страдала бы, и у нее не было бы даже того утешения, что она терпит это во имя своих верований. Папа́ часто говорит, что был бы рад гонениям, но я думаю, что и ему это было бы тяжело.

22 июня.

Папа́ вчера сказал, что ему все кажется, что что-то должно кончиться, разрушиться, и что, например, наверное, в этой пристройке никто жить не будет. Я же думала на этих днях и представляла себе эту пристройку с заколоченными окнами без рам. Возможно, что нас сошлют.

1896

7 апреля. Воскресение. Москва.

Вечером было трио: Танеев, Гржимали и Эрлих. Играли трио Гайдна и два трио Бетховена, и Гржимали с Танеевым играли сонату Бетховена. Играли дивно. Я думаю, они нигде так не стараются играть, как для папа́.

С папа́ я что-то не близка.

8 апреля.

С папа́ лучше. Сейчас он рассказывал мне и Сухотину о философе Spir'е, которым он теперь очень увлекается. Ему дочь Spir'а прислала четыре книги своего отца, находя, что в его мыслях много общего с мыслями папа́ [1].

19 апреля.

Папа́ написал письма двум министрам: Муравьеву и Горемыкину с просьбой перенести гонения за его сочинения на него с тех, которые за них теперь преследуются [2]. Хорошее письмо (они оба одинаковы), без задора, простое и умное. На этих днях еще два ареста...

У меня за последнее время как-то притупилось чувство сострадания и возмущения на такие случаи, — слишком их много. Что могут думать и чувствовать люди, участвующие в этих гонениях? Или они слишком заняты разными коронациями, обедами, мундирами, производствами, чтобы на минуту одуматься?..

Вчера были на «Зигфриде»... Папа́ не досидел второго акта и с бранью, которая продолжалась и нынче вечером, с Сергеем Ивановичем, убежал из театра [3]. Мне тоже было невыносимо скучно и утомительно, но я досидела до конца и никогда больше ничего вагнеровского не пойду слушать.

Папа́ сегодня читал новый рассказ Чехова «Дом с мезонином» [4]. И мне было неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его — семнадцатилетняя девочка. Вот Чехов — это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никогда никто так в душу не проникал. Я ходила в воскресение к Петровским, чтобы видеть его портрет. А его я видела только два раза в жизни [5].

7 мая. Ясная Поляна.

Папа́ совсем отказался от велосипедной езды. Я рада этому за него, потому что знаю, как радостно лишить себя чего-нибудь; и за себя, что мы не будем так беспокоиться, целыми вечерами ждать его в дождь, посылать за ним во все стороны...

11 мая. Гельсинфорс.

9-го выехала со скорым из Ясной [6], оставив Машу в сильном жару, с горловой болью, и папа́ — немного растерянного от своего одиночества с больной Машей.

Мы пробыли в Петербурге с утра до вечера, купили Мише смокинг на свадьбу, съездили в консульство, на пароходство и к баронессе Икскуль. Она рассказывала, что Горемыкин, который ей родственник, сказал ей, что получил письмо от папа́, и на ее вопрос: «Какого содержания?» — сказал: «Вызов правительству». Она спросила, будет ли он отвечать, на что он ответил отрицательно. Она говорит, что правительством считается очень вредным учение папа́, потому что результатом его являются отказы от военной службы. А как поступать в этих случаях, оно не знает...

4 августа.

Получила сейчас по телефону открытые письма от мама́, Маши и папа́. От папа́ следующее: «Хочется тебе написать, глупая, беспокойная Таня. Если душе хорошо, то и на свете все хорошо. Вот и постараемся это сделать. Я стараюсь, и ты старайся. Вот и будет хорошо. Целую тебя нежно, твои седые волосы. *Л. Т.*» [7]

1897

15 марта. Ясная Поляна.

О папа́ думаю с болью. Дурно я плачу́ ему за любовь ко мне. Сегодня думала о нем с нежностью и благодарностью. Если я не унываю, если я стараюсь быть нравственной и честной, то главным образом благодаря ему. Если бы не его любовь, я впала бы в беспросветное отчаяние, и, конечно, было бы в тысячу раз хуже, чем теперь.

24 марта.

Приехавши из Калуги, получила письмо от папа́. Такое нежное и доброе, что не могла без слез читать его,— и, перечитывая, каждый раз плачу [1]. Да, это такой соперник моим любвям, которого никто не победил.

17 июня.

Папа́ сегодня подписал статью об искусстве[2], но я думаю, что до полного окончания еще долго.

2 августа. Ясная Поляна.

Переписываю старые иностранные письма папа́ и испытываю умиление над его глубокими мыслями, выраженными часто наивно от недостаточного знания английского языка, и написанными с орфографическими ошибками. Некоторые переписаны мелким почерком мама́, а некоторые ею исправлены.

Странное сочетание этих двух людей! Редко можно встретить людей таких различных и вместе с тем крепко привязанных друг к другу. В самые ее лучшие минуты, когда она хочет следовать за ним и старается выразить его мысли и взгляды, удивляешься мама́, как мало она его понимает и как далеко от действительности ее представление о его взглядах. В дурные минуты я сержусь на нее за это, но это жестоко и бессмысленно.

1898

4 февраля. Москва.

На днях приехала из Петербурга, где была по делам «Посредника». Останавливалась у Стахович. Меня посылали затем, чтобы просить Суворина покупать на наличные деньги хоть сто экземпляров каждого издания «Посредника». Это дало бы возможность платить за печать и бумагу, а не делать всё в долг, что невыгодно. Суворин превзошел мои ожидания и обещал покупать от двухсот до шестисот и больше экземпляров и печатать о наших изданиях объявления, как о своих. Он дал мне ложу на все дни пребывания в Петербурге в Малый театр, но я была только два раза: в «Потонувшем колоколе» и в «Новом мире»[1]. Первое нелепо и безнравственно, второе — кощунственно и бездарно.

Видела Репина. Завтракала у него с Зосей Стахович и Мишей Олсуфьевым. Он ничего не показал нам из своих работ, может быть, потому, что тут пришли Драгомировы с дочерьми и у нас завязался общий разговор. Он все работает над своим «Искушением»[2], которое мы видели у него прошлой зимой и которое папа́ советует ему бросить.

Репин все просит папа́ дать ему сюжет. Он приезжал с этим в Москву, потом писал мне об этом и еще несколько раз напоминал мне об этом, пока я была в Петербурге [3]. Вчера папа́ говорил, что ему пришел в голову один сюжет, который, впрочем, его не вполне удовлетворяет. Это момент, когда ведут декабристов на виселицу. Молодой Бестужев-Рюмин увлекся Муравьевым-Апостолом, — скорее личностью его, чем идеями, и все время шел с ним заодно, и только перед казнью ослабел, заплакал, и Муравьев обнял его, и они пошли так вдвоем к виселице [4].

Обедали у Ярошенко. Он потерял голос, но в общем молодец. Видела у него портрет старика Шишкина, который умирает, и кратер Везувия [5].

Прожила я в Петербурге неделю и собиралась уже ехать домой, как получила от папа́ телеграмму следующего содержания: «В Петербург едут самарские молокане. Останься, помоги им» [6]. Мне было немножко неловко злоупотреблять гостеприимством моих хозяев, но помощь молоканам была важнее моего scrupule *, и я осталась. День до приезда молокан я хотела употребить на приготовление путей для оказания помощи и стала соображать, куда мне направиться. Я знала, что государь получил письмо папа́, в котором он подробно писал об отнятии детей у троих молокан [7], знала, что Кони сделал, что мог, для них в сенате [8], что Ухтомский в своей газете напечатал письмо папа́ об этом деле [9],— и знала, что никто на это ниоткуда не откликнулся. Стало быть, надо было искать иных путей. Так как дело, очевидно, зависело от Победоносцева, то я решила пойти прямо к нему.

Сначала я посоветовалась с девочками Стахович, которые одобрили мой план, потом пошла спросить совета у Александра Васильевича Олсуфьева. У него я застала Алексея Васильчикова, Митю Олсуфьева и кн. Кантакузена. Я рассказала свое дело, граф подтвердил еще раз, что он из рук в руки передал письмо государю об этом, и сказал мне, что мое посещение Победоносцева никак делу повредить не может, что оно во всяком случае пройдет через его руки. Я спросила, не может ли Победоносцев вместо помощи взять и немедленно выслать молокан? Олсуфьев сказал, что это не в его власти. Васильчиков и Митя очень поощрили меня, и Васильчиков сказал, что бог знает, что дал бы, чтобы в шапке-невидимке присутст-

* неудобства (*англ.*).

вовать при нашем свидании. Тогда я решила телефонировать и спросить, когда могу застать Победоносцева. Он назначил мне свидание между 11 и 12 часами на следующее утро.

На другой день я встала, оделась и собиралась уже уходить, не дождавшись молокан, как получила письмо от папа́, принесенное ими. Папа́ писал, чтобы я хлопотала через Мейндорфа, Кони и Ухтомского, прислал письма к двум последним и этим сбил меня с толка. Когда я была у Олсуфьевых, то был разговор о том, что если надо предать это дело гласности, то можно употребить Ухтомского, но сомнительно, поможет ли гласность в данном деле, а скорее, не повредит ли. Тогда я решила действовать независимо от письма папа́ и только завезти письмо к Кони, сказавши ему, что́ я решила предпринять.

Кони сказал мне, что если бы я спросила его совета, что́ делать, — то этого совета он не дал бы мне, но что посещение мое повредить делу не может. Он показал мне закон, по которому всякие родители, крещенные в православную веру и воспитывающие своих детей в другой вере, подвергаются заключению в тюрьму, причем дети у них отбираются. Потом он мне дал совет, через кого действовать, если я захочу подать прошение на высочайшее имя, и отпустил, не надеясь на успех. От него я поехала прямо в дом церковного ведомства на Литейной.

Войдя в переднюю, я сказала швейцару доложить Константину Петровичу, что графиня Толстая хочет его видеть. Швейцар спросил: «Татьяна Львовна?» Я сказала: «Да».— «Пожалуйте, они вас ждут». Я прошла в кабинет, в который тотчас же вошел Победоносцев.

Он выше, чем я ожидала, бодрый и поворотливый. Он протянул мне руку, пододвинул стул и спросил, чем может мне служить. Я поблагодарила его за то, что он меня принял, и сказала, что отец ко мне прислал молокан с поручением помочь им. Я ему рассказала их дело и откуда они.

— Ах, да, да, я знаю,— сказал Победоносцев,— это самарский архиерей переусердствовал,— я сейчас напишу губернатору об этом. Знаю, знаю. Вы только скажите мне их имена, и я сейчас напишу.

И он вскочил и пошел торопливыми шагами к письменному столу. Я была так ошеломлена быстротой, с которой он согласился исполнить мою просьбу, что я совсем растерялась, тем более что у меня было с собой черновое прошение молокан, но имен их на нем не было. Я это ему

сказала, прибавив, что я никак не ожидала такого быстрого результата своей просьбы, а надеялась только на то, что он посоветует мне, что̀ мне предпринять. Тут я ему сказала, что крестьяне хотят подавать прошение на высочайшее имя, прочла его ему и спросила, советует ли он его все-таки подавать. Он прослушал прошение следующего содержания:

«Ваше Императорское Величество, Всемилостивейший Государь!

1897 г., апреля 21 дня, в деревню нашу приехал урядник и потребовал нашего единственного сына, мальчика пяти лет, чтобы увезти его в город. Мальчик в это время был болен, в сильном жару, и мы не дали его уряднику. На другой день, в полдень, приехал становой пристав и потребовал опять нашего мальчика, угрожая нам, в случае сопротивления, тюрьмой. Больного мальчика взяли и увезли в город. В городе мне и жене моей объявили, что отняли у нас сына потому, что мы перешли из православия в молоканство в 1884 году, и что ребенка нам отдадут только тогда, когда мы вернемся в православие. То же нам объявили в монастыре, куда свезли нашего ребенка. Когда же мы объяснили в монастыре, что мы исповедуем ту веру, которую считаем истинной и нужной для спасения нашей бессмертной души, и не можем изменить даже ради возвращения нам нашего детища, то нас перестали пускать к нашему мальчику и допустили в последний раз только на несколько минут.

Полагая, что дело это совершенно противно закону и помимо воли Вашего Величества, умоляем вас, Всемилостивейший Государь, приказать исправить совершенное над нами беззаконие и возвратить нам наше единственное детище».

Прослушав это прошение, Победоносцев сказал, что незачем его подавать, что об этом деле довольно говорили и писали и что, во всяком случае, дело это придет к нему, и решение его будет зависеть от него. Потом он сказал, что детям в монастырях так хорошо, что они и домой не хотят идти.

Я сказала, что это может быть, но что для родителей большое горе — лишение своих детей.

— Да, да, я понимаю. Это все архиерей самарский переусердствовал; у шестнадцати родителей отняты дети. У нас и закона такого нет.

А я только что видала этот закон у Кони и не удержалась, чтобы не сказать:

— Виновата, этот закон, кажется, существует, но, к счастью, не бывал применен.

— Да, да. Так вы пришлите мне имена молокан, и я напишу в Самару.

Я подумала, не надо ли еще что-нибудь спросить, и так как ничего больше не пришло в голову, я встала и простилась. Победоносцев проводил меня до лестницы, спросил, надолго ли я в Петербурге, у кого я остановилась, и наверху лестницы опять простился со мной. Вдруг, когда я уже сошла вниз и стала надевать шубу, он опять вышел и окликнул меня:

— Вас зовут?

— Татьяной.

— По отчеству?

— Львовной.

— Так вы дочь Льва Толстого?

— Да.

— Так вы знаменитая Татьяна?

Я расхохоталась и сказала, что я до сих пор этого не знала.

— Ну, до свидания [10].

Я ушла и всю дорогу домой хохотала и придумывала, зачем он притворился, что не знал, с кем говорил, когда швейцар назвал меня по имени, когда я сказала, что отец прислал молокан, и он сам сказал, что о них столько было говорено и писано.

Кони, который на другой день утром пришел ко мне, объяснил это тем, что если бы Победоносцев признал меня за дочь Толстого, то ему было бы неловко не сказать мне о нем ничего, и тогда ему пришлось бы сказать о том, что он знает о письме папа́ к царю, и о том, что это дело давно в сенате, и пришлось бы дать объяснение, почему до сих пор ни от кого нет ответа. А так, разговаривая с незнакомой барышней, ему было удобнее сразу покончить это дело. Может быть, он даже был рад тому, что я обратилась прямо к нему и дала ему этим возможность сразу прекратить дело.

Придя домой, я выписала молокан и послала с ними письмо к Победоносцеву, в котором прошу его ответить мне, у кого и когда молокане могут получить ответ и кто даст им полномочие взять своих детей обратно. Он принял молокан, говорил с ними («мягко калякал», как выразился один из них).

Между прочим, он им сказал, чтобы они не беспокоились о своих детях, говоря, что им в монастырях еще лучше, чем дома, и что они сами не желают оттуда уходить. На это один из молокан ответил ему, что можно птицу так приучить к клетке, что, если ее выпустить, она назад в нее полетит, но что из этого не значит, что неволя была лучше свободы. Победоносцев прислал мне следующее письмо:

«Милостивая государыня Татьяна Львовна! Я советовал крестьянам не проживаться здесь (Миша Олсуфьев сострил, что он, если бы мог, с удовольствием и мне посоветовал бы «не проживаться» в Петербурге) в ожидании, а ехать обратно и справиться о деле разве в Самаре у губернатора, которому написал об них сегодня же, и думаю, что, по всей вероятности, детей возвратят им.

Покорнейший слуга *К. Победоносцев».*

Молокане третьего дня проехали мимо Москвы в Самару, и теперь нам остается только ждать результата письма Победоносцева к самарскому губернатору.

5 февраля.

Папá читает Гейне и вчера говорил одно стихотворение, которое выучил наизусть [11].

«Что такое искусство» напечатано отдельной книгой (1-й выпуск) изданием «Посредника». В одну неделю разошлось 5000 экз. [12].

8 марта.

Папá получил от молокан письмо, что детей им вернули.

1900

3 ноября. Кочеты.

Вчера уехал отсюда папá с Юлией Ивановной Игумновой. Прожил от 18 октября до вчерашнего дня. Странное у меня было к нему чувство: совестно своей измены без раскаяния в ней. Совсем мало говорила с ним по душе. Я боялась, что он осуждает меня, может скорбеть о моем замужестве [1], и вызывать его на признание в этом казалось бесполезным, потому что вряд ли он это высказал бы мне, а если и высказал бы, то мне было бы слишком больно это выслушать.

1901

9 ноября. Гаспра.

Папá болен: у него лихорадка. У него сидят доктора Альтшуллер и Елпатьевский [1].

10 ноября.

Папá лучше. Он сидел на своем верхнем балконе. У него был духоборец, который бросил своих канадских братьев [2], был в Якутске и теперь не знает, что ему делать. Жалеет о том, что уехал из Канады.

24 ноября.

Папá очень страдает от ревматизмов.

30 ноября.

Папá жалуется на боли в руках и ногах.

13 декабря.

Папá приехал из Ялты, где пробыл шесть дней, потому что не мог вернуться от слабости сердца. Были перебои, и Альтшуллер так испугался, что приготовил камфару для впрыскивания.

23 декабря.

Папá гораздо лучше. Болей ревматических и лихорадки нет, и сердце хорошо.

1903

20 октября. Ясная Поляна.

Вчера вечером папá читал нам свою статью против Шекспира [1]. Слушали Бутурлин Александр Сергеевич, Зося Стахович и мы. После этого Зося с папá спорила, и сегодня утром, еще раз пересмотревши кое-что из Шекспира, папá с некоторыми ее замечаниями согласился.

По вечерам играем с папá в винт, а днями я очень занята копированием моего портрета для Миши и разбиранием разных писем к папá для моих воспоминаний [2].

Сегодня вечером был Миша-брат на два часа. Играл с Сашей на балалайке и гитаре, а потом напевал разные романсы, между прочим, один своего сочинения на Лины слова, которые очень понравились папа́.

Папа́ со мной удивительно ласков, смеется моим шуткам и называет меня Coquelin aîné *.

1904

5 января. Ясная Поляна.

За день до нас был в Ясной Брайан (американец, социалист, кандидат на президента Соед. Штатов) [1]. Он очень понравился папа́. Писать о нем не буду, так как с чужих слов боюсь быть неточной. Иду спать.

16 февраля.

Война с Японией. В России воодушевление и патриотический энтузиазм. У меня уныние от того, что еще возможна война...

Папа́ ездит верхом в Тулу за телеграммами [2].

18 июля.

15-го убили бомбой министра внутренних дел Плеве [3]. Трудно этому не радоваться.

Был у нас на днях спасшийся командир с погибшего «Петропавловска» (Яковлев). Человек симпатичный, видимо, простой и правдивый, но еще не проснувшийся к духовным требованиям [4].

14 октября. Кочеты.

17 сентября выехала с Мишей и Алей из Ясной Поляны в Петербург. В Петербурге была у своего старого знакомого, теперешнего директора Департамента полиции Алексея Александровича Лопухина, чтобы просить о возвращении Дашкевича в Россию [5]. В разговоре Лопухин сказал, что «решено не преследовать толстовство». Каково! Это Святополк-Мирский и Лопухин, которого я знала с первого курса университета ничтожным, неинтересным мальчиком,— решили, что можно «толстовство не преследовать» [6].

---

* Старый петушок (*франц.*).

Проспла я также и за Бирюкова и за Черткова[7], и Лопухин обещал дать Бирюкову возможность вернуться и снять с него гласный надзор полиции.

Папá здоров, бодр, собирает мудрецов[8]. Не читает газет уже с месяц. Долго ли протерпит?

23 октября.

Вчера были здесь два интересных посетителя:

1) датчанин, идущий на пари пешком без копейки денег из Владивостока в Копенгаген[9]. Он должен был пройти это расстояние в один год, но вчера истек срок, и он проиграл. Берет только провизию для пропитания;

2) священник, бывший тюремный. Сначала папá обошелся с ним холодно, но потом, вероятно, не желая отнестись к нему с пренебрежением,— поговорил с ним серьезно. Он, вероятно, ездит с надеждой обратить папá, а может быть, и с полицейскими целями[10]. Когда я одна осталась с ним за чаем, он старался и меня обратить, но я ему сказала, что для того, чтобы отшатнуться от православной церкви, достаточно знать о тех гонениях на веру, которые она производит, и о тех жестокостях, которые она делает во имя Христа. Приемы его очень примитивные; для того, чтобы действовать простотой и искренностью, он недостаточно непосредствен и недостаточно сам верит.

Пишу копию и переписываю письма к папá разных людей. Вчера нашли неизданные письма Тургенева к папá начиная с 56-го года[11].

18 ноября.

Сегодня от Саши письмо, в котором она пишет, что читала папá мои письма о Ге и что папá велел мне сказать, что в общем хорошо[12], и что он отчеркнул места, которые ему особенно понравились, но что можно сократить, выпустив отзывы рецензентов о его картинах.

1905

13 октября.

По вечерам читаем «Поединок» Куприна, причем больше всех читает папá[1]. Ему нравится, и он находит, что Куприн талантливее Горького.

22 октября.

Вчера приехал Н. Н. Гусев из Москвы и Тулы и рассказывал очень печальные и тревожные новости. Идет в Москве и в Туле война «патриотов» или «черносотенцев» с революционерами и социал-демократами. В Туле тут еще примешался еврейский вопрос, и, по словам Гусева, вчера в Туле была перепалка, при которой убито до 40 человек[2].

В этот день, как Миша был в Орле, происходило то же самое, и тоже с человеческими жертвами.

Папа́ уехал в Басово[3], чтобы на шоссе узнавать от возвращающихся из Тулы о новостях.

1909

8 июня. Кочеты.

Сегодня в 7-м часу вечера приехали папа́, мама́, Гусев, Душан Петрович Маковицкий и Илья Васильевич.

Папа́ бодр, всем интересуется. Говорил мне по секрету, что хочет писать художественное[1].

10 декабря.

Уехал папа́ из Кочетов 3 июля. Мне кажется, ему было хорошо у нас: было мало посетителей, никто не вмешивался в его умственную работу, не понукал его и не распоряжался им. Он был совершенно свободен, а кругом себя чувствовал любовь и ласку и желание каждого ему угодить.

Мне все время хотелось сделать ему один вопрос, но я не смела и ждала случая, когда это выйдет легко и естественно. И это вышло, когда я провожала его на Мценск. Мы ехали вдвоем в маленькой коляске тройкой, и он очень восхищался и погодой, и местностью, и лошадьми, и спокойствием коляски. И кое-что расспрашивал меня о моей жизни. Как-то спросил меня о чем-то, начавши фразу со слов: «Я хотел спросить у тебя об одной интимной вещи...» Когда я ему ответила (я даже не помню сейчас, о чем он спрашивал. Мне было очень легко ему ответить), я ему сказала:

— Вот и мне хочется спросить у тебя об одной интимной вещи.

— Что такое? Я тебе с удовольствием отвечу.

— Почему ты хочешь, чтобы после твоей смерти твои наследники отказались бы от права литературной собственности и от земли?

— А почему ты знаешь, что я этого хочу?

— Ты сам раз при мне сказал: «На что мои сыновья надеятся? Ведь если на книги...» — и не докончил. И я поняла, что ты хочешь сделать завещание в этом духе. (Кроме этого, мне Саша показывала выраженное в дневнике его это же желание [2], но, чтобы не подводить Сашу, я не сказала об этом.)

— А почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Потому что я боюсь, что твое желание, чтобы мои братья сделали то, чего ты не сделал, не возбудило бы дурного чувства. Ты сам не сделал этого и при жизни не просишь твоих наследников это сделать.

— Да, но я думаю, что смерть моя смягчит их.

— Тогда пусть они сами это сделают. Все знают, что ты всю жизнь желал этого, и те, которые хотят и могут, пусть сделают это добровольно.

— Да ведь, собственно, завещания у меня нет. Я это записал как желание. По закону оно не обязательно.

— Я знаю. Но тем, кто не будет в силах подчиниться этому желанию, будет тяжело идти против него, когда оно так категорично выражено.

— Да, да, я подумаю. Я тебе очень благодарен, что ты мне сказала. Ты права... Как хорошо, что ты мне сказала. Я посмотрю, где это у меня записано...

На этом разговор остановился, и мы перешли на другие темы.

Как-то зашел разговор о том, что иногда для блага одних забываешь о других. Я говорю: «Да, вот как с вопросом, о котором мы говорили...»

— Какой вопрос?

— Да вот ты хотел бы, чтобы братья отдали землю мужикам для мужиков...

— Ах нет! Это, я должен признаться, из-за реабилитации... Впрочем — какая тут реабилитация?

Я повторила:

— Какая тут реабилитация? Скажут: сам не сделал, а от детей потребовал...

— Да, да, конечно.

Потом в Ясной, когда я там была в июле и общее настроение было очень тяжелое, он мне как-то сказал, что

ему страшно тяжела земельная собственность. Я была поражена.

— Папа́! Да ведь ты ничем не владеешь?!

— Как? А Ясной Поляной?

— Да нет! Ты же ее передал своим наследникам, как и все остальное.

Он меня остановил и сказал:

— Ну, расскажи же мне все, как обстоят дела.

И я ему рассказала, как Ясная сперва была им отдана мама́ и Ванечке пополам и как, по смерти Ванечки, его часть перешла пятерым братьям. Он слушал с большим вниманием и только переспрашивал меня, — наверное ли я знаю то, что говорю. Я это утверждала наверное и предлагала дать ему доказательства [3].

В конце разговора я сказала ему, что он, вероятно, очень рад, что это так, но он сказал: «Нет, я хотел сделать дарственную мужикам».

Это был один из тех периодов, когда он особенно сильно и болезненно ощущал всю тяжесть своей жизни в относительной роскоши, тогда как всей душой хотел жить скромно.

1910

5 февраля. Ясная Поляна.

Несколько дней тому назад у нас в Ясной открыли народную библиотеку. Павел Долгоруков приезжал для этого и говорил речь, обращенную к папа́. Было неловко, и папа́ это чувствовал. И вообще он к этой библиотеке отнесся холодно, сказав, что это «пустяки» [1].

22 июня. Кочеты.

Папа́ пробыл в Кочетах со 2 по 20 мая [2]. 7 мая приехал Чертков и пробыл до отъезда папа́. Мама́ приехала после него и уехала до него, 5 мая.

Папа́ наслаждался отсутствием просителей и посетителей и общим дружелюбным и спокойным настроением. Ему в Ясной особенно тяжело, и, пробывши у меня 18 дней, — теперь уехал к Черткову. Грустно сказать, и он и мама́ испытывают приятное облегчение от разлуки. Я писала длинное письмо мама́, стараясь мягко, с любовью, объяснить ей всю бессмысленность ее хозяйничанья, но получила от нее в ответ письмо, в котором

она пишет, что ничего трагичного нет, папá нисколько не страдает, и что почему после сорока восьми лет их совместной жизни мы выдумали, что как будто что-то случилось. Я увидала еще раз, что то, чего она двадцать пять лет не понимала, так и остается для нее непонятным. А как раз сегодня я нашла письмо, в котором в 1906 году я ей писала приблизительно то же, что и в нынешнем. Но тогда я этого письма не послала.

Была в Ясной от 2 до 5 июня. Разговаривала с папá о мамá. Он всегда неохотно и редко говорит с нами, детьми, о ней. Но тут ему было так тяжело, что он откровенно говорил со мной. И со мной, мне кажется, ему легче, чем с кем-либо, говорить о ней, потому что он знает, что я ее не осуждаю, а жалею. Он говорил, что единственная цель его жизни — это жить со всеми в любви и тем более с ней, после полувека совместной жизни,— но что это ему трудно.

Я как-то постучалась к нему,— он не пустил меня и спросил: что нужно? Я сказала, что не докончила читать его пьесу [3]. Он очень взволнованно ответил, что читать нечего, что это очень плохо и вообще все гадко. Я спросила: что гадко? «Гадко, на душе гадко. Надо уйти отсюда, это единственное, что возможно сделать». Оказывается, возвращаясь домой с прогулки, он наткнулся на черкеса, который привел старика Прокофия за то, что тот поднял какие-то сухие макушки [4].

Я ушла. И когда мамá пришла ко мне в комнату, я ей сказала, что папá очень расстроен, и почему. Пока мы говорили, он вошел и сказал мне, что он шел с тем, чтобы просить меня ничего не говорить о его словах, что все хорошо, ничего не случилось.

А я нарочно сказала мамá. А то бывает так, что он ничего не скажет, но сделается мрачным, молчаливым и недобрым,— и мамá приписывает это просто дурному расположению духа от болезни желудка или печени, а не тому, что он глубоко страдает и борется с собой, с своим желанием уйти и бросить всю эту ненавистную жизнь.

ДРУЗЬЯ И ГОСТИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

Посвящаю эту книгу умершему другу своему Душану Петровичу Маковицкому, бывшему врачу и другу моего отца.

Отчасти по настоянию Душана Петровича я набросала эти очерки. Душан Петрович никогда не пропускал случая умолять каждого близкого Льву Николаевичу человека записывать все, что он мог вспомнить о Льве Николаевиче или из разговоров с ним [1].

Если при Душане кто-нибудь начинал рассказывать какой-либо эпизод из жизни Льва Николаевича, Душан тотчас же приходил в волнение и умолял записать рассказанное. «Вы сделайте это сейчас, не откладывая, пойдите и сейчас запишите, а то вы забудете»,— говаривал он.

Многим он дарил тетради, в которых просил вести «записник» о Льве Николаевиче.

По причинам, которые здесь не место приводить, я не записывала за отцом его разговоров и поступков, и я не вполне осуществила мечту Душана Петровича о «записнике». Но мне хотелось сделать ряд набросков с лиц, посещавших отца. Собранные в этой книге очерки были написаны случайно, в разное время и по различным поводам, но главным образом по поощрению Душана Петровича.

Пусть читатель не посетует на их пестроту. Если бы я имела время и возможность написать цикл очерков, который я задумала, я бы группировала их более целесообразно. Может быть, когда-нибудь мне удастся это сделать.

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

Во время моей юности Тургенев был самым любимым писателем молодежи. В то время он еще писал и печатал, и появление каждого его нового романа было событием для всей читающей молодежи. Она тотчас же проглатывала вновь вышедшие произведения. Горячо обсуждалось направление его, разбирались характеры героев и героинь, и молодежь так сживалась с романом, что он как бы составлял часть их жизни. Долго в разговорах употреблялись словечки из нового романа, и все не только старались подражать тургеневским героям, но многие невольно делались похожими на них.

Знакомство с Иваном Сергеевичем представлялось большим счастьем, а мы, которые, как дети писателя, казалось бы, имели более, чем кто-либо другой, возможность и право знать Тургенева, были лишены этой радости вследствие происшедшей когда-то, давным-давно, ссоры отца с Тургеневым [1]. Причины этой ссоры мы не знали,— знали только, что отец вызвал Тургенева на дуэль и что Тургенев отказался от нее [2].

В полудетской душе, какова была в то время моя, не было места фальшивым предрассудкам о том, что обида должна смываться кровью. Я вполне сочувствовала Тургеневу, отказавшемуся драться с моим отцом, и не могла понять, почему отказ от дуэли считался позором.

Потом я услыхала о том, что отец писал письмо Тургеневу, прося его забыть старое и примириться с ним.

Отец рассказывал, что это первое письмо его к Тургеневу, посланное через кого-то из общих знакомых,— пропало [3] и что он был очень удивлен и огорчен тем, что продолжал слышать о недружелюбном к себе отношении Тургенева.

Позднее, в то переходное время своего «духовного рождения», как он называл этот период своей жизни, отец, желая следовать евангельскому учению, захотел примириться со всеми теми людьми, с которыми имел какие-либо недоразумения. Он написал второе письмо Тургеневу [4], которое в этот раз дошло до него и на которое отец получил очень милый ответ.

Тургенев писал, что письмо отца его «обрадовало и тронуло». «С величайшей охотой,— писал он,— готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую Вами руку...» [5]

В конце лета — это было в 1878 году — он должен был приехать из Парижа в Россию и обещал заехать к нам.

Был ли он у нас в это лето или это было год или два спустя — не помню [6]. Помню себя в это время подростком — еще не девушкой,— а Тургенева помню стариком. Большое лицо его было окаймлено густыми белыми кудрями, глаза его глядели добро и ласково. Но в выражении их чувствовалось утомление, и он казался старше своих лет. Когда ничего его не воодушевляло, огромная фигура его горбилась, глаза потухали и смотрели безучастно. Этот контраст между его веселым характером, живыми манерами, блестящим разговором и внутренней грустью, которая иногда проскальзывала в его речах и часто сквозила во взгляде и выражении глаз, был самой характерной его чертой.

То, что он еще в 1858 году писал в конце одного письма к моему отцу, доказывает, что эта грусть была не внешняя, а глубоко жила в его душе.

«...Эх, любезный Толстой,— пишет он,— если б Вы знали, как мне тяжело и грустно! Берите пример с меня: не дайте проскользнуть жизни между пальцев — и сохрани Вас бог испытать следующего рода ощущение: жизнь прошла — и в то же самое время Вы чувствуете, что она не начиналась,— и впереди у Вас — неопределенность молодости со всей бесплодной пустотой старости. Как Вам поступить, чтобы не попасть в такую беду — не знаю; да, может быть, Вам вовсе и не суждено попасть в эту беду! Примите, по крайней мере, мое искреннее желание правильного счастья и правильной жизни. Это Вам желает человек глубоко — и заслуженно несчастный...» *[7]

---

* Это письмо не вошло в собрание тургеневских писем [8]. Вообще, перебирая подлинные письма Тургенева к отцу, я увидала, что

Встреча Тургенева с моим отцом была сердечная и радостная. Насколько мне помнится и насколько я тогда была в состоянии наблюдать, между отцом и Тургеневым возобновились самые дружеские и даже нежные отношения, но ни о чем серьезном они не говорили, как будто стараясь касаться только тех предметов, на которых не могло произойти между ними разногласий.

Помню, что Тургенев много спорил с гостившим у нас тогда князем Л. Д. Урусовым, но отец мало вмешивался в эти споры. Напротив, помнится мне, что отец относился с добродушной иронией к попыткам Урусова «обратить» Тургенева в свою веру.

Урусов был очень близкий друг отца, с первых же дней знакомства сделавшийся горячим сторонником его взглядов. То, что отец в то время писал и говорил, всегда находило отзвук в душе Урусова, точно отец говорил и писал то, что совпадало с его собственными убеждениями и взглядами. Это было точно новое откровение для него. И он не только сам наслаждался своим обращением, но ему хотелось поделиться своим счастьем со всяким, кого он видел.

Встретивши у нас Тургенева, Урусов не мог успокоиться, не попытавшись обратить его. А Тургеневу спорить совсем не хотелось. Он старался уклоняться от задиравшего его Урусова, и я слышала, как раз он с добродушным смехом жаловался на него отцу.

— Душа моя,— говорил он,— этот ваш Трубецкой (вместо Урусов) меня совсем с ума сведет.

Видимо, Тургеневу хотелось у нас отдыхать, и ему веселее было гулять с нами, играть в шахматы с моим братом [9], слушать пение моей тетки [10] и разговаривать о том, о чем вздумается, чем спорить о философских вопросах.

Я помню, что было много разговоров о литературе.

Тургенев, чтобы проверить чье-нибудь художественное чутье, всегда задавал вопрос:

очень многие его письма — и, на мой взгляд, самые интересные — не были напечатаны Литературным обществом в собрании писем Тургенева. Я спросила отца — почему это случилось? Не от того ли, что те письма, которые не были напечатаны, имели характер более интимный, чем те, которые он отдал в печать? Но он ответил, что, насколько он помнит, это вышло случайно и что он дал напечатать те письма, которые нашлись у него под рукой, когда у него их попросили.

— Какой стих в пушкинской «Туче» не хорош?

Помню, что отец тотчас же указал на стих: «и молния грозно тебя обвивала» [11].

— Конечно! — сказал Тургенев.— И как это Пушкин мог написать такой стих? Молния не «обвивает». Это не дает картины...

Помню, как после этого отец задал тот же вопрос Фету. Фет входил в комнату. Отец, не здороваясь с ним, сказал:

— Ну-ка, Афанасий Афанасьевич, какой стих в пушкинской «Туче» не хорош?

Фет, не задумавшись, тотчас же спокойно ответил:

— Конечно, «и молния грозно тебя обвивала»...

Тургенев много говорил о Мопассане, восхищался его произведениями и рассказывал о его жизни. Он первый указал на него моему отцу, когда Мопассан еще был начинающим, молодым писателем.

Он дал отцу роман Мопассана «La maison Tellier» * и посоветовал ему прочесть его. Но на отца эта книга тогда не произвела впечатления. Произошло ли это от того, что тогда он был далек от всяких художественных интересов, или же от того, что его оттолкнуло слишком грязное содержание романа,— но знаю, что чтение этой книги прошло для него незаметно [12]. Несколько лет спустя он прочел «Une Vie»** того же автора, и впечатление было совсем иное [13]. Он пришел в такой восторг от этой книги, что тотчас же захотел перевести ее на русский язык, и я под его руководством проредактировала этот перевод для издания «Посредника» [14].

Помню разговоры о Гаршине. Он тогда только что появился на литературном горизонте, и Тургенев посоветовал отцу прочесть его рассказы. Как и о мопассановских романах, так и о гаршинских рассказах Тургенев своего мнения не высказал, не желая вперед влиять на мнение отца [15].

Гаршина отец сразу оценил [16] и после этого всегда прочитывал все, что Гаршин печатал ***.

---

* «Дом Телье» (*франц.*).

** «Жизнь» (*франц.*).

*** Отцу пришлось впоследствии познакомиться с Гаршиным, но их знакомство длилось недолго [17]. Вскоре Гаршин заболел психически. В последний раз, как Гаршин был в Ясной Поляне, он приехал из Тулы верхом на лошади, отнятой у извозчика. Отца с матерью не было дома; наши преподаватели и преподаватель-

Помню, как удивительно образно и забавно Тургенев рассказывал. Как-то рассказал он нам о том, как одна известная русская дама заинтересовала его на маскараде. Очарованный умом, грацией, красивой фигурой этой дамы, Тургенев размечтался о том, чтобы увидеть ее лицо. Конечно, он представлял себе его таким же привлекательным, как и все остальное. Долго он молил ее о том, чтобы она сняла маску, и долго она не соглашалась. Наконец она уступила и подняла маску.

— Представьте себе мой ужас! — воскликнул Тургенев,— когда, вместо того поэтического образа, который я составил себе, я увидел *чухонского мужика в юбке* *.

А вот другой рассказ Тургенева.

Едет он куда-то на ямщике, и по дороге встречается ему мужик в телеге: голова у него свешана с грядки телеги, руки беспомощно болтаются, лицо все избито в кровь. Он диким, хриплым голосом кричит какие-то ругательства... Ямщик взглядывает на мужика и, повернувшись с козел к Тургеневу, замечает: «Руцкáя работа [20], Иван Сергеевич!»

Помню Тургенева в один из его приездов ранней весной на тяге с отцом и матерью [21].

Сумерки. Отец стоит с ружьем (он тогда еще охотился) на поляне, среди мелкого, еще не распустившегося осинника. Недалеко — моя мать с Иваном Сергеевичем. Мы, дети, неподалеку устраиваем костер из сухих сучьев. Все говорят шепотом, чтоб не отпугивать тянущих вальдшнепов.

Тяга удачная. Поминутно слышен особенный легкий, прозрачный свист вальдшнепов и потом характерное хорканье. В эти минуты все настораживаются и замирают... Бац! — раздается выстрел... Лягавая собака суетится

ницы и прислуга были приведены в недоумение появлением этого странного молодого человека. Никто его не пригласил в дом, и я помню, с каким страхом и смущением я смотрела на эту красивую безумную фигуру без шапки, на неоседланной лошади, когда он ехал обратно по березовой аллее и сильно размахивал руками, что-то декламируя [18].

* Вероятно, дама почувствовала свою ошибку, так как впоследствии на маскарадах, которые она очень любила посещать, она не поднимала маски. Алексей Толстой, которого она тоже впервые встретила и пленила на маскараде, где «тайна» ее покрывала черты, — также был от нее в восхищении и посвятил ей стихотворение «Средь шумного бала» [19].

и бежит искать упавшую птицу... Потом опять все становятся по местам.

Тургеневу надоедает стоять молча, и он тихо переговаривается с моей матерью. В их разговоре встречается слово «любовь», от которого мое полудетское сердце волнуется и бьется сильнее *.

Что говорит этот красивый старик о любви? Какую роль играла она в его жизни? Смутно зная что-то о великой певице, к которой так давно и так верно привязан Тургенев [22],— я представляю себе, как необыкновенно поэтична и возвышенна должна быть любовь между ними и как должна быть блестяща и содержательна их жизнь в Париже, этой столице из столиц.

Вечереет. Делается сыро и темно. Вальдшнепы перестают тянуть, и мы идем домой.

Приезд Тургенева в Ясную Поляну летом 1881 года [23] свежее в моей памяти, и я помню несколько картин из этого его посещения.

Утро. Я прихожу под липы перед домом пить кофе и застаю следующее: на длинной доске, положенной серединой на большую чурку, прыгают с одной стороны мой отец, а с другой — Тургенев. При каждом прыжке доска перевешивается и подбрасывает кверху стоящего на противоположном конце. То взлетает отец, то Тургенев. Взлетевший попадает опять ногами на доску, чем ее перевешивает. Тогда взлетает стоявший на противоположной стороне, и т. д.

Тургенев носил, из-за своей подагры, огромные башмаки с очень широкими носками. При каждом прыжке эти поставленные рядом две огромные ноги ударяются о доску, и встряхиваются прекрасные белые кудри. До сих пор ясно вижу перед глазами эти две характерные фигуры, увлеченные детской забавой.

Другая картина: Тургенев спорит с Урусовым. Они сидят в столовой перед чайным столом. Урусов приходит в такой азарт, что-то доказывая, что соскальзывает со стула, на котором качается, и продолжает, сидя на полу и делая из-под стола жесты, кричать что-то Тургеневу. Но Иван Сергеевич не выдерживает и громко покаты-

* Тургенев говорил моей матери о том, почему он больше не может писать романов. Он говорил, что только тогда можно описывать любовь, когда самого трясет лихорадка любви. А так как его эта лихорадка уже более не трясет, то он писать о ней не может.

вается со смеха, что и прекращает спор, к большому удовольствию Тургенева.

В это лето в Ясной Поляне царил дух оживления, пения, танцев, романов,— вообще очень ранней молодости. Во флигеле жила моя тетка по матери, Т. А. Кузминская, с своей семьей, и, кроме нее, гостило в доме еще много молодежи. Мы были все подростками, и все были друг в друга влюблены. Чуть не каждый вечер мы танцевали, и моя тетка пела. У нее был прекрасный голос. Мой старший брат садился за фортепиано ей аккомпанировать, а все остальные рассаживались по открытым окнам залы и слушали. Помню, как в эти летние вечера душа разрывалась от волнения, от каких-то неясных мечтаний и порывов, от какой-то сладкой грусти, навеянной прекрасным голосом моей тетки и страстными словами петых ею романсов.

Как-то раз вечером устроились у нас танцы, и Тургенев пошел с моей матерью танцевать кадриль. Я помню, как в одной из фигур он вдруг заложил большие пальцы за проймы жилета и проделал несколько очень смешных фигур канкана. Все пришли в восторг,— а я, составлявшая с своим кавалером vis-à-vis Ивану Сергеевичу, просто не помнила себя от веселья.

Пение моей тетки он всегда слушал с восторгом.

— Какое мне несчастие! — раз сказал он.— Я больше всякой другой музыки люблю пение, а у меня самого вместо голоса в горле сидит золотушный поросенок.

Помню, как раз вечером, возбужденные после пения и танцев, мы все, то есть вся молодая компания, сидели кучкой и тихо о чем-то переговаривались. Тургенев увидал нас, подошел и подсел к нам.

— Ну, вот что,— сказал он,— давайте каждый рассказывать о самой счастливой минуте нашей жизни.

Мы решили, что начнет Иван Сергеевич. Он согласился и рассказал нам историю одной своей любви. В начале этой любви он был несчастлив, мучился ревностью и сомнениями, но вот раз, взглянув в лицо любимой женщины, он встретил ее взгляд. В нем было столько любви, что Тургенев почувствовал конец своим мученьям, и всю жизнь, вспоминая этот взгляд, считал эту минуту самой счастливой в своей жизни.

После этого рассказа все те из нас, которые были или считали себя влюбленными, дарили или ловили эти взгля-

ды любви, воображая, что переживают самую счастливую минуту своей жизни.

Уехавши из Ясной Поляны, Тургенев написал отцу [24], и между ними опять завязалась переписка. Почти в каждом письме Тургенев прямо или намеками просит отца заняться литературной работой.

В письме от 14 мая 1882 года он пишет отцу:

«Милый Толстой, не могу сказать, как меня тронуло Ваше письмо[25]. Обнимаю Вас за каждое в нем слово. Болезнь моя angine pectorale goutteuse, которой я почти готов быть благодарен за доставленные мне ею выражения сочувствия, вовсе не опасная, хоть и довольно мучительная; главная беда в том, что, плохо поддаваясь лекарствам, она может долго продолжаться, лишив меня способности движения. Она на неопределенное время отдаляет мою поездку в Спасское. А как я готовился к этой поездке! Но всякая надежда еще не потеряна. Что же касается до моей жизни, так я, вероятно, долго еще проживу, хотя моя песенка уже спета; вот Вам надо еще долго жить,— и не только для того, что жизнь все-таки дело хорошее, а для того, чтобы окончить то дело, к которому Вы призваны, и на которое, кроме Вас, у нас мастера нет. Вспоминаю Ваши прошлогодние полуобещания — и не хочу думать, чтобы Вы их не исполнили. Не могу много писать, но Вы меня понимаете...» [26]

В сентябре того же года он пишет:

«...Я слышал, что статья Ваша, которая должна была явиться в «Русской мысли», сожжена по распоряжению цензуры [27], но, быть может, у Вас уцелел оттиск; то не будете ли Вы так любезны, не пришлете ли мне его сюда (лучше в Париж, 50, rue de Douai) по почте? Я, по прочтении, аккуратно Вам его возвращу. Очень бы мне хотелось прочесть эту статью.

Пишу Вам в Ясную Поляну, так как полагаю, что Вы раньше зимы не вернетесь в Москву. Не спрашиваю Вас, не принялись ли Вы за литературную работу,— так как я знаю, что Вам этот вопрос не совсем приятен; но весьма бы желал иметь весточку об Вас, о Вашем здоровье, так же, как и о всех Ваших, которым прошу от меня поклониться» [28].

Отец с одной знакомой дамой послал Тургеневу в Париж свою «Исповедь», прося Тургенева прочесть эту книгу, не сердясь на него, а стараясь стать на его точку зрения и понять ее [29].

Тургенев ответил следующее:

«А что я прочту Вашу статью именно так, как Вы желаете, об этом и речи быть не может. Я знаю, что ее писал человек очень умный, очень талантливый и очень *искренний*; я могу с ним не соглашаться, но прежде всего я постараюсь понять его, стать вполне на его место... Это будет для меня и поучительней и интересней, чем примеривать его на свой аршин или отыскивать, в чем состоят его разногласия со мной. *Сердиться* же — совсем немыслимо; сердятся только молодые люди, которые воображают, что только и света, что в их окошке... а мне на днях минет 64 года. Долгая жизнь научает — не сомневаться во всем (потому что сомневаться во всем, значит: в себя верить), а сомневаться в самом себе,— то есть верить в другое — и даже нуждаться в нем. Вот в каком духе я буду читать Вас».

«...Опять принялся за работу. Как бы я обрадовался, если б узнал, что и Вы принялись за нее! Конечно, Вы правы; прежде всего нужно жить *как следует;* но ведь одно не мешает другому...» [30]

Но Тургенев, видимо, не понял «Исповеди» и не согласился со взглядами моего отца. Ему он написал:

«Я начал было большое письмо к Вам в ответ Вашей «Исповеди», но не кончил и не кончу, именно потому, чтобы не впасть в спорный тон...» [31]

А одновременно с этим письмом он писал Григоровичу следующее свое мнение об «Исповеди»:

«Получил на днях через одну очень милую московскую даму ту «Исповедь» Л. Толстого, которую цензура запретила. Прочел ее с великим интересом: вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убежденья. Но построена она вся на неверных посылках — и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни... Это тоже своего рода нигилизм... И все-таки Толстой едва ли не самый замечательный человек современной России!..» [32]

Как часто я себя спрашивала, так же, как я думаю, и многие другие, о том: какая могла быть причина частых ссор отца с Тургеневым?

О литературном соревновании, мне кажется, не могло быть и речи. Тургенев с первых шагов моего отца на литературном поприще признал за ним огромный талант и никогда не думал соперничать с ним. С тех пор как он еще в 1854 году писал Колбасину: «Дай только бог Тол-

стому пожить, а он, я твердо надеюсь, еще удивит нас всех»[33],— он не переставал следить за литературной деятельностью отца и всегда с восхищением отзывался о ней.

«Когда это молодое вино перебродит,— пишет он в 1856 году Дружинину,— выйдет напиток, достойный богов»[34].

В 1857 году он пишет Полонскому:

«Этот человек пойдет далеко и оставит за собой глубокий след»[35].

А между тем эти два человека никогда друг с другом не ладили...

Читая письма Тургенева к отцу, видишь, что с самого начала их знакомства происходили между ними недоразумения, которые они всегда старались сгладить и забыть, но которые через некоторое время — иногда в другой форме — опять поднимались, и опять приходилось объясняться и мириться.

В 1856 году Тургенев пишет отцу:

«Ваше письмо[36] довольно поздно дошло до меня, милый Лев Николаевич... Начну с того, что я весьма благодарен Вам за то, что Вы его написали, а также и за то, что Вы отправили его ко мне; я никогда не перестану любить Вас и дорожить Вашей дружбой, хотя,— вероятно, по моей вине,— каждый из нас, в присутствии другого, будет еще долго чувствовать небольшую неловкость... Отчего происходит эта неловкость, о которой я упомянул сейчас, — я думаю, Вы понимаете сами. Вы единственный человек, с которым у меня произошли недоразумения; это случилось именно оттого, что я не хотел ограничиться с Вами одними простыми дружелюбными отношениями,— я хотел пойти далее и глубже; но я сделал это неосторожно, зацепил, потревожил Вас и, заметивши свою ошибку, отступил, может быть, слишком поспешно; вот отчего и образовался этот «овраг» между нами. Но эта неловкость — одно *физическое* впечатление — больше ничего; и если при встрече с Вами у меня опять будут мальчики бегать в глазах, то, право же, это произойдет не оттого, что я дурной человек. Уверяю Вас, что другого объяснения придумывать нечего. Разве прибавить к этому, что я гораздо старше Вас, шел другой дорогой...

Кроме собственных так называемых литературных интересов,— я в этом убедился,— у нас мало точек соприкосновения; вся Ваша жизнь стремится в будущее — моя вся

построена на прошедшем... Идти мне за Вами невозможно; Вам за мною — также нельзя. Вы слишком от меня отдалены — да и кроме того, Вы слишком сами крепки на своих ногах, чтобы сделаться чьим-нибудь последователем. Я могу уверить Вас, что никогда не думал, что Вы злы, никогда не подозревал в Вас литературной зависти. Я в Вас (извините за выражение) предполагал много бестолкового, но никогда ничего дурного; а Вы сами слишком проницательны, чтобы не знать, что если кому-нибудь из нас двух приходится завидовать другому — то уже наверное не мне...» [37]

В следующем году он пишет отцу письмо, которое, как мне кажется, служит ключом к пониманию отношений Тургенева к отцу:

«...Вы пишете, что очень довольны, что не послушались моего совета — не сделались только литератором [38]. Не спорю, может быть, Вы и правы, только я, грешный человек, как ни ломаю себе голову, никак не могу придумать, что же Вы такое, если не литератор: офицер? помещик? философ? основатель нового религиозного учения? чиновник? делец? Пожалуйста, выведите меня из затруднения и скажите, какое из этих предположений справедливо. Я шучу,— а в самом деле мне бы ужасно хотелось, чтобы Вы поплыли наконец на полных парусах...» [39]

Мне кажется, что Тургенев, как художник, видел в моем отце только его огромный литературный талант и не хотел признавать за ним никакого *права* быть чем-либо другим, кроме как художником-литератором. Всякая другая деятельность отца точно обижала Тургенева,— и он сердился на отца за то, что отец не слушался его советов и не отдавался исключительно одной литературной деятельности. Он был много старше отца, не побоялся считать себя по таланту ниже его и только одного от него требовал: чтобы отец положил все силы своей жизни на художественную деятельность.

А отец знать не хотел его великодушия и смирения, не слушался его, а шел той дорогой, на которую указывали ему его духовные потребности. Вкусы же и характер самого Тургенева были совершенной противоположностью характеру отца. Насколько борьба вообще воодушевляла отца и придавала ему сил,— настолько она была не свойственна Тургеневу.

Я думаю, что то, что Тургенев так охотно уезжал из России и жил за границей,— имело своим основанием

именно этот страх перед борьбой. События, которые в его время происходили в России, не нравились ему; он говорил, что у него есть враг в России — крепостное право, но на борьбу у него не было охоты, и он, я думаю — бессознательно, предпочел удалиться от всего того, что его мучило, чем вступать в борьбу [40]. Издали он следил за тем, что происходило в России, и собирался принимать участие в ее жизни, но многие планы его так и оставались планами.

«...Я решился посвятить весь будущий год на окончательную разделку с крестьянами,— пишет Иван Сергеевич отцу в ноябре 1857 года, — хоть все им отдам, — а перестану быть «барином» [41]. На это я совершенно твердо решился, — и из деревни не выеду, пока всего не кончу...» [42]

На следующий год от 17 (29) января он пишет отцу из Рима:

«Давно ожидаемое сбывается [43],— и я счастлив, что дожил до этого времени... Не буду говорить Вам о том вопросе, который Вам, вероятно, уже уши прожужжал, но уверяю Вас, он занимает нас здесь чуть ли не больше, чем всех вас, находящихся на месте; каждое известие принимается с жадностью; толкам и спорам нет конца. Я также написал мемориал [44], послал его (это между нами; дело идет об основании журнала, исключительно посвященного разработке крестьянского вопроса); словом, все мы завертелись, как белка в колесе... Я послал письмо к нашему предводителю...» [45]

Насколько я знаю, из этих затей Тургенева ничего не вышло. Искусство всецело поглощало его жизнь, и все остальное имело для него лишь побочный интерес.

Несмотря на то, что свойственное отцу этическое стремление было, я думаю, довольно чуждо Тургеневу, он тем не менее очень дорожил отношениями с отцом и всегда старался их поддерживать.

«Не надобно давать переписке замолкнуть,— писал он в 1856 году. — Скажите, что Вы делаете? Ударились в истребление медведей, как некогда в хозяйство, в лесоводство и т. д.?» [46]

В марте 1861 года он пишет:

«Скажу Вам без обиняков, любезный Толстой, что Ваше письмо меня очень обрадовало [47]. В нем выразилось окончание тех если не неприязненных, то, по крайней

мере, холодных отношений, которые существовали между нами. Прошедшим недоразумениям конец» [48].

Но как только между ними устанавливаются дружеские отношения, так Тургенев возвращается к своим увещеваниям. В следующем же, за вышеприведенным, письме он пишет отцу:

«...Меня порадовало известие, что Вы возвращаетесь к искусству: [49] каждый человек так создан, что ему одно дело приходится делать; специальность есть признак всякого живого организма; а Ваша специальность все-таки искусство,— это, разумеется, *не исключает возможности* заниматься и педагогией, особенно в том первобытном виде, какой и возможен и нужен у нас на Руси» [50].

И, наконец, почти накануне своей смерти он карандашом, слабой рукой, пишет отцу свое последнее письмо, под которым он даже не имеет сил подписаться, а вместо подписи пишет, не оканчивая букв: «устал»... В нем он «на смертном одре» пишет отцу, чтобы сказать, как он был рад быть его современником, и чтобы выразить ему свою последнюю искреннюю просьбу. «Друг мой, вернитесь к литературной деятельности,— просит он и дальше опять повторяет: — Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе...» [51]

Отец, насколько я знаю, не ответил на это письмо, а через два месяца уже Тургенева не стало...[52]

Рим, 20 января 1908 г.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

I

В первый раз я увидала Николая Николаевича Ге в нашем доме в Москве в 1882 году [1].

Мне тогда только что минуло восемнадцать лет. Помню, как, вернувшись с катка, с коньками в руках, я направилась в кабинет отца и по дороге от кого-то из домашних узнала, что у него сидит художник Ге. Мне сказали, что он приехал из своего имения, Черниговской губернии [2], исключительно для того, чтобы познакомиться с отцом.

Отец назвал меня Николаю Николаевичу, который ласково со мной поздоровался и, обратившись к отцу, сказал:

— Вы так много для меня сделали и я так полюбил вас, что и я хочу сделать для вас что-нибудь, что мне по силам. Вот я вам ее напишу.

И он кивнул на меня головой. Потом он сделал мне два-три вопроса, и я сразу почувствовала доверие и близость к нему.

Ему был тогда пятьдесят один год. Он был уже очень лыс, волосы на висках уже белели, но глаза были молодые и блестящие.

В то время я знала о нем только то, что он был большим художником, воспитывался в Академии и за свою картину «Тайная вечеря» был послан на казенный счет в Италию [3]. Знала, что он был одним из самых деятельных учредителей «Передвижных выставок», и весной того года, как познакомилась с ним, я видела на Всероссийской выставке «Тайную вечерю» и другую знаменитую его картину — «Петр I и царевич Алексей». Обе картины в то время произвели на меня очень сильное впечатление,

и знакомство с Ге представляло для меня большой интерес.

Его желание сделать мой портрет очень польстило мне, но мой отец попросил его, вместо моего, написать ему портрет моей матери.

Немедленно, в тот же или на другой день, начались сеансы.

С Николаем Николаевичем приехала его жена Анна Петровна: небольшого роста, белокурая женщина, очень решительная и бесповоротная в своих суждениях, за что ее муж в шутку называл «прокурором». Она так же, как и ее муж, быстро сошлась со всеми нами.

Анна Петровна всегда присутствовала при работе Николая Николаевича, и он постоянно спрашивал ее совета.

— А ну-ка, Анечка, — говорит он, — поди-ка, посмотри, что тут не так.

Анна Петровна садилась на его место, смотрела на портрет, потом — на мою мать и своим спокойным, решительным голосом делала свои замечания. Почти всегда Николай Николаевич был с ней согласен и принимался переделывать написанное.

Из посторонних особенным правом делать замечания пользовался мой старший брат, бывший тогда студентом. Каждый день он находил повод для критики, и Ге покорно его выслушивал. То он находил, что моя мать сидит, точно проглотивши аршин, то — что она изображена слишком молодой, и т. п.

Николай Николаевич приходил в отчаяние и кричал на него: «Варвар! злодей!» — но менял позу и прибавлял морщин.

Наконец портрет был почти готов. Моя мать была написана сидящею в кресле, в бархатном платье с кружевами. Но раз утром Николай Николаевич пришел в столовую пить кофе и объявил нам, что портрет никуда не годится и что он его уничтожит.

— Это невозможно,— говорил он.— Сидит барыня в бархатном платье, и только и видно, что у нее сорок тысяч в кармане. Надо написать женщину, мать. А это ни на что не похоже.

Он рассказал нам о том, как он накануне лег спать и, по обыкновению, перед сном взял читать Евангелие, но не мог, так его мучали мысли о портрете. И только тогда, когда он решил, что уничтожит сделанное и начнет работу сначала, он мог успокоиться.

Таким образом, портрет этот был уничтожен и только через несколько лет написан другой. На нем моя мать изображена стоя, в черной накидке, с моей младшей сестрой Сашей, которой тогда было три года, на руках [4].

II

Во время сеансов Ге много разговаривал со всеми нами.

Он рассказывал нам, между прочим, о том впечатлении, какое произвела на него статья моего отца о переписи в Москве [5], и о том, как она совершенно перевернула все его миросозерцание и из язычника сделала его христианином.

Он до конца жизни поминал это и сохранил к отцу самую нежную благодарность, которую он часто высказывал ему, и еще чаще нам, его детям, боясь быть неприятным отцу слишком частым повторением своих чувств.

Трудно сказать, насколько мой отец был причиной того нравственного переворота, который произошел в душе Ге. Я была слишком молода во время их первого знакомства, чтобы тогда быть в состоянии составить себе об этом ясное представление. Но теперь мне кажется, что пути, по которым шла душевная работа Ге и моего отца, вначале шли независимо друг от друга, но в одинаковом направлении. Оба они были художники, за обоими были в прошлом крупные произведения искусства, создавшие их славу как художников,— и оба они, пресытившись этой славой, увидали, что она не может дать смысла жизни и счастья. Мой отец провел несколько лет в мучительных исканиях и сомнениях. Насколько я знаю, то же было и с Ге. Несколько лет его жизни прошло, в которые он не написал ни одной картины. Он жил у себя на хуторе в Малороссии и тосковал без дела и без цели в жизни.

Он был на перепутье, и как только он увидал по статьям отца, что отец переживает ту же душевную работу, которая в нем происходила, он узнал себя и с радостью и восторгом бросился к отцу, в надежде, что он поможет ему выбраться из той темноты, в которой он пребывал в последнее время. Это так и случилось. И хотя изредка нападало на него чувство раздражения и одиночества среди людей, не разделяющих его взглядов, он тем

не менее всегда умел себя побороть и стать опять спокойным и радостным.

В 1886 году он писал мне: «Когда для меня открылся смысл жизни, то я ужаснулся, посмотрев, где я был, и каждую минуту, каждое мгновение, все больше и больше растет тот свет, та ясность, без которой я уже не могу жить, и в этом такое счастье, что без этого я не мог бы быть таким спокойным, разумным,— я бы и себя мучил, но, что хуже всего, я мучил бы других...» [6]

В следующем письме он пишет: «Раздражение мое, происходившее от диссонанса жизни, моей и окружающих, с святой истиной, смягчается. Я все делаюсь спокойнее и лучше и все более и более понимаю Евангелие и испытываю великую радость, живя им...» [7]

Он часто говаривал, что, несмотря на то, что он иногда бывал совершенно одиноким в своих взглядах, он чувствовал, что то, что было для него, по его словам, дороже жизни, привлекало к нему людей, особенно простых и угнетенных. «Самые глубокие понимания истины без спора не только понимаются чистым сердцем простыми людьми,— писал он в одном из своих писем,— но они лежат основанием их жизни»[8].

С тех пор как Ге сошелся с моим отцом, можно сказать, что взгляды их всегда совпадали и во многом пути их сходились.

«Я вижу, как Вы, мой дорогой, идете твердо, хорошо,— писал он моему отцу в мае 1884 года,— и я за Вами поплетусь, хотя бы и расквасить мне нос, но все-таки полезу» [9].

В других письмах он пишет: «Мы живем одной верой и одним умом».

«Надеюсь, милый друг, что доплыву до того места, где Вы стоите. Не брошу, не отстану и верю, что бог мне поможет» [10].

«Вы, дорогой, светлый Лев Николаевич, сами не знаете, какой свет Вы вносите туда, где почва добрая. Как ясно, светло и просто все делается. Жить по-божьему легче, чем катиться по рельсам» [11].

Исходя из той же точки отправления, то есть веры в учение Христа, убеждения Ге и моего отца часто одинаково проявлялись в их образе жизни.

Так же, как отец, Ге пришел к вегетарианству и до самой смерти старался не употреблять в пищу мяса. Так же, как отец, Ге старался возможно меньше пользоваться

наемными услугами и делал для себя сам все, что было ему по силам. Кроме того, он признавал необходимость физического труда, и, помимо занятий у себя на хуторе полем, садом, пчелами и т. п., он избрал себе специальностью кладку печей. Он хорошо делал эту работу и любил ее. Я думаю, что за последние годы своей жизни он сложил не один десяток печей для своих домашних, а также и для многих крестьян. Как-то он писал мне: «Эту неделю я искусством не занимался,— делал печь и еще не кончил. Работа тяжелая, и я радуюсь этому. Чувствуешь себя равным всем трудящимся, а это хорошо» [12]. У нас в Ясной Поляне он сложил печь для одной бедной вдовы. Мой отец, сестра, я и жившие у нас тогда друзья затеяли выстроить одной погорелой вдове огнеупорную избу из глины и соломы. Ге вызвался делать печь, и я помню, как весело и бодро он работал, шлепая мокрой глиной и выкрикивая нам разные шутки с высоты своей печки.

К простому народу Ге относился не только с любовью, но и с уважением. Написавши картину, он всегда созывал своих соседей-крестьян и показывал им свою работу, внимательно прислушиваясь к их мнению.

«В их отзывах для меня всегда — награда за мои хлопоты,— писал он отцу.— И кто это выдумал, что мужики и бабы, вообще простой люд,— грубы и невежественны? Это не только ложь, но, я подозреваю, злостная ложь. Я не встречал такой деликатности и тонкости никогда и нигде. Это правда, что надо заслужить, чтобы тебя поставили ровно по-человечески, чтобы они сквозь барина увидали человека, но раз они это увидали — они не только деликатны, но нежны» [13].

Он и мой отец одновременно бросили курить. И эта победа над своей долголетней привычкой приводила Ге в восторг. Он говорил, что прежде, утомившись, он для отдыха брался за папиросу, а теперь, бросивши курить, он только переходил на другие предметы занятий. «Отдыхаешь, а все-таки живешь,— писал он моему отцу.— Прежде в дыму задавливал всякую живую мысль. И все это Вы наделали. А помните, как мы пыхтели, сидя в кабинете маленьком, крошечном...» [14]

Так же, как и мой отец, Ге остался верен той форме проявления своей внутренней жизни, какой и начал. Главным его занятием осталось искусство. Оно теперь обратилось исключительно на изображение сюжетов из Евангелия и видоизменилось только в том смысле, что Ге

стал относиться менее строго к форме, а все свои усилия обращал на содержание своих картин.

Он всегда любил Христа. Доказательством к этому служит первая его картина «Тайная вечеря» [15]. Но прежде, по его словам, он любил и понимал Христа только сердцем, а впоследствии стал понимать его и умом.

К личности Христа он относился со страстной и нежной любовью, точно к близко знакомому человеку, любимому им всеми силами души. Часто, при горячих спорах, Николай Николаевич вынимал из кармана Евангелие, которое всегда носил при себе, и читал из него подходящие к разговору места.

«В этой книге все есть, что нужно человеку»,— говаривал он при этом. Читая Евангелие, он часто поднимал глаза на слушателя и говорил, не глядя в книгу. Лицо его при этом светилось такой внутренней радостью, что видно было, как дороги и близки сердцу были ему читаемые слова. Он почти наизусть знал Евангелие, но, по его словам, всякий раз, как он читал его, он вновь испытывал истинное духовное наслаждение. Он говорил, что в Евангелии ему не только все понятно, но что, читая его, он как будто читает в своей душе и чувствует себя способным еще и еще подниматься к богу и сливаться с ним.

III

Отличительной чертой Ге была его любовь к людям. Во всяком человеке он находил хорошую сторону. «Прелестнейший юноша», «бесподобнейший человек», «замечательнейшая женщина»,— были обычными эпитетами, употребляемыми Николаем Николаевичем. Если он работал и к нему приходил кто-нибудь за советом или с просьбой, он тотчас же бросал работу и отдавал все свое внимание посетителю, как бы скучен и неинтересен он ни был.

«Человек дороже холста»,— сказал он мне раз, когда я досадовала на кого-то, оторвавшего его от работы.

У Ге был удивительный дар влиять на людей, заставить себя слушать и найти с каждым человеком те точки соприкосновения, на которых не могло бы быть разногласия. Он прекрасно говорил, всегда вкладывая всю душу в свои слова. Некоторых приводила в недоумение, а иногда и раздражала его манера сразу становиться в возможно

близкие отношения при первой же встрече. Он был так добр и прост, что, по замечанию моего отца, люди, не привыкшие к такому отношению, не верили его искренности и иногда думали, что под этой добротой крылись какие-нибудь хитрости.

Он часто, здороваясь, целовался с людьми, даже мало ему знакомыми. Я помню, как раз он зашел со мной к нашим друзьям в редакцию «Посредника», где ему представили одного юношу, только что поступившего в редакцию. Николай Николаевич поздоровался с ним и потянулся, чтобы его поцеловать. Тот с недоумением и недоверием посмотрел на него, сперва отшатнулся назад, но, увидя полное доброты и ласки лицо Николая Николаевича, с радостью обменялся с ним поцелуем.

К деньгам Ге относился совершенно равнодушно. Если у него покупали картину или портрет, он радовался этому главным образом потому, что это было признаком оценки его работы.

Так как он был у себя дома строгим вегетарианцем, делал многое на себя сам и одевался почти по-нищенски, то денег ему много и не нужно было. Сколько раз сестре и мне приходилось чинить на нем разные предметы его одежды, а моя мать сшила ему пару панталон, которой он очень гордился, я же связала ему фуфайку, которую он носил вместо жилета до самой смерти. Рубашку он носил грубую, холщовую, с отложными воротниками, и старый поношенный пиджак.

В такой одежде он езжал в Москву и Петербург и никогда ни для кого ее не менял, хотя бывал в самых разнообразных обществах.

IV

Ге проводил большую часть своей жизни в деревне. Но к концу зимы он обыкновенно ездил в Петербург на открытие «Передвижной выставки». Никогда он не проезжал мимо нас, не заехавши к нам, где бы мы ни были — в Москве или в Ясной Поляне. Иногда он заживался у нас подолгу, и мало-помалу мы так сжились, что все наши интересы — печали и радости — сделались общими. Младшим членам нашей семьи он всегда говорил «ты», а нам, старшим, стал говорить «ты» только в последние годы нашего знакомства.

Когда мы расставались, то продолжали общаться письменно. Все, что происходило у нас, мы сообщали ему; обо многом спрашивали его мнения и совета и всегда быстро получали ответ.

Раз у нас в Ясной Поляне отец затеял всех спрашивать три главные желания. Сам отец только мог придумать два: 1) всех любить и 2) быть всеми любимым. Помню, как мой брат Миша, который тогда был еще совсем маленьким, сказал на это: «Ну, значит, у папá только одно желание: первое, а второе у него и так есть». Я письменно спросила Ге его три главные желания и получила в ответ следующее: «На вопрос о желании — могу сказать, что первое желание мое, это чтобы хорошие люди в своих семьях имели бы ту радость и свет, какой может иметь человек, поверивший и полюбивший Христа. Второе мое желание, чтоб мой милый Лев Николаевич был здоров; а третье — чтобы бог благословил меня окончить мой труд, который я делаю для всех, ради света Христова. Может быть, подумавши, я придумал бы еще лучшее что-нибудь, но я нарочно не придумывал, а сказал то, что мне пришло в голову» [16].

Ге часто проводил с нами осень, так как полевые работы на хуторе кончались и он еще не начинал занятий живописью. Моя мать уезжала в Москву с братьями, которые учились в гимназии, и в Ясной Поляне оставался отец, сестра Маша, я и часто Николай Николаевич. Занимались мы в это время, кроме домашних дел, исключительно письменными работами, в чем и Николай Николаевич нам помогал. По вечерам привозили почту, и мы все вместе ее разбирали. Отец распределял письма на три разряда: те, на которые он сам ответит; другие, на которые мы должны отвечать; и третьи — без ответа.

Иногда отец сам езжал на почту.

Раз он уехал верхом на станцию, а Николай Николаевич, Маша и я сидели дома за самоваром и ждали его. До станции Козлова-Засека три с половиной версты. Отец уехал в десятом часу вечера, а почтовый поезд приходил в одиннадцатом. Пробило одиннадцать часов, половина двенадцатого, двенадцать, а отца все нет. Мы все трое сидим в большом беспокойстве, и, наконец, Николай Николаевич решает идти на конюшню, чтобы узнать, не пришла ли лошадь, на которой поехал отец. Мы с Машей остались в зале, в волнении ожидая возвращения Ге. Через несколько минут слышим, как дверь в передней отво-

ряется, и Николай Николаевич кричит мне снизу совершенно изменившимся голосом: «Таня! Лошадь пришла!» Конечно, в воображении троих вырастают ужасные картины. Все трое мы бежим на конюшню, велим как можно скорее запрягать «катки» (так у нас называется линейка), и только что садимся в нее, чтобы лететь подбирать отца, как он является пешком живой и невредимый. Оказалось, что лошадь была привязана, и пока отец ходил на станцию, она испугалась подошедшего поезда, оторвала повод и ушла домой. Отцу пришлось идти пешком, и поэтому он так запоздал. Я помню, что я обиделась на отца за то, что он подумал сперва о том, чтобы узнать, пришла ли лошадь, а не поспешил, чтобы нас успокоить, но Ге меня устыдил. Сам он так и сиял от радости и счастья, когда он в этот вечер смотрел на отца. Видно было, как горячо он его любил и как счастлив он был от того, что отец цел и невредим.

В период нашего знакомства Николай Николаевич испытал много семейных огорчений и радостей, которыми он всегда делился с нами. Самым крупным и тяжелым для него событием за это время была кончина его жены [17]. Оставшись без нее, он еще ближе прильнул к нашей семье и мог более долго у нас оставаться, так как дома никто особенно его не ждал. Оба сына его были семейные и жили от него отдельно.

В эти времена своего отдыха он мало работал, никогда не рисовал в альбом,— у него его даже никогда с собой не бывало, так как он не понимал того, чтобы рисовать просто для удовольствия рисования. Он по этому поводу приводил слова своего учителя Брюллова, очень любимого им, который говаривал, что лучше ничего не делать, чем делать ничего.

Те портреты красками или углем, которые Николай Николаевич делал помимо своих картин,— он делал с людей, которых он особенно любил, или в подарок своим друзьям.

Одно время он начал изучать английский язык, так как находил, что ни на каком языке не написано так много хороших книг, как на английском, а также и потому, что собирался когда-нибудь поехать в Англию. У себя на хуторе он долбил английскую грамматику, как отдых от своих художественных работ, и писал, что радуется тому, что память еще действует. «Мы сидим вечером,— писал он о себе и о своем приятеле,— как гимназисты,

учим свои уроки. Он — французский, а я — английский, и, заткнув уши, долбим напропалую»[18].

Когда он приезжал к нам, то мой маленький брат Ванечка учил его английским словам. Они оба вставали раньше всех других, и когда остальные приходили в столовую, то заставали трогательную картину: шестилетнего ребенка, заставляющего седого старика повторять английские слова. «Это мой учитель»,— говаривал Николай Николаевич о Ванечке.

В самом Николае Николаевиче было много детского. Часто, придя усталый откуда-нибудь, он просил позволения прилечь на кушетке в моей комнате и тотчас же засыпал сладким младенческим сном. Проснувшись, он иногда просил сладенького, и я всегда старалась иметь запасы каких-нибудь сластей, чтобы угостить его.

«Вспоминаю Вас в уголке Вашей комнаты,— как-то он пишет мне,— сидит, читает д'Аннунцио, а мне все прянички дает. Целую Вас, милая Таня, и часто вспоминаю»[19].

Он очень любил анекдоты, и над самыми глупыми и примитивными он был способен хохотать до упада. Он часто шутил, а иногда любил и подразнить людей, но самым добродушным образом.

V

Так как я в то время занималась живописью, то часто обращалась за указаниями к Николаю Николаевичу, который давал мне очень драгоценные советы в этой области.

Я начала раз при нем портрет сестры Маши для того, чтоб он на практике дал мне некоторые указания. Когда я его подмалевала, Ге подошел, посмотрел и не одобрил моей работы. «Ах, Таня, разве можно так писать? Надо вот как!» — и, взяв из моих рук палитру и несколько больших кистей, он переписал весь подмалевок. Потом он передал мне палитру и велел продолжать. Но начало было так хорошо, что мне не хотелось его портить, и мы упросили его кончить портрет, что он и сделал *. Я досадовала на себя за неумение сделать то, что казалось так

* Этот портрет был выставлен на «Передвижной выставке», а потом отдан в нашу семью, где он и находится.

просто в руках Николая Николаевича. По этому поводу он рассказал мне про одно замечание Брюллова. Раз Брюллов в Академии подошел к одному ученику и поправил ему этюд. Ученик посмотрел на поправленную работу и сказал: «Как странно, ведь вы, кажется, чуть-чуть поправили, а совсем стало другое».— «Все искусство начинается с чуть-чуть»,— ответил Брюллов.

Когда Николай Николаевич уезжал, то он продолжал письменно помогать мне советами. Вот что он писал мне в ответ на мою просьбу помочь мне своими указаниями в моих занятиях живописью и перспективой.

«Я надеюсь, что и я послужу Вам и многое могу Вам передать в деле, с которым я сжился, занимаясь им целую жизнь. Я рад, что Вы хотите заняться искусством. Способности у Вас большие, и знайте, что способности без любви к делу ничего не сделают. Нет большего умственного удовольствия, как высказать свои душевные мысли в форме разумной и благообразной. Вот к форме, к чувству формы у Вас большие способности. Позаботьтесь по форме, но больше всего о том, что выскажется в форме. Все искусство — в содержании, в том, что действительно Вам дороже всего и что Вы храните в Вашей душе, как самое дорогое, самое святое. Оно, это святое, Вам и укажет характер образа (формы) и потребует от Вас изучения той или другой формы. Оно Вас будет руководить, и знайте, ему служите, ему верьте, не изменяйте, и тогда наверно Ваши произведения будут художественны и дороги Вам и всем окружающим, то есть людям.

Учите перспективу, и когда овладеете ею, вносите ее в работу, в рисование. Никогда ее не отделяйте от рисования, как делают многие, то есть рисуют по чувству, а потом поправляют по правилам перспективы. Напротив, пусть перспектива у Вас будет всегдашним спутником Вашей работы и стражем верности. Пусть она проникнет в те части рисования, где и нельзя ее механически приложить. Например, рисуя голову,— портрет,— нельзя приводить в перспективу части головы, а когда Вы знаете перспективу, чувствуете ее, Вы приложите ее к рисованию головы и нарисуете очень верно — вот что я хочу сказать» [20].

«Вот Вам правило, — писал он в другом письме, — которое никогда не забывайте: рисовать — значит видеть пропорции, и потому никогда не позволяйте себе видеть одну часть без всего общего, то есть Вы рисуете не нос, не

глаз, не рот, не ухо, не голову, не руку, а какую роль играет нос на лице, то рот и т. п. Всякий раз, когда рисуете часть, рисуйте ее в смысле с общим. Симметрические части всегда рисуйте вместе и в одно время, то есть оба глаза непременно, оба уха, обе щеки, и все это в отношении целого: так голова фигуры, ежели рисуете фигуру. Начинайте рисовать от центра. Лицо в голове — торс в фигуре. Назначивши главные части, непременно протушуйте главные тени и свет общий, чтоб проверить пропорции, и рисуйте всегда все время Ваш рисунок, — всегда от начала до конца общее, и идите к детали постепенно. Вот Вам весь секрет рисования. Приучите себя идти этим путем — и Вы готовы»[21].

В следующих своих письмах Ге излагает мне теорию перспективы, иллюстрируя свои письма чертежами и рисунками.

В наших беседах с ним о живописи и о теории сочинения Ге советовал мне, если я буду писать картины, не писать к ним этюдов. Он говорил, что надо заносить свое впечатление прямо в картину, как пчела носит свой мед в улей. «А то,— говорил он,— в этюде не выразишь всего своего впечатления с той силой, с какой его ощущаешь, а копируя этюд на картину, утрачиваешь еще долю этого впечатления».

Для того чтобы разместить действующие лица на картине, Ге советовал вылепливать в маленьком виде фигуры из воска или глины. Он очень хвалил этот способ и только предостерегал от того, чтобы вылепливать подробности, так как глаз мог привыкнуть к кукловатости глиняных фигур и внести ее в картину.

«Картина — не слово! — говаривал он о том впечатлении, которое должна была производить картина на зрителя.— Она дает одну минуту, и в этой минуте должно быть все. Взглянул — и все! Как Ромео на Джульетту — и обратно. А нет этого — нет картины».

VI

Целую зиму Николай Николаевич работал у себя на хуторе. Когда он кончал картину, он вез ее в Петербург и выставлял на «Передвижной выставке». Останавливался он в Петербурге всегда у друзей, которых у него везде было много, и проводил там около месяца,

За последние годы своей жизни Ге становился все более и более популярным, особенно среди молодежи, так что, как только в Петербурге проходил слух о его приезде, к нему начинало стекаться столько гостей, что ему не под силу бывало со всеми разговаривать, и он мало-помалу усвоил себе манеру полуразговора, полулекции или проповеди на ту тему, которая интересовала большую часть его слушателей.

Из Петербурга он приезжал к нам в Москву, и тут начиналась та же жизнь. Николая Николаевича приглашали всюду, и он никому не отказывал. Я помню, как мои товарищи по Школе живописи и ваяния, которую я посещала в продолжение нескольких лет, ждали приезда Ге, готовя разные вопросы для обсуждения с ним. Обыкновенно выбиралась как место сборища квартира какого-нибудь ученика Школы, куда собирались и все остальные товарищи. Ге очень любил эти сборища. «Представьте себе,— рассказывал он мне про одно такое собрание,— маленькую комнатку, набитую молодежью. Так как стульев мало, то одного только меня посадили на стул, а все остальные сели вокруг на пол. Говорили о самых важных вещах на свете и, между прочим, о живописи. Спрашивали моего мнения о значении пейзажа в живописи и о применении фотографии для художника. Все эти молодые люди принесли свои этюды и эскизы и спрашивали моего совета».

Молодые художники эти были все, по словам Николая Николаевича, «прекраснейшими юношами», и произведения их он большей частью хвалил. Особенно сильное впечатление произвел на Николая Николаевича эскиз одного из них, изображавший Петра Великого, целующего отрубленную голову леди Гамильтон. «Это страшно сильно,— говорил он,— это черт знает, как сильно».

Иногда Ге езжал и в Киев, где также у него было много друзей и знакомых.

«Ездил в Киев по приглашению группы студентов,— писал он мне в ноябре 1892 года,— которые меня просили приехать к ним и разъяснить им многое из учения Льва Николаевича и, главное, разобрать то, что, может быть, и не его. Я имел несколько вечеров беседы, человек до двадцати пяти студентов, молодых женщин, девиц. Никто не курит. Три часа я излагал предмет беседы, а два часа шло разъяснение. Сердце мое радовалось этому дорогому проявлению.

Кроме того, в Школе художеств меня ждало до ста человек. Требовали разъяснения интересов художества. Меня радует не то, что меня зовут, но меня радует то, что Истина, дорогая нам с дорогими друзьями, все более и более захватывает живых людей...» [22]

VII

Ге любил искусство во всех его отраслях и проявлениях. Он любил литературу, много читал и часто в письмах к нам делился впечатлением о прочитанном. Одно время мы с ним увлекались д'Аннунцио, но это было временное увлечение. Мопассана он всегда читал с восторгом, очень ценил и ставил наряду с первоклассными писателями. О моем отце и говорить нечего. Все, что отец писал, Ге немедленно, прямо из-под пера, с жадностью и восхищением поглощал. Почти в каждом письме к нам Ге просит нас прислать ему то, что отец написал. Многое, что в России не было напечатано, Ге собственноручно переписал для себя. Он сам пробовал свои силы в писательстве, и его воспоминания о Герцене были напечатаны в «Северном вестнике» [23]. Собирался он также писать об искусстве, то есть, по его словам, «об отношении художника и критики к искусству», но за живописными работами ему на это не хватило времени.

Музыка действовала на него очень сильно. Я помню, как он обливался слезами, слушая пение «Crucifix» Фора в исполнении моей тетки Т. А. Кузминской. Но, конечно, на первом плане стояла у него живопись. Работал он всегда с большим вдохновением, которое не ослабевало до тех пор, пока задуманная картина не была окончена. А чуть только исполнение одной картины приходило к концу, у Ге уже была «целая толпа сюжетов», как он говорил, которые просились на холст.

Прежде чем начать писать на холсте, Николай Николаевич много думал о своей картине, рассказывал и писал нам о ней, много искал, много рисовал эскизов, и когда она была готова в его представлении, он быстро, не отрываясь, принимался за исполнение. У него было драгоценное свойство, при всем своем увлечении работой, не терять к ней критического отношения. Если картина не удовлетворяла его, он опять и опять ее переписывал. Он часто говорил мне, что если художник будет жалеть своих

трудов, то он никогда ничего не сделает. Некоторые свои картины, которые почему-нибудь перестали ему нравиться, он уничтожал без всякого сожаления. Так, например, картина «Что есть истина?» написана сверх картины «Милосердие»[24]. В то время, как он задумал «Что есть истина?», у него не было для нее подходящего холста. «Милосердие» давно уже стояло в мастерской, он пережил эту картину, она ему пригляделась, голова и сердце были полны новой темой, размеры холста подходили, он, не долго думая, и записал старый холст новой картиной.

В письмах к нам он часто жаловался на то, какие он испытывает мучения за работой, но всякий раз прибавляет, что зато, когда ему удается выразить то, что ему хочется, он испытывает такой восторг и такое наслаждение, что все мучения забываются.

Он находил, что Карлейль прав, говоря, что творчество бессознательно[25]. «Сколько раз — ищешь, ищешь и все как будто стоишь на месте,— писал он нам както,— и вдруг, все как светом осветится — увидишь все с необыкновенной ясностью, безо всякого усилия с своей стороны... Когда вся внутренняя работа в душе уляжется, вдруг выделяется из души светлый образ, который сразу полон и готов... И какая удивительная вещь — в этом образе я все-таки вижу весь круг своей бесконечной работы. Значит, я не даром мучился»[26].

О том, что он желал выразить своими картинами, Ге рассказывал с таким увлечением и вдохновением, что — я должна в этом сознаться — картина, когда я ее видела, казалась мне всегда слабее моего представления о ней. Может быть, это происходило отчасти и от того, что Николай Николаевич в последних своих картинах так страстно бывал увлечен их содержанием, что форма, в которую он облекал это содержание, не представляла для него большого интереса и важности, и он ею несколько пренебрегал. Я же, занимаясь живописью, невольно искала совершенства техники.

Несколько из его картин последних годов были найдены нецензурными и сняты с выставки[27].

Ему это было горько: столько положено работы, столько потрачено сил, пролито слез над ними, и вдруг запрещение показывать плод этих усилий и исканий! Но он старался найти и в этом хорошие стороны и писал нам бодрые письма.

«Ваше письмо пришло как раз, когда оно было нужно мне,— писал он мне в Париж, после снятия «Что есть истина?» с «Передвижной выставки». — Я только что вернулся от товарищей, и душа моя была крепко огорчена. Не самолюбие мое страдало, а то особенное чувство, которое испытываешь, когда чувствуешь и видишь, что люди — в потемках и, как утопающие, мешают сами себе их вытащить и потому топут...» [28]

VIII

Кроме своих больших картин, которые почти все были написаны на евангельские сюжеты, Ге сделал много рисунков, этюдов и эскизов на те же темы.

Одно время он задался целью сделать иллюстрации к Евангелию. Он привез к нам в Ясную целую серию угольных рисунков, которые он приколол вокруг всей залы для того, чтобы мы могли удобнее видеть их в их последовательности. Некоторые из них были удивительно сильны и производили огромное впечатление. С волнением и трепетом водил Николай Николаевич моего отца от одного рисунка к другому, ожидая его мнения. И мой отец всегда восхищался и умилялся перед работами Ге, так как источник, из которого вытекали образы, написанные Николаем Николаевичем, был ему близок и понятен.

Одно время Ге затеял написать семь картин под общим заглавием: «Нагорная проповедь» [29]. В сентябре 1886 года он пишет отцу: «Два дня я не могу ни о чем думать, как о «Нагорной проповеди». Попробовал сочинить на одной картине и тут только понял в той новой форме, которую вдруг увидал: каждая заповедь будет сочинена особо и на каждую будет, в сиянии и свете, исполнение ее Христом. Это так умилительно, что я заплакал от радости, что бог меня вразумил» [30].

Картины были начаты в два тона масляными красками и изображали: первая — проповедь Христа, окруженного учениками и народом; вторая должна была иллюстрировать текст: «Блаженни нищие»; а остальные пять должны были быть написаны на пять заповедей Христа.

Первая — на 21—26 стихи V главы от Матфея — изображала следующее: человек, вспомнивший перед тем,

как принести жертву на подножие алтаря, что есть другой человек, гневающийся на него,— просит прощения у своего врага. Но тот гордо отворачивается и не обращает внимания на просящего. На небе же, как видение, исполнение этой заповеди Христом, умывающим ноги Иуде.

Вторая заповедь — на 27—32 стихи той же главы — была так изображена: низ картины — рабочие, муж и жена, идут, а навстречу идет богатый, который остановился и с вожделением смотрит на жену. На втором плане за первой группой бежит в отчаянии оставленная богатым жена. На небе, как исполнение заповеди,— Христос отвернулся от сатаны, искушающего его. Сатану окружают женщины, предлагая Спасителю корону.

Третья заповедь (стихи 33—37) изображалась так: низ картины — Ирод, огорченный, лежит перед воином, который передает голову Иоанна Крестителя Иродиаде. Наверху — Христос в Гефсиманском саду, со словами: «Да будет воля твоя».

Остальные две картины не были написаны, и те три, о которых я упомянула, не были окончены.

Кроме этих рисунков, Ге сделал прекрасные иллюстрации к рассказу моего отца: «Чем люди живы», которые были изданы отдельным альбомом [31].

Гостя у нас, Ге набросал углем и красками несколько портретов с наших друзей, а один с меня [32]. Прекрасный портрет моего отца, находящийся теперь в Третьяковской галерее, был написан им в несколько сеансов в Москве в то время, как отец занимался писанием у себя в кабинете [33]. Я помню, как доволен был Ге тем, что во время работы отец иногда совсем забывал о его присутствии и иногда шевелил губами, разговаривая сам с собой.

Как-то летом в Ясной Поляне Ге принялся за лепку бюста с моего отца [34]. Он очень увлекался этой работой. Помню, как раз утром, окончивши бюст, который был снесен во флигель, где форматор должен был его отлить, Ге сидел в зале и пил кофе. Вдруг в ту минуту, как мой отец вошел в залу, Ге, быстро скользнувши глазом по лицу отца, сорвался с места и со всех ног бросился бежать вниз по лестнице. Мы стали кричать ему, спрашивая, что с ним случилось, но он, не оглядываясь, бежал и кричал: «Бородавка! Бородавка!» Через несколько времени он пришел из флигеля спокойный и сияющий. «Бородавка есть»,— сказал он с торжеством.

Оказалось, что, взглянув на отца, он заметил у него на щеке бородавку, и, не помня того, сделал ли он ее на бюсте или нет, он бросился во флигель, чтобы ее сделать, если форматор еще не начал отливать бюста. Но бородавка оказалась, и Ге был успокоен.

IX

За время знакомства с нами Ге написал пять больших картин: «Что есть истина?», «Повинен смерти», «Совесть», «Выход после тайной вечери» и «Распятие».

В картине «Что есть истина?» [35] Ге хотел изобразить контраст между человеком, живущим роскошной праздной жизнью, для которого вопрос об истине кажется совсем не важным, и другим человеком, который только и живет этой истиной и для которого вся жизнь должна быть подчинена ей.

Эта картина вызвала много шума. Были страстные поклонники ее, так же как и яростные противники. Вот что о ней писал мой отец в одном частном письме:

«Смысл картины следующий: Христос провел ночь среди своих мучителей. Его били, водили от одних начальников к другим и, наконец, к утру привели к Пилату. Пилату, важному римскому чиновнику, все это дело представляется ничтожным беспорядком, возникшим среди евреев, сущность которого не может интересовать его, но который он обязан прекратить, как представитель римской власти. Ему не хочется употреблять решительных мер и воспользоваться своим правом смертной казни, но когда евреи с особенным озлоблением требуют смерти Иисуса, его заинтересовывает вопрос, отчего все это затеялось? Он призывает Иисуса в преторию и хочет от него самого узнать, чем он так раздражил евреев. Как всякий важный чиновник, вперед угадывая причину и сам высказывая ее, он настаивает на том, что причина возмущения в том, что Иисус называет себя царем Иудейским. Он два раза спрашивает его — считает ли он себя царем. Иисус видит по всему невозможность того, чтобы Пилат понял его, видит, что это человек совсем другого мира, но он человек, и Иисус в душе своей не позволяет себе назвать его «рака» и скрыть от него тот свет, который он принес в мир, и на вопрос его — царь ли он? — высказывает в самой сжатой форме сущность своего учения (Иоанн,

XVIII, 37): «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего»[35].

Критикуя «Передвижную выставку» того года в одной из небольших петербургских газет, Д. Мордовцев пишет:

«...Если бы на этой выставке не было ничего, кроме картины Н. Н. Ге: «Что есть истина?», то и тогда истекший год творчества свободной кисти нельзя было бы назвать бесплодным. Я не стану говорить о других картинах. Когда душу человека всю заполняет какое-либо одно очень сильное впечатление, то оно на время вытесняет из нее все остальные. Действительно, впечатление, испытанное мной перед картиной «Что есть истина?», до того могуче, что я, по крайней мере, иначе не могу отнестись к созданию Ге, как к величайшему явлению не только в области искусства, но и в области философии истории. Вглядитесь в вопрошающего и в вопрошаемого. Первый — это тип сытого, упитанного римлянина времен Лукулла. Что для него истина? Когда в глаза ему этот оборванный, истерзанный и избитый нищий, которого отдавали ему же на суд, заговорил об истине, то изведавший все издевательства над этою истиной римлянин... иначе не мог отнестись к словам жалкого нищего, как с сытою иронией. «Что такое эта истина? Что мне твоя истина? Что ты мне говоришь о ней?»

Но вопрошаемый! ...Я никогда не забуду этого лица, выражение этих глаз!.. Они преследуют меня до сих пор, и долго будут, уверен, преследовать, как видение, потрясающее всю нервную систему. Такое лицо и такое выражение глаз должно быть только у того, о ком художник, вероятно, очень много думал и которого он, по моему мнению, так глубоко понял. Вспомните: его, этого вопрошаемого, всю ночь терзали, мучили, били по щекам и по голове, рвали ему волосы, издевались над ним; он не спал всю ночь, пытаемый злобными издевательствами, насмешками, презрением, плевками. Ему ведь плевали в лицо! Накануне этого утра он испытывал с вечера страшную предсмертную агонию души, молясь о том, чтобы его миновала ожидавшая его чаша страданий, на которые он, собственно, и пришел в мир. Каким же иным он должен был явиться утром перед Пилатом, как не таким, каким изобразил его Ге?

...И этот божественный страдалец, принявший на себя тысячелетние преступления своей плотской родины —

Иудеи и преступления гордого, глубоко преступного и развратного Рима,— в решительный момент своей божественной на земле миссии — заговорил об истине,— избитый, оплеванный, оборванный, босой, с концами оборванных веревок, которыми ему связывали руки, — этот удивительный человек, назвавший притом себя царем, и понятно, что когда тот, в руках которого было решение жизни и смерти его, с легкомыслием изверившегося во всякую истину человека, спросил: «Что такое истина?» — что оставалось ответить на этот праздный вопрос тому, кто шел на смерть за эту истину, как не взглянуть лишь на вопрошающего таким взглядом, какой вы встречаете на поражающем вас своею страшной реальностью лице замечательного полотна Н. Н. Ге? Что вопрос этот для вопрошающего был праздным — это видно из того, что, не дожидаясь на него ответа, он уходит. «И сие рек, паки изыде к иудеям». Так, мне кажется, изобразил его и художник: вполуоборот, на лице вопрошающего нет ни внимания, ни ожидания — оно равнодушно к истине...»

Рецензент кончает статью очень неожиданным вопросом: «Любопытно только знать, видел ли эту картину Лев Толстой?» [37]

Этой картиной так увлекся один адвокат, некий г-н Ильин, что упросил Николая Николаевича дать ему позволение повезти ее за границу [38].

Ге был очень рад этому предложению и отдал картину г-ну Ильину, который ему очень понравился. Отец написал кое-кому из своих знакомых за границу о картине Ге, прося оказать возможное содействие для успеха выставки картины [39]. Вот что он писал, между прочим, о ней Кеннану в Нью-Йорк:

«...Цель же моего этого письма вот какая: нынешней зимой появилась на Петербургской выставке передвижников картина Н. Ге: «Христос перед Пилатом», под названием «Что есть истина?», Иоанн, XVIII, 38. Не говоря о том, что картина написана большим мастером (профессором Академии) и известным своими картинами — самая замечательная: «Тайная вечеря» — художником, картина эта, кроме мастерской техники, обратила особенно внимание всех силою выражения основной мысли и новизною и искренностью отношения к предмету... Картина эта вызвала страшные нападки, негодование всех церковных

людей и всех правительственных. До такой степени, что по приказу царя ее сняли с выставки и запретили показывать.

Теперь один адвокат Ильин (я не знаю его) решился на свой счет и риск везти картину в Америку, и вчера я получил письмо о том, что картина уехала. Цель моего письма та, чтобы обратить Ваше внимание на эту, по моему мнению, составляющую эпоху в истории христианской живописи картину, и если она, как я почти уверен, произведет на Вас то же впечатление, как и на меня, просить Вас содействовать пониманию ее американской публикой,— растолковать ее.

Смысл картины, на мой взгляд, следующий: в историческом отношении она выражает ту минуту, когда Иисуса, после бессонной ночи, во время которой его, связанного, водили из места в место и били, привели к Пилату. Пилат, римский губернатор, вроде наших сибирских губернаторов, которых вы знаете[40], живет только интересами метрополии и, разумеется, с презрением и некоторой гадливостью относится к тем смутам, да еще религиозным, грубого, суеверного народа, которым он управляет.

Тут-то происходит разговор (Иоанна, XVIII, 33—38), в котором добродушный губернатор хочет опуститься en bon prince * до варварских интересов своих подчиненных и, как это свойственно важным людям, составил себе понятие о том, о чем он спрашивает, и сам вперед говорит, не интересуясь даже ответами; с улыбкой снисхождения, я полагаю, все говорит: «Так ты царь?» Иисус измучен, и одного взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее от роскошной жизни лицо достаточно, чтобы понять ту пропасть, которая их разделяет, и невозможность или страшную трудность для Пилата понять его учение. Но Иисус помнит, что и Пилат — человек и брат, заблудший, но брат, и что он не имеет права не открывать ему ту истину, которую он открывает людям, и начинает говорить (37). Но Пилат останавливает его на слове «истина». Что́ может оборванный нищий, мальчишка, сказать ему, другу и собеседнику римских поэтов и философов,— сказать об истине? Ему не интересно дослушивать тот вздор, который ему может сказать этот еврейский жидок, и даже немножко неприятно, что этот

---

* добрым принцем, то есть с начальнической снисходительностью (*франц.*).

бродяга может вообразить, что он может поучать римского вельможу, и потому он сразу останавливает его и показывает ему, что об этом слове и понятии *истина* думали люди поумнее, поученее и поутонченнее его и его евреев, и давно уже решили, что нельзя знать, что такое истина, что *истина* — пустое слово. И сказав: «Что есть истина?» — и повернувшись на каблуке, добродушный и самодовольный губернатор уходит к себе. А Иисусу жалко человека и страшно за ту пучину лжи, которая отделяет его и таких людей от истины, и это выражено на его лице.

Достоинство картины, по моему мнению, в том, что она правдива (реалистична, как говорят теперь) в самом настоящем значении этого слова... Эпоху же в христианской живописи эта картина производит потому, что она устанавливает новое отношение к христианским сюжетам. Это не есть отношение к христианским сюжетам, как к историческим событиям, как это пробовали многие и всегда неудачно, потому что отречение Наполеона или смерть Елизаветы представляют нечто важное по важности лиц изображаемых; но Христос в то время, когда действовал, не был не только важен, но даже и заметен, и потому картины из его жизни никогда не будут картинами историческими.

Отношение к Христу, как к богу, произвело много картин, высшее совершенство которых давно уже позади нас. Настоящее искусство не может теперь относиться так к Христу. И вот в наше время делают попытки изобразить нравственное понятие жизни и учения Христа. И попытки эти до сих пор были неудачны. Ге же нашел в жизни Христа такой момент, который был важен тогда для него, для его учения, и который точно так же важен теперь для всех нас и повторяется везде, во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека, проявляющегося в неблестящих сферах жизни,— с преданиями утонченного и добродушного и самоуверенного насилия, подавляющего это сознание. И таких моментов много, и впечатление, производимое изображением таких моментов, очень сильно и плодотворно...»[41]

В начале своего путешествия картина имела большой успех, и где-то, кажется, в Германии, общество рабочих пожелало заказать Ге копию с «Что есть истина?». Но в Америке г-ну Ильину не хватило денег на рекламы, и он, претерпевши, по его словам, много нужды, должен был

вернуться в Россию. Эти неудачи очень озлобили г-на Ильина, и он почему-то обвинил в них Николая Николаевича, которому он наделал много крупных неприятностей, кончив тем, что написал против него целую книгу, наполненную клеветами [42].

Ге, разумеется, простил ему все и безропотно снес как клеветы, так и материальные потери и убытки.

Картина была куплена Третьяковым и выставлена в его галерее, где и теперь находится.

X

В картине «Повинен смерти» [43] Ге хотел изобразить Христа, который мысленно молится за своих врагов и просит бога дать ему сил простить их, так как они «не ведают, что творят». Он изображен стоящим в углу картины, прислоненным к стене и рукой придерживающим бороду. Мимо него проходит синедрион во всем своем величии. Первосвященники Анна и Каиафа идут торжественно, поддерживаемые слугами, с сознанием исполненного долга и справедливо решенного суда. Только Никодим, понимая то, что происходит, сидит, закрывши лицо руками, в левом углу картины. Какой-то старик, проходя мимо Христа, поднимает дряхлый палец кверху, чем-то грозя ему. Другой плюет ему в лицо. За ними — открытая дверь, через которую видно темно-синее южное небо.

Картина «Совесть» [44] — единственная из картин Ге последнего периода, на которой не изображен Христос. О содержании этой картины Ге рассказывает так: «Иуда идет следом за толпой, уводящей Христа, но толпа идет скоро; ученики — Иоанн и Петр — бегут следом, а на большом расстоянии от них идет медленно Иуда: и побежать не может, и бросить не может. Душа его разрывается. Он вдруг понял всю гнусность своего поступка и ужаснулся перед ним. Что делать? Куда идти? Вперед нельзя, назад — некуда». «Иуда настоящий предатель,— пишет Ге в одном из своих писем к нам,— тихий, на вид спокойный, но потерявший спокойствие, потерявший то, чем жил, что любил, и отстать не может от него, и быть с ним нельзя,— сам себя отрезал навсегда. Один выход такому мертвецу — умереть; он и умер» [45].

Эта картина подверглась таким же восхвалениям и нападкам, как и «Что есть истина?». Н. К. Михайловский

в «Русских ведомостях» написал статью, в которой жестоко критикует картину «Совесть» и глумится над ней [46]. Но нашлись и страстные защитники этой картины, и некоторое время в печати шла оживленная полемика по ее поводу. Вот как описывает в одной газете впечатление, произведенное на него этой картиной, один из ее сторонников:

«Дышащие бесконечной любовью слова, которыми он (Иисус Христос) встретил своего предателя и своих врагов, резко звучали в ушах грешного Иуды. Безгрешная личность Спасителя предстала теперь перед Иудой во всем своем величии. Пробудившееся сознание более и более открывало его грех. Тяжелая дума сильнее и сильнее овладевала им, что он предал кровь неповинную. В душе Иуды поднимается ряд самых разнообразных мыслей и чувств. Его тяготит и сознание своего преступления, и злоба на своих союзников, и стыд перед людьми. Ночной мрак и тишина еще более усиливают в нем тягостное чувство. Ни одного слова сочувствия не слышит Иуда: все от него отвернулись. Он один, совершенно один среди этого мира. Адские муки, поднявшиеся в душе Иуды, доводят его до оцепенения. Смотря вслед за грубою и жестокою толпою иудеев и воинов, ведших Иисуса и уже почти скрывшихся из вида, Иуда размышляет, что теперь ему делать? И вот этот-то интересный момент Ге и изобразил на своей картине.

Фигура Иуды, закутанного в плащ, производит на внимательного зрителя глубокое впечатление: художник с поразительным искусством выразил в этой фигуре угнетенное душевное состояние предателя. Смотря на эту фигуру, ясно представляешь себе те адские муки, которые переживал Иуда в момент пробуждения совести...» [47]

Следующей, после картины «Совесть», была картина «Выход после тайной вечери» [48]. Картина эта, по моему мнению, самая сильная из всех картин Ге по тому настроению, которое в ней чувствуется. К сожалению, она продана в частные руки, а в Третьяковской галерее находится только эскиз к ней [49]. Содержание ее таково: Христос, вышедши наружу после тайной вечери в лунную южную ночь, поднял голову к небу и крепко стиснул руки. Он знает, что его ждет, и готов на все. Движение молодого Иоанна, тревожно вглядывающегося в темноту, ища Иуду, выражает испытываемое им беспокойство. Осталь-

ные ученики Христа спокойно сходят со ступенек крыльца. Они полны тем, что сейчас говорил им их Учитель, но никто из них не чувствует, что час уже так близок...

XI

Любимым произведением, как мне кажется, самого Николая Николаевича и тем, над которым он работал больше всех других, была его картина «Распятие». Несколько раз он переписывал ее всю до основания, постоянно ища той формы, которая выразила бы во всей полноте его мысль. Начал он ее зимой 1889 года [50] и работал с таким жаром и таким усердием, как никогда не работал ни над одной картиной. Днем он писал, а по вечерам сочинял эскизы. В январе 1890 года он пишет, что кончил картину «и вышел из того особого мира, в котором ее писал» [51]. Но после этого он еще много раз ее переделывал. Осенью 1892 года он мне пишет:

«Картину свою я написал заново, и этот последний толчок мне дал дорогой мой друг, а ваш отец — Лев Николаевич. Когда он написал мне про картину шведа, в которой распятые стоят [52], меня это поразило. Давно мне хотелось так сделать, и я искал оправдания и нашел у Риччи (такой словарь древности) [53] и у Ренана [54], и сделал. В это же время дожидался картинки шведа и крайне удивился, ничего подобного не найдя у шведа. Картина шведа трактует по-старому, по-католически, как я называю, то есть вся обстановка старая и смысл тоже старый,— вся картина сделана для возбуждения чувства жалости к страданию — а этого уже мало, и вот, получив этот новый толчок, в ожидании картинки шведа, я составил новую картину и по смыслу, и по обстановке. Новая — потому, что вызывает в зрителе или должна вызвать желание так же совершенствоваться, как это делает кающийся разбойник.

Картина представляет следующее: все три фигуры стоят на земле, пригвождены ноги к столбу креста и руки к перекладине только двух, а третий привязан веревками, так как перекладина креста короче. Первый к зрителю разбойник, сказав Христу: «Помяни меня, господи»,— опустил голову и плачет. Христос, чуткий к любви, обернул свою замученную голову к нему, полную любви и

радости, а третий вытянулся, чтобы видеть своего товарища, и остается в полном недоумении, видя его слезы.

Фигуры стоят в перспективе у стены и освещены солнцем. Картина светла — вдали слуги, после розыгрыша, окружили выигравшего одежды Христа, составляя группу на последнем плане...» [55]

Через месяц картина опять была вся переделана, и Ге пишет мне:

«Милая, дорогая Таня, раз я так подробно написал о своей картине Вам, я должен опять написать, что я сделал, идя дальше в развитии моей мысли, а то выйдет так: Вы увидите картину, думая найти одно, а увидите другое, и произойдет смущение. Я все переделал, меня утешает то, что в этом смысле я похож на моего дорогого друга Льва Николаевича, не могу остановиться в искании все высшего и высшего...

Переживая положение разбойника, что не трудно, так как я сам такой *, я дошел до его смерти, то есть до умирания или до последней минуты. И вот тут и нашел картину, и верно, и сильно, и хорошо...» [56]

Но и тут он не остановился в своих исканиях, которые продолжал еще целый год.

Он много бился с крестами и одно время решил написать картину без них, а изобразить Христа и двух разбойников, только что приведенных на Голгофу. Ему хотелось изобразить состояние трех страдающих душ: Христос молится, одного разбойника бьет лихорадка под влиянием одного лишь физического ужаса, а другой стоит убитый горем, сознавши, что жизнь прожита дурно и довела его до того положения, в котором он находится.

«Я сам плачу, смотря на картину»,— пишет он отцу по поводу этого варианта своей картины [57].

За время его работы над «Распятием» у него набралось, кроме больших эскизов масляными красками, несколько альбомов, наполненных эскизами к той же картине. Один из эскизов нарисован так: Христос, распятый, уже испустил дух. Разбойник еще жив, и, склоняясь над ним, дух Христа обнимает его и целует **. «Нарисовавши

* Н. Н. Ге подарил мне две фотографии: одну — с головы Христа, а другую — с головы разбойника. Под первой подписано: «Он», под второй — «Я».

** Этот рисунок помещен в изданном его сыном альбоме картин и рисунков Н. Н. Ге. [58].

это, я почувствовал, что я с ума схожу,— сказал Николай Николаевич, рассказывая нам об этом эскизе,— и на время оставил свою работу».

Наконец, 10 августа 1893 года он пишет мне:

«Картину я наконец нашел. Два дня ходил, найдя ее, как одурелый,— мне все казалось, что я что-то сделал выше своего понимания... Остановился я на тексте: «Сегодня будешь со мной в раю», это я и сделал. Надеюсь окончить и не имею никакого желания искать еще, доволен, и вернулась охота работать» [59].

Этот последний и окончательный вариант картины «Распятие» таков: на холсте только две фигуры — Христос и один разбойник. Христос пригвожден к кресту в виде Т, а разбойник привязан к такому же. Оба распятые стоят на земле. Второго разбойника Ге уничтожил, так как находил, что он лишний и только мог помешать тому, что он хотел выразить. Он старался в лице написанного разбойника передать то, что он сам испытал бы, будучи на его месте.

«И вот я представил себе человека,— рассказывал он нам,— с детства жившего во зле, с детства воспитанного в том, что надо грабить, мстить за обиды, защищаться силой,— и который по отношению к себе испытывал то же самое. И вдруг, в ту минуту, когда ему надо умирать, он слышит слова любви и прощения, в одно мгновение меняющие все его миросозерцание. Он жаждет слышать еще, тянется с своего креста к тому, кто влил новый свет и мир в его душу, но он видит, что земная жизнь этого человека кончается, что он закатывает глаза и тело его уже обвисает на кресте. Он в ужасе кричит и зовет его, но поздно».

«...Я испытал этот ужас и отчаяние, когда умирала Анечка,— прибавил Николай Николаевич, кончивши свой рассказ,— и хотел это выразить на лице разбойника».

Картина «Распятие» была привезена Николаем Николаевичем в Петербург на «Передвижную выставку», но была с нее снята по распоряжению правительства. Знакомая Николаю Николаевичу семья предложила выставить ее частным образом в своей квартире; [60] Ге с благодарностью согласился, и за все время, что она там простояла, перед ней постоянно была толпа зрителей. Вряд ли на «Передвижной выставке» ее пересмотрело бы столько народа. И, во всяком случае, она не была бы так замечена

среди многих других картин. А здесь она стояла одна: зрители приходили только для нее, и, кроме того, здесь всегда был Николай Николаевич, дававший объяснения и своими рассказами о том, что он хотел выразить, усиливавший впечатление, производимое картиной.

XII

После выставки своей картины в Петербурге Ге приехал к нам в Москву. Это было весной 1894 года. Он показался нам очень утомленным и слабым, хотя ни на что не жаловался. Очевидно, ежедневное объяснение картины приходившей ее смотреть публике подорвало его силы. Равнодушно давать эти объяснения он не мог, так как он вкладывал всю свою душу в содержание своих картин, считая его важным и значительным.

Картину свою он привез с собой в Москву с намерением и здесь ее показать публике частным образом. Отыскивая для этого помещение, Николай Николаевич тем временем жил у нас и отдыхал.

В эту весну в Москве был первый съезд художников [61]. Я была членом этого съезда, ездила на все собрания, и так как принимала некоторое участие в художественном отделе книгоиздательства «Посредник», то убедила одного из участников «Посредника» прочесть доклад о народных картинах с тем, чтобы к этому делу привлечь художников. Доклад этот имел успех, но мало результатов.

Когда приехал Ге, мне захотелось и его привлечь к этому делу и заставить его принять участие в съезде. Но он отнесся холодно и к тому и к другому.

— Нет, Таня,— сказал он мне,— мне там нечего делать. Там председательствует великий князь, мне не хотелось бы встречаться с ним.

Я была разочарована.

— По-моему, вам следует там быть,— убеждала я его. — Вы один из учредителей «Передвижных выставок», вашего брата уже мало осталось, а вы могли бы молодежи сказать что-нибудь полезное.

Николай Николаевич ушел спать, ничего не решивши, но на другое утро, когда я пришла пить кофе, он сидел веселый и сияющий.

— Таня, я всю ночь думал,— сказал он мне.— И ты увидишь, что я им сегодня скажу.— Когда пришел отец, он и ему сообщил, что «Таня мне велела говорить на съезде художников, и я сегодня ночью решил, что я это сделаю».

В этот день, вечером, было назначено последнее заседание съезда, после которого он закрывался.

После обеда мы поехали с Николаем Николаевичем в Исторический музей, где приютился съезд. Великий князь не присутствовал. Мы сели с Николаем Николаевичем, прослушали несколько докладов, после которых послали сказать председателю, что хочет говорить Ге.

Тотчас же за ним прислали кого-то, кто проводил его на кафедру. Я с своего места смотрела, как он в своей вечной холщовой рубахе и старом пиджаке вышел в публику, которая, увидавши его, вдруг разразилась таким громом рукоплесканий, стуков и возгласов, что совсем взволновала Николая Николаевича. Я видела, как краска прилила ему к лицу и как заблестели его молодые глаза. Когда немного стихло, Ге, положа оба локтя на кафедру и подняв голову к публике, начал:

— Все мы любим искусство...

Не успел он произнести этих слов, как рукоплескания, стуки, крики еще усилились. Николай Николаевич не мог продолжать... Несколько раз он начинал, но опять начинали хлопать и кричать.

После шаблонных речей разных господ во фраках, начинающих свои речи неизменным обращением: «Милостивые государыни и милостивые государи»,— и т. д., слова Ге, сразу объединявшие всех присутствующих, и его красивая, оригинальная наружность,— произвели на всех огромное впечатление.

Смысл речи был тот, что художник, посвятивший себя искусству, не может рассчитывать на легкую, праздную жизнь, а, принимая это призвание, он должен ожидать в жизни много трудностей и готовиться к постоянной борьбе. Говорил он также о том, как много добра делают те люди, которые вовремя поддержат и ободрят художника в трудную минуту его жизни; помянул добрым словом П. М. Третьякова, который не только денежно, но и своим добрым, участливым отношением умел поддержать художника во времена нужды и отчаяния. Говорил он так тепло и сердечно, что многие прослезились, и когда

Ге сходил с кафедры, его проводили с таким же восторгом, с каким встретили.

Была весна, ночь была теплая, и мы с ним дошли домой пешком через Александровский сад. Мы шли молча, и я, глядя на него, думала о том, что только тот человек может иметь влияние на других, который, как Ге, не переставал гореть огнем любви к людям и всему, что может быть нужно их душе.

Через несколько дней после этого собрания было найдено помещение для картины Ге [62], и он пошел туда, чтобы ее устроить. Когда было все готово, Ге разрешил всем желающим приходить и смотреть на картину. С волнением отправились и мы посмотреть на «Распятие», о котором столько рассказывал и писал Николай Николаевич и над которым он столько работал.

Я испытала то же, что всегда,— некоторое разочарование. Чтобы картина произвела на меня впечатление, надо было, чтобы она была сильнее того представления о ней, которое я составляла себе по рассказам Николая Николаевича. А то, что выросло в моем воображении по этим рассказам, было совершеннее и по исполнению, и по выразительности, чем то, что я увидала.

С моим отцом было не то: пока мы с сестрой и еще несколькими друзьями были в мастерской, пришел мой отец, которого Ге ждал с нетерпением. Отец был поражен картиной: я видала по его лицу, как он боролся с охватившим его волнением. Николай Николаевич жадно смотрел на него, и волнение отца передалось и ему. Наконец, они бросились в объятия друг другу и долго не могли ничего сказать от душивших их слез.

«Распятие» простояло в Москве несколько недель, в продолжение которых в мастерской постоянно толпилась публика. Я часто там бывала, так как мне интересно было следить за впечатлением, производимым картиной на публику, а также и потому, что я приводила туда своих товарищей по Школе живописи. Впечатления были самые разнообразные — от крайне отрицательного до самого восторженного.

Помнится мне, что в эту весну, кажется, в мае, Николай Николаевич уехал с моим отцом в Ясную Поляну, где пробыл очень недолго [63], и поехал дальше, в свой хутор, в Черниговскую губернию.

Вскоре и я поехала в Ясную Поляну, но Ге там уже не застала.

Больше не суждено нам было увидаться.

2 июня, вечером, нам подали телеграмму. Отца не было в комнате,— была моя мать, сестра Маша и я. Телеграмма была короткая: Николай Николаевич Ге, сын, сообщал нам о том, что его отец скончался в ночь с 1 на 2 июня (1894 г.).

Мы не могли прийти в себя от поразившего нас известия и сидели молча. Вдруг мы услыхали шаги отца, поднимающегося по лестнице. У меня сердце упало, и я просила кого-нибудь сообщить отцу о полученной телеграмме, так как чувствовала, что голос и язык не послушались бы меня. Сестра тоже отказалась. И я помню, каким странным, неестественным голосом моя мать сказала, обращаясь к отцу:

— Вот, они на меня возложили неприятную обязанность сообщить тебе новость, которая тебя огорчит. — И она передала отцу телеграмму.

Скоро после этой телеграммы отец получил от старшего сына Ге, Петра Николаевича, письмо с описанием того, как умер его отец. Приехавши домой на хутор от старшего сына, Николай Николаевич почувствовал себя дурно, лег и скончался, не приходя в сознание.

Отец ответил Петру Николаевичу:

«Очень благодарен Вам, Петр Николаевич, за Ваше подробное письмо о последних днях и минутах моего милого друга. Едва ли я когда испытывал такое больное чувство потери, как то, которое испытываю теперь. Не могу привыкнуть и по нескольку раз в день вспоминаю, и первую минуту не верю, и всякий раз вновь переживаю чувство утраты. Испытываю и то, что Вы пишете, как бы раскаяние и позднее сожаление о том, что недостаточно любил его или, скорее, недостаточно проявлял свою любовь к нему, потому что любил я его всей душой. Но оно был уж очень любовен, и иногда думается, что недостаточно ценил это счастье. В особенности трудно привыкнуть к его смерти, потому что я не знаю человека на наш человеческий взгляд — более полного душевных сил и будущности. С ним никак не соединялась мысль о смерти. Хочется жалеть о том, что он не сделал всего того, что он хотел и мог, но, видно, этого не нужно было. Видно, есть другие, высшие соображения, недоступные нам, по которым ему надо было теперь уйти из жизни. Я верю в это,

Смерть его подействовала на меня и на всех возвышающим образом, как действует всегда смерть человека большого, не одним внешним даром, но чистого сердцем и такого любовного, каков был Ваш отец. Так она подействовала на всех. Я с разных сторон — Страхов[64], Лесков[65], Стасов[66], Веселитская[67]—получаю письма о нем и на всех, вижу, смерть эта произвела то же возвышающее и умиляющее впечатление, как и на меня, хотя и в меньшей степени.

Стасов хочет писать его биографию, или очерк его деятельности, и хотя это будет не очень основательно,—это будет не дурно, потому что он понимает хотя одну сторону величия Вашего отца.

Вы хорошо сделали, что прислали к нам его картины:[68] мы еще их не получили. Получив, сделаем все, что нужно. Я начал писать Третьякову, чтобы разъяснить ему все значение Ге, как художника, с тем, чтобы он приобрел и поместил все оставшееся. Надеюсь кончить письмо и послать ему нынче же.

Спасибо, что Вы ко мне обратились как к другу и все описали. Вы для меня всегда будете дороги. Что Колечка? Нам все казалось, что он приедет к нам. Я потому не писал еще ему. Передайте мой привет Вашей жене.

Любящий вас *Л. Толстой.*

13 июня 1894 г.[69]»

Затем мы получили письмо от младшего сына Николая Николаевича, которого мы по дружбе все звали Колечкой. Он писал моему отцу, что предоставляет ему право на распоряжение своей частью картин, унаследованных им от отца, и посылает нам две из них в Ясную Поляну.

Отец уже до получения картин думал о их судьбе и написал по этому поводу два письма П. М. Третьякову. Вот они:

П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

14 июня 1894 года.

Павел Михайлович, вот пять дней уже прошло с тех пор, как я узнал о смерти Ге, и не могу опомниться.

В этом человеке соединялись для меня два существа, три даже: 1) один из милейших, чистейших и прекрас-

пейших людей, которых я знал, 2) друг, нежно любящий и нежно любимый не только мной, но и всей моей семьей от старых до малых и 3) один из самых великих художников, не говорю России, но всего мира. Вот об этом-то третьем значении Ге мне и хотелось сообщить Вам свои мысли. Пожалуйста, не думайте, чтобы дружба моя ослепляла меня: во-первых, я настолько стар и опытен, чтобы уметь различить чувства от оценки, а во-вторых, мне незачем из дружбы приписывать ему такое большое значение в искусстве: мне было бы достаточно восхвалять его как человека, что я и делаю и что гораздо важнее.

Если я ошибаюсь, то ошибаюсь не из дружбы, а оттого, что имею ложное представление об искусстве. По тому же представлению, которое я имею об искусстве, Ге между всеми современными художниками, и русскими и иностранными, которых я знаю, все равно, что Монблан перед муравьиными кочками. Боюсь, что это сравнение покажется Вам странным и неверным, но если Вы станете на мою точку зрения, то согласитесь со мной. В искусстве, кроме искренности, то есть того, чтобы художник не притворялся, что он любит то, чего не любит, и верит в то, во что не верит,— как притворяются многие теперь будто бы религиозные живописцы,— кроме этой черты, которая у Ге была в высшей степени,— в искусстве есть две стороны: форма — техника, и содержание — мысль. Форма — техника выработана в наше время до большого совершенства. И мастеров по технике в последнее время, когда обучение стало более доступно массам, явилось огромное количество, и со временем явится еще больше. Но людей, обладающих содержанием, то есть художественной мыслью, то есть новым освещением важных вопросов жизни, таких людей, по мере усиления техники, которой удовлетворяются мало развитые любители, становилось все меньше и меньше, и в последнее время стало так мало, что все, не только наши выставки, но и заграничные Салоны наполнены или картинами, бьющими на внешние эффекты, или пейзажи, портреты, бессмысленные жанры и выдуманные исторические или религиозные картины, как Уде, или Беро [70], или наш Васнецов [71]. Искренних сердцем, содержательных картин нет. Ге же главная сила — в искренности, значительном и самом ясном, доступном для всех содержании.

Говорят, что его техника слаба, но это неправда. В содержательной картине всегда техника кажется плохою,

для тех особенно, которые не понимают содержания. А с Ге это постоянно происходило. Рядовая публика требует Христа-иконы, на которую бы ей молиться, а он дает ей Христа — живого человека, и происходит разочарование и неудовлетворение вроде того, как если бы человек готовился бы выпить вина, а ему влили в рот воды, человек с отвращением выплюнет воду, хотя вода здоровее и лучше вина.

Я нынче зимой был три раза в Вашей галерее и всякий раз невольно останавливался перед «Что есть истина?», совершенно независимо от моей дружбы с Ге и забывая, что это его картина. В эту же зиму у меня были два приезжие умные и образованные крестьяне, так называемые молокане, один из Самары, другой из Тамбова[72]. Я посоветовал им сходить в Вашу галерею. И оба, несмотря на то, что я им ничего не говорил про картину Ге, оба они были в разное время — были более всего поражены картиной Ге «Что есть истина?».

Пишу Вам это мое мнение затем, чтобы посоветовать приобрести все, что осталось от Ге, так, чтобы Ваша, то есть национальная русская галерея не лишилась произведений самого своего лучшего живописца с тех пор, как существует русская живопись.

Очень жалею, что не видел Вас нынче зимой. Желаю Вам всего хорошего.

Любящий вас *Лев Толстой*[73].

П. М. ТРЕТЬЯКОВУ

15 июля 1894 года.

Павел Михайлович! В дополнение к тому, что писал Вам вчера, хочется сказать еще следующее: различие главное между Ге и Васнецовым еще в том, что Ге открывает людям то, что впереди их, зовет их к деятельности и добру и опережает свое время на столетие, тогда как Васнецов зовет людей назад, в тот мрак, из которого они с такими усилиями и жертвами только что выбираются, зовет их к неподвижности, суеверию, дикости и отстает от своего времени на столетие.

Простите меня, пожалуйста, если я своими суждениями огорчаю или оскорбляю Вас. Признаюсь, меня волнует и поражает то, что я в Вас встречаю то суждение, которое

свойственно только людям, равнодушно и поверхностно относящимся к искусству [74]. Ведь если есть какое-нибудь оправдание всем тем огромным трудам людей, которые сосредоточены в виде картин в Вашей галерее, то это оправдание только в таких картинах, как «Христос» Крамского и картины Ге, и, главное, его картина «Что есть истина?». А Вы эту-то самую картину, которая во всем Вашем собрании сильнее и плодотворнее всех других трогает людей, Вы ее-то считаете пятном Вашей галереи, недостойной стоять в одном здании с дамами Лемана [75] и т. п.

Вы говорите «Распятие» нехудожественно. Да художественных картин не оберешься! Рынок завален ими, но горе в том, что они никому ни на что не нужны и только обличают праздность и роскошь богатых, служат уликой им в их грехах. А содержательных, искренних — содержательных картин нет, или очень, очень мало. А только одни такие картины имеют право существовать, потому что нравственно служат людям. Ну, да, я знаю, что я не убежду Вас, да это и не нужно. Произведения настоящие, нужные человечеству, как картины Ге, не погибают, а своим особенным путем завоевывают себе признание. Оно иначе и быть не может. Если бы гениальные произведения были сразу всем понятны, они бы не были гениальные произведения. Могут быть произведения непонятны, но вместе с тем плохи, но гениальное произведение всегда было и будет непонятно большинству в первое время.

Еще раз простите меня, если был Вам неприятен резкостью тона, и примите уверение моего совершенного уважения.

Л. Толстой [76].

Наконец мы получили две картины Ге: «Распятие» и «Повинен смерти». Когда я начала распаковывать их, то пришла в ужас от того, в каком виде пришла последняя картина. Она была снята с подрамка, заложена газетной бумагой и скатана. Так как Ге всегда соблюдал экономию и покупал дешевые краски, то, вероятно, некоторые краски, которыми он писал, были терты на глицерине и не могли вполне высохнуть. Поэтому все газеты прилипли к картине, и когда я стала их отдирать, то пришла в ужас, видя, что это невозможно сделать, не испортивши картины. Я стала понемногу отмачивать газеты и по

маленьким кусочкам их снимать. Но тем не менее во многих местах остались отпечатанными газетные буквы.

Я натянула картины на подрамки и поставила их в своей мастерской в Ясной Поляне до решения их дальнейшей участи.

Вот что отец написал по этому поводу Николаю Николаевичу Ге-младшему:

«Отвечаю, немного помедлив, милый друг Колечка, и потому пишу в хутор. Я и до Вашего письма иначе не смотрел на мое отношение к тому, что оставил мой дорогой друг, как так, что, пока я жив, я обязан сделать, что могу, для того, чтобы его труд принес те плоды, которые он должен принести. Напишите Петруше и дайте мне и Черткову carte blanche *, и мы будем делать, что сможем и сумеем. До сих пор я делал только то, что переписывался с Третьяковым. Он пишет в последнем письме, что он не может приобрести «Суд» и «Распятие», потому что или запретят, или враги испортят картину, чего он даже боится за «Что есть истина?». Я, кажется, внушил ему отчасти все значение того, что оставил Ге, и, будучи в Москве, буду стараться устроить через него, или Солдатенкова, или кого еще — музей Ге [77]. Моя мысль та, что надо устроить помещение и собрать в него все работы Ге и хранить и показывать. Об издании рисунков не могу сказать, не видав их. Если Вы будете уезжать из хутора, перешлите их сюда, в Ясную. Мы рассмотрим и пока будем хранить.

...Я теперь сижу часто в мастерской Тани, смотрю на обе картины, и что больше смотрю, то больше понимаю и люблю. Картины эти слагались в сердце и голове художника — да еще какого — десятки лет, а мы хотим в пять минут понять и обсудить» [78].

Когда я поставила картины в своей мастерской, я повестила своим друзьям и крестьянам на деревне о том, что я прошу всех приходить и смотреть на картины и буду давать объяснения тем, кому они понадобятся.

Прибавлю здесь то, что я смутно знала, но чему без доказательства не хотела верить. Это то, что очень редкий крестьянин знал о том, кто был Христос и какова была его жизнь. А из приходивших крестьянок *ни одна* не знала о нем ничего.

---

* свободу поступать по своему усмотрению (*франц.*).

Отец и я постоянно получали письма от общих друзей с запросами о кончине Николая Николаевича.

Н. С. Лесков писал мне из Меррекюля 8 июня 1894 года:

«Уважаемая Татьяна Львовна!

Простите мне мою просьбу и не откажитесь сообщить мне: где и при каких условиях умер друг наш Николай Николаевич Ге и где и как схоронили его тело? Вообще, что известно об этом в Вашем доме? Сюда, в Меррекюль, весть эту привез 4 июня вечером Петр Ис. Вейнберг, а потом 5-го пришли и газеты. А за час до известия у меня сидел Шишкин, и мы говорили о Ге. Здесь много художников, и все вспоминают о нем с большими симпатиями, и всем хочется знать: где и как он совершил свой выход из тела. Мы с ним были необыкновенные ровесники: я и он родились в один и тот же день, одного и того же года, на память Николая Студита, которому никто никогда не празднует, а это и был наш патрон, и он был художник...» [79]

В. В. Стасов обратился к моему отцу и ко мне с просьбой доставить ему какой был в нашем распоряжении материал для биографии Ге. Отец ответил ему следующим письмом:

В. В. СТАСОВУ

12 июня 1894 г. Ясная Поляна.

Владимир Васильевич! Очень рад, что Вы цените деятельность Ге и понимаете ее. По моему мнению — это был не то, что выдающийся русский художник, а это один из великих художников, делающих эпоху в искусстве. Разница наших с Вами воззрений на него та, что для Вас та христианская живопись, которой он посвящал исключительно свою деятельность, представляется одним из многих интересных исторических сюжетов; для меня же, как это было и для него, христианское содержание его картин было изображением тех главных, важнейших моментов, которые переживает человечество, потому что движется вперед человечество только в той мере, в которой оно исполняет ту программу, которая поставлена ему Христом и которая включает в себя всю, какую хотите, интеллектуальную жизнь человечества. Это мое мнение отчасти и отвечает на вопрос, почему я говорю

о Христе[80]. Не говорить о Христе, говоря о жизни человечества и о тех путях, по которым оно должно идти, и о требованиях нравственности для отдельного человека — все равно, что не говорить о Копернике или Ньютоне, говоря о небесной механике.

О боге же я говорю потому, что это понятие самое простое, точное и необходимое, без которого говорить о законах нравственности и добра так же невозможно, как говорить о той же небесной механике, не говоря о силе притяжения, которая сама по себе не имеет ясного определения. Так же, как Ньютон, для того, чтобы объяснить движение тел, должен был сказать, что есть что-то, похожее на притяжение тела quasi attrahuntur *, так и Христос, и всякий мыслящий человек не может не сказать, что есть что-то такое, от чего произошли мы и всё, что существует, и как будто по воле которого все и мы должны жить. Вот это есть бог — понятие очень точное и необходимое. Избегать же этого понятия нет никакой надобности, и такой мистический страх перед этим понятием ведет к очень вредным суевериям.

Ге письма я Вам соберу, соберу его письма к дочерям. Его разговоры, в особенности об искусстве, были драгоценны. Я попрошу дочь записать их и помогу ей в этом. Особенная черта его была — необыкновенно живой, блестящий ум и часто удивительно сильная форма выражения. Все это он швырял в разговорах. Письма же его небрежны и обыкновенны.

Желал бы очень повидаться.

Лев Толстой[81].

Репин писал мне:

«Умер Ге! Как жаль его! Какой это был большой художник!»[82]

И в следующем письме в конце рассуждения об искусстве «само по себе» он пишет: «В душе я бесконечно жалею, что Ге пренебрегал внешней стороной искусства. При его гениальном таланте и редком душевном развитии он оставил нам свои глубокие художественные идеи только в грубых подмалевках. Простите — я знаю, что Вы иного мнения...»[83]

Все письма отца за это время полны выражения любви и восхищения к своему другу.

---

* «как бы притягиваются» — слова Ньютона из его формулировки закона притяжения.

12 июня 1894 года он пишет И. И. Горбунову-Посадову в ответ на его письма:

«Спасибо Вам, Иван Иванович, за оба письма Ваши [84]. От смерти нашего друга не могу опомниться, не могу привыкнуть. Какая удивительная таинственная связь между смертью и любовью. Смерть как будто обнажает любовь, снимает то, что скрывало ее, и всегда огорчаешься, жалеешь, удивляешься, как мог так мало любить или, скорее,— проявлять ту любовь, которая связывала меня с умершим. И когда его нет — того, кто умер,— чувствуешь всю силу связывающей тебя с ним любви. Усиливается, удесятеряется проницательность любви, видишь все то, достойное любви, чего не видал прежде, — или видел, но как-то совестился высказывать, как будто это хорошее было уже что-то излишнее.

Это был удивительный, чистый, нежный, гениальный, старый ребенок, весь по края полный любовью ко всем и ко всему, как те дети, подобно которым нам надо быть, чтобы вступить в царство небесное. Детская была у него и досада, и обида на людей, не любивших его и его дело. А его дело было всегда не его, а божие, и детская благодарность и радость тем, кто ценили его и его дело.

Он, которому должен был поклоняться весь христианский мир, был вполне счастлив и сиял, если труды его оценивались гимназистом и курсисткой. Как много было людей, которые прямо не верили ему только потому, что он был слишком ясен, прост и любовен со всеми. Люди так испорчены, что им казалось, что за его добротой и лаской было что-то, а за ней ничего не было, кроме бога любви, которая жила в его сердце. А мы так плохи часто, что нам совестно, неловко видеть этого бога любви, он обличает нас, и мы отворачиваемся от него. Я говорю не про кого-нибудь, а про себя. Не раз я так отворачивался от него. Просто мало любил. Ну, зато теперь больше люблю. И он не ушел от меня. Знаю, где найти его. В боге. Поднимает такая смерть, такая жизнь.

От Петруши, его сына, было длинное письмо, описывающее его последние дни и смерть. Он только что готовился работать и был в полном обладании своих духовных сил, был весел, приехал домой, вышел из экипажа, ахнул несколько раз и помер» [85].

А вот две выписки из писем отца к Н. С. Лескову и к Л. Ф. Анненковой:

«...О Ге я, не переставая, думаю и, не переставая, чувствую его, чему содействует то, что его две картины: «Суд» и «Распятие» стоят у нас, и я часто смотрю на них, и что больше смотрю, то больше понимаю и люблю. Хорошо бы было, если бы Вы написали о нем. Должно быть, и я напишу. Это был такой большой человек, что мы все, если будем писать о нем, с разных сторон, мы едва ли сойдемся, то есть будем повторять друг друга» [86].

«...Теперь выскажу Вам, Леонила Фоминична, чувства, вызванные во мне Вашим письмом. Вы уже знаете, верно, про смерть нашего друга, Н. Н. Ге?

Еще до его смерти мне писал Евг. Ив. Попов о том, что Колечка, его сын, находится в самом унылом настроении... Потом вскоре я получил известие о смерти его отца.

Не помню, чтобы какая-либо смерть так сильно действовала на меня. Как всегда, при близости смерти дорогого человека — стала очень серьезна жизнь, яснее стали свои слабости, грехи, легкомыслие, недостаток любви — одного того, что не умирает, и просто жалко стало, что в этом мире стало одним другом, помощником, работником меньше...» [87]

Обдумав и обсудив с близкими друзьями судьбу картин Ге, отец предложил П. М. Третьякову устроить при его картинной галерее музей Ге, в который собрать все его произведения. Сыновья Ге предоставляли Третьякову бесплатно все картины и рисунки отца.

Благоразумный и осторожный Павел Михайлович выслушал предложение моего отца, сделанное не только от своего имени, но и от имени наследников Ге, и обещал дать ответ лишь через год.

Ровно через год он приехал к отцу и сказал ему, что он согласен взять картины и обязуется при первой возможности повесить их в галерее вместе с другими картинами,— но что отдельное помещение для них он приготовит только через пять лет.

Отец и младший сын Ге согласились на эти условия. Картины были посланы к Третьякову. Но пяти лет не прошло, как Третьяков умер. После этого некоторые из картин Ге были то выставляемы, то опять, вследствие строгости цензуры, скрываемы от публики.

Осенью 1903 года «Распятие» было выставлено сыном Ге в Женеве, где имело большой успех.

На одного русского эмигранта она произвела такое сильное впечатление, что он душевно заболел. Он часами

смотрел на картину, не спуская с нее глаз. А потом обнимал и душил в своих объятиях встречаемых людей, говоря, что нам всем надо любить друг друга, иначе мы погибнем.

Лучшая женевская газета «Journal de Genève», хотя и не вполне соглашаясь с концепцией картины, отметила то, что составляет главную силу Ге:

«C'est une oeuvre de foi, — пишет рецензент, — de haute probitè, scrupuleusement cherchée et réalisée. — И заключает словами: — Au total, — c'est l'oeuvre d'un artiste robuste et sensible, surtout tendre, qui sait, et qui aime...» * [88]

Любовь и нежность были, действительно, отличительными чертами характера Ге, и все, что он делал в своей жизни, было ярко освещено этими свойствами его души.

Когда вспоминаешь его лицо, оно всегда представляется озаренным любовью и счастием, так как, за очень редкими исключениями, его любовь к людям заражала их, и они отвечали ему такой же любовью, какую и он проявлял к ним.

---

* «Это творение, исполненное веры, глубоко честное, тщательно обдуманное и выполненное. В целом, это произведение художника сильного и чувствительного, очень нежного, который постигает и любит» (*франц.*).

Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ

Жизнь должна быть прекрасна.

Люди должны быть счастливы.

И для осуществления этих двух целей не следует пренебрегать никаким, даже самым мелким и пустым, поступком.

Если можно дать людям веселье забавным рассказом или смешным анекдотом,— то да здравствует веселый рассказ и смешной анекдот!

Если можно украсить жизнь людей картиной, представлением, песней,— и для этого нужен труд,— то надо дать его с охотой и весельем.

Если для счастья людей понадобится страдание,— то надо идти на него бодро, уверенно и радостно.

Вот в коротких словах «profession de foi» * недавно ушедшего из этой жизни моего товарища по Школе живописи и ваяния — Л. А. Сулержицкого [1].

Не знаю, как сам он определил бы свое внутреннее миросозерцание. Может быть, и иначе, чем я это делаю. Может быть, только бессознательно жила в нем та страстная любовь к жизни и ко всему прекрасному в ней, которая заставляла его весело работать и радостно страдать.

Но всякий, знавший Сулержицкого, не только чувствовал это его свойство, но и заражался им.

Помню я Сулержицкого почти мальчиком.

В Школе живописи и ваяния, которую я посещала в продолжение нескольких зим, Сулержицкий среди товарищей составлял маленький центр,

Люди со слабой инициативой, с вялым характером, с шаткими убеждениями липнут к людям, богаче их одаренным.

---

* символ веры (*франц.*).

Так это было и у нас в Школе.

Сулержицкий, или Сулер, как мы сокращенно звали его, всегда горел какой-нибудь новой затеей или новым открытием и увлекал за собой своих товарищей.

Если где-нибудь в Школе собиралась кучка учеников, о чем-нибудь горячо беседующих, можно было без ошибки сказать, что это ученики собрались вокруг Сулера. Когда раздавались взрывы хохота, это товарищи смеялись какому-нибудь рассказу, анекдоту или представлению Сулера. Если где-нибудь стройно пели ученики — это под его руководством составился хор.

Сулер был очень талантлив во всех областях искусства [2].

Но главный интерес, связывающий всех нас в Школе, была живопись.

К рождеству мы устраивали свою выставку и до этого горячо готовились к ней. Когда мы собирались, то толковали более всего о разных течениях и направлениях в искусстве, показывали друг другу свои работы и советовались друг с другом.

Помню, как раз перед рождеством мы собрались в Школе и обсуждали дела своей выставки. Кое-кто из нас принес свои холсты.

Сулер нам до этого своей картины не показывал и не рассказывал ее содержания, хотя давно уже готовил ее. Он искал в ней новых путей и не хотел, чтобы посторонние отзывы путали его.

Поэтому мы все ждали появления этой картины с большим интересом.

Сулер исчез и через некоторое время с взволнованным лицом принес свою картину, поставил ее на пол у стены и просил нас отойти подальше, чтобы издали смотреть на нее.

Я теперь не помню подробности картины. Помню впечатление: большая пустая комната, тусклое серое освещение и одинокая фигура [3].

Картина давала настроение грусти, тоски и одиночества.

Ученики притихли и долго молча смотрели. Потом начали раздаваться отдельные возгласы:

— Молодчина, Сулер!

— Настроения-то сколько!

— Здóрово, Сулер!

Сулер сиял. Он стал рассказывать нам, какие мысли и чувства он хотел вложить в картину. Товарищи уверяли его, что ему это вполне удалось и что все это зритель чувствует, глядя на нее.

Из сотен учеников Школы живописи и ваяния я особенно сошлась с несколькими юношами и девушками, которые стали бывать у нас в Хамовниках. Среди них, разумеется, был и Сулер.

В те времена мой отец был занят изданиями дешевой литературы для народа. Вместе с книгопродавцем И. Д. Сытиным и некоторыми своими друзьями он положил начало издательству «Посредника».

Я очень сочувствовала этому делу и решила взять на себя художественную сторону издательства [4]. Я надеялась привлечь к этому делу и своих товарищей. Мы должны были заменять имеющиеся в продаже грубые и безнравственные лубочные картины более художественными и нравственными.

Много мы толковали, собираясь в Хамовниках за длинным чайным столом, но настоящего дела от наших толков вышло немного. Очень мы были еще зелены и шатки. Жизнь бросала нас в разные стороны, и мы ни на чем не могли еще сосредоточиться.

Отец ласково относился к моим товарищам и особенно к Сулеру, который стал часто заходить к нам.

Как-то случилось, что Сулер произнес в Школе слишком горячие речи, не понравившиеся начальству, и в результате он был исключен из училища [5].

Мы все, его товарищи, были поражены, огорчены и возмущены этим событием, и на следующей нашей выставке за № 1 был выставлен его портрет во весь рост, превосходно написанный нашим товарищем Россинским.

В каталоге под этим номером напечатано только: «В. Россинский.— Портрет товарища». Мы этим хотели подчеркнуть, что хотя Сулер и исключен начальством, но что мы продолжаем считать его своим товарищем.

В нашем доме Сулер стал бывать все чаще и чаще. Он зачитывался религиозно-философскими сочинениями отца, слушал его беседы с многочисленными посетителями и скоро стал очень близким ему человеком по взглядам и убеждениям [6].

В противоположность многим так называемым «толстовцам», Сулер, подпавши под влияние Толстого, не

потерял своей самобытности. Несмотря на глубокую мысль, постоянно работавшую в голове Сулера, он остался веселым забавником и тонким художником, каким был и прежде.

Бывало, за обедом Сулер сыплет один анекдот за другим, и все, с моим отцом во главе, покатываются со смеха.

А встав из-за стола, он то поет, то пляшет, то представляет кого-нибудь,— и все с улыбкой удовольствия смотрят на него.

Благодаря своей острой наблюдательности Сулер умел удивительно хорошо подражать людям, животным, птицам и даже предметам. И так как его художественное чутье не допускало ничего банального, грубого и крикливого, то смотреть на него и слушать его было настоящим эстетическим наслаждением.

Помню, как он, похлопывая по дну перевернутой гитары, пел какую-то восточную песню. У него был небольшой, но прелестный по звуку тенор и прекрасный слух. Слушая заунывную, протяжную песню с характерными восточными интервалами, меня уносило в дни моего детства, когда в самарских степях старый башкирец Бабай, стороживший бахчи, в теплые летние ночи пел такие же заунывные песни, похлопывая в дно старого железного ведра.

Но вот подошло совершеннолетие Сулера, и для него наступили трудные дни.

Ему надо было отбывать воинскую повинность.

Как быть?

Для того чтобы войны прекратились и с ними прекратились бы все страшные страдания, которые ими вызываются, — рассуждал он, — надо, чтобы никто не шел в солдаты. Значит, если он в это верит, он должен отказаться от исполнения воинской повинности.

Надо идти на страдания.

И Сулер пошел на них. Как всегда — весело и бодро.

Он заявил, что он служить по своим религиозным убеждениям не может.

Ему грозили тяжелые наказания.

Друзья его принялись хлопотать за него. Сам он всех расположил к себе своей приветливостью,— и устроилось так, что для выгоды времени его поместили в тюремную больницу на испытание [7].

Я посетила его там.

Подъезжая к страшным, мрачным стенам, за которыми мне чудились одни ужасы и страдания, — у меня сердце сжималось от тоски.

Я вошла к Сулеру с вытянутым лицом, не зная, что говорить ему, как утешить...

Но как только я его увидала, так мое настроение тотчас же изменилось. Он был такой же веселый и жизнерадостный, как всегда, и мы через две минуты болтали с ним так же свободно, как будто мы находились в нашей старой любимой Школе или в хамовническом доме [8].

Он, смеясь, показал мне, как он сделал из своего больничного халата, который был ему длинен,— нарядный пиджак, подколов его английскими булавками; рассказал, подражая им, о некоторых своих товарищах по больнице,— и скоро тюремные стены услыхали непривычный для них веселый, искренний смех...

Но мы не только хохотали...

Рассказывал мне Сулер о том, как его соблазняют отречься от своих убеждений и согласиться служить... Как близкие ему люди — особенно отец [9] — страдают от его отказа и осуждают его... И как он колеблется...

Я советов ему никаких не дала, боясь вмешиваться в дела его совести, но дала ему понять, что наша семья не отвернется от него, какое бы решение он ни принял.

Сулер не выдержал и поступил в вольноопределяющиеся.

Как он страдал, идя на этот компромисс, может понять всякий честный человек, которому приходилось во имя любви подчиниться желаниям близких людей и этим отступить от требований своей совести.

Он написал нам об этом.

Отец понял его. И потому особенно горячо пожалел его.

«Дорогой Л. А.,— пишет он ему.— Всей душой страдал вместе с Вами, читая Ваше последнее письмо [10]. Не мучайтесь, дорогой друг. Дело не в том, что Вы сделали, а в том, что у Вас в душе; важна та работа, которая совершается в душе, приближая нас к богу; а я уверен, что всё то, что Вы пережили, не удалило Вас, а приблизило к нему. Поступок и то положение, в которое становится человек, вследствие совершенного поступка, не имеет само по себе никакого значения. Всякий поступок

и положение, в которое становится вследствие его человек, имеет значение только по той борьбе, которая происходила в душе, по силе искушения, с которой шла борьба, а у Вас борьба была страшно трудная, и в борьбе этой Вы избрали то, что до́лжно было избрать. Не нарочно, но искренне говорю, что на Вашем месте я поступил бы так же, как Вы, потому что, мне кажется, что так и до́лжно было поступить. Ведь все, что Вы делаете, отказываясь от военной службы, Вы делали для того, чтобы не нарушать закона любви, а какое нарушение любви больше — стать в ряды солдат или остаться холодным к страданиям старика?

Бывают такие страшные дилеммы, и только совесть наша и бог знают, что для себя, своей личности, мы сделали и делаем то, что делаем,— или для бога. Такие положения, если они избраны наверное для бога, бывают даже выгодны: мы падаем во мнении людей (не близких людей, христиан, а толпы) и от этого тверже опираемся на бога.

Не печальтесь, милый друг, а радуйтесь тому испытанию, которое Вам послал бог. Он посылает испытание по силам. И потому старайтесь оправдать его надежду на Вас. Не отчаивайтесь, не сворачивайте с того пути, по которому идете, потому что это единственный узкий путь; все больше и больше проникайтесь желанием познать его волю и исполняйте ее, не обращая внимания на свое положение и, главное, на то, что думают люди. Будьте только смиренны, правдивы и любовны, и как бы ни казалось запутанным то положение, в котором Вы находитесь, оно само распутается.

Самое трудное то состояние, когда весы колеблются и не знаешь, которая чаша перетягивает, уже пережито вами. Продолжайте так же любовно жить, как Вы жили, с окружающими — смиренно, правдиво,— и все будет хорошо.

Лев Толстой.

Несравненно больше люблю Вас теперь после перенесенного Вами страдания, чем прежде» [11].

Сулер выбрал морскую службу и уехал в дальнее плавание [12].

После этого жизнь нас реже стала с ним сталкивать. Но как бы редко мы с ним ни встречались, между нами

навсегда сохранились дружеские и товарищеские отношения.

В девятидесятых годах прошлого столетия понадобились люди, чтобы сопровождать эмигрирующих из России духоборцев [13]. Поехал мой брат Сергей. Но нужны были еще помощники.

Выбор наш пал, между прочим, и на Сулера.

Он тогда уже кончил военную службу и был вполне свободен. Мы знали, что он был дельный и энергичный человек, умеющий работать. А так как тут нужно было помочь угнетенным и страдающим, то мы знали, что он был и сочувствующий.

И Сулер поехал [14]. Иногда приходилось ему трудно. Но он, по своей привычке «весело страдать», со всеми трудностями справился. Он прекрасно сделал свое дело, став любимцем всех духоборцев [15].

Потом я узнала, что он поступил режиссером в Московский художественный театр [16]. Потом я все чаще и чаще стала слышать о том, что Сулер болеет... А потом узнала, что его уже нет...

На Кипре, куда он завозил духоборцев [17], он схватил ту лихорадку, которая, подточив его здоровье, на сорок шестом году свела его в могилу...[18]

Жизнь должна быть прекрасна...

Все, что мог дать Сулержицкий, чтобы сделать ее таковой,— он все сделал.

Мой прощальный и благодарный поклон ему за это. Я вместе с другими получила свою долю того прекрасного, что он успел дать за свою короткую жизнь...

Ясная Поляна. 16 января 1917 г.

ШВЕД АБРААМ ФОН БУНДЕ

Он приехал в Ясную Поляну ранней весной голодного 1892 года. В то время в Ясной никого не было. Мать с младшими детьми жила в Москве, а отец с нами, двумя старшими дочерьми, жил в Бегичевке, имении Раевских, в Рязанской губернии, устраивая столовые для голодающих крестьян.

Не найдя никого в Ясной, швед оттуда направил свой путь в Бегичевку. Приехав к отцу, он поселился у него как будто на весь остаток своей жизни.

30 апреля 1892 года отец пишет матери в Москву: «Нынче приехал оригинальный старик швед из Индии...» [1] А 2 мая он пишет о нем подробнее: «Еще три дня тому назад явился к нам старик, 70 лет, швед, живший 30 лет в Америке, побывавший в Китае, в Индии, в Японии. Длинные волосы желто-седые, такая же борода, маленький ростом, огромная шляпа, оборванный, немного на меня похож; проповедник жизни по закону природы. Прекрасно говорит по-английски, очень умен, оригинален и интересен. Хочет жить где-нибудь (он был в Ясной) и научить людей, как можно прокормить 10 человек одному с 400 сажен земли без рабочего скота, одной лопатой. Я писал Черткову о нем [2] и хочу направить его к нему. А пока он тут копает под картофель и проповедует нам. Он вегетарианец без молока и яиц, предпочитает все сырое. Ходит босой, спит на полу, подкладывает под голову бутылку и т. п.» [3].

Через несколько дней отец опять в своем письме поминает о нем: «Теперь 9 часов вечера, суббота. За столом, на котором стоит самовар, который швед называет «идолом», сидит (идет перечень лиц, сидящих за столом) и швед, съевший яблоко и больше ничего не желающий. Про него говорят, что он самый антихрист; он обещает

прокормить 20 человек на осьминнике и копает уже, но только с уговором, чтобы ему душу продать» [4].

Отец не писал матери в Москву, боясь ее встревожить, о том, что он увлекся теорией сырого питания, проповедуемой шведом, и что он вместе с ним ел его первобытную пищу. Кроме сырых яблок, швед готовил какие-то лепешки, которые он ел тоже сырыми, и пил болтушку из овсяной муки с водой. Тяжелые, как камень, лепешки, конечно, совершенно расстроили здоровье отца, всю жизнь страдавшего болями желудка. Он сильно поплатился за свое увлечение. Матери он пишет уже после припадка, что у него «2-го мая были довольно сильные боли в животе, похожие на те, которые бывали у меня при камнях» [5].

Но мать была осведомлена о случившемся еще раньше и, до прихода письма отца в Москву, летела уже в Бегичевку. Узнала она о болезни отца от хозяйки имения, в котором мы жили, Е. П. Раевской, которая, испугавшись болезни отца, послала матери письмо или телеграмму; она предупреждала мать в том, что в Бегичевке поселился какой-то сумасшедший старый швед, кормящий Льва Николаевича сырой болтушкой, от которой Лев Николаевич сильно заболел желудком, и советовала шведа укротить, иначе нельзя было ручаться за здоровье Льва Николаевича.

В то время я была в Москве, так как, заболев на голоде, я приехала на несколько дней к матери отдохнуть и поправиться. Мать оставила на меня младших детей и сама поехала в Бегичевку «наводить порядки».

Когда она туда приехала, отец уже совсем поправился.

«Я застала папа́ здоровым,— пишет мне мать из Бегичевки 6 мая 1892 года, — за столом с огромной компанией всех сотрудников, две Философовы [6] и швед, спящий на полу...» Дальше она пишет, почему-то называя шведа норвежцем: «Норвежец уедет, и совершенно дружелюбно; этого особенно хочет и Елена Павловна (Раевская, хозяйка Бегичевки)» [7].

На другой день она пишет мне: «Старик из Норвегии, босой и грязный — человек убеждений крайних, но мне не симпатичный. Идеал его — health *, и во имя здоровья — вся теория. Нравственных идеалов, духовных — никаких. Был богат — скучал, болел. Понял, что просто-

* здоровье (*англ.*).

та, первобытность жизни дают здоровье и спокойствие, и достиг их. Лежит, как корова, на траве, копает землю, пополощется в Дону, ест очень много, лежит в кухне — и только. Мы ему очень деликатно сказали, что Елена Павловна приедет и что ему надо уезжать, и он обещал уехать» [8].

Мать пробыла в Бегичевке дня два-три, наладила питание отца и опять уехала в Москву к своим младшим детям.

Швед, вероятно, почувствовал, что он не пришелся по сердцу моей матери, так как после ее отъезда, в первом же своем письме к ней, отец пишет: «Швед грустен, сидит в уголке и зябнет, но говорит все так же радикально и умно» [9]. «Швед все так же похож на пророка Иеремию, и интересен»,— пишет отец в своем последнем письме к матери из Бегичевки, 16 мая 1892 года [10].

Вскоре после этого мы все на время съехались в Ясной Поляне, чтобы хоть несколько недель пожить вместе.

Мать со мной и младшими детьми приехала из Москвы, а отец с сестрой Машей, поручив временно дело столовых нашим сотрудникам, приехал из Бегичевки.

Шведа отец с собой не взял, прося его приехать на следующий день после него и обещая прислать за ним экипаж в Тулу на Сызрано-Вяземский вокзал.

— Когда я езжу один по железным дорогам, то меня стесняет то, что на меня обращают внимание. А везти с собой своего двойника, да еще полуголого — на это у меня не хватило мужества! — сказал он нам, приехав в Ясную.

На другой день я пошла по дороге в Тулу, чтобы встретить шведа [11]. Он меня очень интересовал, и мне хотелось поскорее с ним познакомиться, а кроме того, я чувствовала, что мне придется защищать его от антипатии к нему матери, которую она, не скрывая, выражала.

Помимо этого, меня тревожила мысль о молодой лошади, которую я послала в Тулу за шведом, так как она была не смирна и пуглива.

Не дойдя до шоссе, я увидала спускающуюся с горы плетушку. Когда она поравнялась со мной, кучер остановил лошадь, и я увидала сидящее в тележке очень странное существо. Туловище его было закутано в малиновое байковое одеяло; изжелта-белая борода высовывалась из-за одеяла. Внимательные и, как мне показалось, недобрые глаза выглядывали из-под густых, нависших бровей.

На голове была большая, потерявшая всякую форму, фетровая шляпа. Ноги до колен были голые.

— Я никогда в жизни больше не поеду на лошади,— стал он говорить мне по-английски, не поздоровавшись и не спросив, с кем он говорит.

— Почему? — спросила я.

— Потому что это жестоко и опасно,— ответил он.

«Ох, натворила что-нибудь моя Кандауриха,— подумала я, — недаром я за нее боялась».

Кучер рассказал мне, что в то время, как они ехали в Туле по Киевской улице, Кандауриха чего-то испугалась и подхватила, и, как на грех, из тележки выскочил шкворень, и швед с кузовом и задними колесами остался один посреди улицы, а лошадь с передками убежала. К счастью, кучер не выпустил из рук вожжей, так что ему скоро удалось остановить лошадь и все привести в порядок.

Я села к шведу в тележку и доехала с ним до дома. По дороге мы с ним разговорились, и глаза у него уже перестали быть сердитыми, а смотрели на меня дружелюбно.

Шведа в Ясной приняли холодно [12]. Отец давно не был дома и давно не пользовался досугом для своих литературных работ. Кроме того, в то время он был озабочен происходившим в нашей семье романом [13], и ему было не до шведа. А мать, как сначала его невзлюбила, так и осталась верна своей антипатии до конца. В Ясной она чувствовала себя в силах противодействовать проповедуемым шведом сырым лепешкам и овсяной болтушке, поэтому она не протестовала против того, чтобы он оставался у нас, но ни интереса, ни симпатии она к нему не испытывала. Я же скоро с ним подружилась.

Он рассказал мне свою историю.

Сколько в этой истории правды и сколько в ней иносказательного, я не берусь судить, а расскажу ее так, как он ее рассказывал.

История начинается с того места, когда он, будучи богатым домовладельцем в Нью-Йорке, раз услыхал, как бедная женщина, нанимавшая в одном из его домов подвальный этаж, жаловалась на свою судьбу и проклинала его, богатого кровопийцу, за то, что он, давая им сырое подземелье, за это отнимает у нее последние ее гроши.

«Я почувствовал правду ее слов, и мое душевное спокойствие нарушилось. Я перестал быть счастливым. Так

как наше назначение на земле — счастье, то я и спросил себя: зачем мне мои богатства, если они приносят мне страдания? И я подумал: как сделать, чтобы опять быть счастливым? И я решил отдать все квартиры моего дома даром. Женщина, упрекавшая меня, стала упрекать меня еще сильнее: «А кто заплатит мне за те годы горя и лишения,— кричала она,— которые мы терпели, когда, угрожая нам выселением из сырого подвала на улицу, этот кровопийца вымогал у нас наши пóтом и кровью добытые деньги?» Вместо счастья начался ад. Тогда я бежал. Я уехал в Индию и жил там своим трудом. Там я услыхал о Толстом. That's the man for me! Вот это человек для меня! — подумал я.— Я буду жить у него и учить его детей физиологии, для того, чтобы они узнали законы природы и научились жить согласно им и быть счастливыми. Буду у него работать на земле... Вот что я подумал и отправился к нему. И вот я здесь...»

Учить нас физиологии бедному Абрааму не удалось, а на земле работать он и сам не пытался. Я думаю, что, начавши в Бегичевке лопатой копать землю под картофель, он почувствовал, что это свыше его семидесятилетних сил, и отказался от этой работы навсегда.

Он жил в Ясной, изо дня в день чувствуя, что он не ко двору и что хозяйке дома он не по душе.

Его уроки физиологии сводились к тому, что он тыкал всякую женщину в бок, чтобы ощупать, носит ли она корсет, и если таковой оказывался, то он проповедовал о вреде его, а если его не было, то он за это хвалил. Вообще он находил, что надо носить всегда как можно меньше одежды. Спал он под малиновым байковым одеялом, которое, как потом оказалось, он без всякого спроса увез от Раевских, носил только открытую до пояса рубаху и короткие панталоны, которые он то и дело подтягивал выше колен. Обуви он не носил и даже вовсе не имел.

Кроме малинового одеяла, у него был еще длинный оборванный старый халат, который он надевал, когда ему бывало холодно.

Спал он на балконе прямо на полу, без всякой постели. Под голову он клал пустую бутылку, находя, что подушка, грея голову и затыкая ухо, вредна для здоровья.

Ел он свою болтушку и изредка какие-нибудь овощи, подаваемые у нас к обеду.

Раз я предложила ему молока.

— Моя мать давно умерла,— ответил он, мрачно посмотрев на меня.

Так как я не поняла связи между моим предложением и его ответом, то я вытаращила на него глаза.

— Это единственное молоко, на которое я имел право,— объяснил мне швед,— а коровье молоко принадлежит теленку.

Яснополянские служащие с большим презрением и возмущением смотрели на шведа, и наш слуга иногда предупреждал меня и сестру о том, чтобы мы не ходили на террасу, так как швед там лежал в слишком большом «безбелье».

Я раз попросила Абраама попозировать мне, чтобы сделать с него набросок.

— Хорошо,— сказал он,— только подождите минутку, я разденусь донага. Нет ничего прекраснее человеческого тела, и его надо изображать нагим.

Но я предпочла все же нарисовать его одетым, хотя он для такого наброска не так охотно позировал.

Как-то раз, идя по парку, моя мать около пруда наткнулась на прогуливающуюся по траве голую фигуру. Всматривается — швед!

Абраам, увидавши ее, нисколько этим не смутился, не поторопился спрятаться, а продолжал спокойно прохаживаться взад и вперед по солнцу.

На траве лежало его белье, которое он только что выстирал в пруду. Так как у него не было перемены, то ему приходилось раздетым дожидаться, пока его единственная смена высыхала на солнце.

Мать была возмущена.

Атмосфера недоброжелательства к шведу в Ясной все сгущалась, пока не дошло до изгнания бедного Абраама из нашего дома.

Дело было так. В Ясную Поляну приехал молодой нарядный француз m-r Huret, redacteur au «Figaro» *. Он приехал к отцу, чтобы расспросить его о голоде и написать по этому поводу статью.

Была середина лета, было жарко, и мы пили чай под деревьями перед яснополянским домом. Huret попросил у дам позволения закурить и, получивши его, вынул сигару и зажег ее. Швед, сидевший тут же, с нескрываемым отвращением смотрел на француза и, когда тот закурил,

* господин Юре, редактор «Фигаро» (*франц.*).

обратился ко мне, как всегда, по-английски, прося меня перевести французу следующее:

— Спросите у этого человека,— сказал он,— хочет ли он, чтобы я ему плюнул в лицо?

Я видела, как моя мать со страхом взглянула на меня, надеясь, что я не исполню просьбы шведа. Но я была молода, во мне было много озорства, и я собиралась позабавиться предстоящим поединком. Я быстро взглянула на отца и, заметив, что он с некоторым веселым лукавством смотрел на меня, смело и громко сказала:

— M-r Huret, ce monsieur vous demande, si vous voulez qu'il vous crache à la figure? *

Huret всего передернуло, и он не то с смущением, не то с достоинством спросил:

— Mais... pourquoi? **

Я передала шведу, что француз спрашивает: «Почему?»

— Скажите ему,— сказал швед,— что мне тошно от запаха дыма, который он пускает.

Я перевела.

— А вы ему скажите,— кипятясь, сказал француз,— что дамы мне позволили курить и что я на него не обращаю внимания, тем более, что если бы я это сделал, то мне было бы тошно от вида его грязных ног.

— Он лжет,— спокойно ответил швед, когда я перевела ему то, что сказал француз.— Скажите ему, что он лжет, так как от вида грязи тошно не может быть, а от смрадного дыма не может не быть тошно, неприятно и вредно.

Мать бросала в мою сторону взгляды ужаса, но я уже не хотела остановиться, тем более что меня поощрял к этому веселый огонек, который я замечала в глазах отца.

Наконец, француз совсем разгорячился и стал говорить, что если бы не ces dames ***, то он надавал бы «des giffles» **** старому нахалу.

Тут чувство гостеприимства моей матери взяло верх, и она сочла нужным вступиться за своего гостя француза.

---

* Месье Юре, этот господин спрашивает, хотите ли вы, чтобы он плюнул вам в лицо? (*франц.*)

** Но... почему? (*франц.*)

*** дамы (*франц.*).

**** пощечин (*франц.*).

Волнуясь и сердясь, она по-английски сказала шведу, что если он хочет быть невежливым с ее гостями, то может отправляться из Ясной Поляны куда угодно.

С той же невозмутимостью и с тем же спокойствием, с которым он говорил с французом, швед обратился к моей матери:

— Знаете ли вы,— сказал он ей,— что у меня на земном шаре есть пять акров земли...

— Так и отправляйтесь на них,— перебила его мать.

— Я сделал расчет,— продолжал швед,— что всякий человек имеет право на пять акров земли на нашей планете. Я, как всякий другой, имею право на свои пять акров. Я желаю взять эти пять акров здесь.

— Но я этого не желаю! — опять перебила его моя мать.— Берите ваши пять акров где хотите, но не в Ясной Поляне!

— Хорошо,— покорно сказал старый швед,— если вы так этому противитесь, я могу их здесь не брать. Но вы не можете мне отказать в таком количестве земли, которое занимают мои две ступни... Вот столько,— сказал он, кладя свои две ладони на стол, чтобы показать, сколько земли он хочет занять.

Мать не пожелала дать ему и столько.

И решено было шведа выселить из Ясной Поляны.

Тогда я предложила ему переехать в мое имение Овсянниково, отстоящее от Ясной Поляны в семи верстах, в котором стоял незанятый небольшой деревянный дом.

Так как в доме не было никакой мебели, то я спросила шведа, что ему туда привезти.

— Одну пустую бутылку,— сказал он.

Я не стала настаивать, и с этой незатейливой меблировкой швед переселился в Овсянниково.

В овсянниковской усадьбе жили — в одной избе наша приятельница М. А. Шмидт, а в другой — сторож. Ни Марья Александровна, ни тем паче сторож не говорили по-английски, а швед не говорил по-русски, так что он был обречен с ними на молчание.

Иногда мой отец езжал к нему верхом, часто и я верхом или пешком бывала в Овсянникове, и тогда швед отводил душу разговорами и проповедями о простой жизни. Часто я заживала туда своих гостей, а иногда шведа навещала семья тогдашнего тульского губернатора Зиновьева, жившая на даче в соседстве от Овсянникова,

С нею приезжал туда и тогдашний вице-губернатор И. М. Леонтьев, прекрасно говоривший по-английски.

Вряд ли Абраам убедил кого-либо в необходимости естественной жизни, но его слушали с интересом, так как он прекрасно говорил — горячо, искренне и убедительно. А его старческая фигура, напоминавшая пророка Иеремию на фресках Микеланджело, и красивые широкие жесты были очень живописны.

Когда он оставался один в Овсянникове, то, сидя на полу в пустом доме, он писал свои записки. Он давал мне их читать: они были написаны по-английски какой-то странной орфографией его собственного изобретения. Он говорил, что он упростил сложную и нелепую английскую орфографию, но мне, привыкшей к ходячей орфографии, трудно было разбирать написанное им. Кроме того, мне казалось, что то, что он говорил, было гораздо лучше того, что он писал.

Ночью Абраам ложился спать в своей пустой комнате прямо на деревянный пол, подложив пустую бутылку под шею.

Моему женскому сердцу казалось, что старику иногда должно было бывать грустно и одиноко в этой глухой, заросшей усадебке, в которой жили калека сторож и старая, слабая, всегда занятая старушка, с которыми он не мог иметь никакого общения. Но он не жаловался. Он жил весь в своих мыслях.

Среди лета мы с отцом должны были уехать опять в Бегичевку по делам столовых. Но отец захворал, и меня отправили туда одну. Все обещали мне писать, и, действительно, с первой же почтой я получила письма от обоих родителей, сестры Маши и других. Отец писал мне несколько поручений и несколько нежных, поощрительных слов. Мать писала мне обо всем, что делалось в Ясной Поляне, и, между прочим, о шведе: «Был швед, обедал, внушал Зандеру* что-то о медицине, и голос его заглушал всех, что было очень скучно» [14].

Осенью, когда вся наша семья собиралась уезжать из Ясной Поляны, собрался и Абраам. Он сам определенно не знал, куда он поедет [15]. Денег у него было всего двести рублей, которые он, приехав в Бегичевку, хотел отдать отцу для голодающих, но которые отец от него не принял, не желая оставлять Абраама совсем без денег.

---

* Живший у нас студент-медик.

Уехав, Абраам забыл в Ясной Поляне свои часы с цепочкой, к которой были еще прикреплены компас и какие-то инструменты. Мы отослали ему эти вещи в Швецию, по тому адресу, который он нам оставил. Через несколько недель мы получили посылку обратно за ненахождением адресата.

Куда он уехал? Где он скитался? Долго ли еще прожил? Где сложил он свои старые кости? — все это вопросы, на которые нам никогда не пришлось получить ответа.

«СТАРУШКА ШМИДТ»

В маленькой усадьбе, верстах в десяти от Тулы, между огородом и проезжей дорогой на колодезь, под несколькими старыми плакучими березами — насыпан небольшой, продолговатый холмик. Это место, где покоится тело Марии Александровны Шмидт — «старушки Шмидт», как ее называли в последние годы ее жизни. Она умерла в 1911 году, через год после кончины ее друга и учителя, моего отца — Л. Н. Толстого.

После ее смерти между ее друзьями часто поднимался вопрос о том, чтобы написать о ней воспоминания. Ее жизнь была слишком поучительна и трогательна, чтобы предать ее забвению. Несколько раз и я бралась за перо, чтобы хоть вкратце рассказать о ней то, что осталось в моей памяти. Останавливало меня всегда воспоминание о ее необыкновенной скромности и о ее смирении. Для нее всегда бывало тяжело и неловко, когда обращали на нее исключительное внимание и говорили или заботились о ней. «Душенька, отвяжитесь»,— говаривала она в таких случаях, шутливо отмахиваясь. И мне казалось неловким нарушать ее скромность. Но для меня память о старушке Шмидт так часто служила и служит примером и поддержкой в трудные минуты моей жизни, что я решаюсь нарушить ее посмертную скромность и рассказать то, что я о ней помню и знаю.

В самое горячее время отцовского перелома, когда, по его словам, настроение его жизни изменилось, желания стали другие, и доброе и злое переменились местами, и когда он страстно и искренне писал об этом, — одно из его рукописных сочинений попало в руки служащей в Московском Николаевском училище классной дамы — Ольги Алексеевны Баршевой. Ольга Алексеевна была утонченно воспитанная и хорошо образованная, хрупкая,

тоненькая женщина из старой дворянской семьи, с чуткой, отзывчивой душой. Прочитав сочинение Толстого, она была поражена могучей силой правды, которым оно дышало. Ей хотелось поделиться своим впечатлением с самым близким своим другом — Марией Александровной Шмидт, которая также служила классной дамой в том же училище. Резкая и решительная Мария Александровна сначала пожелала узнать, о чем пишет Толстой в своей статье. Узнав, что он порицает православие, Мария Александровна, которая была очень верующей, отказалась даже прочесть статью, которую робко рекомендовала Баршева.

— Ваш Толстой — безбожник! Отвяжитесь с ним, пожалуйста! Я его и читать не стану! — резко заявила Мария Александровна.

Но Ольга Алексеевна не отвязалась. Через несколько времени она опять предложила Марии Александровне прочесть рукопись.

— Нельзя бранить и отрицать то, чего вы и не читали,— мягко заметила она своей решительной подруге.

Мария Александровна не могла не согласиться с справедливым доводом Баршевой и принялась за чтение рукописи. С первых же строк сочинение ее покорило и приковало ее внимание до тех пор, пока она не прочла его до конца.

— Душенька, Ольга Алексеевна! — закричала она своей подруге, кончивши чтение.— Надо достать все, что написал Толстой в этом духе!

— Я слышала, что он сделал новый перевод Евангелия,— сказала Ольга Алексеевна.

— Так едемте сейчас в Синодальную библиотеку и спросим, нельзя ли там купить этот перевод...

Разумеется, в Синодальной библиотеке не только не нашли толстовского Евангелия, но требование классных дам смутило и даже возмутило приказчиков.

— Ну, так едем к самому Толстому! — решила Мария Александровна.

Ольга Алексеевна обомлела... Она стала возражать, находя неловким и навязчивым беспокоить незнакомого человека.

— Да и как посмотрит Толстой на наше посещение...

Но Мария Александровна не дала ей договорить.

— Отвяжитесь, душенька, вы со своими аристократическими манерами! — кричала она, поспешно одеваясь.— Человек открыл нам глаза! Показал нам свет! Дал нам

жизнь! А мы будем думать о светских приличиях! Одевайтесь и едем!

Маленькая Ольга Алексеевна подчинилась, и две классные дамы поехали в Хамовники, где в то время жила наша семья.

Все, описанное мною до сих пор, я рассказываю со слов Марии Александровны и думаю, что я все передаю почти дословно, так как она любила вспоминать это время, и я часто слыхала от нее этот рассказ. Дальше она передавала мне о том, как отец встретил ее и Ольгу Алексеевну в зале нашего московского дома. Тут же была и я. Отец ласково принял классных дам, хорошо поговорил с ними, и они сразу почувствовали в нем близкого и дорогого человека [1].

— А вы тогда были совсем молоденькая,— говаривала мне Мария Александровна.— Волосы у вас были гладко причесаны. Папá вас подвел к нам и говорит: «А это мой секретарь».

С этого времени Мария Александровна и Ольга Алексеевна стали часто бывать в нашем доме. Они у нас назывались «папашины классные дамы». Все относились к ним ласково и дружелюбно.

Мария Александровна деятельно принялась за переписку всех запрещенных в то время цензурой сочинений отца. Я имела с ней постоянные сношения, то доставляя ей рукописи, то вписывая для нее новые поправки в сочинения отца, то передавая от него к ней разные поручения. Мало-помалу Мария Александровна сделалась другом всей нашей семьи. Особенно подружилась она с самым младшим членом ее — моим маленьким братом Ваней, умершим в детстве. Когда мы все уезжали в Ясную Поляну, он, едва умея писать, кое-как писал ей в Москву письма. В одном из ее писем ко мне она пишет: «Милого Ванечку благодарю за письмо. Тронута очень. Он ведь сам писал мне! Экий милый, хороший мальчик!.. Скажите, что я никогда не забуду его внимания ко мне. Крепко его целую...» [2]

К моей матери она тоже всегда относилась с любовью и уважением. Скоро все наши интересы стали близкими ее сердцу, и понемногу наши друзья стали и ее друзьями.

Так как убеждения Марии Александровны и Ольги Алексеевны резко изменились и они обе отстали от православной церкви, то они почувствовали, что оставаться в училище классными дамами стало для них

невозможным. И они обе подали в отставку. Им хотелось попробовать свои силы на физическом труде, и они стали строить планы для новой трудовой жизни на земле.

В нашем северном климате двум слабым, непривычным к труду женщинам трудно было бы жить без наемного труда, одними своими силами, вследствие чего и решено было, что лучше им переселиться на юг, где борьба с природой не так тяжела и где климат мог бы принести пользу болезненной Марии Александровне.

Отец сочувствовал этому решению. Нашелся общий знакомый, который согласился сдать новым колонисткам участок земли в аренду около Сочи.

Начались сборы. Все друзья принимали в них участие, и кто с завистью, кто со страхом смотрел на этих двух отважных женщин, собирающихся своими руками добывать себе насущный хлеб.

У Марии Александровны был в Туле небольшой дом, который она, перед отъездом на Кавказ, продала, получивши за него несколько тысяч.

Наконец подруги распростились и пустились в путь.

На одной из станций, между Москвой и Харьковом, у доверчивых путешественниц был украден их дорожный мешочек, в котором находились их деньги и паспорта. Пришлось в Харькове останавливаться и устраивать свои дела, чтобы иметь возможность ехать дальше. Потеря эта не только не привела в уныние подруг, но, напротив, они тотчас же отыскали хорошую сторону этого происшествия.

— Бог на нас оглянулся,— говаривала потом Мария Александровна.— Мы приехали на Кавказ с одними нашими руками и, таким образом, сразу стали в положение людей, принужденных зарабатывать свою жизнь. Деньги соблазнили бы нас на наемный труд и другим служили бы соблазном.

Получив на Кавказе участок земли, приятельницы стали не покладая рук работать на нем [3]. Они обе были тогда еще не старые женщины. Вероятно, им было лет около сорока. Мария Александровна была девушка, Ольга Алексеевна — вдова. Обе были слабого здоровья и совершенно непригодны к тяжелой физической работе.

В молодости Мария Александровна болела туберкулезом, и в то время, как мы с ней познакомились, она бывала периодически подвержена сильным бронхитам. Она была очень худа и костлява. Дыхание у нее было тяжелое,

и иногда слышно было, как при дыхании у нее в груди клокотала невыкашлянная мокрота. Доктора предписывали ей покой и праздность и грозили ей преждевременной кончиной, если она не будет исполнять их предписаний. Но Мария Александровна мужественно пошла на непослушание и взяла на себя тяжелый труд земледелицы.

На деле оказалась права она, а не доктора. В первые же годы работы на Кавказе Мария Александровна забыла о своих бронхитах. Они вернулись к ней только в конце ее жизни. Но и тогда болезнь не могла заставить ее в чем-либо изменить своего образа жизни.

Она писала с Кавказа, что она стала «здоровенная».

Отец ей на это ответил: «Вы, верно, преувеличиваете, говоря, что вы здоровенны стали. Я очень боюсь, что вы очень изморены. Да, впрочем, это ничего, лишь бы жить...» * [4]

Вся тяжелая работа на земле легла, разумеется, на плечи Марии Александровны. Как Ольга Алексеевна ни старалась помогать в поле и в огороде, ее маленькие ручки и хрупкое сложение скоро отказались от работы.

— Нет, душенька, Мария Александровна,— говаривала она. — Вы уж погребите сено без меня. А я пойду Матью Арнольда читать... [5]

Мария Александровна иногда сердилась.

— Эгоистка вы этакая! Ведь вы будете просить молока к чаю, а где его взять, если не припасти сена на зиму для коровы! Ну, — прибавляла она мягче, — так и быть, идите. Только поставьте самовар. А то я до смерти чаю хочу.

Убрав сено, Мария Александровна приходила домой в надежде найти готовый чай. Но стол не был накрыт, самовар не кипел.

Ольга Алексеевна сидела на стуле с книгой в одной руке, а другой рукой она веером махала в трубу самовара, который стоял на полу возле нее и не начинал закипать.

Мария Александровна покатывалась со смеха, обнимала свою милую, но бесполезную подругу, разводила

---

* Все приведенные ниже выписки из писем Льва Николаевича к М. А. Шмидт и О. А. Баршевой приведены со списков, найденных в бумагах Марии Александровны после ее смерти. Оригиналы сгорели. Только последнее письмо приведено с подлинника, написанного после пожара в Овсянникове.

уголья и через несколько минут наливала Ольге Алексеевне и себе чай. Ольга Алексеевна в это время рассказывала ей о тех прекрасных вещах, которые она прочла у Матью Арнольда.

Как-то Ольга Алексеевна не побереглась и захватила кавказскую лихорадку. Отец об этом узнал и написал подругам:

«Особенно рад был получить известие о Вас, Ольга Алексеевна, потому что по последнему известию знал, что у Вас лихорадка, и боялся за Вас. Как хорошо вы живете! Мне представлялось ваше житье чем-то баснословным, а оказывается — вот, уж сколько времени прожили... Все живут как люди, только я живу не как люди, а как скверно. Иногда скучаю этим, но браню себя за это; не надо скучать, а лучше жить. Всё стараюсь писать, да плохо пишется. Только бы помог бог не делать, не говорить, не думать зла...» [6]

В следующем письме к двум подругам он пишет:

«Как радостно слышать про вас, все добрые вести... Странное у меня о вас чувство: знаю я, что когда в душе хорошо, то и в мире все будет хорошо, и знаю, что у вас в душе всё хорошо, а всегда страшно за вас, что вы пересилите, переработаете, и что-то случится,— хотя и знаю, что случиться нечему. До сих пор страхи эти не сбывались, и приходилось только радоваться за вашу жизнь. Дай бог, чтобы вас так же радовали мы и другие ваши близкие. Мне таких радостей, слава богу, очень много...» [7]

В другом письме, от 10 августа 1890 года он пишет:

«Спасибо за ваше письмо... Вы вот часто меня благодарите, а мне как вас благодарить за все те радости, которые вы мне доставляете? Каждое известие о вас (я получил такое через Ге) и письмо от вас — это радость. Вот живут люди по-человечески и не только не жалеют о брошенном язычестве, а только радуются. И какие люди — испорченные, слабые. Никогда мне не удастся придумать и написать таких доводов в пользу исповедуемого нами учения, какие вы даете своей жизнью...» [8]

Жили Мария Александровна с Ольгой Алексеевной на участке, который они арендовали у прожившегося уже на Кавказе землевладельца Старка [9]. Они с ним очень подружились и в трудные минуты прибегали к нему за советом и помощью.

Но почему-то Старк должен был уехать, и приятельницы тоже решили покинуть Кавказ.

Они об этом написали отцу и получили от него следующий ответ:

«Давно поджидал от Вас весточки, дорогая Мария Александровна, и вот получил и хорошую, и дурную: хорошую — потому что из нее вижу, что Вы живы в настоящем значении этого слова, а не то, что дурную, а не совсем хорошую, потому что из нее вижу, что Вы как будто жалеете, что поехали на Кавказ, как будто отсутствие Старка изменяет все Ваши намерения и как будто Вы от этого хотите вернуться назад.

Не делайте планов, не предполагайте, что есть время, место и люди, которые могут быть нужны и важны для Вашей жизни, и что есть место, время и люди, среди которых Вы не можете быть хорошей и потому вполне счастливой...

Напишите нам, пожалуйста, еще и поскорее и попросите о том Ольгу Алексеевну, которой передайте мою любовь и тот же, как Вам, совет: как можно меньше действовать. Чем затруднительнее кажется положение, тем меньше надо действовать. Действиями-то мы обыкновенно и портим начинающие складываться наилучшим для нас образом условия. Пожалуйста, Ольга Алексеевна, напишите мне, и поподробнее о Вашем положении, намерениях и финансовых условиях. Вас это не должно интересовать, а я имею право этим интересоваться.

Про себя, кроме хорошего, ничего не могу сказать. С каждым днем становится радостнее жить и по внутреннему улучшающемуся состоянию, и по внешним самым радостным условиям» [10].

После этого письма от своего друга приятельницы остались.

Откуда-то бог послал им помощника в лице старого татарина Али, который своим простым сердцем понял душевную простоту двух классных дам и остался у них жить, деля их участь.

Отец постоянно писал подругам, поддерживая их и сочувствуя всему, что с ними случалось.

«Спасибо вам, дорогие Мария Александровна и Ольга Алексеевна, — пишет он им 3 февраля 1891 года, — что продолжаете радовать нас вашими письмами. Вы так хорошо живете (я говорю о внешней форме жизни), что

всякий раз, как получаю ваши письма, робею, распечатывая и начиная читать, как бы не узнать, что жизнь ваша изменилась. Но, слава богу, все идет хорошо, и вы, христианские робинзонки, еще нашли своего Пятницу — Али, которому передайте мой привет.

Я говорю о внешней форме, потому что она только одна подвержена изменению независимо от нас... Я часто обманывал себя прежде, думал противное, думал, что, если формы моей жизни безнравственны и я не могу изменить их, то это происходит от особенно несчастных случайностей, но теперь я знаю, что это происходит только от того, что я по своим нравственным силам не готов, не имею права на лучшие условия. Думать обратное, сваливать на внешние условия есть страшно вредный самообман, парализующий силы, нужные для истинной жизни, то есть для движения по пути истины и любви...»[11]

В другом письме отец делится с Марией Александровной планами своих работ и литературными замыслами.

«Я когда-то хотел написать такую басню, миф,— пишет он,— что люди на салазках скатываются в пропасть, где они должны разбиться вдребезги, так что ничего от них не останется, и они дорогой, сидя на этих самых салазках, спорят и ссорятся о том, что один другому не даст усесться попокойнее и пачкает его одежду. Единственное дело, которое стоит делать нам всем на этих салазках, это то, чтобы вызвать радостную любовную улыбку друг у друга — вызвать любовь, то одно, что не разобьется в пропасти, а останется.

Я много занимаюсь писанием[12]. Пишу очень медленно, переделываю бесчисленное число раз и не знаю, происходит ли это от того, что ослабели умственные силы, в чем дурного ничего нет, только бы способность любви росла, или от того, что предмет, о котором пишу, очень важен»[13].

На Кавказе подруги прожили около четырех лет.

Хрупкая от природы Ольга Алексеевна, ослабленная перенесенной малярией, как-то простудилась и заболела воспалением легких. Болезнь в несколько дней унесла ее в могилу[14].

Мария Александровна осталась одна. Она была безутешна. Остаться на Кавказе одной, без любимой подруги, там, где всякая мелочь напоминала о ней, у нее не хватило сил. И она полетела к нам. Она знала, что

в нашей семье она могла излить свое горе, выплакать свои слезы и отогреть свое одинокое сердце.

Со слезами радости и волнения встретились мы с милой Марией Александровной после четырехлетней разлуки. В первый же день своего приезда она пишет сестре Маше, которой в то время не было в Ясной Поляне, о своем впечатлении:

«Дорогая Маша, писать ничего не могу. Скажу одно, что мне очень и очень хорошо. Сейчас у вас в Ясной долго и радостно так хорошо беседовала с Софией Андреевной. Льва Николаевича не было дома. Потом он приехал, и я себя не помнила, что увидала его живого, хотя за все время твердо верила, что непременно его увижу... Лев Николаевич бодр, но похудел за эти четыре года сильно. Все ваши меня очень любовно встретили...» [15]

К ее письму отец приписал несколько слов о том, что «вечером приехала Мария Александровна» и что «она все такая же. Очень радостно ее видеть...» [16].

В следующем письме, от 11 июня 1893 года, отец опять пишет Маше:

«...Мария Александровна очень хороша: ясна, спокойна, бодра и необыкновенно тверда в своем мировоззрении...» [17]

Мария Александровна не захотела жить у нас в доме и поселилась в деревне у одной крестьянки. К нам она часто забегала, чтобы почитать то, что писал отец, и чтобы поговорить о покойной Ольге Алексеевне. Вспоминая свое отношение к ней, она иногда беспощадно упрекала себя в том, что недостаточно холила и берегла свою слабенькую подругу.

— А я еще называла ее эгоисткой! — с горечью вспоминала она.— Я, я была противная эгоистка! — И Мария Александровна заливалась слезами.

Со временем сгладилась первая острота ее горя, и Мария Александровна опять стала стремиться на работу. Она помогала, насколько хватало ее сил, в семье, в которой она жила, но это ее не удовлетворяло.

Часто папа́ и я заходили в ее чистенький уголок в крестьянской избе и беседовали с ней о разных делах — материальных и отвлеченных.

Раз, помирая со смеха, она рассказала нам о том, что с ней на днях случилось.

Как-то утром ее хозяйка принесла Марии Александровне веревку и просила ее пойти в казенный лес набрать для топки вязанку сухих сучьев. Мария Александровна надела на голову платок, взяла веревку и собралась идти. Старуха проводила ее до дверей и на прощание посоветовала ей в лесу поглядывать, чтобы не попасться на глаза леснику.

— А то, Ляксанна, он живо с тебя платок снимет и веревку отберет.

Мария Александровна остолбенела.

— Душенька! — закричала она.— Вы меня воровать посылаете! Нет, какова?! Она меня воровать посылает! Нет уж, душенька, отвяжитесь! Этого я никогда не делала и делать не буду!

Она бросила в угол веревку и прошла мимо сконфуженной хозяйки назад к себе в избу.

Мария Александровна никогда не могла ни на кого долго зла держать, и потому она скоро смягчилась и нашла извинение своей хозяйке. Но жить на деревне в крестьянской семье,— ей, любящей одиночество и тишину,— становилось все тяжелее. Мы это видели, и, чтобы не терять ее и вместе с тем устроить ее по ее вкусу, мы предложили ей поселиться в нашем соседстве, в маленьком имении Овсянникове, где был небольшой домик и две избы.

Имение это находится в шести верстах от Ясной Поляны и принадлежало брату Марии Александровны — Владимиру Шмидт. Как-то раз в Москве Мария Александровна рассказывала моей матери о том, что ее брат очень нуждается в продаже этого имения, так как дела его запутались, а у него большая семья, которую надо было содержать. Мария Александровна очень была озабочена положением своего брата. Чтобы ее успокоить, моя мать обещала купить Овсянниково. В то время у матери были свободные деньги, и она снарядила меня с деньгами и нужными бумагами в Тулу, поручив мне покупку Овсянникова.

При нашем семейном разделе в восьмидесятых годах [18] Овсянниково досталось на мою долю. Так как я тогда была молодой девушкой и осталась жить в родительском доме, то в Овсянникове жил только сторож. В это-то Овсянниково мы и предложили Марии Александровне поселиться. Она с радостью приняла наше предложение, устроившись в одной из двух изб. Дом казался ей

слишком для нее роскошным помещением. Но даже избой она не захотела пользоваться даром и платила мне за нее тем, что ухаживала за усадьбой и фруктовым садом. Когда я просила ее не утруждать себя работой и нанять когонибудь для работ в усадьбе, она огорчалась и раз написала мне, что «жить в Овсянникове и ничего не делать для вас — свыше моих сил, и я уж лучше уеду от вас, раз между нами нет братских отношений».

В 1907 году пришлось ремонтировать избу Марии Александровны и пристроить закуту для ее коровы Манечки. Когда Мария Александровна перешла назад в свою избу, она не могла ею нахвалиться и писала мне одно благодарственное письмо за другим.

«Спасибо, большое спасибо, дорогая Танечка, за царское помещение в полном смысле этого слова. Я давно перешла, живу и радуюсь и мысленно все благодарю Вас. Действительно, стройка вышла на славу. Вот уже несколько дней стоят морозы по 25 и 23 градуса, а у меня в избе 16 тепла. А уж светло, дышать легко, полом не дует,— ну, такая прелесть, что и не шел бы никуда. Друзья мои, крестьяне, приходят ко мне греться»[19].

«...У меня тепло, несмотря на трескучие морозы. Я и ложусь и встаю всё с Вами. Всё благодарю за чудное, теплое роскошное помещение», — пишет она в следующем письме от 4 января 1908 года[20].

Весело было приехать в Овсянниково и посмотреть на маленькое хозяйство Марии Александровны. Изба ее, состоящая из двух частей, всегда чисто выметена и прибрана. В задней ее части, отделенной от передней перегородкой и русской печью, стоят кровать и письменный стол. На стене висит календарь с портретом «дорогого Льва Николаевича». В передней части стоят стол с лавками и на стене висит полка с посудой. Все инструменты и орудия, как-то: стиральная машина, маслобойка, ручной планет — вычищены и поставлены на падлежащие места. Плантация клубники, огород и фруктовый сад — в образцовом порядке. К избе Марии Александровны пристроены холодные сени, а из сеней идет ход в закуту к корове, к любимой ее Манечке, которая много лет питала свою хозяйку и доставляла ей заработок.

Манечка стоит сытая, чистая. Выражение ее розовой мордочки — спокойное и доброжелательное. Со временем Манечка отелила еще Рыженочку, и тогда Мария Александровна стала считать себя совсем богатой,

Хотела она еще завести пчел и заказала моему отцу сделать ей улей на образец. 3 января 1895 года она пишет ему в Москву:

«Дорогой Лев Николаевич, сделайте мне улей на образец под руководством Вашего учителя столяра. А за материал и доставку я сочтусь с Татьяной Львовной. Только хороший, сделайте поскорее, теперь зимой мужики свободны и дешевле возьмут за работу, а весной и за дорогую плату не возьмутся делать. Живу по-прежнему — радостно и хорошо, совсем здорова. Крепко вас всех обнимаю.

Ваша *М. Ш.*» [21]

Не помню, сделал ли ей отец улей по ее заказу, но помню, что у нее как-то были пчелы, и она угощивала нас медом.

Бывало, придешь или приедешь к ней, а она сидит на огороде и полет. Уже издали завидит она гостью и спешит навстречу. Как сейчас, вижу ее: голова покрыта светлым ситцевым платком, на худых, костлявых плечах серая куртушка, подпоясанная веревочкой; на ногах из-под короткой юбки видны высокие мужские смазные сапоги. Около ног ее вьется и ласкается спасенная ею от мороза лохматая кривоногая собачка Шавочка.

Мария Александровна бросается меня обнимать и целовать, причем ее худые костлявые скулы так и впиваются мне в щеки.

— Таня! Душенька! — кричит она радостно.— Как папа́? Идем чай пить!

И мы идем с ней в избу. Там она тотчас же ставит самовар. Потом она лезет в подвал, который устроен здесь же в подполье, и выносит оттуда покрытую росой крынку холодного молока. С полки она достает ковригу черного хлеба и ставит на стол соль, чайную посуду и деревянную ложку для снимания сливок.

Пока самовар закипает, мы с ней разговариваем. В разговоре затрагиваем всегда самые дорогие и важные вопросы жизни, и часто у обеих нас счастливые слезы на глазах.

Чаще всего говорим мы об отце.

— Ах, Таня,— говаривала она со слезами на глазах.— Какая большая у него любовь к людям! Подумайте,

сколько ему пришлось работать, чтобы суметь передать людям то, что дало ему счастье! Кто бы мог исполнить такой огромный труд, как не он! Для этого нужны не только ум и талант, а нужна великая любовь к людям. Без нее нельзя одолеть такой труд, какой он одолел...

Она знала, как отец годами работал над своими религиозными сочинениями, и знала, что для того, чтобы сделать их более ясными и понятными, он добросовестно переделывал и переправлял их «бесчисленное число раз», как он ей писал, проверяя и взвешивая в них каждое слово.

— Вот, Танечка,— говорила она,— поколение за поколением вырастало в обмане ложной веры и ложной науки... А дорогой Лев Николаевич все это обличил и уяснил...

Любя отца так сильно, Мария Александровна все же позволяла себе иногда судить его, и, любя его душу, она сильно страдала, если ей казалось, что он стоит не на надлежащей для него высоте.

Помню, что его статья «Не могу молчать» огорчила Марию Александровну, и она не стала ее переписывать и распространять, как другие его сочинения.

— Это не он в этой статье. Это не с любовью, а с озлоблением написано,— говорила она.— Это не дорогой Лев Николаевич в этой статье, нет...[22]

Говорили мы с ней часто и о хозяйственных делах. Она передавала мне о том, что ею сделано для меня в Овсянникове, а также и о своих личных делах.

— Вот, Танечка,— говорила она, указывая на свою стиральную машину,— какое подспорье эта машина. Без нее я не в силах была бы обходиться без прислуги. А с ее помощью я могу все, что нужно, сделать на себя сама.

Когда вскипит самовар, Мария Александровна наливает чай в чистые кружки и отрезает длинные тонкие ломти душистого черного хлеба. Я деревянной ложкой снимаю себе в чай густые желтые сливки, солю свой ломоть хлеба, и мне кажется, что я никогда ничего не ела и не пила вкуснее.

От времени до времени Мария Александровна выходит из своей избушки и поглядывает на бугор, ведущий к деревне. Она знает, что почти всегда, когда к ней приезжает

кто-нибудь из Ясной Поляны, то, наверно, и отец не вытерпит и тоже верхом приедет к ней.

И действительно, она видит, что из-за деревенских сараев показывается всадник. Мария Александровна бросается ко мне в избу и кричит: «Папá!»

Потом выбегает его встречать.

Иногда он слезает с лошади, привязывает ее и входит к нам в избу. Чаще же он разговаривает с Марией Александровной, не слезая с лошади. А Мария Александровна стоит около него, положив руку на плечо лошади, и восторженными, любящими глазами глядит кверху к нему в лицо.

Отец, немного наклонившись к ней, рассказывает ей что-нибудь о том, какие он получил письма, какие были у него посетители...

Когда он уезжает, мы возвращаемся в избу и некоторое время молчим. Мария Александровна полна впечатлений от свидания и разговора, и я не хочу нарушить ее настроения. Потом и я уезжаю, чувствуя, что на сегодня, по крайней мере, я сделалась лучше.

Иногда я упрашиваю Марию Александровну ехать со мной. Тогда она быстро меняет свой рабочий наряд на «платье для аристократических домов», как она шутливо говорила, и мы едем в Ясную Поляну. Там она проводит вечер и ночует. А утром рано с почтарем возвращается в Овсянниково на свою работу.

Иногда, когда у Марии Александровны перемежалась работа, она запрягала своего ленивого Пятачка и, сама правя, приезжала в Ясную Поляну. Кнута у Марии Александровны не было, так как погонять Пятачка не полагалось. Он шел, как сам хотел, то есть таким медленным шагом, что каждую минуту казалось, что он сейчас остановится. Но все же, проехав шесть верст часа в полтора, Пятачок довозил Марию Александровну до нашего подъезда.

Зимой ей бывало трудно ездить. Из-за своей необычайной худобы Мария Александровна была зябка, и потому ей приходилось очень тепло одеваться. Она надевала на себя фуфайку, куртку, полушубок и сверху всего еще свиту. На голову она сверх ситцевого платка надевала вязаную шапочку на вате, которую она еще покрывала вязаным платком. Потом сверх всего этого она накидывала теплую шаль. В таком виде она была похожа на несги-

бающуюся кувалду, которой очень трудно было делать какое-либо движение.

Надев на руки теплые рукавицы, она брала вожжи в руки и отправлялась в Ясную Поляну. Если по дороге никто навстречу ей не попадался, то она ехала без горя, но когда попадались встречные сани, то ей приходилось трудно. Пятачок ни за что не сворачивал в снег, и часто встречные сани отводом опрокидывали санки Марии Александровны в снег. Если же ей удавалось Пятачка свернуть с дороги в снег, то выбраться опять на дорогу тоже было делом не легким: Пятачок, попавши в сугроб, ложился в снег и спокойно лежал, пока его не выводили из сугроба под уздцы. Приходилось Марии Александровне или ждать какого-нибудь проезжего, который помог бы ее беде, или самой вылезать из саней, тащить Пятачка под уздцы и выводить его на дорогу. При этом ей в валенки засыпался снег, и сама она задыхалась от сделанных в тяжелой одежде усилий.

Приезжала она к нам обыкновенно под вечер, так как это было для нее самым свободным временем. Кроме того, она знала, что это было единственное время, когда папа́ сидел в большом зале за круглым столом со всеми членами семьи и гостями. Мария Александровна глядела ему в глаза и впитывала в себя каждое сказанное им слово, чтобы потом жить ими до следующего свидания.

Но, несмотря на всю ту радость, которую она испытывала от свиданий со своим другом-учителем, она все же ставила дело в первую очередь, и никогда — даже ради этой радости — она не позволяла себе свалить свои обязанности на кого-нибудь другого. В последний год жизни отца она ответила на мое письмо, в котором я звала ее провести с нами вечер в Ясной Поляне:

«Больная корова не пустила меня к вам. Заставлять же людей ходить за ней не могу — совестно» [23].

Когда мои родители жили в Москве, она и туда езжала, чтобы их навестить. Но в Овсянниково она всегда возвращалась с радостью.

В 1900 году она написала мне в Рим о своей поездке в Москву:

«Очень мне радостно было видеть папа́ и всех милых друзей, но жизнь барская, богатая, городская, мне не по

душе, и я просто отдыхаю в своей простой и естественной обстановке на лоне природы»[24].

«Жалко мне очень вас всех,— пишет она в другом письме,— что вы живете в искусственной обстановке»[25].

Так прожила Мария Александровна много лет в одинокой усадьбе.

С раннего утра она бывала на работе: доила свою Манечку, готовила себе кушанье, стирала свое белье, работала в саду и в огороде... А вечером она зажигала свою лампочку, надевала очки и садилась за переписку «божественных мыслей дорогого Льва Николаевича» *, как она говорила.

Много раз переписывала она сочинение, которое ей нравилось и которое она считала полезным для людей. Рукописи она рассылала своим друзьям. Не раз, когда я живала вне Ясной Поляны, я получала от нее список какой-нибудь статьи или письма отца. Иногда я получала рукописи для передачи кому-нибудь из общих друзей.

«Посылаю на Ваше имя три экземпляра «Религии» [26],— пишет она мне в одном письме.— Передайте их Поше **, Дунаеву и Черткову... Это я им посылаю по подарку».

«Посылаю Вам духовный гостинец,— пишет она мне, прилагая список с письма отца.— Это письмо так хорошо, что действует на меня самым благотворным образом»[27].

Когда я вышла замуж за вдовца с детьми, Мария Александровна переписала для меня письмо отца, в котором он писал о воспитании.

«Не знаю,— пишет она,— переслала ли Маша письмо папа́ о воспитании. Я для Вас именно его переписала. На каждом шагу в Вашей новой семейной жизни в нем есть ответы по воспитанию...»[28]

Мария Александровна очень любила свою одинокую жизнь и всегда с радостью возвращалась к ней, когда ей почему-либо приходилось на время уезжать из Овсянникова.

15 апреля 1894 года пишет она мне в Москву:

* В то время все философские сочинения отца были запрещены цензурой и распространялись в рукописях.

** Павел Иванович Бирюков.

«...Вот Вы все беспокоитесь, как я, слабая, буду жить одна. А я так не нарадуюсь на такую жизнь... В Туле я до сих пор не была и скоро не думаю быть. Так жаль нарушить тишину и мое уединение хоть на день» [29].

В других письмах она пишет:

«Не нарадуюсь на свою тихую жизнь...» [30]

«Ну, что за радость бог дал в моей жизни. Нет ни скуки, ни тоски. Пока все хорошо, и одного хотелось бы,— чтобы и всем жилось так, как мне» [31].

«...Наслаждаюсь тихим, идеальным уединением» [32].

«...У нас более, чем хорошо. С огорода своего не шла бы. такая всюду красота, а главное, — идеальная тишина» [33].

15 апреля 1894 года она пишет мне в Москву:

«...Сейчас только вернулась с работы: и скородила, и сгребала солому на своем огороде, и кирпичей массу повырыла. Целый день, не разгибаясь, работала и буквально радовалась,— так хорошо всюду. День нынче был так тепел, что я все время работала в одном платье. Одну десятину моего огорода засеяла чечевицей, и немного овсом. Хотелось-то мне ее засеять всю овсом, да заимообразно семян никто не дал, а чечевицу племянник мне подарил. Вторую же половину завтра буду скородить» [34].

«...У нас в Овсянникове земной рай,— пишет она в другом письме.— Я совсем здорова и по уши ушла в огород. Встаю в три часа утра и работаю до поздней зари. Дров две сажени собрала себе в Засеке, на днях перевезу. Радуюсь на клубнику и овощи» [35].

«Дорогой мой друг Танечка, простите, что задержалась с ответом. Очень много это время пришлось работать и с сеном и с клубникой. Под вечер так уставала, что никак не могла писать Вам... Я, моя милочка, здорова, бодра, весела, на душе праздник; работаю от утра до вечера, сплю на огороде в шалаше, как убитая...» [36]

«Я вся ушла в осенние работы. На душе праздник и только не знаю, как благодарить бога и Вас, что мне так хорошо живется...» [37]

Вот такими радостными восклицаниями на свою одинокую рабочую жизнь испещрены все письма старушки Шмидт.

В одном письме к своей дочери Маше 30 января 1906 года отец пишет:

«Сейчас до обеда был у Марии Александровны. У нее молока нет, сидит одна, хрипит в своей избушке и на вопрос: хорошо ли ей, не скучно ли, всплескивает руками» [38].

С крестьянами соседних деревень Мария Александровна завела самые дружеские отношения. Выходило это само собой, без всякого искусственного усилия с ее стороны.

Как-то деревенские мальчики узнали о том, что у Марии Александровны есть хорошие занятные книжечки. Они и побежали к ней за ними.

«А мне большая радость,— пишет она мне по этому поводу.— Вот сегодня уже второй день, как стали дети ходить ко мне из Овсянникова за книжечками для чтения, сами по себе. Так радостно и легко, когда делается что-либо хорошее помимо тебя,— нет искусственности, а естественно,— сами захотели, вот и идут: сегодня два мальчика и вчера два, а за этими пойдут и другие, и не успеешь оглянуться, как завяжутся самые хорошие отношения. Очень это мне по душе. Сейчас напишу Маше, чтобы она прислала книжек, или Поше, а то у меня всего десять» [39].

Бабы ходили к Марии Александровне за советами и за лекарствами. Мужики приходили побеседовать.

Пришлось ей раз принять деятельное участие в закрытии казенной винной лавки в соседней к Овсянникову деревне Скуратове. Не знаю, по чьему почину был поднят вопрос об открытии в Скуратове винной лавки. Крестьяне, боясь за свою слабость, написали приговор о том, что они в своей деревне «винопольки» не желают. Приговор свой они подали земскому начальнику. Это было в январе. Тем не менее в марте того же года один из крестьян деревни Скуратова, С. Б. [40], сдал свою избу под винную лавку, получив от акцизного ведомства в задаток двести рублей. Мужики бросились за советом и помощью к Марии Александровне, а она, в свою очередь, прикатила в Ясную Поляну. Папа́ в это время был нездоров и поручил это дело мне. Я поехала в Скуратово, поговорила с мужиками, собрала нужные сведения и решила поехать в Тулу, чтобы там разузнать, в чем дело. На другой день после моей поездки, 10 июня 1907 года, Мария Александровна пишет мне:

«Сейчас после вашего отъезда приезжал чиновник акцизного правления в Скуратово осмотреть стройку С. Б,

для винной лавки. Крестьяне подошли к нему и спросили: почему их законный приговор остался без последствий, несмотря на то, что крестьяне подали его земскому начальнику 17 января 1907 года? Чиновник спросил: во-первых, почему вы, крестьяне деревни Скуратово, не прислали от себя в течение трех лет ни одного заявления в акцизное правление о нежелании вашем иметь винную лавку в своей деревне? Ведь старшина, наверное, читал вам это заявление? * Во-вторых, ваш староста явился к нам в акцизное правление с С. Б. и голословно заявил, что все общество согласно открыть винную лавку, за исключением двух каких-то мужиков. Вот почему акцизное правление выдало задаток С. Б. Если же вы не желаете иметь винной лавки, — внесите всем обществом 200 рублей в акцизное правление. Тогда мы прикроем ее. Крестьяне ответили: «Мы в первый раз слышим от вас про заявление. Старшина никогда не читал нам его».

Крестьяне три раза ходили к вице-губернатору, и в последний раз он принял их холодно, говоря: «Ведь я сказал вам, что когда наведу справки у земского начальника и если приговор ваш не опоздал,— то есть пришел до выдачи задатка, то винной лавки у вас не будет». Крестьяне отвечали: «Двадцатого июня лавка переедет. В Петров день ее открытие».— «Ну и пускай переезжает, — ответил Лопухин, — а мы разберем дело и закроем лавку, если приговор ваш подан до выдачи задатка. Вот и все». Крестьяне вернулись в полном отчаянии. Бабы хотят собраться все идти к губернатору с просьбой не открывать лавки. Отношение к старосте, Сергею, и к начальству сдержанное. Не могу и выразить Вам, дорогая Танечка, до чего меня огорчает вся эта история. Предложить и уговаривать крестьян собрать деньги на взнос задатка — я не имею духа. 1 руб. 60 коп. пуд муки, заработков никаких, остается продать скотину, — просто язык не поворачивается говорить им, чтобы они собрали деньги» [41].

---

* Оказалось, что старшина должен был делать опрос у крестьян о их желании открыть в своей деревне винную лавку. Опроса он этого не делал. Но, когда на сходке старшина предложил крестьянам, стоящим за открытие лавки, — остаться, а тем, кто *против*, — выйти, то все до одного крестьянина деревни Скуратова надели шапки и вышли вон из избы.

Все мы принялись за борьбу против казенного кабака. Моя мать поехала в Тулу и навела справки о том, когда в акцизном управлении был получен приговор крестьян о нежелании иметь в своей деревне винной лавки. Оказалось, что приговор был принят акцизным управлением раньше выдачи задатка за помещение, но почему-то приговор крестьян остался под сукном...

Мужики не унялись и опять всем обществом, в пятый раз, пошли к вице-губернатору. Ответ получили тот же, что и в прежние раза: «Постараюсь разобрать ваше дело в акцизном управлении и тогда сообщу вам».

Тогда Мария Александровна решила занять двести рублей для того, чтобы внести эти деньги в акцизное управление. Она написала одному своему богатому знакомому и, объяснив ему, для чего нужны были ей деньги, попросила его одолжить ей двести рублей. Отдать эти деньги она рассчитывала, собрав их маленькими суммами между друзьями.

Ответа долго не было, и Мария Александровна и мужики очень волновались. Они боялись того, что если кабак откроется, то гораздо труднее будет его закрыть, чем предупредить его открытие. Я получила от нее следующее письмо, принесенное мне в Ясную Поляну скуратовскими крестьянами.

«Дорогой мой друг Танечка, помогите мужикам. Кабак-то все-таки открывают. Приезжал старшина и сказал: кабак будет. Крестьяне в отчаянии. Голубушка, милая, попросите доброго Михаила Сергеевича * похлопотать за крестьян, а может, вы сами побываете у губернатора. С. Б. предлагал мужикам плату, они отказались и желают одного — чтобы кабака не было» [42].

Я поговорила с мужиками. Они твердо и упорно решили винной лавки в своей деревне не допускать. Для этого они придумывали разные способы. Один крестьянин предложил такое решение вопроса: допустить лавку на полгода, «запить» водки на двести рублей и тогда ее прикрыть. Другой предложил лучше сделать «забастовку». Когда я спросила у него, что это значит, то он и другие мужики объяснили мне, что они думают «не допущать складывать вино, а как приедут подводы с ящиками, так их разгромить». Я, конечно, очень горячо отсоветовала прибегать

* Мой муж М. С. Сухотин.

и к тому и к другому способу противодействия и обещала еще раз съездить в Тулу и опять похлопотать там за них. Крестьян я убеждала терпеливо ждать, так как всякое насилие с ихней стороны, разумеется, было бы сочтено за бунт и они были бы за него наказаны, а кабак, наверное, все-таки был бы водворен. Крестьяне мне поверили, и я опять отправилась в Тулу.

Не помню подробностей моих хлопот, но знаю, что они увенчались успехом. Богатый знакомый, давший Марии Александровне взаймы двести рублей для закрытия кабака, просил денег ему не возвращать. Так что с души Марии Александровны отпало и это бремя. Она торжествовала.

«Кланяюсь Вам в ножки, радость моя Танечка, — пишет она мне, — что вы закрыли кабак. Иван Иванович * нынче напишет крестьянам благодарственное письмо, и они, вероятно, придут к Вам с просьбой его передать губернатору, а их не допустят. Мы здесь все празднуем и благодарим Вас, милый друг» [43].

Часто приходили к Марии Александровне больные. Простые болезни она лечила своими средствами, а в более сложных случаях посылала больных к своим друзьям-докторам. Так как у нас в Ясной Поляне в последние годы жизни отца жил доктор [44], то Мария Александровна часто присылала к нему своих больных с ласковой записочкой, в которой просила или принять больного, или приехать к нему. Все всегда охотно помогали Марии Александровне, невольно заражаясь от нее ласковым и любовным отношением к людям.

В овсянниковском доме, в первые годы пребывания Марии Александровны в этом имении, никто постоянно не жил, а бывали случайные жители. Одно лето провела там моя сестра М. Л. Оболенская с мужем. Довольно долго жил там близкий моему отцу по взглядам И. И. Бочкарев. Временно жил там большой чудак — старый швед Абраам фон Бунде [45]. Еще жил в саду в самодельной землянке старый пчеловод, «прохвессор», как мы его звали. Эта кличка произошла от того, что он сам называл себя «прохвессором» по пчеловодству. Это был тип русского Робинзона, умевшего своими руками удовлетворять всем своим жизненным нуждам. Он сам выстроил себе

---

* И. И. Горбунов-Посадов, писатель и издатель книжной фирмы «Посредник», много лет проведший в Овсянникове.

землянку, сложил в ней печку, сделал себе лавки и всю нужную утварь, а на крыше землянки развел клубнику. Он сам плел себе высокие сапоги из лык и соломенные шляпы. К сожалению, он очень любил выпить и иногда пьяный приходил к Марии Александровне. Это очень ее огорчало, и она всячески пыталась воздействовать на него, чтобы он бросил пагубную страсть. «Прохвессор» старался воздержаться, но часто привычка брала верх над увещаниями Марии Александровны. И в один осенний дождливый день бедный «прохвессор» был найден мертвым в канаве, недалеко от Овсянникова. Канава была полна воды, и старик, вероятно, захлебнулся, упав в нее с дороги.

После всех этих случайных обитателей Овсянникова в доме поселилась семья Горбуновых, которая всякое лето снимала его под дачу. Мария Александровна очень любила семью Горбуновых, с которой имела постоянные сношения.

С годами Марию Александровну все чаще и чаще стали мучить ее обычные бронхиты. Мы стали замечать, что силы ее значительно падали и что работать ей становилось все труднее и труднее. «Она живет так напряженно, что за нее всегда страшно»,— пишет о ней Лев Николаевич в одном письме к своей дочери Маше [46].

Нас всех тревожила ее болезнь. Но она постоянно умоляла нас не заботиться о ней и не жалеть ее.

«Очень благодарю, дорогая Танечка, за скипидар,— пишет она мне как-то.— Спала лучше, но еще сильно потела. Сейчас чувствую себя бодрее и сильнее. Голубка, дорогая моя, попросите папа́ не ездить, видимо, я скоро поправлюсь и сама вас всех навещу. Я очень боюсь дороги на Козловке. Сохрани бог, да он упадет... Спасибо за любовь ко мне...» [47]

«Чувствую себя гораздо лучше,— пишет она в другом письме. — Еще по ночам ночные поты продолжаются, но гораздо меньше. Не дождусь попасть к вам — хочется до смерти и почитать, и пописать мысли папа́» [48].

«Я здорова, как крещенский лед, а на случай моей болезни — мое искреннее желание лечь в больницу и умереть там, так что я уверена, что если бы мне пришлось умереть,— вы все, мои дорогие друзья, простите» [49].

«Еще до сих пор чувствую большую слабость и никуда еще не выхожу... Хорошо, что последние ночи прошли без

пота, а то меняла белье по четыре и пять раз в ночь. Потому такая слабость... Простите меня и положите гнев на милость,— но извещать вас о моей болезни не могу,— это выше сил моих. Делаю это не из недоверия к вам и не из желания обидеть вас, но от глубокой любви ко всем вам...» [59]

Такими письмами старалась милая старушка успокоить нас. И мы верили в то, что болезнь не тяготит ее и что излишняя забота о ее здоровье может быть ей неприятна.

— И не жутко вам одной? — спрашивала я ее.— Не грустно, что вы одна; не тоскливо, что никто вас не пожалеет, никто за вами не походит?

— Ах, душенька, что вы! — искренне отвечала Мария Александровна.— Мне одной с богом так хорошо! Так хорошо! Когда сама пострадаешь, то лучше понимаешь страдания других,— прибавляла она.— Это бог, любя, посылает...

Хотя Мария Александровна и старалась работать по-прежнему, но ей это становилось все труднее и труднее. Сестра Маша рассказывала мне, что она видела, как Мария Александровна возвращалась с работы согнутая пополам и как она на ходу постепенно разгибалась и, только подойдя к дому, могла совершенно выпрямиться. Кроме домашнего хозяйства и работ на огороде и в саду, Марии Александровне приходилось доставать себе дров на зиму. Она сама привозила их из казенного леса Засеки и сама рубила их. Но ей казалось, что она все еще недостаточно работает, и, сравнивая как-то свою жизнь с жизнью одной своей приятельницы, она писала мне;

«Вот святая труженица! А я как посмотрю на свою жизнь да сравню труд свой с ее, мне становится очень стыдно!»

Помню, я как-то осенью свезла в Овсянниково посадочный материал: березки и елки — и просила Марию Александровну нанять поденных и поручить им на другой день посадить деревья. Ямки для них были уже заранее заготовлены.

Проснувшись на другой день утром, я увидела, что погода ужасная: холодный, пронизывающий ветер и дождь с крупой. У меня сердце упало. Я была уверена в том, что Мария Александровна не только в точности исполнит мою просьбу, но, наверное, сама будет работать с поденщицами. Я надела кожан, села в шарабан и при

свистящем ветре, под градом и дождем, которые стучали по моему кожану и до боли стегали мне в лицо, помчалась в Овсянниково.

Я не ошиблась в своих предположениях. Мария Александровна стояла с девушками в поле и руководила работой. Я насилу уговорила ее бросить работу и идти в избу чай пить. Поденщицы, которые не решались отказываться от работы, пока с ними была Мария Александровна, с радостью разбежались по домам.

Иногда, когда Мария Александровна приезжала к нам в Ясную, мы поражались ее плохим видом.

— Что с вами, Мария Александровна? — спрашивал кто-нибудь из нас.— Вам хуже?

— Почему, душенька? — уклончиво отвечала Мария Александровна.

— Да вы что-то бледные...

— Ах, душенька, отвяжитесь! Это здесь освещение такое,— говорила Мария Александровна и отворачивалась, чтобы ее не разглядывали.

Этим «освещением» мы постоянно ее дразнили.

— Мария Александровна, как «освещение»? — приставали мы.

— Прекрасно! Прекрасно! Отвяжитесь, душенька!

И старушка вместе с нами дружно хохотала над самой собой.

У нее был дар необыкновенно весело и заразительно хохотать. И в нашей семье ее часто дразнили для того, чтобы слышать этот искренний, веселый хохот.

— Мария Александровна,— приставали к ней моя сестра Маша и я.— Вы были когда-нибудь влюблены?

— Ха, ха, ха! Как же, душенька! Страдала, страдала! Вот глупость-то!

И Мария Александровна покатывалась со смеха.

— Ну, Мария Александровна, расскажите, как вы страдали. В кого вы были влюблены?

— Ах, душенька, отвяжитесь! Слава богу, что все это давно миновало... Я все и перезабыла...

Но мы все приставали. И Мария Александровна, перебивая себя хохотом и выражениями радости от того, что она на эту удочку не попалась, рассказывала нам о том, что был какой-то доктор, по котором она страдала. А кроме того, она обожала актера Шумского. Бывало, она ждала у выхода Малого театра его отъезда, чтобы еще раз взглянуть на него; рассказывала, что она достала

себе его носовой платок, который хранила, как сокровище.

— Но, душенька, он был истинный художник,— прибавила она серьезно.

Мария Александровна любила и ценила искусство, и особенно сильно действовала на нее музыка. У нас ей часто приходилось ее слушать. И Мария Александровна до глубины души наслаждалась ею. Как сейчас, вижу ее костлявую фигуру, ее исхудалое лицо с резко очерченными костями скул и челюстей и прекрасные, одухотворенные серые глаза, как будто не видящие ничего внешнего, а устремленные внутрь.

С ослаблением здоровья, у Марии Александровны стал уменьшаться ее заработок. Это нас тревожило, потому что ее очень трудно бывало уговорить принять какую-либо материальную помощь. Моя мать иногда собственноручно шила ей платья, и Мария Александровна принимала их только потому, что знала, что она очень огорчила бы мою мать, не приняв этого подарка. Мария Александровна в шутку называла эти платья «платья для аристократических домов». Все наши друзья старались подарить ей что-нибудь полезное, что облегчило бы ее труд. Но Мария Александровна, за редкими исключениями, старалась, не обидевши дарителя, отклонять всякие подарки, говоря, что «у нее всего более, чем следовало бы». Както мой брат Андрей, узнав о том, что у нее недостатки, послал ей денег. Она деньги возвратила и написала мне:

«...Я сейчас же догадалась, что вы братски захотели поделиться со мной. Спасибо, дорогие друзья; очень тронута, но денег не взяла потому, что трудное время для меня пережито. Это повторяется из года в год, когда коровы без молока. Теперь Рыженочка отелилась, и все опять пошло как по маслу. Молоко доставляю на завод и имею ежедневно 45 коп. Для меня это целое богатство, которым я оправдываю помощницу, себя, да и на третьего хватило бы... Я крепко целую вас с Андрюшей, и очень мне радостно чувствовать такое любовное отношение с вами».

Также отказалась она раз и от присланных нашей общей приятельницей денег.

«Я всегда бываю до слез тронута добрым чувством любви, но от денег отказываюсь потому, что потребности у нас разные и богатым людям самим не хватает»[51].

Раз как-то моя мать с сестрой Сашей приехали к Марии Александровне и привезли ей кое-какой провизии от себя и от меня. Она тотчас же написала мне об этом:

«...Вдруг в четвертом часу застучали катки *, и подъехали мама́, Саша... с чаем, медом и крупой. Я просто остолбенела от радости при виде милой Софии Андреевны, которая сама всё и перенесла ко мне в избу. От нее узнала о Вашей большой любви и заботе обо мне, чуть не заплакала от радости, что Вы, моя дорогая, помните обо мне. Спасибо, мне это большая радость, даже не по заслугам» [52].

Было несколько человек из наших друзей, которые пытались жить с Марией Александровной, чтобы помочь ей в работе. Но хотя она прямо от таких предложений никогда не отказывалась, тем не менее совместная жизнь с кем бы то ни было ее тяготила. Но еще тяжелей для нее бывало, когда люди приходили к ней для того, чтобы от нее учиться трудовой жизни.

— Чему у меня учиться? Я — злая эгоистка, и больше ничего,— говаривала она в этих случаях.— Я едва со своей жизнью справляюсь. Какой я пример другим!

Волей-неволей, так как силы у нее стали быстро падать и она не могла справляться со своим хозяйством, пришлось ей взять прислугу. Это было для нее очень тяжело. Хотя она называла ее своей «помощницей», а не слугой и хотя она обращалась с ней, как с равной, говоря ей «вы» и деля с ней стол,— но тем не менее искренняя Мария Александровна не могла не сознавать того, что она прибегала к наемному труду, который ей всегда претил.

Помощницы Марии Александровны часто менялись, так как никто долго не мог выдержать монашеского образа жизни в одинокой глухой усадьбе. Летом 1910 года вместо женщины Мария Александровна наняла себе в помощники молодого малого из соседней деревни. С чисто материнской заботой опекала она своего юного помощника и всячески старалась украсить его жизнь.

В это лето, как и в предыдущие, в овсянниковском доме жил И. И. Горбунов с семьей. Как-то вечером, окончив свои работы, Мария Александровна предложила Ивану Ивановичу поехать в Ясную Поляну. Запрягли лошадь, сели в шарабан и отправились. В Ясной провели

* В Ясной Поляне «катками» называлась линейка.

вечер в беседе с Львом Николаевичем, и так как поздно засиделись, то решили остаться ночевать. Рано утром Иван Иванович был разбужен своей женой, примчавшейся из Овсянникова с печальной вестью: в час ночи у Марии Александровны между избой и закутой загорелись сени. Так как постройка была деревянная, а закута была плетевая, покрытая соломой, то в короткое время все сгорело дотла.

Во время пожара в избе Марии Александровны спала старушка из деревни Овсянниково, для того чтобы вместо Марии Александровны подоить корову, а в сарае, недалеко от избы,— приехавшая погостить к Марии Александровне ее знакомая. Она проснулась от треска пожара и бросилась в избу будить старушку. Проснулись и жена и дети Горбуновы, которые жили в доме. Они бросились спасать любимую корову Марии Александровны, которая, как всегда все животные, упиралась и не хотела уходить из своей закуты в неурочное время. Пока они заняты были коровой, изба настолько была охвачена огнем, что войти в нее не было никакой возможности.

У Марии Александровны погибло все ее имущество: платья, шуба, белье, постель, стиральная машина, маслобойка, пианино, вся утварь, все книги и пятьдесят три рубля денег, которые ей дала спрятать спавшая в сарае ее знакомая.

Все это было бы возвратимо. Но что больше всего убило Марию Александровну, было то, что в огне погибли все письма моего отца к ней, подлинная рукопись его рассказа «Иван Дурак» [53] и списки, сделанные ее рукой со многих его сочинений, которые представляли из себя последние исправленные редакции. Между прочим, сочинение «Исследование Евангелий» [54] имело много собственноручных пометок и поправок отца. Одну из своих драгоценностей — рукопись книги «Так что же нам делать?» Мария Александровна подарила мне еще в 1901 году с надписью: «Подарила моему дорогому другу Танечке М. Шмидт». Рукопись эта представляет из себя толстую переплетенную книгу, в которой сохранены все выпущенные цензурой места [55].

Узнав о своей потере, Мария Александровна громко вскрикнула, закрыла лицо руками и долго молча так просидела. Меня в то время не было в Ясной Поляне. Мария Александровна пишет мне 6 июля 1910 года из Овсянникова:

«...У меня сгорело все. И самое мое дорогое, что составляло сущность моей жизни — рукописи Льва Николаевича и моя Шавочка. Простите мне все мои прегрешения вольные и невольные, а вместе с грехами и мою тяжко болезненную старость. Не имею слов благодарить Вас, дорогой друг, за любовь ко мне. Я не сто́ю этого...» [56]

Трудно было ей смириться перед этим испытанием. Как жить, не имея под рукой тех бесконечно драгоценных для нее мыслей, которые она долгими осенними и зимними вечерами перечитывала и переписывала и в которых она черпала силы для своей духовной жизни! Многих и восстановить нельзя. Вся долголетняя переписка с самым дорогим для нее другом и руководителем — пропала в огне! Да и материально как трудно вновь собрать все те необходимые для хозяйства и ежедневного обихода мелочи, которые накапливаются незаметно и к которым невольно привыкаешь.

По разным данным оказалось, что поджег Марию Александровну ее юный помощник для того, чтобы во время пожара похитить чужие деньги, которые у нее хранились. Мария Александровна не только простила его, но никому не позволила при себе обвинять его.

— Бог с ним, душенька! Бог с ним! — говорила она горячо.— Еще не доказано, что это он сделал, а мы с вами нагрешим, обвиняя его! Бог с ним!

Тотчас же после пожара я купила леса на новую избу и заказала плотнику построить ее. Заказала я ее выше и просторнее, чтобы больной старушке было бы легче в ней дышать. Мария Александровна изо всех сил противилась новой постройке. Но я знала, что нигде ей так хорошо не будет жить, как одной в Овсянникове.

«Вчера я не нашла удобной минуты переговорить с Вами относительно стройки,— пишет она мне, узнав о моем намерении.— Крепко благодарю и глубоко тронута Вашим участием ко мне, но допустить стройки лично для меня — не могу. При одной мысли об этом мне невыносимо делается грустно,— ну, просто, душа болит. Буду жить, где и как бог приведет. Крепко целую вас всех, прощаюсь со всеми вами очень. Числа 15-го думаю ехать к брату» [57].

Я не послушалась Марии Александровны и продолжала стройку. Целый год Мария Александровна жила, как она мне и писала, «где и как бог приводил». Наконец

я написала ей запрос о том, думает ли она вновь вернуться в Овсянниково.

«Дорогая моя Танечка,— ответила она мне.— Я не только думаю о дорогом Овсянникове, но на четвереньках уползу туда, если Вы застрахуете дороже, чтобы на случай пожара Вам ничего не терять» [58].

Вторым условием она поставила мне то, чтобы я позволила ей помогать в надзоре за работами. Мне это было тем более удобно, что я не жила в Ясной и что Мария Александровна могла строить новую избу вполне по своим потребностям и вкусам. Она переехала в избу еще до окончательной ее отделки и взяла на себя руководство остальными работами, а также и моими делами.

«...Душенька моя, знайте одно,— пишет она мне.— Все делаю я с такой любовью, добрым желанием, как никогда еще мне не приходилось» [59].

«...Помните одно,— пишет она дальше,— что желание мое помочь Вам было от всей души, но голова моя, старая и больная, может изменить мне, и я могу ошибиться...» [60]

Перейдя в свой новый «дворец», как она называла свою избу, она не переставала присылать мне благодарственные письма.

«...Милый друг, спасибо за новое чудное помещение, где могу болеть, кашлять, никого не беспокоя. Стеснительно жить в чужом доме с этой докучной и грязной болезнью. Танечка, милая моя, очень прошу Вас, не стесняйтесь и приказывайте мне все, что Вам хочется делать в Овсянникове, не отнимайте у меня радости послужить Вам. Вы и не подозреваете, с какой любовью отношусь ко всему, что Вас касается» [61].

«...У меня в домике более, чем хорошо. Спасибо, моя душенька, живу, как у Христа за пазухой, и все думаю — за что бог послал мне такую хорошую жизнь...» [62]

«...Быть может, я за силу взялась бы и приехала Вас поблагодарить за ту чудную жизнь, какую Вы дали мне в божественном Овсянникове. Дорогой мой друг! — знайте одно, что не имею слов выразить Вам своей глубокой благодарности...» [63]

Потеря всех ее сокровищ наложила печать грусти на всегда веселую, бодрую и жизнерадостную Марию Александровну. Но, если уменьшилась ее веселость, зато увеличились в ней доброта и мягкость. Перестав жить эгоистической жизнью, она перенесла весь интерес от своей личности на окружающих. Она перестала бояться лишений,

труда и болезни, находя в них средства для духовного роста. Все свои душевные усилия она употребляла только на то, чтобы увеличить любовь к своим ближним. От усилий это любовное отношение к людям перешло в привычку, и к концу ее жизни Марии Александровне стало так же свойственно любить всех живых существ без исключения, как и дышать. Когда при ней кто-нибудь ссорился, сердился, спорил, осуждал, Мария Александровна искренне страдала и сейчас же заступалась за того, кого обижали, стараясь смягчить спорящих и объяснить все непониманием. Помню, как часто Мария Александровна дергала меня за юбку или за рукав, когда я на кого-нибудь налетала с осуждением.

— Не надо, Танечка, не надо,— шептала она мне на ухо.— Оставьте, он ребенок... Он не понимает... Как можно сердиться?

Труднее всего бывало ей совладать с собой, когда превратно понимали и при ней осуждали моего отца. Но и к этому она к концу своей жизни выработала мягкое и терпимое отношение. Она старалась стать на точку зрения своего противника и мягко и ласково уговаривала отнестись к Льву Николаевичу с доверием и любовью и постараться понять. При этом она старалась своими словами разъяснить то, что он думал, говорил и писал.

В последнее время заботило ее душевное состояние ее друга Льва Николаевича, который все больше и больше тяготился жизнью в Ясной Поляне; он часто приезжал к Марии Александровне, чтобы излить ей свою душу.

В конце лета 1910 года отец приехал погостить ко мне в деревню в Новосильском уезде [64]. Отсюда он написал Марии Александровне свое последнее письмо, которое я нашла после ее смерти в ее бумагах. Вот оно:

«10-го сентября 1910 года. Кочеты.

Здравствуйте, дорогой старый друг и единоверец. Милая Мария Александровна. Часто думаю о Вас, и теперь, когда не могу заехать в Овсянниково, чтобы повидать Вас, хочется написать Вам всё то, что Вы знаете. А именно, что по-старому стараюсь быть менее дурным и что, хотя не всегда удается, нахожу в этом старании главное дело и радость в жизни, и еще то, что Вы тоже

знаете, что люблю, ценю Вас, радуюсь тому, что знаю Вас.

Пожалуйста, напишите мне о себе, о телесном и о душевном.

Крепко любящий вас *Лев Толстой*»[65].

23 сентября отец вернулся в Ясную Поляну и опять стал часто посещать своего «старого друга и единоверца».

Последний раз он был в Овсянникове 26 октября, за два дня до ухода из Ясной Поляны. Мария Александровна рассказывала мне, что он приехал к ней верхом и сказал ей о том, что собирается уйти из Ясной Поляны навсегда. Мария Александровна ахнула и всплеснула руками.

— Душенька, Лев Николаевич! — сказала она.— Это слабость, это пройдет...

— Да,— ответил отец,— это слабость.

Но он не сказал, что это пройдет. Через два дня, в ночь с 27-го на 28-е, он с доктором Душаном Петровичем Маковицким уехал из дома, написав мне и брату Сергею, что ушел, потому что «не осилил» сделать иначе[66].

Когда Мария Александровна узнала о том, что отец ушел, она немедленно переехала в Ясную Поляну. Где было горе, где была нужда в утешении, там всегда была и Мария Александровна. Так и в этот раз — Мария Александровна примчалась к нам и, как всегда, принесла с собой большой запас любви и нежности. Ночи она проводила на диване в спальне моей матери, и, чтобы не тревожить ее покоя, она подавляла мучивший ее кашель, зарываясь лицом в подушку.

После кончины отца Мария Александровна сильно осунулась, согнулась, стала задумчива и молчалива и только прибавила ласки и любви к окружающим. Здоровье ее все ухудшалось, и в 1911 году, в июле, она пишет мне, что «с трудным покосом и от непогоды заболела»[67]. Работать она все же не переставала. Это было ее духовной потребностью и радостью. Убравшись с покосом, она принялась за письменную работу.

«Буду рада засесть за любимую работу; внесу все пропуски в книжечки «Путь жизни», — что́ изменено и пропущено. Иначе этих книжек не напечатали бы»[68],— пишет она мне в том же письме.

Осенью этого года я посетила свою милую старую приятельницу, и мы, как всегда, поговорили душа в душу о самых важных предметах. Я не подозревала того, что она стояла уже одной ногой по ту сторону жизни, хотя видела в ней все большее и большее ослабление жизненных интересов и все увеличивающийся рост духовной жизни. Уехав к себе в деревню, я 18 октября 1911 года получила следующую телеграмму от И. И. Горбунова:

«Мария Александровна скончалась сегодня, вторник, семь утра. Ждем вас и распоряжений.

Горбунов».

Зная, что Мария Александровна не исповедовала православной веры, и зная, что она желала быть похороненной без церковного обряда, я в этом смысле и телеграфировала в Овсянниково. В то время я не могла покинуть своей семьи и узнала подробности кончины Марии Александровны и похорон ее тела только со слов очевидцев.

Сторожем в Овсянникове в то время был близкий по убеждениям Марии Александровне крестьянин соседней деревни П. И. Скворцов. Старушка любила его и часто беседовала с ним по душе. Накануне ее смерти Скворцов был обеспокоен большой слабостью Марии Александровны и предложил ей телеграммой вызвать Горбуновых, которые переехали уже в Москву. Мария Александровна очень энергично запротестовала.

— Умоляю вас, Петр Иванович,— говорила она ему,— не беспокоить из-за меня. Если я почувствую себя очень худо, то я уеду в Звенигород и лягу в больницу к Дмитрию Васильевичу *.

Скворцов ее послушался, но не был спокоен на ее счет. На другой день, как только он проснулся, он пошел ее проведать. Мария Александровна лежала на постели лицом к стене и широко раскрытыми глазами смотрела на стену, на которой висели рядом распятие и портрет отца. Она ничего уже не говорила. И так, постепенно угасая, она тихо перешла из этой жизни в другую.

* Дмитрий Васильевич Никитин, главный врач земской больницы в Звенигороде, друг Марии Александровны и нашей семьи. В день ее похорон он написал мне из Овсянникова: «Опустили в могилу милую Марию Александровну. После Льва Николаевича она оставалась совестью всех нас...»

Приехало несколько друзей хоронить Марию Александровну. Ею была оставлена записка, написанная в феврале того года, в которой она просила похоронить ее без соблюдения церковного обряда, так как она уже тридцать лет, как отошла от православной церкви. В конце записки она обращалась к властям с просьбой не наказывать ее друзей за то, что они исполнят ее просьбу.

По словам присутствующих, погребение прошло очень просто и трогательно. Тело положили в простой деревянный гроб и опустили в вырытую могилу под березками, у края огорода, над которым столько лет трудилась милая старушка. Когда тело ее было засыпано землей и над могилой образовался небольшой удлиненный холмик, все несколько минут постояли над ним с непокрытыми головами. Потом Горбунов сказал:

— Прощай, милая сестра! Дай бог всем нам прожить так, как прожила ты *.

Вот и вся история простой, скромной и несложной жизни «старушки Шмидт». Думаю, что если бы пожелание нашего общего друга Горбунова могло бы исполниться и все мы хоть немного приблизились бы в своей жизни к жизни Марии Александровны, то много радости и счастья прибавилось бы между людьми. Казалось бы, чем была замечательна эта незаметная, скромная труженица? А когда взвесишь все те качества, которыми она была богата, то и видишь, что встречаются они очень редко. Любовь к людям, любовь и милосердие к животным; покорность в болезни и горе; радость в труде,— вот ее

---

* Любопытно, как отнеслись власти к гражданским похоронам М. А. Шмидт. Горбунов и живший в то время в Овсянникове П. А. Буланже были привлечены к ответственности, как распорядители похорон, и приговорены к годовому аресту. Несмотря на то, что я неоднократно заявляла о том, что М. А. Шмидт похоронена без церковного обряда в моем имении *по моему* распоряжению и что поэтому я прошу привлечь меня в качестве обвиняемой или, по крайней мере, в качестве свидетельницы, я никакого ответа на мои заявления не получила. В ответ на ходатайство Горбунова о вызове меня и некоторых других лиц свидетелями по этому делу Горбунов получил бумагу, в которой было сказано, что ходатайство его оставлено без последствий, «*так как обстоятельства, подлежащие рассмотрению через этих свидетелей, не только не могут иметь для дела полезное значение, но вовсе к делу не относятся и являются излишним загромождением судебного дела побочными данными*».

положительные качества. И при этом отсутствие самодовольства, лени, зависти, жадности, осуждения ближнего... Это ли не подвижническая жизнь? И если эта старая, слабая, больная, воспитанная в относительной роскоши и праздности женщина могла так переработать себя, то никому из нас нельзя отчаиваться. Общими усилиями мы могли бы устроить жизнь, в которой было бы побольше настоящего братства, настоящего равенства, настоящей любви, чем мы это видим теперь.

О ТОМ, КАК МЫ С ОТЦОМ РЕШАЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

Любовь отца к земле и уважение его к земельному труду были не только принципиальными, но и органическими. До его так называемого переворота, или перелома *, отец страстно занимался хозяйством, совершенствуя все его отрасли, насколько это было в его силах. С крестьянским земледельческим трудом он всегда близко соприкасался и часто в нем участвовал. Когда же наступил «перелом», то отец отверг всякую собственность, как денежную, так и земельную. Он ничего не хотел иметь — и со свойственной ему страстностью и горячностью, всеми силами стремился сбросить с себя тяготившее его бремя.

Это было не так легко сделать: у него была жена и девять человек детей, приученных им к той жизни, в которой жили люди его круга.

* Я пишу — «так называемого», потому что я не считаю, чтобы в душе отца родилось что-то новое, не бывшее в нем раньше. Все, что он впоследствии высказал в своих религиозно-философских сочинениях, все это жило в нем всегда и часто выражалось им в его дневниках, художественных произведениях и в его жизни. Только временные наслоения интересов: литературных, семейных, имущественных и других — мешали выбиться наружу во всей полноте его духовной сущности. Когда же таинственная внутренняя работа окончилась и наполнила всю его душу, она легко разбила эту корку и сбросила ее с себя. Не меняя своего пути, он до смерти твердо держался той деятельности, которую он предчувствовал еще в ранней молодости, когда он в своем дневнике писал: «Вчера разговор о божестве и вере, — пишет он 4 марта 1855 года, находясь под Севастополем, — навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я считаю себя способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле... Действовать *сознательно* к соединению людей с религией — вот основание мысли, которая, надеюсь, увлечет меня» [1].

Моя мать, вышедшая замуж восемнадцати лет за человека, стоявшего выше ее в отношении опыта, возраста, круга и состояния, была отчасти воспитана своим мужем. Она рассказывала, что отец, например, запрещал ей ездить по железной дороге во втором классе, а только в первом. Нам, детям, было дано самое тщательное воспитание и образование. В доме жило не менее пяти воспитателей и преподавателей и столько же приезжало на уроки (в том числе и священник). Мы учились: мальчики — шести, а я — пяти языкам, музыке, рисованию, истории, географии, математике, закону божьему.

Отец был против поступления в среднюю школу не только дочерей, но и сыновей.

В семье чуть ли не с самого рождения первых детей было решено, что когда старший сын — Сережа — достигнет восемнадцати лет, то мы переедем в Москву, а там Сережа поступит в университет, а меня, старшую дочь — на полтора года моложе Сережи — будут *вывозить в свет*.

Все шло как по-писаному. Отец писал романы и занимался сельским хозяйством, мать рожала и кормила детей, учила старших, переписывала сочинения отца и занималась домашним хозяйством. Жизнь текла ровно и счастливо. Отец был главой семьи, которому все беспрекословно подчинялось.

Но вот в конце семидесятых годов отца стали мучить сомнения. В чем смысл жизни? Так ли он живет, как надо? То ли он делает, что нужно для счастья своего и других?

Эти сомнения и невыносимые душевные страдания, пережитые им в искании смысла жизни, тогда чуть не привели его к самоубийству.

Он с изумительной силой правды описал эти переживания в своих книгах: «Исповедь», «В чем моя вера» и в неоконченном рассказе «Записки сумасшедшего» [2].

Не стану их повторять. Скажу только, что нарушение его душевного равновесия отразилось на строе жизни всей семьи. Отец ушел в интересы, открывшиеся ему новым мировоззрением. Новые люди, совершенно чуждые семье, стали интересовать его и интересоваться им.

По давно данной инерции отец сразу не только не пытался изменить внешней жизни семьи, но в 1882 году он купил и меблировал дом в Москве в Хамовническом переулке. Он же купил нам карету, коляску и двое саней

и распорядился о том, каких трех лошадей привести для нас из Ясной Поляны.

Старший брат ходил в университет. А меня вывозили в свет. На первый мой бал вывез меня отец.

Но мало-помалу отцу такая жизнь становилась все более и более невыносимой. Особенно тяжело ему было оставаться земельным собственником. Он призывал семью к тому, чтобы раздать все состояние и идти крестьянствовать.

Семья, во главе с матерью, не пройдя того же пути, который прошел он, не могла понять мотивов, руководящих им,— и совершенно недоумевала перед предложением своего главы. Столько лет этот глава вел нас по одному пути — и вдруг все надо сломать и идти совершенно новой, неизведанной дорогой. Особенно недоумевала, огорчалась, раздражалась, пугалась и терялась мать.

Для нее было непонятно, зачем разрушать ту жизнь, в которой она была так счастлива и которая так удачно сложилась.

«Мы все любим друг друга. Он всеми любим и уважаем. Ему все подчиняются, и так хорошо жить, имея такого разумного, любящего руководителя. Он занят любимым литературным делом, оно приносит ему любовь людей, славу и деньги, чего же он ищет?»

С тех пор, как начались «идеи» (как говорила моя мать), все испортилось. Дети, видя, что отец перестал ими руководить, вышли из повиновения. Правительство, почуяв какие-то вредные веяния, насторожилось и, не решаясь трогать самого Толстого, ссылало и заключало близких ему по духу людей. Вместо стройной, счастливой семейной жизни шла борьба, с пререканиями, слезами, взаимными упреками. Кому и зачем это нужно? А потом — какое же право он имеет насильно требовать от нас перемены той жизни, к которой он нас приучал годами? Так рассуждала мать.

Мы, дети, мало понимали то, что происходило, и только страдали от розни отца с матерью. Мы видели, что они оба сильно страдали, часто плакали. Как помочь — мы не знали.

Наконец отец решительно заявил, что он больше не хочет быть собственником, и предложил матери взять все состояние себе. Она от этого отказалась. Тогда отец придумал другой выход: он предложил поступить так, как если бы он умер. Наследники, так же, как и в случае его

смерти, должны были разделить его состояние между собой.

Так и было сделано. В 1890 году на страстной неделе съехались в Ясную Поляну все мои братья, чтобы произвести раздел[3]. Я пишу в своем дневнике 13 мая 1890 года:

«Этого захотел папá, а то, конечно, никто не стал бы этого делать».

Но уже тогда я понимала, как ему это было тяжело. Как-то мы, трое старших: Сергей, я и Илья, пошли к отцу в кабинет, чтобы попросить его сделать оценку всего своего состояния. Мы постучались.

— Кто там?

— Это мы пришли к тебе...

Отец, не дождавшись того, чтобы мы сказали ему, чтó нам нужно, быстро заговорил.

— Да, да. Я знаю... Надо, чтобы я подписал, что ото всего отказываюсь в вашу пользу...

Он сказал это потому, что это было для него самое тяжелое, и он торопился поскорее свалить с себя это бремя. Я понимала, как тяжело ему было подписывать дарственную на то, что он давно не признавал своим. Даря нам свои земли, дом и деньги, он как бы признавал это своей собственностью.

Как осужденный, он торопился всунуть голову в приготовленную для него петлю, которую он знал, что не минует, — и мы трое, стоявшие над ним, были этой петлей.

Состояние отца было разделено на десять равных частей и распределено по жребию между девятью детьми и матерью. Всем нам этот раздел был очень тяжел. У меня сердце болело за то, что я участвовала в огорчении отца. Я делала это, только надеясь на то, что с этим разделом уничтожится много неприятных ссор и споров в семье.

Моя сестра Маша решительно отказалась от своей части состояния *[4].

У каждого человека свои душевные свойства. Есть люди, которые все решают быстро, под влиянием минутного впечатления, не думая о последствиях. О таких людях Н. Н. Гусев в своей книге «Два года с Толстым» приводит

---

* Моя мать все же предусмотрительно эту часть выделила и вручила ее Маше, когда та выходила замуж и от нее не отказалась.

следующие слова моего отца, хорошо выражающие мою мысль:

«Всегда страшно бывает за таких людей, которые сразу так горячо берутся: и имение роздал... А после, если у него не хватит сил, он не будет обвинять себя, а будет обвинять то учение, которое он хотел исполнить: будет говорить, что оно неисполнимо...» [5]

Другие люди боятся понадеяться на свои силы, боятся изменения в будущем своих убеждений и раскаяния в своих поступках. И потому остаются в прежних условиях, тяготясь ими и стыдясь их.

Я принадлежала к последнему разряду людей. Мне очень не хотелось участвовать в разделе. Мне в это время было бы гораздо легче отказаться от отцовского наследства, чем принять его.

Но мне не свойственно поступать под впечатлением минуты, и я сначала решила обдумать свое положение и взвесить свои силы.

В своем дневнике того времени я пишу:

«Я завидовала Маше в том, что она не входила ни во что и отказалась взять свою часть, и я самым добросовестным образом старалась обдумать то, как мне поступить. Я пришла вот к чему:

Во-первых, я не имею права не брать своей части потому, что все равно мне ее отделят и напишут на имя мама́, которая будет мне давать доход с нее и, кроме того, хлопотать за меня. А *во-вторых*, у меня столько требований и так мало от меня пользы, что я сяду кому-нибудь на шею и буду тому в тягость. Мне, прежде всего, надо заботиться о том, чтобы уменьшить свои потребности, а от денег отделаться я всегда сумею. Еще я так плохо умею обходиться с тем, что у меня есть, и так часто я желаю побольше денег, что куда мне отказываться от своей части!»

Я тогда думала, что мне легче будет умерить свои потребности и отделаться от своего состояния, чем это оказалось на самом деле. Я рассуждала так: главное дело моей жизни должно состоять в том, чтобы как можно меньше тратить на себя произведений человеческого труда и как можно больше давать взамен. Если же я теперь, по непосредственному брезгливому чувству, не возьму своей части состояния, то может случиться,— даже наверное случится, — что у меня будут соблазны, и я для удовлетворения этих соблазнов буду способна на какой-нибудь

дурной поступок: замужество из-за денег, работа, не соответствующая моим убеждениям, или что-либо подобное.

Итак, я приняла свою часть наследства: имение при деревне Овсянниково в сто восемьдесят десятин вблизи Ясной Поляны и небольшой денежный капитал.

Я продолжала жить в Ясной Поляне. В Овсянниково я поместила сына нашего кучера, который там хозяйничал, но так как дело шло плохо, я сдала землю в аренду крестьянам ближайших деревень и распродала инвентарь.

Помню, как в первый раз мужики принесли мне задаток. В кухне, при нашем поваре Семене Николаевиче, три мужика пришли с деньгами. Один из них, развязавший платок, связанный в узел, выкладывал на стол рубли, двугривенные и даже медные пятаки, серьезно и сосредоточенно пересчитывая их, чтобы не ошибиться. Я стояла и ждала, чтобы он кончил считать, для того, чтобы взять эти заработанные тяжелым трудом рубли и положить их в свой карман. На следующий день я ездила в Овсянниково писать условие с крестьянами.

Мне стало так тяжело, что я в душе решила во что бы то ни стало изменить это положение.

В одиночестве я собиралась обдумать средство избавления от этой тяжести.

Полученные от крестьян деньги я решила им возвратить. А как поступить с Овсянниковым, я не могла придумать.

С отцом я не советовалась, так как хотела сначала одна, только перед своей совестью, обдумать этот вопрос и взвесить свои силы.

Но от чуткого любящего сердца отца я своего настроения скрыть не могла. Он тотчас же почувствовал, что я чем-то озабочена. Вот что он пишет сестре Маше 29 августа 1894 года:

«Вчера Таня ездила в Овсянниково с мужиками писать условие. Мне было грустно за нее, но я старательно молчал. Она, приехавши, была очень грустна. Нынче утром, проходя через ее комнату, я спросил ее: отчего она грустна? Она сказала: «ото всего, но нет, есть одно».— «Что?» — «Овсянниково. Зачем делать гадости, когда они никому не нужны». И губы вспухли, и она заревела. Оправившись, она сказала, что поговорит со мною об этом. Я придумал ей, как сделать. И сердце радовалось во мне. Но вот прошел день, и она не говорит со мной. Может, она думает, что я забыл (когда я этим только живу),

может быть, стыдится. Но это с ней все будет хорошо, потому что она не старается не видеть, чего не хочет» [6].

В следующем письме к ней же он пишет:

«С Таней говорили об Овсянникове, и мне очень хочется устроить там так за нее, чтобы деньги за землю шли на общественное дело «à la Henry George» * [7].

Вылившии отцу всю тяжесть, которая меня мучила, я успокоилась. Он объяснил мне свой план, как поступить с землей, и мы поехали с ним в Овсянниково, чтобы передать крестьянам наше предложение. Разговор отца с мужиками довольно точно описан в романе «Воскресение» [8].

У меня с души свалилось тяжелое бремя.

Пахотная земля и леса перешли мужикам.

Усадьбу я оставила в своем пользовании, главным образом для того, чтобы там могла поселиться Мария Александровна Шмидт, старый наш друг и верная последовательница взглядов моего отца. Жили в Овсянниковской усадьбе и многие другие, нуждавшиеся в помещении.

Я получила много похвал и благодарности за свой поступок. Это лишний раз указало мне на то, как часто люди хвалят или порицают за то, что не достойно ни того, ни другого.

Между прочим, я получила от Л. И. Веселитской ** следующее письмо:

«Несравненная Татьяна Львовна.

Не сердитесь, дорогая красавица и умница, за то, что Якубовский рассказал нам по секрету о Вас. Я в такой радости и в таком восхищении, что не знаю, где мое сердце и цела ли у меня голова. Не слышу ничего, что мне говорят, и не могу ни писать, ни говорить, ни читать раньше, чем не скажу Вам: спасибо за все те чувства, какие Вы вызвали Вашим поступком.

Целую Вас и ужасно счастлива, что Вас видела и знаю.

Все яснее и яснее становится в Ясной то, что должно всем стать ясно. Еще раз крепко целую Вас.

Душою Ваша любящая Вас

Лидия Веселитская» [9].

---

* в духе Генри Джорджа (*франц.*).

** Л. И. Веселитская под псевдонимом «В. Микулич» написала ряд талантливых рассказов: «Мимочка невеста», «Мимочка на водах», «Мимочка отравилась» и проч. В 1914 году ею были изданы воспоминания под названием «Тени прошлого», посвященные Льву Николаевичу, его семье и друзьям.

Получив это письмо через несколько месяцев уже после того, как я передала землю крестьянам, я сначала не поняла, что обо мне было рассказано Лидии Ивановне. С тех пор возникли новые события и новые интересы, и этот эпизод отошел на задний план. Кроме того, то, что я сделала для облегчения своей совести, было одним из самых легких поступков в моей жизни и потому меньше всего достойным похвалы. Было много других, которые стоили мне гораздо больших усилий и которые не только не вызывали похвалы, но за которые я часто была порицаема.

В то же время, когда мы с отцом устраивали овсянниковские дела, мне было совершенно безразлично, что говорилось обо мне, я была занята с отцом составлением условия с овсянниковскими и скуратовскими мужиками и ничем иным не интересовалась. Черновик этого условия написан рукой отца со вставками, сделанными мною по его указаниям. Он хранится у меня, как память о тех минутах исключительной близости и любви между мною и отцом, которые мне особенно дорого вспоминать[16].

В этом условии я предоставляла всю пахотную и покосную землю в полное распоряжение и пользование двух крестьянских обществ с тем, что они имеют право пахать, сеять и убирать в свою пользу пахотную землю и покосы, пасти свою скотину на полях и лугах и пользоваться в лесу каждые пять лет прочисткой и выборкой сухостойника.

Крестьяне же обязывались: уплачивать в общественную кассу по 6 р. с десятины, унавоживать землю, сторожить лес и платить повинности.

Остаток денег, полученных за аренду, крестьяне обязались употребить на общественные нужды по решению собрания обществ двух деревень.

В конце я просила своих двух наследников, в случае моей смерти, передать землю в полную собственность крестьянам.

Хотя отец и объяснил мне земельную систему Генри Джорджа, но я тогда мало ею интересовалась.

Мне было очень хорошо на душе, потому что я видела, что отец рад и крестьяне довольны.

Только через несколько лет я взяла книги Г. Джорджа и добросовестно изучила их.

Когда я поняла систему американского реформатора, меня охватило такое волнение от восторга перед ясной

справедливостью этого гениального учения, что мне хотелось поскорее всякому передать то же, что переживала я.

Я уверена в том, что ни один искренний, не предубежденный человек не может не подпасть под очарование той могучей логики, основанной, как все великое, на религиозном принципе, которая выражена в учении Г. Джорджа.

Этот человек выработал свою систему не кропотливой кабинетной работой, а своей жизнью нуждающегося рабочего. Он добыл истину своими личными страданиями. Он сам рассказывает о том, как ему раз пришлось на улице протянуть руку за подаянием на лекарство больной жене. Рабочий вопрос стал для него мучительной дилеммой, и он решил его своей могучей головой и своим благородным, горячим сердцем.

И до сих пор люди боятся довериться тому святому решению земельного вопроса, к которому пришел Г. Джордж. Я не сомневаюсь в том, что все-таки когда-нибудь человечество откроет глаза на этот простой способ всеобщего благополучия, и счастье и богатство человечества увеличится настолько, что не будет, как теперь, умирающих с голода.

Нравственная жизнь, основанная на религиозном принципе, всегда самая выгодная, но проходят века за веками, и люди все еще боятся это признать.

Услышав могучие слова американского реформатора, другая великая душа,— полная той же любви к истине и к людям,— на противоположной стороне земного шара — встрепенулась и откликнулась на них.

С тех пор, как отец прочел книги Джорджа, он ни разу не пропускал случая, чтобы распространять его учение. При мне происходили разговоры на эту тему, и я чутко прислушивалась к ним. Одно меня смущало. Хотя для проведения в жизнь этой системы *не было нужды в грубом* «отбирании» *, которое, как всякое насилие,

* При системе Г. Джорджа накладывается *единый налог* на землю, как на богатство, не произведенное человеческим трудом. Все остальные налоги уничтожаются. Все, что человек производит, принадлежит ему. Всякий, не имеющий сил или возможности платить земельный налог на имеющуюся у него землю, сам отдает ее в общественный фонд. Из этого фонда черпают те, кто хочет пользоваться землей и за нее платить. Человек же, не пользующийся землей, пользуется всеми улучшениями и преимуществами, добытыми на собранные с земельной ренты средства.

было отвратительно отцу, — все же налог с земли должен был собираться правительством. А правительство основано на насилии.

Я сказала об этом отцу. Он ответил мне, что это — то, что и его иногда смущает. Но что при существующем строе — это все же самое лучшее решение земельного вопроса; а кроме того, он представляет себе такой общественный строй, где управление народом будет иное, чем теперь, будет добровольное [11].

Тем временем в Овсянникове крестьяне добросовестно исполняли принятые на себя обязательства. Они собирали арендную плату и вносили ее в банк, расходуя ее на общественные нужды. Раз они помогли погорельцам в Скуратове, раз в неурожайный год купили овсяных семян; выкопали пруд.

Доходили до меня слухи, что мужики все еще не вполне доверяют мне и боятся, что я когда-нибудь потребую от них сразу все деньги за все годы аренды.

Но вскоре они увидали, что я не только не требую с них денег, но даже не контролирую их взносов.

Когда они в этом убедились, они перестали платить арендную плату и стали пользоваться землей даром. Некоторые крестьяне стали даже спекулировать землей, получая ее даром и сдавая соседям за плату.

Ко мне стали поступать жалобы, сплетни, доносы. Я тогда была уже замужем и жила вдали от Ясной Поляны. Я наезжала туда на короткий срок и не имела возможности заняться овсянниковскими делами. Кроме того, мне стало досадно на крестьян за их спекуляцию, и я решила согласиться на их просьбу продать им через Крестьянский банк ту землю, которой они пользовались.

Перестав интересоваться системой Г. Джорджа в ее применении к Овсянникову, я с тем большим интересом занялась ее теоретической стороной.

В Ясной Поляне получались журналы, специально посвященные пропаганде джорджевской системы, и много его книг, которые под руководством отца переводились на русский язык [12]. Я читала все, что мне попадалось под руку по этому вопросу.

Прочтя все книги Г. Джорджа, я принялась за сочинения других авторов по тому же вопросу, думая, что я, может быть, найду в них что-нибудь новое или что-нибудь опровергающее его теорию. Затем я достала и про-

чла критики на Джорджа, думая, что могут быть возражения, которые не пришли на ум отцу и мне.

Но в решении земельного вопроса я ничего не нашла равного Г. Джорджу, а у русских критиков я нашла только вопиющее незнание автора, которого они критиковали.

Прочтя кучу книг, я осталась на своей точке зрения. Проще, яснее, выгоднее, справедливее системы Г. Джорджа я ничего не нашла.

Как мне хотелось, чтобы весь мир познакомился с этой системой. Я не сомневалась, что знать ее — значит ей следовать. Но как сделать, чтобы обратить людские глаза на нее?

Я решила написать популярную книгу, излагавшую учение Г. Джорджа.

Мне казалось, что я в силах это сделать. Я знала по себе, как трудно человеку, незнакомому с наукой о политической экономии и не развитому в этой области, сразу охватить и обнять мысль великого американского экономиста-философа. Многие специальные термины темны для непосвященного. Зная, как много мне пришлось прочесть, передумать и расспросить прежде, чем ясно понять Джорджа, я задумала изложить его взгляды общедоступным, понятным всякому рядовому читателю, языком.

Много раз я переписывала и переделывала начало своей книги, стараясь просто, ясно, понятно изложить дорогие мне мысли.

Часто меня брали сомнения в том, так ли и то ли я пишу, что нужно, и нужна ли моя работа вообще?

Конечно, лучшим судьей этому был бы мой отец. Но подвергнуть свою книгу его критике мне мешало то, что я знала, что, получив ее от меня, он не будет в состоянии судить о ней свободно и беспристрастно. Я решила послать ему первую часть под псевдонимом.

Я переписала рукопись на ремингтоне и на машине же написала письмо, в котором просила Льва Николаевича Толстого ответить мне в Москву по данному адресу. Подписалась я первым попавшимся именем: П. Полилов[13]. В Москву же я написала, прося переслать мне письмо по моему деревенскому адресу, как только оно получится.

С величайшим нетерпением я ждала ответа. Он все не приходил. Как раз в эти дни произошла у нас какая-то путаница с почтовыми повестками на заказные письма.

Вместо того чтобы попасть к нам, они были пересланы нашим соседям. Я волновалась, всех упрекала и не находила себе места от нетерпения.

Наконец я решила поехать в Ясную Поляну.

Приехала я утром, и так как отец занимался, я не стала отрывать его от работы. У сестры Саши я спросила, что нового в Ясной, какие приходили посетители и какие получались письма. Саша сказала, что между прочими интересными письмами папа́ получил рукопись и письмо от какого-то Полилова, которые его очень порадовали. Она сказала мне, что он очень хвалил рукопись и написал Полилову длинное письмо, вроде статьи, которое он несколько раз переделывал.

Она дала мне мое же письмо от лже-Полилова с вложенной в него моей рукописью. На конверте рукой отца было написано: *«отвечать»*. А ниже в скобках он написал: *«(интересное)»*.

Я попросила у Саши копию с ответа отца. Она мне его достала и подала. С бьющимся сердцем, в величайшем волнении, я прочла его. Вот оно:

«6 ноября 1909 года, Ясная Поляна.

Петр Александрович,

Ваша статья с письмом ко мне доставила мне большую радость. Я давно уже перестал, да и никогда не интересовался политическими вопросами, но вопрос о земле, то есть земельном рабстве, хотя и считается вопросом политическим, есть, как Вы совершенно верно говорите, вопрос нравственный, вопрос нарушения самых первобытных требований нравственности, и потому вопрос этот не только занимает, но мучает меня, мучает то глупое, дерзкое решение этого вопроса, которое принято нашим несчастным правительством, и то полное непонимание его людьми общества, считающими себя передовыми. Вы можете поэтому представить себе ту радость, которую я испытал, читая Вашу прекрасную статью, так ярко и сильно выставляющую сущность дела.

Вопрос этот так мучает меня, что я на днях видел очень яркий сон, в котором среди общества «ученых», оспаривая их взгляды, излагал тот самый взгляд на существующую вопиющую несправедливость земельной частной собственности, который так прекрасно выражен в Вашей статье. Я кое-как записал этот сон и хотел, ис-

правив, напечатать[14]. Сон этот мой сбылся в Вас и в Вашей статье.

Помогай Вам бог закончить этот труд, и чем скорее, тем лучше. Знакомы ли вы с Николаевым? * Познакомьтесь — это такой знаток Генри Джорджа, и такой страстный сторонник его учения, и такой прекрасный человек, каких редко встретишь.

Очень благодарю Вас за радость, которую Вы мне доставили.

Мне думается, что вопрос о несправедливости земельного рабства и о необходимости освобождения от него стоит теперь на той же степени сознания его, на которой стоял вопрос крепостного права в 50-х годах: такое же сознательное возмущение народа, живо сознающего совершаемую над ним несправедливость, такое же сознание этой несправедливости в редких лучших представителях богатых классов и такое же грубое, отчасти не умышленное, отчасти умышленное непонимание вопроса в правительстве.

Разница только в том, что тогда для освобождения крепостных был у правительства образец Европы и, главное, Америки, теперь же образца этого нет, а если и есть, то образец этот, состоящий в образовании мелкой частной земельной собственности, не только не освобождает народ от земельного рабства, а, напротив, закрепляет его. И, как всегда, правительственные люди, стоя на самой низкой и нравственной и умственной ступени, в особенности теперь, после победы над революцией, ставшие особенно самоуверенными и дерзкими, не будучи в состоянии ни думать самобытно, ни понимать безнравственности земельной собственности, смело ломают вековые устои русской жизни[15] для того, чтобы привести русский народ в то ужасное, безнравственное и губительное состояние, в котором находятся народы Европы. Люди эти не понимают, по своей ограниченности и безнравственности, того, что русский народ находится теперь не в том положении, в котором свойственно заставить его подражать Европе и Америке, а в том, в котором он должен показать другим народам тот путь, на котором может быть достигнуто

---

* Я не только знала С. Д. Николаева, но получала от него большую помощь, как советами, так и книгами. Он передал мне всю свою библиотеку по земельному вопросу, в которой я черпала многие свои сведения. Покойный С. Д. Николаев, скончавшийся в 1920 году, перевел почти все сочинения Генри Джорджа на русский язык.

освобождение людей от земельного рабства. Если бы правительство,— не говорю уже было бы умным и нравственным,— но если бы оно было хоть немного тем, чем оно хвалится — было бы *русским*, оно бы поняло, что русский народ, с своим укоренившимся сознанием о том, что земля божья и может быть общинной, но никак не может быть предметом частной собственности, оно бы поняло, что русский человек стоит в этом важнейшем вопросе нашего времени далеко впереди других народов.

Если бы наше правительство было бы не совсем чуждое народу, жестокое и грубое и глупое учреждение, оно бы поняло не только ту великую роль, которую предстоит ему осуществить, оформив их великие, передовые идеалы народа, но поняло бы и то, что то успокоение, умиротворение народа, которого оно добивается теперь неслыханными со времен Иоанна Грозного казнями и всякого рода ужасами, могло бы быть наверное достигнуто тоже одним: осуществлением общего, народного идеала: освобождения земли от права собственности. Не нужно было бы тогда ни царю, ни его министрам, как преступникам, прятаться от народа за тройными стенами стражей. Только объяви манифест, как тогда, при освобождении крепостных, о том, что правительство занято освобождением от земельного рабства, и народ лучше всех стражей охранит правительство, которое он тогда призна́ет своим. Слепота людей нашего так называемого высшего общества — поразительна.

Дума? При всех встречах моих с членами Думы я считал своей обязанностью умолять их о том, чтобы они хотя бы подняли в своей Думе вопрос об освобождении земли от права собственности и о переводе, по Джорджу, налогов на землю. Ответ всегда один: мы не занимались этим вопросом, незнакомы с ним; главное же то, что вопрос этот ни в каком случае не будет принят к обсуждению [16]. Очевидно, эти господа слишком усердно заняты молотьбой пустой соломы, чтобы иметь досуг подумать о том, что́ одно важно и нужно. Они слепые, а что хуже всего,— уверенные, что зрячи.

Так как же мне не радоваться Вашей деятельности! Пожалуйста, пишите мне об успехе Вашей работы.

Дружески, с благодарностью жму вам руку.

Лев Толстой.

7 ноября 09 года
Ясная Поляна» [17].

Очень сложные, смешанные чувства поднялись во мне по прочтении этого письма.

Я была в восторге от одобрения отца.

Но рядом я испытывала чувство стыда и раскаяния за свою мистификацию. Я только теперь поняла, что, узнавши настоящего автора, отец будет огорчен и разочарован в том, что не из нового очага выросло знание и пропаганда идей Джорджа, а от его же плоти и крови.

Когда встала мать, она тоже рассказала мне о том, что папа́ все говорит об одной полученной им статье от какого-то Полилова, очень хвалит ее, и что опять начались разговоры о Г. Джордже, который очень ей надоел.

Я с трепетом ждала появления отца. Наконец он вышел из своего кабинета в залу. Мы поздоровались с ним, и он сел завтракать.

Он был очень весел в этот день и рассказывал о том, какие он утром получил письма. Между прочим, один его юный друг только что женился и описывал свою жену в юмористическом тоне. Он писал, что она во всех отношениях идеальная женщина: отлично печет пироги, но логика в ней отсутствует, рубахи у него всегда чистые, но его мысли и идеалы для нее чужды и т. д. Не отвечаю за точность текста письма. Я не читала его, а приблизительно помню в передаче отца. Отец очень смеялся:

— Все вы такие.

Он принялся есть.

После некоторого молчания я спросила его:

— Тебе понравилась статья Полилова?

— Да, очень, а что? Ты его знаешь?

— Да; и, знаешь, это псевдоним, Полилов — женщина.

Отец перестал есть и поднял голову.

— Не может быть!

— Нет, правда.

— Кто же?

Я засмеялась.

— И очень близкая тебе женщина.

— Не может быть!!

— Нет, правда.

— Кто же?

— Я.

— Не может быть!!!

Тут я рассказала ему все, что я передумала и почему я послала ему рукопись под псевдонимом.

Он не упрекнул меня. Но я почувствовала, что я верно угадала, когда боялась его разочарования. Он мне его не показал, но между людьми, которые так близки друг другу, как были мы с ним, никакая тень не может пройти незамеченной.

Мы очень серьезно разговорились с ним о том, как нужно писать книгу, и я изложила ему план своей работы.

Книга должна была состоять из трех частей. Первая часть — принципиальная сторона: безнравственность земельной собственности; вторая — изложение существующих аграрных программ и критика их, и третья — изложение экономической системы Г. Джорджа.

Я запнулась на второй части. Трудно было выбрать то, что считалось по этому вопросу важным. Я достала кучу книг, но сколько бы я ни читала, все еще были какие-то компетентные авторы, которых еще приходилось прочесть. Маркс, Каутский, Конрад Шмидт, Герценштейн, Чернов, Туган-Барановский и многие другие авторы были мною прочитаны или просмотрены. Но так как я не была специально образованной в этой области, мне было трудно ориентироваться в большом количестве этих авторов.

Отец, по обыкновению, совета мне никакого не дал, но в конце нашей беседы он засмеялся и сказал:

— А где же Полилов? Я так хорошо представил себе его: аккуратный, в синем пиджаке...

Потом прибавил, потрепав меня по голове:

— Ну, если ты не кончишь этой книги, ты будешь настоящей женщиной.

Увы! Я не изменила своему полу. Я осталась настоящей женщиной. И рукопись до сих пор остается неоконченной.

5 июля 1923 г.
Москва

О СМЕРТИ МОЕГО ОТЦА И ОБ ОТДАЛЕННЫХ ПРИЧИНАХ ЕГО УХОДА

Меня часто обвиняли в том, что я никогда не протестовала против контрфакций и плагиата сочинений моего отца Льва Толстого, равно как и против лжи и клеветы, которые время от времени возникали и все еще возникают в мировой печати вокруг его имени.

Я следовала в этом его примеру: мой отец взял себе за правило никогда не отвечать на посягательство на его литературные права и не отзываться на клевету, затрагивающую его частную жизнь.

Если я прерываю молчание, то это вызвано тем, что в печати появились книги, написанные друзьями моего отца, дающие фальшивую картину отношений моих родителей между собой и пристрастный, искаженный портрет моей матери[1]. В этих книгах описанные факты, как правило, точны, но, говоря словами Гоголя, — ничего нет хуже правды, которая не правдива.

Я полагала, что мне как старшей дочери надлежало выступить в защиту истины. Мой долг перед памятью родителей — прервать в настоящий момент молчание. Конечно, это тяжелая обязанность, ибо мне придется вскрыть многое такое, что обычно не выходит за пределы узкого семейного круга.

Моя жизнь прошла не в обычном доме. Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих. Каждый мог все видеть, проникать в интимные подробности нашей семейной жизни и выносить на публичный суд более или менее правдивые результаты своих наблюдений. Нам оставалось рассчитывать лишь на скромность наших посетителей.

Мой отец никогда не боялся говорить о самом себе, когда считал это необходимым. Он жил, ни от кого не прячась. Он написал свою «Исповедь» и в этой исповеди,

искренней до предела, обнажил все тайники своего сердца.

Я считаю, что настало время поделиться с теми, кто интересуется Толстым, пережитым мною в годы, проведенные близ него. У меня сложилась собственная точка зрения на отношения моего отца и матери и на их отношение к нам, их детям. Я свидетель. Вначале я хотела обратиться к своим русским братьям и сестрам: у моего отца среди них есть еще много друзей. Теперь я обращаюсь к французам, среди которых, я уверена, тоже много друзей Толстого. Что касается меня, то мне нечего скрывать от этих друзей. Я хочу, чтобы они были судьями. Я хочу показать им в новом свете некоторые стороны жизни моего отца. Я буду вполне откровенна и вполне искренна, и если не скажу всего, что могла бы сказать о драме жизни моих родителей, то только потому, что слишком много людей было замешано в эту трагедию и что для некоторых из них это было бы слишком рано.

Все даты указаны здесь по «старому стилю», то есть с опозданием на тринадцать дней.

* * *

Темной осенней ночью 28 октября 1910 года, в 3 часа пополуночи, мой отец покинул свой дом в Ясной Поляне, где он родился и провел бо́льшую часть своей жизни.

Какие же были причины, вызвавшие этот отъезд — скажу даже — это бегство? Известны ли они и станут ли когда-нибудь известны?

Самое простое было бы сказать, что Толстой убежал от жены, так как она его не понимала и жизнь с нею была ему тяжела. Или, что та относительная роскошь, которая его окружала в семье, была ему невыносима и он хотел жить простой, уединенной жизнью среди крестьян и рабочих. Но в жизни человека никогда не бывает, чтобы одна какая-нибудь причина преимущественно перед другими побудила бы его совершить тот или иной поступок. И это в особенности справедливо для такой богатой, страстной и сложной натуры, как мой отец. Его поведение было результатом целого ряда причин, сочетавшихся, смешивавшихся, сталкивавшихся, противоречивших друг другу.

Я была свидетелем жизни моего отца в течение двух ее периодов: перед его религиозным кризисом и после

него. Добавлю, что я была свидетелем, поставленным в особо благоприятные условия. Я была более, чем кто-либо другой, посвящена в его интимную жизнь. В течение тридцати пяти лет, до своего замужества, я постоянно жила дома. Мой отец был со мной очень откровенен, в особенности в том, что касалось моей матери. Он знал, что я люблю их обоих и всегда готова сделать все от меня зависящее, чтобы водворить между ними мир.

Моя мать, в свою очередь, делилась со мной своими тайными горестями и радостями. Я была ее старшей дочерью и только на двадцать лет моложе ее. С годами разница в возрасте между нами до такой степени сгладилась, что вскоре она стала относиться ко мне как к равной, как к подруге.

Чтобы понять весь трагизм положения, незаметно нараставший в течение почти полувека и приведший к уходу моего отца из дома и к его смерти в маленьком домике начальника станции[2], следует вдуматься в то, каким был Толстой начиная с сознательного возраста и какой была та, та молоденькая Соня Берс, которая стала его женой.

У меня перед глазами интимные дневники моего отца, начиная с 1847 года[3]. Ему было тогда девятнадцать лет, и он был студентом Казанского университета. Есть у меня и дневники матери начиная с 1862 года[4]. Ей было восемнадцать лет, и она только что вышла замуж. Каждый внимательный человек найдет и в этих документах зародыши характеров, развившихся и окрепших в зрелом возрасте.

Вот каким был он: постоянно в борьбе со своими страстями, погруженный в самоанализ, судящий себя с беспощадной строгостью, требовательный и к себе и к другим. В то же время неисправимый оптимист, никогда не жалующийся, находящий выход из всякого трудного положения, ищущий решения для каждой проблемы, утешения для всякого несчастья или неприятности. Даже для зубной боли он находил оправдание. Он пишет в своем дневнике: «...зубная боль доставляет больше цены здоровью». И в другом месте: «Все болезни мои приносили мне явную моральную пользу; поэтому и за это благодарю его»[5].

Лейтмотив всей его жизни — «самосовершенствование». 24 марта 1847 года он пишет: «Я много переменился; но все еще не достиг той степени совершенства (в

занятиях), которого бы мне хотелось достигнуть»[6]. И тут же в дневнике он набрасывает некоторые правила поведения. Он дает себе слишком много заданий и, не будучи в состоянии их выполнить, недоволен собой.

7 апреля он пишет: «Через неделю ровно я еду в деревню. Что же делать эту неделю? Заниматься английским и латинским языком, римским правом и правилами»[7]. По прошествии этой недели он отмечает: «Какая будет цель моей жизни в деревне в продолжение 2 лет? 1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в Университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и *статистику*. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи. 9) Написать правила. 10) Получить некоторые познания в естественных науках. 11) Составить сочинения из всех предметов, которые буду изучать»[8].

На следующий день он понял, что переоценил свои возможности, и 18 апреля пишет: «Я написал вдруг много правил и хотел им всем следовать, но силы мои были слишком слабы для этого»[9].

После двухмесячных стараний он отмечает: «Ах, трудно человеку развить из самого себя хорошее под влиянием одного только дурного»[10]. «Дойду ли я когда-нибудь до того, чтобы не зависеть ни от каких посторонних обстоятельств? По моему мнению, это есть огромное совершенство»[11].

Позднее он убедился, что совершенство и совершенствование — вещи разные, и 3 июля 1854 года записал: «...главная моя ошибка... та, что я усовершенствование смешивал с совершенством. Надо прежде всего понять хорошенько себя и свои недостатки и стараться исправлять их, а не давать себе задачей — совершенство, которого не только невозможно достигнуть с той низкой точки, на которой я стою, но при понимании которого пропадает надежда на возможность достижения»[12].

Он не прекращает своих усилий. Он не теряет надежды. От времени до времени он отмечает достигнутые успехи на пути совершенствования. «Исправление мое,— утверждает он, — идет прекрасно» [13]. И позднее: «Уповаюсь

быстротой морального движения вперед»[14]. Однажды он поставил перед собой такую задачу: «... для себя по доброму делу в день» и добавляет: «и довольно»[15]. «Я твердо решился посвятить свою жизнь пользе ближнего. В последний раз говорю себе: Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя»[16]. И через месяц: «Ежели завтра я ничего не сделаю, я застрелюсь»[17].

Много лет спустя мой отец, вспоминая эти годы борьбы, писал: «...единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать... Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самые задушевные мои желания: то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли»[18].

Затем — женитьба.

12 сентября 1862 года он пишет: «Я влюблен, как не верил, чтобы можно было любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, ежели это так продолжится»[19].

16 сентября он передает юной Соне Берс письмо, в котором делает ей предложение[20], и заносит в свой дневник: «Сказал. Она — да. Она как птица подстреленная. Нечего писать. Это все не забудется и не напишется»[21]. Через неделю — 23 сентября — свадьба. Через два дня он пишет: «Неимоверное счастье... Не может быть, чтобы это все кончилось только жизнью»[22].

Чем была женитьба для Толстого? Страницей любви, средством положить конец соблазнам, которые его мучили, этапом его жизни, которому он не мог посвятить все свои умственные и душевные силы. И не прошло и года, как он приходит к заключению, что девять месяцев супружеской жизни были для него периодом отупения. Он испытывает угрызения совести за свой эгоистический образ жизни. Он тяготится своей праздностью, перестает уважать себя. Радости семейной жизни всецело его поглощают и заставляют забывать «высоты правды и силы», которые он знал раньше.

18 июня 1863 года он пишет в дневнике: «Где я, тот я, которого я сам любил и знал, который выйдет иногда наружу весь и меня самого радует и пугает? Я маленький

и ничтожный. И я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю». И он кончает записи этого дня молитвой: «Боже мой... Дай мне жить всегда в этом сознании тебя и своей силы...» [23]

И вот эта женщина. Какой же была она, когда узнала, полюбила и стала женой Толстого? Вторая дочь доктора Берса, воспитанная, как все барышни ее круга и ее века. В то время замужество было жизненной целью каждой барышни, и моя мать инстинктивно стремилась к этому идеалу. Замужество было для нее чем-то священным. Всем своим воспитанием она была подготовлена к семейной жизни, и она принесла в эту жизнь все богатство девственной души и тела.

Но, в противоположность мужу, она от природы пессимистка. Она часто впадает в уныние и легко огорчается. Ей кажется, что все вокруг приносит ей несчастье. Она постоянно воображает себя в безвыходном положении и вместо того, чтобы искать выхода, то жалуется, то упрекает себя, то ищет себе извинения. Она чувствует себя ответственной за все несчастья, которые ее окружают, и виноватой, что не может ничем помочь.

Первым большим горем в ее жизни было открытие прошлой холостой жизни мужа. До самой смерти она не могла примириться с мыслью, что отдала ему всю свою любовь, тогда как он до нее любил других женщин. Вот что читаем мы в ее дневнике: «Все его прошедшее так ужасно для меня, что я, кажется, никогда не помирюсь с ним... Он не понимает, что его прошедшее — целая жизнь, с тысячами разных чувств, хороших и дурных, которые мне уж принадлежать не могут, точно так же, как не будет мне принадлежать его молодость, потраченная бог знает на кого и на что. И не понимает он еще того, что я ему отдаю всё, что во мне ничего не потрачено, что ему не принадлежало только детство... Ему бы хотелось,чтоб и я прошла такую жизнь и испытала столько дурного, сколько он, для того чтоб и я поняла лучше хорошее. Ему инстинктивно досадно, что мне счастье легко далось, что я взяла его, не подумав, не пострадав... Что же мне делать, а я не могу простить богу, что он так устроил, что все должны, прежде чем сделаться порядочными людьми, *перебеситься»* [24].

Она не умеет пользоваться данным ей счастьем. Даже в счастливые минуты она умудряется мучить себя сомнениями и предчувствиями: «Ему нездоровится, думаю, ну,

как умрет, и вот пойдут черные мысли на три часа. Он весел, я думаю: как бы не прошло это расположение духа... А нет его или он занят, вот я и начну опять о нем же думать, прислушиваться, не идет ли, следить за выражением лица его, если он тут»[25].

И она ревнует ко всему и ко всем: «Он мне гадок с своим народом. Я чувствую, что или я, то есть я, пока представительница семьи, или народ с горячею любовью к нему Л. Это эгоизм. Пускай. Я для него живу, им живу, хочу того же, а то мне тесно и душно здесь»[26].

И в другом месте: «Читала начала его сочинений, и везде, где любовь, где женщины, мне гадко, тяжело, я бы все, все сожгла. Пусть нигде не напомнится мне его прошедшее. И не жаль бы мне было его трудов, потому что от ревности я делаюсь страшная эгоистка.

Если бы я могла и его убить, а потом создать нового, точно такого же, я и то сделала бы с удовольствием»[27].

Бедное дитя! Она страдает от всех этих несуразностей, которые сама выдумывает, чтобы мучить себя. Она не понимает, что ее страдания происходят от несоответствия ее взгляда на брак с действительностью. Для нее все завершалось семейной жизнью: быть верной и любящей женой, преданной матерью — вот долг, который она перед собой ставила. И бог свидетель — честно ли она его выполняла в течение всей своей долгой жизни. Того же она требовала и от него.

А он, мог ли он ограничить свои интересы семьей и быть только мужем и отцом?

Разлад, едва заметно обнаружившийся с первых же дней супружеской жизни моих родителей, благодаря связывавшей их большой любви остается скрытым около двадцати лет, до того момента, который называют обращением, или религиозным кризисом, Толстого и который он сам называл своим вторым рождением[28]. Первые двадцать лет их брака были счастливыми.

Итак, как я уже сказала, моей матери было восемнадцать лет, когда она вышла замуж. Она красива, стройна, пылкая брюнетка. До того она никогда не жила в деревне. И вот эта горожанка, почти еще ребенок, должна отказаться от всех радостей жизни в большой семье и в большом городе с его развлечениями. Темной сентябрьской ночью она уезжает с мужем в большом дорожном экипаже, называвшемся дормезом. Она уезжает в Ясную Поляну, где, кроме старухи тетки Татьяны Александров-

ны[29], живущей там в окружении нескольких странных особ[30], одна из которых не совсем в своем уме, она никого не найдет. Ей страшно: вместо блестяще освещенного Кремля, где жили ее родители, — погруженный в глубокий мрак двор, вместо приятных гостей, двери дома раскрываются только для прохожих паломников. Эта непривычная среда кажется ей странной и немножко жуткой. А муж — спит на диване, на кожаной подушке, да к тому же без наволочки!

Молодой женщине было не легко привыкнуть к такому новому для нее образу жизни. Но большая и взаимная любовь заставляла ее все забыть.

Отец пишет в дневнике: «Она так невозможно чиста и хороша и цельна для меня. В эти минуты я чувствую, что я не владею ею, несмотря на то что она вся отдается мне. Я не владею ею потому, что не смею, не чувствую себя достойным» [31].

Молодая жена, со своей стороны, считала себя недостойной того великого человека, каким был ее муж. Она постоянно стремилась достигнуть того уровня, на котором он стоял в ее глазах. «Чувствуя,— писала она,— подавляющее превосходство Льва Николаевича во всем: в возрасте, в образовании, в уме, в опыте жизни, не говоря уже о его гениальности, я тянулась изо всех сил духовно приблизиться к нему, стать если не вровень с ним, то на расстояние понимания его, и чувствовала свое бессилие»[32].

Посмотрим, как жили тогда в Ясной Поляне. Выпив кофе, отец уходил к себе в кабинет; но даже в часы работы он не решался расстаться с женой. Она с рукоделием молча сидела на диване, пока он писал. А вечером принималась переписывать начисто листки, написанные днем. Она никогда, несмотря ни на какую усталость, не пропускала этой работы, которую считала своей главной обязанностью. А закончив переписку, она шла в зал посидеть со старой тетушкой.

Вскоре она стала ждать своего первого ребенка. Чувствуя недомогание, она любила прилечь у ног мужа на шкуре черного медведя, клыки которого несколько лет перед этим чуть было не оказались роковыми для Толстого[33]. Она засыпала там спокойным сном в ожидании часа, когда все расходились по своим комнатам. Отец пожелал, чтобы жена не только сама кормила своего первенца (это был мой брат Сергей), но и обходилась бы без помощи

няни. Это было тяжелым требованием для молодой, неопытной женщины, воспитанной в известной роскоши[34]. Ребенок был болезненным. Кормление грудью, причинявшее матери мучительную боль, было все же прервано, но только лишь после того, как убедились в полной необходимости этого. Нанять кормилицу? Это казалось родителям преступлением. Они решили отнять ребенка от груди. В те времена не очень-то беспокоились о гигиене и стерилизации. Ребенок опасно заболел. Мать описывает в своем дневнике, как отец сам приготовлял для ребенка молоко и дрожащими руками кормил его с рожка, стараясь привыкнуть к своим новым обязанностям. «Я же,— пишет она,— была в диком отчаянии и плакала день и ночь, прощаясь с мальчиком, разговаривая с ним и внушая ему, точно он мог понять меня, что не виновата, что не кормлю его»[35].

Отец ночи напролет ухаживал за сыном. Рассвет заставал его одетым, и он возвращался к себе в кабинет к Александру I, Наполеону, Пьеру, князю Андрею, Наташе, Платону Каратаеву — всем персонажам «Войны и мира», эпопеи, которую он в то время писал. Однако наступила минута, когда, несмотря на все нежелание, им пришлось взять кормилицу.

Вскоре и я появилась на свет. Со мной не было таких хлопот. Жизнь казалась моим родителям прекрасной. Мой отец писал своему тестю: «Точно только теперь начался наш медовый месяц... Как мила Соня со своими двумя малышами»[36].

Через полтора года после меня родился брат Илья. Затем с перерывами от полутора до двух лет семья регулярно увеличивалась. Нас было 13 детей, из которых 11 мать кормила сама. Пока опытная и добрая рука отца направляла нашу жизнь, все шло хорошо. Мать отдавала своему мужу все лучшее, что у нее было: все свои силы, всю свою любовь.

Мы жили круглый год в Ясной Поляне. Деятельность отца распределялась между литературным трудом, семьей и хозяйством. Он сажал деревья, расширял сады и леса, разводил пчел, строил стойла, конюшни и занимался разного рода животноводством. Но лучшие силы и наибольшее время забирал у него в те годы литературный труд.

«Сейчас меня облаком радости и сознания возможности сделать великую вещь охватила мысль написать психологическую историю романа Александра и Наполео-

на». Эти строки взяты из его дневника 1865 года[37]. Это первое упоминание о «Войне и мире»[38].

А через два года моя мать отмечала: «Левочка всю зиму раздраженно, часто со слезами и волнением пишет. По-моему , роман «Война и мир» его должен быть превосходен. Все, что он читал мне, до слез меня волнует»[39].

Во время этих чтений моя мать высказывала свои замечания. А отец принимал их к сведению и иногда, сообразуясь с ее мнением, изменял текст[40]. Приведу следующий отрывок из его письма к жене от 7 декабря 1864 года: «Я пишу в кабинете, и передо мной твои портреты в 4-х возрастах. Голубчик мой, Соня. Какая ты умница во всем том, о чем ты захочешь подумать». И он продолжает и, анализируя ее ум, заканчивает так: «А я так и не сказал, за что ты умница. Ты, как хорошая жена, думаешь о муже, как о себе, и я помню, как ты мне сказала, что мое все военное и историческое, о котором я так стараюсь, выйдет плохо, а хорошо будет другое — семейное, характеры, психологическое. Это так правда, как нельзя больше. И я помню, как ты мне сказала это, и всю тебя так помню. И, как Тане, мне хочется закричать: мама, я хочу в Ясную, я хочу Соню... Душа моя милая. Только ты меня люби, как я тебя, и все мне нипочем, и все прекрасно»[41].

В ту пору и муж и жена занимались каждый своим делом с интересом, полным любви, входя вместе с тем в жизнь друг друга. И каждый из них целиком отдавался своему делу[42].

Делом отца был литературный труд: «Писать надо только тогда, когда каждый раз, что обмакиваешь перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса...»[43]

Что до нее, то этот кусочек себя она ежедневно оставляла в детской. Она пишет в дневнике: «Я люблю детей своих до страсти, до боли»[44]. Она не преувеличивает, так как если она кормила детей с любовью, это давалось ей не без страданий. Как сейчас, вижу ее с ребенком на руках, с запрокинутой головой и сжатыми зубами, чтобы скрыть, что ей больно. Она считала материнский долг важнейшим долгом. «Хоть умру от страданий, но ни за что не отниму»[45],— признавалась она своей сестре. И в другом письме: «Мой ребенок не был бы вполне моим, если бы посторонняя женщина кормила его в течение первого самого важного года его жизни»[46]. Добровольное материнское рабство! После смерти десятимесячного сына

она писала той же сестре: «Теперь, Таня, я свободна, но как тяжела мне моя свобода...»[47]

Иногда отец ездил по делам в Москву. Ежедневная переписка облегчала разлуку. Она писала ему из Ясной Поляны: «Сижу у тебя в кабинете, пишу и плачу. Плачу о своем счастье, о тебе, что тебя нет, вспоминаю все свое прошедшее...»[48]

А он отвечает: «Послезавтра на клеенчатом полу в детской обойму тебя, тонкую, быструю, милую мою жену» [49].

Заметьте, он точно указывает, что это произойдет в детской. Он хорошо знал, что, в какой бы час он ни приехал, он всегда застанет ее там.

Иногда ее пугало, что ее личность до такой степени поглощалась мужем и детьми. Я вижу это в записях 1862 года: «Я думаю его мыслями, смотрю его взглядами, напрягаюсь, им не сделаюсь, себя потеряю. Я и то уже не та, и мне стало труднее»[50]. И в другом месте: «Когда же его дома нет, я опять живу его интересами, пойду в его кабинет, уберу все, пересмотрю в комодах его белье и вещи, перечитаю на столе его бумаги и стараюсь всеми силами войти в его умственный мир»[51]. Она ему пишет: «...без тебя все равно, как без души. Ты один умеешь на всё и во всё вложить поэзию, прелесть и возвести на какую-то высоту... Я только без тебя то люблю, что ты любишь; я часто сбиваюсь, сама ли я что люблю, или только оттого, что ты это любишь» [52].

Иногда молодость, желание веселиться берут свои права, и она восклицает: «...они посылают меня спать, а мне хочется кувыркаться, петь, плясать». Это оттого, что ей девятнадцать лет. Она чувствует себя молодой и часто сознается самой себе: «У меня страстное желание вырваться из действительной жизни. Не надо. Я не имею на это ни времени, ни права»[53]. Она особенно восприимчива к музыке: поэтому она боится ее больше всего.

«Машенька заиграла что-то, и музыка, которую я так давно не слыхала, разом вывела меня из моей сферы детской, пеленок, из которой я давно не выходила ни на один шаг, и перенесла куда-то далеко, где все другое. Мне даже страшно стало, я в себе давно заглушила все эти струнки, которые болели и чувствовались при звуках музыки, при виде природы... Я желаю, чтобы никогда не пробуждалось во мне это чувство, которое тебе — поэту и писателю — нужно, а мне — матери и хозяйке —

только больно, потому что отдаваться ему я не могу и не должна»[54].

Эта внутренняя работа, эти усилия над собой не проходили незамеченными для мужа, за них он еще сильнее любил ее, хотя и не без страха наблюдая за ними. Это нашло отражение в его дневнике 1863 года: «...она молода и многого не понимает и не любит во мне, и что много в себе она задушает для меня, и все эти жертвы инстинктивно заносит мне на счет»[55].

Действительно, такой счет был моей матерью представлен отцу, но только открыт он был гораздо позже, гораздо позже. В ту пору жизнь была хороша и дорóга еще легка.

С этого же времени начинаются попытки отца опростить жизнь семьи и внести в нее более суровый распорядок, чем это было принято у людей его круга. Попытки оказались неудачными и были быстро оставлены. Он хотел, чтобы его первенец воспитывался без няни. Болезнь матери поставила перед необходимостью взять няню, а позже они выписали няню из Англии. Первая проба поездки в телеге оказалась также малоудачной: мою мать так растрясло, что она заболела. Пришлось приобрести коляску. Не в характере отца было упорствовать. Более того, если сам он ставил себе целью усовершенствование жизни, то он отнюдь не желал навязывать свою волю другим. Итак, убедившись, что не может изменить вкусов и привычек жены, он согласился и покорился. Это было тем более нетрудно, что в то время опрощение было для него скорее делом вкуса, чем убеждения. К тому же жизнь в Ясной Поляне была в те годы очень проста.

Относительная роскошь появилась в доме лишь после того, как начали успешно продаваться труды отца. Образ жизни становился шире по мере увеличения средств. У нас были гувернантки и гувернеры иностранцы, учителя и учительницы русского языка. Все они жили в доме. Несколько раз в неделю приезжали еще преподаватели из Тулы. Нам давали уроки закона божия, нас учили нескольким языкам, музыке и рисованию.

Этот двадцатилетний период счастливой жизни закончился драмой, давно подготовлявшейся и разрушившей наш семейный очаг.

Драма становится тогда подлинной драмой, когда у нее нет виновных, но обстоятельства заводят в тупик.

Наша семья очутилась действительно в трагическом положении, из которого не было выхода.

С самого раннего нашего детства родители решили, что они переедут в Москву, как только старшие дети подрастут. Брата Сергея готовили в университет дома. Что касается меня, то в восемнадцать лет меня должны были начать вывозить в свет. Это было твердо решено самим отцом. Я помню, как он беспокоился, когда я сломала себе ключицу. Он повез меня в Москву к лучшему хирургу и спрашивал его, не останется ли после операции следов. Ему хотелось удостовериться, не будет ли заметно утолщение, когда мне придется появляться в бальном туалете.

Но незадолго до 1880 года все духовные интересы отца изменились. Это началось незаметно.

В 1877 году он пишет своему другу Страхову: «На днях слушал я урок священника детям из катехизиса. Все это было так безобразно. Умные дети так очевидно не только не верят этим словам, но и не могут не презирать этих слов, что мне захотелось попробовать изложить в катехизической форме то, во что я верю, и я попытался[56]. И попытка эта показала, как это для меня трудно и, боюсь, невозможно.

И от этого мне грустно и тяжело»[57].

С этого дня отец начинает неустанно искать путей выражения своей веры. В своей «Исповеди» он рассказывает, как он почувствовал первые признаки обращения: «...со мной стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать... Эти остановки жизни выражались всегда одинаковыми вопросами: зачем? Ну, а потом?» [58].

Вначале отец не придавал особого значения этим вопросам, считая их пустыми. Но они все чаще вставали перед ним, все настоятельнее требовали ответа.

И отец понял, что с ним «случилось то, что случается с каждым заболевающим смертельною внутреннею болезнью»[59]. Он увидел, что ему *необходимо* ответить на эти вопросы. Ему надо было знать, для чего он пишет книгу, воспитывает сына, для чего покупает новое имение. «Ну хорошо,— говорил он себе,— у тебя будут тысячи десятин земли, сотни лошадей, ты будешь знаменитее всех поэтов и писателей мира. А зачем? Для чего? Что это тебе даст?»

«Я,— пишет он в «Исповеди»,— как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели»[60].

«Сделалось то, что я, здоровый, счастливый человек, почувствовал, что не могу больше жить.

И вот тогда, я, счастливый человек, вынес из своей комнаты шнурок, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни».

«Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей...»

«Я говорил себе, что во всем этом есть что-то ложное, но увидеть это ложное я не мог. Много позднее эта тьма начала рассеиваться и просветляться, и я постепенно стал понимать свое состояние»[61].

Мало-помалу отец пришел к убеждению, что сила жизни зиждется на вере и что самая глубокая человеческая мудрость кроется в ответах, которые дает вера.

Тогда он стал изучать религии всех народов и в первую очередь православную религию. Он изучал их с помощью книг, но также обращался непосредственно к живым людям. Он сблизился с верующими людьми из простонародья, и, хотя он обнаружил у них, наряду с истинным христианством, много суеверий, он понял, что их вера была для них необходимостью и служила оправданием их жизни. Он научился любить этих людей, и чем больше он их любил, тем легче становилось ему жить.

Он понял тогда, что сама по себе жизнь вовсе не была чем-то ненужным, не была злом, но что жизнь его самого не имела смысла и была плохой.

И слова Евангелия, говорящие, что люди предпочитают тьму свету, так как их поступки плохи, стали ему понятны и ясны.

Все, что он испытал, заставило его пристальнее всмотреться в свою собственную жизнь. Это было началом периода исканий и сомнений, проведенного в тоске и тревоге. Ответа на преследующие его вопросы он искал и в науке, и в философии, и в религии.

И вот, достигнув зрелого возраста, получив от жизни все то счастье, которого может ожидать от нее человек, он отвернулся от этого счастья.

Все блага мира, все земные соблазны превратятся для него отныне не только в помехи, но и в тяжелый крест. Это бремя будет порой казаться ему непосильным, и он захочет сбросить его, порвать со всем своим прошлым, с семейной жизнью, о которой мечтал в юности, отказаться от состояния, которое приобрел, и, наконец, порвать с церковью, которая была ему дорога, так как служила для него связующим звеном с народом, который он любил.

Но прежде чем отказаться от религии, в которой он родился, он подверг ее беспощадному анализу. Он добросовестно соблюдал все православные обряды, посты и постные дни, читал молитвы и присутствовал на всех церковных службах.

Я помню, что каждое воскресенье мы с ним ходили к обедне. Мы ходили пешком вместо того, чтобы ехать в коляске, запряженной четверкой лошадей, как это делала мать, когда возила детей причащаться. Отец по привычке легко опускался на колени. Мы строго исполняли посты и даже не ели рыбы. Моя мать пишет в дневнике: «Характер Льва Николаевича тоже все более и более изменяется. Хотя всегда скромный и малотребовательный во всех своих привычках, теперь он делается еще скромнее, кротче и терпеливее. И эта с молодости еще начавшаяся вечная борьба, имеющая целью нравственное усовершенствование, увенчивается полным успехом»[62].

Желая всесторонне изучить православие, отец ездил в Москву к епископу Макарию, побывал в Сергиевской лавре и ходил пешком в Оптину пустынь[63]. Он отправился в Киев; по его словам, его туда очень тянуло. Но по приезде в знаменитый монастырь он пишет жене: «Все утро до трех ходил по соборам, пещерам, монахам и очень недоволен поездкой. Не стóило того... В семь пошел от них опять в лавру, к схимнику Антонию, и нашел мало поучительного»[64].

Одновременно отец изучал Евангелие, и чем больше он углублялся в это изучение, тем больше начинал понимать всю лживость православия. Для него все явственнее становилось величие христианского учения в его чистом виде. «Я достиг солнца, следуя за его лучами»,— говорил он, желая выразить, что он пришел к христианству, пройдя через православие. И в сочинении «В чем моя вера» он пишет: «Это было мгновенное озарение светом истины»[65].

По его словам, он получил полные ответы на вопросы: каков смысл жизни? и смысл жизни других?

В этот период отец целиком отдался выполнению огромного труда: он сделал новый перевод четырех Евангелий, сравнил их и на основе этого сравнения установил единый текст[66].

С другой стороны, он продолжал работать над критическим разбором догматической теологии[67]. И для этого ему пришлось на склоне лет овладеть еврейским и греческим языками.

Мне следует разъяснить, как отразилось обращение отца на семье. Неравная ему ни по уму, ни по своим интеллектуальным и моральным качествам, не прошедшая вместе с ним путь внутреннего преображения, семья не могла последовать за ним. Это была семья, воспитанная в определенных традициях, в определенной атмосфере, и вот вдруг глава семьи отказывается от привычного для нее уклада жизни ради отвлеченных идей, не имеющих ничего общего с прежними его взглядами на жизнь.

Однако он не считает себя вправе сразу разрушить то, что сам же создал.

Он женился на восемнадцатилетней девочке. Он сформировал ее характер, и его влияние пустило в ней глубокие корни. Это он прежде не позволял ей ездить иначе, как в первом классе, это он заказывал ей и детям платья и обувь самого лучшего качества и в самых лучших магазинах. А теперь он же требует, чтобы они жили, как крестьяне. Зачем? Зачем теперь отказываться от праздного и радостного существования ради трудовой жизни, полной лишений? Вот вопросы, которые задавала себе моя мать.

Вначале она пробовала его понять. Вот что писала она ему однажды: «Я вчера ехала с тобой и все думала, что бы я дала, чтоб знать, что́ у тебя на душе, о чем ты думал; и мне очень жаль, что ты мне мало высказываешь свои мысли: это бы мне морально и нужно и хорошо было. Ты, верно, думаешь обо мне, что я упорна и упряма, а я чувствую, что многое твое хорошее потихоньку в меня переходит, и мне от этого всего легче жить на свете»[63].

Я хочу подчеркнуть одну черту отца: он не только никого не поучал, никому даже из членов своей семьи не читал наставлений, но он и вообще никогда никому не давал советов. Он очень редко говорил с нами о своих убеждениях. Он трудился один над преобразованием

своего внутреннего мира. Мы не видели, как проходил процесс этого развития, и в один прекрасный день оказались уже перед результатом, к которому не были подготовлены.

В те годы мы не понимали его. Его взгляды пугали нас, но не убеждали.

Возможно, что ему была присуща какая-то застенчивость, которая мешала ему говорить с нами о самых дорогих ему мыслях. Может быть, он боялся принуждать нас, насиловать нашу совесть. И мы, дети, научились лучше понимать нашего отца скорее с помощью его учеников.

Через шесть недель после свадьбы моя мать писала в своем дневнике: «Странно, я его ужасно люблю, а влияния еще чувствую мало»[69].

Разногласие между отцом и семьей проявилось особенно сильно после переезда нашего в Москву. Интересы родителей все более и более расходились. Устройство дома, подыскание учителей, помещение детей в школы, покупка экипажей и лошадей, наем прислуги — все лежало на матери. Надо было также подумать о нашей одежде. А мать опять в скором времени ожидала ребенка. Отец жалел мать, и хотя ее хлопоты по дому не представляли для него интереса, он старался ей помочь. Он писал ей в Москву: «Ты не поверишь, как меня мучает мысль о том, что ты через силу работаешь, и раскаяние в том, что я мало (вовсе) не помогал тебе... Оправдание мое в том, что для того, чтобы работать с таким напряжением, с каким я работал, и сделать что-нибудь, нужно забыть все. И я слишком забывал о тебе и каюсь. Ради бога и любви нашей, как можно, береги себя. Откладывай побольше до моего приезда; я все сделаю с радостью, и сделаю недурно, потому что буду стараться»[70].

И действительно, отец поторопился приехать в Москву, чтобы помочь матери. Он занялся определением мальчиков в гимназию, устроил меня в художественную мастерскую и занялся многими другими мелочами нашей жизни. Но он очень тяготился московской жизнью, и его угнетенное душевное состояние отражалось на нас. «Но все, несмотря на то, что похвалили дом, — писала моя мать своей сестре,— пришли сейчас же в уныние, и это уныние и тоска шли три дня, усиливаясь. Дом оказался весь, как карточный, так шумен, и потому ни Левочке в кабинете, ни нам в спальне нет никогда покоя. Это приводит меня часто в отчаяние, и я нахожусь весь день

в напряженном состоянии, чтоб не слишком шумели. Наконец, у нас было объяснение: Левочка говорил, что если б я его любила и думала бы о его душевном состоянии, я не избрала бы ему этой огромной комнаты, где ни минуты нет покоя, где всякое кресло составило бы счастье мужика, то есть эти двадцать два рубля дали бы лошадь или корову, где ему плакать хочется и т. п.... Можешь себе представить, как легко теперь жить, да еще две недели до родов осталось, а хлопот, работы и дела без конца» [71].

Во время этого пребывания в Москве все мы — семья были полностью поглощены светскими обязанностями, вечерами, материальными заботами и заботами о воспитании детей. Отец же завязывал связи совсем другого рода, связи с людьми, которых мы, в противоположность нашим светским знакомым, называли между собой «темными». Он ходил с пильщиками на окраины Москвы, на Воробьевы горы, откуда Наполеон смотрел когда-то на город. Чтобы видеться со своими новыми знакомыми, он каждый день переходил реку и работал вместе с ними. Мать пишет в дневнике: «Он посещал тогда тюрьмы и остроги, ездил на волостные и мировые суды, присутствовал на рекрутских наборах и точно умышленно искал везде страдания людей, насилие над ними и с горячностью отрицал весь существующий строй человеческой жизни, все осуждал, за все страдал сам и выражал симпатию только народу и соболезнование всем угнетенным»[72].

Так это действительно и было, да он и не мог поступать иначе. Он стал разделять христианское учение о любви к ближнему: он должен был искать тех, чьи страдания он мог облегчить. Кроме того, его все больше и больше мучило то обстоятельство, что он владел состоянием, и он начал лелеять мысль избавиться от него.

«Отдать то, что я имею,— пишет он,— не для того, чтоб сделать добро, но чтобы стать менее виноватым» [73].

И он начал широко направо и налево раздавать деньги. Это пугало мою мать.

«Новое настроение Льва Николаевича,— пишет она,— проявилось еще в том, что он вдруг начал раздавать много денег без разбора всем, кто просил. Пробовала я его убеждать, что нужно же как-нибудь регулировать эту раздачу, знать кому и зачем даешь, а он упорно отговаривался изречением Евангелия: просящему дай» [74].

Она не понимала, что для ее мужа отдать то, что он имел, означало снять с себя грех, грех собственности, которая стала для него невыносимой с тех пор, как напряженной, внутренней работой он дошел до принятия и исповедания определенных воззрений.

В течение нашей первой московской зимы произошло одно событие, сильно взволновавшее отца. Я хочу рассказать о городской переписи 1882 года. Отец записался добровольным счетчиком. Он попросил, чтобы ему дали участок, где жили низы московского населения — находились ночлежные дома и притоны самого страшного разврата.

Впервые в жизни увидел он настоящую нужду, узнал всю глубину нравственного падения людей, скатившихся на дно. Он был потрясен и, по своему обыкновению, подверг свои впечатления беспощадному анализу. Что является причиной этой страшной нужды? Откуда эти пороки? Ответ не заставил себя ждать. Если есть люди, которые терпят нужду, значит, у других есть излишек.

Если есть невежественные люди — это от того, что у других слишком много ненужных знаний.

Если одни изнемогают от тяжкого труда, значит, другие живут в праздности.

И когда он ставил себе вопрос: кто же эти другие? — ответ навязывался сам собой: это я, я и моя семья.

Он это давно предчувствовал. Но то, что он теперь увидел, заставляло его признать это всем своим существом.

Для таких людей, как мой отец, норма получаемых впечатлений намного превышала обычную. Он обладал способностью с исключительной силой переживать самому пережитое его ближними. И, обнаружив грех, в котором была и его доля вины, он считал себя обязанным пресечь его на будущее и тем искупить его.

Но он вскоре убедился, что это совсем не так просто. Мы жили тогда в доме, который он сам для нас купил. Мы не отдавали себе тогда отчета, какой это было для него жертвой, принесенной ради семьи. Моя мать с некоторой наивностью писала своей сестре: «...а Левочка на днях, заявив о том, что Москва есть большой нужник и зараженная клоака, вынудив меня согласиться с этим и даже решить не приезжать больше сюда жить, вдруг стремительно бросился искать по всем улицам и переулкам до́ма или квартиры для нас. Вот и пойми тут что-нибудь самый мудрый философ!»[75]

Мой брат Сергей учился в университете. Меня только что начали вывозить в свет. Отец сам повез меня на мой первый бал. Он представил меня людям своего круга, с которыми сохранил связи.

А вот как протекала наша жизнь. Мы с матерью вставали поздно, день уходил на поездки с визитами или на приемы визитеров. Вечером мы отправлялись в коляске или в санях на вечера и балы. Такой образ жизни временами доставлял матери удовольствие, а временами она чувствовала всю его пустоту. Она так пишет своей сестре: «Теперь мы совсем, кажется, в свет пустились... Веселого, по правде сказать, я еще немного вижу... Назначили мы на четверг прием. Вот садимся, как дуры, в гостиной, Лелька юлит у окна, кто приехал, смотрит. Потом чай, ром, сухарики, тартинки, все это едят и пьют с большим аппетитом. И мы едем тоже, и так же нас принимают по приемным дням»[76]. А в другом письме к ней же: «Левочка очень спокоен, работает, пишет какие-то статьи, иногда прорываются у него речи против городской и вообще *барской* жизни. Мне это больно бывает, но я знаю, что он иначе не может. Он человек передовой, идет впереди толпы и указывает путь, по которому должны идти люди. А я — толпа, живу с течением толпы, вместе с толпой вижу свет фонаря, который несет всякий передовой человек, и Левочка, конечно, тоже, и признаю, что это *свет*, но не могу идти скорее, меня давит толпа, и среда, и мои привычки»[77].

«Левочка очень спокоен. Он пишет какие-то статьи...» Вот что она находила возможным писать, вот что она думала, не догадываясь о тех душевных муках, которые он испытывал, размышляя над своим положением и ища из него выхода [78]. Его мучения легко понять. Возвращаясь из ночлежного дома к себе, он находит накрытым белоснежной скатертью стол с апельсинами, пирожными... Два лакея усердно обслуживают здоровых молодых бездельников. Он видит на стенах драпри и повсюду ковры. Десять человек можно было бы одеть этим. Его сердце сжимается от боли и негодования. Он не мог примириться с тем, что рядом с людьми, гибнущими от нужды, мы живем праздно и беззаботно.

Вспомним, что он пишет в «Так что же нам делать?»: «Каким образом может человек... не лишенный совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая

участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труд борющихся и число гибнущих в этой борьбе?» [79]

Он понимал, что вместо того, чтобы жить исключительно для личного блага, человек должен участвовать в добывании благ для других людей. Он видел в этом естественный закон, исполнение которого только и могло обеспечить человеку счастье. Но он видел, что этот закон нарушен: как пчелы-трутни, люди отказываются от работы и живут за счет чужого труда и так же, как эти пчелы, погибают от того, что посягнули на закон. Эти обреченные пчелы-трутни — это я, думал он, я и моя семья. Это не могло так продолжаться.

Он ясно сознавал, что жена была неспособна его понять. Страдания, мучавшие его, она рассматривала как проявления болезни, она боялась за его рассудок, она желала только одного, чтобы *это* прошло. Так называла она то, что, по ее мнению, было кризисом, который, она надеялась, будет преходящим. Она совершенно не чувствовала величия того, что совершалось в душе ее мужа. Вот что она пишет сестре: «В кабинете спит Левочка, и у него бессонницы, он иногда ходит по комнате до трех часов ночи»; «Духом он спокоен, и мы дружны и почти веселы»; «Мы очень дружны и во все время очень слегка один раз поспорили»[80].

Они жили бок о бок, как добрые друзья, но чужие друг другу, полные большой и искренней взаимной любви, но все более и более сознающие, как много их разделяет. И в его голове зарождается мысль, которая становится все навязчивее: порвать с этой жизнью и начать новую, более соответствующую его убеждениям.

В 1879 году моя мать пишет сестре: «Левочка все работает, как он выражается, но увы! он пишет какие-то религиозные рассуждения, читает и думает до головных болей, и все это, чтоб показать, как церковь не сообразна с учением Евангелия... я одного желаю, чтоб уж он поскорее это кончил и чтоб прошло это, как болезнь. Им владеть, или предписывать ему умственную работу, такую или другую, никто в мире не может, даже он сам в этом не властен»[81].

Пока труды моего отца имели литературный характер, его жена ими живо интересовалась. Но теперь, когда их содержанием становятся отвлеченные вопросы, они остав-

ляли ее не только равнодушной, но даже вызывали враждебность. Вот как объясняет она это сама в одной из своих записей: «Злобное отрицание православия и церкви, брань на нее и ее служителей, осуждение нашей жизни, порицание всего, что я и мои близкие делали, все это было невыносимо. Я тогда еще сама переписывала все, что писал и переправлял Лев Николаевич. Но раз, я помню, это было в этом 1880 году, я писала, писала, и кровь подступала мне в голову и в лицо все больше и больше, негодование поднялось в моей душе, я взяла все листы и снесла к Льву Николаевичу, объявив ему, что я ему больше переписывать не буду, не могу, я слишком сержусь и возмущаюсь» [82].

Чтобы избежать взаимного раздражения, отец часто прерывал свое пребывание в Москве. Чаще всего он уезжал в Ясную Поляну. Иногда ездил к Олсуфьевым, в деревню под Москвой, или к своему старому севастопольскому другу [83], а иногда и дальше, в Самарскую губернию, к башкирам. Но и там он не находил покоя. 22 (?) мая 1885 года он пишет своему другу Л. Д. Урусову: «В деревне мне что-то тяжело. Неправильность жизни нашей, это рабство бедных, которое мне так ясно и которым мы так наивно пользуемся, мне особенно тяжело. Не знаю почему, но часто вспоминаю: претерпевый до конца спасен будет. И хотя не следует, но все жду чего-нибудь, что спасет меня от режущего разлада моей жизни с сознанием» [84].

Но ничего подобного не произошло, и он продолжал жить в противоречии с самим собою, которое его терзало. В это время он чувствовал себя особенно одиноким. Он пишет М. А. Энгельгардту: «Вы, верно, не думаете этого, но вы не можете и представить себе, до какой степени я одинок, до какой степени то, что есть настоящий «я», презираемо всеми окружающими меня»[85].

И почти в это же время его жена пишет сестре: «Бывала я одинока, но никогда так одинока, как теперь. Так мне ясно, так ощутительно, что никто меня знать не хочет и никому я не интересна» [86].

Глубоко страдая от разногласий с женой, видя, как далека она от того, чтобы разделить его убеждения, отец все же никогда не терял надежды, что настанет день, когда она к нему вернется. Он пишет ей 23 октября 1885 года: «Пока живем, все изменяемся и можем изменяться, слава богу, и больше, и больше приближаться к

истине. Я только одного этого ищу и желаю и для себя и для близких мне, для тебя и детей, и не только не отчаиваюсь в этом, но верю, что мы сойдемся, если не при жизни моей, то после»[87].

И в других письмах: «...ты такая сильная, чудесная физическая натура (и морально прекрасная) загубляешь свои силы»[88]. «В тебе много силы, не только физической, но и нравственной, только недостает чего-то небольшого и самого важного, которое все-таки придет, я уверен. Мне только грустно будет на том свете, когда это придет после моей смерти. Многие огорчаются, что слава им приходит после смерти; мне этого нечего желать; я бы уступил не только много, но всю славу за то, чтобы ты при моей жизни совпала со мной душой так, как ты совпадешь после моей смерти»[89].

А в другом месте он выражает мысль, что, если его убеждения правильны, она к ним придет, как и другие люди.

Но в те дни она была далека от сближения. Образ жизни мужа пугал ее не менее, чем его новые идеи. «...Он переменил еще привычки,— пишет она сестре.— Все новенькое, что ни день. Встает в 7 часов — темно. Качает на весь дом воду, везет огромную кадку на салазках, пилит длинные дрова, и колет, и складывает в сажени. Белый хлеб не ест, никуда решительно не ходит» [90].

Так и жили они в тягостном напряжении, каждый сам по себе, не вмешиваясь в жизнь другого, чувствуя, однако, что связи, скрепленные двадцатилетней любовью, продолжают существовать. Бесконечные разговоры и длительные споры, возникавшие между ними, не приводили ни к каким результатам, кроме обоюдных ран. Летом 1884 года между родителями произошло несколько тяжелых сцен[91]. В ночь с 17 на 18 июня отец, взяв на плечи сумку, покинул дом [92].

До сих пор вижу, как он удаляется по березовой аллее. И вижу мать, сидящую под деревьями у дома. Ее лицо искажено страданием. Широко раскрытыми глазами, мрачным, безжизненным взглядом смотрит она перед собою. Она должна была родить и уже чувствовала первые схватки. Было за полночь. Мой брат Илья пришел и бережно отвел ее до постели в ее комнату. К утру родилась сестра Александра.

В ту ночь отец не ушел далеко. Он знал, что жена должна родить,— родить его ребенка. Охваченный жа-

лостью к ней, он вернулся[93]. Но положение оставалось настолько натянутым, что дольше так не могло продолжаться. Развязка наступила после решительного объяснения, в котором супруги высказали друг другу свои взаимные обиды, вскрыли, что́ составляло муку их повседневной жизни. Это произошло в декабре того же года [94]. Терпение отца, видимо, истощилось. Чаша переполнилась. Он не смог сдержаться, вся его терпимость и мягкость были смыты безудержной волной негодования [95].

С перекошенным от боли лицом он пришел к жене и без всяких предисловий объявил, что уходит из дому. Вот отрывок из письма моей матери к сестре, в котором описывается случившееся: «Левочка пришел в крайне нервное, мрачное настроение. Сижу я раз, пишу, входит, я смотрю — лицо страшное. До тех пор жили прекрасно, ни одного слова неприятного не было сказано, ровно, ровно ничего.

— Я пришел сказать тебе, что хочу с тобой разводиться, жить так не могу, уеду в Париж или Америку.

Понимаешь, Таня, если бы мне на голову весь дом обрушился, я бы так не удивилась. Я спрашиваю удивленно:

— Что случилось?

— Ничего, но если на воз накладывать все больше и больше, лошадь станет и больше не везет.

Что накладывалось — неизвестно. Но начался крик, упреки, грубые слова, все хуже, хуже, и, наконец, я терпела, терпела, не отвечала почти ничего, вижу — человек сумасшедший, и когда он сказал: «Где ты, там воздух заражен», — я велела принести сундук и стала укладываться. Хотела ехать к вам хоть на несколько дней. Прибежали дети, рев... Стал умолять «останься». Я осталась, но вдруг начались истерические рыдания, ужас просто.

Подумай только: Левочку — всего трясет и дергает от рыданий. Тут мне стало жаль его; дети четверо: Таня, Илья, Леля, Маша ревут на крик, нашел на меня столбняк; ни говорить ни плакать, все хотелось вздор говорить, и я боюсь этого и молчу, и молчу три часа, хоть убей — говорить не могу.

Так и кончилось. Но тоска, горе, разрыв, болезненное состояние отчужденности — все это во мне осталось. Понимаешь, я часто до безумия спрашиваю себя: ну теперь

за что же? Я из дома ни шагу не делаю, работаю с изданием до 3-х часов ночи, тиха, всех так любила и помнила все это время, как никогда, и за что»[96].

Я помню эту ужасную зимнюю ночь. Нас тогда было девять детей. Я, как сейчас, вижу всех нас: мы, старшие, сидим в ожидании на стульях в передней на первом этаже. Время от времени мы подходим к двери комнаты второго этажа, где разговаривали родители, и прислушиваемся к их голосам. Они, не смолкая, раздавались очень громко и выражали страшное волнение. Было очевидно, что между родителями происходил крайне важный и решительный спор. Ни тот, ни другая ни в чем не уступали. Оба защищали нечто более дорогое для каждого, нежели жизнь: *она* — благосостояние своих детей, их счастье, — как она его понимала; *он* — свою душу.

Она «до сумасшествия, до боли» любила своих детей, он же больше всего любил истину. Слова полностью не долетали до нас, но мы слышали достаточно, чтобы понять, что́ происходило между ними. «Я не могу, — заявлял он, — продолжать жить в роскоши и праздности. Я не могу принимать участие в воспитании детей в условиях, которые считаю губительными для них. Я не могу больше владеть домом и имениями. Каждый жизненный шаг, который я делаю, для меня невыносимая пытка». И он говорил в заключение: «Или я уйду, или нам надо изменить жизнь: раздать наше имущество и жить трудом наших рук, как живут крестьяне».

А она отвечала: «Если ты уйдешь, я убью себя, так как не могу жить без тебя. Что же касается перемены образа жизни, то я на это не способна и на это не соглашусь, и я не понимаю, зачем надо разрушать во имя каких-то химер жизнь, во всех отношениях счастливую?» И объяснение продолжалось в заколдованном кругу, все время возвращаясь к тому же неразрешимому и непреодолимому вопросу.

Понимали ли мы, что говорил отец? Что касается меня, то — нет. Я твердо верила, что он не может ошибаться. Но что касается той Правды, которую он нашел, я хорошенько не понимала, в чем она заключалась. Мне, в мои двадцать лет, она казалась такой недоступной, такой превышающей мои умственные способности, ограниченные моим девичьим кругозором, что у меня даже надежды не было когда-нибудь ее понять. Равным образом

не понимала я и позиции матери. Мне казалось, что она должна была подчиниться желаниям отца, каковы бы они ни были. Согласиться на требования мужа, который тебя любит и которого ты любишь, разве это не легче, нежели выносить те нравственные пытки, которые ее терзали? Я так думала и не понимала ее решения.

С нами, детьми, не советовались. Сидя в передней, внизу на лестнице, мы ожидали, пока родители не придут к соглашению. И вдруг проходит слуга с чемоданом и несет его в спальную матери — мы поняли. К счастью, с нами был наш большой друг — Михаил Александрович Стахович, он гостил тогда у нас. В этот день он должен был уехать в Петербург, но мы упросили его отложить отъезд, так страшно казалось нам остаться одним. Если мама́ решится уехать, он будет ее сопровождать. Он присоединился к нам в передней. И сейчас вижу, как он сидит на своем чемодане, помогая нам скоротать эту длинную зимнюю ночь.

Но вот она и миновала, эта ночь тревоги. Она закончилась без определенного решения, без развязки. С тех пор тяжелых вопросов больше не касались. Мать ограничивалась заботами об удобствах жизни отца.

А он оставался грустным, молчаливым, сосредоточенным на своих мыслях и нежным к жене и детям. Он нанес удары, причинившие боль. И он страдал, хотя не мог поступить иначе [97]. Ему надо было успокоиться и подумать, и он решил поехать в деревню к своим друзьям Олсуфьевым, за пятнадцать верст от Москвы.

Вот перед крыльцом двухместные санки. Султан, наш добрый конь, смотрит на меня умными глазами. Мать наготовила нам провизии на дорогу, снабдила шубами и одеялами. Она напутствует нас всевозможными наставлениями, предупреждает, как нужно вести себя, если подымется вьюга, чтобы не заблудиться и не замерзнуть. Она нервничает, волнуется. Ее лицо покраснело от мороза, а большие черные глаза блестят от сдерживаемого волнения.

Я беру вожжи, ворота открываются. И вот я одна с отцом на дороге в прекрасное зимнее утро. До сих пор я помню это путешествие во всех его подробностях. Мы с отцом правили по очереди. Мы несколько раз опрокидывались. Ночь уже наступила, когда в сильную метель мы добрались до дома наших друзей. Наш умный Султан, проделавший ту же дорогу год тому назад, помнил все ее

повороты и привез нас прямо к цели. Впрочем, не совсем к цели — он направился прямо к конюшне, где однажды стоял!

В дороге отец говорил со мной откровенно, и тогда впервые мне стали несколько понятнее его воззрения.

Но надо было возвращаться в Москву. Ничто не изменилось в нашей жизни. Она шла по прежнему распорядку. Я беру на себя смелость утверждать, что взаимная любовь родителей не только не уменьшилась, но перенесенные страдания еще усилили ее. Словно Дездемона и Отелло. Она любила его за его страдания, а он за сочувствие, которое она к нему проявила. И я думаю, что не ошибусь, добавив, что из жалости к нему она сделала все для нее возможное, чтобы приблизиться к нему сердцем и умом, чтобы заинтересоваться его работами и постараться понять их.

В то время отец писал «О жизни». Это произведение, величественное по своей простоте, нашло какой-то отклик в сердце матери. Переписка ее с сестрой этому свидетель: «...Сижу совсем, совсем одна... весь день писала, переписывала Левочкину статью «О жизни и смерти»* (философия), которую он в настоящую минуту читает в университете в Психологическом обществе[98]. Статья хорошая и без задора и без тенденции, а чисто философская»[99]. И в следующем письме: «По-моему, очень хорошо и глубоко обдумано, и мне по душе, потому что идеалистично»[100].

Статья так хорошо отвечала ее чувствам, что она не только списала, но и перевела ее на французский язык.

С какой радостью отец, со своей стороны, ответил на это сближение их душ! И хотя сближение это было временным, неполным и не означало перемены образа мыслей и поведения, зато оно устраняло отрицание его убеждений, осуждение его идей, презрение к нему как к человеку. Он так страстно желал полного согласия с ней. Ему так хотелось протянуть ей руку помощи для духовного подъема, который позволил бы ей лучше понять его. Он был готов отдать ей за это всю любовь, наполнявшую его сердце. Он пишет ей из Ясной 23 октября 1891 года: «У меня осталось такое хорошее, радостное впечатление от последнего нашего разговора, что, как вспомню, так весело станет» [101].

---

* Это первоначальное заглавие. Развивая свою мысль, отец увидел, что смерти нет. И заглавие стало: «О жизни».

И в другом письме: «Насколько тебе нужно для мужества сознание моей любви, то ее, любви, столько, сколько только может быть. Беспрестанно думаю о тебе и всегда с умилением»[102].

А вот отрывок из письма 1895 года: «Чувство, которое я испытал, было странное умиление, жалость и совершенно новая любовь к тебе, — любовь такая, при которой я совершенно перенесся в тебя и испытывал то самое, что ты испытывала. Это такое святое, хорошее чувство, что не надо бы говорить про него, да знаю, что ты будешь рада слышать это, и знаю, что оттого, что я выскажу его, оно не изменится. Напротив, сейчас начавши писать тебе, испытываю то же. Странно это чувство наше, как вечерняя заря. Только изредка тучки твоего несогласия со мной и моего с тобой уменьшают этот свет. Я все надеюсь, что они разойдутся перед ночью и что закат будет совсем светлый и ясный»[103].

И в 1896 году: «Ты была такая кроткая, любящая, милая последние дни, и я тебя все такой вспоминаю». И еще: «Тебе, ты говорила, и приятны и полезны мои письма. А уж я как желаю, не переставая желаю, сделать тебе хорошо, лучше, облегчить то, что тебе трудно, сделать, чтоб тебе было спокойно, твердо, хорошо. Не переставая думаю о тебе. Как-то жутко за тебя: ты кажешься так нетверда и вместе с тем так дорога мне»[104].

В 1897 году, в начале лета, матери удалось уехать на несколько дней из Москвы, где она задерживалась из-за занятий младших сыновей. Она неожиданно приехала в Ясную.

После краткого ее пребывания там муж пишет ей: «Оставила ты своим приездом такое сильное, бодрое, хорошее впечатление, слишком даже хорошее для меня, потому что тебя сильнее недостает мне.

Пробуждение мое и твое появление — одно из самых сильных испытанных мною радостных впечатлений»[105].

И в другом письме: «Не могу отделаться от умиленного и грустного чувства, милая, дорогая Соня, когда вспоминаю твои утренние слезы в день отъезда.

Я совершенно уверен, что то хорошее, божеское, которого так много в тебе, победит все то, что тебя угнетает и томит, всю ту апатию и бессодержательность жизни, на которую ты жалуешься, и что еще будешь жить радостной, твердой и спокойной жизнью.

Я только боюсь, как бы не помешать тебе, а помогать я не могу ничем иным, кроме увеличением любви к тебе, которое я последнее время постоянно чувствую»[106].

Моя мать вновь взялась за переписку трудов отца, заброшенную ею в последнее время. «Таня,— пишет ей отец,— начала переписывать[107], но главное не минует твоих «прекрасных» рук»[108].

В этот период отец нашел в своих детях проблески симпатии и понимания. Он был этим очень счастлив. Я ему писала. Он ответил мне длинным письмом, полным нежности и желания мне помочь[109].

Моя сестра Маша являлась всецело последовательницей отца: ей было тогда четырнадцать лет. Из всех детей она и младший брат Ванечка больше всех походили на него. Она унаследовала его глаза, голубые, глубокие, пытливые и лучистые. Всегда погруженная в заботы о ком-нибудь или о чем-нибудь, — иной я ее не помню.

В Ясной она ухаживала за больными, учила ребят и кормила бедняков. В Москве ходила по больницам, где училась на сестру милосердия. Мать беспокоилась за ее здоровье и боялась реакции на все то горе, которое ей приходилось видеть. Отец же был очень счастлив, чувствуя, что она примкнула к нему, видя ее симпатию к его мыслям и трудам.

Братья также, хотя и с меньшим постоянством и не все в равной степени, разделяли идеи отца и принимали участие в его жизни. Наиболее близким к отцу, но затем и наиболее разошедшимся с ним, был одно время мой брат Лев. Был период, когда он выше всего ставил воззрения своего отца.

Лева «имеет и умеет, что́ сказать мне, — пишет отец в одном письме,— и сказать так, что я чувствую, что он мне близок, что он знает, что все его интересы близки мне, и что он знает или хочет знать мои интересы»[110].

В эти годы, к большой радости отца, ему удалось осуществить два своих желания: он отказался от всякой собственности и добился от жены согласия на передачу его литературных произведений в общее пользование[111]. Правда, с некоторым ограничением, так как он не хотел отнять все сразу у жены и детей. Таким образом, он оставил жене авторские права на все свои сочинения до 1880 года, иначе говоря, на произведения, написанные им до своего «второго духовного рождения», после чего он не

мог уже продавать то, что писал, считая, что подобная торговля своими мыслями и чувствами столь же позорна, как продажа своего тела. Победа, одержанная над женой, досталась не легко. Мать упорно сопротивлялась, прежде чем дала согласие. Он просил ее хорошенько подумать над его просьбой, как думает человек перед богом, перед смертью. Вот что он пишет ей из Ясной: «...сделай это с добрым чувством, с сознанием того, что тебе самой это радостно, потому что ты этим избавляешь человека, которого ты любишь, от тяжелого состояния... Но только не делай ничего с дурным чувством» [112].

Она согласилась. Согласилась, но не поняла. Впрочем, она сознавала, что в душе ее мужа есть область, где он не может уступить даже из любви к ней, потому что требования совести были ему дороже жизни.

В том же году он освободился и от собственности. Мечтою моего отца было раздать все, что он имел, и начать жить всей семьей, как живут крестьяне. На это жена не соглашалась. Надо было найти какой-то другой выход. Он предложил передать ей все свое состояние. Она отказалась, и не без основания.

«Ты считаешь, что собственность — зло, и хочешь это зло переложить на меня?!»

Что же делать? Надо было на чем-то остановиться. В конце концов решили поступить так, как если бы отец умер,— а именно, чтобы его наследники вошли во владение его имуществом и разделили его между собой. Произвели оценку всего недвижимого имущества. Затем все разделили на десять частей, по одной на каждого ребенка и выделили одну матери. Мы тянули жребий. Ясная досталась матери и Ванечке, младшему из братьев. Дележ этот был для нас очень тягостен. Мать это чувствовала. Она пишет сестре: «Есть в этом разделе что-то грустное и неделикатное по отношению к отцу» [113].

Тогда же мы, дети, с согласия отца, в свою очередь, добились маленькой победы над матерью. Она разрешила нам работать летом в поле вместе с крестьянами.

Чудесное время нашей жизни! Каждое утро, по росе, мы с сестрой, с граблями на плечах, уходили вместе с крестьянками на сенокос. Мужчины с отцом и братьями, Ильей и Левой, косили уже с четырех часов утра. Мы, женщины, становились рядами, переворачивали на солнце скошенную траву и переносили сено на «барский двор». Но мы работали не на барина, а в пользу крестьян,

которые за косьбу «барского» луга получали половину сена.

В полдень работа прерывалась. Обедали тут же, под тенью деревьев. Дети приносили родителям готовый обед из деревни. Моя младшая сестра Александра приносила и нам еду из дома. Еда эта ничем не отличалась от скромной крестьянской пищи. Мужчины торопились возобновить работу. Они не давали нам отдохнуть. Мы едва успевали проглотить последний кусок, как они уже кричали: «Ну, скорее, бабы»,— а если надвигались тучи и грозил дождь, то они и вовсе не щадили нас. По их призыву надо было бросаться к граблям, становиться в ряд и работать под палящим солнцем, пока жара не спадет вместе с заревом заката. Какая живописная картина — русская деревня во время сенокоса! Сколько обаяния сохранила она для меня, стоит лишь вспомнить жирные луга вдоль нашей маленькой речки Воронки, усеянные пестрой толпой крестьян и крестьянок. В то время крестьяне носили еще традиционную национальную одежду: девушки — рубашки и сарафаны, женщины — паневы, завешанные фартуками, и мы с сестрой, чтоб от них не отличаться, одевались так же.

Домой возвращались в сумерках, веселой гурьбой, со смехом, песнями и плясками. Сестра Маша, шедшая во главе женщин, часто бросала грабли и, подозвав кого-нибудь из девушек, лихо пускалась с ней в пляс. Даже моя мать принимала иногда участие в сельских работах. Она надевала деревенское платье, брала грабли и присоединялась к нам. Но, не привыкши работать спокойно и равномерно, что необходимо при полевых работах, она сразу принималась слишком рьяно за дело, казавшееся ей вначале не трудным, и не рассчитывала своих сил. Однажды они ей изменили, она заболела и больше никогда уже не бралась за физический труд.

Отец целые дни проводил среди простого народа, который он любил, и работал наравне с крестьянами. Он считал, что труд есть обязанность человека. К тому же он чувствовал в детях некоторую симпатию к своему образу жизни и к тем идеям, согласно которым он жил... В то время отец был счастлив.

Зимой он снова садился за письменный стол. В те годы у него было уже немало учеников. Некоторые из них стали друзьями своего учителя и всех нас. Среди тех, которые наиболее тесно вошли в нашу жизнь, назову

Бирюкова, Горбунова и Черткова. Позднее к ним присоединилась святая женщина — Мария Александровна Шмидт.

Чертков... Вначале мы с Машей думали, что приобрели в нем ценного помощника для нашей главной обязанности, а именно для переписки рукописей отца. Чертков достал нам копировальный пресс: таким образом сохранялись копии всех писем. До тех пор мы довольствовались тем, что копировали лишь наиболее важные. Каждая запись в дневнике, который вел отец, едва сделанная, тут же копировалась, и копия передавалась Черткову. Одним словом, Чертков стал главной двигательной пружиной в работе отца.

В тот период деятельность отца и помогавших ему друзей сосредоточилась главным образом на печатании и распространении маленьких дешевых брошюр, предназначенных для замены очень бедной, как правило, духовной пищи, которая предлагалась тогда народу. Такова была задача «Посредника», издания которого распространялись по всей России в миллионах экземпляров. В виде таких брошюр появились в печати и наиболее известные рассказы Толстого. Там же впервые была напечатана «Власть тьмы». В «Посреднике» сотрудничали и другие крупные писатели [114], и сам народ внес туда свою долю безымянного сотрудничества. Мать любезно принимала учеников мужа: Бирюкова, Горбунова и даже самого Черткова. Их деятельность в «Посреднике» ее не беспокоила. И Толстой радовался гостеприимному приему, который его друзья у нее встречали.

«В тебе очень много хорошего,— пишет он ей,— твое отношение к Черткову и Бирюкову — радует меня» [115].

Но в 1895 году произошло событие, имевшее огромное и роковое влияние на характер моей матери.

Несчастьем, перевернувшим всю ее жизнь, была смерть маленького семилетнего Ванечки, ее последнего ребенка. Мать никогда не оправилась от этого удара.

Мои родители, в особенности мать, на закате лет сосредоточили на этом ребенке всю силу любви, на которую были еще способны. Исключительно одаренный, необыкновенно любящий, Ванечка был достоин этой любви и обнаруживал очень раннее, умственное развитие [116]. Когда отец бывал с ним в разлуке, он всегда упоминал его в письмах с большой нежностью: «Очень Ванечку люблю»; «Очень мил, больше, чем мил — хорош» [117]. А ему он

пишет: «Ванечка! Напиши мне письмо! Я тебя люблю! Папа́» [118].

И вдруг этот ребенок в три дня умирает от скарлатины [119]. Вскоре после этого горестного события, в марте 1895 года, моя мать пишет сестре: «Вот, Таня, пережила же я Ванечку... Утром, первое пробуждение после короткого мучительного сна — ужасно! Я вскрикиваю от ужаса, начинаю звать Ванечку, хочу его схватить, слышать, целовать,— и это бессилие перед пустотой, это ад! Не слышно никого и ничего в доме теперь. Это могильная тишина. Саша замерла в своем уголке и большими тоскливыми глазами смотрит на меня и плачет.

Девочки свою потребность материнской любви всю перенесли на Ванечку, который бесконечно любил и ласкал всякого, и на всех у него хватало нежности, а теперь и для них исчез.

Левочка совсем согнулся, постарел, ходит грустный, с светлыми глазами, и видно, что и для него потух последний луч светлый его старости. На третий день смерти Ванечки он сидел, рыдал и говорил: «В первый раз в жизни я чувствую *безвыходность*». Как больно было смотреть на него, просто ужас! Сломило и его это горе.

Съехались и сыновья. Илья прилетел в тот же день и очень согрел своим сочувствием, слезами и добротой. Сережа приехал в день похорон и теперь с нами. Бедный Лева только, к счастью, не был тут все время. Он живет в санаторной колонии доктора Ограновича, в трех часах езды от Москвы. Это бог его отвел вовремя от этого горя...

Левочка говорил, что он часто, глядя на то, как поправляется Ванечка, захлебывался от счастья...

Во вторник... вечером, 21 февраля, Маша им читала вслух переделанный Верой Толстой рассказ Диккенса «Большие ожидания», но под заглавием «Дочь каторжника». Когда Ванечка пришел со мной прощаться, я спросила о чтении. Он ужасно грустно глядел и говорит:

— Не говори, мама, так все грустно, ужас! Эстелла вышла замуж не за Пипа!

Я его хотела развеселить, но вижу, лицо у него ужасное. Я повела его вниз, он зевает и говорит со слезами:

— Ах, мама, опять *она, она!* (он говорил про лихорадку).

Я положила градусник — 38 и 5... Ночью он очень горел, но спал, утром послали за доктором, он сейчас же

сказал, что это скарлатина. Уже жар был больше 40°. С этим вместе начались боли... Ночью, в три часа, он опомнился, посмотрел на меня и говорит:

— Извини, милая мама, что тебя разбудили.

Я говорю:

— Я выспалась, милый, мы по очереди спим.

— А теперь чей будет черед, Тани?

— Нет, Маши,— я говорю.

— Позови Машу, иди спать.

И начал меня целовать так крепко, крепко, нежно! вытягивал свои сухие губки и прижимался ко мне. Я спросила:

— Что болит?

Он говорит:

— Ничего не болит.

— Что же, тоска?

— Да, тоска.

После этого он уже почти не приходил в сознание. Весь день среду он горел, изредка стонал... Сыпь с утра скрылась. Его обертывали в простыню, намоченную в горчичную холодную воду, потом сажали в теплую ванну — ничего не помогало. Он все тише и тише дышал, стали холодеть ножки и ручки, потом он открыл глазки и затих... При нем были: Маша, Машенька (сестра Левочки), она все молилась и крестила его, няня и больше никого. Таня все убегала. Я сидела в другой комнате с Левочкой, и мы замерли в диком отчаянии.

...Прислали столько венков, цветов, букетов, что вся комната была, как сад. О заразе никто не думал. Все мы страстно примкнули и к друг другу, и к любви нашей к покойному Ванечке, все не расставались. Машенька жила у нас и разделяла с нами наше горе так хорошо и душевно.

На третий день, 25-го, его отпели, заколотили и поставили на наши большие четырехместные сани. Гробик и сани были завалены венками и цветами. Сели мы с Левочкой друг против друга и тихо двинулись...

На кладбище поехало очень много народу. Было тихо и тепло. Левочка дорогой вспоминал, как он, любя меня, ходил по этой дороге в Покровское, умилялся, плакал и очень ласкал меня словами и воспоминаниями... С саней опять нес гробик Левочка с сыновьями. Все плакали, глядя на старого, убитого горем отца. Да, подумай, Таня,

естественно ли нам, седым, хоронить всю самую светлую нашу будущность в этом ребенке?

Как его опускали в яму, как засыпали землей — ничего не помню. Я вдруг куда-то пропала, смутно видела грудь Левочки, к которой он меня прижал, кто-то мне загораживал яму, кто-то держал меня. Потом я узнала, что это был Илюша. Он рыдал ужасно... Я же не пролила ни одной слезинки, не издала ни одного звука.

Опомнилась я, уже когда мы отъехали от могилки, при виде няни, которая из других саней раздавала большой толпе детей... калачики и большое количество мятных пряников...

Левочка, плача, мне говорил: «А я-то мечтал, что Ванечка будет продолжать после меня дело божье!» ...Смотреть на скорбь его еще ужаснее, чем самой скорбеть... Мы до того сжились с ним, что вечером он меня отпустить не мог сразу. Помолюсь с ним богу, я его, а он меня перекрестит, потом скажет: «Поцелуй меня покрепче, положи головку свою около моей, подыши мне на грудку, чтоб я заснул с твоим дыханием». Когда он заболевал, он говорил: «Вот это воля божья, мама, что я опять заболел!»

С Ванечкой сразу кончился детский милый, хотя часто безумный, но сложный и веселый мирок. Ни смеху, ни детских шагов, ни игр, ни елок, ни крашенья и катанья яиц, ни горячее первое говенье (он все просил позволить ему говеть), ни все то, что наполняло всю мою жизнь, могу сказать, с детства»[120].

Отчаяние матери было так глубоко, что она едва не лишилась рассудка. Вначале она пережила период религиозной экзальтации и много времени проводила в молитве дома и в церкви. Отец был с ней исключительно нежен, и так как она совершенно не переносила одиночества, он и мы с сестрой Машей ни днем, ни ночью не отходили от нее. Отец ходил за ней в церковь, ожидал ее у входа и приводил домой. Ему, давно уже отошедшему от церкви, такое душевное состояние жены было чуждо. Чтобы отвлечь ее от личного горя, он пытался пробудить в ней мысль о горестях других людей. Он водил ее в тюрьмы, заставлял покупать книги для арестантов. Но ничто ее не интересовало. Даже собственные дети, даже Ясная Поляна.

Она пишет сестре: «Неужели возможно долго жить с такими страданиями? Все, все от меня отпало, и что

ужаснее всего, что у меня осталось 8 человек детей, а я чувствую себя одинокой со своим горем и не могу прицепиться к их существованию, хотя они добры и ласковы со мной очень». «Нет для меня ничего: ни природы, ни солнца, ни цветов, ни купанья, ни хозяйства, ни даже детей. Все мертво, на всем могильная тоска»[121].

Отчаянье сломило ее. Она всегда отличалась импульсивностью, очень неровным, беспокойным характером, легкой возбуждаемостью. Отец сразу же понял ее состояние. Он страдал и боялся за нее. «...ты так часто меняешься,— писал он ей,— что, может быть, завтра письмо будет уж другое»[122].

А когда она ему созналась, что боится сойти с ума, он пишет: «То, что ты пишешь о психическом расстройстве, ужасный вздор»[123]. В действительности же он боялся. «Сижу и мучаюсь о твоем физическом и, главное, духовном состоянии и упрекаю себя». «Жаль, что ты не написала, как доехала. Ты очень была нервна, уезжая»[124].

После пережитого ею страшного несчастья моя мать неожиданно нашла в музыке занятие и развлечение, которое ее облегчало. Пребывание в Ясной Поляне одного из наших друзей — пианиста Танеева послужило толчком для происшедшей в ней перемены. Вот что пишет она через полтора года после смерти ребенка постоянной своей поверенной — своей сестре: «Моя жизнь вся сосредоточилась на музыке, только ею я живу, учусь, езжу в концерты, разбираю, покупаю ноты, но вижу, что во всем опоздала и успехов почти не делаю. Это своего рода помешательство, но чего же и ждать от моей разбитой души? Я так и не пришла в нормальное состояние после смерти Ванечки...

Левочка стал со мной необыкновенно ласков и терпелив. Я последнее время как-то особенно чувствую его над собой влияние в смысле духовной охраны. Он понял потерю моего душевного равновесия и постоянно мне помогает добро и ласково»[125].

Вот во что превратилась ее жизнь, потрясенная горем.

А он? Даст ли он поколебать себя семейным радостям и несчастьям? Его сильная личность, миссия, к которой он чувствовал себя призванным, не допускали этого. Внутренняя работа, происходившая в нем, борьба с самим собой продолжались по-прежнему; никакие жизненные осложнения не могли прервать ее.

Уйти, уехать — оставалось, как и раньше, его мечтой. Но эта мечта становилась все менее и менее исполнимой по мере того, как жена становилась все более слабой, все более несчастной. Он был, как она выражалась, «защитником ее души». А она, что могла она дать ему взамен? Ничего. Замкнувшись в своем горе, она не занимала больше места во внутреннем мире того, кто, живя рядом с ней, страдал собственными своими страданиями. Она даже не замечала, что происходило в глубине его души, и не проявляла никакого интереса к фактам, свидетельствовавшим о напряженной внутренней работе, поглощавшей его.

Правда, она гостеприимно принимала тех, кого мы называли «темными». Но она не делала никаких усилий, чтобы понять, что же сближало их с ее мужем. В тот период его жизнь была постоянным и героическим усилием над самим собой. Ему было трудно примениться к условиям жизни в Ясной Поляне, но он думал, что его долг — мириться с ней, насколько хватит сил.

А вот как он сам жил в то время. Проснувшись, он уходил в лес или в поле. По его словам, он ходил «на молитву», то есть один на лоне природы он призывал лучшие силы своего «я» для исполнения дневного долга. Ему редко удавалось провести одному эти утренние часы. Люди, нуждавшиеся в его материальной или духовной помощи, подкарауливали его у дома или на дороге, ожидая его прихода: бедняки и странники, нищие, собирающие милостыню, крестьяне, приходившие с просьбой или с каким-либо вопросом; люди стекались со всех концов света, чтобы поделиться с ним своими тревогами и попросить совета, не считая тех, которые сами являлись с советами. Три почтовых отделения выдавали ежедневно книги, письма, журналы и газеты: они поступали из всех углов мира.

Он старался по мере сил удовлетворить своих посетителей и корреспондентов. Затем он принимался за свой писательский труд. Нужно ли говорить это? Он писал теперь не для славы и еще менее для денег. Он писал, потому что считал своим долгом помочь людям понять Истину, которая ему была открыта и которая должна была принести людям счастье. И работа эта служила для него источником радости. В письме, адресованном одному молодому человеку в 1899 году, мы читаем: «Вы угадали,

что мне радостно узнать о том, что у меня есть друзья на Дальнем Востоке.

Главное же то, что писания мои, доставившие мне так много счастья, доставляют такое же и другим, хотя и редким людям»[126].

Вечера он проводил с семьей и посетителями. Перед сном он заканчивал свою корреспонденцию и дневник.

Но мысль о перемене образа жизни не покидала его. Его друзья, да и не только друзья, полагали, что ему следует порвать с семьей, чтобы начать жить согласно своим убеждениям. Среди его посетителей были люди, которые составили себе на основании прочитанного представление о том, как живет Толстой. И когда они видели в доме слуг в белых перчатках, раскладывавших серебро и подававших кушанья, видели, как играют в теннис,— они не скрывали своего разочарования и огорчения. Не зная всего того, с чем Толстой сообразовал свое поведение, они теряли веру в своего учителя.

Многие письменно выражали ему свое разочарование и упрекали его за непоследовательность, как они это называли. Это причиняло ему страдания. Но он считал истинными друзьями тех, кто писал ему в таком духе, и в своих ответах осуждал себя еще строже, чем это делали его корреспонденты. Он всем говорил, что, если бы увидел человека, живущего, как он, и проповедующего то, что он проповедует,— он назвал бы его фарисеем. Подобные суждения о нем заставляли его глубже всматриваться в свою жизнь. Он не переставал спрашивать себя: «...хорошо ли я делаю, что молчу? ...не лучше ли было мне уйти, скрыться?»

И ответ был таков: «Не делаю этого преимущественно потому, что это для себя, для того, чтобы избавиться от отравленной со всех сторон жизни. А я верю, что это-то перенесение этой жизни и нужно мне»[127].

Другу, настаивавшему на этом, он отвечает: «Одно могу сказать, что причины, удерживающие меня от той перемены жизни, которую Вы мне советуете и отсутствие которой составляет для меня мучение, что причины, препятствующие этой перемене, вытекают из тех самых основ любви, во имя которых эта перемена желательна и Вам и мне. Весьма вероятно, что я не знаю, не умею или просто во мне есть те дурные свойства, которые мешают мне исполнить то, что Вы советуете мне. Но что же делать? Со всем усилием моего ума и сердца я не могу

найти этого способа и буду только благодарен тому, кто мне укажет его. И это я говорю совсем не с иронией, а совершенно искренне» [128].

И вот другой ответ на тот же вопрос:

«Ясная Поляна, 17 февраля 1910 г.

Ваше письмо глубоко тронуло меня. То, что Вы мне советуете сделать [129], составляет заветную мечту мою, но до сих пор сделать этого не мог. Много для этого причин (но никак не та, чтобы я жалел себя); главная же та, что сделать это надо никак не для того, чтобы подействовать на других. Это не в нашей власти, и не это должно руководить нашей деятельностью. Сделать это можно и должно только тогда, когда это будет необходимо не для предполагаемых внешних целей, а для удовлетворения внутреннего требования духа, когда оставаться в прежнем положении станет так же нравственно невозможно, как физически невозможно не кашлять, когда нет дыханья. И к такому положению я близок и с каждым днем становлюсь ближе и ближе.

То, что Вы мне советуете сделать: отказ от своего общественного положения, от имущества и раздача его тем, кто считал себя вправе на него рассчитывать после моей смерти, сделано уже более 25 лет тому назад. Но одно, что я живу в семье с женою и дочерью в ужасных, постыдных условиях роскоши среди окружающей нищеты, не переставая и все больше и больше мучает меня, и нет дня, чтобы я не думал об исполнении Вашего совета.

Очень, очень благодарю Вас за Ваше письмо...

Любящий вас *Л. Толстой»* [130]

Однажды он высказывает такую мысль: «Если я покину свою семью, что случится? Другой, третий, сделает то же. И в результате, я пойду помогать другой семье, глава которой придет помогать моей семье и т. д.»

Я помню, мы возвращались как-то из Тулы вдвоем ночью в экипаже. Он начал думать вслух, как часто делал это в моем присутствии. Он говорил о людях, которых у нас в России называют юродивыми. Он объяснял мне, что эти люди часто умышленно делают вид, что отдаются тому или другому греху, чтобы вызвать за это осуждение ближних. Их цель развить в себе одну из главных христи-

анских добродетелей: смирение. И он сказал, что то же самое происходит и с ним и что он дал людям предлог судить его за то, в чем в действительности он не был виновен.

После смерти отца было найдено следующее письмо, написанное им 8 июля 1897 года, о котором знали только моя сестра Маша и ее муж Николай Оболенский:

«Дорогая Соня, уж давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Заставить вас изменить вашу жизнь, ваши привычки, к которым я же приучил вас, я не мог, уйти от вас до сих пор я тоже не мог, думая, что я лишу детей, пока они были малы, хоть того малого влияния, которое я мог иметь на них, и огорчу вас, продолжать жить так, как я жил эти 16 лет, то борясь и раздражая вас, то сам подпадая под те соблазны, к которым я привык и которыми я окружен, я тоже не могу больше, и я решил теперь сделать то, что я давно хотел сделать,— уйти, во-первых, потому что мне, с моими увеличивающимися годами, все тяжелее и тяжелее становится эта жизнь, и все больше и больше хочется уединения, и, во-вторых, потому что дети выросли, влияние мое уж в доме не нужно, и у всех вас есть более живые для вас интересы, которые сделают вам мало заметным мое отсутствие.

Главное же то, что как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому старому, религиозному человеку хочется последние годы своей жизни посвятить богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения, и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни с своими верованиями, с своей совестью.

Если бы открыто сделал это, были бы просьбы, осуждения, споры, жалобы, и я бы ослабел, может быть, и не исполнил бы своего решения, а оно должно быть исполнено. И потому, пожалуйста, простите меня, если мой поступок сделает вам больно, и в душе своей, главное ты, Соня, отпусти меня добровольно и не ищи меня, и не сетуй на меня, не осуждай меня.

То, что я ушел от тебя, не доказывает того, чтобы я был недоволен тобой. Я знаю, что ты *не могла*, буквально не могла и не можешь видеть и чувствовать, как я, и потому не могла и не можешь изменять свою жизнь и

приносить жертвы ради того, чего не сознаешь. И потому я не осуждаю тебя, а напротив, с любовью и благодарностью вспоминаю длинные 35 лет нашей жизни, в особенности первую половину этого времени, когда ты, с свойственным твоей натуре материнским самоотвержением, так энергически и твердо несла то, к чему считала себя призванной. Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это. Но в последнем периоде нашей жизни, последние 15 лет мы разошлись. Я не могу думать, что я виноват, потому что знаю, что изменился я не для себя, не для людей, а потому, что не могу иначе. Не могу и тебя обвинять, что ты не пошла за мной, а благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне. Прощай, дорогая Соня.

Любящий тебя *Лев Толстой*.

8 июля 1897 г.» [131]

Отъезд не состоялся. Он ждал еще тринадцать лет. Дневник, записки и письма, относящиеся к этому периоду жизни отца, обнаруживают странное состояние его духа: он переходит от страдания и отчаяния к радости и счастью. Вот несколько выдержек из его писем. Он мне пишет в 1902 году: «Мне на душе хорошо и приятно». И в другом письме тоже после 1900 года: «Я могу только благодарить бога и радоваться за всё». «Странно, чем дольше двигаюсь я в жизни, все улучшается для меня». И в 1907 году: «Я телом очень ослаб после болезни, но на душе все лучше и лучше»[132].

Но вернемся к его дневнику. В записях 1908 года мы читаем:

«Тяжело, больно. Последние дни непереставающий жар, и плохо, с трудом переношу. Должно быть, умираю. Да, тяжело жить в тех нелепых, роскошных условиях, в которых мне привелось прожить жизнь, и еще тяжелее умирать в этих условиях»[133].

«Все так же мучительно... Жизнь здесь, в Ясной Поляне, вполне отравлена. Куда ни выйду — стыд и страдание...» [134]

«Одно всё мучительнее и мучительнее: неправда безумной роскоши среди недолжной нищеты, нужды, среди которых я живу. Все делается хуже и хуже, тяжелее и тяжелее. Не могу забыть, не видеть»[135].

Как объяснить эти страстные и противоречивые душевные порывы, терзавшие его? Я думаю, что чувства радости и удовлетворения были результатом совершавшейся в нем внутренней работы: он чувствовал ее успешность, которая выражалась новыми просветлениями. Но, с другой стороны, внешние условия его жизни становились все нестерпимее: Ясная Поляна во время аграрных беспорядков (1905 — 1906 гг.) охранялась полицией. И непрерывно толпы праздных посетителей, с их сплетнями и разговорами, они угнетали его, они становились для него все более и более невыносимыми.

Он ждал чего-то, что должно было случиться и освободить его от нетерпимого противоречия его жизни. Но ничего такого не происходило. Напротив, положение ухудшалось. Жена, как бы сознавая одержанную победу, продолжала с еще большим спокойствием жить по собственному разумению, не считаясь с требованиями совести мужа. Сыновья вели независимый образ жизни, в котором идеям отца не оставалось места. Младшая сестра Александра была еще слишком молода. Мы с Машей уехали к своим мужьям. Он остался один.

«Мне иногда без вас, двух дочерей, грустно,— писал он мне и прибавлял,— хоть и не говоришь, а знаешь, что тебя понимают и любят то, что́ ты не то что любишь, а чем живешь»[136].

Моя мать после пережитого ею большого горя не сумела найти успокоения. Она искала его всюду, но не там, где его можно было найти: в музыке, в живописи, в новых привязанностях...[137] Но, чтобы успокоить болезненные порывы ее взволнованного сердца, нужны были иные средства. Ей не хватало какой-то моральной силы, которая помогла бы ей обратить во благо свои страдания. Она сделала неверный шаг, отказавшись следовать за мужем, и с тех пор все более и более сбивалась с правильного пути. Она все более и более начинает переносить свои интересы на самое себя, на свои переживания, беспокоиться о том, что́ подумают о ней люди.

Отец часто говорил, что расстройство ума — это только преувеличенный эгоизм.

И действительно, психические ненормальности моей матери выражались именно в этой форме. Если раньше она готова была беззаветно всю себя отдать другим, теперь она сделалась жертвой болезненной мнительности: что́ говорят, что́ станут говорить о ней? Не назовут ли ее

когда-нибудь Ксантиппой? У нее были некоторые основания опасаться этого, так как ее окружали люди, жалевшие ее мужа за то, что ему приходилось от нее переносить.

Преследуемая этим страхом, она потребовала пересмотра всех записей, которые ее муж ежедневно делал. Она хотела, чтобы там было вычеркнуто все, что могло бы впоследствии создать о ней дурное впечатление [138]. Она стала оправдываться по всякому поводу и перед первыми попавшимися людьми, даже перед такими, которые и не помышляли ее в чем-либо обвинять. Она настойчиво объясняла, почему не последовала за мужем, старалась доказать, что это он сбился с правильного пути, надеясь таким образом оправдать свои попытки руководить им.

Летом 1909 года я получила от сестры Александры телеграмму, срочно вызывавшую меня в Ясную. Я немедленно приехала и застала мать в постели.

В Ясной разыгралась целая драма. Отец решил ехать в Стокгольм прочесть доклад на Конгрессе мира. Мать с крайним упорством этому воспротивилась[139], считая поездку опасной для здоровья отца. Она решила не отпускать его. Натолкнувшись на сопротивление, она была ошеломлена и совершенно растерялась. Она то упрямо заявляла, что приложит все средства, чтобы настоять на своем, то говорила, что ей остается только умереть и что все хотят ее отравить[140].

К тому времени, когда я приехала, кризис уже прошел. Она лежала слабая и покорная. «Танечка,— сказала она мне,— ты знаешь, я думала, что меня хотят отравить. Душан (доктор Маковицкий, друг и ученик отца) меня заставлял глотать какие-то сладковатые порошки. Вообще он человек недобрый, но любит твоего отца. Я думала, что он хочет освободить его от меня». Я ее успокоила, как умела.

Это глубоко несчастное, больное и душевно совершенно одинокое существо внушило мне острую жалость. Если мать была одинока, в этом была, правда, ее собственная вина, но от этого она не меньше страдала. Отец любовно ухаживал за ней. Я уехала. Спокойствие восстановилось. На этот раз все обошлось.

Но, по существу, ничто, очевидно, не изменилось. Возникали новые поводы к раздражению, вызывавшие новые сцены и упреки.

Мать отказалась помогать отцу переписывать его рукописи. Нашелся, конечно, кто-то другой, кто ее заменил. Тогда она вдруг спохватилась: значит, ее отстраняют, значит, она больше не нужна, значит, муж ищет посторонней помощи, тогда как раньше все было в ее руках. Что делать? Она не могла уж, как прежде, интересоваться его работами, ставшими ей совершенно чуждыми и в которых она не сумела бы принять участия. Но она страдала, ей было обидно молча присутствовать при напряженной работе, происходившей тут же, рядом с ней. Наконец она не выдержала и разразилась бранью против самих работ отца как таковых. Для нее же стало хуже. Работу продолжали, но прячась от нее. Положение ее как хозяйки дома сделалось невыносимым. Когда она проходила через комнату, отведенную для переписки на машинке, ее дочь, Александра, и секретарь отца прекращали копировку и умолкали, а иногда, во избежание объяснений, даже убирали переписываемую рукопись. Атмосфера подозрения, на которую она наталкивалась в этой комнате, не ускользала от ее проницательности и раздражала ее. Зачатки нервозности, которые можно было проследить в ней с юности, развились теперь до того, что перешли в душевную болезнь. Она потеряла всякую власть над собой, и острые нервные припадки все учащались.

Все это было чрезвычайно тяжело для отца. Он не мог больше работать, часто страдал бессонницей, а нравственные пытки, которые ему приходилось переносить, отражались на его здоровье. Он силился принять эти страдания как искупление своих грехов. Он старался найти в них поводы, побуждающие к смирению. 16 июля 1910 года он пишет в дневнике: «Мне надо только благодарить бога за мягкость наказания»[141].

Это лето 1910 года, свое последнее лето, каждый день которого был отмечен новым страданием, отец почти все провел вне Ясной Поляны. В мае он был у меня в Кочетах — имении моего мужа. В июне поехал к Черткову, который жил тогда в арендованной им усадьбе Мещерское, в Московской губернии. Находясь у своего друга, отец продолжал разбираться в создавшемся положении и искать выхода.

«Хочу,— пишет он в дневнике,— попытаться сознательно бороться с Соней добром, любовью. Издалека кажется возможным. Постараюсь и вблизи исполнить»,

«Нам дано одно, но зато неотъемлемое благо любви. Только люби, и все — радость — и небо, и деревья, и люди, и даже сам. А мы ищем блага во всем, только не в любви» [142].

В Мещерском отец получил телеграмму от жены. Она вызывала его и умоляла вернуться. Он вернулся. «Нашел хуже, чем ожидал: истерика и раздражение. Нельзя описать» [143].

Но этих испытаний оказалось еще мало, и к ним прибавилось новое: мой брат Лева вмешался в дела родителей, взяв на себя роль судьи отца и защитника матери. Отец пишет: «Лева — большое и трудное испытание» [144].

А дни шли за днями. Он отмечал в своем дневнике происходившие события и изменения в состоянии жены. Эти записи свидетельствуют, что оно все ухудшалось: «Соня опять в том же раздраженном истерическом состоянии. Очень было тяжело»; «Соня опять возбуждена, и опять те же страдания обоих»; «Ужасная ночь... Жестокая и тяжелая болезнь» [145].

Мы видим, что отец смотрел на жену как на больную. Но многие из его окружения, в том числе доктор Маковицкий, считали, что она играет комедию, что она совершенно нормальна, а ее мнимая истерия лишь способ добиваться своей цели [146]. Именно тогда, в июле 1910 года, отец составил последнее свое завещание, которое и было впоследствии приведено в исполнение [147].

Он написал уже одно завещание во время пребывания в Мещерском у Черткова. По этому акту он отдавал в общее пользование все свои произведения без исключения [148]. Но юрист указал, что такое завещание невыполнимо, так как закон требует назначения наследника. Это и побудило отца назначить своей наследницей младшую дочь Александру. А если бы я пережила свою сестру, он назначал наследницей меня. Саша, а в случае необходимости и я, — мы должны были передать все сочинения отца в общее пользование. В особом приложении к завещанию отец поручал Черткову распоряжение и редактирование всех его рукописей [149].

Матери об этом ничего не сообщили. Но некоторые намеки и недомолвки, какое-то предчувствие заставили ее заподозрить, что завещание существует. С этой минуты она ни днем, ни ночью не переставала искать вещественных доказательств своих подозрений.

Таким образом, отец, в прошлом никогда ничего не скрывавший от жены, имел теперь от нее тайну, которую хотел от нее сохранить. Это привело к очень тяжелым для него последствиям. Ему приходилось прятать от нее рукописи и дневник. А она всю свою энергию тратила на то, чтобы найти разгадку тайны — тайны своего мужа — от нее, его жены. Она подслушивала под дверью, когда отец с кем-нибудь разговаривал. Когда его не было в комнате, она, не стесняясь, рылась в его бумагах[150].

Отец начал тогда вести дневник «Для одного себя», как он его называл[151]. Маленький формат позволял его прятать: он носил его обычно на себе, под рубашкой или в сапоге. В конце концов, хотя и с трудом, он привык к тому, что с его другого дневника копия снималась, когда чернила еще не успевали высохнуть.

Он пишет: «Да, у меня нет уж дневника, откровенного, простого дневника. Надо завести»[152].

Этот другой дневник он начал 29 июля 1910 года. Он открывается так: «Начинаю новый дневник, настоящий дневник для одного себя. Нынче записать надо одно: то, что если подозрения некоторых друзей моих справедливы, то теперь начата попытка достичь цели лаской. Вот уже несколько дней она целует мне руку, чего прежде никогда не было, и нет сцен и отчаяния. Прости меня бог и добрые люди, если я ошибаюсь. Мне же легко ошибаться в добрую любовную сторону. Я совершенно искренне могу любить ее»[153].

А на следующий день он пишет: «Чертков вовлек меня в борьбу, и борьба эта очень и тяжела, и противна мне»[154].

Написав свое завещание, Лев Николаевич не переставал сомневаться, он спрашивал свою совесть: хорошо ли он поступил или плохо?[155] И когда наш друг Поша Бирюков посетил его и выразил ему сожаление по поводу всей этой тайны, отец сразу же с ним согласился[156]. 2 августа после этого разговора он пишет: «Вчера говорил с Пошей, и он очень верно сказал мне, что я виноват тем, что сделал завещание тайно. Надо было или сделать это явно, объявив тем, до кого это касалось, или всё оставить, как было, — *ничего не делать.* И он совершенно прав, я поступил дурно и теперь плачусь за это. Дурно то, что сделал тайно, предполагая дурное в наследниках, и сделал, главное, несомненно дурно тем, что воспользовался учреждением отрицаемого мной правительства, со-

ставив по форме завещание. Теперь я ясно вижу, что во всем, что совершается теперь, виноват только я сам. Надо было оставить все, как было, и ничего не делать. И едва ли распространяемость моих писаний окупит то недоверие к ним, которое должна вызвать непоследовательность в моих поступках»[157].

И в тот же день, 2 августа, он записывает в дневнике: «Очень, очень понял свою ошибку. Надо было собрать всех наследников и объявить свое намерение, а не тайно. Я написал это Черткову. Он очень огорчился»[158].

Чертков ответил отцу длинным письмом, которое появилось недавно в книге Гольденвейзера, выход которой в свет и послужил одной из причин, побудивших меня прервать молчание. Оно занимает 11 печатных страниц[159].

В этом документе Чертков разглагольствует о том, «о чем думала» графиня Толстая. Он вскрывает «ее намерения по отношению к произведениям мужа». Он предвидит, чтó она и некоторые из ее сыновей ответили бы друзьям Толстого, если бы те объявили в печати, что хотят выпустить издание трудов своего учителя. Он изображает, как один из сыновей этого учителя, размахивая неоконченным рассказом отца «Фальшивый купон», выкрикивает, что выколотит из фальшивого купончика... «100 тысяч чистоганом». Я спросила брата, и он категорически отрицал, что нечто подобное имело место или говорилось.

Отец был глубоко оскорблен тем, что Чертков писал о его семье. И он отмечает: «Длинное письмо от Черткова, описывающее все предшествовавшее. Очень было грустно, тяжело читать и вспоминать. Он совершенно прав, и я чувствую себя виноватым перед ним. Поша был неправ. Я напишу тому и другому»[160].

Он отвечает Черткову: «Два главные чувства вызвало во мне Ваше письмо: отвращение к тем проявлениям грубой корысти и бесчувственности, которые я или не видел, или видел и забыл; и огорчение и раскаяние в том, что я сделал Вам больно своим письмом» (письма этого я не знаю)[161]. И он добавляет, что все-таки он недоволен тем, что сделал: «...чувствую, — пишет он, — что можно было поступить лучше, хотя я и не знаю как»[162].

Как только у матери явилось подозрение, что вдохновителем завещания являлся Чертков, она его возненави-

дела. Она ревновала к нему. Преследуемая этим чувством, безумствуя, она кончила тем, что потребовала от Льва Николаевича под угрозой самоубийства, чтобы он прекратил всякие отношения с Чертковым. Отец уступил. Не по слабости, а из чувства долга [163].

Не видеться с другом было не только большим огорчением для Толстого, но было связано с рядом неудобств и затруднений. В Телятинках, за три километра от Ясной, концентрировалась вся огромная работа по трудам Льва Николаевича. Вместо того чтобы видеться и решать дела на словах, приходилось обо всем писать. Эта переписка, в свою очередь, причиняла матери острые страдания. Отсутствие Черткова ее не успокоило. Она подозревала, что они встречаются тайно. И она следила за каждым шагом мужа.

Лев Николаевич пишет 5 августа в дневнике, — в том, который носил в сапоге: «Совестно, стыдно, комично и грустно мое воздержание от общения с Чертковым. Вчера утром [С. А.] была очень жалка без злобы. Я всегда так рад этому — мне так легко жалеть и любить ее, когда она страдает и не заставляет страдать других»[164]. Но на следующий день: «Сейчас встретил... Софью Андреевну. Она идет скоро, страшно взволнованная. Мне очень жалко стало ее. Сказал дома, чтобы за ней посмотрели тайно, куда она пошла. Саша же рассказала, что она ходит не без цели, а подкарауливая меня. Стало менее жалко. Тут есть недоброта, и я еще не могу быть равнодушен,— в смысле любви к недобру. Думаю уехать, оставив письмо, хотя думаю, что ей было бы лучше»[165].

«Ей было бы лучше» — вот одна из причин ухода моего отца несколькими неделями позднее. Он думал, что это пойдет на пользу больной. С другой стороны,— привольная жизнь Ясной Поляны, условия этой жизни, неприемлемые для него со времени его второго рождения, были трудно переносимы для восьмидесятидвухлетнего старца, у которого не было иных интересов, кроме самых отвлеченных, религиозных интересов.

20 августа 1910 года он пишет: «...Вид этого царства господского так мучает меня, что подумываю о том, чтобы убежать, скрыться»[166].

Он часто с завистью говорил об индусах, которые к старости удаляются от мира и живут в одиночестве. Он давно уже тайно лелеял мечту: провести остаток дней в скромных условиях, окруженным простым народом,



С. А. Толстая с детьми Таней и Сережей. 1866. Тула.



С. А. Толстая и Т. А. Кузминская. 1871. Тула. Фотография Ф. И. Ходасевича.



Л. Н. Толстой. 1876. Москва.
Фотография И. Г. Дьяговченко.



И. С. Тургенев. 1879. Петербург.
Фотография Везенберга.



Т. Л. Толстая. 1878. Тула.
Фотография Ф. И. Ходасевича.



Л. Н. Толстой с дочерью Татьяной. 1887.
Ясная Поляна. Фотография М. А. Стаховича.



С. А. Толстая. 1885. Москва. Фотография Тиле и Опитца.



С. А. Толстая с дочерьми. 1903. Ясная Поляна. Фотография Ф. Т. Протасевича. Слева направо: А. Л. Толстая, Т. Л. Сухотина-Толстая, С. А. Толстая, М. Л. Оболенская.

Няня старших детей Л. Н. Толстого — М. А. Арбузова и повар Н. М. Румянцев. 1887. Ясная Поляна.





Деревня Ясная Поляна. 1908.
Фотография К. К. Буллы.



Л. Н. Толстой в кругу семьи и гостей. Справа от Толстого — Н. Н. Ге. 1888. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелек-Лазарева.



Л. Н. Толстой в кругу семьи. 1884. Ясная Поляна. Фотография С. С. Абамелек-Лазарева. Сидят: И. Л. Толстой, Л. Н. Толстой с Андрюшей и Мишей, С. Л. Толстой, С. А. Толстая с Алешей на руках; стоят: Т. Л. Толстая, Л. Л. Толстой.



Ясная Поляна. Общий вид на усадьбу. 1908.
Фотография К. К. Буллы.



Дом Л. Н. Толстого в Ясной Поляне. 1908.
Фотография К. К. Буллы.



Л. Н. Толстой в кругу семьи. 1892. Ясная Поляна.
Фотография Шерер и Набгольц.



Дом Л. Н. Толстого в Долго-Хамовническом переулке в Москве. Вид со стороны сада. Фотография 1890-х годов.



Музей-усадьба Л. Н. Толстого в Москве. Комната Т. Л. Толстой. Фотография И. Н. Папова.



М. Л. Толстая. Портрет работы Т. Л. Толстой. 1893.



Л. Н. Толстой. Портрет работы Т. Л. Сухотиной-Толстой. 1910.

Л. Н. Толстой с дочерью Т. Л. Сухотиной-Толстой. 1902. Гаспра. Фотография С. А. Толстой.





Л. Н. Толстой и И. Е. Репин в зале яснополянского дома. 1908. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой в яснополянском парке. 1896. Фотография П. И. Бирюкова.



Л. Н. Толстой с сестрой М. Н. Толстой. 1908. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой.



Л. Н. Толстой с внучкой Таней Сухотиной. 1909. Ясная Поляна. Фотография В. Г. Черткова.



Т. Л. Сухотина-Толстая с дочерью Таней. Ясная Поляна. 1916.



Л. Н. Толстой в комнате под сводами в Ясной Поляне. Копия Т. Л. Толстой с картины И. Е. Репина. 1896.



Л. Н. Толстой и С. А. Толстая. 25 сентября 1910 г. Ясная Поляна. Фотография С. А. Толстой. Последняя фотография Л. Н. Толстого

Л. Н. Толстой. 1906.
Ясная Поляна.
Фотография В. Г. Черткова





Дом начальника станции Астапово, в котором умер
Л. Н. Толстой. 1910, ноябрь.



Т. Л. Сухотина-Толстая в последние годы жизни. Рим.

который он любил. Чаша весов колебалась под тяжестью его противоречивых решений, но в последнее время равновесию с каждым днем все больше угрожала опасность.

В августе я приехала за отцом, чтобы увезти его к себе в Кочеты. Я хотела, чтобы он отдохнул в моей семье от тревог последних месяцев. С первого дня моего приезда в Ясную мать пустила в ход всю свою ловкость, чтобы добиться возможности поехать с нами.

Она то ссылалась на свою болезнь, то начинала возмущаться тем, что ее хотят удалить от мужа, чтобы он *отдохнул* в разлуке с ней. «Отдохнул! — говорила она. — От чего? От моей любви? От моей заботы? Чтó бы ты сказала, если бы увезли твоего мужа, чтобы он *отдохнул* в разлуке с тобой?» Кончилось тем, что она прибегла к решающему аргументу: однажды, когда я была у отца в кабинете, она вошла и со слезами стала умолять нас взять ее с собой. Она боялась остаться одна. Она торжественно обещала, что оставит его в покое. Случилось то, что должно было случиться. Мы преисполнились жалости и согласились. Мой отец писал в этот же день, 14 августа 1910 года: «Все хуже и хуже. Не спала ночь. Выскочила с утра... Потом рассказывала ужасное... Страшно сказать... Буду терпеть. Помоги бог. Всех измучила и больше всего себя. Едет с нами»[167].

И мы уехали вшестером: отец, мать, сестра Александра, доктор Маковицкий, я и последний секретарь моего отца Булгаков[168]. Во время пребывания у меня все шло хорошо. Через две недели, вызванная делами, мать вернулась в Ясную. Отец отметил ее отъезд: «Уезжая, трогательно просила прощения»; «У меня к ней много любви, основанной на жалости. Я написал из сердца вылившееся письмо Соне»[169].

Вот это письмо: «Ты меня глубоко тронула, дорогая Соня, твоими хорошими и искренними словами при прощанье. Как бы хорошо было, если бы ты могла победить то — не знаю, как назвать — то, что в самой тебе мучает тебя! Как хорошо было бы и тебе, и мне. Весь вечер мне грустно и уныло. Не переставая думаю о тебе. Пишу то, что чувствую, и не хочу писать ничего лишнего. Пожалуйста, пиши. Твой любящий муж *Л. Т.*»[170].

На следующий день после ее отъезда он отмечает, что ему грустно без нее, что он боится за нее и тревожится.

Мать уехала, но отец не оставался без вестей: из Ясной, как и из Телятинков, люди, посылавшие ему копии

с его дневника, прибавляли к ним отчеты о действиях и словах Софьи Андреевны: «Мне, слава богу, все равно, но ухудшает мое чувство к *ней*. Не надо». Таково первое впечатление от полученного известия. А доносы продолжались, и вот второе: «От Гольденвейзера письмо с выпиской, ужаснувшей меня»; «...письма из Ясной ужасны» [171].

Мать просила мужа вернуться к сорок восьмой годовщине их свадьбы. Он согласился и вернулся в Ясную 22 сентября ночью. Последняя запись в его дневнике сделана накануне: «Еду в Ясную, и ужас берет при мысли о том, что меня ожидает... А главное, молчать и помнить, что в ней душа — бог»[172].

Этими словами заканчивается первая тетрадь дневника «Для одного себя» Льва Толстого.

Увы, в Ясной Поляне отца ожидали все те же тревоги, что и в предыдущие месяцы. Мать, продолжая поиски, наткнулась на маленькую книжку: это был секретный дневник. Она схватила и спрятала его. Отец подумал, что он его потерял, и начал другую книжку. На ней поставлена дата 24 сентября. «За завтраком начал разговор о Д. М. (то есть о статье «Детская мудрость», которую писал отец), что Чертков — коллекционер, собрал. Куда он денет рукописи после моей смерти? Я немного горячо попросил оставить меня в покое. Казалось — ничего. Но после обеда начались упреки, что я кричал на нее, что мне бы надо пожалеть ее. Я молчал. Она ушла к себе, и теперь 11-й час, она не выходит, и мне тяжело.

...Иногда думается: уйти ото всех»[173].

Я вернулась в Ясную в октябре. Там творилось нечто ужасное! Сестра Александра после ссоры с матерью переехала в свое маленькое имение по соседству с Ясной [174]. Чертков больше не показывался. Мать не переставая жаловалась на всех и на вся. Она говорила, что переутомилась, работая над новым изданием сочинений отца [175], которое она готовит, измучена постоянными намеками на уход, которым отец ей грозит. Она добавляла, что не знает, как держать себя по отношению к Черткову. Не принимать его больше? Муж будет скучать в его отсутствие и упрекать ее за это. Принимать его? Это было выше ее сил. Один взгляд на его портрет уже вызывал у нее нервный припадок. Именно тогда она и потребовала от отца, чтобы все его дневники были изъяты от Черткова. Отец и на этот раз уступил [176]. Но эта непре-

рывная борьба довела его до последней степени истощения.

3 октября у него сделался сердечный припадок, сопровождавшийся судорогами. Мать думала, что наступил конец. Она была уничтожена. У нее вдруг открылись глаза на происходившее. Она признала себя виновной, поняла, какая доля ответственности за болезнь мужа лежит на ней. Она то падала на колени в изножье его кровати и обнимала его ноги, которые сводили конвульсии, то убегала в соседнюю комнату, бросалась на пол, в страхе молилась, лихорадочно крестясь и шепча: «Господи, господи, прости меня! Да, это я виновата! Господи! Только не теперь еще, только не теперь!»

Отец выдержал припадок. Но только еще больше сгорбился, а в его светлых глазах появилось еще больше грусти.

Во время этой болезни сестра Александра вернулась домой и помирилась с матерью, а мать, призвав на помощь все свое мужество, попросила Черткова возобновить посещения Ясной Поляны. На нее было жалко смотреть в тот вечер, когда после своего приглашения она ждала его первого визита. Она волновалась, было видно, что она страдает. Возбужденная, с пылающими щеками, она наполняла дом суетой. Она поминутно смотрела на часы, подбегала к окну, затем бежала к отцу, который находился в своем кабинете. Когда Чертков приехал, она не знала, чтó ей делать, не находила себе места, металась от одной двери к другой, ведущей в кабинет мужа. Под конец она бросилась ко мне на шею и разразилась горькими рыданиями. Я старалась ее успокоить и утешить. Но ее больное сердце не могло уже найти покоя.

Дальше все шло хуже и хуже. 25 октября, за три дня до своего ухода, отец пишет: «Все то же тяжелое чувство. Подозрения, подсматривание и грешное желание, чтобы она подала повод уехать. Так я плох. А подумаю уехать и об ее положении, и жаль, и тоже не могу...» В тот же день он пишет: «Всю ночь видел мою тяжелую борьбу с ней. Проснусь, засну и опять то же»[177].

Еще два дня, и вот в ночь с 27 на 28 октября ему был нанесен удар, которого он ждал, и он покинул навсегда Ясную Поляну.

Вот как он отмечает это событие в своем дневнике: «28 октября 1910 г. Лег в половине 12 и спал до 3-го часа. Проснулся и опять, как прежние ночи, услыхал отворя-

ние дверей и шаги. В прежние ночи я не смотрел на свою дверь, нынче взглянул и вижу в щелях яркий свет в кабинете и шуршание. Это Софья Андреевна что-то разыскивает, вероятно, читает... Опять шаги, осторожное отпирание двери, и она проходит. Не знаю отчего, это вызвало во мне неудержимое отвращение, возмущение. Хотел заснуть, не могу, поворочался около часа, зажег свечу и сел. Отворяет дверь и входит Софья Андреевна, спрашивая «о здоровье» и удивляясь на свет у меня, который она видит у меня. Отвращение и возмущение растет, задыхаюсь, считаю пульс: 97. Не могу лежать и вдруг принимаю окончательное решение уехать. Пишу ей письмо[178], начинаю укладывать самое нужное, только бы уехать. Бужу Душана, потом Сашу, они помогают мне укладываться. Я дрожу при мысли, что она услышит, выйдет — сцена, истерика и уж впредь без сцены не уехать. В 6-м часу всё кое-как уложено; я иду на конюшню велеть закладывать... Может быть, ошибаюсь, оправдывая себя, но кажется, что я спасал себя, не Льва Николаевича, а спасал то, что иногда и хоть чуть-чуть есть во мне»[179].

Последний отрывок можно сравнить со словами из проекта завещания, набросанного Толстым в дневниковой записи от 27 марта 1895 года: «У меня были времена, когда я чувствовал, что становлюсь проводником воли божьей... Это были счастливейшие минуты моей жизни»[180].

Меня не было в Ясной Поляне ни 27, ни 28 октября. 28-го под вечер я получила телеграмму от сестры Александры: «Приезжай немедленно». Я тотчас же выехала. На станции Орел знакомый швейцар передал мне две телеграммы, адресованные отцу. Одна гласила: «Возвращайся как можно скорее. *Саша».* И другая: «Не беспокойся. Действительны только телеграммы подписанные *Александра».*

Сравнив оба текста, я поняла , что первая телеграмма была ложной.

Утром я приехала в Ясную. Там царила полная растерянность. Все братья, кроме Левы, который был в Париже, уже успели съехаться. Состояние матери внушало опасения. Когда 28-го утром ей передали письмо, оставленное отцом, она убежала из дома и бросилась в пруд. Ее вытащили. После этого она сделала еще несколько попыток самоубийства. Убедившись, что, находясь под неот-

ступным наблюдением, она не может покончить с собой, она объявила, что уморит себя голодом.

Это были мрачные дни. Каждый из нас, детей, написал отцу[181]. Он нам ответил 31 октября 1910 года:

«Благодарю вас очень, милые друзья, истинные друзья — Сережа и Таня, за ваше участие в моем горе и за ваши письма. Твое письмо, Сережа, мне было особенно радостно: коротко, ясно и содержательно, и, главное, добро. Не могу не бояться всего и не могу освобождать себя от ответственности, но не осилил поступить иначе. Я писал Саше через Черткова о том, что я просил его сообщить вам — детям[182]. Прочтите это. Я писал то, что чувствовал и чувствую, то, что не могу поступить иначе. Я пишу ей — мама́. Она покажет вам тоже[183]. Писал, обдумавши, и все, что мог. Мы сейчас уезжаем, еще не знаем куда...[184] Сообщение всегда будет через Черткова.

Прощайте, спасибо вам, милые дети, и простите за то, что все-таки я причина вашего страдания. Особенно ты, милая голубушка Танечка. Ну вот и всё. Тороплюсь уехать так, чтобы, чего я боюсь, мама́ не застала меня. Свидание с ней теперь было бы ужасно. Ну, прощайте. 4-й час утра. Шамардино[185].

Л. Н.»

Никто, кроме Александры, не знал, где он находился. Александра поехала к нему, дав нам слово, что известит нас, если отец заболеет[186]. Брат Сергей вернулся в Москву. Когда он уехал, все стало нам казаться еще мрачнее, а то, что нас ожидало, еще более страшным. Я не сомневалась, что перемена жизни означала для отца конец.

Мать тоже внушала мне опасения. И лично за нее, а также и потому, что я знала, что если попытка самоубийства ей удастся, отец никогда уже не обретет ни покоя, ни счастья. Мы вызвали психиатра и сестру милосердия, которые не отходили от ее постели.

Через несколько дней после отъезда Александры Булгаков, живший у Черткова в Телятинках, пришел ко мне и сообщил по секрету, что отец заболел и что Чертков поехал к нему[187].

— А где же он заболел?

— Чертков запретил мне об этом говорить.

— Далеко ли? В России? За границей?

Я засыпала Булгакова вопросами, на которые он не мог отвечать: Чертков ему запретил.

— Неужели Чертков не понимает, что мне необходимо это знать, и почему он запретил говорить мне?

— Не знаю,— ответил Булгаков. И это таким тоном, словно хотел сказать: я и сам не понимаю.— Он заставил меня поклясться, что я никому не открою тайны, которую он мне доверил.

Можно себе представить, какую тревожную ночь провела я после этого сообщения!

Отец умирает где-то поблизости, а я не знаю, где он. И я не могу за ним ухаживать. Может быть, я его больше и не увижу. Позволят ли мне хотя бы взглянуть на него на его смертном одре? Бессонная ночь. Настоящая пытка. И всю ночь из соседней комнаты до меня доносились рыдания и стоны матери. Вставши утром, я еще не знала, что́ делать, на что решиться. Но нашелся неизвестный нам человек, который понял и сжалился над семьей Толстого. Он телеграфировал нам: «Лев Николаевич в Астапове у начальника станции. Температура 40°». До самой смерти буду я благодарна корреспонденту «Русского слова» Орлову.

Я разбудила мать и братьев. Мы поехали в Тулу. В Астапово ходил только один поезд в день. Мы на него опоздали. Мы заказали специальный поезд[188].

Перед отъездом из Ясной моя мать с лихорадочной поспешностью обо всем подумала, обо всем позаботилась. Она везла с собою все, что могло понадобиться отцу, она ничего не забыла. Но если голова ее была ясна, то в сердце не было доброты. В те дни мы, дети, сердились на нее и осуждали ее. Мы не могли не видеть, что она была причиной всего происшедшего, и, не обнаруживая в ней и следа раскаяния, были не в состоянии простить ее.

В Астапове наш вагон отцепили и поставили на запасный путь. Мы устроились в нем и решили жить там, пока это будет нужно. Чтобы не допустить мать к отцу, мы объявили, что тоже не пойдем. Один только брат Сергей, вызванный Александрой и приехавший раньше нас, входил в комнату, где лежал отец. Но отец случайно узнал, что я тут, и спросил, почему я не захожу. Задыхаясь от волнения, я побежала к домику начальника станции. Я боялась, что отец будет меня спрашивать о матери, а я не приготовилась к ответу. Ни разу в жизни я не лгала

ему, и я знала, что в такую торжественную минуту не в состоянии буду сказать ему неправду.

Когда я вошла, он лежал и был в полном сознании. Он сказал мне несколько ласковых слов, а потом спросил: «Кто остался с мамá?» Вопрос был так поставлен, что я могла ответить, не уклоняясь от истины. Я сказала, что при мамá сыновья и, кроме того, врач и сестра милосердия. Он долго меня расспрашивал, желая знать все подробности. А когда я сказала: «Может быть, разговор на эту тему тебя волнует?» — он решительно меня прервал: «Говори, говори, что может быть для меня важнее?» И он продолжал меня о ней расспрашивать долго и подробно.

После этого первого посещения я уже свободно входила к нему, и на мою долю выпало счастье видеть его часто в последние дни его жизни. Мне очень хотелось, чтобы он позвал к себе мать. Я страстно желала, чтобы он примирился с нею перед смертью. Александра разделяла мои чувства. Но было ясно, что он боится свидания. В бреду он повторял: «Бежать, бежать...» Или: «Будет преследовать, преследовать». Он попросил занавесить окно, потому что ему чудилось в нем лицо смотревшей оттуда женщины. Он продиктовал телеграмму сыновьям, которые, как он думал, находились при матери в Ясной. : «Состояние лучше, но сердце так слабо, что свидание с мамá было бы для меня губительно»[189].

Как-то раз, когда я около него дежурила, он позвал меня и сказал: «Многое падает на Соню. Мы плохо распорядились».

От волнения у меня перехватило дыхание. Я хотела, чтобы он повторил сказанное, чтобы убедиться, что я правильно поняла, о чем идет речь. «Что ты сказал, папá? Какая со... сода?..»

И он повторил: «На Соню, на Соню многое падает»[190].

Я спросила: «Хочешь ты видеть ее, хочешь видеть Соню?» Но он уже потерял сознание. Я не получила ответа — ни знака согласия, ни знака отрицания. Я не посмела повторить вопрос, мне казалось, что, повторив, я могу загасить еле мерцающий огонек.

Поведение матери трудно было понять. То она заявляла, что не сумасшедшая, и сама понимает, что, если он ее увидит, это может его убить, то говорила, что все равно хуже не будет, что в любом случае она его больше не увидит. То начинала плакать и жаловаться,

что не она за ним ухаживает: «Сказать только, я прожила с ним сорок восемь лет, и не я ухаживаю за ним, когда он умирает...»

Мы чувствовали всю чудовищность такого положения. Но, поскольку отец не звал ее, мы не считали возможным пустить ее к нему.

Один раз я сидела у изголовья отца и держала его руку, эту руку, которую так любила и которую не могла видеть без волнения, помня, сколько она, послушная его духу, передала человечеству. Он дремал с закрытыми глазами. И вдруг я слышу его голос: «И вот конец, и... *ничего»*. Я вижу, как он бледнеет, слышу, как дыхание его становится все прерывистее. Я говорю себе, что это, наверное, конец, и чувствую, как от страха у меня шевелятся волосы на голове и кровь застывает в жилах. Встать же и позвать кого-нибудь не могу — он держит мою руку и при малейшей попытке высвободить удерживает ее.

Наконец кто-то входит, и я посылаю за врачом. Ему делают укол камфары, и краски снова появляются на его лице, дыхание понемногу выравнивается.

Вдруг он энергично поднимается, садится и ясным, сильным голосом говорит: «Только одно советую вам помнить: есть много людей на свете, кроме Льва Толстого, а вы все смотрите на одного Льва».

Последние слова он произносит тише и падает на подушку.

6 ноября, накануне смерти, он позвал: «Сережа!» — и когда тот подошел, он тихим голосом с большим усилием сказал:

«Сережа! Я люблю истину... Очень... люблю истину». Это были его последние слова.

Будучи еще совсем молодым человеком, он гордо объявил, что его герой, которого он любит всеми силами своей души, это — Истина[191]. И до того дня, когда он слабеющим голосом сказал своему старшему сыну, своему «истинному другу», что он любил Истину, он никогда не изменял этой Истине. «Узнаете Истину, и Истина сделает вас свободными». Он это знал и служил Истине до смерти.

В 10 часов вечера того же дня Сергей пришел к нам в вагон и сказал, что дело плохо. Мы не знали, следует ли предупредить мать. Каждый высказал свое мнение, и мы решили сперва удостовериться, каково состояние отца, и в зависимости от обстоятельств звать или не звать ее. Но

не успели мы с Сергеем дойти до домика, где лежал отец, как заметили, что мать идет за нами. Мы вошли. Отец был без сознания. Доктора сказали, что это конец. Мать подошла, села в его изголовье, наклонясь над ним, стала шептать ему нежные слова, прощаться с ним, просить простить ей все, в чем была перед ним виновата. Несколько глубоких вздохов были ей единственным ответом.

Так в уединенном уголке Рязанской губернии, в домике начальника станции, оказавшего ему приют, умер мой отец [192]. Я сознательно говорю: мой отец, так как я писала только как дочь. Великий писатель Толстой принадлежит мне не более, чем всем другим. Что до меня, то я просто хотела рассказать об этих двух дорогих мне людях, об их любви, об их страданиях и радостях, одним словом, об их жизни — то, что я считаю скромной правдой.

Мать моя пережила отца на девять лет. Она умерла в Ясной Поляне в ноябре 1919 года и так же, как ее муж, от воспаления легких. Она умерла, окруженная детьми и внуками. К ее радости, дочь Александра, с которой у нее раньше были такие глубокие разногласия, с исключительной нежностью ухаживала за ней до самого конца. Она сознавала, что умирает. Покорно ждала смерти и приняла ее смиренно.

За последние годы она успокоилась. То, о чем мечтал для нее муж, частично исполнилось; с ней произошло превращение, за которое он готов был пожертвовать своей славой. Теперь ей стали менее чужды мировоззрения нашего отца. Она стала вегетарианкой. Она была добра к окружающим. Но она сохранила одну слабость: ее страшила мысль, что́ о ней будут писать и говорить, когда ее не станет, она боялась за свою репутацию. Вот почему она не пропускала случая оправдаться в своих словах и поступках. Она ничем не пренебрегала, лишь бы защитить себя, желая заранее отклонить удары, которые, она знала, будут нанесены ей впоследствии. И она знала — кем [193]. В последний период жизни она часто говорила о своем покойном маленьком сыне и о своем муже. Она сказала мне однажды, что постоянно думает о нашем отце, и добавила: «Я плохо жила с ним, и это меня мучает...»

Такова в основном жизнь этих двух людей, столь же связанных взаимной любовью, сколь и разобщенных в сво-

их стремлениях. Бесконечно близкие друг другу и в то же время бесконечно далекие. Еще один пример извечной борьбы между величием духа и властью плоти.

И кто возьмет на себя смелость указать виновного? Разве может дух отказаться от защиты своей свободы?

И разве можно вменить в вину плоти, если она борется за свое существование? Можно ли обвинять мою мать в том, что она не была в состоянии следовать за мужем на его высоты? Это было больше ее несчастьем, нежели виной. И это несчастье ее сломило.

А отец, разве он был виноват, что хотел спасти в себе то «нечто», следы которого он в себе порою ощущал, и спасти это ценой своей жизни?

ЗАРНИЦЫ ПАМЯТИ

ВВЕДЕНИЕ

Одна из парижских газет задала читателям вопрос: по каким признакам можно узнать приближение старости? Кто-то ответил: «Старость приходит тогда, когда оживают воспоминания».

С некоторых пор я очень живо ощущаю этот феномен. В часы одиночества я вижу, как внезапно передо мной вырисовываются эпизоды моей прошлой жизни. Возникают картины, кажется, я слышу голоса...

Чаще всего эти воспоминания связаны с моим отцом, так как в моей жизни он был самым дорогим и светлым. Часто я не могу связать явление ни с предыдущими, ни с последующими событиями. Более того, не могу даже установить его приблизительную дату. Но мне это не мешает. Я вижу все, как будто это было вчера.

Я запечатлеваю эти зарницы памяти по мере их возникновения.

ПАСЬЯНС

Это произошло в последние годы жизни отца, когда он писал свой последний большой роман «Воскресение».

Раз я вошла в его кабинет и увидела, как он раскладывал на столе карты. Часто, желая отдохнуть или поразмыслить о написанном, отец прибегал к пасьянсу, но, раскладывая карты, все же думал о своем. Он загадывал: если пасьянс выйдет, он сделает так, а если нет,— поступит иначе.

Зная эту его привычку, я спросила его:

— Ты что-то задумал?

— Да.

— А что?

— А вот что. Если пасьянс выйдет, Нехлюдов женится на Катюше; если нет, я их не поженю.

Когда отец закончил пасьянс, я его спросила:

— Ну и что же?

— А вот что,— сказал он,— пасьянс вышел, но Катюша не может выйти за Нехлюдова...

И он мне рассказал забавный случай из жизни Пушкина, о котором ему поведала его друг княжна Мещерская. «Однажды Пушкин сказал княжне: «Представьте себе, что сделала моя Татьяна? Она отказала Онегину. Этого я от нее никак не ожидал» [1].

— Так вот,— заметил отец,— когда персонаж создан писателем, он начинает жить своей собственной жизнью, независимой от воли автора. Автору остается только следовать его характеру. Вот почему моя Катюша и пушкинская Татьяна поступают согласно своей, а не авторской воле.

«Однако, — подумала я, — чтобы создавать живые персонажи, надо быть Пушкиным... или Толстым».

ИСКУССТВО БЫТЬ СКУЧНЫМ

Если в картине, спектакле, книге все детали обозначены,— это обычно вызывает чувство скуки.

Напротив, если автор намечает только главные линии, предоставляя остальное воображению зрителя или читателя, им кажется, что они творят вместе с автором. Несомненно, эти главные линии должны обладать способностью возбудить ваше воображение, заинтересовать вас, открывать широкий кругозор.

Чтобы получить золото в искусстве, — говорил отец, — надо собрать много материала и просеять его сквозь решето критики.

Отец любил цитировать фразу из французского письма: «Простите мне длинноты, у меня не было времени написать короче».

Известно, что во времена Шекспира никто не затруднял себя созданием пышных декораций. Достаточно было написать на столбе, что собою представляет данная «декорация». А кто может сказать, что публика тогда менее наслаждалась театром, чем если бы каждый аксессуар обстановки соответствовал эпохе и был бы на своем месте.

Отец приводил пример двух описаний: плохого и хорошего.

В одном французском романе он нашел несколько страниц с описанием запаха жареного гуся.

— Конечно,— говорил отец,— до последней страницы ощущаешь в носу запах жареного гуся. Но настоящий ли это прием для создания впечатления? Помните ли, как Гомер описывает красоту Елены? «Когда Елена вошла, увидев ее красоту, старцы встали». Простые слова, но вы видите, как перед мощью этой красоты встают старцы. Не нужно было описывать ее глаза, рот, волосы и т. д. Каждый может вообразить Елену по-своему. Но каждый чувствует силу красоты, перед которой встали старцы.

И в заключение отец цитирует Вольтера: «Искусство быть скучным — это сказать все».

ПАОЛО ТРУБЕЦКОЙ

Однажды вечером мне доложили, что к нам пришли мои друзья — барышни Трубецкие вместе с их кузеном скульптором Паоло Трубецким. Я о нем уже много слышала. Он был большой оригинал. Его детство и юность прошли в Милане. Живя в Италии, Трубецкой никогда не посещал музеев. Он был строгим вегетарианцем. Мать его была американка из южных штатов. Сам он не говорил по-русски. Утверждали, что Трубецкой очень талантлив и за границей его имя широко известно.

Я ожидала его с нетерпением. Все, что связано с искусством, меня всегда очень интересовало.

Я увидела высокого, застенчивого и молчаливого юношу, но с глазами, которые словно впивались во все, что попадало в поле их зрения.

Первый разговор Трубецкого с моим отцом был забавным.

— Я ничего не читал из ваших книг,— сказал Трубецкой.

— И хорошо сделали,— заметил отец.

— Но я прочел вашу статью о вреде табака, я хотел бросить курить.

— Ну, и как?

— А так: прочел статью и продолжаю курить.

И оба собеседника рассмеялись.

С первого взгляда Трубецкой был захвачен внешностью

отца и следил за каждым его движением и жестом. Художник страстно изучал свою будущую модель, открывая в ней то, что нужно для создания скульптуры.

По характеру отец был скромен и застенчив. Ощущая на себе пристальный взгляд гостя, он все более смущался.

— Я понял теперь,— шепнул он мне,— что вы, женщины, должны испытывать, когда кто-нибудь в вас влюблен. Как это стеснительно!

Чтобы спастись от пристального взгляда своего гостя, отец решил отправиться в... баню *. Он громко заявил об этом всем присутствовавшим. И вдруг я увидела, как оживился Трубецкой.

— А я, Лев Николаевич, пойду с вами, если разрешите.

Увидеть свою модель без покровов было для скульптора неожиданной удачей. Он весь засиял от радости.

Отец ужаснулся.

— Нет,— сказал он,— я пойду в баню в другой раз. Сегодня очень холодный вечер...

Как известно, Трубецкой сделал несколько бюстов и статуэток Толстого[2]. Возможно, это наиболее удавшиеся творения великого скульптора.

«КТО БОИТСЯ СМЕРТИ»

Однажды в Ясной Поляне во время обеда за столом находились, кроме нашей многочисленной семьи и семьи тети Тани[3], несколько гостей и друзей. Среди них был наш великий Тургенев.

Заговорили о смерти, о страхе перед неизбежным концом.

— Кто боится смерти, пусть поднимет руку, — сказал Тургенев и поднял свою. Он посмотрел вокруг себя. Только его большая прекрасная рука была поднята. За столом сидели мои братья, сестра, мои кузены и кузины — целая компания девушек и юношей моложе двадцати лет. Разве в этом возрасте боятся смерти?

— По всему видно, что я один,— грустно сказал Тургенев.

Тогда отец поднял руку.

— Я тоже,— сказал он,— боюсь смерти.

---

* В эту эпоху в русских домах ванны были редким явлением. Ходили в общественные бани.

И тут раздался звонкий голос тети Тани.

— Однако, веселенькая тема для разговора! — воскликнула она. — Нельзя ли найти менее мрачную?

— Но, Таня,— сказал отец, любивший пошутить со своей свояченицей, — знаешь, ведь и ты умрешь!

— Я умру! Еще одна из твоих шуток! — не усумнившись, воскликнула тетя.

Все рассмеялись и заговорили о другом.

СЕКТА ТОЛСТОВЦЕВ

Один из моих друзей, Василий Маклаков, человек образованный и острого ума, говорил о последователях Толстого: «Тот, кто понимает Толстого, не следует за ним. А тот, кто следует за ним, не понимает его».

Мне часто приходилось убеждаться в справедливости этих слов. Среди многочисленных посетителей, прибывавших со всех концов света повидать отца, было много так называемых «толстовцев». Чаще всего они стремились внешне походить на своего учителя, не уяснив себе глубину его идей. Те, которые понимали Толстого, не могли за ним следовать. Ведь Толстой считал, что каждый человек свободен жить согласно своим взглядам. Итак, для тех, кто понимал Толстого, внешние признаки не имели большого значения.

Однажды среди людей, бывших у отца, я увидела неизвестного молодого человека. Он был в русской рубашке, больших сапогах, в которые с напуском были заправлены брюки.

— Кто это? — спросила я отца.

Папа́ наклонился ко мне и, закрывая рукой рот, прошептал мне на ухо:

— Этот молодой человек принадлежит к самой непостижимой и чуждой мне секте — секте толстовцев.

У СУМАСШЕДШИХ

Отца очень интересовали сумасшедшие. При любой возможности он их внимательно наблюдал. Он говорил, что безумие — это эгоизм, доведенный до своего предела.

Сад нашего московского дома граничил с большим парком клиники для душевнобольных. Только дощатый

забор разделял их. В его щели мы могли видеть, как по аллеям гуляют больные. С некоторыми из них мы познакомились. Они нам протягивали цветы, а когда смотрители за ними не наблюдали, мы беседовали с ними. Один из несчастных потерял разум после смерти своего единственного ребенка, мальчика в возрасте моего маленького брата Вани. Больной очень привязался к Ване. Он терпеливо ожидал его появления в саду, срывал для него самые красивые цветы, которые находил в парке.

Ваня был полон любви и ласки ко всем окружающим. И под влиянием нежности моего маленького брата в душе больного вновь пробудилось желание жить. Выйдя из клиники, он написал моей матери трогательное письмо. Ваня внушил ему, что еще много любви и очарования в этом мире, и он благодарен той, которая дала жизнь такому прелестному существу.

Однажды одному душевнобольному удалось сбежать из клиники, и он спрятался в нашем саду. Смотрители бегом примчались к нам и, получив разрешение осмотреть сад, стали шарить во всех углах. Наконец они нашли несчастного, скрывавшегося за деревом.

Отец знал психиатра клиники, профессора Корсакова. Это был ученый, известный своими исследованиями в области нервных и психических заболеваний. Отец охотно беседовал с ним на эти темы.

Однажды вечером Корсаков пригласил нас на представление, где актерами и зрителями были сами больные[4]. Спектакль прошел с успехом. Было сыграно несколько маленьких сцен. Нельзя было подумать, что роли исполняют душевнобольные. Но о зрителях этого нельзя было сказать. Помню, одна молоденькая девушка, сидевшая вблизи меня, не могла удержаться от смеха. Ее лицо багровело от натуги, но смех овладевал ею, и в зале раздавался безумный, пугающий хохот, напоминающий скорее рыдания. Другие зрители бормотали что-то сквозь зубы. Некоторые, сидевшие между смотрителями и санитарами, зло посматривали то вправо, то влево, не обращая внимания на сцену.

Во время антракта несколько человек подошли к моему отцу и заговорили с ним. Вдруг мы увидели бегущего к нам больного с черной бородой и сияющими за стеклами очков глазами. Это был один из наших друзей.

— Ах, Лев Николаевич! — воскликнул он весело. — Как я рад вас видеть! Итак, вы тоже здесь! С каких пор вы с нами?

Узнав, что отец здесь не постоянный обитатель, а только гость, он был разочарован.

МУЖИК

Отец всегда ходил в традиционной блузе, а зимой, выходя из дома, надевал тулуп. Он так одевался, чтобы быть ближе к простым людям, которые при встрече будут обходиться с ним, как с равным. Но иногда одежда Толстого порождала недоразумения. Вот что случилось однажды.

В Туле ставили «Плоды просвещения», сбор предназначался приюту для малолетних преступников. Меня попросили сыграть роль в пьесе. Я согласилась и часто ездила из Ясной Поляны на репетиции [5].

Во время одной из репетиций швейцар сообщил нам, что кто-то просит разрешения войти.

— Какой-то старый мужик,— сказал он.— Я ему втолковывал, что нельзя, а он все стоит на своем. Думаю, он пьян... Никак не уразумеет, что здесь ему не место...

Мы сразу догадались, кто этот мужик, и, к большому неудовольствию швейцара, велели немедленно впустить его.

Через несколько минут мы увидели моего отца, который вошел, посмеиваясь над тем, с каким презрением его встретили из-за его одежды.

САМОВАР НЕ УКРАСТЬ

Девяностые годы прошлого века. Зимняя ночь. Зала нашего московского дома. Только папá и я вдвоем в пустой комнате. Мы сидим у остывшего самовара за столом: на нем остатки пирожных, кожура от фруктов, посуда — все, что осталось после наших многочисленных гостей.

В этот вечер у нас, как обычно, было довольно разнородное общество. Папá и я обсуждали ушедших гостей. Среди них было два друга моего отца — два профессора, часто посещавших наш дом. Один из них — профессор

права Иван Янжул, толстый, приветливый добряк; другой — философ Николай Грот, главный редактор журнала «Вопросы философии и психологии», в котором сотрудничает мой отец.

Были также мои друзья — юные девушки, молодые люди. Два молодых человека часто бывают у нас, и заметно, что они ухаживают за мной.

Папá спрашивает, как я отношусь к ним и что я думаю об их настойчивом внимании ко мне. Как всегда, я отвечаю ему с полной откровенностью.

— Думаешь ли ты, что они хотят на тебе жениться?

— Да, иногда мне это кажется вероятным,— говорю я ему, и мы начинаем размышлять о преимуществах брака с одним или с другим, обсуждать их достоинства и недостатки, взвешивая шансы на счастье с тем или с другим.

— Но,— вдруг говорит папá,— не приписываем ли мы им намерения, которые, возможно, им никогда не грезились?

— Возможно,— говорю я неуверенно.

В это мгновение мы слышим, как к нам наверх поднимается моя мать посмотреть, что мы делаем в этот поздний час.

— О чем вы шепчетесь, как заговорщики? — спрашивает она.

— А вот,— говорит папá,— мы спрашиваем себя — Таня и я, не хотят ли Янжул и Грот украсть наш самовар?

Моя мать, по обыкновению, не понимает шутки.

— Что за глупости? — говорит она.— Знаете ли вы, что сейчас два часа ночи? Воображаю, когда завтра проспется Таня...

Папá поднимается, я за ним. Желаю родителям спокойной ночи. Целуя отца, я шепчу ему на ухо:

— Самовар не даст себя украсть...

ГЛУПЕЕ ТЕБЯ?

В юности я была, как многие в моем возрасте, высокомерной и более строгой к другим, чем к себе. Отец замечал это и огорчался. С присущей ему деликатностью он решил исправить меня. Каждый раз, когда я отзывалась легко и поверхностно о человеке,— он меня обычно переспрашивал.

— До чего глуп этот человек,— говорила я.

Отец с невинным видом:

— Глупее тебя?

Когда я говорила о мужчине, что он невыносим, а о женщине, что она безобразна, отец всегда спрашивал:

— Невыносимее тебя? Безобразнее тебя?

Я прекрасно понимала его упрек, но не хотела признаться в этом и дерзко отвечала:

— Да, глупее меня, невыносимее меня, безобразнее меня.

Но урок отца пошел мне впрок. Тому доказательство: я помню его до сих пор.

ВАЛЬС ШОПЕНА

В детстве нас учили игре на фортепиано. Мой брат Илья был к этому абсолютно не способен. Его учитель-француз говорил, что, когда Илья начинает играть, собаки с воем убегают.

Однажды, когда отец занимался в своем кабинете, он вдруг услышал, как Илья поразительно лихо стал играть Шопена, ни на минуту не отпуская педали. Не обращая внимания на фальшивые ноты, он продолжал в ужасающем фортиссимо.

Отец поднялся и приоткрыл дверь в комнату, где играл Илья. Тут он понял, почему Илья стал таким виртуозом: в кабинете он был не один. Там находился наш столяр Прохор, вставлявший двойные рамы в окна. Мы все, особенно Илья, дружили со старым Прохором. Илья часто бывал у него в мастерской, научился столярничать и делать маленькие вещицы из дерева.

Папа́ понял, что Илья хотел блеснуть своей игрой перед Прохором. Вот почему бедный Шопен был принесен в жертву.

Папа́ тихо вернулся к себе, а потом поделился с нами своим наблюдением.

С тех пор, если кто-нибудь из нашей семьи хотел поразить весь мир или заставить восхищаться своей персоной,— ему говорили: «Это для Прохора».

И уверяю вас, что эти слова часто удерживали нас от бахвальства.

ЦЫПЛЕНОК

Обычно осенью моя мать уезжала в Москву с младшими детьми, учившимися там в школе. Отец, сестра и я оставались в Ясной Поляне еще на несколько месяцев. Как и отец, мы жили подобно Робинзону, а именно: старались сами себя обслуживать, без помощи прислуги. Мы убирали комнаты, приготовляли еду, конечно, строго вегетарианскую.

Но однажды мы узнаем: сегодня приезжает наша тетя — большой друг семьи, которую мы нежно любим. Нам известно, что тетя любит вкусную еду, особенно мясную. Что делать? Приготовить «труп»? (Так мы называем мясо.) Но эта мысль вызывает в нас чувство ужаса. Пока мы с сестрой обсуждали этот вопрос, вошел отец. Мы сказали ему, что не знаем, как быть.

— А вы,— сказал он,— приготовьте обед, как обычно.

Днем приехала тетя, как всегда, красивая, веселая, энергичная.

Наступил час обеда, мы пошли в столовую.

И что же мы там увидели? На приборе для тети лежал огромный кухонный нож, а к ножке стула была привязана живая курица. Бедная птица билась и тянула за собой стул.

— Видишь? — сказал отец нашей гостье.— Зная, что ты любишь есть живые существа, мы тебе приготовили цыпленка. Никто из нас не может его убить, и поэтому мы положили для тебя этот смертельный инструмент. Сделай это сама.

— Еще одна из твоих шуток! — воскликнула тетя Таня, смеясь.— Таня, Маша, сейчас же отвяжите бедную птицу и верните ей свободу.

Мы поспешили выполнить желание тети. Освободив цыпленка, мы подали на стол приготовленные макароны, овощи, фрукты. Тетя все ела с большим аппетитом. Но я должна заметить, что этот урок любимого шурина не переубедил ее. Она продолжала есть мясо.

ПАПА́ ПОЛУЧАЕТ «НА ЧАЙ»

От Москвы до Ясной Поляны около двухсот километров. Иногда отец проделывал этот путь пешком. Ему нравилось быть паломником; он шел с мешком за спиной по большой дороге, общаясь с бродячим людом, для которого

он был безвестным спутником. Путешествие обычно занимало пять дней. В пути он останавливался переночевать или перекусить в какой-нибудь избе или на постоялом дворе. Если попадалась железнодорожная станция, он отдыхал в зале ожидания третьего класса.

Раз во время такой остановки он решил пройтись по платформе, у которой стоял пассажирский поезд, готовый к отправлению. Вдруг отец услышал, как кто-то его окликает:

— Старичок! Старичок! — взывала дама, высунувшись из окна вагона.— Сбегай в дамскую комнату и принеси мне сумочку, я ее там забыла...

Отец бросился исполнить просьбу и, по счастью, нашел сумочку.

— Большое спасибо,— сказала дама,— вот тебе за твой труд. — И она протянула ему большой медный пятак. Отец спокойно опустил его в карман.

— Знаете ли вы, кому вы дали пятачок? — спросил попутчик даму. Он узнал в запыленном от долгого перехода страннике знаменитого автора «Войны и мира».— Это Лев Николаевич Толстой.

— Боже! — воскликнула дама.— Что я наделала! Лев Николаевич! Лев Николаевич! Ради бога, простите меня, верните мне пятачок! Как неловко, что я вам его сунула. Ах, боже мой, что я наделала!..

— Напрасно вы так волнуетесь, — ответил ей отец, — вы ничего не сделали плохого... А пятачок я заработал и оставлю себе.

Поезд засвистел, тронулся, увозя даму, молившую о прощении и просившую вернуть ей пятак.

Отец с улыбкой смотрел вслед уходящему поезду.

БЫЛ ЛИ ТОЛСТОЙ СУЕВЕРЕН?

Я уверена, спроси моего отца — суеверен ли он, и он сказал бы решительно: нет.

Однако я часто подмечала, что бывали случаи, когда он некоторым приметам придавал значение. Несколько раз я ощущала, как его сильные руки, опустившись на мои плечи, заставляли меня обернуться, чтобы я именно справа увидела нарождающийся месяц.

Если он надевал, как славный король Дагоберт[6], свою блузу наизнанку, он явно испытывал досаду и ожидал неудач или неприятностей.

Задумывая что-нибудь, он часто говорил себе: «Если сбудется, сделаю это; не сбудется, не стану делать».

Однажды мы ехали верхом из Ясной Поляны к моему дяде Сереже Толстому. Его имение было в тридцати пяти километрах от нашего. По дороге мы проехали несколько деревень. Русские деревни расположены вдоль одного длинного ряда, и эта единственная, всегда очень широкая улица тянется иногда на несколько километров. Мы ехали по одной из таких улиц крупной рысью, как вдруг отец повернул вправо лошадь и объехал бочку на колесах, стоявшую перед избой. Затем он продолжил путь. Я следовала за ним и, когда мы поравнялись на большой дороге, спросила:

— Скажи, зачем ты объехал бочку?

— Разве ты не видела, что черная кошка перебежала дорогу и спряталась под колесами бочки?

— Значит, ты сделал это, чтобы не проехать по дороге, которую перебежала кошка?

Отец не ответил мне, и мы продолжали свой путь.

ЛОГИЧЕСКАЯ НЕПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Во время русско-японской войны отец со страстной заинтересованностью следил за всеми ее перипетиями. Когда русские сдали врагу Порт-Артур, он вознегодовал.

— В мое время этого бы не сделали,— сказал он.

— А что бы сделали? — спросил присутствовавший при разговоре последователь отца.

— Взорвали бы крепость, но не сдали бы ее врагу.

— И убили бы всех находящихся в ней людей? — Толстовец был задет за живое словами своего учителя.

— Что вы хотите! Раз ты военный, ты должен исполнить свой долг[7].

Толстовец недоумевал.

А я спрашивала себя: одна ли только логика прозвучала в устах отца? Может быть, также и ожившие воспоминания былого воина?

«СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»

Одно время отец интересовался театром. Однажды он пошел в Императорский Малый театр посмотреть забавную пьесу Лабиша «Соломенная шляпка». Отец работал тогда над комедией «Плоды просвещения».

Во время антракта он встретил в фойе знакомого профессора. Тот смутился, что Толстой застал его на представлении такой фривольной пьесы.

— И вы, Лев Николаевич, пришли посмотреть этот вздор,— сказал он, усмехнувшись.

— Я всегда мечтал написать нечто подобное,— сказал отец, — но у меня не хватило на это таланта.

ОН НЕ ЧИХНУЛ

Когда папа́ чихал, казалось, что взрывается бомба: слышно было по всему дому. Если это случалось ночью, моя мать внезапно просыпалась и после пережитого испуга всю ночь не могла больше сомкнуть глаз.

— Когда захочешь ночью чихать,— сказала она отцу,— разбуди меня тихонько, и тогда я смогу снова уснуть.

Отец пообещал.

Однажды ночью ему захотелось чихнуть, и он тихонько разбудил жену.

— Соня,— сказал он,— не пугайся, я сейчас буду чихать.

Мать проснулась, прислушалась. Прошло две, три, пять минут... Ничего. Она наклонилась над ним и услыхала его ровное дыхание. Желание чихнуть прошло, и он снова спокойно уснул.

МАМА́ СМЕЕТСЯ

Мама́ редко смеялась. Быть может, поэтому смех придавал ей особое очарование.

Я вспоминаю два случая, когда она смеялась от всего сердца, и оба раза благодаря отцу.

Моя мать обожала маленьких детей. Когда мы все выросли и ей не нужно было заботиться о нас, она почувствовала себя опустошенной. Она не упускала случая поухаживать за ребенком, где бы его ни нашла.

Однажды она нянчилась с деревенским мальчиком.

— Я закажу для тебя гуттаперчевую куклу,— сказал отец,— у которой будет вечный понос. Надеюсь, тогда ты будешь вполне счастлива.

Мама́ рассмеялась, закрывая рот рукою, стараясь удержаться от несвойственного ей веселья.

В другой раз. Я приезжаю в Ясную Поляну.

— Берегись,— говорит отец,— мама́ только что купила огромное количество краски, и теперь она красит все, что ей попадется под руку. Но по справедливости я должен признать: до сих пор она щадила живые существа...

Мама́ чувствует нежность в шутке мужа и счастлива. Она смеется, смущаясь и удивляясь, что не может сдержать веселья.

Отец рад, что ее позабавил, и нежно смотрит на нее.

ЖАНДАРМ

Отец всегда путешествовал в вагоне третьего класса.

Однажды он по делам отправился в маленький городок, расположенный в пятидесяти километрах от Москвы.

Здесь он остановился у шурина, должностного лица в этом городке. Закончив дела, отец отправился на вокзал, чтобы поехать домой. Дядя со своими семейными его провожал. На станции их подобострастно приветствовал жандарм, разукрашенный всеми знаками служебного отличия.

Жандарм знал, что уезжающий — знаменитый писатель, граф Толстой. И только отец сделал несколько шагов к кассе, как жандарм, опередив его, бросился навстречу, щелкая каблуками и козыряя.

— Пусть его сиятельство не беспокоится. Его сиятельство разрешит взять для него билет? Какого класса для его сиятельства — первого, второго?

— Второго,— смутившись, сказал отец.

Вернувшись домой, отец рассказал, как он спасовал перед жандармом. Он смеялся над собой и не мог простить себе этой слабости. Он презирал себя за нее.

Было видно, как беспокоит его это небольшое происшествие. Он не раз рассказывал об этом другим.

Я же думаю, что не из-за слабости отец позволил жандарму взять билет второго, а не третьего класса. Просто он не мог обмануть его ожидания. Сознательно отец никогда не хотел причинить кому-либо неприятность. Он знал, что если он возьмет билет третьего класса, он огорчит жандарма.

Но отец всегда был готов обвинять себя во всех возможных и воображаемых грехах.

ЕГО СЛОВЕЧКИ

Когда моему отцу было восемьдесят лет и его спрашивали: «Как вы себя чувствуете?» — он отвечал, если ощущал слабость и апатию:

— Сегодня чувствую себя так, как будто мне восемьдесят лет.

* * *

Об эгоцентричном, влюбленном в себя человеке он говорил:

— У этого человека огромное преимущество: у него нет соперника...

* * *

Если он просил чего-либо, что ему могли не дать, он говорил:

— Я пошутил... Мне совсем этого не хочется...

* * *

Когда ему хотелось что-либо сделать, а он опасался, что не сможет это выполнить, или желал получить то, что трудно давалось, он говорил:

— Когда я вырасту большой, то я это сделаю.

Или:

— Когда я вырасту большой, то получу то, что пожелаю.

Я ЛЮБЛЮ ВСЕ, ЧТО ИМЕЮ

В первые годы женитьбы отца его посетил в Ясной Поляне русский писатель граф Соллогуб. Он увидел, что Толстой доволен, вполне удовлетворен своей судьбой.

— Какой вы счастливый человек,— сказал ему Соллогуб,— вы имеете все, что любите.

— Нет, — отвечал отец,— я не все имею, что люблю, но я люблю все, что имею.

ВЕЛОСИПЕД

Отец любил все виды спорта. В конце прошлого века, когда первые велосипеды вошли в моду, он приобрел велосипед и зимой катался на нем в большом московском манеже.

— Со мной происходит смешное явление,— рассказывал он.— Стоит мне представить себе препятствие, как я ощущаю неодолимое к нему влечение и в конце концов на него наталкиваюсь. Это особенно относится к толстой даме, которая, как и я, учится ездить на велосипеде. У нее шляпа с перьями, и стоит мне взглянуть, как они колышутся, я чувствую, — мой велосипед неотвратимо направляется к ней. Дама издает пронзительные крики и пытается от меня удрать, но — тщетно. Если я не успеваю соскочить с велосипеда, я неизбежно на нее налетаю и опрокидываю ее. Со мной это случалось уже несколько раз. Теперь я стараюсь посещать манеж в часы, когда, я надеюсь, ее там нет. И я спрашиваю себя,— замечает он, — неизбежен ли этот закон, по которому то, чего мы особенно желаем избежать, более всего притягивает нас?

«ЖЕНОФОБИЯ»

Отец был невысокого мнения о женщинах. Часто он выражал свое презрение к ним с насмешкой, но бывало, пытаясь убедить своего собеседника, он говорил об этом и серьезно. В домашнем кругу мы называли такие беседы «женофобией».

Случалось, когда мужчины оставались в доме одни, он пользовался этим, чтобы изничтожать нас.

— Мы немножко «женофобили», — говорил он, улыбаясь.

Иногда отец высказывал свое настоящее мнение о женщинах. Он считал, что женщина, живущая по законам морали и религии, имеет полное право на уважение. Женщина обладает драгоценными качествами, не присущими мужчине, и она неправильно поступает, желая сравняться с ним в правах, которых она лишена.

Если женщина пытается своими чарами соблазнить мужчину, наряжаясь для этого в непристойные одежды; если она полагает, что главная связь мужчины и женщины — в наслаждении, и избегает материнства для сохранения своей красоты, то такая женщина — существо презренное и опасна для общества.

— Когда я встречаю такого рода женщину,— говорил он,— мне хочется крикнуть: «Воры! Помогите!» — и призвать полицию.

Однажды я слышала, как отец говорил с человеком, защищавшим права женщины, считавшим, что она и

мужчина обладают одинаковыми возможностями и способностями.

— Нет,— возражал он,— и даже если допустить, что женщина и мужчина равны в своих способностях, я должен указать, что у нее есть свойство, которого нет у нас.

— Какое?

— А вот какое: рожать детей...

Когда отец работал над своим трактатом об искусстве, я часто переписывала рукопись.

Однажды он попросил страницу из моего дневника, чтобы вставить ее в свою книгу. Поясняя этот отрывок, он написал, что цитирует слова друга, разбирающегося в искусстве. Я его спросила:

— Понимаю, почему ты меня не назвал, но почему ты написал ami («друга»), а не amie («подруги»)?

— Видишь ли,— отец был немного смущен,— чтобы читатель проникся бóльшим уважением к высказанному мнению.

КОГДА ОН ПОНЯЛ ЖЕНЩИНУ

Когда мой отец писал роман «Семейное счастие», он еще не был женат.

— Мне казалось тогда,— сказал он мне однажды,— что я понимаю женщину до глубины ее души. Но когда я женился, то увидел, что я совсем ее не знаю. И только благодаря своей жене я научился ее понимать. А теперь,— продолжал он, гладя мои волосы,— с тех пор, как мои взрослые дочери доверяют мне свои тайны и раскрывают свою душу, я сознаю, что ни до женитьбы, ни позднее я ничего не знал о женщине и только теперь начинаю ее понимать.

КТО РАБОТАЕТ, А КТО ПОЕТ

Однажды вечером в Ясной Поляне говорили о распределении труда. Отец в это время писал книгу «Так что же нам делать?». Толстой страстно протестовал против эксплуатации рабочих привилегированными классами. Он доказывал в ней несправедливость того, что стыдливо называют «распределением труда».

— Ручной труд,— говорил он,— всегда необходим, а вот большая часть научного и артистического труда

которым мы занимаемся, служит только узкому кругу людей, составляющих привилегированный класс. Этот труд почти всегда бесполезен для рабочих и крестьян, в то время как без их работы мы не смогли бы существовать и производить этот эрзац науки и искусств, которыми мы так гордимся...

— Позвольте, Лев Николаевич! — прервал отца художник Репин, который тогда гостил у нас.— Вы знаете, я живу в предместье Петербурга, вблизи строительной площадки, где сооружаются суда. И часто вижу, как рабочие тащат, привязав к себе веревками, огромные балки. Однажды, когда рабочие выбились из сил под ношей, более тяжелой, чем обычно, я увидел, как два молодца, оставив других, на нее вскочили и запели веселую песню прекрасными энергичными голосами. Их воодушевление сообщилось рабочим, и прилив новых сил облегчил им напряженный труд.

— Ну и что? — спросил отец.

— А вот что,— скромно сказал Репин,— те, кто своим искусством облегчают жизнь рабочих, имеют право на существование. У них своя роль. Я чувствую, что я — один из них. Я хочу быть из тех, кто поет.

— Очень хорошо,— заметил, смеясь, отец.— Плохо только то, что большинство хочет взобраться на балку и очень мало желающих ее тащить... В этом и заключается проблема!

ПРИМЕЧАНИЯ

В этой книге впервые собраны вместе мемуары Т. Л. Сухотиной-Толстой. Часть из них уже печаталась ранее («Из дневника», «Друзья и гости Ясной Поляны», «О том, как мы с отцом решали земельный вопрос», «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода»). Очерки «Детство Тани Толстой в Ясной Поляне», «Отрочество Тани Толстой» и «Зарницы памяти» увидели свет только во французском переводе (Париж, 1975); на русском языке публикуются впервые (они переданы в Государственный музей Л. Н. Толстого дочерью автора — Т. М. Альбертини, проживающей в Риме).

Все воспроизводимые в книге цитаты из произведений Толстого и других лиц, а также дневниковые записи и письма сверены с печатными изданиями или с автографами, хранящимися в Отделе рукописей Государственного Музея Л. Н. Толстого.

Нумерация примечаний дана в пределах каждого очерка, а в дневнике — в пределах года. Пояснения, принадлежащие автору мемуаров, а также перевод иностранных слов даются в тексте под строкой.

В примечаниях приняты следующие условные сокращения:

ГМТ — Государственный Музей Л. Н. Толстого в Москве.

Дн. — Дневник Л. Н. Толстого (Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М., Гослитиздат, 1928—1958, тт. 46—58).

ДСТ, I, II, III, IV — «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1928; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1891—1897», ч. II. М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1897—1909», ч. III. М., изд-во «Север», 1932; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1910». М., «Советский писатель», 1936.

ЛН — «Литературное наследство».

ПСС — Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. в 90-та томах. М., Гослитиздат, 1928—1958.

ПСТ — С. А. Толстая. Письма к Л. Н. Толстому. 1862—1910. М — Л., «Academia», 1936.

ПТГ — «Л. Н. Толстой и Н. Н. Ге. Переписка». М. — Л., «Academia», 1930.

Тургенев, Письма — И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Письма, М.—Л., изд-во АН СССР, 1961—1965.

ЯЗ — «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Хранятся в Отделе рукописей ГМТ.

ДЕТСТВО ТАНИ ТОЛСТОЙ В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ *

(Стр. 29—108)

На русском языке публикуется впервые по машинописи (с собственноручными поправками автора), сохранившейся в семье Т. Л. Сухотиной-Толстой в Риме. Ксерокопия машинописи находится в Отделе рукописей ГМТ.

[1] Толстой женился на С. А. Берс 23 сентября 1862 г.

[2] Операцию производил тульский хирург В. Г. Преображенский.

[3] Имеется в виду печатание в «Русском вестнике» начала романа «Война и мир», носившего первоначально заглавие «1805 год» (журн. «Русский вестник», 1865, № 1).

[4] Из письма от 28 февраля 1865 г. (*ГМТ*).

[5] Письмо неизвестно.

[6] Из письма от 5 апреля 1866 г. (*ГМТ*).

[7] Опекуном детей Толстых после смерти их отца — Н. Н. Толстого (1837 г.) был А. С. Воейков. Изображен Толстым в незаконченном «Романе русского помещика» (*ПСС*, т. 4).

[8] О карлике Афиногеныче см. ниже.

[9] Письмо неизвестно.

[10] См. об этом: Л. Н. Толстой. Моя жизнь (*ПСС*, т. 23, с. 469—470).

[11] Сергей и Илья Толстые.

[12] Дед Т. Л. Толстой по матери — А. Е. Берс, умер 1 мая 1868 г.

[13] *ПСТ*, с. 67.

[14] Там же.

[15] Из письма от 19 ноября 1866 г. (*ГМТ*).

[16] Из письма от 14 ноября 1866 г. (*ПСТ*, с. 70).

[17] Там же, с. 69—70.

[18] И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., «Художественная литература», 1969, с. 38.

[19] Из письма от 11 ноября 1866 г. (*ПСТ*, с. 65).

[20] Из письма от 13 ноября 1866 г. (*ГМТ*).

---

* Воспоминания «Детство...» и «Отрочество Тани...» Т. Л. Толстая начала после смерти Толстого и работала над ними до конца жизни.

[21] Из письма от 4 сентября 1869 г. (*ПСТ*, с. 85).

[22] Из письма от 6 сентября 1869 г. (*ГМТ*).

[23] И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 39—40.

[24] Из письма от 28 июня 1867 г. (*ПСС*, т. 61, с. 172).

[25] Там же, с. 219.

[26] *ПСС*, т. 62, с. 272.

[27] Имеется в виду книга «Лис Патрикеич». Поэма в 12-ти песнях Иоганна Вольфганга Гёте. С 36-ю эстампами на меди и 24-мя гравюрами по рисункам В. Каульбаха. СПб., 1870. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[28] И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 53.

[29] *ПСС*, т. 83, с. 322.

[30] Из писем от 8 апреля 1882 г. (*ПСС*, т. 83, с. 330), 1 октября, 14 и 15 ноября 1883 г. (там же, с. 399, 411 и 412), 31 января 1884 г. (там же, с. 418), 29 октября 1885 г. (там же, с. 527), 29—30 апреля 1886 г. (там же, с. 564), 23 ноября 1890 г. (т. 84, с. 68).

[31] И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 29—30.

[32] Из письма от 9 апреля 1882 г. (*ПСС*, т. 83, с. 331).

[33] Из письма от 4 февраля 1884 г. (там же, с. 423).

[34] *ПСС*, т. 83, с. 424.

[35] См. Л. Н. Толстой. Воспоминания (*ПСС*, т. 34, с. 365, 365—366, 366—367, 365).

[36] Мария Николаевна Толстая вышла замуж за В. П. Толстого в 1847 г.

[37] Братья Л. Н. Толстого умерли от туберкулеза: Дмитрий Николаевич — в 1856 г., Николай Николаевич — в 1860 г.

[38] Из письма от 6 января 1855 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 293). Здесь и ниже написанные по-французски письма Л. Н. Толстого к Т. А. Ергольской даются в переводе Т. Л. Сухотиной-Толстой, несколько отличающемся от перевода в *ПСС*.

[39] Там же.

[40] Из письма от 12 ноября 1851 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 119).

[41] Повесть «Детство» Толстой начал писать в марте 1851 г. Редакция «Современника», публикуя повесть, без согласия автора дала ей название «История моего детства», что вызвало резкое недовольство Толстого. Во всех последующих изданиях Толстой печатал повесть под названием «Детство».

[42] Из письма от 12 января 1852 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 163—164).

[43] Из письма от 30 мая 1852 г. (см. *ПСС*, т. 59, с. 179).

[44] Татьяна Михайловна Сухотина (в замужестве Альбертини) родилась 6 ноября 1905 г.

[45] Л. Н. Толстой. Воспоминания (*ПСС*, т. 34, с. 366).

[46] Лев Львович Толстой родился 20 мая 1869 г.

[47] Ошибка. Мария Львовна Толстая родилась в 1871 г.

[48] И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 89—90.

[49] См. Л. Н. Толстой. Воспоминания (*ПСС*, т. 34, с. 367).

[50] 9 марта — весенний праздник, день прилета птиц.

[51] Это произошло 22 декабря 1858 г. во время охоты под Вышним Волочком. Медведицу прогнал охотник Архип Осташков. Этот случай Толстой описал в детском рассказе «Охота пуще неволи» (см. *ПСС*, т. 21).

[52] С. Ф. Сегюр. Приключения Сонечки. Париж, 1859 (русский перевод 1864 г.).

[53] Письмо от 1...6? января 1871 г. (*ПСС*, т. 61, с. 247).

[54] Толстой находился в состоянии острой депрессии, вследствие большого нервного переутомления. В письме к С. С. Урусову от апреля — мая 1871 г. он писал: «Мое здоровье все скверно. Никогда в жизни не испытывал такой тоски. Жить не хочется» (*ПСС*, т. 61, с. 253).

[55] *ПСС*, т. 61, с. 255.

[56] Из письма от 2(14) июля 1871 г. (*Тургенев, Письма*, т. 9, с. 110).

[57] Из письма от 6(18) сентября (а не августа) 1871 г. (*Тургенев, Письма*, т. 9, с. 133).

[58] А. А. Фет сообщил Тургеневу, что Толстой работает над «Азбукой».

[59] Письмо от 24 ноября (6 декабря) 1871 г. (*Тургенев, Письма*, т. 9, с. 170).

[60] Из письма от 16—17 июля 1871 г. (*ПСС*, т. 83, с. 199).

[61] Из письма от 24 июля 1871 г. (*ГМТ*).

[62] Приписка к письму, адресованному С. А. Толстой, от 23 июня 1871 г. (*ПСС*, т. 83, с. 183).

[63] Письмо от 1 июля 1871 г. (*ПСТ*, с. 109).

[64] Из письма от 30 июня 1871 г. (*ПСТ*, с. 107).

[65] Из письма от 14 июля 1871 г. (*ГМТ*).

[66] Толстой вернулся в Ясную Поляну 2 августа 1871 г.

[67] Свою «Азбуку» и первую книгу для детского чтения Толстой задумал еще в 1868 г., во время работы над романом «Война и мир». К этому времени относится конспект «Первой книги для чтения и Азбуки для семьи и школы с наставлением учителю графа Л. Н. Толстого 1868 года». Однако тогда издание не было осуществлено (см. *ПСС*, т. 48, с. 167—169). Основная работа над этим замыслом шла с сентября 1871 г. по ноябрь 1872 г., когда «Азбука» вышла в свет (см. *ПСС*, т. 22).

[68] *ГМТ*.

[69] Вслед за «Азбукой» Толстой напряженно работал над составлением «Новой азбуки» и четырех «Русских книг для чтения». Они увидели свет в 1875 г. (см. *ПСС*, т. 21).

[70] Для «Азбуки» Толстой начал большой очерк «Звезды, солнце, луна, планеты, кометы, затмения», но, написав восемь глав, остался недоволен ими и в текст «Азбуки» их не включил.

[71] *ГМТ.*

[72] *ГМТ.*

[73] *ПСС*, т. 61, с. 269.

[74] Из письма от 6...8? апреля 1872 г. (*ПСС*, т. 61, с. 283).

[75] Толстой ездил в Москву, чтобы сдать в печать первую часть «Азбуки».

[76] Сергей Петрович Арбузов, лакей в доме Толстых.

[77] *ГМТ.*

[78] Из письма от начала марта 1872 г. (*ГМТ*).

[79] Из письма от 10 марта 1872 г. (*ГМТ*).

[80] *ПСС*, т. 61, с. 271.

[81] Из письма от 6 апреля 1872 г. (*ГМТ*).

[82] Из писем от декабря 1871 г. по март 1872 г. (*ГМТ*).

[83] Петр Львович Толстой родился 13 июня 1872 г.

[84] Роман из эпохи Петра I был задуман Толстым в 1870 г. Над этим замыслом он с перерывами работал до начала 1880 г. Роман написан не был (см. *ПСС*, т. 17).

[85] *ПСС*, т. 62, с. 3.

[86] Из письма от 28 октября 1872 г. (*ГМТ*).

ОТРОЧЕСТВО ТАНИ ТОЛСТОЙ

(Стр. 111—164)

На русском языке публикуется впервые по машинописи (с собственноручными поправками автора), сохранившейся в семье Т. Л. Сухотиной-Толстой в Риме. Ксерокопия машинописи находится в Отделе рукописей ГМТ.

[1] Николай Николаевич Толстой. О нем см. Л. Н. Толстой. Воспоминания (*ПСС*, т. 34, с. 385—386).

[2] В это время в Ясной Поляне гостил Степан Андреевич Берс.

[3] Из письма от 26 октября 1872 г. (*ПСС*, т. 61, с. 333—335).

[4] Из письма от 1—4 сентября 1872 г. (*ПСС*, т. 61, с. 311).

[5] Из письма от 1 октября 1872 г. (*ГМТ*).

[6] Из письма от 28 октября 1872 г. (*ГМТ*).

[7] Там же.

[8] Из письма от 30 ноября 1872 г. (*ГМТ*).

[9] Письмо неизвестно.

[10] *ГМТ.*

[11] Письмо неизвестно.

[12] Письмо от 4 февраля 1873 г. (*ГМТ*).

[13] Из письма от 26 апреля 1873 г. (*ГМТ*).

[14] Письмо неизвестно.

[15] Из письма от 18 мая 1873 г. (*ГМТ*).

[16] Из письма от 18 мая 1873 г. (*ПСС*, т. 62, с. 27—28).

[17] *ПСС*, т. 62, с. 26.

[18] Толстой учился в Казанском университете в 1844—1847 гг., сначала на философском, затем на юридическом факультете.

[19] Эти слова Толстой впоследствии вложил в уста Первого мужика в комедии «Плоды просвещения».

[20] Ошибка памяти автора. Описываемые ниже скачки состоялись не в этот, а в следующий приезд семьи Толстых в самарское имение, 6 августа 1875 г.

[21] *ГМТ*.

[22] Из письма от 24—25 августа 1873 г. (*ПСС*, т. 62, с. 46).

[23] И. Н. Крамской приехал в Ясную Поляну 5 сентября 1873 г. Над портретами Толстого работал до середины октября. Толстой писал Н. Н. Страхову 23...24 сентября: «Уж давно Третьяков подсылал ко мне, но мне не хотелось, а нынче приехал этот Крамской и уговорил меня, особенно тем, что говорит: все равно ваш портрет будет, но скверный. Это бы еще меня не убедило, но убедила жена сделать не копию, а другой портрет для нее. И теперь он пишет, и отлично, по мнению жены и знакомых. Для меня же он интересен, как чистейший тип петербургского новейшего направления, как оно могло отразиться на очень хорошей и художнической натуре» (*ПСС*, т. 62, с. 50). Крамской написал два портрета Толстого. Один находится в Ясной Поляне, другой — в Третьяковской галерее. О портретах, написанных Крамским, В. В. Стасов писал: «Все те высокие и своеобразные элементы, которые образуют личность графа Толстого: оригинальность, глубина ума, феноменальная сила творческого дара, доброта, простота, непреклонность воли, — все это с великим талантом нарисовано Крамским на лице графа Толстого» (В. В. Стасов. Статьи и заметки, т. II. М., «Искусство», 1954, с. 123).

[24] Петр Львович Толстой умер 9 ноября 1873 г.

[25] Из письма от 18 ноября 1873 г. (*ГМТ*).

[26] Из письма от 18 ноября 1873 г. (*ПСС*, т. 62, с. 55).

[27] Из письма к А. М. Кузминскому от 18... 25 ноября 1873 г. (*ПСС*, т. 62, с. 56).

[28] Из письма от 18 ноября 1873 г. (*ГМТ*).

[29] Неточная цитата из романа «Анна Каренина», ч. 5, гл. XXVII. У Толстого (о Сереже): «Ему было девять лет, он был ребенок; но

душу свою он знал, она была дорога ему, он берег ее, как веко бережет глаз, и без ключа любви никого не пускал в свою душу» (*ПСС*, т. 19, с. 97—98).

ИЗ ДНЕВНИКА

(Стр. 167—240)

Записи из дневника Т. Л. Сухотиной-Толстой публикуются по тексту, выбранному ею и переданному биографу Толстого Н. Н. Гусеву. Текст хранится в Отделе рукописей ГМТ. Некоторые записи дополнены по позднейшим публикациям.

В ответ на просьбу Н. Н. Гусева выбрать из дневников отдельные записи, касающиеся Толстого, Т. Л. Сухотина-Толстая писала ему в марте 1946 г.: «Получивши Ваше письмо, я вытащила свои дневники, которые я давно не читала, и хотела исполнить Вашу просьбу и переписать для Вас те места, в которых я говорю о своем отце. Это оказалось невозможным, так как нет, я думаю, страницы, в которой я не упомянула бы о нем. Я дала этот дневник прочесть своему другу поэту Вячеславу Иванову, и он пришел в восторг от этого «документа огромной важности» и убеждает меня его непременно издать и написал к нему предисловие. Я еще не решила, сделаю ли я это...» (*ГМТ*). Дневник, однако, в то время издан не был. Позднее, 27 июля 1947 г. Т. Л. Толстая писала Н. Н. Гусеву: «Два дня тому назад послала Вам 100 страниц машинописи из моего дневника, все, что касалось моего отца, — не знаю, пригодится ли это для Вашей биографии» (*ГМТ*). Н. Н. Гусев включил некоторые из записей в свой биографический труд о Толстом (см. Н. Н. Гусев. Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1881 по 1885 год. М., 1970).

Отдельные дневниковые записи были опубликованы в сб. «Толстой. Памятники творчества и жизни», вып. 3. М., 1923; газ. «Неделя», 1972, № 25 (публикация Т. Н. Волковой); газ. «Литературная Россия», 1973, № 1 (публикация А. И. Шифмана); журн. «Новый мир», 1973, № 12 (публикация А. И. Шифмана). В полном виде дневник был издан в 1962 г. в Париже в переводе на французский язык, с предисловием Андре Моруа (изд-во «Plon»). Однако в текст французского издания не вошли записи 1891 г.— периода пребывания Т. Л. Толстой с отцом в Рязанской губернии на голоде. Эти записи публикуются, с некоторыми сокращениями, по двум подлинным тетрадям, хранящимся в Отделе рукописей ГМТ.

1880

[1] *Надя*, *Росса*, *Левицкий*, а также упоминаемые ниже *Дельвиги*, *К. К.* (Коля Кислинский) — молодые люди, московские и тульские знакомые Татьяны Львовны.

[2] Татьяна Львовна увлекалась рисованием, писала портреты своих знакомых. С 1881 г. училась в Московском училище живописи, ваяния и зодчества.

[3] *Княжна Марья* — персонаж из романа «Война и мир».

1882

[1] Имеется в виду старый знакомый Толстых, князь Л. Д. Урусов, в 1876—1885 гг. — тульский вице-губернатор, часто бывавший в Ясной Поляне.

[2] Дом И. А. Арнаутова в Москве по Долго-Хамовническому переулку, № 15. Покупая его, Толстой решил надстроить второй этаж. В этом доме Толстые прожили (по зимам) до 1902 г. В настоящее время здесь мемориальный Дом-музей (улица Льва Толстого, д. 21).

[3] Неточная цитата из романа А. С. Пушкина Евгений Онегин, гл. восьмая, строфа X.

[4] Впервые Толстые переехали в Москву 15 сентября 1881 г. Поселились они в доме кн. Волконского в Денежном переулке (д. № 3 по Малому Левшинскому переулку), где прожили до октября 1882 г.

[5] Т. Л. Толстая рисовала портрет Т. А. Кузминской, которая с детьми гостила в это лето в Ясной Поляне.

[6] Ссора была вызвана резким недовольством Толстого барским образом жизни его семьи в Москве. С. А. Толстая записала в дневнике: «Он сегодня громко вскрикнул, что самая страстная мысль его о том, чтоб уйти от семьи. Умирать буду я — а не забуду этот искренний его возглас...» (*ДСТ*, I, с. 130).

[7] Придуманное Толстым шутовское прозвище для пустой великосветской барышни.

[8] *Шумахер* — фирма, владевшая магазинами модной обуви в Москве и в Петербурге.

[9] См. Гете. Фауст. С 50-ю картинами А. Лиецен-Майера. Русский перевод А. Н. Струговщикова. Упомянутые ниже рисунки неизвестны.

[10] Рассказ «Перепелка» был прислан И. С. Тургеневым по просьбе С. А. Толстой для журнала «Детский отдых», издававшегося ее братом П. А. Берсом. В журнале, однако, рассказ напечатан

не был. В 1883 г. он вышел отдельным изданием вместе с рассказом Л. Н. Толстого «Чем люди живы» (см. «Рассказы для детей И. С. Тургенева и Л. Н. Толстого». Изд. П. А. Берса и Л. Д. Оболенского. М., 1883).

1883

[1] Имеется в виду картина И. Е. Репина «Поприщин» (1882) на сюжет «Записок сумасшедшего» Н. В. Гоголя.

[2] С 21 мая по 28 июня 1883 г. Толстой находился в Самарской губернии, где лечился кумысом.

[3] Н. Н. Страхов пробыл в Ясной Поляне с 12 по 27 июля 1883 г.

1884

[1] 3 июля 1884 г. Толстой записал в дневнике: «Вечером у Маши в комнате заговорили о том, как каждый провел день. Это не игрушка. Я бы ввел это в обычай» (*ПСС*, т. 49, с. 106).

1886

[1] Дешевые популярные книжки для народа. Их выпускало в свет издательство «Посредник», которым руководил В. Г. Чертков. Издательство было основано по инициативе Толстого в 1884 г., существовало до 1935 г.

[2] Толстой время от времени предпринимал походы пешком из Москвы в Ясную Поляну. Он называл их выходами в «большой свет». По пути он общался с простым народом, записывал услышанные рассказы, меткие выражения, пословицы. В этот раз его спутниками были Н. Н. Ге (сын художника) и М. А. Стахович. В одной из деревень, на ночлеге, Толстой записал со слов старика-крестьянина рассказ, впоследствии озаглавленный им «Николай Палкин» (*ПСС*, т. 26). В Ясную Поляну они пришли 9 апреля.

[3] Запрещенный цензурой трактат Толстого «Так что же нам делать?» распространялся в рукописных списках. Т. Л. Толстая и другие близкие переписывали его от руки, а вырученные от распространения деньги раздавали бедным.

[4] Т. Л. Толстая читала корректуру легенды «Крестник», набранной для издания в «Посреднике».

[5] При помощи Т. Л. Толстой рассказ «Чем люди живы» был в 1886 г. издан «Посредником» в виде альбома с двенадцатью иллюстрациями Н. Н. Ге (фототипия М. Панова, типогр. Мамонтова).

Толстой писал Н. Н. Ге о его картинах: «Они вышли прекрасно» (*ПСС*, т. 63, с. 342).

[6] Имеются в виду воскресные публичные чтения в Обществе любителей российской словесности при Московском университете. Повесть «Смерть Ивана Ильича» была вслух прочтена членами Общества Н. И. Стороженко и А. С. Пругавиным.

[7] Рассказы «Крестник», «Кающийся грешник» и «Как чертенок краюшку выкупал». Написаны по мотивам русских народных легенд. Публичное их чтение прошло с большим успехом.

[8] Толстой приехал на лето из Москвы в Ясную Поляну 29 апреля 1886 г.

[9] В письме к С. А. Толстой от 4 мая 1886 г. Толстой писал: «Прежде жаловались на бедность, но изредка, некоторые; а теперь это общий один стон. На дороге, в кабаке, в церкви, по домам, все говорят об одном: о нужде» (*ПСС*, т. 83, с. 568).

[10] Речь идет о задержанной цензурой (впоследствии разрешенной) 12-й части «Сочинений гр. Л. Н. Толстого», издававшихся С. А. Толстой. В книге впервые были напечатаны повесть «Смерть Ивана Ильича», рассказы «Кающийся грешник», «Сказка об Иване-дураке», «Мысли, вызванные переписью» (отрывки из трактата «Так что же нам делать?») и другие произведения. Том был задержан осенью 1885 г. из-за находившихся в нем статей Толстого «Исповедь» и «Как я понял учение Христа» («В чем моя вера»), запрещенных Синодом. В ответ на просьбу С. А. Толстой о пересмотре этого решения К. П. Победоносцев писал ей, что «нет никакой надежды» на разрешение статьи к печати, ибо она произвела бы «вредное действие на умы», подобно действию «первых проповедников революции» (*ГМТ*). Выпуск тома в свет был разрешен 8 апреля 1886 г. после изъятия из него «крамольных» статей Толстого.

[11] На деловые и содержательные письма Толстой обязательно отвечал. Письма же о присылке денег или автографов он часто оставлял без ответа.

[12] Имеется в виду Козлова-Засека или Козловка — железнодорожная станция в трех верстах от Ясной Поляны. Ныне ст. Ясная Поляна Московско-Курской ж. д.

[13] То есть убирает сено за косарем — немым яснополянским мужиком.

[14] Отдельная, 13-я часть «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» (вышла в 1890 г.) включала повесть «Крейцерова соната», комедию «Плоды просвещения», статьи «О переписи в Москве», «Так что же нам делать?» и другие произведения. Одновременно С. А. Толстая подготовила к печати новое, удешевленное издание «Сочинений гр. Л. Н. Толстого» в 12-ти частях, которое вышло в 1886 г.

[15] Художник Н. Н. Ге часто гостил у Толстого в Москве и в Ясной Поляне. Подробно об отношениях Толстого и Ге см. ниже — очерк «Николай Николаевич Ге» и прим. к нему.

[16] Убирая сено для яснополянской вдовы Анисьи Копыловой, Толстой сильно ушиб ногу. Болезнь (рожистое воспаление) длилась несколько месяцев.

[17] Поэт А. А. Фет с женой, Марией Петровной, проживавшие в имении Степановка, Курской губернии, гостили в Ясной Поляне в первых числах октября 1886 г. Писателей связывала многолетняя дружба. Толстой высоко ценил поэзию Фета, особенно его философскую лирику. О стихотворении Фета «Майская ночь» Толстой писал, что это «одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя» (*ПСС*, т. 61, с. 235). Стихотворение «Среди звезд» Толстой находил «одним из лучших стихотворений», которые он знал (*ПСС*, т. 62, с. 303). В свою очередь, А. А. Фет преклонялся перед гением Толстого и гордился дружбой с ним. После пережитого Толстым в конце 1870-х годов идейного перелома и усиления в этот период консервативных элементов в мировоззрении Фета в отношениях между писателями наступило заметное охлаждение.

[18] 7 октября 1886 г. С. А. Толстая писала А. А. Фету: «Когда мы проводили Вас и Марью Петровну, мы все точно осиротели... Стихи Ваши доставили нам огромное эстетическое наслаждение. Мы оба с Львом Николаевичем особенно восхищались *Горной высью.* Эти стихи суть сами по себе та *Горная высь* поэзии, недостижимая нам, простым смертным, тающим перед ней, как облака. Как хорошо! Вот высшего полета поэзия!» («Яснополянский сборник», Тула, 1970, с. 190).

[19] В письме П. И. Бирюкова от 10 ноября 1886 г. речь шла о Д. А. Хилкове и Н. Ф. Джунковском. Богатые офицеры-аристократы, воспитанники Пажеского корпуса, под влиянием сочинений Толстого оставили военную службу, раздали свое имущество крестьянам и занялись земледельческим трудом. Позднее Толстой вступил с ними в переписку.

[20] Драма «Власть тьмы». Задумана Толстым в 1879 г. после ознакомления с судебным делом крестьянина Тульской губернии Ефрема Колоскова, изнасиловавшего свою падчерицу, убившего ее ребенка и покаявшегося в этом перед народом. В 1881 г., при содействии прокурора Тульского окружного суда Н. В. Давыдова, Толстой имел в тюрьме свидание с Колосковым. Толчком для начала работы над драмой послужила просьба директора московского театра «Скоморох» М. В. Лентовского о поддержке его театра «общедоступных и народных представлений» (*ГМТ*).

[21] Старый знакомый Толстых и отличный чтец А. А. Стахович гостил в Ясной Поляне с 20 по 24 октября 1886 г. Здесь он мастерски прочитал вслух драму А. Н. Островского «Не так живи, как хочется» и ряд произведений Гоголя. Во время его вторичного приезда Толстой сказал ему: «Вашим чтением вы расшевелили меня. После вас я написал драму» (А. Стахович. Клочки воспоминаний. — «Толстовский ежегодник», М., 1912, с. 27).

[22] Речь идет о матери С. А. Толстой — Л. А. Берс.

[23] Работа над крестьянским «Календарем с пословицами» была начата Толстым весной 1886 г. Помимо поговорок и пословиц, календарь содержал небольшие заметки по разным отраслям науки, а также практические советы сельскому жителю. Сам Толстой написал для «Календаря» заметки о крестьянских работах на каждый месяц. «Календарь» вышел в свет в январе 1887 г. и имел огромный успех. Евангельские тексты были изъяты из него цензурой.

[24] *«Брат на брата»* — вольная переработка Е. П. Свешниковой романа В. Гюго «Девяносто третий год», «Посредник», 1886. Толстой писал об этой переработке: «Содержание статьи прекрасное... Язык однохарактерный и в разговорах даже очень хорош и чувствуется Hugo, то есть великий мастер» (*ПСС*, т. 63, с. 254).

[25] То есть снова в Училище живописи, ваяния и зодчества.

[26] *Аким* — мужик из драмы «Власть тьмы».

1887

[1] Л. Н. Толстой в 1880-х годах выучился сапожному делу и сам шил обувь себе и младшим детям.

[2] Речь идет о повести «Крейцерова соната», замысел которой возник у Толстого в феврале 1886 г. О работе Толстого над повестью Т. Л. Толстая писала 20 октября 1887 г. Т. А. Кузминской: «Папá пишет что-то о семейной жизни, любви, ревности — я это подсмотрела, — а сегодня он сказал, что даст это нам переписывать. В какой форме это будет, не знаю» (*ГМТ*).

1888

[1] Видная украинская актриса М. К. Заньковецкая гастролировала в 1888 г. в Москве.

[2] Аналогичные мысли Толстой развивает в статьях «Так что же нам делать?», «Царство божие внутри вас», в романе «Воскре-

сепие» и других произведениях. Этой же теме посвящен раздел «Наказание» в составленном Толстым сборнике изречений «Путь жизни» (*ПСС*, т. 45).

1889

[1] После почти четырехлетнего перерыва Толстой 23 ноября 1888 г. возобновил свой дневник. Он вел дневники с 1847 г. до конца жизни.

[2] Фамилия юнкера не установлена.

[3] Одна из легенд вокруг имени генерала М. Д. Скобелева, командовавшего войсками во время русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

[4] Одна из подготовительных заметок к трактату «Что такое искусство?» (см. *ПСС*, т. 30, с. 435—436).

1890

[1] Картина Н. Н. Ге «Христос перед Пилатом» позднее получила название «Что есть истина?». По требованию святейшего Синода она была снята с XVIII выставки передвижников. При содействии Толстого картину отправили в Германию и в США, где она имела большой успех. В письме к П. М. Третьякову Толстой утверждал, что картина Ге составляет эпоху «в нашем истинном искусстве» (*ПСС*, т. 65, с. 107).

[2] Дневник и тетрадь не сохранились.

[3] «*Темные*» — прозвище, данное Софьей Андреевной простонародным посетителям Ясной Поляны и последователям Толстого.

[4] Старший брат Толстого — Сергей Николаевич с женой, Марией Михайловной, которые гостили в Ясной Поляне.

[5] На станцию Козлова-Засека Толстой часто ездил за приходившей в его адрес корреспонденцией и газетами.

[6] Брошюра американского врача Э. Бёрнс «Диана. Психофизиологический очерк о половых отношениях для вступивших в брак мужчин и женщин» (Нью-Йорк, 1887). Вместе с брошюрой Толстой получил статью того же автора «Частное письмо родителям, докторам и директорам школ» о половом воспитании детей. Считая эти работы весьма полезными, Толстой (с участием врача А. М. Богомольца) переводил их для издания в России. Одновременно он написал статью на эту же тему «Об отношениях между полами», в которой резко нападал на «неразумие установившейся распущенности как в холостой, так и в женатой жизни нашего общества» (см. *ПСС*, т. 27, с. 286—289).

[7] Ежемесячный журнал «Альфа», издававшийся с 1877 г. в Вашингтоне «Обществом морального воспитания». Его прислала редактор Каролина Б. Винслоу, призвавшая Толстого «написать о детях, в смысле наследственности» (запись от 30 октября 1890 г. — *ПСС*, т. 51, с. 98). Толстой на эту тему специально не писал.

[8] В этот свой приезд в Ясную Поляну Н. Н. Ге вылепил бюст Толстого. В ноябре он был отлит в бронзе. Бюст находится в Музее-усадьбе «Ясная Поляна». Копия — в *ГМТ*.

[9] 15 декабря 1890 г. Толстой записал в дневнике: «Нынче утром вышел, и меня встретил Илья Болхин с просьбой простить: их приговорили на шесть недель в острог. Очень стало тяжело, и целый день сжимает сердце... Надо уйти» (*ПСС*, т. 51, с. 111). Назавтра: «Вчера лег и не мог спать. Сердце сжималось... Встал с постели в два, пошел в залу ходить. Вышла она, и говорили до пятого часа... Кое-что высказал ей. Я думаю, что надо заявить правительству, что я не признаю собственности и прав, и предоставить им делать, как они хотят» (т а м ж е, с. 113).

[10] Мысль об отказе от собственности на имущество и на литературный гонорар назревала у Толстого с 1879 г. 21 мая 1883 г. он отстранился от всех имущественных и издательских дел, передав их по доверенности жене.

1891

[1] Т. Л. Толстая послала в детский журнал «Родник» свой рассказ «Учитель музыки».

[2] Повесть «Отец Сергий». Задумана и начата в 1890 г. Позднее многократно перерабатывалась, но осталась незавершенной. Опубликована после смерти Толстого, в 1911 г.

[3] *«Князь Блохин»* — прозвище нищего яснополянского крестьянина Григория Блохина, помешанного на том, что он «князь», а потому должен не работать, а жить лишь «для разгулки времени». Толстой упоминает его в трактате «Так что же нам делать?». Некоторые его фразы вложены в уста мужиков в комедии «Плоды просвещения». По предложению отца Т. Л. Толстая рисовала его портрет.

[4] Толстой в это время работал над социально-обличительным трактатом «Царство божие внутри вас» (см. *ПСС*, т. 28).

[5] Толстой собирал материал для статьи о пользе вегетарианства (см. «Первая ступень», *ПСС*, т. 29).

[6] Начало 1890-х годов было отмечено в России тяжелым всенародным бедствием — недородом. Свыше сорока миллионов крестьян средней полосы оказались на краю гибели. В 1891—1893 гг.

Толстой возглавил широкое общественное движение в помощь голодающим крестьянам.

Поселившись со своими помощниками в центре голодающего края — селе Бегичевке, Данковского уезда, Рязанской губернии, Толстой на свои средства, а также на пожертвования, поступавшие со всех концов России и из многих стран мира, организовал сеть бесплатных столовых, в которых кормились многие тысячи крестьян, особенно детей и стариков. Среди помощников Толстого находились и его дочери — Татьяна и Мария. Активное участие в сборе пожертвований принимала С. А. Толстая.

[7] Вначале Толстой и сам придерживался этого взгляда. «Я думаю, — писал он 4 июля 1891 г. Н. С. Лескову, — что надо все силы употреблять на то, чтобы противодействовать, — разумеется, начиная с себя, — тому, что́ производит этот голод. А взять у правительства или вызвать пожертвования, то есть собрать побольше мамона неправды и, не изменяя подразделения, увеличить количество корма, — я думаю, не нужно, и ничего, кроме греха, не произведет» (*ПСС*, т. 66, с. 12). Однако, когда голод принял большие размеры, он, не раздумывая, отправился на место бедствия и принял деятельное участие в помощи голодающим. «...Не могу жить дома, писать. Чувствую потребность участвовать, что-то делать», — писал он Н. Н. Ге (*ПСС*, т. 66, с. 81).

[8] Сын Толстого, Лев Львович, поехал в Самарскую губернию для организации помощи голодающим.

[9] 19 сентября 1891 г. Толстой опубликовал в газетах заявление, согласно которому он предоставляет всем желающим право безвозмездно издавать все его сочинения, написанные начиная с 1881 г. (*ПСС*, т. 66, с. 47). Его намерение возобновить получение гонорара (хотя бы в пользу голодающих) шло, по мнению Татьяны Львовны, вразрез с его прежним, более правильным решением.

[10] И. И. Раевский, старый знакомый Толстого. В его доме в Бегичевке поселились Толстой с дочерьми и помощниками. После смерти И. И. Раевского (в ноябре 1891 г.) Толстой писал в статье-некрологе: «Это был один из самых лучших людей, которых мне приходилось встречать в моей жизни» (*ПСС*, т. 29, с. 262).

[11] Т. Л. Толстая читала роман английской писательницы Хумфри Уорд «Роберт Эльсмер», переведенный в 1889 г. на русский язык. Книга сохранилась в Яснополянской библиотеке.

[12] Толстой начал в Бегичевке серию статей, позднее озаглавленных «Письма о голоде». Здесь речь идет о первой статье — «Страшный вопрос».

[13] И. Е. Репин знал Т. Л. Толстую с начала 1880-х годов, со времени своего знакомства с Л. Н. Толстым. Высоко ценя ее способности, Репин поощрял Татьяну Львовну к занятиям живописью

(см. об этом во вступ. статье). В упоминаемом письме от 27 октября 1891 г. Репин писал: «Каждое письмо Ваше приносит мне много радости» («И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей», М. — Л., 1949, с. 40).

[14] Между И. Е. Репиным и Т. Л. Толстой шла оживленная переписка, которая продолжалась почти до смерти Репина. В ГМТ сохранилось 64 его письма к Т. Л. Толстой. И. Е. Репин посетил Л. Н. и Т. Л. Толстых в Бегичевке (21—24 февраля 1892 г.).

[15] 3 ноября 1891 г. в газете «Русские ведомости» (№ 303) появилось «Письмо в редакцию» С. А. Толстой с призывом о пожертвованиях в пользу голодающих. На него откликнулось множество людей в России и за границей. В одну лишь первую неделю Софья Андреевна получила в Москве пожертвований на сумму более девяти тысяч рублей. Деньги поступали также в Бегичевку на имя Льва Николаевича и Татьяны Львовны.

[16] Имеется в виду письмо известного лондонского издателя Т. Фишера-Унуин, сообщившего о широком сборе пожертвований в Англии. В ответном письме от 4 ноября 1891 г. Толстой писал: «Я очень тронут тою симпатией, которую выражает английский народ к бедствию, постигшему ныне Россию. Для меня большая радость видеть, что братство людей не есть пустое слово, а факт» (*ПСС*, т. 66, с. 76).

[17] Близкий знакомый семьи Толстых, литератор Д. Д. Оболенский задумал издать художественный сборник в пользу голодающих. Толстой намеревался опубликовать в нем рассказ «Кто прав». Издание не состоялось, так как и без этого «пожертвования посыпались со всех сторон» (Д. Д. Оболенский. Воспоминания. — «Исторический вестник», 1894, II, с. 300).

[18] Статья «Страшный вопрос» напечатана (с цензурными сокращениями) в газ. «Русские ведомости», 1891, № 306, 6 ноября (см. *ПСС*, т. 29).

[19] На письмо поэта А. Н. Апухтина Толстой не ответил. По словам находившегося в Бегичевке А. Жиркевича, Толстой даже не дочитал его до конца. (А. Жиркевич. Дневник. — *ЛН*, № 37—38. М., 1939, с. 429).

[20] Имеется в виду приехавший в Бегичевку земский деятель Калужской губернии крестьянин Н. Т. Владимиров. Рекомендуя его редактору Н. Я. Гроту, Толстой писал, что это «человек очень много и разумно думавший о продовольственном вопросе и о теперешнем голоде. Очень бы желательно популяризировать его мысли» (*ПСС*, т. 66, с. 88). Об этом же Толстой писал и редактору газеты «Новое время» А. С. Суворину (*ПСС*, т. 66, с. 89), однако статей Владимирова в печати не появлялось.

[21] См. прим. 7. Татьяна Львовна имеет в виду, в частности, письмо Толстого к А. И. Дунаеву от 18 ноября 1891 г., в котором он писал: «Хотя постоянно чувствую, что все, что мы делаем, — не то, что надо бы иначе, но мирюсь с тем, что есть, что по силам, смиряюсь и часто испытываю радостные минуты» (*ПСС*, т. 66, с. 91).

1893

[1] Е. И. Попов.

1894

[1] *Гриневка* — имение Ильи Львовича Толстого в Чернском уезде Тульской губернии. Толстой поехал туда, чтобы отдохнуть «от пустой, роскошной, лживой московской жизни» (запись в дневнике от 24 января 1894 г. — *ПСС*, т. 52, с. 108).

[2] За издание «крамольной» литературы, в том числе запрещенных сочинений Толстого, издательство «Посредник» подвергалось гонениям, а его сотрудники — арестам и штрафам. Так, лишь за четыре года, с 1886 по 1889 г., цензурой были запрещены к изданию свыше сорока книг, в том числе шестнадцать рассказов и статей Л. Н. Толстого. Начиная с 1890-х годов репрессии против издательства «Посредник» усилились, а его руководитель, И. И. Горбунов-Посадов, трижды привлекался к суду.

[3] Имеются в виду живущие в довольстве дети Ильи Львовича Толстого.

[4] Настроение Толстого было вызвано всем увиденным в имении его сына. 24 января 1894 г. он записал в дневнике: «Приехали к Илюше. С утра вижу, по метели ходят, ездят в лаптях мужики, возят Илюшиным лошадям, коровам корм, в дом дрова. В доме старик повар, ребенок девочка работают на него и его семейство. И так ясно и ужасно мне стало это всеобщее обращение в рабство этого несчастного народа» (*ПСС*, т. 52, с. 110).

[5] Софья Николаевна, урожд. Философова, жена И. Л. Толстого.

[6] В письме к Л. Л. Толстому в Париж Толстой писал: «Здесь, приехавши в Гриневку и увидав заморышей мужичков ростом с 12-летнего мальчика, работающих целый день за 20 коп. у Илюши, мне так ясно то учреждение рабства, которым пользуются люди нашего класса, особенно ясно, видя этих рабов во власти Илюши, который недавно был ребенком, мальчиком, что рабство это, вследствие которого вырождаются поколения людей, возмущает меня, и я, старик, ищу, как бы мне те последние годы или месяцы, которые осталось мне жить, употребить на то, чтобы разрушить это ужасное рабство» (*ПСС*, т. 67, с. 19).

[7] *Овсянниково* — усадьба Т. Л. Толстой, в пяти верстах от Ясной Поляны. *Иван Александрович* Бергер — управляющий имением Т. Л. Толстой.

[8] Впоследствии Т. Л. Толстая передала принадлежавшую ей землю и лес крестьянам. См. в наст. изд. очерк «О том, как мы с отцом решали земельный вопрос».

[9] Г. А. Русанов, член Острогожского, а затем Харьковского суда, познакомился с Толстым в 1883 г. Часто бывал в Ясной Поляне, переписывался с Толстым. Разносторонне образованный человек, большой знаток литературы, Г. А. Русанов много беседовал с Толстым о русских и зарубежных писателях (см. Г. А. Русанов, А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883—1901 гг. Воронеж, 1972).

[10] Здесь имеются в виду многолетние старания Черткова собрать и сохранить любые писания Толстого для последующего их изучения и издания. В 1910 г. Толстой в своем завещании возложил на Черткова редактирование и издание его сочинений.

[11] В письме к учительнице К. К. Бооль от 29 января 1894 г. Толстой писал: «Из Вашего письма я вижу, что Вы страдаете тем, что отцы церкви называли унынием и что можно назвать недостатком терпения, настойчивости в борьбе с собой. Это самое обыкновенное заблуждение молодых людей, что им кажется, что им предстоит какая-то легкая (и полезная) жизнь без борьбы и что эта борьба с собой мешает этой жизни». Утверждая далее, что жизнь человека состоит в борьбе со своими недостатками, Толстой заключает: «Сколько раз ни падать, опять и опять подниматься», и это «наилучшее дело жизни» (*ПСС*, т. 67, с. 20—21).

[12] «*Прешпект*» — въездная аллея, ведущая в усадьбу Ясная Поляна.

[13] *Заказ* — смешанный лес, примыкающий к усадьбе Ясная Поляна.

[14] *Засека* — старые заповедные леса вблизи Ясной Поляны, любимое место прогулок Толстого.

[15] Т. Л. Толстая срочно выехала в Париж по вызову заболевшего там брата Льва Львовича. Вернулась в марте.

[16] После прочтения первых трех частей романа «Война и мир» И. С. Тургенев писал 14(26) февраля 1868 г. П. В. Анненкову. «Сам роман возбудил во мне весьма живой интерес: есть целые десятки страниц сплошь удивительных, первоклассных, — всё бытовое, описательное (охота, катанье ночью и т. д.); но историческая прибавка, от которой, собственно, читатели в восторге, — кукольная комедия и шарлатанство... И насчет так называемой «психологии» Толстого можно многое сказать: настоящего развития нет ни в одном характере...» (*Тургенев, Письма,* т. 7, с. 64—65). Позднее

Тургенев переменил свое мнение о романе. «Лев Толстой, — писал он 20 января 1880 г. редактору газеты «Le XIX-e Siècle», — самый популярный из современных русских писателей, а «Война и мир», смело можно сказать,— одна из самых замечательных книг нашего времени» (И. С. Тургенев, Полн. собр. соч. и писем в 28-ми томах. Сочинения, т. 15, с. 187).

[17] Речь идет о статье «Христианство и патриотизм», направленной против казенной шумихи, сопровождавшей заключение франко-русского союза и прибытие в октябре 1893 г. русской эскадры в Тулон (см. *ПСС*, т. 39).

[18] С 25 марта по 1 апреля 1894 г. Толстой с дочерью Марией Львовной гостил у В. Г. Черткова в его имении Ржевск, Воронежской губернии. Письмо к Татьяне Львовне касалось ее личных отношений с Е. И. Поповым, которых Толстой не одобрял (см. *ПСС*, т. 67, с. 89—91).

[19] Толстой записал об этом в дневнике: «Отравило поездку распутывание Таниного тяжелого дела... Это сблизило меня с Таней еще больше. Она мне импонировала своей привлекательностью и грацией» (*Дн.*, 21 апреля 1894 г. — *ПСС*, т. 52, с. 114).

[20] Художник Н. А. Ярошенко написал портрет Толстого (находится в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинском доме) в Ленинграде).

[21] Усиление репрессий против единомышленников Толстого было вызвано опубликованием в 1893 г. за границей его трактата «Царство божие внутри вас». Т. Л. Толстая позднее рассказывала Д. П. Маковицкому, что раздражение Александра III против Толстого было в это время наивысшим, но от предложения заточить Толстого в тюрьму он отказался. «Я не желаю увеличивать его славу короной мученика» (Д. П. Маковицкий. У Л. Н. Толстого. — «Утро России», 1910, № 295, 9 ноября). Сам Толстой тяжело переживал преследования своих друзей. «Мне тяжело быть на воле», — писал он в эти дни И. Б. Файнерману (*ПСС*, т. 67, с. 139).

1896

[1] Дочь проживавшего в Германии русского философа-идеалиста А. А. Шпира, Е. А. Шпир-Клапаред, прислала Толстому собрание сочинений своего отца на немецком языке в четырех томах (Лейпциг, 1883—1885). В ответном письме от 1 мая 1896 г. Толстой дал высокую оценку сочинениям Шпира и сообщил о своем намерении издать их в России со своим предисловием («Мне бы очень хотелось распространить его мысли, так как я их вполне разделяю») (*ПСС*, т. 69, с. 93). Намерение не было осуществлено.

[2] Письма министру юстиции Н. В. Муравьеву и министру внутренних дел И. Л. Горемыкину написаны в связи с арестом земского врача М. М. Холевинской и других единомышленников Толстого, распространявших его запрещенные сочинения. Подчеркнув, что меры правительства «неразумны, бесполезны, жестоки, и, главным образом, несправедливы», Толстой предложил «все меры наказания, устрашения или пресечения зла» обратить «против того, кто считается правительством источником его, то есть против меня, тем более, что я заявляю вперед, что буду не переставая, до своей смерти, делать то, что правительство считает злом, а что я считаю своей священной перед богом обязанностью» (*ПСС*, т. 69, с. 84, 86).

[3] В письме к брату Сергею Николаевичу Толстой писал: «Вчера же вечером был в театре, слушал знаменитую новую музыку Вагнера — Зигфрид, опера. Я не мог высидеть одного акта и выскочил оттуда, как бешеный, и теперь не могу спокойно говорить про это. Это глупый, не годящийся для детей старше семи лет балаган с претензией, притворством, фальшью сплошной, и музыки никакой» (*ПСС*, т. 69, с. 82—83).

[4] Рассказ А. П. Чехова «Дом с мезонином» Толстой прочитал в журнале «Русская мысль», 1896, кн. IV, апрель.

Л. Толстой высоко ценил творчество Чехова. 8 августа 1895 г. Чехов впервые посетил его, после чего Толстой писал сыну Льву Львовичу: «Чехов был у нас, и он понравился мне. Он очень даровит, и сердце у него, должно быть, доброе» (*ПСС*, т. 68, с. 158). Толстой с интересом читал появлявшиеся произведения Чехова и о многих из них отзывался с похвалой. Из отмеченных им тридцати лучших рассказов Чехова пятнадцать он выделил, как «первый сорт» («Детвора», «Хористка», «Беглец», «В суде», «Ванька», «Злоумышленник», «Спать хочется» и др.). Рассказ «Душечка» он издал со своим предисловием в «Посреднике». Вместе с этим Толстой иногда упрекал Чехова в отсутствии религиозно-нравственного миросозерцания: «Такой большой талант, и во имя чего он писал!» (Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 179).

[5] Т. Л. Толстая дважды встречалась с А. П. Чеховым и переписывалась с ним. М. О. Меньшиков писал из Ясной Поляны Чехову 20 августа 1896 г.: «Татьяна Вас очень любит, но чувствует какую-то грусть за Вас, думает, что у Вас очень большой талант, но безжизненное материалистическое миросозерцание» (цит. по ст.: А. С. Мелкова. Т. Л. Толстая и А. П. Чехов. — «Яснополянский сборник». Тула, 1974, с. 210).

Как установлено исследователями, между А. П. Чеховым и Т. Л. Толстой существовала глубокая взаимная симпатия. Среди ее позднейших замыслов было намерение дополнить свою книгу «Друзья и гости Ясной Поляны» большим очерком о Чехове, для

чего она запросила у его сестры Марии Павловны сборник, содержащий письма Григоровича к Чехову. Получив его, Татьяна Львовна писала М. П. Чеховой: «Очень, очень благодарю Вас за книгу: я ее прочту от доски до доски, как все то, что мне попадается под руку не только самого Чехова, но и о Чехове. Всегда жалею о том, что мало его знала. И (простите за самомнение) всегда жалею о том, что и он мало знал нас. Наша семья — не говоря отдельно о моем отце — могла бы ему дать коечто такого, что он оценил бы» (*ГМТ*). Очерк о Чехове написан не был.

[6] Т. Л. Толстая ездила в Швецию на свадьбу своего брата — Льва Львовича. Л. Л. Толстой женился на дочери шведского врача Доре Федоровне Вестерлунд.

[7] Письмо из Ясной Поляны от 2 августа 1896 г. (*ПСС*, т. 69, с. 120). Т. Л. Толстая гостила в это время в имении Олсуфьевых — Обольяново-Никольское.

1897

[1] Имеется в виду письмо от 18 марта 1897 г. из Москвы в ответ на два письма Т. Л. Толстой, в которых она писала о своей неудачно сложившейся личной жизни. «Утешаюсь тем, — писал Толстой, — что такая серьезная грусть и счеты с собой никогда не проходят даром, а подвигают туда, куда надо, растят крылья, на которых улетишь над всем тем, что теперь мешает» (*ПСС*, т. 70, с. 59).

[2] Один из вариантов трактата «Что такое искусство?». Трактат был закончен в 1898 г.

1898

[1] *«Потонувший колокол»* — драма Г. Гауптмана; *«Новый мир»* — мелодрама В. Баррета.

[2] Позднее картина на библейские темы «Искушение» была названа «Иди за мною, сатана». Впервые экспонирована на выставке передвижников в 1901 г.

[3] И. Е. Репин писал Т. Л. Толстой: «Я все мечтаю, что Лев Николаевич однажды найдет мне желанную тему и через Ваше посредничество я получу ее и попробую свои силы» («И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей». М. — Л., «Искусство», 1949, с. 95).

[4] Т. Л. Толстая передала Репину этот сюжет. Он сделал первый набросок, но картины не написал.

[5] Картины Н. А. Ярошенко: «Портрет И. И. Шишкина» (1897) и «Везувий» (1897).

[6] Точный текст: «Молокане приезжают вторник Петербург хлопотать детях. Отложи отъезд помочь им» (*ПСС*, т. 70, с. 265). Речь идет о крестьянах-сектантах Чипилеве, Болотине и Самошкине, у которых власти насильно отняли малолетних детей и передали в монастырский приют для воспитания в православном духе.

[7] Имеется в виду прошение, написанное Толстым 25 января 1898 г. Николаю II для крестьянина Ф. Н. Самошкина (*ПСС*, т. 70, с. 264). Его передал царю знакомый Толстого граф А. В. Олсуфьев. Текст прошения приводится ниже.

[8] В письме к А. Ф. Кони от 25 января 1898 г. Толстой просил его похлопотать в сенате о возвращении родителям насильно отнятых детей. «Нельзя оставаться спокойным, — писал он, — когда на ваших глазах совершаются такие злодейства» (*ПСС*, т. 70, с. 265). Хлопоты Кони в сенате не увенчались успехом.

[9] Э. Э. Ухтомский должен был напечатать в редактируемой им газете «С.-Петербургские ведомости» письмо Толстого, но оно не было написано.

[10] Свидание Т. Л. Толстой с обер-прокурором Святейшего синода К. П. Победоносцевым дало Толстому материал для сцены свидания Нехлюдова с Топоровым в романе «Воскресение» (ч. 2, гл. XVII).

[11] Толстой перечитывал Гейне в связи с работой над трактатом «Что такое искусство?». Что́ именно он читал в это время, установить не удалось.

[12] Л. Н. Толстой. Что такое искусство? М., 1898.

1900

[1] 14 ноября 1899 г. Т. Л. Толстая вышла замуж за М. С. Сухотина. Толстой отнесся к этому браку неодобрительно.

1901

[1] Эта и последующие записи вызваны тяжелой болезнью Толстого, длившейся более года. По совету врачей он в сопровождении близких 5 сентября 1901 г. уехал для лечения в Крым и находился там до 25 июня 1902 г.

[2] При содействии Толстого в 1898 г. в Канаду переселилось несколько тысяч сектантов-духоборов, преследуемых царским правительством.

1903

[1] Статья «О Шекспире и о драме» (*ПСС*, т. 35), в которой содержится критика драматургических принципов и приемов Шекспира.

[2] Татьяна Львовна собирала материал для своих очерков «Друзья и гости Ясной Поляны» (см. в наст. изд.).

1904

[1] Кандидат от демократической партии на пост президента США Уильям Д. Брайан посетил Ясную Поляну не в январе 1904 г., а 5 декабря 1903 г. Толстой положительно отнесся к его кандидатуре на предстоящих выборах, так как Брайан высказывал близкие ему взгляды. В президенты Брайан избран не был. Под впечатлением своего свидания с Толстым он опубликовал в США статью «Апостол любви».

[2] В связи с началом русско-японской войны Толстой ездил в Тулу за газетами со свежими телеграммами о военных действиях. В эти дни он задумал статью «Одумайтесь!», над которой работал с 30 января по 20 мая 1904 г. Опубликована на русском языке в Англии и одновременно в английской, французской и немецкой печати 13 июня 1904 г. (см. *ПСС*, т. 36).

[3] Министр внутренних дел В. К. Плеве, жестоко подавлявший революционное движение, был убит эсером Е. С. Сазоновым.

[4] Флагман русского тихоокеанского флота, эскадренный броненосец «Петропавловск» подорвался на мине в бою против японского флота 31 марта 1904 г. На его борту погибли командующий флотом адмирал С. О. Макаров, художник В. В. Верещагин и 640 человек команды. Упоминаемый Яковлев — один из спасшихся офицеров «Петропавловска».

[5] Близкий знакомый Толстых Л. В. Дашкевич, автор антиправительственных статей, в 1902 г. был выслан за границу. По поводу его обличительной книги «Государственные избирательные законы» Толстой писал ему: «С прекрасно выраженной.. мыслью о возмутительном вмешательстве правительства в основные устои жизни народа вполне согласен» (*ПСС*, т. 81, с. 182). В 1907 г. Дашкевич вернулся в Россию.

[6] Министр внутренних дел П. Д. Святополк-Мирский и директор департамента полиции А. А. Лопухин, не решаясь трогать самого Толстого, преследовали его единомышленников.

[7] В 1897 г. за составление и распространение воззвания «Помогите», содержавшего разоблачение и осуждение злодеяний

царизма, П. И. Бирюков был сослан в Прибалтийский край (позднее выслан за границу), а В. Г. Чертков был выслан из России. Они вернулись только в 1907 г., но оба оставались под надзором полиции.

[8] Толстой собирал изречения философов и моралистов для задуманного им «Круга чтения» — сборников коротких рассказов, легенд, афоризмов и изречений мыслителей и писателей разных народов (в том числе самого Толстого) социально-нравственного содержания.

[9] Сведений о датчанине не сохранилось.

[10] Вероятно, тульский священник (позднее архиерей) Парфений. В последующие годы приезжал в Ясную Поляну по тайному заданию высших церковных властей с целью «примирить» Толстого с церковью, но успеха не имел.

[11] Письма Тургенева к Толстому см. в очерке «Иван Сергеевич Тургенев» («Друзья и гости Ясной Поляны»).

[12] Имеются в виду воспоминания Т. Л. Толстой о Н. Н. Ге. См. в наст. изд. очерк «Николай Николаевич Ге» («Друзья и гости Ясной Поляны»).

1905

[1] Повесть А. И. Куприна «Поединок», опубликованную в шестом сборнике «Знание» (1905 г.), Толстой читал вслух своим близким в течение нескольких вечеров, с 3 по 13 октября. Его отзывы: «Хорошо, весело, только где пускается в философию, неинтересно»; «Новый писатель, пользуется старыми приемами, дает живое представление о военной жизни» (*ЯЗ*, 8, 12 октября).

Толстой познакомился с А. И. Куприным в 1902 г. в Крыму. Он с интересом следил за его творчеством, одобрил его рассказы «В цирке», «Ночная смена», «Allez» и др. В 1910 г., перечитывая его рассказы, записал в дневнике: «Читал Куприна. Очень талантлив» (*ПСС*, т. 58, с. 66).

[2] Массовые погромы и избиения революционеров черносотенцами были инспирированы царскими властями с целью продемонстрировать «верноподданнические» чувства народа в связи с опубликованием 17 октября 1905 г. «высочайшего» манифеста о «даровании» демократических свобод. Присутствовавший при упоминаемом разговоре Д. П. Маковицкий записал: «Льва Николаевича ранили в сердце эти известия. Гусев, рассказывая, вздыхал и повторял: «Ужасно, ужасно»! (*ЯЗ*, 21 октября).

[3] *Басово* — в то время большое село вблизи Ясной Поляны. Ныне — районный центр Тульской области.

1909

[1] Толстой имел в виду повесть «Нет в мире виноватых», начатую им 23 апреля 1909 г. Повесть осталась незавершенной (см. *ПСС*, т. 38).

[2] 27 марта 1895 г. Толстой записал в дневнике: «Право на издание моих сочинений прежних: десяти томов и Азбуки — прошу моих наследников передать обществу, то есть отказаться от авторского права. Но только прошу об этом и никак не завещаю. Сделаете это — хорошо. Хорошо будет это и для вас, не сделаете — это ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние десять лет, было самым тяжелым для меня делом в жизни» (*ПСС*, т. 53, с. 16).

[3] См. об этом подробно в очерке «О том, как мы с отцом решали земельный вопрос».

1910

[1] Открытие в Ясной Поляне народной библиотеки Московского общества грамотности (в ознаменование 80-летия Л. Н. Толстого) состоялось 31 января 1910 г. Толстой записал в дневнике: «Все очень выдумано, не нужно и фальшиво. Речь Долгорукова, мужики, фотография» (*ПСС*, т. 58, с. 14).

[2] Поездка Толстого в Кочеты, к Татьяне Львовне, была вызвана тяжелой обстановкой в Ясной Поляне. См. об этом в очерке «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода».

[3] Комедия «От ней все качества». Начата 29 марта 1910 г. Пьеса осталась незавершенной (см. *ПСС*, т. 38).

[4] Для охраны парка и леса от порубки С. А. Толстая наняла сторожа-черкеса, который преследовал местных крестьян.

ДРУЗЬЯ И ГОСТИ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ

(Стр. 243—348)

Впервые опубликовано в кн.: Т. Л. Сухотина-Толстая. Друзья и гости Ясной Поляны. М., 1923. Черновая рукопись находится в ГМТ. В настоящем издании воспроизводятся все мемуары, вошедшие в книгу, кроме очерка «Агафья Михайловна», который целиком вошел в текст «Детства Тани...» (гл. XII).

[1] Д. П. Маковицкий находился в Ясной Поляне, вблизи Л. Н. Толстого, более шести лет, с 1904 по 1910 г. В течение этого времени он вел ежедневные записи о происходящем в доме писателя. «В правом кармане его пиджака всегда лежали маленькие

листки толстой бумаги, на которой он незаметно для других и для самого Льва Николаевича записывал карандашом одному ему понятными знаками слова великого человека» (Н. Гусев. Из предисловия к первому выпуску «Яснополянских записок» Д. П. Маковицкого. М., 1922, с. 9). После кончины Толстого Маковицкий оставался в Ясной Поляне до 1920 г., занимаясь врачебной помощью крестьянам и приведением в порядок своих многочисленных записей.

«Яснополянские записки» увидели свет лишь частично. Их публикация в изд-ве «Задруга» (вып. 1 и 2, М., 1922—1923) была доведена до 9 марта 1905 г. В более полном виде «Яснополянские записки» готовятся к печати изд-вом АН СССР «Наука» и выйдут в свет в томах «Литературного наследства».

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ

[1] Толстой познакомился с Тургеневым 19 ноября 1855 г. в Петербурге. Этому предшествовало знакомство Тургенева с семьей Толстых, его дружба с сестрой Толстого — Марией Николаевной. По прочтении раннего рассказа Толстого «Рубка леса» Тургенев послал ему в Севастополь дружеское письмо. Однако в личном общении выявилась резкая противоположность натур и убеждений обоих писателей, что, по выражению Тургенева, образовало между ними «овраг».

Тургенев, воспитанный на традициях круга Белинского, не мог в первые годы общения с Толстым сочувствовать его необузданным нападкам на Чернышевского, на Жорж Санд, его метаниям от литературы к педагогике, а позднее — его отрицанию лучших творений мировой литературы и искусства, как, якобы, не нужных народу. В свою очередь, Толстой не выносил либеральных тенденций в мировоззрении Тургенева, его склонности к компромиссам, к пышной фразе, считал его творческую манеру традиционной. Оба они в пылу споров бывали несправедливы друг к другу, и их частая полемика закончилась в 1861 г. резким разрывом.

Несмотря на периоды ссор и неприязни, между Толстым и Тургеневым существовало глубокое взаимное тяготение. «Тургенева я всегда любил», — сказал Толстой в конце жизни (*ЯЗ*, 27 мая 1905 г.). В свою очередь, Тургенев восхищался произведениями Толстого и много сделал для того, чтобы они стали известны европейской публике.

Ссора между Толстым и Тургеневым произошла 27 мая 1861 г. в имении А. А. Фета, Степановке. Непосредственным поводом к

ней послужило ироническое замечание Толстого о благотворительной деятельности дочери Тургенева — Полины.

[2] Сразу же после ссоры, поехав в имение своего знакомого И. П. Борисова — Новоселки, Толстой написал оттуда Тургеневу: «Надеюсь, что Ваша совесть Вам уже сказала, как Вы неправы передо мной...» (*ПСС*, т. 60, с. 391). Толстой потребовал от Тургенева письменных извинений. Тургенев немедленно выполнил это требование, но его письмо, по ошибке, не было доставлено Толстому. Тогда Толстой послал Тургеневу резкое письмо с вызовом на дуэль (письмо не сохранилось). Позднее, получив извинительное письмо Тургенева, Толстой взял свой вызов обратно, и дуэль не состоялась.

[3] Письмо неизвестно.

[4] Имеется в виду письмо Толстого от 6 апреля 1878 г. «В последнее время, — писал он, — вспоминая о моих с Вами отношениях, я... почувствовал, что я к Вам никакой вражды не имею. Дай бог, чтобы в Вас было то же самое... Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку...» (*ПСС*, т. 62, с. 406). Тургенев ответил примирительным письмом, и отношения между писателями были восстановлены.

[5] Письмо от 8(20) мая 1878 г. (*Тургенев, Письма*, т. 12, с. 323).

[6] Тургенев гостил в Ясной Поляне 8 и 9 августа 1878 г.

[7] Письмо от 27 марта (8 апреля) 1858 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 211).

[8] Имеется в виду «Первое собрание писем И. С. Тургенева. 1840—1883», изд. Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. Позднее письма Тургенева к Толстому многократно публиковались.

[9] Сергеем Львовичем.

[10] Т. А. Кузминской.

[11] У Пушкина:

Ты небо недавно кругом облегала,
И молния грозно тебя обвивала;
И ты издавала таинственный гром
И алчную землю поила дождем.

(А. С. Пушкин. Полн. собр. соч., т. III, ч. 1. М., изд-во АН СССР, 1948, с. 381).

[12] «*La maison Tellier*» («Дом Телье») — сборник любовных новелл Мопассана, вышедший в Париже в 1881 г. с посвящением И. С. Тургеневу. В сборник вошли новеллы «Подруга Поля», «Поездка за город», «История одной батрачки», «Папа Симона», «На реке» и др. Чтение этой книги, по словам Толстого, оставило его «совершенно равнодушным к молодому сочинителю» («Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана». — *ПСС*, т. 30, с. 6).

[13] О романе «Une Vie» («Жизнь») Толстой писал: «Эта книга сразу заставила меня переменить мнение о Мопассане, и с этих пор я уже с интересом читал все то, что было подписано этим именем. «Une Vie» — превосходный роман, не только несравненно лучший роман Мопассана, но едва ли не лучший французский роман после «Misérables» Гюго» («Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана». — *ПСС*, т. 30, с. 7).

[14] Роман Гюи де Мопассана «Жизнь» в переводе Л. П. Никифорова вышел в издании «Посредника» в 1900 г. под заглавием «Жизнь женщины».

[15] В «Предисловии к сочинениям Гюи де Мопассана» Толстой вспоминает, как Тургенев обратил его внимание на рассказ Гаршина. «Прочтите как-нибудь», — сказал он как будто небрежно», передавая книжку «Русского богатства», в которой был рассказ начинающего Гаршина. «Очевидно... он боялся в ту или другую сторону повлиять на меня и хотел знать ничем не подготовленное мое мнение» (*ПСС*, т. 30, с. 3).

[16] Толстой неоднократно с похвалой отзывался о произведениях Гаршина и сожалел, что некоторые журналы не выделяют его из среды других литераторов. «Так и чуется, что редакция и не подозревает, что Гаршин и эти другие — совсем не одно и то же. Он положительно выделился, сразу выделился» (Г. А. Русанов, А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883—1901 гг. Воронеж, 1972, с. 50—51). Высокую оценку Толстой дал рассказам Гаршина «Художники», «Ночь», «Из записок рядового Иванова», «Четыре дня» и др.

[17] В. М. Гаршин впервые посетил Ясную Поляну 16 марта 1880 г. Толстой принял его радушно и высказал ему свое восхищение рассказом «Четыре дня» («Отечественные записки», 1877, № 10). Подробно об этом посещении см. И. Л. Толстой. Мои воспоминания. М., 1969, гл. XVIII, «Гаршин», с. 156—160. В 1881 г., когда Гаршин находился в Харьковской психиатрической больнице, Толстой собирался поехать к нему (см. письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 8 февраля 1881 г. — *ГМТ*). В издании «Посредника» вышли рассказы Гаршина «Сигнал», «Сказание о гордом Аггее», «Медведи» и «Четыре дня». После смерти Гаршина Толстой писал П. И. Бирюкову (14 апреля 1888 г.) о своей «большой любви к Гаршину», которую он «желал бы выразить» (*ПСС*, т. 64, с. 161), но статьи о нем не написал.

[18] Об этом приезде Гаршина в Ясную Поляну см. И. Л. Толстой. Мои воспоминания, с. 159.

[19] Имеется в виду С. А. Миллер, с 1857 г. жена поэта А. К. Толстого. В изложении Т. Л. Толстой отзыв Тургенева о ней незаслуженно резок. В письме к ней от 12 октября 1853 г. Турге-

нев писал: «Я очень рад тому, что Вы меня не забываете, и одна из самых приятных моих надежд — встретиться когда-нибудь с Вами; я убежден, что мы сойдемся как старые друзья, — и мне очень будет весело узнавать Вас более и более...» (*Тургенев, Письма*, т. 2, с. 187).

[20] То есть работа, выполненная крепкими руками.

[21] Вероятно, 3 или 4 мая 1880 г.

[22] Имеется в виду французская певица, композитор и педагог Мишель-Полина Виардо (рожд. Гарсиа). Тургенев познакомился с ней в 1843 г. во время ее оперных гастролей в Петербурге. С тех пор их связывала многолетняя глубокая дружба, носившая со стороны Тургенева характер безграничного обожания и продолжавшаяся до самой его смерти.

[23] Тургенев приехал в Ясную Поляну 6 июня 1881 г.

[24] В письме от 4(16) июля 1881 г. из Спасского Тургенев писал, что он рад доброму чувству, возникшему между ними. «Оно потому и хорошо, что общее, то есть одинаковое, и в Вас и во мне» (*Тургенев, Письма*, т. 13, с. 101).

[25] Толстой писал Тургеневу 1—5 мая 1882 г.: «Дорогой Иван Сергеевич! Известия о Вашей болезни, о которой мне рассказывал Григорович и про которую потом стали писать, ужасно огорчили меня, когда я поверил, что это серьезная болезнь. Я почувствовал, как я Вас люблю. Я почувствовал, что если Вы умрете прежде меня, мне будет очень больно. Последние газетные известия утешительны. Может быть, еще и все это мнительность и вранье докторов, и мы с Вами опять увидимся в Ясной и в Спасском. Ах, дай бог!

В первую минуту, когда я поверил — надеюсь напрасно — что Вы опасно больны, мне даже пришло в голову ехать в Париж, чтоб повидаться с Вами. Напишите или велите написать мне определительно и подробно о Вашей болезни. Я буду очень благодарен. Хочется знать верно.

Обнимаю Вас, старый, милый и очень дорогой мне человек и друг. Ваш *Толстой*» (*ПСС*, т. 63, с. 95—96).

[26] *Тургенев*, *Письма*, т. 13, кн. 1, с. 256.

[27] Имеется в виду статья «Исповедь», опубликованная в журн. «Русская мысль» (1882, май), в которой Толстой впервые рассказал о пережитом им идейном кризисе, об отречении от «господских» представлений и верований. Сообщение об уничтожении статьи цензурой было напечатано в газ. «Голос», 1882, № 198, 24 июня.

[28] *Тургенев*, *Письма*, т. 13, кн. 2, с. 29.

[29] Толстой послал Тургеневу «Исповедь» в октябре 1882 г. через свою знакомую А. Г. Олсуфьеву. Сопроводительное письмо

Толстого неизвестно. Его содержание устанавливается по ответному письму Тургенева.

[30] Письмо от 19(31) октября 1882 г. (*Тургенев, Письма*, т. 13, кн. 2, с. 74).

[31] Письмо от 15(27) декабря 1882 г. (*Тургенев, Письма*, т. 13, кн. 2, с. 133). «Большое» письмо Тургенева об «Исповеди» Толстого написано не было.

[32] Из письма к Д. В. Григоровичу от 31 октября (12 ноября) 1882 г. (*Тургенев, Письма*, т. 13, кн. 2, с. 89).

[33] Из письма к Е. Я. Колбасину от 29 октября (10 ноября) 1854 г. (*Тургенев, Письма*, т. 2, с. 237).

[34] Из письма к А. В. Дружинину от 5(17) декабря 1856 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 52).

[35] Из письма к Я. П. Полонскому от 17—22 февраля (1—6 марта) 1857 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 94).

[36] Письмо Толстого неизвестно. Его содержание раскрывается из ответного письма Тургенева от 13(25) сентября 1856 г.

[37] Из письма от 13(25) сентября 1856 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 13—14).

[38] В письме от 21 октября (1 ноября) 1857 г., адресованном В. П. Боткину и И. С. Тургеневу во Францию, Толстой писал: «Слава богу, я не послушал Тургенева, который доказывал мне, что литератор должен быть только литератор. Это было не в моей натуре. Нельзя из литературы сделать костыль... Каково бы было мое положение, когда бы, как теперь, подшибли этот костыль». *Наша* литература, то есть поэзия, есть, если не противузаконное, то ненормальное явление... и поэтому построить на нем всю жизнь — противузаконно» (*ПСС*, т. 60, с. 234).

[39] Из письма от 25 ноября (7 декабря) 1857 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 170).

[40] Эти суждения Т. Л. Толстой несправедливы. В «Литературных и житейских воспоминаниях» Тургенев так объясняет свое длительное пребывание за границей: «Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться... Это была моя Аннибаловская клятва; и не я один дал ее себе тогда. Я и на Запад ушел для того, чтобы лучше ее исполнить» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 14, с. 9). В доказательство своих слов Тургенев ссылается на «Записки охотника», которые он не написал бы, «если б остался в России» (там же, с. 10).

[41] Это свое намерение Тургенев осуществил. 22 октября 1859 г. он писал И. С. Аксакову: «С крестьянами я почти везде благополучно размежевался (оставив, разумеется, старое количество земли), переселил их (с их согласия) — и с нынешней зимы они все поступают на оброк...» (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 357).

[42] Там же, с. 170—171.

[43] Имеются в виду рескрипты Александра II, положившие начало освобождению крестьян от крепостной зависимости.

[44] Тургенев имеет в виду написанную им в Риме 9(21) января 1858 г. записку об издании журнала «Хозяйственный указатель», который должен был содействовать ликвидации крепостного права в России. Записка опубликована в журн. «Русская старина», 1858, № 9.

[45] Из письма от 17(29) января 1857 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 187). Письмо Тургенева к орловскому губернскому предводителю дворянства неизвестно.

[46] Из письма к Л. Н. Толстому от 2 февраля 1859 г. (*Тургенев, Письма*, т. 3, с. 267).

[47] Письмо Толстого неизвестно.

[48] Из письма от 10(22) марта 1861 г. (*Тургенев, Письма*, т. 4, с. 209).

[49] Толстой в это время возобновил работу над повестью «Казаки» и продолжал работать над романом «Декабристы», начало которого он читал Тургеневу в Париже в феврале 1861 г.

[50] Из письма от 14(26) марта 1861 г. (*Тургенев, Письма*, т. 4, с. 216). Тургенев имеет в виду созданную Толстым в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, а также интерес Толстого к проблемам педагогики, который он проявлял, находясь за границей.

[51] Письмо от 29 июня (11 июля) 1883 г.: «Милый и дорогой Лев Николаевич. Долго Вам не писал, ибо был и *есмь*, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, — и думать об этом нечего. Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать Вам, как я был рад быть Вашим современником, и чтобы выразить Вам мою последнюю, искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности! Ведь этот дар Вам оттуда же, откуда все другое. Ах, как я был бы счастлив, если б мог подумать, что просьба моя так на Вас подействует! Я же человек конченый, доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Névralgie stomacale goutteuse. Ни ходить, ни есть, ни спать, да что! Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли — внемлите моей просьбе! Дайте мне знать, если Вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз *крепко*, крепко обнять Вас, Вашу жену, всех Ваших, не могу больше, устал» (*Тургенев, Письма*, т. 13, кн. 2, с. 180).

[52] И. С. Тургенев скончался 22 августа 1883 г. После его смерти Толстой писал жене: «О Тургеневе все думаю и ужасно люблю его, жалею и все читаю. Я все с ним живу» (*ПСС*, т. 83, с. 397).

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

[1] Л. Н. Толстой познакомился с Н. Н. Ге в Риме, в январе 1861 г., однако, вернувшись в Россию, не общался с ним до 8 марта 1882 г., когда тот посетил его в Москве. С этого времени их связывала глубокая дружба, длившаяся до самой кончины Ге (1894 г.). Толстой высоко ценил Н. Н. Ге, как художника, друга и единомышленника. Н. Н. Ге переписывался с Толстым, часто бывал у Толстого в Москве и в Ясной Поляне.

[2] Н. Н. Ге жил на хуторе Плиски, Черниговской губернии, вблизи одноименной станции Киевско-Воронежской ж. д.

[3] Неточно. Н. Н. Ге получил в 1857 г. большую золотую медаль и командировку в Италию за картину «Аэндорская волшебница вызывает тень Самуила», созданную им в 1856 г. За картину «Тайная вечеря» Ге было присвоено звание профессора Академии художеств.

[4] Портрет С. А. Толстой находится в Музее-усадьбе «Ясная Поляна». Копия — в Доме-музее Л. Н. Толстого в Москве.

[5] Статья «О переписи в Москве» написана в январе 1882 г. (напечатана в газ. «Современные известия», 1882, № 19, 20 января). Толстой призвал в ней «просвещенных людей» принять личное участие в предстоящей переписи населения, чтобы «устранить величайшее зло разобщения между нами и нищими и установить общение и дело исправления зла, несчастий, нищеты и невежества и еще большего нашего несчастия — равнодушия и бесцельности нашей жизни» (*ПСС*, т. 25, с. 176). Статья вызвала многочисленные отклики. Позднее Ге вспоминал: «Как искра воспламеняет горючее, так это слово меня всего зажгло. Я еду в Москву обнять этого великого человека и работать ему» (цит. по *ПТГ*, с. 8).

[6] Письмо от 24 ноября 1886 г. (*ПТГ*, с. 88).

[7] Письмо от 3 июля 1887 г. (*ПТГ*, с. 103).

[8] Письмо неизвестно.

[9] *ПТГ*, с. 61.

[10] Письмо от конца апреля 1887 г. (*ПТГ*, с. 98).

[11] Письмо неизвестно. После смерти Н. Н. Ге Толстой передал В. В. Стасову, писавшему биографию Ге, письма художника к нему, к Т. Л. и М. Л. Толстым. Некоторые из этих писем не были возвращены, их местонахождение неизвестно. Отдельные письма

известны только в отрывках, цитируемых Стасовым в его кн.: «Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка». М., «Посредник», 1904.

[12] Письмо неизвестно.

[13] Письмо от конца апреля 1877 г. (*ПТГ*, с. 99).

[14] Письмо от 22 июля 1893 г. (Цит. по кн.: В. Стасов. Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка, с. 296).

[15] Картина «Тайная вечеря» создана Н. Н. Ге за границей в 1861—1863 гг. Толстой высоко ценил ее, относил к разряду истинного искусства. По просьбе В. Г. Черткова, задумавшего издать ее репродукцию большим тиражом, Толстой написал к ней пояснительный текст (*ПСС*, т. 25, с. 139—143). На вопрос В. Г. Черткова, «как удалось ему написать такой прекрасный текст», Толстой ответил, что «произошла странная вещь: его собственное представление о последнем вечере Христа с учениками, сложившееся к этому времени, как раз совпало с тем, что передал в своей картине Н. Н. Ге» (цит. по *ПСС*, т. 85, с. 319—320). Текст был запрещен цензурой. Картина находится в Третьяковской галерее.

[16] Письмо от ноября 1886 г. (*ПТГ*, с. 85).

[17] Жена Н. Н. Ге — Анна Петровна Ге (рожд. Забелло) скончалась 4 ноября 1891 г.

[18] Из письма к М. Л. Толстой от 18 декабря 1893 г. (*ПТГ*, с. 172).

[19] Письмо неизвестно.

[20] Письмо от сентября 1886 г. (*ПТГ*, с. 75—76).

[21] Письмо от 21 сентября 1886 г. (*ПТГ*, с. 77).

[22] Письмо от 6 ноября 1892 г. (*ПТГ*, с. 153).

[23] Н. Н. Ге встречался с Герценом во Флоренции в феврале—марте 1867 г., когда писал его портрет (находится в Третьяковской галерее). Мысль написать воспоминания о Герцене подал ему Л. Н. Толстой. «Только не торопитесь; а постарайтесь поподробнее, то есть ничего не забыть и посжатее написать», — напутствовал его Толстой (*ПСС*, т. 66, с. 365). Воспоминания написаны в 1893—1894 гг. Напечатаны с сокращениями под заглавием «Встречи» в журн. «Северный вестник», 1894, № 3. Последняя публикация: Н. Н. Ге. Встречи. — «Герцен в воспоминаниях современников». М., ГИХЛ, 1956, с. 296—298.

[24] Картина «Милосердие» была написана зимой 1879/80 г. Экспонировалась на выставке передвижников в 1880 г. Толстой относил ее к тому направлению в искусстве, когда художники сделали попытки «свести Христа с неба, как бога, и с пьедестала исторического лица на почву простой обыденной жизни» (из письма к П. М. Третьякову от 30 июня 1890 г. — *ПСС*, т. 65, с. 124).

[25] Эта мысль содержится в книге английского писателя, публициста и историка Т. Карлейля «Герои и героическое в истории», перевод В. И. Яковенко, СПб., 1891. О мыслях Карлейля Н. Н. Ге с одобрением писал М. Л. Толстой 16 октября 1893 г. (см. *ПТГ*, с. 168).

[26] Письмо неизвестно.

[27] По распоряжению властей с художественных выставок были сняты картины Ге «Что есть истина?», «Повинен смерти» («Суд Синедриона») и «Распятие».

[28] Письмо от марта 1894 г. (*ПТГ*, с. 183—184).

[29] Серия картин «Нагорная проповедь» была задумана Н. Н. Ге летом 1886 г. Толстой в нескольких письмах поддержал замысел художника. «Главное, — писал он, — Ваша работа. Как Вы это сделаете — через Вас сделается — я не знаю, знаю только, что если выйдет, то будет настоящее» (*ПСС*, т. 63, с. 377). Из задуманных Н. Н. Ге картин Толстому более всего понравились сюжеты «Искушение» и «Вот спаситель мира». Однако серия в задуманном виде не была завершена.

[30] Письмо неизвестно.

[31] Л. Н. Толстой. Чем люди живы. В рисунках Н. Н. Ге. Фотографии М. Панова. М., 1886.

[32] Портрет находится в Доме-музее Л. Н. Толстого в Москве.

[33] Портрет «Толстой за работой» Н. Н. Ге написал в свой приезд к Толстым в январе 1884 г. Был экспонирован на XII выставке передвижников 1883—1884 гг. Впоследствии приобретен П. М. Третьяковым. Авторское повторение — в *ГМТ*.

[34] Над бюстом Толстого Н. Н. Ге работал, гостя в Ясной Поляне осенью 1890 г. В письме к Н. Н. Ге от 30 июля 1891 г. Толстой, сравнивая этот бюст с работами И. Гинцбурга и И. Репина, писал: «Ваш лучше всего» (*ПСС*, т. 66, с. 24). Бюст находится в *ГМТ*.

[35] Картину «Что есть истина?» Ге написал в течение трех месяцев — с октября 1889 по январь 1890 г. Толстой проявлял к ней огромный интерес. «Все думаю о Вас и о Вашей картине,— писал он художнику 10 февраля 1890 г. — Очень хочется знать, как к ней отнесутся и кто как? Меня мучает, что фигура Пилата мне как-то с этой рукой представляется неправильной. Я ведь не утверждаю, а спрашиваю; и если знатоки скажут про эту фигуру, что правильна, то я успокоюсь. Об остальном я знаю и спрашивать ничьего мнения не желаю» (*ПСС*, т. 65, с. 19—20). 11 февраля 1890 г. картина была экспонирована на XVIII выставке передвижников, но через несколько дней снята по распоряжению властей.

[36] Из письма Толстого к американской переводчице Изабелле Гапгуд от 11 июня 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 333—334).

[37] Статья Д. Л. Мордовцева «Что есть истина?» (цит. по кн.: В. В. Стасов. Николай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка, с. 325—327).

[38] Литератор и присяжный поверенный Николай Дмитриевич Ильин в письме от 20 апреля 1890 г. предложил Н. Н. Ге выставить картину «Что есть истина?» за границей. С согласия П. М. Третьякова, купившего ее, картина выставлялась в Германии, затем в США (см. об этом: В. В. Стасов. Николай Николаевич Ге, с. 331—346, 365—366).

[39] Под диктовку Толстого Татьяна Львовна написала о картине «Что есть истина?» в США: сыну известного борца за отмену рабства Вильяма Гаррисона — Венделю Гаррисону, писателю Натану Доулу и пастору В. Ньютону (см. «Письма по поручению».— *ПСС*, т. 65, с. 334).

[40] Американский публицист и общественный деятель Джордж Кеннан совершил в 1885—1886 гг. путешествие по Сибири с целью изучить систему тюрем и ссылок в России. Перу Кеннана принадлежит книга «Сибирь и система ссылки» (1891). Толстой позднее пользовался материалами Кеннана для описания сибирских тюрем в романе «Воскресение».

[41] Из письма от 8 августа 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 139—141).

[42] Н. Д. Ильин. Дневник толстовца. СПб., 1892. Книга полна лжи и вздорных обвинений по адресу Толстого и Ге. Позднее, запутавшись в уголовных преступлениях, Ильин бежал за границу.

[43] Над картиной «Суд Синедриона» («Повинен смерти») Н. Н. Ге работал в 1892 г. Толстой очень одобрил этот замысел, но, увидев картину, посоветовал автору «переписать Христа: сделать его с простым, добрым лицом и с выражением сострадания— таким, какое бывает на лице доброго человека, когда он знакомого, доброго, старого человека видит мертвецки пьяным, или что-нибудь в этом роде. Мне представляется, что, будь лицо Христа простое, доброе, сострадающее, все всё поймут» (*ПСС*, т. 66, с. 258—259). Картина была запрещена и снята с выставки передвижников.

[44] Картину «Совесть» (первоначальные названия: «Иуда», «Предатель») Н. Н. Ге написал в 1890—1891 гг. Отзыв Толстого: «Хорошо, задушевно, но не так сильно и важно, как «Что есть истина?» (*ПСС*, т. 65, с. 255). Картина находится в Третьяковской галерее.

[45] Из писем к М. Л. и С. А. Толстым от января 1891 г. Местонахождение писем неизвестно.

[46] В статье «Об Иуде-предателе и о XIX передвижной выставке» Н. К. Михайловский утверждал, что изображенная на холсте Ге фигура Иуды не раскрывает идеи картины, озаглавленной «Совесть». «Почему это «совесть»? Угрызения совести, этот драгоценнейший для нас момент во всей истории Иуды... этот момент художник отваживается изобразить спиной предателя... Закройте правую сторону картины, сотрите подпись, и иной подумает, что перед ним просто человек, которому вздумалось выкупаться в лунную ночь и который теперь дрожит от холода и кутается в какую-то хламиду. А меж тем это Иуда, страшная история которого занимает умы миллионов людей в продолжение целого ряда веков. Замысел картины г. Ге очень смел, но смелость не всегда города берет» (Н. К. Михайловский. Полн. собр. соч., т. 6. СПб., 1909, с. 939—940).

[47] Цитируется статья А. С. Рождествина «Иуда-предатель», содержащая полемику со статьей Н. К. Михайловского (см. об этом: А. С. Рождествин. Страница из истории русской живописи. — «Казанский музейный вестник», 1921, № 3—6).

[48] Картина «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский сад» закончена в 1889 г. Отзыв Толстого: «Настоящая картина, то есть она дает то, что должно давать искусство. И как радостно, что она пробрала всех, самых чуждых ее смыслу людей» (*ПСС*, т. 64, с. 249).

[49] Картина находится в настоящее время в Государственном Русском музее (Ленинград).

[50] Неточно. Картина «Распятие» была начата в 1884 г. Ее замысел был тогда же одобрен Толстым. «По всему мне кажется, — писал он Н. Н. Ге 11 августа 1884 г., — что «Распятие» будет настоящая вещь» (*ПСС*, т. 63, с. 185). В последующие годы Толстой внимательно следил за работой художника и давал ему ценные советы. Картина была завершена в двух композициях. Вариант 1892 г. находится в Люксембургском музее в Париже. Местонахождение картины 1894 г. неизвестно.

[51] Из письма Л. Н. Толстому от 17 января 1890 г. (*ПТГ*, с. 120).

[52] 22 сентября 1892 г. Л. Н. Толстой писал Н. Н. Ге: «У меня есть картинка шведского художника, где Христос и разбойники распяты так, что ноги стоят на земле. Я скажу Маше прислать вам» (*ПСС*, т. 66, с. 259). О какой «картинке» идет речь, выяснить не удалось.

[53] Имеется в виду словарь латинских и греческих произведений и предметов искусств, составленный А. Риччем. Лондон, 1849 (на английском языке).

[54] Ж. Э. Ренан. Жизнь Иисуса.

[55] Письмо от 6 ноября 1892 г. (*ПТГ*, с. 152—153).

[56] Письмо от 15 декабря 1892 г. (*ПТГ*, с. 154—155).

[57] Письмо неизвестно.

[58] См. «Альбом художественных произведений Николая Николаевича Ге». М. — СПб., 1903.

[59] *ПТГ*, с. 166.

[60] В Петербурге, после снятия с выставки, картина «Распятие» была экспонирована в частном доме друга Н. Н. Ге — Н. А. Страннолюбского.

[61] Первый съезд художников состоялся в Москве в конце апреля — начале мая 1894 г. Н. Н. Ге выступил на съезде 1 мая 1894 г.

[62] Ошибка памяти Т. Л. Толстой. Картина «Распятие» была выставлена в Москве в частной мастерской на Долгоруковской улице не весной, а зимой 1894 г., до отправки картины на выставку в Петербург. Толстой смотрел ее 12 февраля.

[63] Н. Н. Ге находился в Ясной Поляне с 2 по 8 мая 1894 г.

[64] Письмо Н. Н. Страхова по поводу смерти Н. Н. Ге не сохранилось.

[65] Толстой имеет в виду письмо Н. С. Лескова к Т. Л. Толстой от 8 июня 1894 г. Оно приводится ниже.

[66] В письме к Толстому от 9 июня 1894 г. В. В. Стасов выразил свою скорбь по поводу кончины Н. Н. Ге и сообщил о намерении написать биографию художника.

[67] Письмо Л. И. Веселитской неизвестно.

[68] В Ясную Поляну были посланы картины «Распятие» и «Повинен смерти».

[69] *ПСС*, т. 67, с. 150—151.

[70] Современные Толстому западноевропейские художники Ф. Уде и Ж. Беро в своих картинах на евангельские темы изображали Христа в нарочито сниженной, бытовой обстановке.

[71] Толстой имел в виду росписи В. М. Васнецова в Киевском Владимирском соборе.

[72] Толстого посетили воронежские крестьяне Е. М. Ещенко.

[73] *ПСС*, т. 67, с. 153—155.

[74] В ответ на письма П. М. Третьякова, отвергавшего картины Н. Н. Ге ссылкой на зрителей, не принимающих толкования художником образа Христа, Толстой писал ему 14 июля 1894 г.: «Лет через 100 иностранцы попадут, наконец, на ту простую, ясную и гениальную точку зрения, на которой стоял Ге, и тоже задним числом какой-нибудь русский критик догадается, что то, что кажется таким новым и гениальным, уже 100 лет было показано людям нашим художником Ге, которого мы не поняли» (*ПСС*, т. 67, с. 175).

[75] Имеется в виду фривольная по содержанию картина Е. И. Лемана «Дама времен Директории».

[76] *ПСС*, т. 67, с. 176—177.

[77] Замысел не был осуществлен. Картины Н. Н. Ге хранятся и экспонируются в Третьяковской галерее, в Государственном Русском музее (Ленинград) и других музеях СССР.

[78] *ПСС*, т. 67, с. 189.

[79] Письмо от 6 июня 1894 г. (*ГМТ*).

[80] В письме к Л. Н. Толстому от 9 июля 1894 г. В. В. Стасов писал: «Почти постоянно вы опираетесь на мысли о Христе, о боге. На что это? На что нам тот и другой, когда так легко и разумно вовсе обойтись без них?.. Я желаю и чувствую себя способным быть самостоятельным и идти к добру и правде без «высших» фантастических, выдуманных существ» (*ГМТ*).

[81] *ПСС*, т. 67, с. 147—148.

[82] Из письма от 7 октября 1894 г. (см. кн.: «И. Е. Репин и Л. Н. Толстой. I. Переписка с Л. Н. Толстым и его семьей», М. — Л., 1949, с. 87).

[83] Из письма от 30 октября 1894 г. (там же, с. 89).

[84] Ответ на письма И. И. Горбунова-Посадова от 27 мая и 5 июня 1894 г. Письма хранятся в Отделе рукописей *ГМТ*.

[85] *ПСС*, т. 67, с. 144—145.

[86] Из письма к Н. С. Лескову от 14 августа 1894 г. (*ПСС*, т. 67, с. 192).

[87] Из письма к Л. Ф. Анненковой от 13 июня 1894 г. (*ПСС*, т. 67, с. 149—150).

[88] «Journal de Genève», 1908, № 290.

Л. А. СУЛЕРЖИЦКИЙ

[1] Л. А. Сулержицкий учился в Школе живописи, ваяния и зодчества с 1890 по 1894 г.

[2] Перу Л. А. Сулержицкого принадлежит много повестей и рассказов («В песках», «Дневник матроса», «Путь» и др.), а также статьи и заметки о театре («О критике», «Кому нужны театральные рецензии?», «О взаимоотношениях актера и режиссера» и др.). Сочинения Сулержицкого, а также его переписку см. в сб. «Леопольд Антонович Сулержицкий». М., «Искусство», 1970.

[3] Местонахождение этой картины неизвестно. Другие живописные работы и рисунки Сулержицкого хранятся в его семье.

[4] Об участии Т. Л. Толстой в издательстве «Посредник» см. во вступительной статье.

[5] Формальным поводом для исключения Сулержицкого было его якобы «дурное поведение и неприличное отношение к преподавателю» («Доклады секретаря Московского Художественного общества», ЦГАЛИ, ф. 680, оп. 3, ед. хр. 46). В действительности, как свидетельствуют товарищи Сулержицкого по училищу (С. Т. Коненков, Е. Д. Россинская и др.), он был исключен по настоянию директора училища князя А. Львова за смелое выступление на студенческом собрании против начальства.

[6] Сулержицкий искренне разделял гуманистические воззрения Толстого, но от религиозной толстовской доктрины непротивления был далек. Как свидетельствует близкая знакомая Сулержицкого А. Сац, «от толстовца в нем была только внешняя простота костюма и глубоко религиозное желание добра людям, но в нем не было тишины и еще меньше непротивленчества. В нем воля преобладала над чувством, организатор был на первом плане... Он твердо верил, что человек может все — надо только уметь хотеть» (А. Сац. О Сулержицком. — «Огонек», 1927, 16 января). Толстой горячо полюбил Сулержицкого. «Вот Сулер, — сказал он А. П. Чехову, — он обладает драгоценной способностью бескорыстной любви к людям. В этом — он гениален» (М. Горький. А. П. Чехов. — Собр. соч. в 30-ти томах, т. 5, с. 434).

[7] Сулержицкий был помещен на испытание в отделение для душевнобольных Московского военного госпиталя. Л. Н. Толстой принял участие в его судьбе. 16 декабря 1895 г. он писал австрийскому врачу А. А. Шкарвану, тоже отказавшемуся от военной службы и издавшему книгу «Мой отказ от военной службы. Записки военного врача»: «Ваши записки еще особенно тронули меня потому, что теперь в Москве сидит в военном госпитале, в отделении душевнобольных, наш молодой друг Сулержицкий, бывший художник, так же, как вы, отказавшийся от военной службы. Замечательно, что отношение к нему властей, и его к ним, почти то же в России, как и в Австрии» (*ПСС*, т. 68, с. 278).

[8] Кроме Татьяны Львовны, Сулержицкого в госпитале навещали Л. Н. и С. А. Толстые. 30 ноября 1895 г. Толстой писал Е. И. Попову: «Я на днях был у него и был тронут и поражен его простотой, спокойствием и благодушием. У него настоящий внутренний переворот, ему хорошо везде» (*ПСС*, т. 68, с. 268). После посещения Л. Н. Толстого Сулержицкого посадили в одиночку, под замок, и запретили ему всякие свидания.

[9] Военные власти специально привезли из Киева отца Сулержицкого — Антона Матвеевича, и тот, под угрозой репрессий, умолял сына взять назад отказ от военной службы.

[10] Письмо Сулержицкого неизвестно.

[11] Письмо между 15 января и 18 февраля 1896 г. (*ПСС*, т. 69, с. 41—42). История неудавшегося отказа Сулержицкого от военной службы и его тяжелых переживаний впоследствии нашла отражение в незаконченной пьесе Толстого «И свет во тьме светит» (Сообщение Л. М. Фрейдкиной. — См. сб. «Леопольд Антонович Сулержицкий», с. 36).

[12] Неточно. Сулержицкий не «выбрал морскую службу», а был сослан для несения военной службы в самый южный гарнизон России — селение Кушка, на границе с Афганистаном, где он находился до 1897 г. Свою тяжелую жизнь этой поры он описал в повести «В песках». По окончании службы Сулержицкий нанялся матросом на пароход «Святой Николай» Черноморского торгового флота и объездил на нем многие страны Востока (см. его «Дневник матроса» в названном выше сборнике).

[13] *Духоборы* — секта в России, отрицавшая обрядность православной церкви и ее догматы. Духоборы отказывались подчиняться властям и нести военную службу, за что преследовались царским правительством. В 1898 г., при содействии Толстого, около восьми тысяч крестьян-духоборов переселилось в Канаду.

[14] Узнав о предстоящем переселении духоборов, Сулержицкий сам предложил Толстому свои услуги. В ответ на его письмо Толстой писал 13 июля 1898 г.: «Милый Сулер, очень рад был получить Ваше письмо. Сердце сердцу весть подает. Я Вас тоже очень люблю. Я бы очень рад был, если бы Вы пристроились к духоборам. Я думаю, что Вы были бы им полезны» (*ПСС*, т. 71, с. 404).

[15] В декабре 1898 г. Сулержицкий организовал переселение в Канаду двух тысяч духоборов и в течение двух лет жил среди них, помогая им устроиться на новом месте. В это время он находился в интенсивной переписке с Толстым. См. письма Толстого к нему (*ПСС*, т. 72). См. также кн.: Л. А. Сулержицкий. В Америку с духоборами. М., «Посредник», 1905.

[16] Сулержицкий был связан с Художественным театром с 1900 г. Режиссером МХАТа стал с осени 1906 г. Вместе с К. С. Станиславским он поставил «Драму жизни» Кнута Гамсуна, «Жизнь человека» Леонида Андреева, «Синюю птицу» Метерлинка и «Гамлета» Шекспира. В 1911 г. он намеревался поставить «Живой труп» Толстого. По этому поводу он писал Т. Л. Толстой: «Читал на днях «Труп» — это одна из самых изумительных пьес, какие когда бы то ни было бывали написаны. Мы все в бесконечном восхищении. Дай только бог найти манеру играть ее. Я знаю, вы думаете, именно надо играть ее без всякой манеры, но в нашем деле это и есть самая трудная манера. Я так счастлив, что пьеса в нашем театре, что ее касаются любящими,

осторожными руками» (*ГМТ*). О деятельности Сулержицкого в театре см. вступительную статью Е. Поляковой «Жизнь и творчество Л. А. Сулержицкого» в названном выше сборнике.

[17] Неточно. Сулержицкий не «завозил» духоборов на Кипр, а вывозил ранее поселившихся там духоборов в Канаду.

[18] Л. А. Сулержицкий скончался 17 декабря 1916 г.

ШВЕД АБРААМ ФОН БУНДЕ

[1] Письмо от 28 апреля 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 145).

[2] В письме к В. Г. Черткову от 28 апреля 1892 г. Толстой сочувственно излагал убеждения фон Бунде: «Самому нужно работать, чтоб кормиться от земли без рабочего скота, не иметь денег, ничего не продавать, ничего не иметь лишнего, всем делиться. Он, разумеется, строгий вегетарианец, говорит хорошо, а главное, более чем искренен, фанатик своей идеи» (*ПСС*, т. 87, с. 145).

[3] Письмо к С. А. Толстой от 1 мая 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 146). Толстой был серьезно заинтересован личностью и мировоззрением фон Бунде. В письме к Н. Н. Ге от 12 мая 1892 г. он писал: «На днях явился к нам швед, 70 лет, жил 30 лет в Америке, был в Китае, Японии и Индии и везде работал среди народа и проповедовал работу для прокормления себя, без помощи скота, лопатой, и воздержание от роскоши... Много очень хорошего он говорит — он европейский Сютаев, Бондарев, — неверующий — но едва ли практический человек, наводит на мысли» (*ПСС*, т. 66, с. 214—215).

[4] Письмо к С. А. Толстой от 2 мая 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 148).

[5] Письмо от 4 мая 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 148).

[6] Имеются в виду активная помощница Толстого на голоде Наталья Николаевна Философова и ее мать — родственница Толстых Софья Алексеевна Философова. Их имение Паники находилось в Данковском уезде, вблизи Бегичевки, где в это время работал Толстой со своими помощниками.

[7] Письмо от 6 мая 1892 г. (*ГМТ*).

[8] Письмо от 7 мая 1892 г. (*ГМТ*).

[9] Из письма от 12 мая 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 150).

[10] *ПСС*, т. 84, с. 152.

[11] Вместе с Татьяной Львовной Абраама фон Бунде встречал и Толстой. Об этом он записал в дневнике: «Нынче поехал к нему с Таней, а он идет» (*ПСС*, т. 52, с. 66).

[12] 26 мая 1892 г. в день приезда фон Бунде в Ясную Поляну Толстой записал в дневнике: «Явился швед Абрагам. Моя тень. Те же мысли, то же настроение, минус чуткость. Много хорошего говорит и пишет» (*ПСС*, т. 52, с. 66).

[13] Имеется в виду роман Марии Львовны Толстой с П. И. Раевским, вызывавший неодобрение Л. Н. и С. А. Толстых.

[14] Письмо С. А. Толстой к Т. А. Кузминской от 24 июля 1892 г. (*ГМТ*).

[15] Л. Н. Толстой принял меры, чтобы помочь Абрааму фон Бунде поселиться на земле. Он просил своего знакомого врача А. И. Алмазова, владевшего землей в Воронежской губернии, бесплатно предоставить шведу «кусок земли» для обработки. В письме к А. И. Алмазову от 16 июня 1892 г. Толстой писал о фон Бунде: «Человек он очень сильный, духовный, умный и по призванию, как мне кажется, проповедник своих идей упрощения жизни...» (*ПСС*, т. 66, с. 227). А. И. Алмазов изъявил согласие «принять старика» и безвозмездно предоставить ему землю. Однако это нельзя было осуществить, так как беспаспортный Абраам фон Бунде, не считавший себя подданным какого-либо государства, не имел, по законам Российской империи, права жительства в центральных губерниях России.

Абраам фон Бунде послужил Толстому прототипом для образа беспаспортного старика-сектанта в романе «Воскресение» (ч. 3, гл. XXI).

«СТАРУШКА ШМИДТ»

[1] М. А. Шмидт и О. А. Баршева впервые посетили Толстого 20 апреля 1884 г. Толстой записал в дневнике: «Две классные дамы — просить Евангелие» (*ПСС*, т. 49, с. 84). Позднее в письме к М. А. Шмидт от 20 февраля 1893 г. Толстой вспоминал: «Как теперь, вижу вас двух в зале утром, когда вы пришли ко мне и я в первый раз увидал вас обоих» (*ПСС*, т. 66, с. 298).

[2] Из письма от 8 ноября 1894 г. (*ГМТ*).

[3] М. А. Шмидт и О. А. Баршева поселились в урочище Уч-Дере, близ Сочи, и занялись садоводством.

[4] Из письма к М. А. Шмидт от 9 августа 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 145).

[5] Имеется в виду сборник статей английского писателя Мэтью Арнольда «Задачи критики», в двух томах (Лондон, 1865 и 1888). Предлагая этот труд В. И. Алексееву для перевода на русский язык, Толстой писал ему 13 декабря 1890 г.: «Это ряд критических статей о малоизвестных писателях и статья о том, что́ есть критика. Это замечательно умно и хорошо — полезно и я уверен, что помещу это в журнале каком-нибудь» (*ПСС*, т. 65, с. 203). В 1902 г., по рекомендации Толстого, сокращенный перевод этой книги был издан «Посредником» под заглавием «Задачи современной критики».

[6] Из письма к О. А. Баршевой от 13 декабря 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 203).

[7] Из письма к М. А. Шмидт от 30 июня 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 126).

[8] Из письма к М. А. Шмидт от 9 августа 1890 г. (*ПСС*, т. 65, с. 144).

[9] Имеется в виду швед Старк, управляющий имением в Уч-Дере.

[10] Письмо к М. А. Шмидт от 23 июня 1889 г. (*ПСС*, т. 64, с. 279—280).

[11] *ПСС*, т. 65, с. 234.

[12] Толстой в это время работал над повестью «Отец Сергий» и над статьей, позднее озаглавленной «Царство божие внутри вас».

[13] *ПСС*, т. 65, с. 304.

[14] Толстой отозвался на смерть О. А. Баршевой письмом, полным печали: «Милое, тихое, смиренное и серьезное было существо, как я ее вспоминаю, — писал он М. А. Шмидт 20 февраля 1893 г. — Удивительно, каким светом освещает смерть умерших. Как вспомню теперь про Ольгу Алексеевну, так слезы навертываются от умиления. Вспоминаю ее шутки, ее отношение к вам, ее покорность, ее тихую ласковость, и совсем яснее, лучше понимаю ту самую внутреннюю ее душу» (*ПСС*, т. 66, с. 298).

[15] Письмо от 3 июня 1893 г. (*ГМТ*).

[16] Из письма к Л. Л. и М. Л. Толстым от 3 июня 1893 г. (*ПСС*, т. 66, с. 347).

[17] Из письма от 10 июня 1893 г. (*ПСС*, т. 66, с. 351).

[18] Ошибка памяти Т. Л. Толстой. 21 мая 1883 г. Толстой выдал жене доверенность на ведение его имущественных дел. Согласно этому документу, С. А. Толстая получила право от имени мужа распоряжаться как имениями и землей, так и изданием сочинений Толстого (см. *ПСС*, т. 83, с. 579—580). Однако это не было разделом имущества. Семейный раздел состоялся в июле 1892 г.

[19] Из письма от 13 декабря 1907 г. (*ГМТ*).

[20] *ГМТ*.

[21] *ГМТ*.

[22] Многие правоверные последователи учения Толстого были недовольны гневным тоном статьи «Не могу молчать». Они считали, что ее остро обличительный характер противоречит христианской доктрине смирения и непротивления. Так, В. Г. Чертков в двух письмах побуждал Толстого смягчить резкие выражения. Статьей была недовольна и С. А. Толстая, опасавшаяся, что обличения властей навлекут на Толстого и его семью репрессии. Однако Толстой сохранил непримиримо резкий тон своей статьи.

[23] Из письма от 10 августа 1910 г. (*ГМТ*).

[24] Из письма от 12 февраля 1900 г. (*ГМТ*).

[25] Письмо неизвестно.

[26] Письмо без даты (*ГМТ*). *«Религия»* — статья «Религия и нравственность», написанная Толстым в 1908 г. (*ПСС*, т. 37).

[27] Из письма от 2 сентября 1910 г. (*ГМТ*).

[28] Из письма от 12 февраля 1900 г. (*ГМТ*). Упоминаемое «письмо папá о воспитании» — обширное письмо к молодому учителю А. И. Дворянскому от 13 декабря 1899 г., в котором Толстой излагает свои принципы нравственного воспитания детей. Он резко осуждает «религиозную ложь», которая внушается людям с детства, и считает ее первопричиной раннего развращения души. С горечью пишет он об «иконах, чудесах, безнравственных рассказах Библии», губительно разрушающих цельность детской натуры. «Всякий искренний человек, — заключает Толстой, — знает то хорошее, во имя чего он живет. Пускай он скажет это ребенку, или пусть покажет это ему, и он сделает добро и наверное не повредит ребенку» (*ПСС*, т. 72, с. 263—267). М. А. Шмидт переписала письмо для Татьяны Львовны, имея в виду ее обязанности по воспитанию младших детей своего мужа М. С. Сухотина от первого брака.

[29] *ГМТ*.

[30] Из письма от 15 октября 1894 г. (*ГМТ*).

[31] Из письма от 8 ноября 1894 г. (*ГМТ*).

[32] Из письма от 11 марта 1894 г. (*ГМТ*).

[33] Из письма от 26 апреля 1911 г. (*ГМТ*).

[34] *ГМТ*.

[35] Из письма от 26 мая 1905 г. (*ГМТ*).

[36] Из письма от 6 июля 1907 г. (*ГМТ*).

[37] Из письма от 2 сентября 1908 г. (*ГМТ*).

[38] *ПСС*, т. 76, с. 92.

[39] Из письма от 11 марта 1894 г. (*ГМТ*).

[40] Крестьянин Сергей Блохин.

[41] *ГМТ*.

[42] Письмо без даты (*ГМТ*).

[43] Письмо без даты (*ГМТ*).

[44] Д. П. Маковицкий.

[45] См. очерк «Швед Абраам фон Бунде».

[46] Из письма от 4 июня 1902 г. (*ПСС*, т. 73, с. 253).

[47] Письмо без даты (*ГМТ*).

[48] Из письма от 3 ноября 1908 г. (*ГМТ*).

[49] Из письма от 20 декабря 1893 г. (*ГМТ*).

[50] Это и следующее цитируемое письмо неизвестны.

[51] Из письма от 12 января 1902 г. (*ГМТ*).

[52] Письмо от 4 октября 1897 г.

[53] Имеется в виду «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях» (*ПСС*, т. 25). При пожаре сгорела копия рукописи, сделанная рукой М. А. Шмидт. Подлинная рукопись «Сказки» сохранилась (*ГМТ*).

[54] «Соединение и перевод четырех Евангелий» (*ПСС*, т. 24).

[55] Имеется в виду список с рукописи, сделанный рукой М. А. Шмидт. Подлинная рукопись статьи «Так что же нам делать?» сохранилась (*ГМТ*).

[56] *ГМТ*.

[57] Письмо без даты (*ГМТ*).

[58] Из письма от 8 апреля 1911 г. (*ГМТ*).

[59] Из письма от 28 мая 1911 г. (*ГМТ*).

[60] Из письма от 19 июня 1911 г. (*ГМТ*).

[61] Из письма от 18 августа 1911 г. (*ГМТ*).

[62] Из письма от 16 октября 1911 г. (*ГМТ*).

[63] Письмо без даты (*ГМТ*).

[64] 15 августа 1910 г. Толстой поехал в имение М. С. Сухотина — деревню Кочеты, Новосильского уезда, Тульской губернии.

[65] *ПСС*, т. 82, с. 144.

[66] *ПСС*, т. 82, с. 220. Полное содержание письма см. в очерке «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода».

[67] Из письма от 20 июля 1911 г. (*ГМТ*).

[68] Из письма от 20 июля 1911 г. (*ГМТ*). *«Путь жизни»* — сборник мыслей и изречений разных авторов, в том числе Л. Н. Толстого, на житейские и религиозно-нравственные темы. Над его составлением Толстой работал с 30 января 1910 г. до ухода из Ясной Поляны — 28 октября 1910 г. Сборник «Путь жизни» публиковался издательством «Посредник» отдельными выпусками со значительными цензурными изъятиями. В полном виде—см. *ПСС*, т. 45.

О ТОМ, КАК МЫ С ОТЦОМ РЕШАЛИ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

(Стр. 351—366)

Впервые опубликовано в сб. «Толстой и о Толстом. Новые материалы». Ред. Н. Н. Гусев. М., 1924.

[1] *ПСС*, т. 47, с. 38.

[2] *«Записки сумасшедшего»* — рассказ о пережитом Толстым в 1869 г. в Арзамасе приступе тоски и страха. Написан в 1884 г. Главная мысль рассказа — «жестокий, зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни неизбежно приводит к признанию сумасшедшим себя или всего мира» (*ПСС*, т. 53, с. 129).

[3] Здесь и ниже ошибка памяти Т. Л. Толстой. Съезд детей и раздел имущества происходил не в мае 1890 г., а в июле 1892 г. За год до этого, 8 июня 1891 г., в Ясную Поляну приезжали для переговоров о разделе Сергей и Илья Львовичи, но раздел в это время произведен не был.

[4] 5 июля 1892 г. Толстой записал в дневнике: «Тяжело, мучительно ужасно... Вчера поразительный разговор детей. Таня и Лева внушают Маше, что она делает *подлость*, отказываясь от имения. Ее поступок заставляет их чувствовать неправду своего, а им надо быть правыми, и вот они стараются придумывать, почему поступок нехорош и *подлость*. Ужасно. Не могу писать. Уж я плакал, и опять плакать хочется. Они говорят: мы сами бы хотели это сделать, да это было бы дурно. Жена говорит им: оставьте у меня. Они молчат. Ужасно! Никогда не видал такой очевидности лжи и мотивов ее. Грустно, грустно, тяжело мучительно» (*ПСС*, т. 52, с. 67).

[5] Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 206.

[6] *ПСС*, т. 67, с. 209.

[7] Письмо от 30 августа 1894 г. (*ПСС*, т. 67, с. 211).

[8] См. разговор Нехлюдова с крестьянами деревень Кузминское и Паново («Воскресение», ч. 2, гл. I—IX).

[9] Письмо от 22 сентября 1894 г. (*ГМТ*).

[10] Написанный рукой Толстого черновик «Условия между Т. Л. Толстой и крестьянами деревень Скуратово и Овсянниково» опубликован (*ПСС*, т. 90, с. 348—349). «Условие» предусматривает передачу крестьянам в аренду на девять лет 135 десятин «нахотной, покосной и лесной» земли с выплатой за нее по 425 руб. в год. Эти деньги крестьяне обязаны употребить на свои общественные нужды, «как-то: содержание сирот, убогих и старых».

[11] Т. Л. Толстая дает здесь субъективную и неверную оценку учения Генри Джорджа. Г. Джордж считал экспроприацию земли у народных масс единственной причиной разделения людей на богатых и бедных и делал неверный вывод, будто не пролетарская революция и национализация всех средств производства, а высокий «единый» государственный налог на частную земельную собственность может положить конец обнищанию масс в буржуазном обществе. Основной причиной народной бедности он считал не эксплуатацию трудящихся капиталистами и помещиками, а высокую земельную ренту. Он выступал за национализацию земли государством без ликвидации частного землевладения.

К. Маркс и Ф. Энгельс считали учение Г. Джорджа одной из разновидностей буржуазной экономической науки. Об утверждении Г. Джорджа, будто с превращением земельной ренты в государственный налог исчезнут все беды капитализма, Маркс писал,

что это «не что иное, как скрытая под маской социализма попытка *спасти господство капиталистов* и фактически *заново укрепить* его на *еще более широком*, чем теперь, *базисе*» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, изд. 2-е, т. 35, с. 164). В. И. Ленин указывал, что характерной ошибкой Г. Джорджа и других буржуазных национализаторов земли является смешение частной собственности на землю с господством капитала в земледелии (см. В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 16, с. 382). В конце жизни и сам Толстой высказал сомнение в эффективности и применимости учения Генри Джорджа к русским условиям.

[12] По настоянию и при содействии Толстого были переведены и изданы в «Посреднике» работы Генри Джорджа: «Равные права и общие права», «Прогресс и бедность», «Земельный вопрос» и др.

[13] Письмо и рукопись, подписанные «П. Полилов», сохранились в Отделе рукописей ГМТ. Толстой записал в дневнике: «Вчера утром получил прекрасное письмо от Полилова о Г. Джордже и отвечал ему» (запись от 7 ноября 1909 г. — *ПСС*, т. 57, с. 167).

[14] Этот сон Толстой видел 21 октября 1909 г., о чем на другой день записал в дневнике: «Теперь 12-й час. Видел прекрасный сон о том, как я горячо говорил о Г. Джордже. Хочу записать» (*ПСС*, т. 57, с. 157). В этот же день Толстой сделал первый набросок очерка на эту тему, а в последующие дни дорабатывал его. В окончательном виде очерк «Сон» вошел в трилогию «Три дня в деревне» (см. *ПСС*, т. 38).

[15] Толстой имеет в виду насильно насаждавшуюся в России «столыпинскую реформу», ставившую целью разрушить крестьянскую общину, выделить из нее — в качестве опоры царизма — класс кулаков и этим ослабить аграрную революцию в деревне. Царское правительство, по мнению В. И. Ленина, стремилось «ускорить полное разорение крестьян, сохранить помещичьи земли, помочь ничтожной кучке богатых крестьян «выйти на хутора», оттягать как можно больше общинной земли» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 77). Толстого эти действия правительства глубоко возмущали. Он говорил: «Это верх легкомыслия и наглости, с которым позволяют себе ворочать народные уставы, установленные веками... Ведь одно это чего стоит, что все дела решает мир — не один я, а мир — и какие дела! Самые для них важные» (цит. по кн.: Н. Н. Гусев. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973, с. 243).

[16] Толстой говорил об этом с посетившими его в августе 1909 г. видными членами Государственной думы третьего созыва В. В. Тенишевым и В. А. Маклаковым, но от постановки этого вопроса в Думе они отказались (см. письмо Л. Н. Толстого к Н. Н. Гусеву от 27 августа 1909 г. — *ПСС*, т. 80, с. 73—74).

[17] *ПСС*, т. 80, с. 117—179.

О СМЕРТИ МОЕГО ОТЦА И ОБ ОТДАЛЕННЫХ ПРИЧИНАХ ЕГО УХОДА

(Стр. 369—426)

Воспоминания впервые опубликованы на французском языке в журн. «Europe», 1928, № 67, 15 июля. Отдельным изданием на французском языке вышли в Париже в 1960 г. На русском языке впервые напечатаны в «Литературном наследстве», т. 69, кн. 2, М., 1961, с. 244—285. (Перевод Е. В. Толстой.) Этот текст воспроизводится в настоящем издании.

Нет сомнений, что существовал русский текст воспоминаний и что они написаны до отъезда Т. Л. Сухотиной-Толстой за границу (1925 г.). Это видно по тому, что мемуары содержат многочисленные документальные материалы, которые автор мог почерпнуть только из семейного архива Толстых, хранящегося в Москве. Несомненно также, что очерк предназначался прежде всего для русского читателя, перед которым дочь Толстого хотела опровергнуть неумолкавшую ложь и клевету на ее родителей. Однако последующее пребывание автора вдали от родины было, вероятно, причиной того, что воспоминания увидели свет впервые за рубежом. В настоящее время местонахождение русского оригинала неизвестно.

По выходе в свет воспоминания Т. Л. Сухотиной-Толстой вызвали за рубежом ряд одобрительных откликов. Ромен Роллан писал автору 23 июля 1928 г.: «Дорогой друг! Я только что прочитал и перечитал Ваши прекрасные страницы, простые, правдивые, полные человеческого понимания и любви — о смерти Вашего отца, и хочу сказать Вам, как они мне полюбились, как мы были ими взволнованы, моя сестра и я.

Наши мысли идут навстречу Вашим в эти дни благоговейных воспоминаний. Как мне странно, что я никогда не видел Вашего отца! Всегда, начиная с моей молодости, он был для меня присутствующим и живым — больше, чем все живые. Теперь, по мере того как старею, я еще больше сожалею, что не могу поговорить с ним. Когда я был молод, я бы на это не осмелился, я мало что мог дать ему. А теперь... теперь... О, как мне его недостает. В нынешней Европе — нравственно столь ограниченной — есть у меня слова, которые я мог бы сказать только ему. — И я говорю их ему» (*ГМТ*. Перевод Т. М. Альбертини).

Горячее одобрение автору воспоминаний высказал и французский писатель Андрэ Моруа. «Дорогая сударыня, — писал он Татьяне Львовне 18 сентября 1928 г., — вернувшись с каникул, я нашел у себя Ваш рассказ о смерти Вашего отца. Он прекрасен, и я прочитал его с глубоким волнением. Когда-нибудь скажу Вам об этом на словах» (*ГМТ*. Перевод Т. М. Альбертини).

Высокую оценку воспоминания получили и в нашей стране. Публикуя их, Б. С. Мейлах писал: «...Воспоминания старшей дочери Толстого Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой выделяются стремлением объективно воссоздать семейную обстановку, которая явилась одной из причин ухода отца. Эти воспоминания представляют для нас огромный интерес; перед нами попытка разобраться в обстоятельствах «яснополянской трагедии». Попытка эта сделана непосредственной ее наблюдательницей, которая, в отличие от ряда других лиц, занимала тогда позицию наиболее объективную» (*ЛН*, т. 69, кн. 2, с. 239).

Для впервые публикуемого в СССР перевода редакция «Литературного наследства» восстановила подлинный текст цитируемых документов и уточнила их даты. В настоящем издании они вторично сверены и уточнены.

Очерк печатается без купюр. Из французского текста исключено лишь несколько фраз, обращенных специально к зарубежному читателю, разъясняющих такие слова, как «телега», «юродивый» и т. п.

[1] К этому времени появились следующие книги и статьи о семейной драме Толстого: В. Г. Чертков. Уход Толстого. М., 1922; А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. Том II. Дневник 1910 г. М. — Пг., 1923; П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 4. М. — Пг., 1923; О. Волжанин. Правда о С. А. Толстой («Вестник литературы», 1921, №№ 6—8); Н. А. Соколов. С. А. Толстая (там же, № 1) и др. Появление этих публикаций, искажающих обстоятельства ухода Л. Н. Толстого из Ясной Поляны и несправедливо набрасывающих тень на облик С. А. Толстой, вызвало протест со стороны ряда деятелей культуры, в том числе А. М. Горького. См. его статью «О С. А. Толстой», опубликованную в журн. «Русский современник», 1924, № 4 (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 14. М., 1951, с. 301—316).

[2] Л. Н. Толстой скончался в доме начальника станции Астапово, Рязано-Уральской ж. д. (ныне ст. Лев Толстой) И. И. Озолина.

[3] Дневники Л. Н. Толстого опубликованы в его Полном собрании сочинений, тома 46—58. Избранные дневники см.: Л. Н. Толстой. Собр. соч. в 20-ти томах. М., ГИХЛ, 1965, тт. 19—20.

[4] Позднее дневники были изданы. См. «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1860—1891». М., изд-во М., и С. Сабашниковых, 1928; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1891—1897», ч. II. М., изд-во М. и С. Сабашниковых, 1929; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1897—1909», ч. III. М., изд-во «Север», 1932; «Дневники Софьи Андреевны Толстой. 1910». М., «Советский писатель», 1936.

[5] *Дн.*, 2 и 22 июля 1852 г. (*ПСС*, т. 46, с. 131, 136).
[6] *ПСС*, т. 46, с. 15.
[7] *ПСС*, т. 46, с. 29.
[8] *Дн.*, 17 апреля 1847 г. (*ПСС*, т. 46, с. 31).
[9] *ПСС*, т. 46, с. 32.
[10] *Дн.*, 18 апреля 1847 г. (*ПСС*, т. 46, с. 32).
[11] *Дн.*, 16 июня 1847 г. (*ПСС*, т. 46, с. 32).
[12] *ПСС*, т. 47, с. 5.
[13] *Дн.*, 29 июля 1854 г. (*ПСС*, т. 47, с. 18).
[14] *Дн.*, 4 января 1857 г. (*ПСС*, т. 47, с. 109).
[15] *Дн.*, 8 августа 1857 г. (*ПСС*, т. 47, с. 151).
[16] *Дн.*, 15 июня 1854 г. (*ПСС*, т. 47, с. 4).
[17] *Дн.*, 1 августа 1854 г. (*ПСС*, т. 47, с. 19).
[18] «Исповедь» (*ПСС*, т. 23, с. 4).
[19] *ПСС*, т. 48, с. 44.
[20] В письме к С. А. Берс от 14 сентября 1862 г. Толстой писал: «Скажите, как *честный человек*, — хотите ли вы быть моей женой? Только ежели от всей души, *смело* вы можете сказать *да*, а то лучше скажите *нет*, ежели есть в вас тень сомнения в себе. Ради бога, спросите себя хорошо. Мне страшно будет услышать *нет*, но я его предвижу и найду в себе силы снести; но ежели никогда мужем я не буду любимым так, как я люблю, это будет ужасней» (*ПСС*, т. 83, с. 17).
[21] *ПСС*, т. 48, с. 45.
[22] *Дн.*, 25 сентября 1862 г. (*ПСС*, т. 48, с. 46).
[23] *ПСС*, т. 48, с. 54.
[24] *ДСТ*, I, с. 51, 52, 53. Запись от 8 октября 1862 г.
[25] Там же, с. 55—56. Запись от 13 ноября 1862 г.
[26] Там же, с. 57. Запись от 23 ноября 1862 г.
[27] Там же, с. 59. Запись от 16 декабря 1862 г.
[28] К концу 1870-х годов завершился давно назревавший перелом в мировоззрении Толстого. В. И. Ленин писал в статье «Л. Н. Толстой и современное рабочее движение»: «Острая ломка всех «старых устоев» деревенской России обострила его внимание, углубила его интерес к происходящему вокруг него, привела к перелому всего его миросозерцания» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, с. 39). Толстой духовно порвал со своим классом, к которому принадлежал по рождению, и полностью перешел на позиции трудового народа. С этих пор он все острее нападал на существующий строй, обличая, вместе с его экономическими основами, все его политические, моральные и правовые надстройки. В своих последних произведениях Толстой «обрушился с страстной критикой на все современные государственные, церковные, общественные, экономические порядки, основанные на порабощении масс, на

нищете их, на разорении крестьян и мелких хозяев вообще, на насилии и лицемерии, которые сверху донизу пропитывают всю современную жизнь» (т а м ж е, с. 40).

[29] Т. А. Ергольская.

[30] Имеются в виду подруга Т. А. Ергольской — Наталья Петровна Охотницкая и горничные — Аксинья Максимовна и Агафья Михайловна.

[31] *Дн.*, 24 марта 1862 г. (*ПСС*, т. 48, с. 53).

[32] С. А. Т о л с т а я. Моя жизнь, кн. 2, с. 14. Авторизованная машинопись (*ГМТ*).

[33] См. об этом в очерке «Детство Тани...» и прим. 51 к нему.

[34] Одна из первых размолвок в семейной жизни Толстых была вызвана требованием Толстого к жене отказаться от услуг няни и кормилицы. 5 августа 1863 г. Толстой записал в дневнике: «С утра я прихожу счастливый, веселый, и вижу *графиню*, которая гневается и которой *девка Душка* расчесывает волосики... и все падает, и я как ошпаренный, *боюсь* всего и вижу, что только там, где я один, мне хорошо и поэтично... А малейший проблеск понимания и чувства, и я опять весь счастлив и верю, что она понимает вещи, как и я» (*ПСС*, т. 48, с. 57).

[35] С. А. Т о л с т а я. Моя жизнь, кн. 2, с. 96.

[36] Письмо неизвестно. Цит. по машинописи: С. А. Т о л с т а я. Моя жизнь, кн. 2, с. 161.

[37] *Дн.*, 19 марта 1865 г. (*ПСС*, т. 48, с. 60).

[38] Неточно. Первые упоминания о замысле романа «Война и мир» относятся к 1863 г. (см. запись в дневнике Толстого от 23 февраля 1863 г. — *ПСС*, т. 48, с. 52).

[39] С. А. Т о л с т а я. Моя жизнь, кн. 2, с. 242. Запись от января 1867 г.

[40] В это и последующее время Толстой охотно прислушивался к замечаниям жены, особенно в том, что касалось женского характера, женской души. Исследователями установлено, что в описаниях внешнего облика и внутреннего мира некоторых героинь Толстого (особенно Наташи Ростовой и Анны Карениной) имеются отдельные детали, подсказанные Софьей Андреевной.

[41] *ПСС*, т. 83, с. 86—87.

[42] С. А. Толстая писала сестре Т. А. Кузминской 27 июля 1866 г.: «Я то отсасываю, то кормлю, то прижигаю, то промываю, а кроме того — дети, варенья, соленья, грибы, пастилы, переписыванье для Левы, а для изящных искусств и чтения еле-еле минутку выберешь, и то если дождь идет» (*ГМТ*).

[43] А. Б. Г о л ь д е н в е й з е р. Вблизи Толстого. М., 1959, с. 157.

[44] *ДСТ*, I, с. 96.

[45] Письмо неизвестно.

[46] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, с. 209.

[47] Из письма к Т. А. Кузминской от 23 февраля 1875 г. (*ГМТ*).

[48] Из письма от 7 декабря 1864 г. (*ПСТ*, с. 49).

[49] Из письма от 10 декабря 1864 г. (*ПСС*, т. 83, с. 91).

[50] *ДСТ*, I, с. 58. Запись от 23 ноября 1862 г.

[51] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, с. 65.

[52] Письмо от 13 июня 1871 г. (*ПСТ*, с. 91, 92).

[53] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 2, с. 65.

[54] Из письма от 7 декабря 1864 г. (*ПСТ*, с. 49).

[55] *Дн.*, 23 января 1863 г. (*ПСС*, т. 48, с. 51).

[56] Статья Толстого с изложением христианского учения осталась неоконченной. Сохранившийся отрывок см. *ПСС*, т. 17, с. 363—368.

[57] Из письма от 6 ноября 1877 г. (*ПСС*, т. 62, с. 347—348).

[58] *ПСС*, т. 23, с. 10.

[59] Там же, с. 11.

[60] Там же, с. 12.

[61] Там же, с. 11, 12, 15 (первая и третья цитаты— пересказ).

[62] *ДСТ*, I, с. 41. Запись от 26 декабря 1877 г.

[63] Поездки по знаменитым монастырям еще более убедили Толстого в несостоятельности казенной церкви. Так, 4 октября 1879 г., после посещения Троице-Сергиевой лавры, он писал Н. Н. Страхову: «По Вашему совету и по разговору с Хомяковым-сыном о церкви был в Москве и у Троицы и беседовал с викарием Алексеем, митрополитом Макарием и Леонидом Кавелиным. Все трое прекрасные люди и умные, но я больше еще укрепился в своем убеждении. Волнуюсь, метусь и борюсь духом и страдаю» (*ПСС*, т. 62, с. 499).

[64] Из письма к С. А. Толстой от 14 июня 1879 г. (*ПСС*, т. 83, с. 271).

[65] *ПСС*, т. 23, с. 306.

[66] С марта 1880 г. по апрель 1884 г. (с перерывами) Толстой работал над обширным трактатом «Соединение и перевод четырех Евангелий». Религиозные искания Толстого были обусловлены глубоким идейным кризисом, который он переживал в эти годы. Исследовав и сличив существующие Евангелия с их греческим текстом и его вариантами, Толстой пришел к убеждению, что «та вера, которую исповедует наша иерархия и которой она учит народ, есть не только ложь, но и безнравственный обман» (*ПСС*, т. 24, с. 10).

[67] С конца 1879 г. по ноябрь 1894 г. (с перерывами) Толстой работал над трактатом «Исследование догматического богословия». Он предпринял этот труд, чтобы разобраться в сущности учения официальной церкви. Его вывод: «Все это вероучение... не только

ложь, но сложившийся веками обман людей неверующих, имеющий определенную и низменную цель» (*ПСС*, т. 23, с. 63).

[68] Из письма от 28 августа 1880 г. (*ПСТ*, с. 157—158).

[69] *ДСТ*, I, с. 56. Запись от 13 ноября 1862 г.

[70] Из письма от 2 августа 1881 г. (*ПСС*, т. 83, с. 304—305).

[71] Из письма от 20 сентября 1881 г. (*ГМТ*).

[72] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, с. 652—653.

[73] Источники цитаты не установлены.

[74] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, с. 666.

[75] Из письма от 2 мая 1882 г. (*ГМТ*).

[76] Из письма от 8 января 1883 г. (*ГМТ*).

[77] Из письма от 30 января 1883 г. (*ГМТ*).

[78] Толстой тяжело переживал увлечения жены и дочери светскими увеселениями. Он опасался, что его дочь может заинтересоваться пустым, ничтожным человеком. Неприятно ему было и то, что его жена, мать многочисленного семейства, бездумно веселилась на балах. В письме к ней от 30 января 1884 г. Толстой писал из Ясной Поляны: «Ты теперь, верно, собираешься на бал. Очень жалею и тебя и Таню» (*ПСС*, т. 83, с. 417). В трактате «Так что же нам делать?», над которым он в это время работал, Толстой писал: «В ту ночь, в которую я пишу это, мои домашние ехали на бал... Бал сам по себе, по своему смыслу, есть одно из самых безнравственных явлений нашей жизни. Я считаю его хуже увеселений непотребных домов, и потому, не будучи в состоянии внушить своим домашним мои взгляды на бал, я ухожу из дома, чтобы не видеть их в их развратных одеждах» (*ПСС*, т. 25, с. 627).

[79] *ПСС*, т. 25, с. 314.

[80] Из писем от 14 ноября 1881 г. и 10 февраля 1883 г. (*ГМТ*).

[81] Из письма от 7 ноября 1879 г. (*ГМТ*).

[82] С. А. Толстая. Моя жизнь, кн. 3, с. 616.

[83] Имеется в виду С. С. Урусов, проживавший в имении Спасское, Дмитровского уезда, Московской губернии.

[84] *ПСС*, т. 63, с. 251.

[85] Письмо от 20 декабря 1882 г. или 20 января 1883 г. (*ПСС*, т. 63, с. 112).

[86] Письмо от 28 ноября 1880 г. (*ГМТ*).

[87] *ПСС*, т. 83, с. 522.

[88] Из письма от 30 октября 1884 г. (*ПСС*, т. 83, с. 451).

[89] Из письма от 26 сентября 1896 г. (*ПСС*, т. 84, с. 259).

[90] Из письма от 12 ноября 1885 г. (*ГМТ*).

[91] Дневник Толстого этих дней полон тоски и горечи. «Мучительная борьба, и я не владею собой» (26 мая). «Пытаюсь быть ясен и счастлив, но очень, очень тяжело» (28 мая). «Ужасно то, что все зло — роскошь, разврат жизни, в которых я живу, я сам

сделал» (29 мая). «Отчуждение с женой все растет. И она не видит и не хочет видеть» (30 мая).

4 июня после резкого разговора со старшим сыном, сделавшего ему «ужасно больно», у Толстого появляется мысль уйти из семьи. «И в самом деле, на что я им нужен? На что все мои мученья?» «Условия бродяги» кажутся ему более легкими, чем эта «боль сердца». И назавтра: «Только бы мне быть уверенным в себе, а я не могу продолжать эту дикую жизнь. Даже для них это будет польза. Они одумаются, если у них есть что-нибудь похожее на сердце» (*ПСС*, т. 49, с. 99—101).

[92] Непосредственным поводом для решения Толстого уйти из семьи послужили несправедливые упреки Софьи Андреевны за его намерение употребить доходы, получаемые от самарского имения, на нужды местных крестьян. Софья Андреевна упрекала Толстого также в том, что сам он пользуется «роскошью», в том числе верховыми лошадьми.

[93] Запись в дневнике Толстого: «...Начались со стороны жены бессмысленные упреки за лошадей, которых мне не нужно и от которых я только хочу избавиться. Я ничего не сказал, но мне стало ужасно тяжело. Я ушел и хотел уйти совсем, но ее беременность заставила меня вернуться с половины дороги в Тулу... Пошел к себе, спать на диване; но не мог от горя. Ах, как тяжело! Все-таки мне жалко ее» (*ПСС*, т. 49, с. 104—105).

[94] Ошибка памяти Т. Л. Сухотиной-Толстой. Описываемые далее события произошли через год, в декабре 1885 г.

[95] Поводом к новому резкому разладу с женой послужила издательская деятельность С. А. Толстой, открывшей против воли мужа подписку на его собрание сочинений. Толстого тяготило, что распространение его сочинений связано с получением доходов. 15—18 декабря 1885 г. он написал С. А. Толстой большое письмо, в котором еще раз объяснил смысл происшедшего в нем нравственного переворота и потребовал опрощения барского образа жизни семьи. Толстой писал: «Боль от того, что я почти 10 лет тому назад пришел к тому, что единственное спасение мое и всякого человека в жизни в том, чтобы жить не для себя, а для других, и что наша жизнь нашего сословия вся устроена для жизни для себя, вся построена на гордости, жестокости, насилии, зле, и что потому человеку в нашем быту, желающему жить хорошо, жить с спокойной совестью и жить радостно, надо не искать каких-нибудь мудреных далеких подвигов, а надо сейчас же, сию минуту действовать, работать, час за часом и день за днем, на то, чтобы изменять ее и идти от дурного к хорошему... А между тем ты и вся семья идут не к изменению этой жизни, а с возрастанием семьи, с разрастанием эгоизма ее членов — к

усилению ее дурных сторон. От этого боль» (*ПСС*, т. 83, с. 541). Не найдя душевного отклика на свое письмо, он 18 декабря объявил С. А. Толстой о своем решении оставить семью.

[96] Из письма от 20 декабря 1885 г. (*ГМТ*).

[97] Свое мучительное состояние и недовольство образом жизни семьи Толстой излил в письме к В. Г. Черткову от 14 декабря 1885 г. «...Жизнь дикая с торжеством идет своим ухудшающимся порядком... Обжираются, потешаются, покупая на деньги труды людей для своего удовольствия, и все увереннее и увереннее, чем больше их становится, что это так. То, что́ я пишу об этом, не читают, что́ говорю, не слушают или с раздражением отвечают, как только поймут, к чему идет речь, что́ делаю, не видят или стараются не видеть. На днях началась подписка и продажа на самых стеснительных для книгопродавцев условиях и выгодных для продажи. Сойдешь вниз и встретишь покупателя, который смотрит на меня как на обманщика, пишущего против собственности и под фирмой жены выжимающего сколько можно больше денег от людей за свое писанье» (*ПСС*, т. 85, с. 294—295).

[98] 14 марта 1887 г. на заседании Московского Психологического общества Толстой читал реферат на тему «Понятие жизни» — краткое изложение его книги «О жизни», над которой он в это время работал. В ней он подверг критике господствующую религию и мораль и обосновал свое новое миропонимание (см. *ПСС*, т. 26). Реферат был опубликован в газ. «Русские ведомости», 1887, № 73, 21 марта.

[99] Из письма от 14 марта 1887 г. (*ГМТ*).

[100] Из письма от 1 апреля 1887 г. (*ГМТ*).

[101] *ПСС*, т. 84, с. 87.

[102] Из письма от 11 декабря 1891 г. (*ПСС*, т. 84, с. 107).

[103] Из письма от 25 октября 1895 г. (*ПСС*, т. 84, с. 241—242).

[104] Из писем от 9 сентября и 9 ноября 1896 г. (*ПСС*, т. 84, с. 255, 270).

[105] Из письма от 12—13 мая 1897 г. (*ПСС*, т. 84, с. 283).

[106] Из письма от 17 ноября 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 334).

[107] Имеется в виду повесть «Крейцерова соната».

[108] Из письма от 22 октября 1887 г. (*ПСС*, т. 84, с. 38). К словам «прекрасных рук» С. А. Толстая сделала примечание: «Лев Николаевич шутил, вспоминая поговорку Фета».

[109] Имеется в виду письмо Толстого к Т. Л. Толстой от 18 октября 1885 г. в ответ на ее откровенное письмо, в котором она жаловалась на окружающие ее соблазны, делилась своими взглядами на жизнь. Толстой писал: «Мне очень страшно за тебя, за твою не слабость, а восприимчивость к зевоте и желал бы помочь тебе. Мне помогает убеждение несомненное в том, что важнее

для тебя в мире, так же, как и для всех нас, нет ничего наших поступков и из них слагающихся привычек... Одно спасение во всякой жизни, а особенно в городской — работа и работа. Я вижу тебя, ты скажешь: все неутешительно. Дело в том, что не утешаться надо, а идти вперед...» В заключение письма Толстой выразил радость по поводу того, что он начинает находить в своей семье некоторое сочувствие (см. *ПСС*, т. 63, с. 292—294).

[110] Из письма от 13 декабря 1884 г. (*ПСС*, т. 83, с. 466).

[111] Речь идет о напечатанном 19 сентября 1891 г. в газетах заявлении Толстого о том, что он предоставляет всем желающим право безвозмездно издавать в России и за границей все его сочинения, написанные с 1881 г. (см. *ПСС*, т. 66, с. 47).

[112] Из письма от 12 сентября 1891 г. (*ПСС*, т. 84, с. 85—86). Сопротивление Софьи Андреевны причинило Толстому много страданий. 2 июня 1891 г. он записал в дневнике: «Очень тяжело мне от Сони. Все эти заботы о деньгах, именьи, и это полное непонимание... У меня были скверные мысли уйти. Не надо. Надо терпеть». 27 июня: «Грустно, гадко на нашу жизнь, стыдно. Кругом голодные, дикие, а мы... стыдно, виноват мучительно». 14 июля: «Не понимает она и не понимают дети, расходуя деньги, что каждый рубль, проживаемый ими и наживаемый книгами, есть страдание, позор мой. Позор пускай, но за что ослабление того действия, которое могла бы иметь проповедь истины!» (*ПСС*, т. 52, с. 37, 44).

[113] Из письма от 21 апреля 1891 г. (*ГМТ*). Раздел имущества произошел в июле 1892 г. В середине апреля 1891 г. по этому поводу приехали в Ясную Поляну сыновья Толстого — Сергей, Илья и Лев.

[114] В деятельности издательства «Посредник» принимали участие Н. С. Лесков, В. М. Гаршин, В. Г. Короленко, А. М. Горький и другие писатели.

[115] Из письма от 17 февраля 1897 г. (*ПСС*, т. 84, с. 278).

[116] По воспоминаниям А. Г. Русанова, Ваня был «хрупкий мальчик, с продолговатым бледным лицом и длинными, до плеч, светлыми волнистыми волосами, очень похожий на Льва Николаевича. На этом детском личике поражали глубокие, серьезные серые глаза; взгляд их, особенно когда мальчик задумывался, становился углубленным, проникающим, и тогда сходство со Львом Николаевичем еще более усиливалось. Когда я видел их вместе, то испытывал своеобразное ощущение. Один старый, согнувшийся, постепенно уходящий из жизни, другой — ребенок, а выражение глаз — одно и то же. Лев Николаевич был убежден, что Ваня после него будет делать «дело божье» (Г. А. Русанов,

А. Г. Русанов. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883—1901 гг. Воронеж, 1972, с. 145).

[117] Из писем от 18 и 15 сентября 1893 г. (*ПСС*, т. 84, с. 195, 194).

[118] Приписка к письму С. А. Толстой от 18 февраля 1892 г. (*ПСС*, т. 84, с. 121).

[119] Ванечка Толстой скончался 23 февраля 1895 г.

[120] Из письма от 7 марта 1895 г. (*ГМТ*).

[121] Из писем от 8 марта и 14 июня 1895 г. (*ГМТ*).

[122] Из письма от 12 декабря 1884 г. (*ПСС*, т. 83, с. 463).

[123] Из письма от 26 октября 1891 г. (*ПСС*, т. 83, с. 89).

[124] Из писем от 1 декабря и 29 апреля 1898 г. (*ПСС*, т. 84, с. 338, 308).

[125] Из письма от 24 октября 1896 г. (*ГМТ*).

[126] Из письма к В. А. Лебрену от 28 ноября 1890 г. (*ПСС*, т. 72, с. 250).

[127] Тайный дневник, запись от 2 июля 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 171—172).

[128] Из письма к М. С. Дудченко от 7 апреля 1908 г. (*ПСС*, т. 78, с. 114—115). Единомышленник Толстого М. С. Дудченко в письме от 27 марта 1908 г. упрекал Толстого в том, что его убеждения расходятся с его образом жизни. По мнению Дудченко, этот вопрос стоит сейчас перед Толстым сильнее, чем когда-либо раньше (*ГМТ*).

[129] Студент Киевского университета Б. С. Манджос в письме от 14 февраля 1910 г. советовал Толстому отказаться от графства, раздать имущество, уйти из дома и нищим побираться по миру, проповедуя добро и справедливость. Это, по его мнению, больше подействует на людей, нежели любые статьи и воззвания. Прочитав это письмо, Толстой записал в дневнике: «Получил трогательное письмо от киевского студента, уговаривающее меня уйти из дома в бедность» (*ПСС*, т. 58, с. 18).

[130] Письмо от 16 февраля 1910 г. (*ПСС*, т. 81, с. 104).

[131] *ПСС*, т. 84, с. 288—289. Это письмо было вызвано, помимо давних разногласий с женой, также тяжелыми переживаниями Толстого в связи с кратковременным увлечением С. А. Толстой композитором С. И. Танеевым, возникшим на почве ее тяжелого душевного состояния после смерти сына Ванечки. 18 мая 1897 г. Толстой писал ей: «Сближение твое с Танеевым мне отвратительно, и я не могу переносить его спокойно. Продолжая жить с тобою при этих условиях, я сокращаю и отравляю свою жизнь... Остается одно — расстаться. На что я твердо решился. Надо только обдумать, как лучше это сделать» (*ПСС*, т. 84, с. 284). Приведенное в тексте письмо Толстой жене не вручил, а спрятал под обивку

клеенчатого кресла в своем кабинете. В 1902 г., когда Толстой был тяжело болен, он поручил дочери Марии Львовне вынуть его и надписать на конверте: «Вскрыть через пятьдесят лет после моей смерти, если кому-нибудь интересен эпизод моей автобиографии». Толстой скоро выздоровел, и Мария Львовна вернула ему письмо. В 1907 г. Толстой передал его на хранение зятю Н. Л. Оболенскому, который, согласно воле Толстого, отдал его Софье Андреевне после смерти Льва Николаевича.

132 Из писем к Т. Л. Толстой от 21 декабря 1902 г. (*ПСС*, т. 73, с. 350) и от 3 июля 1907 г. (*ПСС*, т. 77, с. 146).

133 *Дн.*, 11 августа 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 143—144).

134 Тайный дневник, 3 июля 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 172).

135 Там же, 9 июля 1908 г. (*ПСС*, т. 56, с. 172).

136 Из письма от 23 сентября 1900 г. (*ПСС*, т. 72, с. 457).

137 Намек на отношение С. А. Толстой к С. И. Танееву (см. прим. 131).

138 С. А. Толстая потребовала, чтобы дневники Толстого с 1900 по 1909 г., хранящиеся, по просьбе Черткова, в сейфе А. Б. Гольденвейзера в банке в Москве, были переданы в ее распоряжение. По этому поводу Толстой писал ей 14 июля 1910 г.: «1) Теперешний дневник никому не отдам, буду держать у себя. 2) Старые дневники возьму у Черткова и буду хранить сам, вероятно, в банке. 3) Если тебя тревожит мысль о том, что моими дневниками, теми местами, в которых я пишу под впечатлением минуты о наших разногласиях и столкновениях, что этими местами могут воспользоваться недоброжелательные тебе будущие биографы, то, не говоря о том, что такие выражения временных чувств, как в моих, так и в твоих дневниках, никак не могут дать верного понятия о наших настоящих отношениях, — если ты боишься этого, то я рад случаю выразить в дневнике или просто как бы в этом письме мое отношение к тебе и мою оценку твоей жизни» (*ПСС*, т. 84, с. 398—399).

139 Толстой получил приглашение на VIII Международный конгресс мира в Стокгольме и решил поехать туда, чтобы изложить свои антимилитаристские взгляды. Для этой цели он написал обширный доклад, который рассчитывал прочитать там. Однако из-за сопротивления С. А. Толстой и ее болезни он в Швецию не поехал. Посланный туда доклад не был на конгрессе зачитан. «Умеренная и благонамеренная среда пацифистов, собравшихся на конгрессе, была скандализирована «выходкой» Льва Николаевича, считавшего, что для того, чтобы люди не воевали,— не должно быть войска. Это показалось им такой наивностью, что, снисходительно улыбаясь и воздавая должное великому гению, они, пригласившие его на конгресс, не решились вслух

объявить его мнение» (П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 4. М.—Пг., 1923, с. 191). Доклад был впервые опубликован за границей: см. Л. Н. Толстой. Собрание статей по общественным вопросам за 1909 год. Лос-Анжелес, изд-во Русского народного университета, 1910. Текст доклада см. *ПСС*, т. 38.

140 К этому времени у С. А. Толстой выявились явные признаки психического расстройства. Позднее, 19 июля 1910 г., это подтвердил профессор-невропатолог Г. И. Россолимо, нашедший у нее симптомы тяжелой истерии, депрессии и маниакального состояния.

141 *ПСС*, т. 58, с. 79—80.

142 *Дн.*, 20 и 21 июля 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 67, 68).

143 *Дн.*, 23 июня 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 69).

144 «Дневник для одного себя», 9 августа 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 132).

145 *Дн.*, 25 и 26 июня, 11 июля 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 69, 78).

146 С. А. Толстая была действительно больна, и, зная это, Лев Николаевич многократно пытался защитить ее от обвинений в притворстве и симуляции. 2 августа 1910 г. он писал В. Г. и А. К. Чертковым: «Просил бы и вас быть снисходительными ко мне и к ней. Она, несомненно, больная, и можно страдать от нее, но мне-то уж нельзя — или я не могу — не жалеть ее» (*ПСС*, т. 89, с. 200). 7 августа Толстой снова писал Черткову: «Мне жалко ее, и она, несомненно, жалче меня, так что мне было бы дурно, жалея себя, увеличить ее страдания» (*ПСС*, т. 89, с. 201). 14 августа, в ответ на повторное утверждение Черткова о якобы злостном притворстве Софьи Андреевны, Толстой писал ему: «Знаю, что все это нынешнее особенно болезненное состояние (Софьи Андреевны. — *А. Ш.*) может казаться притворным, умышленно вызванным (отчасти это и есть), но главное в этом все-таки болезнь, совершенно очевидная болезнь, лишающая ее воли, власти над собой. Если сказать, что в этой распущенной воле, в потворстве эгоизму, начавшихся давно, виновата она сама, то вина эта прежняя, давнишняя, теперь же она совершенно невменяема, и нельзя испытывать к ней ничего, кроме жалости...» (*ПСС*, т. 89, с. 205). Наконец, 6 октября, в связи с наметившейся возможностью примирения, Толстой просит Черткова «не ставить преград» к созданию нормальных отношений между ним и Софьей Андреевной: «Она больна и все другое, но нельзя не жалеть ее и не быть к ней снисходительным. И об этом я очень, очень прошу Вас ради нашей дружбы...» (*ПСС*, т. 89, с. 220).

147 Завещание было, с согласия Толстого, составлено В. Г. Чертковым и А. Л. Толстой при участии юриста Н. К. Муравьева.

Первоначально оно было подписано Толстым 17 июля 1910 г. Однако, из-за пропуска нескольких слов, оно было 21 июля переписано. В тот же день в лесу, вблизи деревни Грумонт, Толстой подписал его. В качестве свидетелей его подписали А. Б. Гольденвейзер, А. П. Сергеенко и А. В. Калачев. Согласно этому завещанию, все его сочинения, «как художественные, так и всякие другие, оконченные и неоконченные, драматические и во всякой иной форме, переводы, переделки, дневники, частные письма, черновые наброски, отдельные мысли и заметки», где бы они ни хранились, переходят в полную собственность его дочери А. Л. Толстой, а в случае ее смерти, в собственность Т. Л. Сухотиной (см. *ПСС*, т. 82, с. 227). Об отношении Толстого к формальному завещанию см. прим. 155. На сей раз он прибег к нему не для утверждения за дочерьми прав собственности на его сочинения, а, наоборот, для того, чтобы предупредить возможность превращения его литературного наследия в чью-либо частную собственность. Было условлено, что А. Л. и Т. Л. Толстые, получив формально эти права, сделают все, чтобы писания их отца стали всенародным достоянием.

[148] Завещание, составленное 18 сентября 1909 г. в Крекшине, гласит: «Заявляю, что желаю, чтобы все мои сочинения, литературные произведения и писания всякого рода, как уже где-либо напечатанные, так и еще не изданные, написанные или впервые напечатанные с 1 января 1881 года, а равно и все написанные мною до этого срока, но еще не напечатанные, — не составляли бы после моей смерти ничьей частной собственности, а могли бы быть безвозмездно издаваемы и перепечатываемы всеми, кто этого захочет. Желаю, чтобы все рукописи и бумаги, которые останутся после меня, были бы переданы Владимиру Григорьевичу Черткову с тем, чтобы он и после моей смерти распоряжался ими, как он распоряжается ими теперь, для того чтобы все мои писания были безвозмездно доступны всем желающим ими пользоваться для издания» (*ПСС*, т. 80, с. 267).

[149] *«Особое положение»*, то есть «Объяснительная записка» к завещанию, была составлена В. Г. Чертковым и подписана Толстым 31 июля 1910 г. «Записка» содержит четыре пункта, поясняющие волю Толстого «относительно своих писаний». Согласно первому из них, все сочинения Толстого не должны составлять после его смерти «ничьей частной собственности». Второй пункт предусматривает, чтобы все рукописи и бумаги были переданы В. Г. Черткову с тем, чтобы он «занялся пересмотром их и изданием того, что он в них найдет желательным для опубликования». Третий и четвертый устанавливают — в случае смерти указанного наследника — последующий порядок заве-

щания и наследования писаний Толстого (см. *ПСС*, т. 82, с. 227—228).

[150] Позднее С. А. Толстая так объясняла свое поведение: «Вокруг дорогого мне человека создана была атмосфера заговора, тайно получаемых и по прочтении обратно отправляемых писем и статей, таинственных посещений и свиданий в лесу для совершения актов, противных Льву Николаевичу по самому существу, по совершении которых он уже не мог спокойно смотреть в глаза ни мне, ни сыновьям, так как раньше никогда ничего от нас не скрывал, и это в нашей жизни была первая тайна, что было ему невыносимо. Когда я, чувствуя ее, спрашивала, не пишется ли завещание и зачем это скрывают от меня, мне отвечали отрицательно или молчали. Я верила этому. Значит, была другая тайна, о которой я не знала, и я переживала отчаяние, чувствуя постоянно, что против меня старательно восстанавливают моего мужа и что нас ждет ужасная роковая развязка. Лев Николаевич все чаще грозил уходом из дому, и эта угроза еще больше мучила меня и усиливала мое нервное, болезненное состояние» («Автобиография С. А. Толстой». — «Начала», 1921, № 1, с. 165—166).

[151] «Дневник для одного себя» Толстой вел параллельно со своим обычным дневником с 29 июля по 31 октября 1910 г. (см. *ПСС*, т. 58, с. 129—144).

[152] *Дн.*, 28 июля 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 85).

[153] «Дневник для одного себя» (*ПСС*, т. 58, с. 129).

[154] Запись от 30 июля 1910 г. (там же).

[155] Толстой всегда отрицательно относился к мысли об официальном завещании по двум причинам: ему, решительному противнику государства, казалось морально недопустимым узаконить свою волю путем обращения к казенным властям, которых он всегда обличал в беззаконии и несправедливости. С другой стороны, в подобном официальном узаконении своей воли он видел проявление недоверия к близким, которые, таким образом, как бы заранее подозреваются в злом намерении эту волю нарушить. Эти соображения Толстой откровенно высказал В. Г. Черткову еще 13 мая 1904 г. в ответ на заготовленные им вопросы относительно прав на сочинения Толстого после его смерти. «Не скрою от Вас, любезный друг Владимир Григорьевич, — писал Толстой, — что Ваше письмо... было мне неприятно. Ох, эти практические дела! Неприятно мне не то, что дело идет о моей смерти, о ничтожных моих бумагах, которым приписывается ложная важность, а неприятно то, что тут есть какое-то обязательство, насилие, недоверие, недоброта к людям. И мне, я не знаю как, чувствуется втягивание меня в неприязненность, в делание

чего-то, что может вызвать зло. Я написал свои ответы на Ваши вопросы и посылаю. Но если Вы напишете мне, что Вы их разорвали, сожгли, то мне будет очень приятно» (*ЛН*, т. 69, кн. 1. М., 1961, с. 554—555). О подписанном им позднее завещании см. прим. 147—149.

[156] Приехавший в Ясную Поляну 30 июля П. И. Бирюков так описывает атмосферу, которую он застал в доме Толстого: «Обитатели Ясной Поляны переживали тогда тяжелое время. Приезжие туда получали впечатление какой-то борьбы двух партий; одна, во главе которой стоял Чертков, имела в Ясной Поляне своих приверженцев в лице Александры Львовны и Варвары Михайловны (Феокритовой. — *А. Ш.*), и другая партия — Софьи Андреевны и ее сыновей... Мой приезд оживил надежды обеих партий; во мне надеялись видеть посредника — миротворца. Но я не оправдал их ожиданий, и, кажется, с моим приездом борьба еще обострилась...» (П. И. Бирюков. Биография Льва Николаевича Толстого, т. 4. М. — Пг., 1923, с. 208).

[157] Из письма к В. Г. Черткову от 2 августа 1910 г. (*ПСС*, т. 89, с. 199).

[158] *ПСС*, т. 58, с. 130.

[159] См. А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого. М., 1923, с. 230—242. В письме от 11 августа 1910 г. В. Г. Чертков излагает всю многолетнюю историю отречения Толстого от авторских прав, а также историю всех ранее составлявшихся Толстым завещаний. По его утверждению, инициатором всех завещаний, в том числе последнего, тайного, был сам Толстой, который действовал из опасения, что жена и сыновья нарушат его волю и превратят его литературное наследие в источник обогащения. Чертков убеждает Толстого, что он, Толстой, не только «*предполагал* в наследниках дурное», а несомненно *знал*, что «они намерены, вопреки Вашей воле, присвоить себе лично то, что Вы отдали во всеобщее пользование». В том, что завещание составлено тайно, Чертков не видит ничего дурного — «недаром большинство завещаний становится известным только после смерти завещателя». В заключение Чертков просит Толстого «согласиться с тем, что сделанное было наилучшим из того, что возможно было сделать», и «вполне убежденно» подтвердить «посмертные распоряжения относительно Ваших писаний».

[160] «Дневник для одного себя». Запись от 11 августа 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 132—133). Письмо Черткову см. ниже. Письма к Бирюкову Толстой не написал.

[161] Имеется в виду цитированное выше письмо Толстого к В. Г. Черткову от 2 августа 1910 г.

[162] Из письма от 12 августа 1910 г. (*ПСС*, т. 89, с. 203—204).

[163] В ответ на упрек В. Г. Черткова в его письме от 13—14 августа, будто Толстой своим обещанием Софье Андреевне не видеться с Чертковыми сам стеснил свою свободу, Толстой писал ему: «Согласен, что обещания никому, а особенно человеку в таком положении, в каком она теперь, не следует давать, но связывает меня теперь никак не обещание... а связывает меня просто жалость, сострадание, как я это испытал особенно сильно нынче и о чем писал вам. Положение ее очень тяжелое. Никто не может этого видеть и никто так сочувствовать ему» (*ПСС*, т. 89, с. 206). По поводу же упрека, будто он уступил давлению Софьи Андреевны вопреки собственному мнению, Толстой писал: «Без преувеличения могу сказать, что признаю то, что случилось, необходимым и потому полезным для моей души. Думаю, по крайней мере, так в лучшие минуты. Как мне ни жалко лишиться личного общения с Вами на время (верю, что на время), думаю, что это к лучшему» (там же, с. 207).

[164] «Дневник для одного себя» (*ПСС*, т. 58, с. 131).

[165] Там же, запись от 6 августа 1910 г.

[166] «Дневник для одного себя» (*ПСС*, т. 58, с. 134).

[167] Там же, с. 133.

[168] Ошибка памяти Т. Л. Сухотиной-Толстой: В. Ф. Булгаков в этот раз в Кочеты с Толстыми не ездил.

[169] «Дневник для одного себя», записи от 29, 30, 31 августа и 1 сентября 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 135).

[170] Письмо от 29 августа 1910 г. (*ПСС*, т. 84, с. 401). О прощании с Софьей Андреевной при ее отъезде из Кочетов Толстой назавтра писал А. К. Чертковой: «Софья Андреевна вчера уехала отсюда и очень трогательно прощалась со мной и с Таней и ее мужем, прося, очевидно искренно, со слезами у всех прощения. Она невыразимо жалка. Что будет дальше, не могу себе представить. «Делай что дóлжно перед совестью, богом, а что будет, то будет», говорю себе и стараюсь исполнять» (*ПСС*, т. 89, с. 210).

[171] «Дневник для одного себя», записи от 25 августа, 10, 16, 17 сентября 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 135, 136, 137). «Доносы» исходили от проживавшей в доме Толстого переписчицы В. М. Феокритовой, тайно записывавшей все, что при ней говорила Софья Андреевна. Эти «записки» с собственными прибавлениями она пересылала В. Г. Черткову и А. Б. Гольденвейзеру. Выписки из них направлялись, против его желания, Толстому и оказывали на него угнетающее действие. Толстой был крайне недоволен вмешательством посторонних лиц в его семейные дела, о чем он писал А. Б. Гольденвейзеру: «В том, что пишет Варвара Михайловна и что Вы думаете об этом, есть большое преувеличение

в дурную сторону, недопущение и болезненного состояния и перемешанности добрых чувств с нехорошими» (*ПСС*, т. 82, с. 163). Об этом же он писал и В. Г. Черткову: «Решать это дело должен я один в своей душе, перед богом, — я и пытаюсь это делать, всякое же чужое участие затрудняет эту работу» (*ПСС*, т. 89, с. 217).

[172] Запись от 22 сентября 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 137).

[173] «Дневник для одного себя». Полный текст конца этой записи: «От Черткова письмо с упреками и обличениями. Они разрывают меня на части. Иногда думается: уйти от всех» (*ПСС*, т. 58, с. 138). *«Письмо с упреками»* — письмо В. Г. Черткова от 24 сентября 1910 г. Перечислив все уступки, которые Толстой сделал жене, Чертков упрекал его за то, что он допустил вмешательство посторонней, духовно чуждой руки в их взаимные отношения и тем самым дал «себя втянуть, разумеется, бессознательно и желая только хорошего, в двусмысленное и даже не вполне правдивое положение» (цит. по *ПСС*, т. 58, с. 599). В ответном письме от 25 сентября Толстой писал: «Все это представляется мне в гораздо более сложном и трудно разрешимом виде, чем оно может представиться даже самому близкому, как Вы, другу... Мне было больно от письма, я почувствовал, что меня разрывают на две стороны, верно, от того, что я, верно или неверно, почувствовал личную нотку в Вашем письме» (*ПСС*, т. 89, с. 217—218).

[174] Деревня Овсянниково.

[175] С. А. Толстая готовила в это время двенадцатое собрание сочинений Л. Н. Толстого в 20-ти томах (частях). Вышло в свет в 1911 г.

[176] История с дневниками такова. Еще в 1890 г. В. Г. Чертков предложил Толстому пересылать ему его дневники для сохранения. Толстой тогда ответил отказом. «Мне очень жаль, что не могу послать Вам дневники, — писал он Черткову 23 мая 1890 г. — ...Не говоря о том, что это нарушает мое отношение к этому писанию, я не могу послать, не сделав неприятное жене или тайны от нее. Это я не могу... Дневники же не пропадут. Они спрятаны, и про них знают домашние — жена и дочери» (*ПСС*, т. 87, с. 27—28). В 1900 г., ввиду опасности изъятия дневников при возможном обыске, Толстой согласился на их хранение у В. Г. Черткова вне Ясной Поляны. С этого времени дневники пересылались Черткову и хранились в банке в Москве. Софья Андреевна многократно возражала против пересылки дневников Черткову, а в описываемые дни решительно потребовала их возвращения в Ясную Поляну. «Его (Толстого. — *А. Ш.*) дневники, — писала она Черткову 11—18 сентября 1910 г., — это святая святых его жизни, следовательно, и моей с ним, это отражение его души,

которую я привыкла чувствовать и любить, и они не должны быть в руках постороннего человека» (цит. по кн.: А. Б. Гольденвейзер. Вблизи Толстого, т. II, с. 293). С согласия Толстого дневники были изъяты у Черткова и помещены в особом сейфе тульского банка.

[177] «Дневник для одного себя», записи от 25 и 27 октября 1910 г. (*ПСС*, т. 58, с. 143).

[178] Текст письма: «Отъезд мой огорчит тебя. Сожалею об этом, но пойми и поверь, что я не мог поступить иначе. Положение мое в доме становится, стало невыносимым. Кроме всего другого, я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста: уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни». Далее Толстой благодарит Софью Андреевну за совместную «честную 48-летнюю жизнь» и просит ее «помириться с тем новым положением», в которое ставит ее его отъезд, и не иметь против него недоброго чувства (см. *ПСС*, т. 84, с. 404).

[179] *ПСС*, т. 58, с. 123—124.

[180] *ПСС*, т. 53, с. 16.

[181] Письма отцу написали все, кроме Михаила Львовича. Сергей Львович писал: «...Я думаю, что мама́ нервно больна и во многом невменяема, что вам надо было расстаться (может быть, уже давно), как это ни тяжело обоим. Думаю также, что если даже с мама́ что-нибудь случится, чего я не ожидаю, то ты себя ни в чем упрекать не должен. Положение было безвыходное, и я думаю, что ты избрал настоящий выход...» Илья Львович: «...Я знаю, насколько для тебя была тяжела жизнь здесь... Но ведь ты на эту жизнь смотрел как на свой крест, и так и относились люди, знающие и любящие тебя. Мне жаль, что ты не вытерпел этого креста до конца...». Андрей Львович: «...Я знаю, что ты решил окончательно не возвращаться, но по долгу своей совести должен тебя предупредить, что ты своим окончательным решением убиваешь мать... Относительно же того, что ты говорил мне о роскоши и материальной жизни, которой ты окружен, то думаю, что если ты мирился с ней до сего времени, то последние годы своей жизни ты мог бы пожертвовать семье, примирившись с внешней обстановкой...» (цит. по кн.: С. Л. Толстой. Очерки былого. Тула, 1975, с. 242—244).

[182] Толстой писал А. Л. Толстой 29 октября из Оптиной пустыни: «Главное, чтобы они (дети. — *А. Ш.*) поняли и постарались внушить ей, что... все ее поступки относительно меня не только не выражают любви, но как будто имеют явную цель убить меня, чего она и достигнет, так как надеюсь, что в третий припадок,

который грозит мне, избавлю и ее и себя от этого ужасного положения, в котором мы жили и в которое я не хочу возвращаться» (*ПСС*, т. 82, с. 218).

[183] Из Шамордино 30—31 октября Толстой писал Софье Андреевне: «Свидание наше и тем более возвращение мое *теперь* совершенно невозможно. Для тебя это было бы, как все говорят, в высшей степени вредно, для меня же это было бы ужасно... Советую тебе примириться с тем, что случилось, устроиться в своем новом, на время, положении, а главное, лечиться. Если ты не то что любишь меня, а только не ненавидишь, то ты должна хоть немного войти в мое положение. И если ты сделаешь это, ты не только не будешь осуждать меня, но постараешься помочь мне найти тот покой, возможность какой-нибудь человеческой жизни, помочь мне усилием над собой и сама не будешь желать теперь моего возвращения. Твое же настроение теперь, твое желание и попытки самоубийства, более всего другого показывая твою потерю власти над собой, делают для меня теперь немыслимым возвращение... Возвратиться к тебе, когда ты в таком состоянии, значило бы для меня отказаться от жизни. А я не считаю себя вправе сделать это» (*ПСС*, т. 84, с. 407—408).

[184] При отъезде из дома у Толстого не было определенного плана дальнейших действий. Сопровождавший его врач Д. П. Маковицкий первоначально предложил временно направиться в Бессарабию к знакомому рабочему И. С. Гусарову, который жил там с семьей в деревне. На это Толстой ничего не ответил. Боясь погони, они сели в Щекино на первый проходивший поезд в направлении ст. Горбачево, а затем пересели на поезд, шедший до ст. Козельск. Оттуда они направились под Калугу в Оптину пустынь, вблизи которой, в селении Шамордино, в монастыре, жила сестра Толстого — Мария Николаевна. Здесь Толстой намеревался временно остановиться и даже сговорился с крестьянкой о найме избы. Но после совета с Д. П. Маковицким и прибывшими сюда А. Л. Толстой и В. М. Феокритовой было решено поехать в Новочеркасск к племяннице Толстого Е. С. Денисенко, бывшей замужем за членом судебной палаты И. В. Денисенко, достать через него заграничный паспорт и уехать в Болгарию, а если не удастся, то — на Кавказ. Однако в пути Толстой тяжело заболел и был вынужден сойти на ст. Астапово Рязано-Уральской ж. д., где нашел приют в доме начальника станции.

[185] Письмо к С. Л. и Т. Л. Толстым от 31 октября 1910 г. из Шамордино (*ПСС*, т. 82, с. 220—221).

[186] А. Л. Толстая узнала о местонахождении отца по телеграмме, посланной им 28 октября вечером в адрес Черткова из

Козельска за условленной подписью «Николаев»: «Ночуем Оптиной. Завтра Шамордино. Адрес Подборки. Здоров» (*ПСС*, т. 82, с. 215). Одновременно Толстой отправил ей письмо: «Доехали, голубчик Саша, благополучно. Ах, если бы только у вас бы не было не очень неблагополучно... Стараюсь быть спокойным и должен признаться, что испытываю то же беспокойство, какое и всегда, ожидая всего тяжелого, но не испытываю того стыда, той неловкости, той несвободы, которую испытывал всегда дома». Толстой просил привезти ему начатую им книгу «Опыты» Монтэня, второй том «Братьев Карамазовых» и роман Мопассана «Жизнь» (см. *ПСС*, т. 82, с. 216).

[187] В. Г. Чертков поехал в Астапово 1 ноября по вызову А. Л. Толстой, а также по получении оттуда телеграммы от Толстого: «Вчера захворал, пассажиры видели ослабевши шел с поезда. Боюсь огласки. Нынче лучше. Едем дальше. Примите меры. Известите. *Николаев*» (*ПСС*, т. 89, с. 236).

[188] Имеется в виду вагон, прицепленный к экстренному поезду. В Астапово в нем приехали С. А. Толстая, Т. Л. Сухотина, Андрей и Михаил Львович Толстые, В. Н. Философов, данковский врач А. П. Семеновский, а также сопровождавшие С. А. Толстую врач-психиатр П. И. Растегаев и фельдшерица Б. И. Скоробогатова. На следующий день в Астапово прибыли И. Л. Толстой, А. Б. Гольденвейзер и И. И. Горбунов-Посадов.

[189] Телеграмма от 3 ноября 1910 г. (*ПСС*, т. 82, с. 224).

[190] В последнем письме к С. Л. Толстому и Т. Л. Сухотиной от 1 ноября 1910 г. Толстой писал: «Прощайте, старайтесь успокоить мать, к которой я испытываю самое искреннее чувство сострадания и любви» (*ПСС*, т. 82, с. 223).

[191] Заключительные слова рассказа «Севастополь в мае» (1855): «Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души... был, есть и будет прекрасен — правда» (*ПСС*, т. 4, с. 59).

[192] Л. Н. Толстой скончался в 6 часов 5 минут утра 7(20) ноября 1910 г.

[193] Намек на В. Г. Черткова и его единомышленников.

ЗАРНИЦЫ ПАМЯТИ

(Стр. 429—446)

На русском языке публикуется впервые по машинописи (на французском языке, без даты), сохранившейся в семье Т. Л. Сухотиной-Толстой в Риме. Ксерокопия машинописи находится в Отделе рукописей ГМТ. Перевод И. Б. Овчинниковой.

В настоящем издании воспоминания печатаются не полностью (исключено несколько отрывков, повторяющих почти дословно главы из очерков «Детство Тани...» и «Отрочество Тани...»); порядок расположения главок изменен.

[1] В «Яснополянских записках» Д. П. Маковицкого этот эпизод со слов Толстого изложен так: «Дочь Карамзина, Мещерская, в Монтрэ рассказывала мне, что Пушкин сказал ей: «А вы знаете, ведь Татьяна-то отказала Онегину и бросила его: этого я от нее никак не ожидал» (Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки, вып. 1. М., 1922, с. 99).

[2] П. П. Трубецкому принадлежит четырнадцать скульптурных, живописных и графических портретов Толстого, в том числе широкоизвестные скульптуры: «Л. Н. Толстой» (1899), «Л. Н. Толстой на лошади» (1900), живописный портрет «Л. Н. Толстой за работой» (1910) и ряд графических зарисовок. Эти работы хранятся и экспонируются в Государственном музее Л. Н. Толстого в Москве.

[3] Т. А. Кузминской.

[4] Толстой посетил спектакль в психиатрической клинике профессора Корсакова зимой 1894 г.

[5] Репетиции пьесы «Плоды просвещения» в Туле проходили в апреле 1890 г., первое представление состоялось 15 апреля 1890 г.

[6] Имеется в виду франкский король Дагоберт I, про которого в шутовской песенке «Славный король Дагоберт» говорилось, что он все делал наоборот, а одежду надевал наизнанку.

[7] Разговор происходил в декабре 1904 г. Описан П. И. Бирюковым в кн.: «Биография Льва Николаевича Толстого», т. 4. М.—Пг., 1923, с. 107.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ *

---

* В указатель включены имена, названия литературных произведений, статей, произведений живописи, газет и журналов, встречающиеся в тексте воспоминаний, вступительной статье и примечаниях. Имена и названия, упоминаемые только во вступительной статье и примечаниях, в указатель не вводятся. Аннотируются лишь те имена, о которых нет сведений в примечаниях.

Ссылки на страницы вступительной статьи и примечаний набраны курсивом.

Указатель составлен Н. Г. Шеляпиной.

СОДЕРЖАНИЕ

Сухотина-Толстая Т. Л.

С91 Воспоминания. Вступит. статья и примеч. Л. И. Шифмана. М., «Худож. лит.», 1976.

541 с. 8 л. илл.

В книгу включены воспоминания и избранные страницы из дневника старшей дочери Л. Н. Толстого — Татьяны Львовны Сухотиной-Толстой. Т. Л. Толстая была одаренной художницей, талантливым и ярким человеком, очень близким Толстому по духу, по искреннему сочувствию его взглядам. Ее воспоминания, часть которых публикуется впервые, живо и интересно рассказывают о ее детских и отроческих годах, о друзьях и гостях Толстого, о трагических событиях последних лет жизни писателя.

С $\frac{70202-207}{028(01)-76}$ 29—76 8Р1

Татьяна Львовна
Сухотина-Толстая

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *К. Нещименко*

Художественный редактор
А. Виноградов

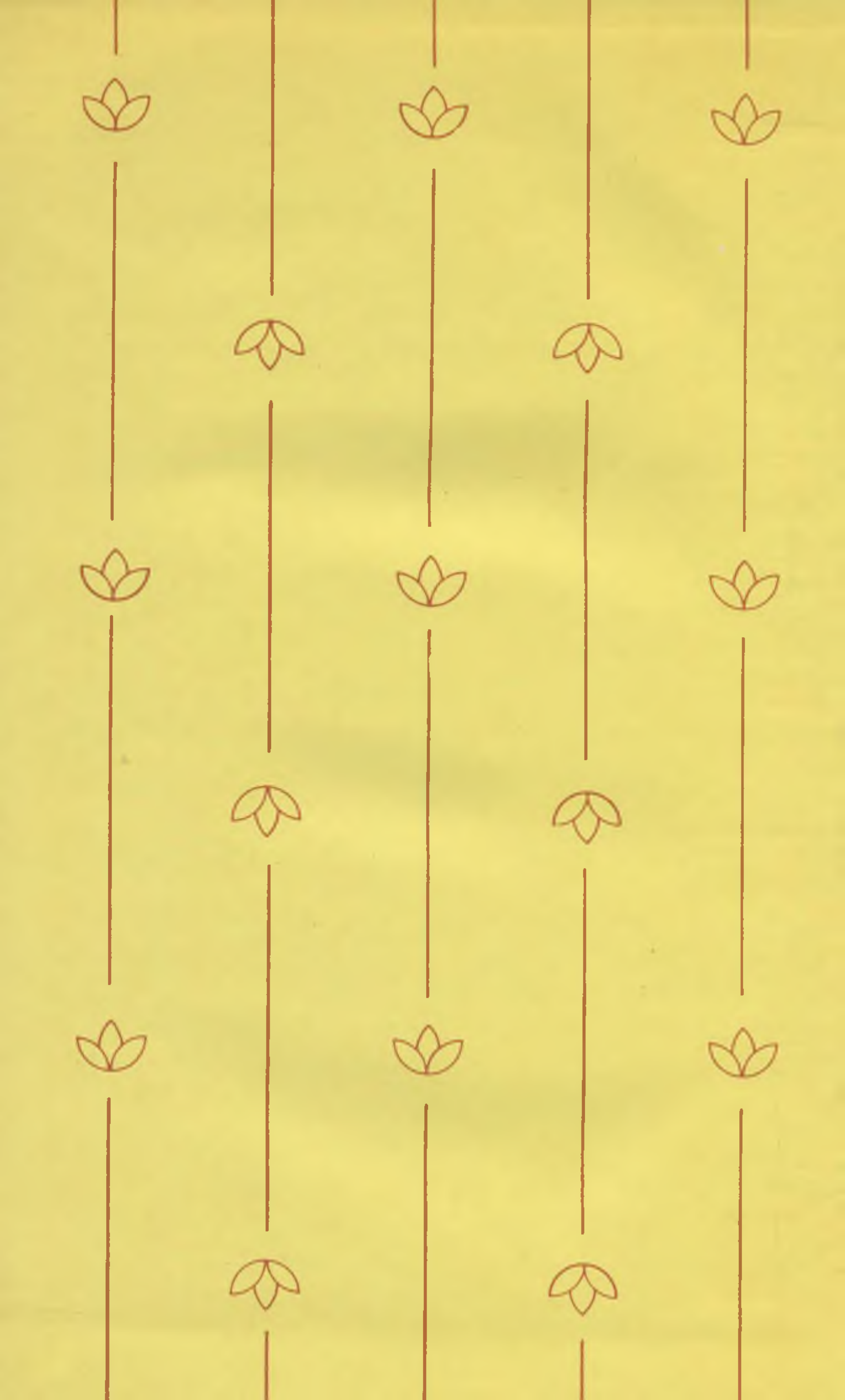
Технические редакторы
С. Ефимова,
О. Ярославцева

Корректор *Д. Эткина*

Сдано в набор 21.01.76. Подписано в печать 21.10.76. А12782. Бумага тип. № 1. Формат 84 × 108$^{1}/_{32}$. 17 печ. л. 28,56 усл. печ. л. 29,723 + 1 вкл + + альбом = 30,279 уч.-изд. л. Тираж 100 000. Заказ № 40. Цена 1 р. 25 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная,19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.





Ц. 25 к.